А. Н. ПЫПИНЪ.

ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

при

АЛЕКСАНДРѢ I.

Т. II

ПРЕДИСЛОВІЕ И ПРИМѢЧАНІЯ
Н. К. ПИКСАНОВА.

Издательство „О Г Н И".
ПЕТРОГРАДЪ.
1917.

ИСТОРИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ.

А. Н. ПЫПИНЪ.

ИЗСЛѢДОВАНІЯ И СТАТЬИ

ПО ЭПОХѢ

АЛЕКСАНДРА I.

ТОМЪ II.

ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

1917.

А. Н. ПЫПИНЪ.

ОЧЕРКИ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
при
АЛЕКСАНДРѢ I.

ПРЕДИСЛОВІЕ И ПРИМѢЧАНІЯ
Н. К. ПИКСАНОВА

Издательство „ОГНИ".
ПЕТРОГРАДЪ.
1917.

Типографія Главнаго Управленія Удѣловъ, Моховая, 40.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемый сборникъ является вторымъ томомъ «Изслѣдованій и статей по эпохѣ Александра I» А. Н. Пыпина. Вышедшій въ прошломъ году первый томъ посвященъ былъ религіознымъ движеніямъ; выходящій теперь второй заключаетъ собраніе очерковъ по литературѣ и общественности того же времени. Оба сборника, имѣя каждый совершенно самостоятельное значеніе, однако, тѣсно связаны съ классическимъ трудомъ покойнаго академика: «Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I»; вмѣстѣ съ нимъ они образуютъ трилогію, посвященную одной эпохѣ.

Ими, наконецъ, исчерпывается все существенное, разновременно написанное Пыпинымъ по исторіи нашей духовной культуры первой четверти XIX-го вѣка; внѣ сборниковъ остались лишь дробныя рецензіи освѣдомительнаго характера (онѣ перечислены ниже, въ примѣчаніяхъ) и антикритика на статью П. Щебальскаго «Идеалисты и реалисты», печатаемая въ приложеніи къ новому изданію «Общественнаго движенія».

Первой и по времени написанія, и по достоинству, является въ этомъ томѣ работа о русскихъ отношеніяхъ Бентама. Въ ней Пыпинъ использовалъ классическое боуринговское изданіе сочиненій Бентама, рѣдко кому доступное въ Россіи; къ обильнымъ даннымъ, почерпнутымъ изъ X и XI томовъ англійскаго изданія, онъ присоединилъ свѣдѣнія изъ русскихъ источниковъ (мемуаровъ, переписки) и нѣкоторый рукописный матеріалъ (изъ Публичной Библіотеки). Сложившееся такъ изслѣдованіе, значительное по объему и прекрасно доку-

ментированное, было для своего времени почти исчерпывающимъ. Его цѣнили не только историки общественнаго движенія, но и историки-юристы. Въ книгѣ извѣстнаго цивилиста, покойнаго профессора Г. Ф. Шершеневича: «Исторія кодификаціи гражданскаго права въ Россіи» (Казань, 1898) читаемъ: «Статья Пыпина «Русскія отношенія Бентама» весьма интересна какъ по характеристикѣ нѣкоторыхъ лицъ, принимавшихъ участіе въ кодификаціонныхъ работахъ, такъ и по содержащимся въ ней письмамъ Бентама, въ которыхъ послѣдній высказываетъ свои взгляды на задачи кодификаціи въ Россіи». Правда, со времени напечатанія работы Пыпина уже прошло почти пятьдесятъ лѣтъ; за это долгое время накопилось много матеріаловъ, не имѣвшихся въ распоряженіи Пыпина (они указаны ниже въ примѣчаніяхъ), и можно было ждать новой переработки данной темы. Однако, новѣйшая русская монографія о Бентамѣ, принадлежащая перу безвременно умершаго П. А. Покровскаго, совершенно не затронула русскихъ отношеній англійскаго мыслителя, и трудъ Пыпина остался попрежнему единственнымъ.

Въ двухъ статьяхъ о временахъ реакціи 1820—1830 гг. Пыпинъ воспользовался обширными Дневниками извѣстнаго государственнаго дѣятеля и писателя Фарнгагена фонъ Энзе. Дневники эти, никогда не переведенные полностью на русскій языкъ, рисуютъ, однако, широкую картину политическихъ движеній и настроеній въ Пруссіи, отчасти и въ другихъ государствахъ, въ ту эпоху; опытной рукой Пыпинъ выбралъ изъ огромнаго изданія Фарнгагена все наиболѣе характерное и въ его изложеніи оказались любопытныя европейскія параллели тому, что случалось въ тогдашней Россіи и о чемъ самъ онъ разсказывалъ въ «Общественномъ движеніи» и въ «Характеристикахъ литературныхъ мнѣній»; нечего и говорить, что упоминанія Фарнгагена о русскихъ дѣлахъ и лицахъ всѣ заботливо восприняты въ пересказъ Пыпина.

Тѣмъ же пріемомъ систематизированнаго изложенія рѣдкаго изданія Пыпинъ воспользовался и въ третьей статьѣ. Здѣсь онъ излагаетъ письма А. И. Тургенева къ его знаменитому брату, декабристу Н. И. Тургеневу. Письма эти были изданы за кордономъ, въ Лейпцигѣ, и никогда не перепечатывались въ Россіи. Пыпинъ взялъ изъ нихъ и передалъ въ русскій литературный и читательскій оборотъ все наиболѣе характеристическое какъ для обоихъ братьевъ, такъ и для тогдашней культурной жизни.

Разборъ сочиненія Богдановича о царствованіи императора Александра I имѣетъ исторіографическое значеніе; для самого Пыпина онъ показателенъ тѣмъ, что здѣсь, въ анализѣ чужого изслѣдованія, соотносительнаго по темѣ «Общественному движенію въ Россіи при Александрѣ I», онъ примѣнялъ и провѣрялъ свои собственные методы и свое общее историческое пониманіе. Исторіографическое значеніе имѣетъ и статья о меценатахъ и ученыхъ александровскаго времени. Что же касается статей о кн. Вяземскомъ, Батюшковѣ, о мемуарахъ, то въ нихъ покойный академикъ собиралъ изъ вновь появлявшихся изданій обильные факты литературнаго, общественнаго, бытового значенія, сохранившіе свою цѣну и характерность и до нашего времени.

Въ приложеніяхъ даны нѣкоторыя opuscula Пыпина, близко примыкающія къ крупнымъ статьямъ сборника. Такъ, отзывы о IX томѣ Сочиненій кн. Вяземскаго, объ «Остафьевскомъ Архивѣ», о письмахъ Карамзина къ Вяземскому — дополняютъ статью «Школа двадцатыхъ годовъ»; литературная характеристика Загоскина примыкаетъ къ очеркамъ о Батюшковѣ и Вяземскомъ; къ группѣ исторіографическихъ статей присоединяются отзывы о трудахъ вел. кн. Николая Михаиловича; дополненіемъ къ обозрѣнію мемуаровъ является оцѣнка Записокъ Свербеева.

Въ нѣкоторыхъ статьяхъ Пыпину приходилось, по самой связи событій и изложенію реферируемыхъ авто-

ровъ, касаться не только александровскаго, но и николаевскаго времени (см., напр., «Времена реакціи», «Русскій путешественникъ въ двадцатыхъ годахъ»); главнымъ предметомъ вниманія и здѣсь являлись идеи и люди, сложившіеся при Александрѣ I, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, эти статьи служатъ естественнымъ звеномъ, связующимъ трилогію Пыпина объ александровской эпохѣ съ его монографіей «Характеристики литературныхъ мнѣній съ двадцатыхъ по пятидесятые годы», посвященной временамъ Николая I.

Въ концѣ книги даны библіографическія указанія, сближающія работы Пыпина съ новѣйшей исторіографіей, исправлены нѣкоторыя неточности и разъяснены глухія упоминанія.

Петроградъ.
4. v. 1917.

Н. Пиксановъ.

РУССКІЯ ОТНОШЕНІЯ БЕНТАМА.

(„Вѣстникъ Европы“ 1869, февраль и апрѣль).

РУССКІЯ ОТНОШЕНІЯ БЕНТАМА.

The Works of Jeremy Bentham, published under the superintendence of his executor, John Bowring. Edinburgh, MDCCCXLIII. 11 vols.

I.

Первые годы царствованія императора Александра составляютъ знаменитый періодъ въ исторіи русскаго общества. Послѣ многихъ тяжелыхъ лѣтъ конца прошлаго столѣтія, теперь точно гора свалилась съ плечъ у общества, и даже у народа, которому рѣдко бывали чувствительны подобныя перемѣны въ такой степени, какъ тогда. Привлекательная личность молодого императора (при вступленіи на престолъ ему было 23 года) въ замѣчательной степени привязывала къ нему всѣхъ съ самаго начала: его первыя дѣйствія только усиливали радостное впечатлѣніе перемѣны. Освобожденіе множества ссыльныхъ, оставленнаго прежними правленіями, отмѣна разныхъ вопіющихъ стѣсненій, планы гражданскихъ преобразованій — все это было отрадною новизной. Окруженный людьми своего настроенія, императоръ порывисто трудился надъ обширными планами преобразованій. Идеи, оставленныя въ немъ воспитаніемъ и поддержанныя собственной природой, идеи, въ которыхъ соединялось много лучшихъ принциповъ, завѣщанныхъ XVIII-мъ столѣтіемъ, и которыя усиливались самой противоположностью ихъ со слишкомъ извѣстными недостатками и мрачными сторонами русской жизни, — эти идеи становились принципомъ русскаго правительства. «Другъ человѣчества»—по понятіямъ и по выраженію XVIII-го вѣка — съ отрадой взглянулъ бы на эти широкіе планы свободы, справедливости и человѣколюбія.

Это положеніе вещей отразилось тотчасъ же и на умственной жизни общества: въ ней опять началось движеніе послѣ той полной летаргіи, которая лежала на ней въ послѣдніе предыдущіе годы. Это движеніе было, само по себѣ, еще слабо: отъ прошлаго ему досталось весьма ограниченное наслѣдство, но достаточно было снять старые путы, которыми связана была общественная мысль, успокоить ее отъ того страха, подъ которымъ она стояла въ послѣдніе годы, чтобы признаки жизни показались снова. Старые элементы ея стали опять дѣйствовать: съ одной стороны масонскія преданія, съ другой преданія старой французской философіи, и наконецъ новыя попытки, принявшія потомъ форму романтизма. Въ литературѣ явились на сцену общественные вопросы, о которыхъ еще никогда прежде нельзя было говорить съ такой свободой; государственныя учрежденія, гражданскія права, просвѣщеніе, филантропія становились ея темами уже не какъ простая отвлеченность, какъ это бывало прежде, а въ примѣненіяхъ къ русской жизни. Правда, это были еще слабые, невѣрные шаги. Но впереди всѣхъ, несомнѣнно, шло само правительство. Въ эти годы (развѣ за очень немногими исключеніями) лица, стоявшія тогда во главѣ правительства — императоръ и его ближайшіе совѣтники,—представляли собой наиболѣе смѣлыя передовыя стремленія, къ какимъ тогда способно было русское общество. Вопросы, которые ставилъ тогда самъ императоръ, въ извѣстномъ «Comité du salut public», и его ближайшіе довѣренные люди (это были: В. П. Кочубей, Новосильцовъ, П. А. Строгановъ, Чарторыскій, и также ихъ совѣтники, Лагарпъ, Мордвиновъ, А. Р. Воронцовъ), эти вопросы, доходившіе, какъ извѣстно, до конституціонныхъ теорій и освобожденія крестьянъ; усиленныя заботы объ общественномъ образованіи, давшія существованіе новымъ университетамъ и вызывавшія благотворныя и широкія жертвованія частныхъ лицъ для той же цѣли, желаніе открыть путь для общественнаго мнѣнія, — все это были вещи, какихъ только могли желать лучшіе люди либеральнаго образа мыслей. Это была дѣйствительно просвѣщенная забота о народномъ благѣ, которая не могла не увлекать всѣхъ, въ комъ сколько-нибудь были развиты инстинкты этого рода. Словомъ, это былъ медовый мѣсяцъ царствованія....

Онъ продолжался не долго. Его дѣятели потомъ или сошли со сцены, или не имѣли больше прежняго значенія, или сами

измѣнились. Эти первыя стремленія политическо-общественнаго либерализма иные изъ нихъ, вѣроятно, стали считать увлеченіемъ и ошибкой; наши новѣйшіе историки также, повидимому, готовятся окрестить такимъ именемъ эту неудачу либеральныхъ плановъ преобразованія, и обвинить эти стремленія въ «незнаніи русской жизни, народнаго характера» и т. п. Мы думаемъ объ этомъ иначе: вопросъ былъ не въ этомъ «незнаніи», а въ недостаточной твердости характера, въ недостаточной послѣдовательности понятій, — не столько въ свойствахъ почвы, на которой должна была итти работа, сколько въ указанныхъ личныхъ недостаткахъ [1]).

Въ первое время этого періода шла въ особенности оживленная дѣятельность; преобразователи стремились поднять уровень русскихъ учрежденій и образованности до тѣхъ образцовъ, какіе представлялись имъ въ Европѣ, и между прочимъ въ Англіи. Для нѣкоторыхъ изъ нихъ Англія была знакома по собственному опыту; между ними были поклонники англійскихъ учрежденій. Эта страна одна изъ европейскихъ осталась нетронута смутами революціоннаго періода, и это должно было особенно возвышать ея политическій авторитетъ. Но, съ другой стороны, были еще свѣжи вліянія французской философіи, оставившія, между прочимъ, свой слѣдъ въ политической мечтательности, искавшей свободы народовъ, уваженія человѣческихъ правъ и просвѣщенія. Республиканецъ Лагарпъ, сохранившій всю благосклонность императора, нисколько не нарушалъ своимъ присутствіемъ этихъ бесѣдъ объ устройствѣ государства, построеннаго на принципѣ абсолютной монархіи, —и это, конечно, не послѣдняя характеристическая черта господствовавшаго настроенія. Въ параллель съ этимъ, въ числѣ авторитетовъ, которые въ глазахъ реформаторовъ получали особенную цѣну, мы встрѣчаемъ и имя Бентама. Изъ высшихъ правительственныхъ

[1]) Медовый мѣсяцъ не прошелъ безъ печальныхъ симптомовъ. Такова была смерть Радищева. Онъ возвратился теперь въ Петербургъ и снова предался прежнимъ идеаламъ и надеждамъ; но когда ему замѣтили полу-серьезно, что такія фантазіи могутъ опять воротить его въ ту же Сибирь, онъ съ отчаянія принялъ яду. Въ то время ничто еще не грозило такими страшными перспективами, но отчаяніе Радищева, къ сожалѣнію, до нѣкоторой степени оправдалось послѣдствіями: послѣ, когда долженъ былъ миновать порывъ правительственнаго либерализма, Радищевъ долженъ былъ опять сдѣлаться такимъ же невозможнымъ человѣкомъ, какимъ былъ въ 1790 году.

сферъ имя знаменитаго философа права и законодательства перешло и въ общество; сочиненія его имѣли въ Россіи большой успѣхъ, и съ 1805 г. начало выходить собраніе его сочиненій, на русскомъ языкѣ, сдѣланное «по высочайшему повелѣнію». Наконецъ, еще съ перваго времени начались прямыя сношенія съ Бентамомъ, и въ 1814—1815 даже сношенія съ нимъ самого императора. Въ чемъ они состояли, мы увидимъ дальше.

Эти отношенія Бентама къ русскому императору и обществу представляютъ немало любопытныхъ подробностей, которыя намъ и хотѣлось собрать въ настоящей статьѣ: онѣ могутъ послужить для исторіи этого времени. Къ сожалѣнію, кромѣ самой переписки императора Александра съ Бентамомъ (до сихъ поръ еще не являвшейся на русскомъ языкѣ и мало кому извѣстной), мы имѣли слишкомъ немного другихъ фактовъ объ этихъ отношеніяхъ: такіе факты, безъ сомнѣнія, еще найдутся въ историческихъ источникахъ, лежащихъ подъ спудомъ,—мы были бы рады, если бы отсутствіе ихъ въ нашемъ изложеніи дало поводъ къ ихъ извлеченію изъ-подъ спуда...

Мы не можемъ входить здѣсь въ подробности біографіи Бентама или въ характеристику его философско-юридическихъ идей [1]), и ограничимся нѣсколькими данными изъ его біографіи, для связи съ дальнѣйшимъ изложеніемъ.

Іеремія Бентамъ родился въ 1748. Въ качествѣ старшаго сына въ семьѣ онъ предназначался къ карьерѣ отца и дѣда, именно къ юридической. Онъ съ самаго дѣтства обнаруживалъ рѣдкія дарованія, и восьми лѣтъ писалъ уже латинскіе стихи, какихъ, безъ сомнѣнія, не съумѣли бы теперь написать наши профессора классической филологіи; десяти лѣтъ онъ могъ писать письма по-гречески. Двѣнадцати лѣтъ онъ вступилъ въ Оксфордскую коллегію, и вообще все время своего ученья былъ предметомъ всеобщаго изумленія по своимъ необыкновеннымъ знаніямъ: 16-ти лѣтъ онъ былъ уже bachelor of arts, а 18-ти

[1]) Это послѣднее читатель можетъ найти—ограничиваясь общеизвѣстными книгами—у Милля: Dissertations and Discussions (in 3 vol., 1867), т. I, 330—392; у Р. Моля, Gesch. und Literatur der Staatswissenschaften, III, 595—635;—также во введеніи къ русскому изданію «Избранныхъ Сочиненій Бентама» (Спб. 1867).

былъ уже master, т. е. магистръ. Отецъ его заботился о его воспитаніи, всего больше старался дать ему средства сдѣлать себѣ карьеру и, для того, въ Оксфордѣ, хотѣлъ доставить ему случай завязать отношенія съ аристократическими фамиліями; но эти цѣли не удались. Юридическая профессія, въ той формѣ, какъ она была (и еще до сихъ поръ есть) устроена въ Англіи закономъ и обычаями, внушила ему неодолимое отвращеніе: эта масса перепутанныхъ, противорѣчащихъ законовъ, необходимость оказывать уваженіе къ формамъ, совершенно выжившимъ свой смыслъ, необходимость лицемѣрія и уловокъ даже при защитѣ праваго дѣла, все это слишкомъ противорѣчило и его характеру и свойствамъ его ума. Право стало для него не практическимъ занятіемъ, а предметомъ философскаго изученія. У него уже вскорѣ составились первыя представленія той теоріи, развитію и примѣненію которой посвящена была потомъ вся его длинная жизнь. Это—теорія пользы, или, какъ онъ предпочиталъ выражаться позднѣе, теорія величайшаго возможнаго счастія для величайшаго возможнаго числа людей. По его собственнымъ указаніямъ, первыя основы для этой теоріи доставило ему чтеніе Монтескье, Барингтона, Беккаріи и въ особенности Гельвеція; но здѣсь онъ встрѣтилъ только первыя основы, а цѣлое развитіе теоріи было исключительно его собственнымъ трудомъ, который онъ дополнялъ и совершенствовалъ въ теченіе всей своей жизни. Бентамъ былъ ея истиннымъ основателемъ, и онъ же первый далъ ей широкое примѣненіе въ своихъ изслѣдованіяхъ о разныхъ отрасляхъ законодательства. Къ этой теоріи слишкомъ мало подходили англійскіе учрежденія и законы, и Бентамъ съ самыхъ первыхъ размышленій своихъ объ этомъ предметѣ сталъ ожесточеннымъ врагомъ той (очень большой) части англійскаго законодательства, которая была загромождена хламомъ средневѣковыхъ формъ. Блэкстонъ, авторитетъ англійскихъ казуистовъ, одинъ изъ первыхъ испыталъ на себѣ уничтожающую силу критики Бентама, опиравшейся на принципъ пользы. Впослѣдствіи, на этомъ пути Бентамъ сталъ главою и представителемъ англійскаго радикализма.

Первымъ нѣсколько значительнымъ трудомъ его былъ «Отрывокъ о Правительствѣ», вышедшій безъ имени автора въ1776 г. и направленный противъ Блэкстона, какъ апологиста «счастливой конституціи». Эта книжка произвела сильное впе-

чатлѣніе; ее приписывали различнымъ изъ лучшихъ юристовъ и знатоковъ англійскихъ учрежденій, и когда наконецъ имя автора разгласилось, эта брошюра начала собой славу Бентама и уже въ это время сблизила его со многими замѣчательными людьми въ Англіи и во Франціи. Черезъ два года является его сочиненіе о тюремномъ вопросѣ (A view of the Hard-Labour Bill, 1778); затѣмъ «Опытъ о началахъ нравственности и законодательства», напечатанный уже въ 1780, но вышедшій только въ 1789,—«Опытъ», который вмѣстѣ съ трактатами о гражданскомъ и уголовномъ кодексѣ, написанными послѣ, составляетъ основаніе всей системы Бентама. Въ началѣ 1780-хъ годовъ извѣстность Бентама была уже довольно велика не только въ Англіи, гдѣ онъ имѣлъ уже немало друзей и почитателей, но и во Франціи: въ это время мы видимъ его въ перепискѣ съ д'Аламберомъ, Морелле и въ дружескихъ отношеніяхъ съ знаменитымъ впослѣдствіи жирондистомъ Бриссо. Въ 1875—87 г. онъ сдѣлалъ большое путешествіе по Европѣ, о которомъ мы упомянемъ дальше и цѣлью котораго была Россія, гдѣ младшій братъ его, Самуилъ, былъ въ то время на службѣ, при Потемкинѣ.

Было бы слишкомъ долго исчислять его труды, которые шли непрерывно, углубляясь все дальше въ изслѣдованіе сущности закона, въ критику существующихъ законодательствъ, въ подробное развитіе утилитарной теоріи для всѣхъ возможныхъ ея примѣненій въ правѣ и учрежденіяхъ. Но сочиненія Бентама только изрѣдка появлялись въ свѣтъ; большая часть ихъ лежала у него въ рукописяхъ. У него самого не было, кажется, ни особенной торопливости дѣлать ихъ извѣстными, ни того, совсѣмъ особеннаго таланта, который могъ бы сдѣлать ихъ изложеніе доступнымъ и привлекательнымъ для большой публики,—что, конечно, необходимо было и для самаго распространенія ученій Бентама. Около 1788 начинается его знакомство, превратившееся потомъ въ тѣсную дружбу, съ женевцемъ Дюмономъ, который сталъ для Бентама почти необходимымъ дополненіемъ, какъ даровитый популярный истолкователь его идей.

Имя Дюмона имѣетъ такое мѣсто въ исторіи трудовъ Бентама, что здѣсь кстати сообщить о немъ нѣсколько біографическихъ свѣдѣній, тѣмъ больше, что Дюмону принадлежитъ, какъ увидимъ, извѣстная роль въ распространеніи идей Бентама и въ русскомъ обществѣ, въ первые годы импер. Алек-

сандра [1]). Дюмонъ (Пьеръ-Этьеннъ-Луи) родился въ 1759 г., въ Женевѣ, и происходилъ отъ французскаго рода, выселившагося изъ Франціи вслѣдствіе религіозныхъ преслѣдованій. Дюмонъ рано лишился отца, и своимъ основательнымъ, даже ученымъ образованіемъ былъ обязанъ усиліямъ своей матери. Она содержала школу, и Дюмонъ, еще мальчикомъ, помогалъ своей матери въ преподаваніи уроковъ. Затѣмъ онъ выбралъ себѣ теологическую профессію и, кончивъ съ успѣхомъ свой курсъ, въ 1781 г. сталъ протестантскимъ пасторомъ. Онъ привлекалъ многочисленную аудиторію и могъ расчитывать на карьеру, если бы его мнѣнія, повидимому, слишкомъ либеральныя для господствовавшей тогда партіи, не заставили его покинуть Швейцарію. Въ 1782 г. онъ отправился въ Петербургъ, гдѣ жили тогда три его замужнія сестры,—и здѣсь онъ былъ назначенъ пасторомъ французской протестантской церкви [2]). Въ Петербургѣ онъ скоро пріобрѣлъ репутацію, но уже черезъ полтора года покинулъ его и отправился въ Англію, гдѣ сдѣлался воспитателемъ сыновей лорда Лансдоуна. Этотъ лордъ вскорѣ замѣтилъ его большія дарованія и, оставивъ за нимъ только общее наблюденіе за воспитаніемъ своихъ дѣтей, воспользовался его услугами и для другихъ цѣлей, — именно Дюмонъ помогалъ его политическимъ работамъ и исполнялъ редакцію тѣхъ рѣчей и изложеній, которыя нужны были лорду на трибунѣ. Лордъ доставилъ ему и какое-то оффиціальное положеніе и синекуру. Лансдоунъ былъ однимъ изъ друзей Бентама. Дюмонъ встрѣтился здѣсь съ различными извѣстными политическими людьми, что, конечно, не осталось безъ вліянія на его политическую опытность, напр. съ Шериданомъ, Фоксомъ, лордомъ Голландомъ, также съ Ромильи, знаменитымъ англійскимъ юристомъ того времени, и, наконецъ, вступилъ въ отношенія съ самимъ Бентамомъ. Эти отношенія уже вскорѣ, какъ мы замѣтили, перешли въ тѣсную службу и затѣмъ—въ оригинальное сотрудничество. 1789-й годъ, повидимому, произвелъ на него особенное впечатлѣніе: Дюмонъ оставилъ свое выгодное положеніе въ

---

[1]) Краткая біографія Дюмона, написанная Паризо, находится въ Biographie universelle (Michaud). Paris 1855. т. XI, 528.

[2]) Бентамъ, въ одномъ изъ писемъ къ брату Самуилу, говоритъ о Дюмонѣ: «he has a mother and sisters, or other near relations, settled at Petersburg, in some line of t r a d e, and was in Russia as b e a r l e a d e r (т. е. пасторъ) for many years». Works, X, 249.

Англіи, чтобы найти себѣ дѣло въ новомъ порядкѣ вещей, открывавшемся во Франціи. Прочнаго положенія онъ здѣсь не нашелъ, но, тѣмъ не менѣе, онъ дѣятельно замѣшался въ событія. Онъ сошелся съ Мирабо и въ его ближайшемъ кружкѣ игралъ значительную, почти руководящую роль. Когда Мирабо началъ изданіе своего «Провансальскаго Курьера» (le Courrier de Provence), редакція его главнымъ образомъ была на рукахъ Дюмона. Французскій біографъ Дюмона положительно говоритъ, что Мирабо много у него заимствовалъ и что адресъ Мирабо къ королю объ удаленіи войскъ былъ написанъ Дюмономъ; Бентамъ говоритъ также, что Дюмону принадлежали многіе изъ адресовъ Мирабо къ избирателямъ [1]).... Но событія принимали во Франціи слишкомъ грозный видъ, и Дюмонъ, въ 1791 году, еще до болѣзни Мирабо, повлекшей за собою его смерть, оставилъ Францію и, послѣ краткаго пребыванія въ Швейцаріи, опять переселился въ Англію.... Отказавшись теперь отъ политики, онъ занялся исключительно литературными трудами: это было его ревностное изученіе и распространеніе идей Бентама.

«Одною изъ особенностей характера Дюмона было то,— замѣчаетъ вѣрно его біографъ,—что онъ всегда шелъ за кѣмъ-нибудь другимъ». Первыми его патронами были лордъ Лансдоунъ и Мирабо; теперь ему нуженъ былъ третій: это былъ Бентамъ. Первое сближеніе ихъ относится, кажется, къ 1788 году, когда Дюмонъ познакомился съ трудами Бентама, которые сообщилъ ему въ рукописи упомянутый близкій другъ Бентама, Ромильи. Дюмонъ былъ пораженъ ихъ оригинальностью и силой и нашелъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, что они «достойны служить дѣлу свободы», которому хотѣлъ служить онъ самъ. Дюмонъ предложилъ французское изданіе рукописей Бентама; лордъ Лансдоунъ горячо рекомендовалъ его способность къ дѣлу, Бентамъ согласился, и Дюмонъ съ тѣхъ поръ посвятилъ значительную часть своей жизни переводу, обработкѣ и изданію сочиненій Бентама. Въ объясненіе этого надо вспомнить, что, при всемъ громадномъ объемѣ своихъ трудовъ, Бентамъ очень мало заботился, а можетъ быть и вовсе не умѣлъ давать имъ такую форму, которая бы дѣлала ихъ тотчасъ доступными для большого круга читателей. Такія литературныя соображенія никогда не приходили ему въ голову.

---

[1]) Lettres à ses comettans,—Works X, 185.

Не только содержаніе его изслѣдованія, всегда строго-методическое, доходящее обыкновенно отъ общей темы до всѣхъ ея подробностей однимъ путемъ логическихъ выводовъ и комбинацій; но и самая внѣшняя форма, выборъ словъ, нерѣдко вновь составленныхъ для нужной ему терминологіи, постройка фразы, отражающая въ себѣ математическую постройку мысли, и вслѣдствіе того нерѣдко очень сложная, — потому что въ объемѣ одного періода авторъ всегда старается совмѣстить и всѣ объяснительныя подробности мысли,—все это часто дѣлаетъ чтеніе Бентама довольно труднымъ для читателя обыкновеннаго. У самого Дюмона не было, конечно, такого запаса идей, какъ у его учителя, но у него были другія свойства, прекрасно дополнявшія указанные недостатки Бентама: ревностный партизанъ идей Бентама, связанный съ нимъ личной дружбой, самъ несомнѣнно умный и талантливый писатель, онъ былъ для Бентама драгоцѣннымъ редакторомъ и издателемъ. Дюмонъ не ограничивался ролью вѣрнаго ученика: онъ часто помогалъ учителю, когда передавалъ по-французски его труды, — онъ придавалъ привлекательность сухому изложенію Бентама, объяснялъ его примѣрами обыденной жизни, сообщалъ ему легкую, общедоступную форму. Въ своей работѣ Дюмонъ нерѣдко обращался къ Бентаму за объясненіями и дополненіями, гдѣ считалъ это нужнымъ для обыкновеннаго читателя, и всего чаще сокращалъ то, что казалось ему больше важнымъ для методическаго развитія предмета, чѣмъ нужнымъ для непосредственнаго дѣйствія на умы, и т. п. Своими трудами, которые были весьма продолжительны и многочисленны, Дюмонъ оказалъ вообще великую услугу и самому Бентаму и европейской литературѣ, гдѣ черезъ Дюмона сочиненія Бентама пріобрѣли популярность, которую труднѣе было бы получить ихъ подлинному тексту. Первый опытъ подобнаго изложенія Бентама Дюмонъ сдѣлалъ въ упомянутомъ «Провансальскомъ Курьерѣ». Затѣмъ слѣдуетъ цѣлый рядъ французскихъ обработокъ Бентама, которыя было бы долго перечислять. Замѣтимъ только, что многія сочиненія являлись въ свѣтъ впервые именно на французскомъ языкѣ; между прочимъ, до изданія Боуринга (1843 г.) на англійскомъ языкѣ не были изданы даже такія вещи, какъ знаменитая «Тактика народныхъ собраній» (Tactique des assemblées législatives) и «Теорія наградъ и наказаній» (Théorie des Peines et des Récompenses, 1811), не говоря о другихъ.

Эти труды въ особенности занимали Дюмона въ послѣднее десятилѣтіе [XVIII] вѣка и въ первое десятилѣтіе нынѣшняго. Послѣ паденія Наполеона, Дюмонъ, съ возстановленіемъ независимости его отечества, поселился въ Женевѣ, и до самой смерти оставался тамъ членомъ представительнаго совѣта; въ этомъ качествѣ онъ принималъ участіе въ законодательствѣ и администраціи женевской республики,—ему въ особенности обязана своимъ устройствомъ пенитенціарная тюрьма въ Женевѣ, одинъ изъ образцовъ подобнаго рода учрежденій; ему принадлежитъ также замѣчательный уставъ представительнаго совѣта. Дюмонъ умеръ въ сентябрѣ 1829 г.

Сотрудничество Дюмона дало большое распространеніе сочиненіямъ Бентама; впрочемъ, они и еще гораздо раньше замѣчены были первостепенными умами, и Бентамъ, какъ мы сказали, еще съ начала 1780-хъ годовъ началъ учено-политическую корреспонденцію съ разными замѣчательными людьми своего времени, корреспонденцію, которая потомъ распространилась до чрезвычайно обширныхъ размѣровъ.

По смерти отца (1792 г.), Бентамъ получилъ независимое состояніе, которое доставило ему полную возможность спокойно предаться своимъ занятіямъ. Онъ поселился совершенно уединеннымъ образомъ и неутомимо работалъ до самаго конца своей долгой жизни. Революціонное движеніе во Франціи возбудило все его вниманіе; онъ обращался къ національному собранію съ своими критико-законодательными трудами, и въ 1792 году (26 августа) національное собраніе дало ему право французскаго гражданства вмѣстѣ съ нѣсколькими другими замѣчательными современниками [1]). Въ средѣ собранія находился одинъ изъ его близкихъ друзей, знаменитый жирондистъ Бриссо, уже въ слѣдующемъ году казненный на гильотинѣ. Въ мемуарахъ Бриссо остались его восторженные отзывы о Бентамѣ и замѣчанія о его обширныхъ фактическихъ изученіяхъ, которыя распространились теперь, кромѣ законодательства самой Англіи, и на законодательства другихъ странъ Европы,—между прочимъ и Россіи. Бриссо, знавшій Бентама еще въ 1780-хъ годахъ, сравнивалъ его дѣятельность съ трудами знаменитаго филантропа Говарда.

---

[1]) По этому декрету 26 августа получили французское гражданство: Джозефъ Пристли, Томасъ Пэнъ, Іеремія Бентамъ, Вильямъ Вильберфорсъ, Джемсъ Макинтошъ, Кампе, Песталоцци, Вашингтонъ, Клопштокъ, Костюшко и нѣк. др. (Bentham, Works X, 281).

Упомянувъ въ запискахъ о старанiяхъ Бентама распутать лабиринтъ англiйскаго законодательства, Бриссо, между прочимъ, говоритъ:

«Проникнувъ въ глубину этой пропасти, Бентамъ, прежде чѣмъ предложить какой-нибудь способъ реформы, желалъ изучить уголовную юриспруденцiю всѣхъ другихъ европейскихъ нацiй, и какъ ни громадно было подобное предпрiятiе, оно не останавливало ревности человѣка, котораго одушевляла любовь къ общественному благу.

«Эти кодексы, большей частью, можно было найти только на языкахъ тѣхъ нацiй, у которыхъ они употреблялись. Поэтому Бентамъ прiобрѣлъ знанiе всѣхъ этихъ языковъ, одного за другимъ. Онъ отлично говорилъ (и писалъ) по-французски, зналъ итальянскiй, испанскiй и нѣмецкiй языки; я видѣлъ, какъ онъ занимался шведскимъ и русскимъ» [1]).

Побужденiя къ этимъ трудамъ были одни, а именно, — Бентамъ проникнутъ былъ горячимъ стремленiемъ быть полезнымъ своими трудами кому бы то ни было. Истинная любовь къ человѣчеству—въ истинномъ и обширнѣйшемъ смыслѣ этого слова—рѣдко одушевляла писателя такъ, какъ она одушевляла Бентама; и его ученiе, какъ ни ограничиваютъ его великiй смыслъ ученые формалисты права, — такъ сильно возбуждало стремленiе къ народному благу, заключало въ себѣ столько глубокихъ указанiй и руководствъ, что Бентамъ уже скоро сталъ великимъ авторитетомъ для общественныхъ дѣятелей и писателей тогдашняго либерализма. Люди, для которыхъ вопросъ общественнаго блага былъ вопросомъ совѣсти и гражданской обязанности, люди, игравшiе практическую роль въ общественныхъ и народныхъ движенiяхъ, обращались къ нему за совѣтами изъ всѣхъ концовъ образованнаго мiра,—изъ различныхъ странъ Европы: Францiи, Италiи, Швейцарiи, Германiи, Грецiи (когда она вооружалась на завоеванiе своей независимости), изъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ, и, наконецъ, даже изъ республикъ Южной Америки.—Многолѣтнiе труды, неизмѣнная строгость, даже суровость убѣжденiя, пламенная ревность къ установленiю справедливости и людского благосостоянiя, доставили, наконецъ, Бентаму высокое нравственное значенiе, представляющее мало примѣровъ въ европейской литературѣ.

[1]) Mémoires de Brissot, publiés par son fils, 4 voll. Paris, 1830, vol. II. Bentham, Works X, 193.

Робертъ Моль, сравнивая Бентама съ Макіавелли по геніальной глубинѣ и оригинальности идей, замѣчаетъ о немъ: «Но если мы и отложимъ въ сторону сравненіе и возьмемъ Бентама самого по себѣ, онъ представляетъ собой, безъ сомнѣнія, одно изъ замѣчательнѣйшихъ явленій во всей исторіи политическихъ наукъ. Немногіе могутъ равняться съ нимъ, если только ктонибудь можетъ, въ самостоятельности мысли, въ такомъ рѣдкомъ соединеніи аналитической проницательности съ одной стороны и твердой выдержки господствующаго принципа съ другой, при смѣлой энергіи и святой ревности къ тому, что признано хорошимъ. Немногіе въ такую долгую жизнь [1]) мыслили такъ послѣдовательно и безъ перерывовъ, такъ много написали и сказали такъ много новаго и такимъ особеннымъ образомъ, какъ Бентамъ. И его труды еще при жизни увѣнчались великимъ успѣхомъ. Хотя онъ все больше и больше удалялся отъ властителей, но черезъ своихъ послѣдователей онъ имѣлъ, однако, значительное вліяніе на многіе вопросы государственной политики и права, и еще болѣе могущественное вліяніе по своимъ идеямъ, которыя мало-по-малу окольными путями и, отчасти, несмотря на встрѣтившія ихъ сначала недоброжелательство и насмѣшку, перешли въ общее сознаніе. Онъ, сорокъ лѣтъ жившій совершеннымъ пустынникомъ, и кромѣ того, вовсе не старавшійся о томъ, чтобы помочь торопливому и избалованному свѣту понимать его, сталъ великой силой—своимъ умомъ, волей и своимъ служеніемъ истинѣ».

Непосредственно связанный съ преданіями XVIII-го вѣка, подъ вліяніемъ которыхъ самъ онъ воспитывался, Бентамъ своей личностью связываетъ старое умственное и общественное движеніе съ новымъ. Въ Англіи онъ сталъ главой радикализма,—хотя никогда не игралъ непосредственной политической роли;—въ литературѣ остался до сихъ поръ первостепеннымъ органомъ журналъ «Westminster Review», которому онъ положилъ основаніе въ 1823. На европейскомъ континентѣ онъ былъ однимъ изъ любимыхъ авторитетовъ для мыслящихъ людей той части общества, которой принадлежали революціонныя движенія 20-хъ

[1]) Бентамъ умеръ на 84-мъ году; онъ родился очень слабымъ ребенкомъ; былъ очень малосильнымъ и хрупкимъ юношей, почти карликомъ по росту; но чѣмъ дальше, онъ становился все здоровѣе и крѣпче, наслаждался свѣжей и здоровой старостью и неутомимо работалъ до послѣднихъ дней жизни.

годовъ. Въ наукѣ онъ остается глубокимъ мыслителемъ и критикомъ, идеи котораго заключаютъ въ себѣ богатыя основанія для будущаго развитія.

Такова была личность, вліяніе которой распространилось въ первые годы императора Александра на указанный выше слой русскаго образованнаго общества. Эти прямыя отношенія Бентама къ русскому обществу не были ни слишкомъ глубоки, ни слишкомъ продолжительны; этого и естественно, конечно, ожидать, потому что русская жизнь не была въ состояніи переварить тѣхъ запросовъ свободы и справедливости, которые выражались всей дѣятельностью Бентама. Къ нему обратились въ первомъ порывѣ либеральныхъ увлеченій, и потомъ отдалились отъ него, какъ скоро ближе поняли силу и строгость его ученія. Таковъ былъ общій смыслъ этихъ отношеній.—Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ довольно матеріала для точнѣйшаго указанія этихъ отношеній, хотя, впрочемъ, и то, что мы представляемъ здѣсь читателю, кажется, еще не было извѣстно въ русской литературѣ.

Когда въ началѣ царствованія императора Александра заговорили о Бентамѣ и потомъ обратились къ нему за содѣйствіемъ для «составленія законовъ»,—онъ не былъ чуждъ русской жизни, ея нравамъ и учрежденіямъ. Онъ еще раньше успѣлъ ознакомиться съ ними до извѣстной степени.

Первыя встрѣчи Бентама съ русскими,—какія мы находимъ въ его біографіи,—относятся, кажется, къ 1770-му году. Ему было еще только двадцать два года; онъ провелъ тогда нѣсколько времени въ Парижѣ и здѣсь познакомился съ Форстеромъ [1]), который былъ капелланомъ при англійскомъ посольствѣ въ Петербургѣ. «Это былъ родъ пастора-атеиста—замѣчаетъ Бентамъ—и обо всемъ онъ говорилъ съ большимъ легкомысліемъ. Русскіе обычаи (во время жизни въ Петербургѣ) пришлись къ его лѣнивой натурѣ. Въ моей жизни было тогда событіемъ—говорить съ человѣкомъ, который жилъ въ дипломатическихъ кругахъ и путешествовалъ такъ далеко. Онъ познакомилъ меня со многими русскими: между ними было двое братьевъ Татищевыхъ (Tatischevs), которые питали другъ къ другу дѣтскую привязанность и диспуты которыхъ о достоинствахъ Монтескьё были очень забавны. Споры вертѣлись на фундамен-

[1]) Въ другихъ мѣстахъ онъ называется и Фостеромъ,—что вѣрнѣе, не знаемъ.

тальныхъ принципахъ, и это были фундаментальныя нелѣпости,— вѣчные мелочные споры о словахъ, которымъ они не могли дать опредѣленнаго смысла и которыя понимали различно, какъ напр. честь, добродѣтель, страхъ» и т. п. [1]).

Объ этихъ Татищевыхъ біографъ Бентама упоминаетъ еще въ другомъ мѣстѣ. Бентамъ очень любилъ этихъ двухъ братьевъ. «Они были величайшіе поклонники императрицы Екатерины, которая была для нихъ чуть не божествомъ, и они такъ хвалили ея esprit de législation, что Бентамъ желалъ бы получить приглашеніе въ ея службу и охотно посвятилъ бы Россіи свои труды» [2]).

По всей вѣроятности, это знакомство съ братьями Татищевыми было не единственной встрѣчей Бентама съ русскими. Но болѣе непосредственное знакомство съ Россіей доставило ему путешествіе, предпринятое имъ въ Россію въ 1785 году и составляющее не безъинтересный эпизодъ въ біографіи Бентама и въ знакомствѣ его съ Россіей. Бентаму хотѣлось главнымъ образомъ посѣтить своего младшаго брата Самуила, который выѣхалъ въ Россію и въ то время находился на службѣ при Потемкинѣ [3]). Братъ, вѣроятно, приглашалъ его посмотрѣть Россію, но, повидимому, были приглашенія и со стороны Потемкина. Въ 1785 Бентамъ пишетъ одному изъ своихъ друзей: «Я все еще жду писемъ изъ Петербурга... По грѣхамъ моимъ, я имѣю дѣло съ лѣнивѣйшимъ человѣкомъ самой лѣнивой націи на лицѣ земли Всемогущаго Бога» (рѣчь идетъ о Потемкинѣ). «Я пишу ему одно письмо за другимъ, по дѣлу чисто его собственному. Онъ, какъ говорятъ, выражаетъ большое удовольствіе; а какъ вы думаете, чѣмъ онъ это доказываетъ? Вы предположите, что онъ отвѣчаетъ. Нисколько; онъ приказываетъ переводить мои письма съ моего французскаго (dog French) на русскій, для какой цѣли или употребленія, я не имѣю претензіи угадывать, только никакъ не для его собственнаго употребленія; такъ какъ онъ почти столько же знакомъ съ французскимъ, какъ и съ русскимъ языкомъ. Впрочемъ, онъ говоритъ, что скоро напишетъ, и на этомъ дѣло теперь стоитъ» [4]).

---

[1]) Works; Memoirs and Correspondence; X, стр. 67. Дальше, стр. 117, въ его разсказахъ упоминается имя гр. Воронцова.

[2]) Works, X, 181.

[3]) Works, X, 175.

[4]) X, 139.

Самъ Бентамъ называетъ свое путешествіе въ Россію просто визитомъ къ своему брату, и мы дѣйствительно не видимъ, чтобы онъ занимался въ Россіи чѣмъ-нибудь инымъ, кромѣ своихъ обычныхъ юридическихъ и законодательныхъ изысканій: «собственное дѣло» Потемкина, для котораго былъ нуженъ Іеремія Бентамъ, ограничивалось, кажется, только тѣмъ, что Самуилъ Бентамъ указалъ Потемкину своего брата, какъ человѣка, который можетъ собрать въ Англіи различныя нужныя для него свѣдѣнія и исполнить нѣкоторыя порученія. Онъ дѣйствительно ихъ и исполнилъ.

Самуилъ Бентамъ уже давно, съ 1774 г., находился въ Россіи. Іеремія питалъ къ нему большую привязанность. «Генералъ Бентамъ,—разсказывалъ онъ послѣ,—отличался талантомъ изобрѣтательности, и у него было множество плановъ механическихъ улучшеній. Однимъ изъ его проектовъ было создать неизмѣнную температуру для хронометра. Письма брата доставляли мнѣ великое удовольствіе. Онъ оставилъ Вестминстерскую школу до окончанія полнаго курса; но онъ уже могъ писать греческіе стихи... Когда онъ оставлялъ Англію въ 1774 г. (отправляясь въ Россію), онъ имѣлъ съ собою не меньше восьмидесяти шести рекомендательныхъ писемъ. За три недѣли до отъѣзда, онъ, чтобы привыкнуть къ новому образу жизни, ложился спать на полу» [1]).

Передъ своимъ путешествіемъ въ Россію, Бентамъ—разсказываетъ его біографъ—собралъ обширное количество свѣдѣній по предметамъ земледѣлія, торговли и мануфактуръ; они были нужны для введенія всякаго рода улучшеній, задуманныхъ княземъ Потемкинымъ, къ которому на службу поступилъ тогда его братъ. Бентамъ говоритъ о Самуилѣ, что онъ приглашенъ былъ на эту службу какъ «Jack of all trades»,—какъ строитель кораблей, канатный мастеръ, парусникъ, винокуръ, пивоваръ, солодовникъ, кожевникъ, мастеръ стекляннаго производства, горшечникъ, прядильщикъ пеньки, кузнецъ и мѣдникъ. По нѣкоторымъ изъ этихъ спеціальностей и нужны были тѣ свѣдѣнія, которыя собиралъ Іеремія и долженъ былъ привезти съ собой. Бентамъ еще по дорогѣ въ Россію писалъ Потемкину о своемъ путешествіи и исполненіи его порученій. Между прочимъ, Потемкинъ прислалъ ему вексель въ 500 фунтовъ, чтобы доставить

---

[1]) X, 160.

въ Крымъ «знающаго человѣка для садоводства». Біографъ Бентама, вѣроятно съ его словъ, говоритъ о планахъ Потемкина такимъ образомъ: «Намѣреніе Потемкина состояло, кажется, въ томъ, чтобы пересадить британскую цивилизацію и образованность en masse въ Бѣлоруссію; какъ будто бы всѣ почвы были одинаково удобны для возрастанія и развитія капитала, знанія и промышленности. Онъ потерпѣлъ неудачу, какъ терпѣли эту неудачу всѣ, кто забывалъ, что ходъ мысли, чтобы быть вѣрнымъ, долженъ быть медленнымъ; что онъ долженъ постепенно создавать вокругъ себя средства и примѣненія; что введеніе одного или сотни, просвѣщенныхъ иностранцевъ въ страну еще недостаточно для ея просвѣщенія; что всѣ преждевременныя попытки засѣвать неприготовленную почву не дадутъ производительной жатвы. Потемкинъ, кажется, щедро разсѣивалъ свое богатство и пользовался своимъ вліяніемъ; онъ былъ даже довольно счастливъ въ орудіяхъ, отъ которыхъ онъ ожидалъ успѣха; но успѣхъ былъ невозможенъ по самой природѣ вещей: оттого его деньги были растрачены и могущество употреблено понапрасну»[1]).

Цѣлью путешествія Бентама было мѣстечко Кричевъ, въ Бѣлоруссіи, принадлежавшее Потемкину, гдѣ жилъ тогда Самуилъ. Онъ нашелъ «знающаго человѣка» и взялъ его съ собой: этотъ человѣкъ имѣлъ ботаническія свѣдѣнія, которыя особенно требовались. Онъ взялъ также женщину, знавшую молочное и сыроварное дѣло, для фермы, которую Потемкинъ намѣренъ былъ устроить у себя въ томъ великолѣпномъ стилѣ, который тогда входилъ въ моду въ Англіи. Кромѣ того, была еще другая женщина, взятая, вѣроятно, для той же цѣли. Эти трое людей отправлялись на счетъ Потемкина; но Бентамъ ѣхалъ на свой счетъ. Бентамъ оставилъ Англію въ началѣ августа 1785 г., и отправился черезъ Парижъ и Францію въ Ниццу, гдѣ долженъ былъ сѣсть на англійскій корабль, отправлявшійся въ Смирну. Въ Смирнѣ онъ пробылъ мѣсяцъ и оттуда отправился на турецкомъ кораблѣ; въ Архипелагѣ онъ пересѣлъ опять на англійскій, и выдержавъ страшную бурю въ Мраморномъ морѣ, благополучно прибылъ въ Константинополь. У него были рекомендательныя письма въ европейскій дипломатическій кругъ этой столицы—кромѣ англійскаго посольства, къ императорскому

---

[1]) X, 147—148.

(австрійскому) интернунцію, французскому посланнику; между прочимъ, черезъ одного изъ своихъ соотечественниковъ, онъ познакомился съ русскимъ посланникомъ Булгаковымъ. «Бентамъ — разсказываетъ его біографъ (конечно, съ его словъ) — ожидалъ встрѣтить какого-нибудь калмыцкаго варвара, но это былъ замѣчательно красивый человѣкъ (singularly handsome person), котораго нельзя было отличить отъ наилучше образованныхъ европейцевъ. Впрочемъ, въ его отелѣ, — хотя тамъ обѣдали между часомъ и двумя, — гости, даже при парадномъ столѣ, обыкновенно передъ обѣдомъ долго играли въ карты. Бентамъ замѣтилъ чрезвычайное разнообразіе блюдъ и былъ польщенъ тѣмъ вниманіемъ, какое ему оказывалось, и почетнымъ мѣстомъ, какое ему дали. Министръ съ энтузіазмомъ говорилъ о своей странѣ, и утверждалъ, что даже снѣгъ и ледъ въ Россіи больше блестятъ, чѣмъ въ другихъ странахъ. Бентамъ уронилъ себя во мнѣніи министра тѣмъ, что послѣ этого обѣда не сдѣлалъ ему визита. Виной ошибки была отчасти его врожденная робость [1]), отчасти незнаніе свѣтскихъ обычаевъ, которое осталось у него отъ его узкаго, и какъ онъ самъ всегда говорилъ, «жалкаго» воспитанія. Тѣ же чувства ему помѣшали сдѣлать визитъ къ французскому посланнику, графу Шуазелю» [2]).

Своихъ спутниковъ — «знающаго человѣка» съ двумя женщинами, Бентамъ оставилъ въ Константинополѣ, и былъ этому радъ; потому что этотъ человѣкъ не отличался своими нравственными качествами. Знающій человѣкъ пріѣхалъ также въ Россію, но его карьера здѣсь окончилась, кажется, плохо.

Изъ Константинополя, гдѣ пробылъ мѣсяца полтора, Бентамъ отправился сухимъ путемъ, черезъ Болгарію и Бухарестъ, и въ половинѣ января 1786 г. былъ въ Кременчугѣ. При незнаніи русскаго языка и обычаевъ, путешествіе Бентама и потомъ жизнь въ Россіи не обошлись безъ маленькихъ приключеній, на дорогѣ, въ карантинахъ и таможняхъ и въ разныхъ встрѣчахъ съ мѣстными жителями. Въ Кременчугѣ онъ былъ на обѣдѣ у губернатора. «На столѣ — такъ разсказываетъ онъ — была серебряная посуда, но ножи и вилки были желѣзные, очень грязные, и ихъ не перемѣняли вмѣстѣ съ блюдами, — блестящія люстры русскаго

---

[1]) Когда во время этого путешествія Бентамъ былъ въ Парижѣ, онъ по той же застѣнчивости не рѣшился посѣтить д'Аламбера, хотя уже прежде былъ съ нимъ въ перепискѣ.

[2]) X, 149—153.

стекла,—восемь или десять цвѣтныхъ свѣчей на столѣ, въ мѣдныхъ подсвѣчникахъ,—красное сладкое вино съ Дона,—крѣпкое Кипрское, также Сотернъ, Mountain и Muscadine, былъ также Burton ale. Всѣ джентльмены были въ сапогахъ, хотя было много дамъ... Между обѣдомъ и ужиномъ церковные пѣвчіе пѣли антифоны (anthems), также украинскія пѣсни и нѣсколько русскихъ пѣсенъ. Нѣкоторые изъ гостей, особенно военные, прибыли издалека. Вечеръ прошелъ въ карточной игрѣ, и люди, получавшіе не больше 600 р. жалованья, проигрывали по 800 р. въ одинъ день. Всѣ играли въ большую игру» [1]...

Бентамъ упоминаетъ объ огромной игрѣ Потемкина, Орлова и другихъ, о которой, конечно, ходили разсказы.

Онъ интересовался русской арміей и приводитъ о ней нѣкоторыя замѣчанія и цифры; между прочимъ, онъ замѣтилъ солдатскую артель.

Наконецъ, онъ прибылъ въ Кричевъ, мѣстечко на югѣ отъ Мстиславля, въ Могилевской провинціи. Почти все время своей жизни у брата, Бентамъ провелъ въ имѣніи, которое онъ называетъ Zadobras, близъ Кричева. «Заведеніе (establishment), во главѣ котораго стоялъ сэръ Самуилъ, тогда полковникъ Бентамъ, было устроено по волѣ Потемкина, для введенія разныхъ мануфактурныхъ производствъ въ этой части Россіи. Сюда были приглашены мастера кожевеннаго дѣла, садовникъ и разные другіе ремесленники и механики». Сэру Самуилу былъ данъ родъ военной власти, но его управленіе нарушалось большими раздорами и даже анархіей; однажды, для внушенія субординаціи, приведена была даже военная сила. Здѣсь были нѣмцы, англичане, итальянцы; смѣшеніе языковъ дѣлало несогласіе еще болѣе раздражительными, и тамъ Іеремія Бентамъ, часто не бывавшій въ городкѣ по цѣлымъ недѣлямъ, бывалъ также жертвою этихъ несогласій и недоразумѣній. Ему случилось испытать на себѣ и неудобства русскихъ судебныхъ порядковъ: однажды онъ былъ арестованъ и имущество его взято подъ секвестръ за долгъ, будто сдѣланный его братомъ. Бентаму пришлось переписываться съ могилевскимъ судомъ. «Кричевскій опытъ—говоритъ еще біографъ Бентама—былъ безразсудной попыткой водворить въ варварской части Россіи всѣ отрасли цивилизаціи. Это былъ конекъ Потемкина, стоившій ему многихъ тысячъ фунтовъ.

---

[1]) X, 159.

Имѣнье Zadobras имѣло минутную славу—оно было прекрасно, но потомъ пришло въ упадокъ. Это былъ одинъ изъ двухъ цивилизаторскихъ плановъ Потемкина: одинъ дѣлался подъ надзоромъ полковника Бентама, имѣвшаго большую изобрѣтательность, знанія и талантъ; другой сдѣланъ былъ подъ надзоромъ нѣмца Сталя» [1])... Бентамъ, какъ мы упоминали, очень высоко цѣнилъ талантъ своего брата; и между прочимъ, во время пребыванія въ Кричевѣ увлекался однимъ его изобрѣтеніемъ въ судостроеніи: Самуилъ выдумалъ особаго рода судно, которое онъ называлъ червеобразнымъ (Vermicular), и которое устраивалось изъ цѣлаго ряда особымъ образомъ соединенныхъ отдѣльныхъ частей или судовъ: цѣлое судно могло или держаться въ неизмѣнномъ прямомъ направленіи, или же сгибаться въ ту или другую сторону, какъ понадобится. Бентамъ описывалъ это изобрѣтеніе въ письмахъ къ своимъ друзьямъ и рекомендовалъ его въ Англіи; опыты, сдѣланные въ большихъ размѣрахъ на русскихъ рѣкахъ, напр. на Днѣпрѣ, оказались удачны, и изобрѣтателю хотѣлось испытать свое судно на морѣ,—но дѣло, кажется, подъ конецъ не состоялось.

Тому же Самуилу принадлежала основная мысль изобрѣтенія, которое Бентамъ примѣнилъ въ своемъ знаменитомъ «Паноптиконѣ» къ пенитенціарной системѣ тюремъ. Дѣло въ томъ, что Самуилъ, исполняя въ Кричевѣ планы Потемкина—ввести въ Россіи различныя мануфактурныя производства и ремесла, придумалъ выстроить особенное зданіе, въ родѣ фабричной или ремесленной фаланстеры. Онъ уже готовъ былъ приступить къ постройкѣ этого зданія, когда начавшаяся Турецкая война оторвала его отъ этого дѣла: ему надобно было оставить Кричевъ, въ который онъ, кажется, уже больше не возвращался. Бентамъ воспользовался планомъ своего брата и примѣнилъ его къ устройству тюремъ [2]), и еще во время пребыванія въ Россіи написалъ свой «Паноптиконъ», трактатъ объ устройствѣ тюремъ на принципѣ целлюлярнаго заключенія и центральнаго надзора, съ примѣненіемъ разнообразныхъ средствъ исправленія

[1]) X, 161.

[2]) Works, IV, 40. Здѣсь же помѣщенъ и планъ Самуила: «Building and furniture for an Industry-House Establishment, for 2,000 persons, of all ages, on the Panopticon or Central-inspection principle». См. для объясненія: Outline of a Work, entitled Pauper Management improved, VIII, 369—439; также X, 250, 262.

и воспитанія, съ устройствомъ мастерскихъ, школъ, больницъ и т. д.

Во время своего пребыванія у брата, Бентамъ велъ очень уединенную жизнь, занимаясь только своими литературными трудами; фортепьяно, нѣсколько книгъ и разведеніе цвѣтовъ составляли его главныя развлеченія. Разведеніе цвѣтовъ было всегда его страстью. Любопытно, какъ черта характера, что ботаника нравилась ему особенно по своей способности распространять доставляемое ею удовольствіе: «камней мы не можемъ разводить»,—говорилъ онъ, и минералогъ не можетъ дѣлиться своими запасами, не отнимая у себя. Онъ вывезъ изъ Россіи цѣлую коллекцію сѣмянъ, которыми надѣлилъ своихъ ботаническихъ друзей въ Англіи... Своего уединенія онъ не прервалъ даже для того, чтобы съѣздить въ Кричевъ, когда тамъ проѣзжала императрица Екатерина во время знаменитаго путешествія въ Крымъ [1]. Съ своими англійскими друзьями онъ переписывался постоянно; внутреннія дѣла и событія въ Англіи привлекали все его вниманіе. Кромѣ упомянутаго «Паноптикона», онъ написалъ въ Россіи и знаменитую «Защиту Роста» (Defence of Usury), которая издана была по прибытіи его въ Англію и произвела впечатлѣніе въ цѣлой европейской литературѣ. Здѣсь же онъ приготовлялъ «Раціональное изслѣдованіе награды».

Бентамъ оставилъ Кричевъ въ октябрѣ или ноябрѣ 1787 и, добравшись опять не безъ приключеній въ Польшу, онъ черезъ Пруссію и Голландію возвратился домой. Въ маѣ слѣдующаго года (1788), въ письмѣ къ брату, въ Россію, Бентамъ обѣщаетъ прислать ему экземпляръ своей «Защиты Роста», вмѣстѣ съ экземпляромъ для другого лица съ русской фамиліей [2].

Съ этихъ поръ мы долго не находимъ извѣстій о сношеніяхъ Бентама съ русскими людьми. Онъ продолжалъ, однако, получать свѣдѣнія о русской жизни отъ своего брата, который имѣлъ связи въ высшемъ русскомъ обществѣ. Только въ 1800 г. мы опять видимъ его въ соприкосновеніи съ русскими: онъ хлопоталъ по дѣлу вдовы друга своего Линда, который долго служилъ при послѣднемъ польскомъ королѣ и вдовѣ котораго Станиславъ назначилъ пенсію въ 500 дукатовъ. До 1794 г. пенсія выплачивалась исправно, но потомъ начались затрудненія—

---

1) Works, X, 170—171, 178—179.

2) Эта фамилія, кажется, испорчена въ текстѣ біографіи. X, 182.

весьма понятныя, если вспомнить тогдашнее положеніе самого Станислава. Бентамъ переписывался сначала съ разными властями въ Варшавѣ и, наконецъ, не усумнился обратиться прямо къ Императору Павлу, и дѣйствительно этимъ достигъ удовлетворительнаго рѣшенія дѣла [1].

Съ наступленіемъ царствованія Императора Александра, Бентамъ въ первый разъ пріобрѣтаетъ въ Россіи ту обширную извѣстность, о которой мы упоминали выше. Повидимому, этой извѣстности содѣйствовалъ отчасти и его собственный интересъ къ Россіи: и ей, какъ другимъ націямъ, онъ стремился служить своими трудами и желалъ, чтобы его идеи могли найти мѣсто въ ея законодательствѣ.

По всей вѣроятности, нѣкоторые изъ людей, начавшихъ дѣйствовать теперь въ управленіи, были уже знакомы прежде съ идеями Бентама; но несомнѣнно, что и Бентамъ, съ своей стороны, питалъ интересъ къ Россіи и желалъ найти здѣсь примѣненіе для своихъ трудовъ. Въ февралѣ 1802 г. онъ пишетъ къ Дюмону, что въ «Монитерѣ» 12 нивоза, онъ прочелъ извѣстіе изъ Петербурга, что одному изъ русскихъ сановниковъ поручено, съ помощью особой коммиссіи, составить мануфактурный уставъ; въ извѣстіи сказано было, что коммиссія должна принять въ соображеніе мнѣнія иностранцевъ. Бентамъ проситъ Дюмона послать въ Петербургъ къ лицу, начальствующему надъ коммиссіей, его работы, имѣющія отношеніе къ этому предмету. Онъ замѣчаетъ при этомъ, что для посылаемаго экземпляра надо сдѣлать сначала хорошій переплетъ... Потомъ онъ самъ, кажется, послалъ книги черезъ англійскаго посланника [2].

Въ 1802 году вышло первое значительное собраніе сочиненій Бентама во французской редакціи Дюмона. Это изданіе въ первый разъ познакомило большую европейскую публику съ идеями англійскаго философа; черезъ это же изданіе главнымъ образомъ познакомилась съ Бентамомъ и образованная часть русскаго общества. Въ октябрѣ того же года онъ пишетъ къ Дюмону:

«Воронцовы теперь всемогущи въ Петербургѣ, и такъ какъ мой братъ съ ними въ хорошихъ отношеніяхъ, то этотъ случай,

---

[1]) X, 358. Біографъ замѣчаетъ, что не приводитъ этой корреспонденціи потому, что она слишкомъ длинна.

[2]) X, 382, 390.

кажется, не совсѣмъ неблагопріятенъ для Dumont Principes. (Такъ Бентамъ называетъ вышедшее тогда французское изданіе своихъ сочиненій, приготовленное Дюмономъ). Несчастье въ томъ, что (какъ я узналъ теперь) со времени появленія «Judicial Establishment» здѣшній Воронцовъ [1]) считаетъ меня якобинцемъ, вслѣдствіе добрыхъ услугъ моего уважаемаго друга, лорда Гренвилля. Дѣло состоитъ въ тамъ, что я счелъ тогда необходимымъ (хотя противъ воли, и даже положительно такъ, какъ вы можете это припомнить) принять принципъ народнаго избранія въ примѣненіи къ судьямъ. Такъ какъ я никогда не считалъ, чтобы стоило труда поручать моему брату разсѣять это предубѣжденіе, то дѣло такъ и осталось. Какъ я слышу, нашъ Воронцовъ четыре раза отказывался отъ мѣста перваго министра; но его братъ, Александръ, сдѣланъ (какъ видно по газетамъ) министромъ иностранныхъ дѣлъ... Лордъ С.-Эленсъ, какъ вы знаете, возвратился... Два экземпляра Dumont Principes, къ сожалѣнію, не успѣли прибыть въ Петербургъ, когда онъ былъ еще тамъ» [2]).

Въ томъ же 1802 году Дюмонъ отправился въ Россію — по какому поводу, или съ какимъ намѣреніемъ, мы не знаемъ. Дюмонъ въ то время былъ въ періодѣ самыхъ ревностныхъ трудовъ надъ изданіемъ сочиненій Бентама; естественно, что онъ и здѣсь явился ревностнымъ пропагандистомъ ученій своего друга и наставника. Судя по его письмамъ къ Бентаму (см. ниже), быть можетъ, что надежда на это распространеніе идей Бентама участвовала въ самомъ планѣ его поѣздки въ Россію. Могло быть и то, что онъ уже впередъ могъ ожидать себѣ благосклоннаго пріема, потому что непосредственно по пріѣздѣ въ Петербургъ мы видимъ его въ наилучшихъ отношеніяхъ въ высшемъ обществѣ Петербурга.

По своимъ тогдашнимъ отношеніямъ къ Бентаму, Дюмонъ былъ какъ будто его довѣреннымъ лицомъ и представителемъ. Бентамъ, который подъ конецъ жизни разссорился съ нимъ почему-то [3]), въ это время былъ съ нимъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, и Дюмонъ былъ самымъ ревностнымъ его почита-

---

[1]) Воронцовы, о которыхъ здѣсь говорится, были: Александръ Романовичъ — въ то время министръ иностр. дѣлъ и канцлеръ, и Семенъ Романовичъ — въ то время русскій посланникъ въ Лондонѣ.

[2]) X, 399.

[3]) X, 185.

телемъ и прозелитомъ. Два-три примѣра дадутъ намъ понятіе объ ихъ отношеніяхъ: «Дюмонъ — также изъ моихъ близкихъ друзей, — пишетъ онъ къ брату еще въ 1791 г., — ревностный ученикъ, который на половину перевелъ, на половину сократилъ нѣкоторыя изъ моихъ сочиненій по французскимъ дѣламъ». Въ письмѣ къ сэру Эдену, автору «Исторіи рабочихъ классовъ», Бентамъ говоритъ о Дюмонѣ (сент. 1802):... «Нѣкогда женевскій гражданинъ, онъ былъ сотрудникомъ Мирабо, виновникомъ многихъ его славныхъ дѣлъ, но какъ нельзя больше далекъ отъ какой-нибудь доли въ пятнахъ этой славы. Не часто можно встрѣтить человѣка, у котораго было бы столько же друзей, сколько знакомыхъ,—я почти сказалъ бы, у котораго бы вовсе не было враговъ, такъ, какъ у него. Онъ не только извѣстенъ всякому въ Парижѣ, но очень извѣстенъ и здѣсь (въ Лондонѣ); но, хотя онъ столько же чуждъ какимъ бы то ни было партіямъ, какъ вашъ покорный слуга, случилось, однако, такъ, что главныя его знакомства — въ оппозиціи» [1]...

Итакъ, Дюмонъ долженъ былъ хорошо представлять въ Петербургѣ идеи Бентама. Біографъ послѣдняго замѣчаетъ, что Дюмонъ прислалъ Бентаму изъ Петербурга «любопытныя замѣтки» о русской жизни (отъ октября 1802 или 1803), на англійскомъ и французскомъ языкахъ; но, къ сожалѣнію, біографъ сообщаетъ только два-три отрывка изъ писемъ Дюмона къ его англійскимъ друзьямъ, и «немногія извлеченія» изъ замѣтокъ, гдѣ только озаглавлены разнообразные сюжеты, тронутые Дюмономъ, начиная съ замѣтокъ о дворѣ и правительствѣ до цѣны choux-fleurs. Но и изъ этого немногаго можно, однако, извлечь нѣкоторыя черты о тогдашнемъ времени и объ успѣхѣ Бентама въ русскомъ образованномъ обществѣ. Это послѣднее Дюмонъ видѣлъ очень близко.

Вотъ отрывокъ изъ письма, писаннаго Дюмономъ къ Ромильи, въ іюнѣ 1803.

«Можете ли вы повѣрить, чтобъ въ Петербургѣ было продано моего Бентама столько же экземпляровъ, сколько въ Лондонѣ?

«Сто экземпляровъ были проданы въ очень короткое время, и книгопродавцы просятъ новаго запаса. Это доставило мнѣ благоклонность многихъ лицъ, которую я употребляю въ пользу.

---

[1]) X, 249, 308, 395.

Книгѣ удивляются, а издатель скромно принимаетъ свою долю въ этомъ удивленіи. Но что удивило меня всего больше, это— впечатлѣніе, какое произвели опредѣленія, классификаціи и методъ, и отсутствіе тѣхъ декламацій, которыя были такъ скучны для людей съ серьезнымъ умомъ.

«У насъ есть тутъ ливонецъ, Розенкампфъ, бывшій долго президентомъ суда въ Дерптѣ, а теперь назначенный, безъ титула, собирать всѣ указы, то-есть всѣ законы имперіи, приводить ихъ въ порядокъ, отдѣлять все несоотвѣтственное или противорѣчащее, и приготовлять таблицы, которыя послѣдовательно представляются императору, потому что императоръ обыкновенно работаетъ по синоптическимъ таблицамъ. Этотъ господинъ Розенкампфъ есть великій почитатель Бентама [1]. . . . по моемъ пріѣздѣ онъ поспѣшилъ увидѣться со мной, и мы много разъ съ нимъ бесѣдовали. Онъ нѣсколько поверхностенъ, — но у него есть свѣдѣнія, и я полагаю, онъ могъ бы сносно вести редакцію, которая ему поручена, если бы имѣлъ мужество нѣсколько жертвовать своимъ самолюбіемъ; бѣда въ томъ, что онъ боится, что его назовутъ плагіаторомъ, если онъ будетъ пользоваться мыслями, которыхъ самъ онъ не выдумалъ. Video meliora proboque, deteriora sequor. Есть законодательное вѣдомство, и во главѣ его важный сеньоръ. Отсюда идутъ идеи, — много, если онѣ сюда заходятъ.

«Я не знаю, встрѣчались ли вы въ Англіи съ Новосильцовымъ. Онъ былъ друженъ съ генераломъ Бентамомъ (Самуиломъ). Онъ пользуется величайшимъ довѣріемъ у императора и всеобщимъ уваженіемъ у публики. Я имѣлъ удовольствіе быть на весьма интересномъ обѣдѣ въ его домѣ. Я встрѣтилъ здѣсь князя Адама Чарторыскаго, котораго зналъ въ Англіи, въ Бовудѣ [2]), и молодого графа (П. А.) Строганова, котораго я также знавалъ въ Женевѣ. Одинъ изъ нихъ — товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ, другой — иностранныхъ дѣлъ, но эти два товарища на дѣлѣ настоящіе министры, такъ какъ они пользуются ближайшей дружбой императора. Я не могу цѣнить ихъ въ тѣхъ вещахъ, съ которыми я не знакомъ, — но то я знаю, что трудно было бы найти людей, занимающихъ такое

---

[1]) Мы увидимъ дальше, что — или Розенкампфъ очень перемѣнилъ потомъ свои мнѣнія о Бентамѣ, или въ это время счелъ нужнымъ представлять себя его почитателемъ.

[2]) Помѣстье лорда Лансдоуна, о которомъ мы выше упоминали.

высокое положенiе съ такой большой простотой и съ такими обширными свѣдѣнiями, какiя обнаруживаютъ они въ разнообразномъ разговорѣ. Теперь они очень заняты своимъ проектомъ общественнаго просвѣщенiя (public instruction); извѣстiя должны дѣлаться въ формѣ журнала и публиковаться отъ времени до времени, когда будутъ представляемы отчеты отъ разныхъ заведенiй, такъ что одно можно будетъ сравнивать съ другимъ и видѣть успѣхи каждаго. Эта публичность, — которая здѣсь есть новая идея, — сдѣлаетъ больше для ихъ успѣха, чѣмъ всякiе положительные законы. Надо надѣяться, что эта публичность распространится и на другiя отрасли управленiя, и особенно на судопроизводство, — потому что суды нуждаются въ ней всего больше, — но организацiя должна быть прежде преобразована, чѣмъ открыть ее для глазъ публики. Если бы вы знали, что такое здѣсь адвокатъ, — или законовѣдъ, — вы покраснѣли бы за честь этой профессiи. Я буду послѣ говорить объ этомъ подробнѣе. А судьи! Вы не можете въ Англiи имѣть понятiя о такомъ положенiи вещей. Я увѣренъ, что въ десять лѣтъ все здѣсь очень перемѣнится. Это — одно изъ удовольствiй, какiя доставило мнѣ путешествiе въ Россiю. Я не знаю никакого удовольствiя выше, какъ наблюдать спокойный и благоразумный прогрессъ въ улучшенiяхъ всякаго рода.

«Такъ какъ я заговорилъ объ императорѣ, позвольте разсказать вамъ то, что будетъ интересовать васъ больше, чѣмъ какiя-нибудь описанiя внѣшняго блеска столицы. Я не могу назвать этого государя безъ чувства удовольствiя. Я не буду пересказывать того, что говорятъ о немъ его поклонники, или люди, наиболѣе къ нему близкiе. Всего лучше хвалятъ его тѣ, которые полагаютъ, что бранятъ его, — то за его мягкость (gentleness), «которая заводитъ его слишкомъ далеко», — то за его доброту, «которая впадаетъ въ крайности», — то за его экономiю, «которая противорѣчитъ обычаямъ двора» или «унижаетъ внѣшнее величiе имперiи». Я не слышалъ болѣе сильныхъ порицанiй, чѣмъ эти; и если разобрать факты, на которые указываютъ, то я не могу найти ни одного, который бы показывалъ какое-нибудь излишество въ этихъ двухъ добродѣтеляхъ. Александръ наслѣдовалъ правительству подозрительному, произвольному и суровому, чтобъ не сказать больше, правительству, черезъ мѣру расточительному, любившему роскошь и подкапывавшему свои собственныя основанiя, чтобы поддерживать эту

роскошь. Нѣтъ сомнѣнія, что перемѣна была нѣсколько рѣзкая и вы можете себѣ представить, къ какому классу людей принадлежатъ эти полу-осуждатели, полу-хвалители, — потому что въ концѣ концовъ ихъ осужденіе полу-одобрительно. Сначала были опасенія за слишкомъ быстрое стремленіе къ эмансипаціи, или освобожденію, — опасенія, что эта быстрота не совмѣстна съ существующимъ порядкомъ вещей, — что правительственныя пружины слишкомъ ослаблены, тогда какъ прежде были слишкомъ натянуты: но теперь люди видятъ, что императоръ и благоразуменъ и терпѣливъ, — что онъ и приготовляетъ и даетъ созрѣвать своимъ планамъ. Я сообщу вамъ болѣе подробныя свѣдѣнія о томъ, что предполагается сдѣлать для общественнаго просвѣщенія и для изданія общаго собранія законовъ (General Code). Я имѣю возможность получить свѣдѣнія относительно союзовъ (confederacies) противъ улучшеній. Но, во всякомъ случаѣ, нѣтъ правительства, которое было бы столько исполнено добрыми намѣреніями, столько занято общественнымъ благомъ, какъ это. Это не одни фейерверки, — не газетная слава: если въ чемъ есть недостатокъ, то въ исполнителяхъ, чтобы выполнить то добро, которое хотятъ сдѣлать. Люди должны быть deterré (откопаны) или созданы; и въ этомъ главная трудность. На первый взглядъ кажется удивительно, что здѣсь такъ много заведеній для общественнаго образованія, и такъ мало образованныхъ людей. Во всѣхъ отрасляхъ (departments) необходимо употреблять иностранцевъ, и это — большое зло, но зло неизбѣжное».

Ромильи, конечно, передавалъ письма Дюмона Бентаму[1]). Черезъ нѣсколько времени, Дюмонъ снова писалъ къ Ромильи; это письмо, какъ и предыдущее, находилось въ бумагахъ Бентама и имъ помѣчено. Оно получено было въ Лондонѣ въ августѣ 1803.

«Я провелъ вечеръ съ Сперанскимъ[2]), — пишетъ Дюмонъ. Мы были одни. Онъ любитъ свое отечество и сильно чувствуетъ, что реформа юстиціи и законодательства есть изъ всѣхъ благъ главнѣйшее благо. Они обращались къ нѣмецкимъ юристамъ,

---

[1]) Письма Дюмона ходили, кажется, вообще по рукамъ его друзей въ Лондонѣ. Ср. X, 412.

[2]) Въ примѣчаніи біографъ называетъ Сперанскаго сибирскимъ губернаторомъ (чѣмъ Сперанскій былъ позднѣе) и говоритъ, что это былъ также близкій другъ Самуила Бентама.

къ одному англійскому (Макинтошу), и не были удовлетворены ихъ корреспонденціей. Эти корреспонденты не знали ихъ страны, и въ большей части ихъ писаній не было ничего, кромѣ старой рутины и римскаго права. Но съ тѣхъ поръ, какъ они открыли Бентама, они думаютъ, что могутъ обойтись безъ всѣхъ остальныхъ, и теперь почти рѣшено, что обратятся прямо къ нему. Меня неопредѣленнымъ образомъ спросили, не захочу ли я поселиться въ Россіи. У меня этотъ пунктъ уже рѣшенъ[1]); но я сказалъ имъ, что если бы они обратились къ Бентаму, то онъ, вѣроятно, занялся бы гражданскимъ кодексомъ; и если бы посланы были къ нему специфическіе вопросы, съ объясненіемъ мѣстныхъ обстоятельствъ, онъ бы далъ свои отвѣты. Мнѣ кажется, они расположены вступить въ корреспонденцію и войти съ нимъ въ нѣкоторыя соглашенія (to make soma arrangemant). Но я не знаю, что изъ этого выйдетъ».

Въ тѣхъ «замѣткахъ», которыя, какъ мы упомянули, Дюмонъ прислалъ самому Бентаму, находятся также отрывочныя замѣчанія о Сперанскомъ, не лишенныя интереса. По словамъ Дюмона, Сперанскій «пользовался книгою Dumont, Principes—хвалитъ ихъ—находитъ, что они способны быстро приносить пользу, d'une utilitè prompte». Дюмонъ дѣлаетъ о Сперанскомъ и такое замѣчаніе: «Speranski he croyait pas à la possibilité d'établir la Politique en Russie»,—которое надо понимать, вѣроятно, такъ, что Сперанскій не считалъ возможнымъ введенія въ тогдашней Россіи политической жизни и (конституціонныхъ) учрежденій въ европейскомъ смыслѣ. Онъ, однако, съ жаромъ работалъ для этого, и мнѣніе его, записанное Дюмономъ, показываетъ, конечно, его невысокое понятіе о существовавшей «политикѣ» и объясняетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, почему онъ употреблялъ иногда довольно рѣзкія мѣры, которыя до такой степени раздражали противъ него большинство тогдашняго «общества».

Далѣе, въ томъ же письмѣ Дюмона разсказывается анекдотическая исторія швейцарца Пюже, гувернера великихъ князей, который при Павлѣ былъ внезапно увезенъ въ Сибирь. Павелъ подозрѣвалъ его въ перепискѣ съ извѣстнымъ воспитателемъ Александра, Лагарпомъ, жившимъ тогда въ Швейцаріи. Но вскорѣ подозрѣніе оказалось напраснымъ, Пюже былъ возвра-

---

[1]) Т. е. отрицательно.

щенъ и получилъ много милостей. «Вскорѣ потомъ онъ былъ назначенъ гувернеромъ къ великому князю—продолжаетъ Дюмонъ: — это доказываетъ, по крайней мѣрѣ, что теперь уже не тѣ времена, когда считалось необходимымъ найти Аристотеля или д'Аламбера, чтобы воспитывать тѣхъ, кто будетъ управлять имперіями. Этотъ человѣкъ — добрый малый, который знаетъ правописаніе; я не могу сказать того же о французскомъ языкѣ».

Далѣе:

«Я видѣлъ Паррота, профессора права [1]) въ дерптскомъ университетѣ. Во время проѣзда императора, онъ, между другими вещами, благодарилъ его за высказанное имъ намѣреніе освободить (relieve) большую часть этого (лифляндскаго) народа, до сихъ поръ забытаго. Я слышалъ, что въ свой пріѣздъ въ Петербургъ Парротъ представилъ императору одинъ изъ тѣхъ ошейниковъ съ желѣзными остріями, которые одинъ лифляндскій помѣщикъ сдѣлалъ для одного изъ своихъ крестьянъ. Враги Паррота сказали императору, что эти ошейники употреблялись прежде, но перестали употребляться уже давно, и что показывать такіе инструменты, покрытые пылью, значитъ клеветать на дворянство края. Но Парротъ стоялъ на томъ, что ошейникъ новый, и что онъ можетъ указать кузнеца, который его дѣлалъ».

Затѣмъ слѣдуютъ опять отрывочныя замѣтки Дюмона о самыхъ разнообразныхъ фактахъ общественной жизни, разсказы о Павлѣ и Екатеринѣ, наблюденіе надъ правами и управленіемъ и т. п. [2]).

Въ другомъ письмѣ Дюмона къ Ромильи, отъ 5 августа 1803 г., мы снова находимъ свидѣтельства объ успѣхѣ Бентама въ Россіи:

«Сочиненіе Бентама ставится выше всего, что ему предшествовало. Здѣсь вступали въ сношеніи съ юристами разныхъ

---

[1]) Это ошибка; Парротъ былъ профессоромъ физики.

[2]) Наприм.: Russian artists despised by Russians — No chemists — Paper money 200,000,000. Half in Petersburg. Letters of exchange canfined to Moscow and Petersburg. — Under Paul, better soldiers and officers, — better justice, — duties betfer fulfilled, — Under Catherine trop de douceur — Paul never examined, never heard, but punisbed — Revolution Française, alarmed Catherine, and made an impression on Paul, and caused bis severities — Russian no ideas of religion (!) — Priests without property or understanding, и проч. (X, 409—410).

странъ, но совершенно не были удовлетворены ихъ письмами. Бентамъ представляетъ два великіе desiderata, классификацію и принципы. Велѣно сдѣлать переводъ: онъ будетъ исполненъ съ большимъ стараніемъ и (изданъ) даже съ великолѣпіемъ. Ожидаютъ того, что должно послѣдовать за «Judicial Establishment». У меня есть многое сказать Бентаму: я буду продолжать свое дѣло съ удвоенной ревностью, такъ какъ я уже видѣлъ плодъ своихъ трудовъ. Вдовствующая императрица, говорятъ, узнала, что я былъ издателемъ книги, которой она слышала много похвалъ, и пожелала, чтобы я былъ ей представленъ: поэтому я отправился въ Павловскъ — она говорила со мной самымъ привѣтливымъ образомъ, и спрашивала, почему я не хотѣлъ бы поселиться въ Петербургѣ?» [1])

Наконецъ, въ біографіи мы встрѣчаемъ и нѣсколько русскихъ отзывовъ, изъ которыхъ можно отчасти видѣть, какихъ горячихъ послѣдователей находили идеи Бентама между его русскими читателями, — даже людьми, уже далеко не молодыми, увлеченіе которыхъ мудрено бы было обвинить въ поспѣшности и легкомысліи. Таково, напр., письмо генерала Саблукова, сообщенное въ біографіи. Саблуковъ писалъ къ генералу Самуилу Бентаму слѣдующее (отъ 5 февраля 1804):

«Я едва могу оторваться отъ Началъ Дюмона, даже чтобъ писать къ вамъ. Книга вашего брата удовлетворяетъ одинаково душу, сердце и умъ; она наполняетъ душу жаромъ, сердце добродѣтелью и разгоняетъ мглу ума. Я такой странный человѣкъ, что долженъ имѣть свою собственную стихію, и я нашелъ ее въ сочиненіяхъ Бентама. Я русскій, но мой инстинктъ не даетъ мнѣ покоя; и я желаю для своего отечества обладанія тѣми истинами, которыя благодѣтельный геній Бентама создалъ для всего человѣчества.

«Россіи нужны законы. Не только Александръ Первый желаетъ дать ей кодексъ — Россія сама его требуетъ. Мы, русскіе, видѣли развитіе французской революціи — деспотизмъ, къ которому она привела и отъ котораго недавно избавились; но мы должны имѣть кодексъ — кодексъ, который бы сохранилъ правительству необходимую силу для справедливаго управленія этой обширной страной, составленной изъ различныхъ націй, — все завоеванныхъ, — но который бы вмѣстѣ съ тѣмъ и парализо-

---

[1]) X, 405—410.

валъ эту силу, когда бы она употреблялась на несправедливость. Пусть Іеремія Бентамъ приготовитъ этотъ кодексъ!

«Я не знаю Бентама, — но говорю самому себѣ: «Если онъ умретъ, не продиктовавъ кодекса, онъ будетъ неблагодаренъ тому Творцу, который далъ ему его умственныя дарованія». И затѣмъ я спрашиваю: «Не можетъ ли мое отечество имѣть кодексъ?» Но какъ? Онъ долженъ притти отъ трона къ подданному, или быть представленъ подданными трону. Но такъ какъ государь столько же заинтересованъ дать его, сколько народъ жадно стремится получить его, какъ только этотъ кодексъ будетъ готовъ, то нетрудно будетъ рѣшить, кто будетъ его давать и кто получать. Пусть только онъ будетъ готовъ. Пусть онъ будетъ переведенъ на русскій языкъ. Все, что я могу сдѣлать для этого, будетъ сдѣлано». — Этотъ Саблуковъ былъ, конечно, тотъ А. А. Саблуковъ, который состоялъ потомъ членомъ департамента экономіи государственнаго совѣта, и котораго изображаютъ человѣкомъ «весьма почтеннымъ», но «дѣловымъ рутинистомъ и безъ особыхъ свѣдѣній въ финансовой наукѣ» [1]). Тѣмъ любопытнѣе, что человѣкъ рутины, — котораго очень мудрено вообще заинтересовать какой-нибудь идеей, — могъ до такой степени увлекаться Бентамомъ. Нѣкоторая безсвязность письма не говоритъ, конечно, ничего противъ его искренности.

Нѣсколько позднѣе мы находимъ того же «генерала» Саблукова въ перепискѣ уже съ самимъ Бентамомъ. Въ письмѣ, 8 іюня 1806, Саблуковъ сообщаетъ Бентаму (который занимался тогда судебными доказательствами) нѣкоторыя подробности о томъ, какъ въ Россіи крѣпостные допускаются закономъ къ свидѣтельству [1]).

Въ началѣ 1804 года, какъ видно изъ нѣсколькихъ словъ въ письмѣ Бентама къ Дюмону, они переписывались о составѣ русскаго изданія сочиненій Бентама, о томъ, какія изъ нихъ должно было выбрать для этого изданія [1]).

Въ 1804 г. Дюмонъ возвратился въ Англію. Онъ остался, однако, въ сношеніяхъ съ русскими знакомыми, потому въ особенности, что въ то время уже исполнялся русскій переводъ

---

1) Бар. Корфъ, Жизнь Спер. I, 195. [Ср. ниже стр. 44—45, примѣч. 1-ое Ред.].

2) X, 412—413, 420—421.

3) X, 413.

Бентама и приготовлялось его изданіе. Въ этомъ переводѣ принималъ, кажется, ближайшій интересъ Сперанскій. Въ то время «первая знаменитость молодого поколѣнія», по выраженію барона Корфа [1]), Сперанскій принадлежалъ къ числу людей наиболѣе впечатлительныхъ къ тѣмъ новымъ умственнымъ и общественнымъ возбужденіямъ, которыхъ такъ много представлялось въ первые годы новаго царствованія. По учрежденіи министерствъ, онъ былъ причисленъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ, гдѣ былъ правой рукой В. П. Кочубея и неутомимо работалъ въ новомъ государственномъ учрежденіи. Идеи Бентама, какъ мы видѣли, имѣли для него большую привлекательность, и приготовленіе русскаго перевода, повидимому, не обошлось безъ его участія. Отъ 10 октября 1804 г. онъ писалъ къ Дюмону:

«Мы очень рады имѣть прибавленіе относительно Политической экономіи; потому что по широтѣ ея взглядовъ, ясности и точности классификацій и систематическому характеру ея расположенія, она имѣетъ высокое достоинство. Желанія, которыя выражалъ вамъ Неккеръ, были бы вполнѣ удовлетворены, если бы онъ видѣлъ эту главу. Потому что ничто не можетъ быть справедливѣе вашего замѣчанія относительно недостатка системы въ этой части нашего знанія. Адамъ Смитъ доставилъ намъ неоцѣненные матеріалы. Но такъ какъ онъ больше занимался тѣмъ, чтобы доказать и вывести изъ опыта выставленныя имъ истины, онъ не подумалъ сдѣлать изъ нихъ corps de doctrine (цѣлое ученіе). Чѣмъ ближе мы его разсматриваемъ, тѣмъ яснѣе становится недостатокъ метода; но тѣ, которые взялись пополнить этотъ недостатокъ, полагали, что достигнутъ цѣли — опуская нѣкоторыя подробности, сокращая нѣкоторыя отступленія и давая другое распредѣленіе матеріалу: такимъ образомъ, между столькими рабочими недостаетъ архитектора. Я думаю, что слѣдуя плану г. Бентама, Политическая Экономія займетъ гораздо болѣе естественное положеніе, будетъ легче для изученія и будетъ болѣе научной. Вы можете поэтому судить о томъ, какую цѣну я придаю обѣщанному сочиненію.

«Образчики сочиненія Бентама, напечатанные въ Спб. Журналѣ, были привѣтствованы самымъ теплымъ образомъ» [2]).

---

[1]) Жизнь Спер. I, 95.
[2]) X, 416.

«Санктпетербургскій Журналъ», о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, былъ оффиціальнымъ журналомъ министерства внутреннихъ дѣлъ. Онъ начался въ томъ же 1804 году и былъ однимъ изъ первыхъ опытовъ той публичности, о которой заботились новые администраторы. Журналъ состоялъ изъ двухъ отдѣловъ: изъ нихъ первый посвященъ былъ «разнымъ учрежденіямъ по министерству внутреннихъ дѣлъ», — именно отчетамъ министра, высочайшимъ указамъ, административнымъ дѣйствіямъ министерства, — обнародованіе которыхъ должно было знакомить публику съ теченіемъ дѣлъ, съ мѣрами и дѣйствіями правительства; второй отдѣлъ долженъ былъ составляться изъ «разныхъ разсужденій и переводовъ, вообще къ предметамъ управленія принадлежащихъ». Просмотрѣвши оглавленіе этого второго отдѣла, можно видѣть, какими планами задавались издатели журнала, въ какихъ областяхъ государственнаго знанія они искали себѣ опоры. Нынѣшній читатель былъ бы приведенъ въ немалое изумленіе, если бы въ этомъ отдѣлѣ оффиціальнаго журнала, подъ названіемъ: «разсужденія и извѣстія до внутренняго управленія принадлежащія», онъ увидѣлъ то, что видитъ въ «Санктпетербургскомъ Журналѣ». Въ числѣ переводимыхъ писателей, читатель видитъ здѣсь, напр., тѣ имена, которыя въ наше время попали въ чьи-то недавнія, нелишенныя даже нѣкоторой учености, «обличенія матеріалистическаго нигилизма» — такъ далеко современные ученые отстали отъ образованныхъ людей министерства внутреннихъ дѣлъ 1804 года.

Въ первой же книжкѣ «Журнала», издатели нашли полезнымъ начать второй его отдѣлъ изложеніемъ «Мыслей славнаго Бакона о правительствѣ». Они говорятъ о Баконѣ: «Бывъ единогласно признанъ отцемъ настоящей физики и возстановителемъ умственной философіи, сей великій человѣкъ можетъ занять, по времени, въ коемъ онъ жилъ, и по пространству его видовъ, первое мѣсто въ числѣ писателей, занимающихся предметами правительства». Упомянувъ, что, конечно, «политическія явленія со времени его весьма много измѣнились», издатели находили однако, что читателямъ (журнала министерства внутреннихъ дѣлъ) «не непріятно будетъ возобновить въ памяти сего славнаго человѣка, болѣе именемъ, нежели твореніями своими вообще нынѣ извѣстнаго». За отрывкомъ изъ Бакона слѣдуетъ статья «О пользѣ обнародованія отчетовъ—мысли, взятыя

изъ Бентама» (январь, стр. 119—121), затѣмъ статья о госпиталяхъ, выбранная изъ Рейналя. Во второй книжкѣ, второй отдѣлъ состоитъ исключительно изъ Бентама, у котораго заимствованы статьи: О распространеніи познанія законовъ, О пользѣ просвѣщенія, О свободѣ книгопечатанія (февраль, стр. 73—83. 84—88, 90—93). Передъ этой послѣдней статьей, гдѣ Бентамъ защищаетъ почти безусловную свободу печати, издатели помѣстили такую оговорку: «Мнѣнія писавшихъ о свободѣ книгопечатанія столь были всегда различны, что читателямъ пріятно, конечно, будетъ увидѣть ихъ здѣсь вмѣстѣ и сравнить между собою; и въ томъ намѣреніи издатели помѣстили слѣдующія два извлеченія, одно послѣ другого». Второе извлеченіе (неизвѣстно изъ какого писателя) оспариваетъ возможность безусловной свободы печати и примѣромъ неудачи Іосифа II утверждаетъ, «сколь важно и необходимо соображать всѣ новыя постановленія съ духомъ народа и степенью просвѣщенія его». Затѣмъ въ слѣдующихъ книжкахъ идетъ статья «О началахъ правленій», изъ книги L'esprit de l'Histoire; въ іюльской книжкѣ опять статья изъ Бентама, «О необходимости утверждать законы на причинахъ» (стр. 125—150). Въ іюльской и сентябрской книжкѣ помѣщено изложеніе ученія Адама Смита сравнительно съ ученіями французскихъ экономистовъ; въ августовской опять извлеченіе изъ Бентама, «О безопасности» (стр. 99—104). Въ октябрьской книжкѣ статья о Кантѣ; въ ноябрьской, статья о новыхъ въ то время целлюлярныхъ тюрьмахъ (въ Филадельфіи) и письмо неизвѣстнаго корреспондента, заявляющаго желаніе, чтобы попечительное общество о тюрьмахъ заведено было въ Россіи. Далѣе, въ 1805 году, мы встрѣчаемъ такіе предметы: «о исключительныхъ привиллегіяхъ и злоупотребленіи ихъ»; «о общественномъ духѣ англичанъ», т. е. объ ихъ общественной свободѣ и дѣятельности, которыя восхваляются; «объ упадкѣ народовъ»—изъ Фергюсона; «о роскоши»—изъ Струэнзе; «о политической свободѣ и естественныхъ ея предѣлахъ»—изъ Etudes sur l'homme, Мейстера; «Платонова республика»; «Мнѣнія нѣкоторыхъ греческихъ философовъ о правленіи»; «о бѣдности и о способахъ совершенно истребить нищенство»; далѣе статьи объ устройствѣ школъ, госпиталей, тюремъ и т. д. Однимъ словомъ, это былъ рядъ статей, затрогивавшихъ очень серьезные вопросы внутренней политики и старавшихся поселить въ читателяхъ вкусъ къ

подобнаго рода размышленіямъ, представляя имъ образчики мнѣній лучшихъ европейскихъ писателей.

Это было очевидно прямое исполненіе той программы, которой, вслѣдъ за императоромъ, держались лучшіе люди тогдашняго правительства—просвѣщенное и искреннее желаніе содѣйствовать общественному образованію и развитію общественнаго мнѣнія. Нѣтъ сомнѣнія, что люди сколько-нибудь серьезныхъ мыслей должны были радоваться этому столь новому и неожиданному направленію правительственной заботливости, и Сперанскій былъ, безъ сомнѣнія, вѣренъ истинѣ, когда говорилъ, что сочиненія Бентама, появившіяся тогда въ «Спб. Журналѣ», были встрѣчены самыми теплыми привѣтствіями.

Наконецъ, въ слѣдующемъ 1805 году вышелъ первый томъ сочиненій Бентама на русскомъ языкѣ, изданныхъ по высочайшему повелѣнію [1]). Переводъ, сдѣланный Мих. Михайловымъ, посвященъ императору Александру. Составъ изданія тотъ же, какъ въ Дюмоновыхъ «Traités de Législation civile et pénale» (Paris, An X=MDCCCII), или какъ называли ихъ обыкновенно «Dumont, Principes», потому что изданіе начинается съ «Principes de Législation» или общаго введенія, гдѣ объясняется теорія Бентама въ ея главныхъ основаніяхъ. Въ I-мъ томѣ помѣщены, кромѣ «предварительнаго разсужденія» Дюмона, «Общія начала законоположенія» и «Всеобщее начертаніе полной книги законовъ»; во II-мъ томѣ: «Начала уложенія гражданскаго,—уголовнаго»; въ III-мъ томѣ: окончаніе уголовнаго уложенія; «о Паноптикѣ или домѣ центральнаго надзиранія»; «о распространеніи знанія законовъ» (de la promulgation des lois); «о распространеніи знанія причинъ законовъ»; «о вліяніи времени и мѣста въ законодательствѣ». Русское изданіе отличается отъ французскаго только нѣкоторыми дополненіями Дюмона,—впрочемъ, сколько мы замѣтили, весьма незначительными. Именно, въ I-мъ томѣ,

---

[1]) Полное заглавіе этого изданія слѣдующее: «Разсужденіе о гражданскомъ и уголовномъ законоположеніи. Съ предварительнымъ изложеніемъ началъ законоположенія и всеобщаго начертанія полной Книги Законовъ, и съ присовокупленіемъ опыта о вліяніи времени и мѣста относительно Законовъ. Соч. Англійскаго Юрисконсульта Іеремія Бентама. Изданное въ свѣтъ на французскомъ языкѣ Степ. Дюмономъ, по рукописямъ отъ автора ему доставленнымъ. Переведенное Михайломъ Михайловымъ, съ прибавленіемъ дополненій отъ г-на Дюмона сообщенныхъ. Томъ I. По Высочайшему повелѣнію» Спб., въ тип. Шнора, 1805. II-й томъ вышелъ въ 1806; III-й въ 1811 году.

во «Всеобщемъ начертаніи», въ главѣ XXVIII о политической экономіи, находится дополненіе противъ французскаго оригинала (стр. 479 - 493), вѣроятно то самое, о которомъ упоминается въ письмѣ Сперанскаго; и кромѣ того прибавлена въ концѣ книги особая глава XXXIV, «о сохраненіи цѣлости законовъ» (стр. 527—532), которой во французскомъ изданіи также не находится. Но съ другой стороны русское изданіе все-таки было не въ состояніи передать мыслей Бентама неурѣзанными. Такъ это случилось, напримѣръ, въ III-мъ томѣ, въ четвертой части уголовнаго уложенія, гл. II, предметъ которой есть «Средство воспящать пріобрѣтенію знаній, кои могли бы люди обращать во вредъ» (стр. 17 и далѣе), т. е. рѣчь идетъ о цензурѣ. Бентамъ, какъ извѣстно, относился къ цензурѣ очень неблагопріятно; русское изданіе выбросило начало этой главы и послѣднія ея страницы, гдѣ осужденіе цензуры высказано съ особенной живостью [1]).

Прибавимъ еще, что въ то же время императоръ Александръ поощрялъ и другія предпріятія такого рода. Нѣкто Политковскій издалъ тогда же переводъ «Опыта о богатствѣ народовъ», Адама Смита, который также пользовался въ то время большимъ авторитетомъ [2]); Политковскій получилъ на изданіе 5000 рублей [3]). Поощрялось изданіе и другихъ серьезныхъ сочиненій: такъ на изданіе «Путешествія младшаго Анахарсиса» на русскомъ языкѣ выдано было 6,000 рублей; Поспѣловъ за переводъ Тацита получилъ въ пенсію свое жалованье, въ 2,000 руб. и т. д. Вообще считаютъ, что за одинъ 1802 годъ на изданіе различныхъ сочиненій и переводовъ изъ кабинета его величества выдано было до 160,000 рублей.

Бентамъ пріобрѣталъ себѣ пламенныхъ поклонниковъ. Въ числѣ ихъ мы уже съ этого времени встрѣчаемъ извѣстнаго адмирала Н. С. Мордвинова, въ дѣятельности котораго (каковы бы ни были недостатки его мнѣній и личнаго характера, кото-

---

[1]) Начало: «Je ne fais mention de cette politique que pour la proscrire: elle a produir la censure des livres; elle a produit l'Inquisition. Elle produiroit l'éternel abrutissement de l'espèce bumaine». Недостаетъ и послѣднихъ страницъ этой главы; см. Dum. III, стр. 15 и 21—23. Полный переводъ этой главы см. въ русскомъ новомъ изданіи, I, стр. 580—585.

[2]) См. Корфа, Жизнь Спер. I, 189 и слѣд.

[3]) «Изслѣдованіе свойства и причинъ богатства народовъ, соч. Адама Смита; пер. съ англ. Никол. Политковскаго». 4 части. Спб. 1802—1806.

рыми его иногда попрекаютъ) было столько стремленій къ общественнымъ улучшеніямъ и вмѣстѣ рѣдкой въ русской жизни независимости мнѣній. Таковъ, конечно, и долженъ былъ быть искренній поклонникъ Бентама. Въ маѣ 1806 г. Мордвиновъ пишетъ къ Самуилу Бентаму, въ то время жившему, кажется, въ Лондонѣ.

«Я желаю поселиться въ Англіи и поселяясь тамъ—быть знакомымъ съ вашимъ братомъ. Въ моихъ глазахъ, онъ есть одинъ изъ четырехъ геніевъ, которые сдѣлали и сдѣлаютъ всего больше для счастія человѣчества—Баконъ, Ньютонъ, Смитъ и Бентамъ: каждый—основатель новой науки, каждый—творецъ. Я держу въ запасѣ нѣкоторую сумму, съ цѣлью распространенія того свѣта, который исходитъ изъ сочиненій Бентама» [1]).

Объ отношеніяхъ Мордвинова къ Бентаму упоминается также въ одномъ письмѣ этого послѣдняго къ лорду Голланду (въ октябрѣ 1808), гдѣ сообщаются и другія любопытныя частности:

«По возвращеніи изъ Россіи, мой братъ привезъ мнѣ въ подарокъ отъ адмирала Мордвинова экземпляръ французскаго перевода, сдѣланнаго и напечатаннаго въ Петербургѣ, знаметой книги дона Г. М. Ховелланоса (Jovellanos, «ci-devant Ministre de Grace et Justice», какъ сказано въ заглавіи): Identité de l'intérêt general avec l'intérêt individuel etc., anno 1806. Переводъ и посвященіе принадлежатъ Рувье (Rouvier). Патронъ—графъ Кочубей, министръ внутреннихъ дѣлъ, по приказанію котораго переводъ, кажется, и былъ сдѣланъ,—это тотъ самый Кочубей, по приказанію котораго сдѣланъ былъ также одинъ изъ двухъ русскихъ переводовъ книги Дюмона.

«Мордвиновъ (продолжаетъ Бентамъ) долженъ быть больше или меньше извѣстенъ вашему лордству, какъ непосредственный предшественникъ настоящаго министра Чичагова, по морскимъ дѣламъ. Послѣ того, какъ онъ оставилъ этотъ постъ, онъ сталъ главой нѣкотораго рода оппозиціи, какую только допускаетъ русское правленіе, и въ этомъ качествѣ выбранъ былъ въ московскіе предводители дворянства...

«Въ числѣ его странностей есть та, что онъ нѣчто въ родѣ сектатора стараго пустынника Квинъ-скверъ-плэса [2]), будущія изліянія бредней котораго онъ предложилъ переводить на русскій языкъ».

---

[1]) Works, X, 419.

[2]) Queen Square Place, въ Лондонѣ — гдѣ жилъ Бентамъ.

Присылка этой книги объясняется тѣмъ, что Мордвиновъ, по словамъ Бентама, «старый знакомый его брата», нашелъ, что книга Ховелланоса очень сходится съ идеями Бентама, и особенно съ Защитой Роста, и поэтому полагалъ, что Бентаму будетъ пріятно видѣть эту книгу [1]).

Относительно «двухъ переводовъ» книги Дюмона, будто бы сдѣланныхъ въ Россіи, Бентамъ, конечно, ошибается; за второй переводъ онъ принялъ тѣ отрывки, которые, какъ выше упомянуто, помѣщены были въ «Спб. Журналѣ».

Затѣмъ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ біографія не представляетъ никакихъ свѣдѣній о сношеніяхъ Бентама съ людьми русскаго общества. О судьбѣ его сочиненій въ Россіи мы находимъ одно извѣстіе уже въ 1813 году, въ письмѣ къ Дюмону отъ его земляка д'Ивернуа, также одного изъ друзей и почитателей Бентама, жившаго тогда въ Петербургѣ. Франсуа д'Ивернуа (1757—1842), потомокъ французской фамиліи, выселившейся въ Женеву послѣ отмѣны Нантскаго эдикта, какъ и Дюмонъ, въ молодости участвовалъ въ политическихъ дѣлахъ своей родины и былъ однимъ изъ предводителей либеральной партіи. Но когда вспыхнула французская революція, онъ сдѣлался горячимъ ея противникомъ, вѣроятно, предчувствуя ея крайности или видя опасность для независимости Женевы. Занятіе французами Швейцаріи и учрежденіе въ Женевѣ революціоннаго трибунала, на подобіе парижскихъ, заставило его бѣжать въ Англію, гдѣ онъ нашелъ себѣ гостепріимство. Трактатъ, присоединившій въ 1798 Женеву къ Франціи, положительно назвалъ д'Ивернуа, вмѣстѣ съ Малле дю-Паномъ и Ровере, какъ навсегда исключенныхъ изъ французскаго гражданства. Взамѣнъ того д'Ивернуа получилъ право гражданства въ Англіи: здѣсь онъ издалъ цѣлый рядъ своихъ сочиненій и памфлетовъ о тогдашнемъ положеніи вещей во Франціи и Швейцаріи и общихъ политическихъ дѣлахъ Европы. Онъ исполнялъ также различныя дипломатическія порученія, между прочимъ, при петербургскомъ дворѣ. По низложеніи Наполеона, д'Ивернуа вернулся въ Швейцарію и представлялъ Женеву на вѣнскомъ конгрессѣ. Послѣ того онъ издалъ много имѣющихъ свою цѣну трудовъ по политической экономіи и статистикѣ... Въ февралѣ 1813 г. этотъ д'Ивернуа писалъ къ Дюмону изъ Петербурга:

---

[1]) X, стр. 440, 445.

«Я нахожу Dumont, Principes, на столахъ у разныхъ министровъ, но безъ большого проку. Я долженъ, впрочемъ, исключить графа Ал. Салтыкова, человѣка умнаго и проницательнаго. Онъ чрезвычайно превосходитъ своихъ товарищей, и у него есть не только талантъ, но и знанія.... Одинъ изъ министровъ возвратилъ ваши два тома въ двадцать четыре часа, увѣряя, что прочелъ ихъ и размышлялъ о нихъ цѣлую ночь!...» [1]).

Въ томъ же 1813 году къ Бентаму обращался за совѣтомъ адмиралъ Чичаговъ, предполагавшій составить исторію русской кампаніи 1812 года. Біографъ Бентама приводитъ отрывокъ изъ отвѣтнаго письма Бентама съ замѣчаніями о томъ, что, по его мнѣнію, требуется отъ подобнаго труда. Живя потомъ въ Англіи, Чичаговъ, кажется, очень сблизился съ Бентамомъ, и біографъ приводитъ еще отрывки изъ писемъ Чичагова (изъ Лондона, въ іюлѣ и августѣ 1815 г.), которыя не лишены интереса для опредѣленія личности адмирала. Бентамъ, между прочимъ, давалъ ему мысль написать свои мемуары относительно русскихъ событій; Чичаговъ отвѣчалъ въ отрицательномъ смыслѣ. Онъ весьма скептически и желчно отзывается о положеніи русскихъ дѣлъ за это время и о рабскомъ ничтожествѣ общественнаго мнѣнія въ Россіи. Къ сожалѣнію, эти послѣднія письма приведены біографомъ въ слишкомъ отрывочномъ и безсвязномъ видѣ.... [2]).

Къ этому времени (1814 г.) относятся, наконецъ, тѣ сношенія, которыя имѣлъ съ Бентамомъ императоръ Александръ.

---

[1]) Works X, 473; д'Ивернуа см. также X, 395. Краткая біографія д'Ивернуа въ Biogr. Univ. (Michaud). Такой же исключительный отзывъ о графѣ Александрѣ Салтыковѣ мы находимъ у другого современника [Н. И. Тургенева], см. La Russie el les Russes, I, 567—569.

[2]) Works X, стр. 477—478, 485—487. Между прочимъ, біографъ разсказываетъ:

«Bentham has suggested to Tchichagoff, that he should write his own memoirs, as connected with Russian politics. He answers, that the details would be too disgusting for instruction, even were it possible to find a pnblic opinion in Russia; but that there is none. That he should have little pleasure in unveiling ignorance and arroganca, — blunders barbarity, and weakness worse than all. Moreover, that he could not bring to slavery and despotism English feelings in English phraseology: still, to please Bentham, and for Bentham, he would write his own biohraphy; but the project was probably unexecuted, — in such a state of mind the task must have been most uninviting».

Въ общихъ чертахъ біографъ Бентама изображаетъ эти сношенія слѣдующимъ образомъ [1]):

«Въ это время, говоритъ онъ, въ Бентамѣ была сильно возбуждена надежда получить возможность работать для русскаго законодательства. (Мы видѣли выше, что эта надежда появлялась у него еще раньше, въ царствованіе императрицы Екатерины, когда отъ своихъ русскихъ знакомыхъ онъ слышалъ восторженные отзывы о ея правленіи). Его имя и сочиненія пользовались въ Россіи большой популярностью. Онъ самъ имѣлъ нѣкоторыхъ, — а его братъ, такъ долго бывшій въ русской службѣ, многихъ, — вліятельныхъ друзей при русскомъ дворѣ. Дюмонъ долго жилъ въ Петербургѣ, и его извѣстность и труды были такъ тѣсно связаны съ извѣстностью и трудами его учителя, что Бентамъ могъ питать сильныя ожиданія, что ему можетъ быть поручено приготовленіе кодекса. Императоръ Александръ, который любилъ показывать себя патрономъ и покровителемъ писателей и ученыхъ людей, прислалъ Бентаму брильянтовый перстень, который Бентамъ возвратилъ высокому дарителю, не распечатывая футляра, въ которомъ лежалъ перстень. Этотъ поступокъ Бентама сочли дурнымъ (ungracious), — но несправедливо. Ему вовсе не нужны были брильянтовые перстни: ему хотѣлось только заниматься законодательными работами для блага русскаго народа. Императоръ желалъ, чтобы онъ сообщилъ свои замѣчанія — или скорѣе отвѣты на вопросы коммиссіи, назначенной для пересмотра русскихъ законовъ. Но Бентамъ зналъ, что коммиссія совершенно некомпетентна въ этомъ дѣлѣ; а президентъ ея, отъ котораго зависѣло все, былъ въ особенности неспособенъ къ этому труду, такъ что Бентамъ отказался принять какое-нибудь участіе въ драмѣ слабости и неискренности».

Въ слѣдующей статьѣ мы приведемъ самые документы этихъ сношеній; изъ нихъ читатель увидитъ, въ чемъ состояла «драма слабости и неискренности».

---

1) Works X, 478.

II.

Мысль Бентама обратиться къ императору Александру съ предложеніемъ своихъ трудовъ. — Его заботы объ успѣхѣ дѣла: Сперанскій, Новосильцовъ, Розенкампфъ. — Письмо къ Мордвиному (?) объ этомъ предметѣ, въ январѣ 1814. — Текстъ писемъ Бентама къ императору Александру и къ Чарторыскому и отвѣтъ императора, 1814—1815 г. — Разочарованіе Бентама. — Послѣднія письма къ Мордвинову.

Сношенія императора Александра съ Бентамомъ, къ которымъ мы теперь переходимъ, касались очень важнаго вопроса: дѣло шло объ изданіи новаго кодекса законовъ. Сношенія эти не повели за собой какого-нибудь фактическаго участія Бентама въ этомъ дѣлѣ; напротивъ, они ограничились, такъ сказать, однимъ предварительнымъ взаимнымъ освѣдомленіемъ, изъ котораго обнаружилось, что взгляды двухъ сторонъ были слишкомъ различны, чтобы для Бентама было возможно участвовать въ кодификаціонныхъ работахъ, совершавшихся въ Россіи. Несмотря, однако, на это отсутствіе дальнѣйшихъ фактическихъ результатовъ, переписка императора Александра съ Бентамомъ любопытна, какъ эпизодъ въ исторіи либеральныхъ тенденцій императора Александра: встрѣча съ идеями Бентама была нѣкоторой повѣркой силы этихъ тенденцій. Мы видѣли, какой пріемъ нашли эти идеи въ первые годы царствованія: для многихъ мыслящихъ людей, желавшихъ общественнаго добра, идеи Бентама въ первый разъ давали твердую точку опоры и логическое доказательство, которымъ могъ подкрѣпить себя новый образъ мыслей. Когда императоръ далъ повелѣніе объ изданіи сочиненій Бентама на русскомъ языкѣ, это дало идеямъ Бентама новую санкцію; и самъ императоръ, вѣроятно, раздѣлялъ до извѣстной степени уваженіе къ этому авторитету. Начало прямыхъ сношеній его съ Бентамомъ, по вопросу о законодательствѣ, относится къ 1814 г., когда императоръ Александръ былъ въ Лондонѣ послѣ перваго пораженія Наполеона, когда онъ былъ въ періодѣ своей наибольшей славы — и наибольшихъ увлеченій. Для императора Александра недалеко было то время, когда онъ думалъ полу-дипломатическимъ, полу-пасторальнымъ образомъ ввести въ Европѣ сентиментальный, самодержавно-отеческій образъ правленія. Это настроеніе уже сильно подготовлялось въ немъ всѣми послѣдними событіями; и если по-

томъ изъ него выросла чистая реакція, то теперь, въ 1814, это была только сантиментальность, въ которой еще были цѣлы либеральныя возбужденія первыхъ годовъ царствованія.

Но сантиментальные идеалы рѣдко осуществляются въ жизни, и особенно сантиментальная постройка общественныхъ идеаловъ и предпріятій. Дѣло, въ которомъ считалось возможнымъ содѣйствіе Бентама, было слишкомъ серьезно, чтобы въ немъ можно было достигнуть самой цѣли одними идеальными мечтами, и Бентамъ всего меньше способенъ былъ удовлетворяться ими. Онъ понималъ вопросъ самымъ прямымъ реальнымъ образомъ и высказалъ свой взглядъ на дѣло съ такой суровой искренностью, какой, вѣроятно, не ожидали. Въ его отвѣтѣ оказалось, что для осуществленія идеальныхъ плановъ требуется не только глубокое убѣжденіе въ истинѣ дѣла и большія усилія при самомъ практическомъ исполненіи, но очень часто могутъ потребоваться и личныя усилія надъ самимъ собой, борьба съ собственными привычками и предубѣжденіями. По своему личному характеру и складу убѣжденій, Бентамъ былъ совершенно неспособенъ на мнимо-либеральные компромиссы и, дѣлая всякія уступки даннымъ условіямъ и обстоятельствамъ, не могъ уступить ничего изъ сущности своихъ понятій о дѣлѣ. Въ концѣ концовъ, его понятія оказались совершенно непримѣнимыми въ приложеніи къ русскому законодательству.

Очевидно, что сношенія должны были остаться безъ результатовъ.

Это, конечно, можно было предвидѣть впередъ, и если этого не предвидѣли, вступая въ сношенія съ Бентамомъ, то въ самой легкости отказа отъ его идей и обнаружилась та неустойчивость, которая отличаетъ сантиментальный либерализмъ.

Со стороны Бентама этого предвидѣнія было всетаки гораздо больше. Какъ ни былъ онъ проникнутъ сильнымъ желаніемъ «кодифицировать», — желаніемъ, столько страннымъ по понятіямъ нашего времени, и однакоже легко объяснимымъ въ то время, какъ увидимъ дальше, — его пылъ прошелъ уже скоро. Два письма его къ императору Александру раздѣлены были почти годовымъ промежуткомъ. Первое письмо было писано къ императору, въ которомъ Бентамъ видѣлъ сторонника либеральныхъ идей; когда писалось второе, Бентамъ предвидѣлъ или предчувствовалъ реакцію. Самый тонъ его послѣдняго, длиннаго письма къ императору Александру, очевидно, заставляетъ

предполагать, что у него было уже мало надежды на то, чтобы его предложенія о наилучшемъ способѣ законодательства могли быть приняты. Этотъ тонъ, при всемъ уваженіи къ высокому лицу, къ которому онъ обращался, значительно суровый и категорическій. Въ этомъ письмѣ онъ ставитъ рѣшительную дилемму, и не дѣлаетъ въ ней никакихъ смягченій.

Эта суровость имѣла и другія, болѣе частныя, причины. Бентамъ питалъ, какъ увидимъ, большое уваженіе къ Сперанскому личность котораго, повидимому, въ особенности его интересовала. Сперанскій, конечно, привлекалъ его той стороной, которую Бентамъ долженъ былъ считать у него общей съ нимъ самимъ — стороной своей энергической дѣятельности, направленной къ усовершенствованію правительственныхъ формъ. Въ этомъ дѣлѣ Бентамъ долженъ былъ считать Сперанскаго человѣкомъ, близкимъ къ его собственнымъ идеямъ и желаніямъ. Онъ зналъ, что Сперанскому принадлежало прежде большое вліяніе и въ этой самой «кодификаціи». Но Сперанскаго уже не было теперь въ центрѣ правительственной дѣятельности. Напротивъ, лицо, руководившее теперь кодификаціей, извѣстный баронъ Розенкампфъ, вызывало всю желчь и раздраженіе Бентама. Имя барона Розенкампфа, смѣнившее собою имя Сперанскаго, казалось для Бентама самымъ дурнымъ предзнаменованіемь о будущей судьбѣ законодательнаго предпріятія, порученнаго такимъ рукамъ, и, конечно, усиливало суровость его отношенія къ этому дѣлу. — Дальше мы укажемъ еще одно обстоятельство, ближайшимъ образомъ дѣйствовавшее на тогдашнее настроеніе Бентама, это — предчувствіе реакціи и тогдашнее положеніе польскихъ дѣлъ.

О томъ, при какихъ ближайшихъ обстоятельствахъ началась эта переписка Бентама съ императоромъ Александромъ, біографія Боуринга, къ сожалѣнію, представляетъ очень мало подробностей. Но этотъ пробѣлъ въ біографіи нѣсколько дополняется любопытными документами, находящимися въ рукописахъ И. П. Библіотеки; указаніемъ на эти рукописи мы обязаны просвѣщенному вниманію барона М. А. Корфа, которому считаемъ долгомъ выразить здѣсь нашу признательность [1]).

---

[1]) Кромѣ этого указанія, баронъ Корфъ сообщилъ намъ нѣкоторыя замѣчанія относительно данныхъ, собранныхъ въ первой нашей статьѣ. Именно, онъ полагаетъ, что Саблуковъ, который переписывался съ Бентамомъ, былъ не тотъ А. А. Саблуковъ, о которомъ упоминается въ

Эти рукописи, переданныя въ Библіотеку барономъ Корфомъ при оставленіи имъ поста ея директора, представляютъ слѣдующіе матеріалы: 1) полную копію (французскаго) письма Сперанскаго къ Дюмону (1804 г.), откуда мы, въ первой нашей статьѣ, могли привести только отрывокъ, находящійся въ Боуринговой біографіи Бентама,—къ этому письму мы возвратимся еще разъ; 2) копію п е р в а г о (англійскаго) письма Бентама къ императору, или вѣрнѣе п р о е к т ъ этого письма, помѣченный здѣсь еще январемъ 1814 г., и какъ увидимъ далѣе, присланный Бентамомъ къ одному изъ его русскихъ друзей, съ желаніемъ знать его мнѣніе;—впрочемъ, э т о т ъ экземпляръ не представляетъ разнорѣчій съ печатнымъ англійскимъ текстомъ, который мы приводимъ далѣе. Эти два документа были приложеніемъ къ 3) это—англійское письмо Бентама къ кому-то изъ его русскихъ друзей, котораго онъ называетъ «русскимъ государственнымъ человѣкомъ»,—по всей вѣроятности, къ Н. С. Мордвинову. Письмо (какъ и упомянутые выше документы) писано не рукой Бентама, но заключаетъ и его собственныя приписки, и перемѣчено его же рукой по страницамъ (всего 15 стр.). Время написанія не отмѣчено и только на полѣ рукописи дата обозначена январемъ 1814 года.

Въ этихъ документахъ мы встрѣчаемъ данныя, не лишенныя интереса для занимающаго насъ вопроса.

Прежде всего письмо Сперанскаго. Любопытное само по себѣ, потому что въ немъ можно видѣть до нѣкоторой степени, какъ

«Жизни Сперанскаго», а его сынъ, Ник. Ал. Саблуковъ. Первый, по словамъ барона М. А. Корфа, былъ дѣйствительно человѣкъ весьма почтенный, но стариннаго покроя и такого же воспитанія, не только не знавшій ни слова по-англійски, но и съ французскимъ языкомъ ознакомившійся кое-какъ лишь подъ старость (онъ ум. въ 1828 г.). Поэтому съ Самуиломъ Бентамомъ могъ быть въ перепискѣ несомнѣнно только сынъ этого Саблукова, Николай Александровичъ, человѣкъ замѣчательнаго ума и образованія. Бывъ, при вступленіи на престолъ императора Александра, полковникомъ конной гвардіи, онъ потомъ оставилъ службу и вступилъ въ нее снова не раньше 1812 года; по изгнаніи же французовъ изъ Россіи, опять вышелъ въ отставку, уже генераломъ, и съ тѣхъ поръ больше не служилъ. И прежде и послѣ Н. А. Саблуковъ, превосходно знавшій иностранные языки, въ томъ числѣ и англійскій, много странствовалъ по западной Европѣ, жилъ долго въ Лондонѣ, женился на англичанкѣ и умеръ въ 1848 отъ холеры. Отрывокъ изъ его мемуаровъ, писанныхъ на англійскомъ языкѣ, былъ напечатанъ.

Замѣчаніе барона Корфа о принадлежности писемъ этому послѣднему Саблукову должно быть, конечно, совершенно справедливо.

онъ думалъ о реформѣ, дѣлу которой онъ хотѣлъ служить, объ ея важности и ея условіяхъ,—это письмо даетъ нѣкоторыя указанія и на ходъ мыслей Бентама о кодификаціонныхъ трудахъ для Россіи.

Послѣ того нами уже приведеннаго мѣста, гдѣ Сперанскій пишетъ Дюмону объ успѣхѣ сочиненій Бентама, образчикъ которыхъ былъ напечатанъ въ «Спб. Журналѣ», онъ продолжаетъ:

«Для меня составляетъ истинное удовольствіе сообщить вамъ объ этомъ успѣхѣ, такъ какъ я убѣжденъ, что самое лестное вознагражденіе вашихъ трудовъ и единственное, достойное вашихъ дарованій, есть именно это распространеніе полезныхъ истинъ— въ странѣ, которая, въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ, быть можетъ, всего способнѣе принять хорошее законодательство (pays, le plus susceptible d'une bonne législation),—именно потому, что въ ней меньше приходится разсѣявать ложныхъ понятій, меньше приходится бороться противъ рутины, и больше можно встрѣтить послушной воспріимчивости (docilité à recevoir) къ благотворнымъ дѣйствіямъ умнаго и разсудительнаго правительства».

Далѣе Сперанскій разсказываетъ объ учрежденіи извѣстной «Коммиссіи составленія законовъ». Ея учрежденіе или преобразованіе было одной изъ тѣхъ мѣръ, принятыхъ въ первые годы царствованія императора Александра, на которыя возлагались особенныя надежды. Эта коммиссія, ведущая начало еще со временъ Петра Великаго и съ тѣхъ поръ, въ разныхъ формахъ, влачившая въ теченіи цѣлаго столѣтія странное и безплодное существованіе, съ 21 октября 1893 г. передана была въ министерство юстиціи. Присутствіе ея составили министръ юстиціи кн. Лопухинъ и товарищъ его, Н. Новосильцовъ; секретаремъ присутствія назначенъ былъ, столь извѣстный впослѣдствіи, лифляндскій баронъ Густавъ Розенкампфъ. Въ началѣ слѣдующаго года министерство юстиціи представило докладъ о преобразованіи коммиссіи и объ устройствѣ ея на новыхъ основаніяхъ: съ утвержденіемъ этого доклада, 28 февраля 1804 г., коммиссія составленія законовъ составила цѣлое отдѣльное вѣдомство, съ своей іерархіей чиновниковъ; высшую власть, «присутствіе», составляли въ ней министръ и товарищъ министра юстиціи, а главнымъ дѣйствующимъ лицомъ сталъ Розенкампфъ, что про-

должалось до назначенія въ члены присутствія Сперанскаго, въ августѣ 1808 года [1]).

Въ это время, въ 1804 г., Сперанскій, состоявшій при Кочубеѣ, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, еще не имѣлъ никакого отношенія къ коммиссіи. Онъ пишетъ Дюмону слѣдующимъ образомъ объ этомъ предметѣ:

«Со времени вашего возвращенія въ Лондону, попеченія о лучшемъ устройствѣ законодательной части, которыя вы здѣсь видѣли, значительно увеличились. Различныя отрасли законодательства, разсѣянныя по разнымъ частямъ, теперь соединены и изъ нихъ составлено особое вѣдомство, подъ названіемъ коммиссіи законовъ. Принятъ планъ редакціи, и по этому плану собираютъ и классифицируютъ необходимые матеріалы. Эта коммиссія состоитъ подъ спеціальнымъ управленіемъ г. Новосильцова. Не имѣя занятій по этой части и будучи почти чуждъ тому роду свѣдѣній, какихъ онъ требуетъ, я не могу судить о степени дарованій, которыя она можетъ заключать въ своемъ составѣ [2]). Но я убѣжденъ, что совѣты и взгляды такого человѣка, какъ г. Бентамъ, имѣли бы здѣсь существенную важность. Его аналитическій и глубокій умъ долженъ имѣть высокое значеніе вездѣ, гдѣ идетъ дѣло объ установленіи законодательства, основаннаго на истинныхъ принципахъ пользы. Я вполнѣ раздѣляю съ вами убѣжденіе въ тѣхъ послѣдствіяхъ, какія порождаетъ эта идея; но, не имѣя возможности дѣйствовать для ея принятія, я могу только питать желаніе, чтобы благія намѣренія правительства, тѣми или другими средствами, были исполнены наилучшимъ образомъ. Впрочемъ, г. Новосильцовъ находится теперь въ Лондонѣ [3]), и вы, быть можетъ, сами будете имѣть случай говорить съ нимъ объ этомъ предметѣ, истинно важномъ для человѣчества. Ваше свидѣтельство способно подкрѣпить предложеніе этого рода и доставить ему весь возможный авторитетъ».

---

[1]) См. «Докладъ министерства юстиціи о преобразованіи коммиссіи составленія законовъ» и пр. Спб. 1804, и бар. Корфа, «Жизнь Сперанскаго», I, 146 и слѣд.

[2]) Эти послѣднія слова въ письмѣ Сперанскаго приведены въ книгѣ барона Корфа, I, 154—155, прим.

[3]) Ему былъ порученъ важный дипломатическій трудъ—привлечь Англію въ коалицію, которую императоръ Александръ составлялъ тогда противъ Наполеона.

Къ тому мѣсту письма, гдѣ говорится о Новосильцовѣ, сдѣлана сноска, написанная по-англійски, или Дюмономъ, или Бентамомъ; въ копіи П. Библіотеки она списана, кажется, той же рукой, какой написано и все письмо. Въ этой сноскѣ говорится слѣдующее: «Во всемъ, кромѣ благихъ намѣреній, полная неспособность достойнаго джентльмена (т. е. Новосильцова) къ какому-нибудь дѣлу подобнаго рода оказалась, съ перваго же раза, такъ велика, что всякій разговоръ съ нимъ объ этомъ предметѣ былъ бы совершенной потерей времени: это было очевидно. Поэтому, я старательно и положительно уклонялся отъ него. Идеи г. Н. были въ Петербургѣ, въ головѣ г. Р. (т. е. Розенкампфа), а идеи Р. были въ облакахъ, — гдѣ, безъ сомнѣнія, пребываютъ и теперь» [1]).

Такимъ образомъ, для Бентама уже съ этого времени становилось видно положеніе законодательнаго вопроса въ коммиссіи законовъ. Впослѣдствіи назначеніе Сперанскаго въ члены присутствія въ коммиссіи было, безъ сомнѣнія, пріятно для него, потому что Сперанскаго онъ очень уважалъ и считалъ его способнымъ къ этому дѣлу. Что касается до Розенкампфа, Бентамъ не упускалъ его изъ виду. Мы еще встрѣтимъ его имя въ слѣдующемъ письмѣ Бентама, которое мы находимъ въ П. Библіотекѣ.

Это письмо (отъ января 1814 г.), адресованное, какъ мы полагаемъ, къ Мордвинову, занято уже именно планомъ Бентама обратиться къ императору Александру съ предложеніемъ своихъ трудовъ на пользу русской кодификаціи. Письмо, которое на самомъ дѣлѣ представлено было императору только въ маѣ 1814, было уже въ январѣ этого года прислано Бентамомъ къ своему корреспонденту, у котораго онъ проситъ совѣта и содѣйствія по этому предмету и которому онъ сообщаетъ свои предположенія о различныхъ шансахъ этого дѣла. Онъ разсчитываетъ разныя обстоятельства, отъ которыхъ можетъ зависѣть успѣхъ или неуспѣхъ дѣла, и исторія его письма къ

---

[1]) Въ подлинникѣ: «In every thing but goodness of intention, the worthy gentleman's complete unfitness for any such business became immediately so prominent, that any conversation with him on the subject would (it was evident) be worse than labour lost. I accordingly kept carefully and effectually out ot his way. Mr N.'s ideas were at Petersburgh in fhe head of Mr R...; and Mr R.'s were (where they doubtless continue to be) in the clouds».

императору, которую мы здѣсь отчасти видимъ, довольно показываетъ, до какой степени это дѣло дѣйствительно у него «лежало на душѣ», — мы увидимъ, почему его письмо къ императору Александру имѣло тотъ, а не другой характеръ. Мы приведемъ здѣсь существенные пункты его разсказа.

Начала письма, повидимому, недостаетъ; оно начинается такимъ образомъ:

....«Когда я такимъ образомъ представилъ вамъ лучшее доказательство, какое въ состояніи дать мои слабыя силы, — доказательство той привязанности — — —, которой не можетъ не требовать ваша дружба къ моему брату, позвольте мнѣ упомянуть вамъ объ одномъ дѣлѣ, на которое онъ меня побуждаетъ (хотя оно и безъ того достаточно лежитъ у меня на душѣ) и которое (я льщу себя этой мыслью) будетъ не совсѣмъ индифферентно для русскаго государственнаго человѣка, выразившаго такъ ясно свое одобреніе моихъ принциповъ и моихъ сочиненій, какъ я имѣлъ удовольствіе это видѣть.

«Я беру на себя смѣлость поручить вашей заботѣ прилагаемыя при этомъ два экземпляра письма, написаннаго мною къ вашему императору. Въ одномъ изъ нихъ помѣщенъ параграфъ, который въ другомъ экземплярѣ опущенъ: вотъ вся ихъ разница. То изъ этихъ писемъ, которое вы найдете наилучше соотвѣтствующимъ цѣли, я просилъ бы вашей благосклонности — переслать ему какимъ бы то ни было образомъ, который можетъ оказаться наиболѣе удобнымъ [1]). Разныя лица согласно увѣряютъ меня, что на англійскомъ языкѣ оно будетъ для него столько же понятно, какъ на французскомъ; и на англійскомъ языкѣ (какъ говорятъ иные) оно можетъ пріобрѣсть болѣе благосклоннаго вниманія и дѣйствовать съ бо́льшимъ вѣсомъ, чѣмъ на менѣе дружественномъ и болѣе обыкновенномъ языкѣ.

«Я считалъ необходимымъ спросить мнѣнія разныхъ лицъ, больше или меньше имѣющихъ то знаніе людей и обстоятельствъ (въ Россіи), какого я не имѣю вовсе. Теперь это письмо имѣетъ не совсѣмъ тотъ видъ, въ какомъ оно первый разъ вышло изъ моихъ рукъ. Тогда я старался сколько возможно

---

[1]) Мы замѣтили выше, что экземпляръ, находящійся при этомъ письмѣ въ П. Б-кѣ, совершенно сходенъ съ тѣмъ письмомъ, которое Бентамъ впослѣдствіи напечаталъ и которое мы ниже помѣщаемъ въ переводѣ.

избѣгать того самовозвеличенія, котораго вы увидите теперь такое изобиліе. Но меня съ разныхъ сторонъ увѣряли, что — подъ опасеніемъ остаться непонятнымъ — я необходимо долженъ говорить такъ ясно и прямо, какъ только возможно, отдавая полное предпочтеніе понятности передъ скромностью.

«Въ томъ видѣ письма, какой оно имѣетъ теперь, я самъ не нахожу ничего въ частности, что бы представляло опасность произвести неудовольствіе, или какимъ-нибудь образомъ мѣшать намѣренію. Но еслибы вы открыли въ немъ что-нибудь подобное, то съ вашей стороны было бы дѣломъ человѣколюбія отдать переписать его, опустивъ осужденное мѣсто, и дать кому-нибудь подписать мое имя. И время и отдаленность вмѣстѣ запрещаютъ пересылку письма взадъ и впередъ между Лондономъ и Петербургомъ для такой (маловажной) цѣли. Вы — мой уполномоченный: — вы имѣете carte blanche.»

Онъ разбираетъ потомъ, имѣетъ ли право отягощать своего корреспондента заботами о письмѣ, и находитъ, что участіе этого корреспондента къ его предпріятію, вѣроятно, позволитъ ему расчитывать на такое содѣйствіе. Переходя затѣмъ къ расчетамъ о томъ, гдѣ онъ можетъ встрѣтить поддержку или оппозицію своему предпріятію, Бентамъ прежде всего вспоминаетъ о томъ же Розенкампфѣ и, чтобы объяснить свои предположенія относительно его вѣроятнаго взгляда на это дѣло, приводитъ отрывокъ изъ одного письма, на которое мы уже указывали выше, въ первой статьѣ. Читатель припомнитъ письмо д'Ивернуа къ Дюмону (отъ 6 февр. 1813 г.), гдѣ говорится о томъ, какъ читаются сочиненія Бентама нѣкоторыми русскими государственными людьми. Въ нашей рукописи мы находимъ этотъ отрывокъ въ болѣе полномъ видѣ, и изъ него оказывается, что у д'Ивернуа шла рѣчь именно о Розенкампфѣ [1]).

«Я не осмѣливаюсь ручаться, писалъ д'Ивернуа къ Дюмону, чтобы вашъ трудъ былъ понятъ однимъ статскимъ совѣтникомъ, котораго вы знаете и который возвратилъ мнѣ ваши

---

[1]) Бентамъ говоритъ: «Я приведу отрывокъ изъ письма къ Дюмону, 6 февр. 1813 года, отъ одного его друга, котораго вы угадаете. По моему желанію, это письмо было оставлено имъ у меня, вскорѣ послѣ того, какъ оно сюда пришло. Ни тотъ, ни другой не знаютъ, что изъ письма сдѣлано будетъ это употребленіе; но если бы они и знали, то оба они (я надѣюсь) извинятъ меня.»

два волюма (Peines et Récompenses) въ 24 часа, увѣряя меня, что онъ прочелъ ихъ и размышлялъ о нихъ цѣлую ночь. Его зовутъ Р... [1]), котораго его величество императоръ далъ мнѣ въ руководители [2]) и относительно котораго я могу похвалиться, что гораздо васъ скорѣе оцѣнилъ и его голову и его сердце».

Затѣмъ Бентамъ продолжаетъ:

«Не можетъ быть, конечно, рѣчи о какомъ-нибудь шансѣ принятія подобнаго предложенія (т. е. того, которое хотѣлъ сдѣлать Бентамъ императору), — какъ вы, безъ сомнѣнія, хорошо знаете, — если бы при всѣхъ усиліяхъ этого Р... онъ былъ въ силахъ остановить его. Все время, какъ Дюмонъ находился въ Петербургѣ, вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ Traités de Législation, Р... былъ какъ на иголкахъ: уловки и притворства, къ которымъ онъ прибѣгалъ, и волненіе, которое онъ обнаруживалъ, представляли тогда совершенную комедію: нѣкоторыя черты ея есть гдѣ-то у меня записанныя. Тоже заявленіе, что онъ провелъ цѣлую ночь или двѣ ночи въ чтеніи и размышленіи обо всей книгѣ; тоже рѣшительное нежеланіе слышать или сказать хоть слово о какой-нибудь одной особенной части.

«Все это совершенно естественно. Не въ природѣ вещей, чтобы по предмету законодательства его идеи и мои могли найти одобреніе въ одномъ и томъ же умѣ. Тотчасъ послѣ появленія моихъ (кажется, въ 1807 г.), его идеи — если мои свѣдѣнія справедливы — были оцѣнены по ихъ настоящему достоинству. «Голова» и «сердце», о которыхъ идетъ рѣчь, были, какъ я предполагаю, въ числѣ тѣхъ, съ которыми вамъ приходилось имѣть дѣло. Относительно настоящаго положенія законовъ въ имперіи (судебнаго устройства и формъ судебной процедуры), я не удивился бы, впрочемъ, еслибъ услышалъ, что его голова больше, чѣмъ всѣ другія, имѣетъ свѣдѣній (включая и средства полученія этихъ свѣдѣній изъ разныхъ источниковъ, откуда ихъ можно имѣть). Но, если говорить о содѣйствіи въ такомъ дѣлѣ, каково предлагаемое мной, есть ли какой-нибудь шансъ найти для него какое-нибудь побужденіе къ этому? — Если бы онъ дѣйствительно могъ быть удовлетворенъ на такихъ условіяхъ, что онъ на свою долю имѣлъ бы всю награду за то, что сдѣлано (предполагая всегда его

[1]) На полѣ карандашомъ: Розенкампфъ.

[2]) Alas! poor Russia! — прибавлено въ скобкахъ, конечно Бентамомъ.

способность доставлять самыя правильныя и полныя свѣдѣнія, какія можно имѣть), а я имѣлъ бы на свою долю трудъ, онъ и я были бы лучшими друзьями, какихъ только можно себѣ вообразить.

«Другая вещь, какую необходимо, кажется, помнить всякому лицу, которое имѣло бы наклонность дать свою поддержку моему предложенію (хотя для васъ это замѣчаніе можетъ быть совершенно излишне послѣ того, что вы, вѣроятно, слышали отъ моего брата), есть то, что еслибы здѣшняя администрація узнала объ этомъ дѣлѣ и если бы въ ея власти было помѣшать ему, она помѣшала бы навѣрное. Хотя я и былъ предметомъ публично заявленнаго уваженія, засвидѣтельствованнаго документально, предметомъ многократныхъ и не встрѣчавшихъ никогда противорѣчія похвалъ, высказанныхъ по разнымъ случаямъ и отъ различныхъ сторонъ парламента, въ палатѣ общинъ, но для нихъ (т. е. для администраціи) я тѣмъ не менѣе, или даже тѣмъ болѣе упорно служу предметомъ отвращенія и вмѣстѣ предметомъ опасеній (apprehension), насколько можетъ быть такимъ предметомъ одиноко стоящій человѣкъ, не принадлежащій ни къ какой партіи и не имѣющій никакихъ политическихъ плановъ»...

Этихъ своихъ непримиримыхъ враговъ Бентамъ указываетъ, не говоря о духовенствѣ, въ англійскихъ законникахъ, ненавидѣвшихъ его за то, что онъ открылъ тѣ недостатки и злоупотребленія, отъ которыхъ зависитъ и которыми соразмѣряется ихъ личное благополучіе. Онъ приводитъ примѣры и случаи, — какъ его величество Георгъ III сдѣлалъ ему честь, записавши его въ свою черную книгу, какъ парламентъ, зависящій отъ министерства, нарушилъ (съ ущербомъ для казны) свое обѣщаніе устроить тюремныя учрежденія по плану «Паноптикона», и т. д. Достаточно извѣстно, что Бентамъ дѣйствительно былъ предметомъ ненависти для всѣхъ консервативныхъ элементовъ англійскаго правительства, аристократіи, духовенства и юридическихъ казуистовъ; а эти элементы бываютъ обыкновенно въ огромномъ большинствѣ.

«При такихъ обстоятельствахъ, предположите, что (наприм., по внушенію вашего Р...) нашему посланнику при вашемъ дворѣ сдѣлаютъ вопросъ, что онъ знаетъ обо мнѣ. Отвѣтъ, - и вѣроятно справедливый, будетъ, вѣроятно, тотъ, что онъ никогда не слыхалъ о такомъ человѣкѣ. Предположите, что такой

же вопросъ будетъ обращенъ вашимъ посланникомъ здѣсь къ лорду Ливерпулю, лорду Батёрсту, или лорду Кэстльри, отвѣтъ будетъ тотъ, что они никогда меня не видывали, но что я, хотя и благомыслящій человѣкъ, но человѣкъ умозрительный, фантазеръ, утопистъ, полный невозможныхъ плановъ преобразованій, и самъ человѣкъ невозможный (unpracticable), который надѣлалъ имъ порядочно хлопотъ.

«Если бы спросили теперь лорда С.-Эленса (нашего посланника при вашемъ дворѣ, если можете или не можете припомнить), его отвѣтъ былъ бы таковъ, что я не могу, оставаясь скромнымъ, дать вамъ о немъ понятія.

«Каковъ былъ бы отвѣтъ лорда Сидмута, я нѣсколько затрудняюсь придумать — — —

«Еслибы не цѣль, которую я имѣю въ виду, то была бы невыносима и десятая доля этихъ моихъ толковъ о самомъ себѣ», замѣчаетъ Бентамъ, и высказывая свое убѣжденіе въ томъ, что могъ бы принести пользу человѣчеству этими своими трудами, пользу, которой не приносилъ еще никто до тѣхъ поръ («потому что ни въ одномъ изъ кодексовъ, изданныхъ въ послѣднее время, не излагаются основанія — reasons — законовъ»), онъ выражаетъ надежду, что его не осудятъ за его способъ дѣйствій и заботу объ интересѣ своего дѣла.

Онъ обращаетъ вниманіе и на тотъ возможный шансъ, что его трудъ, достигши Петербурга, будетъ оставленъ безъ вниманія и безъ употребленія. Этотъ шансъ онъ не считаетъ невѣроятнымъ, но думаетъ, что если бы трудъ его былъ изданъ въ Англіи, то сама исторія его совершенія обезпечила бы ему вниманіе, и этого было бы довольно. Онъ разумѣетъ здѣсь, относительно Англіи, не вниманіе немногихъ управляющихъ, а вниманіе многихъ управляемыхъ: о первыхъ онъ уже сказалъ, что для нихъ онъ составляетъ предметъ отвращенія, какъ и всякая мысль о реформѣ. При его жизни, имъ нечего отъ него боятся; но послѣ его смерти имъ надо будетъ бояться многаго.

«Эта увѣренность и предвкушеніе уваженія отъ немногихъ людей признаннаго достоинства по ихъ талантамъ и общественной добродѣтели — и составляютъ мою награду.

«Если я не слишкомъ льщу себѣ, — продолжаетъ Бентамъ,— я успѣлъ уже положить основаніе по крайней мѣрѣ небольшой школы, состоящей изъ людей даровитыхъ и дѣятельныхъ, ко-

торые, будучи вполнѣ проникнуты моими принципами, не будутъ имѣть недостатка ни въ охотѣ, ни въ способности идти впередъ и дополнить то, что останется у меня неконченнымъ: такъ что, по моей смерти, — если тѣмъ временемъ будетъ сдѣлано какое-нибудь употребленіе изъ моего предложенія, — можно будетъ знать, гдѣ можно было бы получить содѣйствіе для продолженія дѣла».

Обращаясь потомъ къ своему личному труду, Бентамъ замѣчаетъ, что его дѣятельность, хотя еще не прекратилась, но уже приближается къ концу.

«Впрочемъ — говоритъ онъ — трудъ, о которомъ идетъ рѣчь, былъ бы для меня игрушкой въ сравненіи съ моими настоящими занятіями[1]): онъ былъ бы для меня своего рода отдохновеніемъ. Труды подобнаго рода составляютъ единственное, абсолютно единственное удовольствіе, какое въ послѣдніе годы осталось для меня. Я не хожу рѣшительно никуда. Я не принимаю никого, кромѣ немногихъ, отъ кого въ этихъ своихъ трудахъ я могу получить, или ожидаю получить поощреніе или помощь. Я уклонился отъ свиданія съ вашимъ Н.[2]), который, хотя, какъ я слышалъ, есть человѣкъ почтенный и добронамѣренный, но обнаружилъ слишкомъ явную слабость довѣріемъ къ своему Р... Я не хотѣлъ также видѣть Хитрово, и адресовалъ его къ своему брату. «Г-жа Сталь (говоритъ мнѣ Дюмонъ) не хочетъ видѣть здѣсь никого, пока не увидитъ васъ»; — «въ такомъ случаѣ (говорю я) она не увидитъ здѣсь никого». Когда была здѣсь миссъ Эджевортъ, я также не хотѣлъ принять ее. Г-жа Сталь и въ печати и въ разговорахъ ругаетъ принципъ пользы; миссъ Эджевортъ превозноситъ его — — Миранду я принялъ: еслибы онъ имѣлъ успѣхъ, я составилъ бы кодексъ для Венезуэлы, а потомъ, можетъ быть, и для другихъ частей испанской Америки. Полковника Бурра (американца) я даже принялъ на нѣсколько времени въ свой домъ: я имѣлъ доказательства его уваженія къ моимъ трудамъ въ то время, когда онъ былъ на высотѣ своей славы и не могъ имѣть помышленія, что когда-нибудь меня увидитъ.

---

[1]) Бентамъ разумѣлъ вообще теоретическій трудъ, разъясненіе принциповъ и основаній законовъ, — вещи, надъ которыми онъ именно трудился всю свою жизнь.

[2]) Т. е. опять Новосильцовымъ.

«Въ васъ я вижу просвѣщеннаго друга вашего отечества и испытаннаго друга моего брата. Я не безъ нетерпѣнія жду того времени, когда я могу надѣяться пожать вамъ руку въ этомъ моемъ уединеніи».

Въ пост-скриптѣ Бентамъ спрашиваетъ: можно-ли было бы получить собственноручное письмо императора въ отвѣтъ на его предложеніе, и не произвело-ли бы подобное письмо больше впечатлѣнія, чѣмъ такое, которое было бы только подписано имъ? Потомъ, заговоривъ о Дюмонѣ, онъ вспоминаетъ о его пребываніи въ Петербургѣ:

«Когда онъ былъ въ Петербургѣ и былъ такъ хорошо принятъ нѣкоторыми членами администраціи вслѣдствіе изданія моего труда, онъ говорилъ такъ, что ему казалось весьма вѣроятнымъ получить приглашеніе: но не имѣя полномочія отъ меня, онъ не сдѣлалъ никакого предложенія отъ моего имени. Кочубей, кажется, былъ склоненъ къ этому, но не имѣлъ возможности: его вѣдомство было удобно для этого, но онъ оставлялъ его. Сперанскій, въ то время (я полагаю) состоявшій при Кочубеѣ, кажется, понималъ въ чемъ дѣло, и письмо его къ Дюмону, которое я видѣлъ въ то время, кажется, выражало это. Онъ именно говорилъ съ Дюмономъ о русскомъ переводѣ, который (я полагаю) вы имѣете».

Въ концѣ письма сдѣлана самимъ Бентамомъ приписка. Онъ нашелъ у себя письмо Сперанскаго, о которомъ была рѣчь, и посылаетъ своему корреспонденту копію (конечно, ту самую, которая находится въ рукописи Публичной Библіотеки): «изъ этой копіи вы можете видѣть, на какой почвѣ стояло въ то время законодательное дѣло, насколько оно касалось меня».

Наконецъ, онъ прибавляетъ еще нѣкоторыя соображенія по тому же предмету:

«Лордъ Кэстльри отправился въ свое посольство. Изъ сказаннаго выше вы увидите, какъ важно то, чтобы мое письмо не было представлено, пока лордъ Кэстльри не удалится отъ того лица, которому оно адресовано. Поццо ди-Борго (съ которымъ я никогда не имѣлъ никакихъ сношеній) считается Дюмономъ въ числѣ друзей этого дѣла. Такъ Дюмонъ увѣрялъ меня и собирался писать ему объ этомъ предметѣ, чтобы извѣстить его, что такое предложеніе будетъ сдѣлано и, сообщая свое мнѣніе, говорилъ, что по его мнѣнію можетъ всего лучше

доставить его содѣйствіе; о важности этого содѣйствія, вы, я полагаю, знаете все, а я, конечно, не знаю ничего.

«Разныя обстоятельства нѣсколько разъ подвергали это скучное письмо многимъ перемѣнамъ. Послѣдняя дата его здѣсь поставлена». — Въ концѣ извѣстіе о добромъ здоровьѣ Самуила Бентама.

Эта послѣдняя дáта есть 28-е января 1814.

Мы не имѣемъ дальнѣйшихъ свѣдѣній о томъ, какъ потомъ шло дѣло объ этомъ первомъ письмѣ Бентама къ императору Александру. Оно было представлено въ маѣ 1814 и читатель увидитъ ниже объясненіе послѣдующихъ обстоятельствъ дѣла. Письмо, представленное Бентамомъ (какъ оно напечатано потомъ имъ самимъ) не разнится отъ той редакціи, какую мы находимъ въ рукописи Публичной Библіотеки.

Когда дѣло кончилось совсѣмъ — и кончилось неудачей, — Бентамъ издалъ самъ свою переписку съ императоромъ Александромъ въ «Papers relative to Codification and Public Instruction» (Лондонъ 1817) и въ «Supplement to Papers etc.», вышедшихъ въ томъ же году. Въ этомъ самомъ видѣ переписка вошла и въ собраніе его сочиненій, 1843 года [1]).

Въ переводѣ этихъ писемъ мы старались быть сколько можно близкими къ подлиннику. Это не такъ легко, и быть можетъ не такъ удобно для читателя: языкъ Бентама вообще довольно тяжелъ, и о Бентамѣ даже просто говорятъ, что онъ «не умѣлъ писать», — но тѣмъ не менѣе мы желали сохранить особенности его стиля, потому что онѣ довольно характерны. Бентамъ дѣйствительно не заботился о гладкости фразы; онъ старался только о томъ, чтобы его мысль выражалась во фразѣ со всей точностью, со всѣми ея опредѣленіями; поэтому фраза обставлена обыкновенно множествомъ условныхъ, предположительныхъ, усиливающихъ или ослабляющихъ подробностей, которыхъ достаточно было бы, чтобы изъ одной этой фразы выстроить нѣсколько цѣлыхъ періодовъ. Понятно, какъ этотъ характеръ языка выражалъ самый характеръ ума Бентама, его строгую логическую послѣдовательность и юридическую точность. Этотъ языкъ самъ по себѣ есть историческая черта.

Переходимъ къ самымъ письмамъ.

---

[1]) Works, IV, 514—528. Ср. тамъ же, стр. 452, прим.

1. Письмо Іереміи Бентама къ императору всероссійскому.

Queen-Square-Place, Westminster.

Лондонъ, мая 1814 г.

Цѣль этого письма состоитъ въ томъ, чтобы представить вниманію вашего величества предложеніе относительно области законодательства.

Мнѣ шестьдесятъ шесть лѣтъ. Изъ нихъ не много менѣе пятидесяти проведены были на этомъ поприщѣ безъ всякихъ порученій со стороны какого либо правительства. Я гордился бы посвятить остальные годы моей жизни, насколько это можетъ быть сдѣлано мною въ моемъ отечествѣ, трудамъ на улучшеніе состоянія этой отрасли управленія въ обширной имперіи нашего величества.

Въ 1802 году издано было въ Парижѣ г-мъ Дюмономъ (изъ Женевы) сочиненіе въ трехъ томахъ 8⁰ подъ названіемъ: Traités de Législation Civile et Pénale etc., извлеченное, какъ упоминается въ немъ, изъ моихъ бумагъ.

Въ 1805 году переводъ этого сочиненія на русскій языкъ былъ изданъ въ С.-Петербургѣ по повелѣнію вашего величества (если мнѣ вѣрно сообщено объ этомъ).

Со времени появленія этого сочиненія Европа увидѣла два обширныхъ кодекса законовъ, обнародованныхъ въ ея предѣлахъ: одинъ французскимъ императоромъ, другой королемъ Баваріи. Тотъ и другой представляютъ собою единственные кодексы подобнаго обширнаго объема, какіе только появлялись въ послѣднее полустолѣтіе. Изъ законовъ, изданныхъ французскимъ императоромъ, одна часть заключаетъ въ себѣ полный уголовный кодексъ. Въ предисловіи къ этому авторитативному [1]) труду, упоминается о

[1]) Бентамъ принимаетъ это слово въ слѣдующемъ смыслѣ: книга, заключающая въ себѣ изложеніе и объясненіе законовъ, «называется авторитативной тогда, когда составлена человѣкомъ, который, представляя такое или другое состояніе закона, бываетъ виновникомъ этого состоянія, т. е. когда она составлена самимъ законодателемъ; она называется не-авторитативной, когда она есть произведеніе какого-нибудь другого лица вообще»; другими словами: когда она имѣетъ юридическую силу закона, или не имѣетъ этой силы. Ср. Избр. Сочин. Бент. I, 301—302.

моемъ не-авторитативномъ трудѣ съ почетнымъ отзывомъ; между умершими приводятъ имена Монтескье, Беккаріи и Блакстона, — между живыми (исключая только нѣкоторые фактическіе предметы) одно только мое имя. Въ баварскомъ кодексѣ, составленномъ г. Бексономъ, упоминается о моемъ сочиненіи гораздо подробнѣе и обширнѣе и расточается ему еще больше похвалъ.

Во Франціи подъ непосредственной волей Наполеона — въ Баваріи подъ вліяніемъ Наполеона, — это великодушіе, оказанное вниманіемъ къ труду живого англичанина, не могло не вызвать съ моей стороны удивленія.

Похвала труду—одна вещь; принятіе его—другая. Имѣя передъ собою мой трудъ, оба эти новѣйшія произведенія приняли въ свое основаніе законодательство древняго Рима. Для Россіи во всякомъ случаѣ это было бы только лишней помѣхой.

Въ устройствѣ человѣческой природы есть фибры, которыя бываютъ однѣ и тѣ же во всякомъ мѣстѣ и во всякое время, и есть другія, которыя мѣняются по мѣсту и по времени. Эти-то послѣднія и были предметомъ моего постояннаго и положительно заявленнаго вниманія, ихъ въ особенности я старался выяснить и о нихъ заботился. Объ особенностяхъ Россіи я имѣю нѣкоторое понятіе. Два года изъ тѣхъ лѣтъ моей жизни, которыя были наиболѣе богаты наблюденіями, были проведены въ предѣлахъ Россіи.

Кодексы по французскому образцу теперь уже у всѣхъ на виду. Скажите слово, Государь, и Россія представитъ свой собственный образецъ, и тогда пусть Европа судитъ.

Правда, для Россіи я чужой человѣкъ. Но для этой цѣли едва ли я болѣе чуждъ ей, чѣмъ курляндецъ, ливонецъ или финляндецъ[1]). Что касается мѣстныхъ знаній, то для того, чтобы поставить меня на одинъ уровень съ уроженцемъ Россіи, разнаго рода свѣдѣнія будутъ, конечно, совершенно необходимы — для меня также какъ и для нихъ. И никто съ такой готовностью не могъ бы доставлять мнѣ такія свѣдѣнія, съ какою я принялъ бы ихъ и воспользовался ими.

Въ моемъ вышеупомянутомъ трудѣ представленъ образчикъ уголовнаго кодекса. Прежде всего, я почтительнѣйше

[1]) Это, конечно, намекаетъ между прочимъ и на Розенкампфа, или исключительно на него.

предложилъ бы сдѣлать то, что остается еще недодѣланнымъ для полноты этого труда. На это, я надѣюсь, потребовалось бы только нѣсколько мѣсяцевъ.

Государь и отецъ — въ этихъ двухъ качествахъ ваше величество всегда желаете и находите удовольствіе являться передъ своимъ народомъ. Въ этихъ двухъ качествахъ, даже на суровомъ и тернистомъ пути уголовнаго закона,—въ этихъ самыхъ, такъ счастливо сочетавшихся качествахъ, ваше величество могли бы также явиться предъ народомъ, обращаясь къ нему черезъ посредство моего пера. Государь — по своимъ повелѣніямъ, отецъ — по своимъ наставленіямъ; государь, столько же старающійся установить необходимыя обязательства, сколько отецъ старается сдѣлать эту необходимость очевидною, — очевидною для всѣхъ людей, — такъ что каждая мѣра, имъ предпринимаемая, оправдываетъ его въ ихъ глазахъ.

Основанія [1]) — да, только съ помощію однихъ основаній и возможно выполнить трудъ столь благотворный и столь тяжелый, — основанія, связанныя непрерывной цѣпью ссылокъ, съ одной стороны съ общими началами, изъ которыхъ они были выведены, а съ другой — съ различными положеніями и словами въ текстѣ закона, для оправданія (justification) и вмѣстѣ для разъясненія котораго они и были составлены. Принадлежность этого рода составила бы одну изъ особенностей моего кодекса; образчикъ этого сдѣланъ въ моихъ вышеупомянутыхъ трактатахъ.

Этотъ образчикъ былъ вызовомъ для законодателей: благонамѣренные, но крѣпко скованные французы отступили отъ него со страхомъ. Какъ тонко они чувствовали пользу этой принадлежности закона, — какъ они желали и въ то же время боялись подвергнуть свои работы такому строгому испытанію,—съ какимъ трудомъ они старались придумать нѣкоторую замѣну этому — (я разумѣю массу неопредѣленныхъ общихъ фразъ, плавающихъ по воздуху и лишенныхъ всякаго примѣненія

[1]) Reasons, т. е. объясненія основаній, на которыхъ постановляется тотъ или другой законъ. Бентамъ вообще настаиваетъ на томъ, чтобы законъ, при помощи подобныхъ объясненій, былъ понятенъ, чего не бываетъ очень часто, когда законъ имѣетъ форму категорическаго повелѣнія; – послѣднее требуетъ только повиновенія; первое предполагаетъ пониманіе закона. Одно дѣйствуетъ только силой, другое вмѣстѣ и разумомъ.

къ частностямъ), — какъ печально несоотвѣтственна была эта замѣна, — какое извиненіе представляется для этого недостатка и какъ слабо это извиненіе, — все это можно видѣть въ ихъ книгахъ.

Общедоступность, точность, однообразіе, простота, — качества, соединеніе которыхъ такъ желательно и вмѣстѣ такъ трудно, — таковы, при выборѣ словъ, качества, которыхъ требуетъ, кажется, самая сущность дѣла. Сообщить эти качества труду и при томъ каждое въ высшей степени, какую допускаетъ необходимое вниманіе ко всему остальному, было бы, и въ этомъ случаѣ, какъ бывало и во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, для моего ума предметомъ неослабной заботливости. Какой можетъ это обѣщать успѣхъ, пусть скажетъ вышеупомянутый образчикъ. Кто увидитъ эту одну часть, тотъ составитъ себѣ въ этомъ отношеніи понятіе о цѣломъ.

Въ разгарѣ войны, при непрерывныхъ успѣхахъ или трудностяхъ войны, одной или двухъ собственноручныхъ строкъ вашего величества было бы достаточно для того, чтобы положить начало этому труду, — этому труду, величайшему изъ всѣхъ трудовъ мира.

Что касается вознагражденія, то честь быть избраннымъ для такого труда и нераздѣльныя съ этой честью удовольствія составляютъ единственную награду, которая при моемъ положеніи становится необходимой, — единственную, которую мой образъ мыслей позволилъ бы мнѣ принять.

Со всѣмъ уваженіемъ, о которомъ свойство этого письма свидѣтельствуетъ полнѣе, чѣмъ могла бы свидѣтельствовать какая-нибудь обычная форма словъ, мое стараніе заключалось бы въ томъ, чтобы оказать себя, государь, всегда вѣрнымъ слугою вашего императорскаго величества.

Іеремія Бентамъ.

2. Письмо Александра I, императора Всероссійскаго, къ Іереміи Бентаму въ Лондонъ, — написанное (по французски) собственною рукою его величества въ отвѣтъ на предыдущее письмо.

М. Г.! Съ большимъ интересомъ я прочиталъ письмо, написанное вами ко мнѣ, и находящіяся въ немъ ваши предложенія содѣйствовать вашими познаніями законодательнымъ трудамъ, имѣющимъ цѣлью доставить моимъ подданнымъ новый кодексъ

законовъ. Это дѣло слишкомъ близко моему сердцу, и я придаю ему такое высокое значеніе, что не могу не желать воспользоваться, при его совершеніи, вашими знаніями и опытностью. Я предпишу коммиссіи, на которую возложено исполненіе этого дѣла, прибѣгать къ вашему содѣйствію и обращаться къ вамъ съ вопросами. Между тѣмъ примите мою искреннюю благодарность и прилагаемый при семъ подарокъ (souvenir), въ знакъ особеннаго уваженія, которое я къ вамъ питаю.

Александръ.

Вѣна, 10/22 апрѣля 1815.

Къ этому письму Бентамъ сдѣлалъ въ своемъ изданіи 1817 года слѣдующее ниже примѣчаніе, гдѣ онъ объясняетъ нѣкоторыя обстоятельства этой переписки и дѣлаетъ обзоръ своего второго, обширнаго письма къ императору Александру, которое было напечатано имъ нѣсколько позднѣе, въ упомянутомъ «Supplement to Papers etc.», хотя въ томъ же 1817 году [1]). Хотя поэтому здѣсь и представится нѣкоторое повтореніе, мы предпочли помѣстить цѣликомъ и эту статью, какъ представляющую нѣсколько разъясненій того, почему мнѣнія Бентама о русскихъ дѣлахъ—какъ эти мнѣнія выразились въ его второмъ длинномъ письмѣ къ императору Александру и въ другой позднѣйшей его перепискѣ, — носятъ оттѣнокъ нѣкоторой скептической суровости и наконецъ ироніи. Читатель замѣтитъ здѣсь, между прочимъ, и взглядъ Бентама на тогдашнія польскія дѣла. Какъ тогда многіе въ Европѣ, онъ ожидалъ для Польши иного порядка вещей, чѣмъ тотъ, какой устроенъ былъ тогдашними событіями: самъ лично онъ имѣлъ надежду «кодифицировать» и для Польши,—предполагалось, что для нея нуженъ будетъ конституціонный кодексъ. Онъ былъ разочарованъ въ своихъ ожиданіяхъ (замѣтимъ, между прочимъ, что такое же разочарованіе онъ встрѣчалъ, между прочимъ, въ Чичаговѣ, который въ то время выражалъ также рѣзкое недовольство) и предвидѣлъ еще больше разочарованій впослѣдствіи. Между письмомъ Бентама и отвѣтомъ императора Александра прошелъ почти годъ времени; когда Бентамъ писалъ второе письмо (въ іюлѣ 1815), въ немъ являлись уже сомнѣнія относительно прежнихъ

---

[1]) При изданіи самыхъ «Papers» Бентамъ не помѣстилъ его по случайному недосмотру. Works, IV, 452.

либеральныхъ плановъ императора; въ 1817, когда онъ писалъ слѣдующую сейчасъ замѣтку, священный союзъ успѣлъ уже заявить себя реакціей.

Замѣтка разсказываетъ слѣдующее:

«Этотъ подарокъ (souvenir, присланный при письмѣ императора Бентаму) — пишетъ Бентамъ — находился въ небольшомъ пакетѣ за императорской печатью. Въ письмѣ одного министра, находившагося въ свитѣ его величества, къ одному извѣстному русскому джентльмену, проживавшему въ то время въ Лондонѣ, говорится объ этомъ подаркѣ, что это—драгоцѣнный перстень, «une bague de prix». Пакетъ этотъ былъ возвращенъ нераспечатаннымъ: основаніе къ тому здѣсь объясняется.

«Во время пребыванія императора въ Лондонѣ, князь Адамъ Чарторыскій, узнавъ о моей обычной затворнической жизни, на которую обрекли меня мои занятія, получилъ, черезъ посредство одного общаго знакомаго, увѣреніе, что дверь моего уединеннаго жилища будетъ для него открыта, такъ какъ онъ хотѣлъ просить меня принять участіе въ трудахъ по составленію кодекса законовъ, относительно дарованія котораго въ то время существовали извѣстныя ожиданія. Онъ явился и былъ принятъ съ почетомъ, подобавшимъ его извѣстности, и съ радушіемъ, которое вызывалось воспоминаніемъ о прежнемъ знакомствѣ. Чарторыскій въ то время постоянно находился при особѣ императора; уже за нѣсколько времени передъ тѣмъ, и значительное время впослѣдствіи вообще думали, что онъ предназначенъ быть вице-королемъ предполагавшагося тогда будущаго королевства. Намѣренія его императорскаго величества относительно этого предмета или еще не вполнѣ опредѣлились въ то время, или еще не совсѣмъ обнаружились; но, тѣмъ не менѣе, если не надежды, то, во всякомъ случаѣ, желанія польской націи указывали на превосходный конституціонный кодексъ, — по крайней мѣрѣ сравнительно, если не абсолютно превосходный конституціонный кодексъ, который былъ составленъ въ царствованіе благодушнаго, но несчастнаго Станислава подъ его покровительствомъ.

«Желаемое содѣйствіе (къ составленію кодекса) обѣщано было тотчасъ же, какъ было спрошено. Но такъ какъ все зависѣло отъ воли его императорскаго величества, можетъ быть еще неопредѣлившейся, и во всякомъ случаѣ, неизвѣстной и неудобной для вопросовъ (unscrutable), то всѣ разговоры по

этому предмету, со стороны князя весьма естественно, а съ моей — весьма осторожно,—заключались только въ общихъ выраженіяхъ.

«Что касается императорскаго письма, то, получивъ его въ іюнѣ 1815 г., я въ первыхъ числахъ слѣдующаго мѣсяца послалъ довольно длинный отвѣтъ и въ то же время копію съ него сообщилъ Чарторыскому, который, сколько мнѣ было извѣстно, находился еще при особѣ императора.

«Относительно перстня, — то замѣтивъ, что собственноручное письмо его императорскаго величества отнимало цѣну у всѣхъ обыкновенныхъ знаковъ милости, какіе заключались, по словамъ письма, въ этомъ пакетѣ,—я просилъ позволенія обратить вниманіе его величества на самое письмо, вознагражденное такимъ образомъ, какъ на доказательство, что я неспоспобенъ принять что либо, имѣющее денежную цѣнность.

«Обращаясь затѣмъ къ коммиссіи законовъ, я рѣшился объяснить, что рискую предсказывать, что изъ этой коммиссіи мнѣ не будетъ адресовано ни такихъ, и никакихъ другихъ вопросовъ; что относительно лица, которому поручено управлять этимъ дѣломъ[1]), я имѣлъ свѣдѣнія — частью изъ его произведеній, которыя я видѣлъ въ печати или въ рукописи, а частью изъ спеціальныхъ и независимыхъ одно отъ другого извѣстій различныхъ, знающихъ дѣло людей,—и довольно хорошо зналъ степень его способности къ этой, самой важнѣйшей изъ всѣхъ должностей: что я былъ вполнѣ убѣжденъ въ его некомпетентности для какого либо болѣе серьезнаго труда, чѣмъ одно собираніе матеріаловъ, что онъ уже познакомился съ моими сочиненіями гораздо больше, чѣмъ было для него пріятно, — что онъ перемѣнился бы въ лицѣ при одномъ упоминаніи моего имени, еслибы его величеству угодно было сдѣлать этотъ опытъ; что мнѣ сообщены полныя и подробныя свѣдѣнія о деньгахъ, которыя подъ видомъ жалованья употреблены были на образованіе этой коммиссіи; что при такой некомпетентности главы этой коммиссіи, результатъ былъ бы тотъ, что для всякой другой цѣли, кромѣ собиранія матеріаловъ, всѣ деньги будутъ истрачены понапрасну, — что, не говоря уже о другихъ примѣрахъ, публикѣ очень хорошо извѣстныхъ, назначеніе такого лица было само по себѣ слишкомъ убѣдительнымъ доказательствомъ плачевнаго недостатка въ этой обширной имперіи;

[1]) Т. е. Розенкампфа; онъ названъ здѣсь по-англійски «minister».

если не лицъ дѣйствительно обладающихъ, то лицъ, которые до сихъ поръ извѣстны за обладающихъ способностями, необходимыми для подобнаго труда; что если такіе вопросы, какіе его величество могъ имѣть въ виду, будутъ обращены ко мнѣ, то единственной формой, въ которой я могъ бы дать отвѣтъ, способный принести пользу, была бы форма полнаго Очерка (конспекта) кодекса законовъ, какой я уже вызывался составить;—что еслибы его величеству угодно было возложить этотъ трудъ на меня и въ то же время пригласить всѣхъ желающихъ вообще, и своихъ собственныхъ подданныхъ обѣихъ націй въ особенности, представить свои сочиненія на конкурренцію съ моимъ, то такимъ образомъ онъ могъ бы не только увидѣть весь существующій запасъ нужныхъ талантовъ, но и положить начало безконечному умноженію ихъ, и этимъ способомъ, при незначительныхъ, или даже никакихъ, издержкахъ, онъ основалъ бы школу законодательства и тѣмъ пріобрѣлъ бы наилучшій возможный запасъ для замѣщенія мѣстъ, принадлежащихъ къ этому вѣдомству, лицами, которыя представили самыя вѣрныя и положительныя доказательства способности къ отправленію этихъ должностей;—что первый опытъ этого способа можно было бы произвесть въ Россіи, или въ Польшѣ, или же въ обѣихъ странахъ въ одно и то же время; и что относительно моего собственнаго дѣла, я былъ бы увѣренъ, что въ Польшѣ, въ рукахъ Чарторыскаго это дѣло не встрѣтило бы всѣхъ тѣхъ противодѣйствій интриги, которыя непремѣнно встрѣтило бы въ другомъ случаѣ.

«Послѣ письма такого содержанія, какъ сейчасъ изложенное, легко можно представить себѣ, что мои ожиданія относительно Россіи не могли быть особенно пылкаго свойства,—но относительно Польши, то—въ предположеніи, что Чарторыскій будетъ тѣмъ, чѣмъ онъ по всеобщему говору долженъ былъ сдѣлаться (т. е. вице-королемъ)—извѣстная кротость и мягкій характеръ его величества были таковы, что я могъ еще расчитывать на благопріятный шансъ. Во всякомъ случаѣ я надѣялся получить отвѣтъ, скорѣе отъ Чарторыскаго, нежели отъ его величества,—какъ вдругъ,—живя въ то время вдали отъ центра новостей,—я узналъ изъ газетъ, что вице-королемъ надъ вновь организованными, или, вѣрнѣе сказать, надъ разорганизованными остатками нѣкогда республиканскаго королевства, назначено лицо, имени котораго я никогда не слыхалъ.

«Послѣ этого, распубликованные трактаты показали слишкомъ очевидно, что вмѣстѣ съ другими ожидаемыми конституціями, конституція Польши заняла свое мѣсто на одномъ облакѣ съ Утопіей и Арматой; что то, что оставалось отъ этой несчастной страны подъ ея собственнымъ именемъ, было окончательно поглощено бездной русскаго деспотизма,—однимъ словомъ, что обязательства считаются обязательствами только у тѣхъ, кто не можетъ нарушать ихъ безнаказанно; и что въ новѣйшемъ священномъ союзѣ,—который по своему духу такъ сходенъ съ первоначальнымъ, — основной принципъ былъ тотъ, что въ рукахъ немногихъ властвующихъ и подвластвующихъ, чѣмъ ближе состояніе многихъ подданныхъ доведено будетъ до состоянія дикихъ звѣрей, тѣмъ это будетъ лучше какъ для вѣчныхъ, такъ и для временныхъ интересовъ всѣхъ сторонъ».

Эти рѣзкія слова достаточно изображаютъ то настроеніе Бентама, о которомъ мы выше упоминали. Мы не будемъ останавливаться на мнѣніи Бентама о политическихъ событіяхъ того времени; намъ достаточно привести это мнѣніе какъ литературный фактъ. Относительно подарка прибавимъ еще, что Бентамъ долго не забывалъ объ немъ. Онъ упоминаетъ о немъ въ письмѣ къ Джемсу Мадисону, бывшему президенту Сѣверо-Американскихъ Штатовъ (1817 г.), и впослѣдствіи, когда онъ былъ въ подобной перепискѣ съ королемъ Людвигомъ Баварскимъ (1828). Бентамъ предупреждаетъ, что ему не нужно никакихъ наградъ, и что все, чего онъ желаетъ, есть личный отвѣтъ короля. «Только въ этой формѣ я могу получить награду изъ рукъ монарховъ. Въ этой формѣ я получилъ свою достаточную награду отъ покойнаго императора Александра. Изъ моей переписки съ нимъ, напечатанной въ посылаемыхъ при семъ Papers on Codification, можно видѣть, что всякая услуга, какую только я въ силахъ принести коронованнымъ главамъ, бываетъ вполнѣ ревностная, конечно совершенно искренняя, — хотя и будетъ, въ обыкновенномъ смыслѣ слова, даровая» [1]).

Вотъ наконецъ послѣднее его письмо къ императору Александру.

---

[1]) Works, IV, стр. 508, 581.

3. Письмо (второе) Іереміи Бентама къ императору Всероссійскому.

Лондонъ, іюнь 1815.

Государь, сію минуту я открылъ ваше собственноручное письмо, которымъ вашему величеству угодно было меня удостоить. Изъ другого источника я получаю толкованіе слова souvenir въ словахъ bague de prix. Мои старанія быть понятымъ по этому предмету, я боюсь, не были вполнѣ успѣшны. Тотъ же пакетъ, который доставитъ вашему величеству это выраженіе моей признательности, будетъ также заключать и удостовѣреніе, что въ моихъ глазахъ, — когда я удостовѣрился въ томъ, что былъ довольно счастливъ пріобрѣсти хорошее мнѣніе вашего величества, — денежная цѣнность, какъ и самыя деньги, въ настоящемъ случаѣ, не имѣютъ значенія. Императорская печать будетъ найдена не вскрытою.

Желаніе вашего величества — воспользоваться моими скромными услугами тѣмъ или другимъ образомъ. Въ этихъ видахъ вашему величеству угодно было указать имъ особый порядокъ (course). Но если должно слѣдовать непремѣнно этому, а не другому порядку, то, по свойству настоящаго случая, нельзя ожидать, чтобы это желаніе возъимѣло какое-нибудь дѣйствіе. Эта невозможность есть результатъ обстоятельствъ, которыя вашему величеству неизвѣстны, и которыя, поэтому, я считаю необходимымъ здѣсь представить; сдѣлавъ это, я позволю себѣ предложить два порядка (способа веденія дѣла), изъ которыхъ въ одномъ только мнѣніе, которое вашему величеству угодно было составить обо мнѣ, могло бы послужить для общаго блага.

Въ письмѣ вашего величества говорится: «Я предпишу коммиссіи прибѣгать къ вашему содѣйствію и обращаться къ вамъ съ вопросами». Это порядокъ дѣла совершенно правильный, и ничего нѣтъ естественнѣе, если онъ былъ представленъ вашему величеству, или представился самъ собою. Но если все дѣло будетъ заключаться только въ этомъ, то намѣренія вашего величества, какъ это будетъ видно дальше, окажутся безплодными.

Предложеніе, которое я позволилъ себѣ сдѣлать въ первомъ письмѣ, заключалось въ томъ, чтобы я получилъ приказаніе

вашего величества составить по моему собственному плану и представить вашему величеству проектъ закона (projet de loi), по какой либо значительной части того полнаго кодекса, составленіе котораго такъ долго обдумывалось: — и въ особенности по той части, которая составляетъ уголовную отрасль закона. Когда настоящій случай принудилъ меня обратить на этотъ предметъ болѣе пристальное вниманіе, я увидѣлъ, что если въ то время вышепомянутый порядокъ представлялся мнѣ просто какъ возможный для выбора, то теперь онъ представляется мнѣ единственно возможнымъ для выбора (only eligible).

Немного болѣе двѣнадцати мѣсяцевъ тому назадъ я узналъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что уголовные законы составляли тотъ отдѣлъ, въ которомъ въ то время, или нѣсколько ранѣе того времени, сдѣлано было всего больше успѣховъ. Предположимъ, что отъ помянутой коммиссіи мнѣ присланы нѣкоторые вопросы, касающіеся этого отдѣла. Чтобы отвѣчать на эти вопросы съ какой-нибудь надеждой быть полезнымъ, я могъ бы поступить только однимъ способомъ: — и именно составить, какъ выше было сказано, предложенный мною проектъ закона и переслать его tout ensemble (цѣликомъ). Да, Государь, — въ такомъ случаѣ, какъ настоящій, отъ этого tout ensemble зависитъ все. Пункты, къ которымъ могли бы относиться вопросы, были бы только тѣ или другіе частные пункты. Я заранѣе знаю, что мнѣ придется отвѣчать въ подобномъ случаѣ. «Для меня будетъ невозможно (отвѣчалъ бы я) опредѣлить самому себѣ, что лучше всего сдѣлать относительно этихъ частныхъ пунктовъ, пока я не буду знать о томъ, что предположено сдѣлать относительно тѣхъ и тѣхъ другихъ пунктовъ, съ которыми эти имѣютъ тѣсную связь».

Въ полномъ кодексѣ законовъ, каковъ тотъ, о которомъ идетъ рѣчь, требуется, чтобы всякое положеніе было согласовано, а для этого сличено одно съ другимъ. Я не могъ бы, и дѣйствительно никогда не могъ представить себѣ никакого другого способа начертать проектъ кодекса. Изъ этого слѣдуетъ, что если не въ первое же время, то послѣ, всѣ записки, посылаемыя мною въ видѣ отвѣтовъ, накопившись до извѣстнаго количества, приняли бы тотъ самый видъ, въ которомъ я осмѣливался предлагать ихъ въ самомъ началѣ, и въ которомъ порядокъ веденія дѣла (мною теперь разбираемый) не

допускалъ ихъ представленія, а еслибы и допустилъ, то только послѣ неопредѣленно долгаго промежутка времени.

Въ такомъ предметѣ, какъ этотъ, человѣкъ бываетъ способенъ (qualified) предлагать вопросы другимъ только въ той мѣрѣ, въ какой самъ владѣетъ этимъ предметомъ. Въ такомъ предметѣ, какъ этотъ, и при томъ положеніи, какое занимаютъ упомянутыя лица, люди, совершенно способные предлагать вопросы другимъ, должны быть довольно способны вести это дѣло и не обращаясь съ вопросами къ другимъ; во всякомъ случаѣ если эти люди, по ихъ собственному мнѣнію, способны предлагать такіе вопросы, то по тому же ихъ мнѣнію, они едвали признаютъ себя неспособными вести это дѣло, не предлагая другимъ какихъ-нибудь подобныхъ вопросовъ.

Но чѣмъ больше они сами считаютъ себя *способными* вести такое дѣло, и, слѣдовательно, предлагать вопросы объ этомъ дѣлѣ, тѣмъ менѣе они будутъ чувствовать себя *расположенными* предлагать ихъ; и само собою разумѣется, что этихъ вопросовъ и не будетъ вовсе предложено до тѣхъ поръ, пока будетъ представляться какая-нибудь возможность избѣгнуть этой необходимости.

Положимъ, однако, что вопросы, предложенные помянутыми лицами, все-таки будутъ *ихъ* вопросы. Относительно этихъ вопросовъ прежде ихъ отправленія будетъ уже принято извѣстное рѣшеніе, и принято тѣми самыми лицами, которыя ихъ составятъ.

Пересылка такихъ вопросовъ будетъ дѣломъ одной *формы*. Если предположить, что будутъ отправлены и отвѣты, то принятіе этихъ отвѣтовъ также будетъ дѣломъ формы. Если можно будетъ уклониться отъ признанія, что они получены, то это уклоненіе будетъ сдѣлано.

Если же можно уклониться, то роль отвѣтовъ раздѣляется на двѣ части. Можетъ случиться, что въ той или другой части они будутъ *согласоваться* съ заранѣе сдѣланнымъ предрѣшеніемъ. И, конечно, въ этой части они окажутся *ненужными* — и, слѣдовательно, безполезными, или полезными только въ томъ смыслѣ, что будутъ свидѣтельствовать о той мудрости, съ какою сдѣлано ихъ предрѣшеніе; — что же касается до остальной части отвѣтовъ, *несогласующейся* съ предрѣшеніемъ, то эта часть, исходя отъ иностранца, который хотя и имѣетъ нѣкоторое понятіе объ этомъ дѣлѣ вообще, но не

знаетъ состоянія той особенной страны, гдѣ ведется дѣло, — окажется безъ всякаго сомнѣнія непримѣнимою.

Государь, это не догадка или предположеніе, — это увѣренность, основанная на многократномъ опытѣ.

Такъ какъ, подъ правленіемъ вашего величества, дѣло это отдано, какъ отдаются подобныя дѣла и у насъ, по формѣ въ руки особой коммиссіи, или, какъ у насъ говорится, совѣта (board), то письмо вашего величества не могло, при соблюденіи строгого приличія, отзываться о немъ въ какихъ либо другихъ выраженіяхъ. Но относительно самаго веденія или авторства этого дѣла (penmanship) оно (это не тайна), какъ всякое подобное дѣло, при самомъ началѣ должно находиться, или, вѣрнѣе, не можетъ не находиться въ рукахъ одного и только одного лица. Это одно лицо вообще бываетъ извѣстно, прочія же лица, будучи фигурантами, остаются неизвѣстны никому, за исключеніемъ читателей придворнаго календаря вашего величества. Объ этомъ одномъ лицѣ, и ни о комъ другомъ, я долженъ поэтому говорить, опасаясь, что иначе могу остаться непонятымъ.

Хотя я провелъ во владѣніяхъ вашего величества почти два года (это было въ 1786 и 1787 годахъ), но не посѣтивъ ни той ни другой столицы, я этого человѣка лично вовсе не знаю. Но я знакомъ съ его сочиненіями гораздо больше, — и онъ знакомъ съ моими гораздо больше, чѣмъ пріятно было бы ему объ этомъ думать. Съ того самаго времени, какъ онъ началъ свою карьеру, мое имя было для него предметомъ ужаса: много разъ, и въ присутствіи многихъ разныхъ лицъ, въ немъ обнаруживалось волненіе, когда упоминалось мое имя; обнаруживалось такими симптомами, которые годились въ комедію. Ваше величество не имѣете времени заниматься анекдотами, иначе я могъ бы представить письменныя доказательства.

Государь, я скорѣе согласился бы посылать отвѣты мароккскому императору, чѣмъ въ коммиссію подъ такимъ начальствомъ. Если у васъ явится расположеніе посмѣяться, то вамъ стоитъ только сказать ему, что вы получили отъ меня нѣкоторыя статьи и что вы ими довольны. Но при этомъ не мѣшаетъ имѣть подъ рукой нашатырную соль или флаконъ съ духами сильной остроты.

Государь, я не оправдалъ бы хорошаго мнѣнія, какое имѣютъ обо мнѣ, еслибы поколебался назвать этого человѣка радикально

неспособнымъ; и предполагая, что это правда, я—быть можетъ, единственный человѣкъ, отъ котораго ваше величество можете услышать эту правду, съ какимъ-нибудь шансомъ на хорошее дѣйствіе. Число лицъ, способныхъ вообще произнести сужденіе о предметѣ подобнаго рода, крайне ограничено; да и изъ этого ограниченнаго числа, по всей вѣроятности, никто, какъ бы ни было глубоко его убѣжденіе, не осмѣлился бы признаться въ немъ вашему величеству;—развѣ за исключеніемъ, быть можетъ, какого-нибудь соперника, а его мнѣнія легко бы можно было приписать тому мотиву, который указывается его именемъ.

Между тѣмъ, отъ лица, о которомъ идетъ рѣчь, съ его сотрудниками и его сторонниками, ваше императорское величество будете получать увѣренія, что ни отъ меня, ни отъ всякого другого иностранца не требуется никакой подобной помощи; что при такой ненадобности, она будетъ только помѣхой, потому что никакой иностранецъ не имѣетъ или не можетъ имѣть даже сноснаго знакомства съ этимъ дѣломъ, тогда какъ они стали полными знатоками его. Относительно этого обстоятельства я осмѣлюсь представить вашему императорскому величеству слѣдующія замѣчанія:

Когда въ какой-нибудь странѣ приготовляется полный кодексъ законовъ,—какой, повидимому, предполагается въ Россіи,— или же приготовляется одинъ изъ обширнѣйшихъ его отдѣловъ, какъ-то: кодексъ уголовный, гражданскій или конституціонный,— то, относительно публичности, при веденіи этого дѣла нужно различать два способа: негласный или закрытый (close) и гласный или открытый (open).

При закрытомъ способѣ, дѣло обыкновенно ведется однимъ лицомъ или небольшимъ числомъ лицъ, назначенныхъ государемъ, и не дѣлается гласнымъ до тѣхъ поръ, пока не явится въ свѣтъ вооруженнымъ силою закона.

При открытомъ способѣ, это произведеніе (кодексъ), до выхода въ свѣтъ во всеоружіи закона, дѣлается извѣстнымъ публикѣ, какъ вообще дѣлаются ей извѣстными литературныя произведенія; и это дѣлается съ цѣлью, — если не прямо заявленною, то подразумѣваемою и всѣми вообще понимаемою,— вызвать замѣчанія, которыя всякое лицо (сдерживая, разумѣется, свои выраженія въ границахъ уваженія и приличія) пожелаетъ выразить также публичнымъ образомъ. Способъ веденія дѣла, который въ настоящемъ случаѣ предложитъ коммиссія, будетъ

негласный. Почему? Потому что при этомъ способѣ неспособность членовъ коммиссіи, какъ бы ни была она велика, будетъ скрыта, — скрыта до тѣхъ поръ, когда обнаруженіе ея окажется уже слишкомъ позднимъ для того, чтобы предупредить или отвратить вредъ, котораго она породитъ такъ много; между тѣмъ какъ при гласномъ веденіи дѣла этотъ вредъ будетъ обнаруженъ во-время.

Относительно требованія предварительной публичности, настоящій случай совершенно отличается отъ обыкновеннаго законодательства, т. е. такого законодательства, которое ставитъ себѣ цѣлью подробности, по мѣрѣ того, какъ онѣ представляются сами. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ дѣло ведется, безъ всякаго сомнѣнія, должно быть ведено, и не можетъ иначе вестись, какъ негласнымъ способомъ. Такая негласность проистекаетъ изъ устройства правительства, какъ это устройство въ свою очередь происходитъ отъ обширности территоріи государства и отъ состоянія общества среди огромной массы народонаселенія. Уже одинъ недостатокъ времени, если не что-нибудь другое, дѣлаетъ въ этомъ случаѣ предварительную публичность вообще неудобоисполнимою. Такъ какъ потребность въ законѣ, въ этомъ случаѣ, бываетъ результатомъ внезапной необходимости, — то подобная необходимость должна удовлетворяться, какъ скоро она встрѣтится и не теряя времени.

Настоящій случай, — вопросъ о кодификаціи, — представляется совсѣмъ въ другомъ, если не прямо въ противоположномъ видѣ: здѣсь, изъ всего поля закона, — а это поле, по обширности своей немного менѣе всего поля человѣческой дѣятельности,—какая-нибудь очень большая часть этого поля (третья, четвертая, пятая или что-нибудь подобное), которая такъ или иначе покрывается, и въ теченіе вѣковъ (въ томъ или другомъ видѣ, въ разные періоды времени, хотя до сихъ поръ очень часто въ весьма плохомъ видѣ) была покрыта закономъ, — должна немедленно получить совершенно новую покрышку. Такъ какъ это поле уже имѣетъ старую покрышку, то отсюда является легкость ожиданія (и при томъ безъ всякаго другого, кромѣ привычнаго неудобства) того свѣта, какой только можетъ быть собранъ для освѣщенія почвы, и который, въ теченіе какого угодно продолжительнаго времени, для столь важной цѣли могъ бы оказаться необходимымъ; я разумѣю ожиданіе до того времени, когда проектъ получитъ

силу закона, — а въ теченіи всего этого времени происходило бы образованіе новой одежды для поля, если она еще не была образована, и испытаніе ея, если она уже образована. Но изъ какого бы рода матеріала ни была сдѣлана новая одежда для замѣны старой, одно дѣйствіе этой новой одежды будетъ несомнѣнно (исключая только тѣхъ случаевъ, гдѣ будутъ сдѣланы и объявлены какія-нибудь особенныя изъятія) именно, старая одежда во всемъ своемъ объемѣ перестанетъ существовать. Отсюда, вмѣстѣ съ легкостью ожиданія является потребность въ извѣстной медленности, какъ предосторожности столь необходимой и вмѣстѣ столь безопасной.

Въ настоящемъ случаѣ, будутъ ли мои отвѣты приняты или не будутъ, положимъ, что кодексъ, по повелѣнію вашего величества начертанный коммиссіей, выйдетъ въ свѣтъ, то будетъ ли онъ вооруженъ силою закона? или онъ выйдетъ только въ видѣ проекта закона и останется въ этомъ положеніи на болѣе или менѣе продолжительное время, — съ тою цѣлью, чтобы въ теченіе этого времени, съ помощью этихъ средствъ, собрать въ томъ или другомъ видѣ мнѣнія о немъ публики вообще или какой-нибудь опредѣленной ея части?

При первомъ изъ этихъ плановъ, въ случаѣ, если законъ будетъ составленъ дурно, то вредъ отъ него начнется немедленно и притомъ безъ малѣйшихъ признаковъ возможности къ его предотвращенію.

Во второмъ случаѣ, эти признаки возможности къ предотвращенію вреда будутъ, но едва только признаки. Какое побужденіе можетъ найти посторонній человѣкъ къ тому, чтобы въ какихъ нибудь частностяхъ подвергать сомнѣнію превосходство закона, уже объявленное болѣе или менѣе ясно (правительствомъ)? — Какой пользы можетъ ожидать этотъ человѣкъ для самого себя, или для службы вашего величества? При особѣ вашего величества стоитъ оффиціальный совѣтникъ, пользующійся вашимъ вниманіемъ,—занимающій этотъ постъ двѣнадцать лѣтъ или около того,—онъ увѣритъ васъ, что замѣчанія ничего не стоятъ, и что авторъ ихъ просто наглый человѣкъ, отъ котораго нельзя ожидать никакой доброй услуги ни въ этомъ и ни въ какомъ другомъ видѣ.

Таково вознагражденіе, котораго могъ бы ожидать себѣ этотъ человѣкъ, и притомъ, это—единственное вознагражденіе, котораго можно было бы ожидать при негласномъ способѣ,—

за какой-нибудь трудъ, который бы иначе онъ чувствовалъ расположеніе принести здѣсь на такомъ важномъ и обширномъ полѣ.

Ваше величество! Вредъ, которому подвергнется населеніе обширной имперіи вашего величества — отъ такого громаднаго по объему, и въ тоже время новаго кодекса законовъ (a body of law), составленнаго такими руками, — этотъ вредъ таковъ, что я трепещу даже при одной мысли объ немъ.

Въ частностяхъ, значительная доля дурного законодательства (дѣла различныхъ рукъ, который всѣ весьма посредственно были къ нему способны) можетъ быть терпима, и вредъ, проистекающій отъ него, можетъ продолжаться и не быть особенно замѣчаемъ. Почему? Потому что такое законодательство составляется изъ прибавокъ, дѣлаемыхъ постепенно къ первобытному стволу, подъ вліяніемъ котораго каждый родился, — и когда болѣе или менѣе значительная часть вреда, происходящаго отъ такого законодательства, будетъ рано или поздно замѣчена и, наконецъ, остановлена, то остальное приписывается несовершенствамъ, неразлучнымъ съ человѣческой природой.

Но когда дѣло идетъ о кодексѣ новыхъ законовъ, каковъ нынѣ предположенный, то, какъ выше было сказано, дѣйствіе его состоитъ, въ весьма значительной степени, въ томъ, что онъ уничтожаетъ все то (прежнее) сооруженіе, отъ котораго зависитъ все цѣнное и дорогое для человѣка; и когда пустота, сдѣланная такимъ образомъ въ старомъ матеріалѣ, наполняется новымъ, — тогда происходитъ то, что каждый недосмотръ, каждое незнаніе или плохое разсужденіе, которыхъ съ такой полной увѣренностью можно ожидать при этомъ негласномъ способѣ,—будутъ имѣть своимъ слишкомъ вѣроятнымъ послѣдствіемъ разореніе для тысячъ и десятковъ тысячъ людей.

Въ то же самое время будетъ извѣстно (потому что извѣстно уже теперь), — что труды одного англичанина — англичанина, труды котораго въ этой области одобрены не только другими правительствами, — баварскимъ, французскимъ, въ нѣсколько различныхъ періодовъ времени, но и вашимъ величествомъ, — и даже вашимъ величествомъ лично,—что эти труды, для этой самой цѣли, были въ теченіе послѣднихъ двѣнадцати лѣтъ въ распоряженіи вашего величества, и что въ теченіе этого времени люди, которые съ этой стороны пользовались вниманіемъ вашего величества, имѣли успѣхъ въ своихъ стараніяхъ помѣшать появиться плоду этихъ трудовъ.

Въ письмахъ нѣсколькихъ различныхъ лицъ, — которыя всѣ отдѣльны одно отъ другого, и всѣ занимали, въ разное время, каждый въ своемъ вѣдомствѣ важнѣйшіе посты въ службѣ вашего величества, — я могъ бы дать вашему величеству основанія увѣриться въ томъ, что мои занятія трудомъ подобнаго рода имѣли бы результатъ, въ немалой степени выгодный для имперіи вашего величества: — эти письма были въ нѣкоторыхъ случаяхъ адресованы ко мнѣ самому, въ нѣкоторыхъ къ другимъ людямъ. Если бы не было таково дѣйствительное убѣжденіе этихъ лицъ, то какое бы они могли имѣть побужденіе объявлять это мнѣ лично, или говорить это другимъ относительно иностранца, съ которымъ у нихъ нѣтъ связей и который въ большей части случаевъ имъ лично незнакомъ? Отчего, въ такомъ случаѣ, не сказать этого вашему величеству? Государь, они уже не были больше на службѣ [1]; или, если и были, то это не было, или не было въ это время, въ точныхъ границахъ ихъ вѣдомства; или, если и было, то довѣріе, какъ показали событія, уже упало.

Тѣ разочарованія, которыя ваше величество уже испытали на этой самой почвѣ, не составляютъ тайны. Но какая же причина произвела эти разочарованія? Одно это обстоятельство — принятіе негласнаго способа, съ исключеніемъ открытаго; упущеніе воспользоваться тѣмъ свѣтомъ (lights), который былъ бы способенъ дать міръ вообще; исключительное довѣріе, отданное небольшому числу лицъ, или вѣрнѣе одному лицу, относительно способности котораго къ дѣлу не явилось никогда никакихъ доказательствъ, — къ тому дѣлу, въ которомъ заключается все поле правительственной дѣятельности, и для котораго не былъ бы слишкомъ великъ весь запасъ генія, знаній и таланта, какой представляетъ цивилизованный міръ.

Государь! Не существуетъ, даже въ Англіи, такого человѣка, или извѣстнаго числа людей, которые бы въ глазахъ публики, или даже въ ихъ собственныхъ глазахъ, были компетентны для такого дѣла, не получая всего того свѣта (lights), какой—послѣ публикаціи (проектированныхъ законовъ), сдѣланной съ этою заявленною цѣлью—была бы расположена доставить публика въ ея наибольшей полнотѣ. Возможно ли, чтобы ваше величество продолжали видѣть въ этой «коммиссіи» какое-нибудь безпри-

---

[1] Можетъ быть, намекъ на Сперанскаго и на Мордвинова.

мѣрное соединеніе генія, ума и мудрости—не говоря ничего о честности, — которое бы сдѣлало излишними, въ Россіи, тѣ предосторожности, которыя считаются такъ необходимы въ Англіи?

Что касается до соревнованія,—то понятно, что при негласномъ способѣ не можетъ быть ничего подобнаго: — я разумѣю соревнованіе, какое можетъ быть между двумя или больше цѣльными начертаніями (draughts), т. е. проектированными кодексами, — исходящими изъ разныхъ рукъ: соревнованіе могло бы быть развѣ только между однимъ членомъ и другимъ членомъ той же самой коммиссіи; чего, въ настоящемъ случаѣ, я увѣренъ, ожидать нельзя. Можно бы конечно еще сохранить открытый способъ, не допуская соревнованія. Если бы былъ допущенъ одинъ трудъ, и не больше, то въ состояніи проекта, предварительно передъ вооруженіемъ его силой закона, такой трудъ могъ бы быть публикованъ, и всякимъ лицамъ вообще, или извѣстнымъ разрядамъ лицъ, можно бы было предоставить свободу дѣлать на него свои замѣчанія:—указывать какія-нибудь такія частныя несовершенства, которыя могли бы показаться въ немъ несоотвѣтственными, но не предлагать вмѣсто него другого проекта, въ цѣломъ или въ частяхъ — однимъ словомъ, указывать тамъ и сямъ симптомъ слабости, но не представлять ничего похожаго на общее и радикальное лекарство.

Но въ этомъ случаѣ,— если только этотъ способъ дѣйствій можетъ сколько-нибудь назваться открытымъ,—эта открытость, сравнительно говоря, принесетъ мало пользы. Положимъ, будетъ показано, что болѣзнь—совершенно отчаянная; подъ рукой не будетъ никакого лекарства противъ нея. Самое большее благо, которое можетъ быть сдѣлано этимъ путемъ, это—совсѣмъ положить конецъ этому плану, показавъ неспособность рукъ, которымъ онъ былъ порученъ. Но какъ ни отрицательно это благо и какъ оно ни единственно,—изъ него слишкомъ легко можетъ произойти великое зло. Вмѣсто неспособности работника, причину дурного исполненія будутъ, пожалуй, искать (и такъ какъ будутъ искать съ большой охотой, то и найдутъ) въ свойствѣ самаго рода работы, въ предполагаемой невозможности сдѣлать ее хорошо: и предположивъ, что негодность индивидуальнаго труда достаточно признана, это и будетъ, естественно, та гипотеза, которую неис-

кусный работникъ примется защищать по всѣмъ побужденіямъ своего личнаго интереса.

Доселѣ была рѣчь о негласномъ способѣ. Перейдемъ теперь къ открытому способу, предполагая, что соревнованіе, какъ выше было говорено, допускается. Какія выгоды этого способа?

Во-первыхъ, вся та неисчислимая масса вреда, на которую мы сейчасъ указывали, избѣгается.

Во-вторыхъ, пріобрѣтается величайшая вѣроятность получить лучшій возможный кодексъ: эта вѣроятность будетъ тѣмъ больше, чѣмъ больше число соревнователей съ одной стороны, и число критиковъ, въ качествѣ защитниковъ и судей, съ другой.

Въ-третьихъ, это будутъ тѣ чувства удовольствія и удовлетворенія, которыя не преминетъ доставить мыслящей части народа это, столь ясное, доказательство самаго искренняго вниманія къ ихъ чувствамъ, ихъ желаніямъ, ихъ доброму мнѣнію, ихъ прочному благосостоянію. Дать доказательство болѣе несомнительное, чѣмъ это, конечно, невозможно государю. Безъ этого признака, — самый лучшій возможный кодексъ,— предположимъ даже вполнѣ совершенный,— далеко не произведетъ такого хорошаго дѣйствія, какое можетъ быть произведено трудомъ этого рода: съ этимъ, столь выразительнымъ знакомъ, всякое неудобство, какое, не смотря на всѣ старанія, можетъ произойти отъ этой перемѣны кодекса, получитъ не малое вознагражденіе, и вмѣстѣ облегченіе, отъ представляемаго кодексомъ доказательства благихъ намѣреній, которыя его породили.

Наконецъ, послѣдствіемъ всѣхъ этихъ различныхъ причинъ будетъ спокойствіе совѣсти для вашего величества. Подумайте, государь, о той отвѣтственности, — той страшной отвѣтственности,—которая легла бы на васъ, еслибы вы заставили судьбу сорока милліоновъ людей, такъ сказать, висѣть на ниткѣ на столь обширномъ трудѣ, составленномъ — я не могу не повторить этого—столь мало способными руками. Да государь, это дѣйствительно была бы отвѣтственность. Слѣдуйте открытому способу, примите—не отъ моей только, но отъ всякой другой руки, какая можетъ сдѣлать подобное приношеніе, что бы ни приносила она—планъ для цѣлаго кодекса, планъ для той или другой части его—различныя отдѣльныя замѣчанія: — и тогда никакая тягость подобнаго рода не будетъ лежать на

совѣсти вашего императорскаго величества. Тѣ совѣсти, на которыхъ будетъ лежать всякая тягость, какая есть,—будутъ, во-первыхъ, совѣсть самихъ добровольныхъ работниковъ; во-вторыхъ, совѣсть мыслящей, хотя и не работающей, части публики, собирать мнѣнія которой, по другому примѣненію того же всеохраняющаго принципа—принципа гласности, будетъ стараніемъ вашего величества. Если бы сужденія этого многолюднаго трибунала оказывались болѣе или менѣе ошибочны, то все порицаніе за ошибку останется у дверей этого трибунала. Ваше императорское величество, сдѣлавши для избѣжанія ошибки все, что въ силахъ человѣка сдѣлать, будете свободны отъ всякихъ упрековъ самому себѣ, какъ и отъ всякихъ порицаній.

Ваше императорское величество видѣли, съ одной стороны, негласный способъ, съ его различнымъ вредомъ; съ другой стороны, открытый способъ, съ его выгодами. Пусть будетъ принятъ тотъ ходъ дѣла, который я осмѣлился указать сначала,—ваше императорское величество увидите, что весь этотъ вредъ будетъ избѣгнутъ, всѣ эти благотворные результаты будутъ обезпечены.

Въ моемъ предложеніи, высказанномъ выше,—самъ собою предполагается открытый способъ, со всѣми выгодами, естественно съ нимъ связанными,—открытый способъ съ выгодой соревнованія.

Мой проектъ, я въ томъ увѣренъ, былъ бы представленъ вашему императорскому величеству уже напечатаннымъ. Какъ скоро этотъ трудъ будетъ изданъ прежде, чѣмъ попалъ бы на глаза вашему императорскому величеству, то, какъ бы ни былъ этотъ трудъ непримѣнимъ, даже нелѣпъ, ваше императорское величество не подверглись бы изъ-за этого никакому нареканію. Единственнымъ источникомъ отвѣтственности могъ бы быть сдѣланный такимъ образомъ выборъ лица, которому было бы этимъ дано поощреніе: но можно надѣяться, что въ этомъ отношеніи ваше императорское величествс достаточно изъяты отъ нареканія въ непредусмотрительности—тѣми свидѣтельствами, которыя представлены были вниманію вашего императорскаго величества въ моемъ первомъ письмѣ.

Въ этомъ положеніи дѣла, предположимъ, что мой проектъ изданъ въ Петербургѣ. Не говоря о какомъ-нибудь особенномъ удобствѣ, какой могъ бы быть въ немъ найденъ,—теперь будутъ

очевидны (я льщу себя этимъ) выгоды, происходящія изъ того обстоятельства, что проектъ исходитъ отъ чужой руки.

Цѣль всякой подобной публичности, даваемой труду, можетъ быть не иная, какъ получить отъ мыслящей части публики указаніе какихъ-нибудь несовершенствъ, какія, можетъ быть, въ силахъ найти какое-нибудь лицо, — съ указаніемъ или безъ указанія надлежащихъ или предполагаемыхъ исправленій: если только явной цѣлью этой публичности не будетъ принято то, чтобы въ окончательномъ результатѣ разрѣшить и поощрить этихъ лицъ давать указанія подобнаго рода относительно всякаго кодекса вообще.

Въ этихъ видахъ, когда публикація объявляется, то объ этомъ, само собой разумѣется, должно быть сдѣлано у в ѣ д о м л е н і е для публики вообще,—увѣдомленіе, имѣющее цѣлью получить сообщенія упомянутаго сейчасъ рода отъ всѣхъ тѣхъ, кто, по ихъ собственному понятію, способенъ доставить ихъ.

Правда, п у б л и к а ц і я могла бы быть сдѣлана и безъ всякаго подобнаго увѣдомленія. Кромѣ того, когда дѣлается увѣдомленіе, то смыслъ его можетъ ограничиваться простымъ дозволеніемъ, безъ всякаго прямого и положительнаго приглашенія. Но—безъ положительнаго приглашенія и дѣйствіе увѣдомленія, въ качествѣ п о о щ р е н і я, будетъ весьма ограниченно и даже сомнительно. Точно также, съ другой стороны, чѣмъ теплѣе приглашеніе, тѣмъ сильнѣе будетъ поощреніе; а чѣмъ сильнѣе поощреніе, тѣмъ больше будетъ вѣроятность достигнуть той цѣли, которая, какъ предполагается, имѣлась здѣсь въ виду.

Когда кому-нибудь случится найти въ предложенномъ кодексѣ какое-либо дѣйствительное или предполагаемое несовершенство, и въ этомъ несовершенствѣ увидѣть вѣроятную причину вреда для самаго этого лица, или для другого, или для многихъ другихъ лицъ, въ благосостояніи которыхъ оно заинтересовано,—въ такомъ случаѣ не можетъ быть недостатка въ м о т и в а х ъ, которые бы побуждали это лицо сдѣлать все возможное для того, чтобы указать такой вредъ тѣмъ, кто дѣйствительно, или только по его мнѣнію, властенъ исправить этотъ вредъ; и когда, слѣдовательно, въ мотивахъ недостатка не будетъ, то все, что будетъ здѣсь необходимо, заключается въ удаленіи с т ѣ с н е н і й. Выше предположенное приглашеніе, если не совсѣмъ устранитъ, то, по крайней мѣрѣ, значительно умень-

шитъ эти стѣсненія; я говорю, если не совсѣмъ устранитъ, потому что, если лицо, вообще желающее сдѣлать какое нибудь подобное сообщеніе, при самомъ фактѣ сообщенія найдетъ основаніе предположить злоупотребленіе въ рукахъ какихъ-нибудь подчиненныхъ, то въ такомъ случаѣ, для этого лица, приглашеніе, сдѣланное государемъ, необходимо не достигнетъ предположенной цѣли.

Но одни мотивы, какъ бы ни были они сами по себѣ достаточны, не могутъ быть дѣйствительны безъ достаточныхъ средствъ; и если бы не было недостатка въ средствахъ, чтобы дать такимъ образомъ публичность всѣмъ подобнымъ полезнымъ сообщеніямъ, какія могли бы быть доставлены,— то запасъ необходимыхъ средствъ, находящихся въ распоряженіи отдѣльныхъ лицъ, былъ бы (я положительно это предвижу) далеко недостаточенъ, еслибы само правительство не доставило для этого особенныхъ облегченій (facilities).

Если я не очень ошибаюсь, то слѣдующій весьма простой распорядокъ можетъ не только доставить облегченія, необходимыя для этой цѣли, но и доставить поощреніе тѣмъ единственнымъ путемъ, какимъ это можетъ быть необходимо или полезно для службы, и притомъ безъ всякихъ непроизводительныхъ или излишнихъ издержекъ; и кромѣ того,—опять безъ всякихъ прибавочныхъ издержекъ,—можетъ образовать школу законодательства, изъ которой можно было бы выбирать, для занятія должностей по этому вѣдомству, людей, представившихъ наиболѣе убѣдительныя доказательства своей способности къ этому,—объ отсутствіи такихъ людей говорятъ лежащія передо мной, упомянутыя прежде, признанія [1]:—а эти доказательства способности таковы, что по природѣ вещей они не могли бы быть представлены никакимъ инымъ образомъ.

Пусть авторъ каждаго подобнаго сообщенія получитъ пособіе, въ цѣломъ или частью, для издержекъ печатанія; кромѣ того пусть, въ цѣломъ или частью, будутъ облегчены ему издержки на бумагу для печатанія: я разумѣю, на извѣстное ограниченное число экземпляровъ, но съ позволеніемъ прибавить, на свой счетъ, бумаги на столько добавочныхъ экземпляровъ, сколько онъ самъ пожелаетъ; и точно также отно-

[1]) Т. е. свидѣтельства русскихъ корреспондентовъ и друзей Бентама.

сительно объявленій: — деньги, выручаемыя за продажу, должны быть уплачены или все автору, или все въ казну, или, въ той или другой пропорціи, раздѣлены между этимъ частнымъ лицомъ и казной, смотря по обстоятельствамъ.

Но существенная предосторожность, безъ которой произойдетъ вредное самообольщеніе (deception) вмѣсто полезнаго пріобрѣтенія свѣдѣній, состоитъ здѣсь въ томъ, что это облегченіе должно быть безразлично даваемо всякому представляющему сообщенія. Если, во вниманіе того, что надо будетъ выбирать наиболѣе достойное, этотъ выборъ будетъ предоставленъ какому нибудь одному человѣку или одному собранію людей,—то послѣдствіемъ этого будетъ то, что облегченіе (или пособіе) будетъ дано только тѣмъ сообщеніямъ, которыя будутъ соотвѣтствовать личнымъ цѣлямъ этихъ судей, кто бы они ни были; а во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ, или въ содержаніи сообщенія, или въ его авторѣ, будетъ что либо не соотвѣтствующее этимъ личнымъ цѣлямъ судей, — почти навѣрное результатомъ будетъ не публикація, а задержка (suppression) сочиненія, каковы бы ни были его достоинства.

Кому же, поэтому, надо доставлять это облегченіе? Всякому предлагающему сообщенія, безъ различія, какъ скоро типографія не занята: тотъ, кто первый приноситъ, долженъ постоянно первый и получать.

Но предположимъ, что типографія такимъ образомъ занята совершенно, кто долженъ тогда рѣшить? — Я отвѣчаю, Фортуна. Фортуна не имѣетъ никакого вреднаго интереса; люди, въ подобномъ случаѣ, почти навѣрно будутъ имѣть такой интересъ и больше или меньше будутъ имъ управляться.

Самообольщеніе (deception) — результатъ неполноты свѣдѣній — будетъ, однако, не единственный вредъ: тотъ, кто предлагаетъ сообщеніе — полезное само по себѣ, но непріятное для упомянутаго судьи, или судей—вмѣсто награды получитъ, въ отплату за него, наказаніе. Столько времени, сколько только возможно, его будутъ держать въ состояніи ожиданія и опасенія, заставятъ дожидаться въ передней и заставятъ его терять, быть можетъ, свои деньги и, навѣрное, свое время; когда, наконецъ, его терпѣніе истощится, тогда онъ увидитъ, или даже не увидитъ, что у него не было шанса съ самаго начала.

Другой, совершенно естественный, результатъ будетъ тотъ, что лица, отъ которыхъ зависитъ рѣшеніе—а можетъ быть и

другія лица, о которыхъ, хотя ошибочно, будутъ думать, что отъ нихъ зависитъ рѣшеніе—будутъ въ той или другой формѣ получать взятки (bribes); а кандидатами, съ которыхъ будутъ браться эти взятки, будутъ—какъ тѣ, кому впередъ рѣшено отказать въ пособіи, такъ и тѣ, кому впередъ рѣшено дать его.

Если бы даже издержки на эти пособія были обезпечены для наибольшаго количества просьбъ, то будутъ ли эти издержки такъ значительны, чтобы показаться бременемъ для казны вашего величества? Въ подобномъ случаѣ, это бремя, конечно, будетъ славно, и знакъ будетъ благопріятенъ.

Здѣсь будетъ ваша школа законодательства, государь; и теперь я долженъ показать вамъ, что изъ числа учениковъ, такимъ образомъ проходящихъ свой курсъ въ этой школѣ—найдутся люди, гораздо болѣе, чѣмъ кто-нибудь другой, способные сдѣлать для васъ то, для чего, въ моемъ положеніи, не могла бы никому дать этой способности самая совершенная мудрость.

Мой предложенный кодексъ будетъ только очеркомъ (outline). Почему? Потому что самый совершенный талантъ не могъ бы представить ничего больше, и умѣренное благоразуміе не позволило бы человѣку сказать, что онъ можетъ представить больше.

Въ числѣ обстоятельствъ, производящихъ потребность въ законодательствѣ, нѣкоторыя бываютъ всеобщаго происхожденія, другія только мѣстнаго происхожденія: если бы чужая рука захотѣла доставить in terminis извѣстный запасъ законодательнаго матеріала, то онъ могъ бы внушать достаточное довѣріе только въ тѣхъ частяхъ, которыя имѣютъ этотъ всеобщій характеръ. Потому въ очеркѣ предлагаемый кодексъ будетъ заключаться лишь настолько, насколько можетъ быть предложенъ въ этомъ смыслѣ. Съ какимъ бы величайшимъ возможнымъ искусствомъ этотъ очеркъ ни былъ написанъ, но для наполненія этого очерка, весь тотъ матеріалъ подробностей, примѣненныхъ къ обстоятельствамъ мѣстнаго происхожденія, какой можетъ быть при этомъ необходимъ, долженъ быть приготовленъ какой-нибудь туземной рукой,—во всякомъ случаѣ, такимъ лицомъ, которому эти обстоятельства сдѣлались достаточно извѣстны по жизни на мѣстѣ.

Что касается до этихъ подробностей, то потребность въ нихъ будетъ произведена—во-первыхъ, значительно разнымъ

состояніемъ различныхъ областей; во вторыхъ, разнымъ состояніемъ разныхъ классовъ лицъ въ одной и той же области.

Между тѣмъ, даже относительно этихъ подробностей, что я могъ бы сдѣлать, что я привыкъ дѣлать и что въ предположенномъ кодексѣ я счелъ бы долгомъ сдѣлать, это—представить мысли, имѣющія цѣлію доставить руководство и помощь мѣстному писателю въ распредѣленіи подробностей; такимъ образомъ, что общіе принципы, выставленные и развитые въ очеркѣ — принципы, примѣненные къ обстоятельствамъ всеобщаго происхожденія и къ тѣмъ обстоятельствамъ мѣстнаго происхожденія, которыя общеизвѣстны,—эти общіе принципы могутъ точно также быть развиты и въ наполненіи кодекса (filling up, т. е. въ наполненіи всѣми частными его подробностями). Вслѣдствіе того—такъ какъ микроскопъ, въ этомъ предметѣ, знакомъ мнѣ не меньше чѣмъ телескопъ—я, этимъ способомъ, надѣялся бы также быть полезнымъ.

Для краткости, я сказалъ наполненіе (filling up); но я знаю въ то же время, что для того, чтобы привести дѣло въ состояніе, годное къ употребленію, могутъ быть въ извѣстныхъ случаяхъ необходимы не только прибавки, но исключенія и замѣны.

Теперь, государь, является великая польза — непосредственная практическая польза школы законодательства вашего величества, образованной какъ выше сказано. Для наполненія начертаннаго такимъ образомъ очерка, моими ли собственными, или чьими-нибудь чужими руками, будетъ необходимъ упомянутый матеріалъ подробностей. Быть можетъ, я могъ бы прибавить даже туземными руками; потому что, въ обширной имперіи вашего величества различіе одной области отъ другой бываетъ часто такъ велико, что туземецъ одной области будетъ почти-что иностранцемъ въ другой. Кто же, въ такомъ случаѣ, долженъ будетъ исполнить это дѣло? Я отвѣчаю: какой-нибудь ученикъ или ученики этой школы, доказавшіе свою способность къ этому занятію,—доказавшіе это своими упражненіями, сдѣланными, какъ выше показано, въ этой школѣ: тотъ или тѣ, по преимуществу, кто—по наиболѣе основательному сужденію, какое можетъ быть составлено—доставилъ такимъ образомъ доказательства наибольшей способности. Но если изъ всѣхъ ихъ не нашлось ни одного, труды котораго представили бы достаточное доказательство

достаточной степени этой способности? Если такъ, я по истинѣ опечаленъ этимъ: потому что, въ такомъ случаѣ, въ цѣлой обширной имперіи вашего величества не существуетъ ни одного лица, достаточно способнаго къ этому дѣлу. Въ лѣстницѣ способности, то лицо, которое дало доказательство какой-нибудь способности, какъ бы ни была низка ея степень, во всякомъ случаѣ стоитъ выше всѣхъ тѣхъ, кто не далъ никакого подобнаго доказательства.

Но если возразятъ, что тѣ же самыя затрудненія, какія представляются, какъ выше упомянуто, при выборѣ сочиненій для публикаціи, представятся и при каждомъ выборѣ, какой надо будетъ дѣлать между авторами для упомянутаго замѣщенія должностей, послѣ того, какъ сочиненія будутъ изданы? Конечно нѣтъ, на это нѣтъ никакихъ достаточныхъ основаній. Потому что, когда дѣлается выборъ для публикаціи, слѣдствіемъ этого бываетъ то, что въ каждомъ не выбранномъ сочиненіи (исключая тѣхъ случаевъ, когда авторъ рѣшится публиковать его на собственный счетъ—случаи, которые, при такомъ недостаткѣ поощренія, не обѣщаютъ быть очень многочисленными) публика несетъ потерю; и по этому плану, изъ числа людей, которые при открытомъ способѣ изложили бы свои мысли въ сочиненіяхъ, нѣкоторые, отчаяваясь въ принятіи ихъ сочиненій, были бы удержаны этимъ страхомъ отъ занятій этимъ предметомъ. Сочиненіе, уничтоженное такимъ образомъ въ самомъ своемъ зародышѣ, остается мертвымъ для какой бы ни было цѣли; между тѣмъ какъ сочиненіе, разъ вышедшее на свѣтъ черезъ посредство печати, остается на виду, и всегда можетъ быть сдѣлано предметомъ апелляціи, которою можетъ быть исправлена всякая несправедливость, дѣлаемая ему въ первомъ случаѣ.

Такимъ образомъ, какъ бы несчастны ни оказались впослѣдствіи сдѣланные выборы, все-таки одно будетъ видно— видно всѣмъ глазамъ, видно вашему величеству, вашимъ подданнымъ,—видно будетъ то, что эти выборы были не совсѣмъ неосновательны; что, напротивъ, для обезпеченія наилучшихъ возможныхъ выборовъ, употреблены были наиболѣе соотвѣтственныя и наиболѣе обѣщающія мѣры.

Каждый такой сообщитель — предполагая внѣ сомнѣнія подлинность сочиненія, то есть фактъ, что оно было написано тѣмъ самымъ лицомъ, чье имя носитъ — (потому что этого

обстоятельства не слѣдуетъ упускать изъ виду) во всякомъ случаѣ доставитъ доказательство вниманія, оказаннаго предмету: и это доказательство будетъ сильнѣе всякихъ другихъ.

Взгляните теперь на выгоды отъ того обстоятельства, что очеркъ кодекса былъ составленъ иностранной рукой:

1. Никакихъ стѣсненій для свободы критики. Никакой человѣкъ не можетъ ни бояться, ни надѣяться чего нибудь отъ руки, представляющей этотъ очеркъ. Все, что ни приходитъ отъ такой руки, есть fair game, какъ говорятъ охотники. Отъ этой охоты можно будетъ ждать не неблагосклонности, а скорѣе благосклонности. Всякій туземный глазъ съ особенной ревностью будетъ искать здѣсь несовершенствъ, а не достоинствъ.

2. Предположимъ, что онъ введенъ въ употребленіе: — предположимъ, что въ окончательно освященный кодексъ войдетъ такая значительная доля этого очерка, какую только можетъ допустить свойство дѣла. Какъ чисто будетъ въ такомъ случаѣ удовлетвореніе общества! Здѣсь не можетъ быть никакого не должнаго пристрастія, — ничего похожаго на фаворитство. Авторъ все время находится вдалекѣ, безъ связей, и—исключая того взаимно почетнаго вліянія, какое производится однимъ умомъ на другой, — совершенно безъ вліянія: государю неизвѣстна даже его личность, и все это извѣстно всѣмъ и каждому. При такихъ обстоятельствахъ, какая другая вообразимая причина можетъ произвести предпочтеніе этого труда передъ другими, кромѣ только мнѣнія — безпристрастнаго мнѣнія—объ его удовлетворительности для предположенной цѣли?

3. Кромѣ того, еслибы авторомъ былъ англичанинъ, то — какъ бы ни было это въ другихъ странахъ, чуждыхъ для Россіи—но въ Англіи въ такомъ случаѣ никогда не можетъ быть полнаго недостатка въ критикѣ. Я почти не сомнѣваюсь, что достаточно было бы простого приглашенія вашего величества, чтобы вызвать труды, предпринятые именно для этой цѣли. Но во всякомъ случаѣ существуютъ обозрѣнія (reviews), изъ которыхъ ни одно не могло бы, не противорѣча своимъ интересамъ, пропустить безъ критики произведеніе, исполненное при такихъ обстоятельствахъ. И ваше величество можете быть вполнѣ увѣрены, здѣсь не можетъ оказаться недостатка въ мотивахъ, чтобы открыть въ этомъ произведеніи несовершенства всякаго рода, дѣйствительныя и воображаемыя.

Сравните, государь, съ очерченной здѣсь школой законодательства или кодификаціи то, лишенное школы, вѣдомство кодификаціи, какое существуетъ теперь или существовало недавно.

Передо мной лежитъ докладъ, представленный вашему величеству 28 февраля 1804. Каковъ бы ни былъ его характеръ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ,—въ историческомъ отношеніи онъ имѣетъ не малую важность. Съ 1700 до 1804 — въ теченіе 104 лѣтъ—коммиссія за коммиссіей—вѣдомство за вѣдомствомъ—оклады за окладами—и всетаки ничего не сдѣлано. Затѣмъ, въ 1804 г., коммиссія въ новой формѣ: — еще одиннадцать лѣтъ, и опять ничего не сдѣлано. Почему? Потому что тотъ единственный родъ средствъ, которымъ по самой природѣ предмета что нибудь могло быть сдѣлано — или по крайней мѣрѣ сносно сдѣлано — (я разумѣю выше указанныя средства) никогда не былъ употребленъ. Такимъ образомъ только растрачивались деньги, хотя изъ этого ничего не выходило. Что касается окладовъ, въ Россіи (я очень это подозрѣваю), и въ Англіи (я очень это вижу), всегда держались этого принципа: слѣдствія — были тѣ, какія по природѣ вещей связаны съ такими принципами [1]).

По словамъ этого доклада, во времена Екатерины II все поле законодательства было раздѣлено между пятнадцатью коммиссіями, которыя всѣ вмѣстѣ состояли не менѣе какъ изъ 128 членовъ. Каждая изъ этихъ коммиссій покрыла массу бумаги писанными буквами: ни одна изъ этихъ 15 массъ (стр. 12) не нашла удобнымъ появиться въ свѣтъ. Какъ это

---

[1]) Бентамъ разумѣетъ здѣсь «Докладъ Министерства Юстиціи о преобразованіи Коммиссіи составленія законовъ, Высочайше утвержденный Его Имп. В—мъ и Выписки изъ поднесенныхъ Его Имп. В—ву присутствіемъ Коммиссіи рапортовъ объ успѣхѣ трудовъ ея, по Высочайшему повелѣнію переведенныя на разные языки, Часть I.» Спб., въ тип. Шнора, 1804. 4⁰, 87 стр. и три синоптическія таблицы.

Въ докладѣ сообщены, въ первомъ отдѣлѣ, историческія свѣдѣнія о началѣ и дѣяніяхъ Коммиссіи въ разныхъ ея видахъ со времени Петра В.; во второмъ отдѣленіи изложены мѣры, признанныя удобными для совершенія русскаго законодательства и устройство самой Коммиссіи. За докладомъ, получившимъ утвержденіе 28 февр. 1804, помѣщено «Главное расположеніе книги законовъ», конспектъ или оглавленіе цѣлаго кодекса; и наконецъ выписка изъ рапортовъ о занятіяхъ Коммиссіи въ первые шесть мѣсяцевъ ея существованія въ этой ея новой формѣ.

могло быть? Откуда каждый изъ этихъ законодателей могъ почерпнуть свое искусство? Какіе мотивы, какія средства они имѣли для его пріобрѣтенія? Семь лѣтъ тяжелаго труда, дѣйствительнаго или предполагаемаго, со стороны этого собранія членовъ коммиссій (стр. 12), и затѣмъ, если я правильно понимаю дѣло, еще семь лѣтъ такого же труда со стороны другого собранія (стр. 13), и все-таки ничего не сдѣлано. Публичность, самая неограниченная публичность — единственное возможное средство сдѣлать что-нибудь, а на практикѣ все еще только самая закрытая секретность!

Всегда одна и таже неудача — всегда отъ тѣхъ же самыхъ причинъ — и до конца дѣло ведется тѣмъ же безнадежнымъ способомъ. Ахъ, государь, съ какимъ сожалѣніемъ я видѣлъ (это было въ докладѣ 28-го февраля 1804, стр. 35) длинный списокъ должностей съ денежными окладами, которые всѣ — (потому что можетъ ли быть иначе, по обыкновенному состраданію?) — продолжаются по жизнь оффиціальныхъ лицъ. Оффиціальныхъ лицъ 48; итогъ ежегодныхъ расходовъ — 100.000 руб. Но въ этомъ жалованьѣ не было включено жалованье ни одной изъ двухъ особъ, — изъ которыхъ каждая даетъ свое имя, и ни одна не даетъ ничего больше, — высокопревосходительныхъ особъ, величину оклада которыхъ въ этомъ качествѣ, кажется, постыдились выставить въ этомъ спискѣ.

Какая часть изъ этой толпы получающихъ жалованье работниковъ сдѣлала что-нибудь? И тѣ изъ нихъ, кто сдѣлалъ что-нибудь, въ какомъ количествѣ и до какой цѣнности они сдѣлали въ этомъ дѣлѣ?

Нельзя отрицать конечно, что въ собираніи матеріаловъ и приведеніи ихъ въ порядокъ, и эта масса работниковъ могла быть и (насколько я не знаю противнаго) была употреблена съ пользой: на распредѣленіе по отдѣламъ матеріала, состоящаго изъ распоряженій существующаго закона. Быть можетъ, есть только немного случаевъ, гдѣ — для составленія достаточно основательнаго сужденія по вопросу: что, въ томъ или другомъ отдѣлѣ, должно быть закономъ, — не бываетъ необходимо знать, что дѣйствительно есть законъ. Поэтому указанія о томъ, что есть законъ, находятся между матеріалами, надъ которыми долженъ работать тотъ, кому принадлежитъ сказать, что должно быть, и слѣд., что будетъ закономъ. Но работникъ, который собираетъ матеріалы этого рода и сноситъ

ихъ на мѣсто, есть только носильщикъ. А гдѣ же архитекторы, или даже каменщики.

Ни одинъ изъ тѣхъ добровольныхъ работниковъ, которыхъ я старался выше ввести въ службу вашего величества — не получитъ ни копѣйки, иначе какъ за дѣло, которое, хорошо или худо, но во всякомъ случаѣ будетъ сдѣлано; и ни въ какомъ иномъ размѣрѣ, какъ въ размѣрѣ дѣйствительно сдѣланнаго: и въ числѣ этихъ работниковъ будутъ — не только каменщики, но и младшіе архитекторы, — къ какой должности каждый изъ нихъ чувствуетъ или полагаетъ себя способнымъ. Послѣ испытанія, если тотъ или другой не окажется способнымъ, тѣмъ хуже: но только при посредствѣ испытанія работникъ можетъ имѣть много шансовъ сдѣлаться способнымъ, вообще получить шансъ доказать свою способность.

Гдѣ, за дѣло или безъ дѣла, получается жалованье, тамъ вы можете быть совершенно увѣрены — въ любви человѣка къ жалованью. Гдѣ, предлагаемымъ здѣсь способомъ, дѣло дѣлается безъ жалованья, или денежной выдачи въ какой-нибудь другой формѣ,—тамъ вы можете быть довольно хорошо увѣрены—въ любви человѣка къ дѣлу.

Правда, любовь сама по себѣ не есть еще способность: но, во всякомъ случаѣ, это — одна изъ причинъ способности, и въ настоящемъ случаѣ особенно не можетъ быть причины болѣе дѣйствительной, если не сказать, болѣе необходимой.

Между тѣмъ, если мои свѣдѣнія вѣрны, одинъ кодексъ по крайней мѣрѣ — и притомъ изъ уголовной отрасли, — составленный оффиціально, теперь, если уже не въ печати, то приготовляется болѣе или менѣе поспѣшно. Сдѣлаемъ теперь нѣсколько предположеній: — 1) онъ уже вышелъ; — 2) онъ еще не вышелъ, но выйдетъ раньше, чѣмъ какой-нибудь мой очеркъ будетъ въ Петербургѣ; — 3) онъ выйдетъ, но не раньше того, какъ мой очеркъ уже былъ нѣсколько времени въ Петербургѣ;— 4) онъ совсѣмъ никогда не выходитъ. Въ этихъ различныхъ случаяхъ, какого дѣйствія можно ожидать отъ моего труда?— отъ моего труда, включая школу законодательства, построенную на трибуналѣ свободной критики, что, какъ объяснено выше, я считаю принадлежностью этой школы или ея плодомъ.

Случай 1-й. Кодексъ уже вышелъ, но во всякомъ случаѣ еще не получивши силы закона: потому что, еслибы

это было, я услышалъ бы объ этомъ. Я не ожидалъ бы видѣть, что это такъ, даже еслибы это было въ видѣ опыта (in the probationary state). Если такъ,—то, прежде чѣмъ кодексъ получитъ силу закона, вашему величеству останется опредѣлить, не долженъ ли будетъ тотъ трибуналъ свободной критики, который я выше предлагалъ для моего собственнаго труда, оставить этотъ кодексъ въ покоѣ. Но, въ случаѣ утвердительнаго отвѣта, на который я не могу не разсчитывать,— въ такомъ случаѣ заявленіе вашего величества относительно этого пункта должно быть совершенно ясно—«L'original est confirmé de la propre main de sa Majesté Imperiale dans les termes suivants: ainsi soit fait». Такъ по-французски. По-англійски: Woe to all gainsayers (горе всѣмъ противорѣчащимъ!). Такова была эгида, которою сочли благоразумнымъ запастись авторы Доклада 28 февраля 1804 г. Критика, будь безгласна! Горе всѣмъ противорѣчащимъ!

Во всякомъ случаѣ, если вашему величеству угодно было бы велѣть переслать мнѣ экземпляръ, то замѣчанія мои — или, съ дозволенія вашего величества (чтобы мой трудъ не останавливался), замѣчанія отъ нѣкоторыхъ моихъ друзей—были бы представлены вашему величеству со всей возможной скоростію. Затѣмъ, отъ благоизволенія вашего величества будетъ зависѣть назначить, и назначить ли вообще, срокъ для представленія моего труда, прежде, чѣмъ дано будетъ утвержденіе этому кодексу, или какому-нибудь другому.

Случай 2-й. Онъ еще не вышелъ, но выйдетъ раньше, чѣмъ какой-нибудь мой очеркъ будетъ въ Петербургѣ.—Въ этотъ промежутокъ времени, долженъ ли я буду остаться безполезенъ? Нѣтъ, государь, — хотя бы я спалъ все это время, я могъ бы принести вашему величеству полезную услугу. Все это время оффиціальной рукѣ (т. е. составляющей кодексъ) давала бы шпоры мысль о трибуналѣ свободной критики, который ожидаетъ этого произведенія, — и, въ соединеніи съ этой мыслью, давала бы шпоры также мысль о соперничествующемъ трудѣ, принадлежащемъ той рукѣ, тѣнь которой, какъ выше упомянуто, такъ часто изъ своего отдаленія приводила въ трепетъ оффиціальную руку.

Случай 3-й. Мой очеркъ дошелъ въ Петербургъ, а оффиціальная рука еще не представила ника-

кого проекта, и проектъ выходитъ только послѣ.—Оффиціальныя способности будутъ теперь доведены до своего крайняго напряженія. Непріятеля — чужеземнаго непріятеля—уже видѣли въ полѣ. Для этого труда его будетъ, по крайней мѣрѣ, одинъ критикъ, который едва ли можетъ отвергнуть представляющійся вызовъ. Что бы только возможно было сказать противъ труда незванаго гостя,—здѣсь есть, по крайней мѣрѣ, одинъ человѣкъ, а сзади его цѣлые десятки другихъ, которые всѣ будутъ имѣть сильнѣйшій интересъ сказать все это.

И теперь, когда является новый предметъ, законодательная школа находитъ новый запасъ учениковъ—столькихъ учениковъ, сколько ихъ можетъ увидѣть для себя хоть малѣйшій шансъ повышенія, вслѣдствіе своихъ занятій въ этой школѣ.

Позвольте мнѣ не умолчать здѣсь признанія, которое, кажется, слѣдуетъ даже сдѣлать. То, чего я ожидаю встрѣтить отъ этой руки, есть—трудъ, не неподлежащій критикѣ, испытанію. Я предвижу въ этомъ трудѣ, гдѣ будутъ соблюдаться формы методы: въ немъ можно будетъ отличать отдѣльныя (distinguishable) части. Это я заключаю изъ того, что вижу въ упомянутомъ Докладѣ. Точка (говорятъ намъ математики) не имѣетъ частей; хаосъ, какъ онъ ни громаденъ, тоже не имѣетъ частей. Пятнадцать массъ предположеннаго законодательнаго матеріала, о которыхъ говорится въ Докладѣ, не имѣли ни одна ничего похожаго на методу;—не имѣли никакихъ отдѣльныхъ частей;—я заключаю это изъ Доклада. Очеркъ, сдѣланный въ этомъ самомъ Докладѣ,—и (какъ я предполагаю) другія вещи, представленныя послѣ того вашему величеству,—своей методичностью, я увѣренъ, отличаются отъ всего того, или стоятъ выше того, что было сдѣлано прежде. Это былъ одинъ шагъ къ той единственной вещи, какая нужна. Это (я предполагаю) и пріобрѣло для автора благопріятное мнѣніе и согласіе вашего величества—и, въ извѣстномъ смыслѣ, къ тому были основанія, справедливость которыхъ не подлежитъ спору.

Совершенно не подлежатъ спору важность хорошаго распредѣленія въ законодательствѣ, и важность ряда синоптическихъ таблицъ—(système figuré, какъ говорили французскіе энциклопедисты) для хорошаго распредѣленія: хорошее распредѣленіе и хорошія таблицы въ одно и то же

время—дѣйствіе и причина. Человѣкъ, который чувствуетъ ихъ необходимость и способенъ придумать орудіе этого рода,—несравненно больше годится для главной работы, чѣмъ тотъ, кто или остается слѣпъ къ пользѣ такой поруки хорошаго распредѣленія, или неспособенъ устроить ее.

Итакъ, это одинъ шагъ къ той единственной вещи, какая нужна: но самый этотъ шагъ не есть эта единственная нужная вещь. Это только ларчики или ящики. А содержаніе?—какое будетъ оно? Все зависитъ отъ содержанія: и ничто изъ того, что я когда-нибудь видѣлъ или слышалъ, не можетъ возбуждать во мнѣ никакого благопріятнаго ожиданія относительно того содержанія, которому предназначено наполнить эти самые ящики,—если только они чѣмъ-нибудь будутъ наполняться.

Ваше величество были весьма благоразумны, принимая эти услуги. Я не вижу, какимъ образомъ они могли бы быть отвергнуты. Но несчастьемъ было—поддаться той безпокойной заботливости (anxiety), которое со стороны лица, находящагося въ этомъ положеніи, было вмѣстѣ такъ естественно, и такъ вредно:—заботливости о томъ, чтобы, по обычаю, лишить государя возможности получить откуда-нибудь съ другой стороны тѣ услуги, которыхъ не могъ бы доставить слишкомъ большого запаса весь цивилизованный міръ.

Случай 4-й. Наконецъ, предположимъ, что несмотря на упомянутыя выше шпоры, прошло значительное время, и отъ оффиціальной руки не появилось еще никакого труда. Тогда будетъ очевидно, что внутреннее убѣжденіе въ достоинствѣ, по крайней мѣрѣ, сравнительномъ, уже изданнаго труда, собственное сознаніе въ неспособности сдѣлать лучше или даже сдѣлать что-нибудь,—таково будетъ состояніе ума, которое будетъ причиной этого молчанія. Между тѣмъ (какъ мы предполагали), здѣсь во всякомъ случаѣ будетъ нѣчто подъ рукой: я разумѣю мой собственный трудъ, какимъ бы его ни находили,—трудъ, который бы никогда не существовалъ безъ этого моего скромнаго предложенія.

Ваше величество видите довольно ясно, что я не безъ печали увидѣлъ бы какое нибудь ограниченіе числа комментаторовъ, подъ увѣренностью, что тамъ, гдѣ авторъ есть неимѣющій связей иностранецъ, это будутъ комментаторы кри-

тическіе,—и слѣд. какое-нибудь ограниченіе числа добровольно являющихся судей, подъ увѣренностью, что это не будутъ пристрастно-благосклонные судьи.

Но я долженъ признаться, что относительно самаго рода труда, который будетъ предметомъ этой критики, я не опечалился бы, еслибы увидѣлъ требованіе одного условія,—каково бы ни было его дѣйствіе въ смыслѣ ограниченія.

Это условіе—то, чтобы къ каждой значительной массѣ матеріала,—мало того, даже къ каждому слову, гдѣ этого потребуетъ его важность,—постоянно были присоединяемы соображенія, предназначенныя служить въ качествѣ основаній или объясненій (reasons) и выставляемыя въ доказательство соотвѣтственности всего того, что такимъ образомъ предлагается для принятіи въ кодексъ.

Этотъ предметъ былъ затронутъ въ моемъ прежнемъ письмѣ:—я самымъ усерднымъ образомъ просилъ бы ваше величество дать этому предмету ваше вниманіе.

Государь, только съ помощью критеріума,—только съ помощью испытанія, дѣлаемаго такимъ образомъ, можно отличить талантъ отъ глупости, удовлетворительныя знанія отъ невѣжества, честность отъ безчестности, человѣколюбіе отъ деспотизма, здравый смыслъ отъ каприза, однимъ словомъ, способность, во всѣхъ ея видахъ, отъ неспособности.

Только въ этихъ основаніяхъ (reasons) одинъ умъ говоритъ къ другому. Повелѣнія (ordinances) безъ основаній составляютъ только обнаруженіе воли,—воли сильнаго, который требуетъ повиновенія отъ безпомощнаго. Освободите его отъ этого состоянія, избавьте его отъ этого ущерба,—тогда не только человѣкъ, который подаетъ вамъ кодексъ для надписи,—но и человѣкъ, который подаетъ вамъ рубашку,—будетъ въ силахъ составлять законы. Человѣкъ, который подаетъ рубашку? Да, государь, или женщина, которая моетъ ее.

Отбросьте это условіе (т. е. присоединеніе къ законамъ ихъ «основаній»),—и тогда одна Германія, о какомъ вамъ угодно предметѣ, доставитъ вамъ столько сотенъ кодексовъ, сколько вамъ угодно:—всѣ они будутъ вѣрно скопированы съ хаоса, который для другой части міра былъ собранъ двѣнадцать или тринадцать столѣтій назадъ [1]): всѣ они будутъ составлены на

[1]) Бентамъ разумѣетъ здѣсь Римское право.

самыхъ экономныхъ принципахъ, — всѣ написаны по стольку-то страницъ въ часъ,—всѣ безъ малѣйшихъ издержекъ мысли.

Не надо основаній! Не надо основаній для вашихъ законовъ! восклицаетъ Фридрихъ Великій прусскій въ одной плохой статьѣ своей, написанной именно объ этомъ самомъ предметѣ. Почему же не надо основаній? Потому что (говоритъ онъ), если въ вашемъ законѣ будетъ какой-нибудь подобный привѣсокъ, то первый шальной законникъ (le premier brouillon d'avocat), который возьметъ его въ руки, опрокинетъ его. Да, довольно вѣроятно: такое заключеніе можетъ произойти, если это будетъ такъ, что текстъ закона будетъ указывать одинъ путь, — а основаніе, стоящее вслѣдъ за нимъ, будетъ указывать другой, т. е., если или законъ, или основаніе построены до извѣстной степени дурно. Но есть ли это хорошее основаніе противъ того, чтобы приводить основанія? Не больше, какъ и противъ того, чтобы составлять законы. Точно также можно бы сказать, не надо дорожныхъ столбовъ! Почему? Потому что, еслибы пришелъ къ дорожному столбу какой-нибудь mauvais plaisant и вздумалъ повернуть надпись такъ, чтобы она показывала на дурную дорогу,—то путешественникъ можетъ сбиться съ пути.

Предположимъ теперь кодексъ, составленный, по обыкновенію, безъ всякаго подобнаго постояннаго комментарія основаній, и который для формы и для большаго глубокомыслія снабженъ, какъ это не разъ дѣлалось, предисловіемъ изъ кучи неопредѣленныхъ и на дѣлѣ непримѣненныхъ, потому что непримѣнимыхъ, общихъ разсужденій, подъ именемъ началъ. Онъ можетъ быть одобренъ, восхваленъ и торжественно провозглашенъ. Но по какимъ причинамъ? Если относительно того или другого частнаго постановленія или распоряженія закона приводятся какія-нибудь ясныя и вразумительныя причины (grounds) для одобренія, — то это и будутъ основанія (reasons). Почему же (можно бы сказать тогда начертателю), если вы знаете эти причины, почему — если только вы не стыдитесь ихъ—почему не явиться съ ними въ самомъ началѣ?— почему не распространить ихъ, за одинъ разъ, во всей публикѣ,— вмѣсто того, чтобы нашептывать ихъ, одинъ разъ одно, въ другой разъ другое,—тому или другому лицу, впередъ заинтересованному или впередъ увѣренному, въ качествѣ трубача? — Но, если нельзя привести никакихъ подобныхъ при-

чинъ, то-есть, если вовсе нельзя привести никакихъ причинъ, то гдѣ же правдивость или цѣнность такого восхваленія?

Съ другой стороны, — предположимъ кодексъ, сопровождаемый, поддерживаемый и объясняемый, съ начала до конца, постояннымъ комментаріемъ основаній; предположимъ, что всѣ эти основанія выводятся изъ одного истиннаго и единственнаго защитимаго начала—начала общей пользы, подъ которое, какъ будетъ показано, всѣ они подводятся. — Здѣсь, государь, дѣйствительно будетъ новая эра: — эра раціональнаго законодательства, — примѣръ для всѣхъ націй, — новое учрежденіе,—и ваше величество будете его основателемъ.

Я считалъ почти несомнѣннымъ, что всего естественнѣе слѣдовало бы начать съ уголовной отрасли закона, въ противоположность гражданской. Основанія для этого очевидны и, кажется, убѣдительны. Напримѣръ, въ уголовной отрасли вышеупомянутыя обстоятельства всеобщаго происхожденія имѣютъ гораздо больше мѣста, чѣмъ въ гражданской. Поэтому, уголовная отрасль въ болѣе обширной степени находится въ границахъ компетентности иностранной руки. Кромѣ того, въ уголовной отрасли возможны до извѣстной степени перемѣны — и если только онѣ будутъ къ лучшему въ другихъ отношеніяхъ—эти перемѣны не произведутъ ни опасности, ни тревоги [1].

Иначе это въ гражданской отрасли. Великая и преобладающая цѣль этой вѣтви — не допускать перемѣны — сколько возможно предупреждать тѣ обманы ожиданія, которые бываютъ результатомъ настоящей и неожиданной перемѣны, и ту тревогу, которая производится трепетнымъ ожиданіемъ перемѣны. Въ этомъ случаѣ, общая неизвѣстность о состояніи закона — этотъ постоянный источникъ неожиданныхъ перемѣнъ, въ частныхъ примѣрахъ доходящій до неизмѣримаго объема—есть великій источникъ зла; а неизвѣстность есть всегдашняя болѣзнь того жалкаго субститута закона, который называется неписаннымъ закономъ, и который, по настоящему, вовсе и не есть законъ. Единственное лекарство отъ этой болѣзни есть законъ писанный — единственный родъ закона, имѣющій не одно

---

[1]) См. для объясненія этой терминологіи Избр. соч. Бент., I, 140, 159, 372, 484 и пр.

только метафизическое существованіе. Наполеону принадлежитъ заслуга, что онъ далъ этого рода лекарство Франціи. Съ какой степенью искусства оно было составлено, я до сихъ поръ не находилъ никакой пользы это изслѣдовать. Но это лекарство должно было бы быть негодно-дурнымъ, еслибы оно все-таки не было гораздо лучше, чѣмъ ничего. Для человѣчества было бы счастьемъ, еслибы Наполеонъ только этимъ способомъ подавалъ примѣръ правителямъ этого человѣчества.

Мнѣ остается сказать о томъ способѣ, на который я намекалъ въ самомъ началѣ какъ на другой способъ, которымъ, при одобреніи вашего величества, могли бы быть сколько-нибудь употреблены въ дѣло тѣ услуги, какія было бы въ моихъ силахъ оказать, и которымъ въ нѣкоторой, хотя не равной, степени могли бы быть достигнуты цѣли, о которыхъ говорено было выше.

Вмѣстѣ съ письмомъ вашего величества я получилъ письмо отъ князя Адама Чарторыскаго. Въ письмѣ онъ напоминалъ мнѣ объ одномъ условномъ обѣщаніи, данномъ ему мною, и приглашалъ меня къ его исполненію. Понятно, что предметомъ обѣщанія была Польша. Ваше величество, быть можетъ, уже слышали отъ князя Чарторыскаго, что дало поводъ къ этому обѣщанію. Все, что мы говорили, ограничилось общими разговорами; въ то время вещи не созрѣли еще для того, чтобы можно было входить въ частности: намѣренія вашего величества не были достаточно извѣстны.

Но, по самой сущности дѣла, я долженъ былъ заключить, что относительно этой страны мои услуги имѣлись въ виду для конституціонной отрасли, — по крайней мѣрѣ предварительно передъ какой-нибудь другой. Но изъ всѣхъ отраслей закона конституціонная есть та, относительно которой, въ начертаніи общаго очерка, чужая рука кажется менѣе компетентна, чѣмъ относительно какой-нибудь другой отрасли. Почему? Потому что конституціонный законъ зависитъ вполнѣ отъ мѣстныхъ условій (localities). Поэтому здѣсь упомянутый выше способъ — давать отвѣты на представляющіеся вопросы, есть единственный, который кажется соотвѣтствующимъ природѣ дѣла.

Я не хочу сказать, чтобы въ этомъ случаѣ, какъ и въ другомъ, была какая нибудь польза посылать отвѣты, — если только въ томъ мѣстѣ, куда они посылаются, они не встрѣтятъ

расположенія воспользоваться ими. Но если, въ настоящемъ случаѣ, будетъ какой-нибудь недочетъ въ этомъ отношеніи, то просьбы, столь обязательно повторяемыя мнѣ этимъ княземъ, будутъ дѣйствіемъ безъ причины.

Между тѣмъ, еслибы вашему величеству угодно было приказать мнѣ составить очеркъ уголовнаго и гражданскаго закона, и прежде уголовнаго, для Польши, — то, хотя бы поле моего труда и ограничивалось Польшей, я нашелъ бы для его совершенія вполнѣ достаточные мотивы.

Мое намѣреніе такимъ образомъ удовлетворялось бы, но не то, которое я надѣялся бы видѣть и намѣреніемъ вашего величества. Для Россіи—нѣтъ соревнованія, нѣтъ трибунала свободной критики, нѣтъ школы законодательства, нѣтъ разсадника чиновниковъ для законодательнаго вѣдомства: нѣтъ ничего кромѣ слабаго телескопическаго вида этихъ учрежденій въ Польшѣ. Судьба Россіи передана одной рукѣ — такой, которую все, мною видѣнное или слышанное, согласно вынуждаетъ меня считать недостаточной.

Ваше величество видите мою навязчивость? Но почему мнѣ стыдиться ея? Мнѣ не нужно ни денегъ, ни власти, ни высокаго сана, ни даже благосклонности: — мнѣ нуженъ только шансъ принести пользу: — пользу? — и кому пользу?

Не незначительны—и по объему, и по числу, и по важности— тѣ предметы размышленія, которыя я осмѣливаюсь здѣсь представить на рѣшеніе вашего величества. Но, насколько дѣло касается того, что могло бы быть сдѣлано мной, имѣютъ важность только немногіе пункты, въ которыхъ рѣшеніе можетъ быть вмѣстѣ—и просто, и легко, и безопасно.

Все, что было бы необходимо, для того, чтобы я приступилъ къ дѣлу, это—выраженіе желанія вашего величества въ этомъ смыслѣ. Я долженъ писать по-англійски. Поэтому мой трудъ и долженъ быть напечатанъ на первый разъ по-англійски. Но г. Дюмонъ, работающій на тѣхъ же условіяхъ какъ я, былъ бы—я увѣренъ въ этомъ такъ, какъ еслибы онъ былъ здѣсь и сказалъ мнѣ это,—Дюмонъ былъ бы счастливъ перевесть его на французскій языкъ, листъ за листомъ, какъ только онъ будетъ появляться по-англійски: и въ этомъ случаѣ, французскій переводъ могъ бы быть отпечатанъ почти въ одно время съ подлинникомъ. Издержки англійскаго изданія были бы моей заботой: относительно французскаго, это было бы такъ, какъ угодно будетъ вашему

величеству. Въ Петербургѣ было бы прислано—на англійскомъ, на французскомъ, или на обоихъ языкахъ—столько экземпляровъ, сколько вашему величеству угодно будетъ приказать. Что сдѣлалось бы относительно ихъ т а м ъ (т. е. въ Петербургѣ), это, конечно, вполнѣ зависитъ отъ воли вашего величества. Но, я надѣюсь, что ваше величество не имѣете никакихъ возраженій противъ того, чтобы дать мнѣ обѣщаніе, что когда они будутъ тамъ, т о о н и у в и д я т ъ с в ѣ т ъ. Мой трудъ не будетъ пасквилемъ (a libel): и если онъ не будетъ одобренъ—и неодобреніе будетъ объявлено, съ указаніемъ или безъ указанія основаній,—всякое подобное неодобреніе, конечно, не встрѣтитъ большого затрудненія къ тому, чтобы заставить уважать себя. Имѣю честь быть, государь, вашего императорскаго величества всегда вѣрнымъ слугой,

Іеремія Бентамъ.

4. Письмо Адама Чарторыскаго къ Бентаму [1]).

Вѣна, 25 апрѣля 1815.

М. г. Постоянныя путешествія, которыя дѣлалъ его величество послѣ того, какъ оставилъ Англію, и великіе интересы, занимавшіе его въ послѣднее время, только теперь позволили мнѣ представить его величеству письмо, вами ему адресованное. Я съ особеннымъ удовольствіемъ спѣшу передать вамъ при семъ отвѣтъ его величества.

Примите также и съ моей стороны увѣреніе въ высокомъ уваженіи, которое я не перестану питать къ вамъ и позвольте мнѣ впередъ льстить себя надеждой, что вы не откажетесь также и намъ [2]) дать ваши совѣты во всемъ томъ, что можетъ имѣть отношеніе къ законодательству, которое его императорское величество удостоитъ даровать Польшѣ. Когда придетъ время, я не премину обратиться къ вамъ и напомнить вамъ дружескія обѣщанія, которыя вы были такъ добры дать мнѣ въ этомъ отношеніи.

---

[1]) При этомъ письмѣ Чарторыскій оффиціально передавалъ Бентаму помѣщенное выше письмо императора Александра, отъ 10—22 апрѣля 1815. Объ этомъ письмѣ Чарторыскаго Бентамъ и упоминаетъ въ концѣ своего второго письма къ императору.

[2]) То-есть, т а к ж е к а к ъ Р о с с і и, къ которой одной относилось подразумѣваемое здѣсь письмо. (Прим. англ. изд.).

Въ ожиданіи, я съ удовольствіемъ пользуюсь настоящимъ случаемъ просить васъ принять увѣреніе въ моихъ чувствахъ и въ глубочайшемъ уваженіи, съ которымъ честь имѣю быть вашимъ покорнѣйшимъ слугой,

А. Чарторыскій.

Изъ слѣдующаго отвѣтнаго письма Бентама къ Чарторыскому мы извлекаемъ только то, что имѣетъ отношеніе къ предыдущему письму Бентама о русскомъ кодексѣ къ императору Александру. Мы встрѣтимъ здѣсь еще нѣкоторыя объясненія этихъ отношеній Бентама къ императору. Остальная часть письма относится слишкомъ исключительно къ польскимъ дѣламъ и не входитъ въ цѣль нашей статьи.

5. Письмо Бентама къ князю Адаму Чарторыскому.

Queen-Square-Place, Вестминстеръ, іюнь 1815.

Я прежде всего долженъ просить извиненія его величества и вашего за одну вещь, именно за тотъ огромный промежутокъ времени (больше мѣсяца), который прошелъ между полученіемъ этихъ двухъ писемъ и отправленіемъ моихъ настоящихъ отвѣтовъ. Другая вещь, за которую я также долженъ просить вашего снисхожденія, это—что копія съ письма къ императору, которую я долженъ послать вамъ, слишкомъ дурно переписана.

Впрочемъ, оба эти проступка имѣютъ свой источникъ въ той неотложной работѣ, среди которой я получилъ эти письма....

Что касается до подлинника (письма къ императору Александру), то я боюсь, что и вы, и императоръ будете досадовать и скучать имъ, хотя бы за одну его длинноту. Впрочемъ мнѣ необходимо надо было высказаться: и я не видѣлъ надежды, что буду способенъ сдѣлать это, съ какой-нибудь пользой, въ меньшемъ объемѣ. Я слышу со всѣхъ сторонъ, что онъ—человѣкъ съ хорошимъ характеромъ (a good-natured man): то, что я говорю ему въ письмѣ, которое вы увидите, подвергаетъ это его качество испытанію. Если у него достанетъ терпѣнія, онъ прочтетъ у меня то, чего, по самой природѣ вещей, онъ не прочтетъ и не услышитъ ни отъ какого человѣка, находящагося въ какомъ-нибудь иномъ положеніи.

Повязка на глазахъ, помочи на плечахъ — таковъ былъ до сихъ поръ его костюмъ въ этой части правительственной

области. Моя цѣль—освободить его отъ этихъ принадлежностей; возможно ли, чтобы онъ простилъ мнѣ? Проститъ онъ мнѣ или нѣтъ, дѣло не въ томъ: единственное, что нужно, это то, чтобы онъ далъ освободить себя отъ нихъ.

Я надѣюсь, что это не вовлечетъ васъ ни въ какое затрудненіе, затрудненіе, которое съ вашей стороны было бы до такой степени совершенно незаслуженнымъ: потому что отъ васъ я никогда не слыхалъ ничего похожаго на a tale out of school.

Если бы что нибудь мной сказанное положило конецъ не только этой корреспонденціи, но и другой, которая для меня такъ лестна,—я былъ бы истинно опечаленъ. Но сдѣлать этотъ рискъ было необходимо: потому что вы вѣроятно согласитесь со мной, что, можно ли было бы съ нимъ сдѣлать что-нибудь или нѣтъ, но безъ него во всякомъ случаѣ невозможно было ничего сдѣлать.

На этомъ, сколько мы знаемъ, кончились отношенія между императоромъ Александромъ и Бентамомъ.

Какъ ни исключительны и единичны въ своемъ родѣ эти отношенія, они имѣютъ свой большой историческій смыслъ, какъ новая черта для характеристики импер. Александра и какъ примѣръ того отношенія, въ которомъ русская общественная жизнь или «политика» стояла къ европейскимъ идеямъ. Поэтому мы считаемъ нелишнимъ сказать объ этомъ предметѣ еще нѣсколько словъ.

Въ наше время отношенія, подобныя изложеннымъ сейчасъ отношеніямъ императора Александра къ Бентаму, всего скорѣе подвергнутся порицанію; ихъ осудятъ какъ непрактическое увлеченіе, и особенно какъ увлеченіе чужимъ, иноземнымъ; мысль сноситься съ иностраннымъ юристомъ по вопросу о законодательствѣ для русскаго государства покажется даже нарушеніемъ національнаго достоинства; людей, возъимѣвшихъ ее, обвинятъ въ незнаніи русской жизни, въ необращеніи къ ея внутреннимъ силамъ, національнымъ идеямъ и т. д., и т. д. Однимъ словомъ, здѣсь повторилось бы обвиненіе, которое уже высказалось въ нашей литературѣ противъ направленія и людей первыхъ годовъ царствованія Александра,—потому что разсказанныя нами обстоятельства были конечно продолженіемъ (хотя уже слабымъ и замирающимъ) именно тѣхъ воззрѣній, которыя въ особенности отличали эти годы. Дѣятелей того времени, и

съ ними вмѣстѣ и императора Александра, упрекаютъ обыкновенно въ томъ, что они, увлекаясь напр. Англiей, не знали русской жизни, и въ противоположность имъ выставляютъ «опытныхъ» людей стараго времени, хотя тутъ же оказывается, что эти «опытные» люди сами не могли придумать ничего лучшаго для исправленiя тѣхъ золъ, противъ которыхъ и были направлены усилiя новыхъ людей...

Намъ кажется, что въ этомъ смыслѣ такiя обвиненiя очень несправедливы. Обращенiе къ европейскимъ идеямъ и образцамъ составляло слишкомъ серьезную потребность нашей образованности. Это была старая традицiя, начатая Петромъ и продолжавшаяся въ разныхъ видахъ во все XVIII-е столѣтiе. Это увлеченiе иноземными идеями не менѣе сильно было и въ императрицѣ Екатеринѣ, напр., когда она писала свой «Наказъ» и наполняла его цѣликомъ идеями французской просвѣтительной философiи. Импер. Александръ, въ своихъ первыхъ стремленiяхъ, собственно говоря, только продолжалъ эту традицiю, въ которой укрѣпляла его сама императрица, выбравшая ему въ воспитатели республиканца-философа во вкусѣ XVIII-го вѣка. Съ другой стороны, въ этихъ увлеченiяхъ была общая черта времени. Если философiя XVIII-го вѣка требовала для обществъ новаго устройства и новыхъ идей, то теперь, послѣ революцiонныхъ потрясенiй, очень естественно приходила мысль, что надо дѣлать многое с н а ч а л а — во Францiи это дѣйствительно было необходимо, потому что старый порядокъ во многихъ отношенiяхъ былъ подорванъ безвозвратно,—и дѣлать на основанiи отвлеченныхъ положенiй разума, которыя часто представлялись единственнымъ критерiумомъ. Этотъ разумъ указывалъ множество несовершенствъ, которыя надо было исправить, а между тѣмъ практическая жизнь общества еще не давала указанiй для этого исправленiя. Наши дѣятели приходили къ тѣмъ же отвлеченнымъ положенiямъ; имъ также казалось, что надо было дѣлать все или многое с н а ч а л а, trancher dans le vif, tailler en plein drap, какъ выражался Сперанскiй послѣ поѣздки въ Эрфуртъ, подъ влiянiемъ встрѣчи съ дѣтищемъ революцiи Наполеономъ. Мы видѣли, какъ журналъ министерства внутреннихъ дѣлъ наводилъ на вопросы о законодательствѣ, о свободѣ печати, о злоупотребленiи привилегiй; въ литературѣ либеральныя идеи находили сильный отголосокъ; въ университетахъ и въ книгахъ съ великимъ интересомъ (хотя

конечно въ большинствѣ случаевъ очень наивно) говорилось о «естественномъ правѣ» и т. п. Однимъ словомъ, собирая разнообразныя указанія о движеніи того времени, едва ли можно сомнѣваться, что «увлеченіе», стремленіе новыхъ правительственныхъ дѣятелей создавать новыя формы юридическо-общественной жизни совершенно оправдывается дѣйствительнымъ положеніемъ вещей—существованіемъ множества недостатковъ стараго порядка, требовавшихъ исправленія, улучшенія или уничтоженія—и ожиданіями лучшихъ людей общества...

Съ точки зрѣнія порицателей этого либеральнаго «увлеченія» императора Александра, какъ будто выходитъ, что гораздо лучше стало, когда всякія увлеченія были брошены, когда управленіе стало совершаться по старымъ преданіямъ, и либеральныхъ министровъ смѣнилъ «опытный» графъ Аракчеевъ.

По нашимъ понятіямъ, императоръ Александръ не дѣлалъ ошибки, когда одно время считалъ возможною дѣятельность Бентама для Россіи.

Бентамъ точно также не показывалъ какой-нибудь притязательности, когда обращался къ русскому императору съ своими предложеніями. Задолго передъ тѣмъ, онъ имѣлъ случай видѣть, что его мысли и книги находили много сочувствія между людьми, которые, безъ сомнѣнія, были въ числѣ лучшихъ людей тогдашняго русскаго общества (Сперанскій, Мордвиновъ, гр. А. Салтыковъ и проч.); и давно уже ему сообщали, что въ Петербургѣ имѣютъ желаніе обратиться къ нему за содѣйствіемъ и совѣтами въ кодификаціонныхъ трудахъ. Въ самомъ этомъ случаѣ Бентамъ написалъ свое (первое) письмо къ императору, повидимому, не безъ вызова и со стороны Чарторыскаго, лица, въ то время слишкомъ близкаго къ Александру. Наконецъ то, что говорилъ Бентамъ, было такъ справедливо, что его вмѣшательство находитъ въ этомъ полное оправданіе.

Дѣйствительно, начать съ того, что Бентамъ въ самомъ дѣлѣ былъ чуждъ Россіи не больше чѣмъ курляндецъ, лифляндецъ или финляндецъ, если бы они, не зная русскаго языка, взялись управлять Россіей и составлять для нея законы. Роль Розенкампфа, изображенная отчасти въ книгѣ барона Корфа [1]), можетъ служить достаточнымъ примѣромъ.

Далѣе, Бентамъ ни на минуту не думалъ стать настоящимъ

---

[1]) Жизнь Спер. I, 146 и слѣд.

законодателемъ. То, къ чему онъ стремился, было—проложить дорогу для открытаго законодательства, какъ онъ это называлъ, т. е. для гласнаго обсужденія законодательныхъ вопросовъ въ средѣ самого русскаго общества. Себѣ лично онъ дозволялъ только одно желаніе—участвовать въ этомъ обсужденіи на ряду съ какимъ угодно другимъ законовѣдомъ, участвовать открыто, на глазахъ какой угодно критики: ему лично хотѣлось только дать тему, быть можетъ, поставить лучше другихъ вопросы, которые должны были подвергнуться обсужденію, высказать еще разъ—съ спеціальнымъ назначеніемъ для русскихъ условій—свои общіе принципы, составлявшіе трудъ его жизни. И замѣтимъ притомъ, что онъ дозволялъ себѣ это желаніе уже послѣ того, какъ ему извѣстно было, что русскія правительственныя сферы обращались прежде ко многимъ другимъ иностранцамъ (которые не дали удовлетворительныхъ отвѣтовъ), слѣд. когда ему извѣстно было, что такого рода содѣйствіе считалось нужнымъ, и что его искали. Читая въ его письмѣ его настоятельныя убѣжденія къ императору, нельзя не почувствовать глубокаго уваженія къ этой горячей и безкорыстной ревности служить человѣческому благу.

Бентамъ представлялъ императору двѣ дороги: старая, которой и слѣдовали въ ту минуту, была много разъ испробована и достаточно выказала свои свойства въ исторіи множества «коммиссій» со временъ Петра Великаго; новая, которую онъ защищалъ, безъ сомнѣнія была лучшей дорогой, и къ устройству законодательства и къ общественному воспитанію. Бентамъ заботливо разъяснялъ возможность гласнаго обсужденія законодательства, стараясь сгладить путь этому нововведенію въ русской жизни. Собственно говоря, его отвлеченные абсолютные принципы требовали далеко не этихъ умѣренныхъ пожеланій; но Бентамъ очень хорошо понималъ вопросъ о «значеніи мѣста и времени въ законодательствѣ» и потому онъ предлагаетъ наиболѣе мягкую, спокойную и вмѣстѣ наиболѣе воспитывающую форму для этого нововведенія,—форму, при которой уступка обществу была бы наименьшая и слѣд. наиболѣе возможная со стороны правительственнаго авторитета (о которомъ въ концѣ концовъ и шла рѣчь).

Но это было бы непрактично,—могутъ сказать на это. Напротивъ, можно думать, что совѣтъ Бентама былъ самый благоразумный, какой можно было сдѣлать въ данномъ положеніи вещей, въ этомъ направленіи.

Въ самомъ дѣлѣ, если только шелъ вопросъ о новомъ характерѣ законодательства, о приближеніи его къ новымъ гражданскимъ потребностямъ и духу времени, о развитіи юридическаго сознанія въ обществѣ, то очевидно, что нужно было употребить какія-нибудь новыя средства, кромѣ тѣхъ, какія употреблялись по преданію. Старая машина приходила въ совершенную негодность; она жила одной рутиной, мало превышавшей простую приказную рутину. Если самыя работы Сперанскаго въ коммиссіи составленія законовъ (1808—1812) имѣли не мало недостатковъ, то гораздо больше странностей было сказано и сдѣлано со стороны его противниковъ, не исключая Карамзина. Баронъ Корфъ, котораго мудрено обвинить въ пристрастіи къ какой-либо изъ двухъ сторонъ, говоритъ въ своей книгѣ: «Юридическія наши свѣдѣнія, даже у государственныхъ людей, были въ то время, какъ горько и справедливо замѣтилъ Сперанскій, еще очень слабы и поверхностны... Законовѣдѣніе считалось еще тьмою, въ которую проникали лишь такъ-называвшіеся тогда дѣльцы; для нихъ же все, чего они не могли найти буквально въ нашихъ указахъ, или что было выражено иными словами, казалось вредною или, по крайней мѣрѣ, безполезною чужеземщиною»[1]. При этомъ положеніи вещей, самымъ разумнымъ было бы то, что и предлагалъ Бентамъ: это было вызвать на дѣло новыя силы, которыя, конечно, были бы доставлены обществомъ, вызвать путемъ гласнаго обсужденія, которое не преминуло бы доставить важныя частныя данныя и вмѣстѣ указать людей, способныхъ къ труду. Между тѣмъ, люди, возвращавшіеся въ Россію послѣ наполеоновскихъ войнъ, возвращались съ запасомъ новыхъ стремленій, которыя безъ сомнѣнія принесли бы много пользы оживленію всего общества, если бы руководители этого общества съумѣли понять ихъ и воспользоваться ими. Но этого сдѣлать тогда не съумѣли, и эта потребность дѣятельности для общественнаго блага не находила себѣ исхода въ дѣйствительной практической жизни. Потребность однакоже не исчезала, и выходъ для нея нашелся наконецъ въ «союзѣ благоденствія», который въ концѣ концовъ привелъ къ глубоко-печальнымъ событіямъ 14 декабря.

Можно сказать съ увѣренностію, что если бы и въ эти времена сохранились намѣренія и планы, которые составлялись въ

---

[1]) Жизнь Спер., I, 164 прим.

началѣ царствованія, еслибъ на нихъ положена была нужная, твердость убѣжденія и воли, то въ самой свѣжей, энергической и убѣжденной части общества правительство нашло бы несомнѣнно самыхъ усердныхъ исполнителей; и тѣ силы, которыя пропадали даромъ или погибали трагически, были бы употреблены правильно и здорово для общественнаго организма. Дѣло шло бы и въ этомъ случаѣ, конечно, не безъ усилій, на которыя потребовалась бы правительственная энергія,—но гораздо лучше было употребить эту энергію сюда, чѣмъ на укрощеніе совершенно постороннихъ Россіи возстаній въ Европѣ, или на основаніе военныхъ поселеній дома.

Но Бентамъ напрасно предлагалъ свои мысли, — императоръ Александръ предпочелъ программу Меттерниха и Аракчеева.

Этимъ окончились отношенія, которыя начались въ 1802 г. такимъ успѣхомъ Бентама въ русскомъ обществѣ. Событія, послѣдовавшія за 1815 годомъ, и роль, принятая въ нихъ Россіею, должны были еще сильнѣе охладить Бентама. Мы видѣли выше, какъ сильно было это охлажденіе уже въ 1817 г., когда онъ издавалъ свою переписку въ «Papers relative to Codification». Политика реставраціи возбуждала въ немъ самую глубокую вражду, и его политико-законодательныя идеи пріобрѣтали еще бо́льшую суровость чѣмъ прежде,—какъ напр. въ его «Конституціонномъ Кодексѣ», надъ которымъ онъ работалъ именно въ это время. Вся его симпатія принадлежала либеральнымъ движеніямъ, наполняющимъ эту эпоху: либералы этого времени видѣли въ немъ великій нравственный авторитетъ [1]). Его письма проникнуты глубокимъ сочувствіемъ къ дѣлу національной независимости и гражданской свободы, о которыхъ шла теперь борьба, и глубокой ненавистью къ политикѣ Меттерниха и реставраціи [2]).

---

[1]) См. объ его корреспонденціи за это время въ біографіи, Works X, и въ «Codification Proposal», т. IV, стр. 564 и слѣд. Здѣсь приведены письма и отзывы изъ Женевы, Испаніи, Португаліи, Франціи, Италіи, Соединенныхъ Штатовъ, Греціи, Южной Америки и пр.

[2]) Вотъ напр. отрывокъ изъ письма его къ грекамъ, въ ноябрѣ 1823 г. (противъ избранія короля):

«So sure as you have a king, so sure has the Holy Alliance another member. And what is the Holy Alliance, but an alliance of all kings, against all those who are not kings. Were there no such alliance, remedy, under the most grievous tyranny, would be but too difficult: under the Holy Alliance, all remedy would be impossible» etc. (X, 539).

Относительно своихъ кодификаціонныхъ трудовъ, онъ окончательно приходилъ къ убѣжденію, что въ извѣстныхъ государственныхъ устройствахъ они не могутъ имѣть мѣста [1]); но за то тѣмъ ревностнѣе онъ привязывался къ своимъ идеямъ, развивая принципъ «наибольшаго возможнаго счастія» относительно политическихъ формъ и учрежденій. Таковъ его «Конституціонный Кодексъ», одинъ изъ обширнѣйшихъ и замѣчательнѣйшихъ трудовъ Бентама (напечатанный уже только по его смерти, въ изданіи Боуринга, т. II),—гдѣ Бентамъ самымъ рѣзкимъ образомъ отвергаетъ господствующую вообще въ Европѣ монархическую форму государственнаго устройства и, опредѣляя изъ своего принципа формы политическихъ учрежденій и администраціи, лучшей формой политическаго устройства считаетъ представительную демократію. «Конституціонный Кодексъ» былъ конечно трактатъ чисто-теоретическій; но вмѣстѣ съ тѣмъ, это была и программа, по мнѣнію Бентама, удобопримѣнимая для всякаго народа, который бы захотѣлъ ею воспользоваться, какъ логическимъ развитіемъ его основной идеи въ области политики. Въ такомъ же смыслѣ онъ изложилъ въ то же время свои общія положенія относительно законодательства, которыя онъ именно предлагалъ «всѣмъ націямъ либеральнаго образа мыслей». Это— «Codification Proposal» [2]), книга, любопытная для насъ въ настоящемъ случаѣ тѣмъ, что здѣсь излагается теорія того взгляда на наилучшій процессъ законодательства, который Бентамъ излагалъ въ письмѣ къ императору Александру.

Таково было, говоря вообще, настроеніе Бентама и направленіе его трудовъ въ теченіе самаго горячаго періода реставраціи и гоненій противъ либерализма. Что онъ имѣлъ за это время нѣкоторыя сношенія съ своими русскими друзьями,—это можно заключать по указаніямъ въ его дальнѣйшей перепискѣ; но біографія не представляетъ относительно этого никакихъ ближайшихъ свѣдѣній. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ перерыва, новыя извѣстія о русскихъ сношеніяхъ Бентама мы находимъ въ біографіи

[1]) Біографъ приводитъ между прочимъ изъ разсказовъ Бентама слѣдующее замѣчаніе: «Talleyrand said my law projects were work of genius, but not adapted for purposes of tyranny» (X, 571).

[2]) «Codification Proposal, addressed by Jeremy Bentham to all nations professing liberal opinions; or Idea of a proposed all-comprehensive body of law, with an accompaniment of Reasons» etc. Издано первоначально въ 1822 г.; см. Works, IV, 535 и слѣд.

уже только отъ 1823—1824 года, хотя въ письмѣ Бентама къ Мордвинову, которое мы здѣсь разумѣемъ, мы видимъ дружескія отношенія, кажется не прерывавшіяся. Въ это время Мордвиновъ, повидимому, самый ревностный изъ русскихъ почитателей Бентама, писалъ ему исполненное уваженія письмо, гдѣ между прочимъ говорилъ, что привыкъ ссылаться на авторитетъ Бентама и оправдывать имъ свои дѣйствія въ качествѣ предсѣдателя департамента гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ въ государственномъ совѣтѣ.

Бентамъ отвѣчалъ Мордвинову довольно длиннымъ письмомъ. Оно отрывочно и писано отчасти тономъ шутки, но подъ этой шуткой взглядъ Бентама на русскія дѣла обнаруживаетъ довольно ясно то настроеніе его мыслей, о которомъ мы выше упоминали.

«Я доканчиваю теперь Конституціонный Кодексъ — пишетъ Бентамъ—имѣющій цѣлью исправить этотъ испорченный міръ, покрывъ его республиками. Я сообщаю вамъ это извѣстіе изъ чистаго великодушія, чтобы вы, по своему мѣсту, какъ Président pour les affaires civiles et ecclésiastiques—которое мнѣ пріятно видѣть занятымъ вами, хотя бы только для одной Россіи,—чтобы вы, въ этомъ качествѣ, могли заблаговременно устроить санитарный кордонъ вокругъ владѣній вашего повелителя, такой прочный, какой найдетъ нужнымъ вашъ фельдмаршалъ...; впрочемъ, скажу вамъ по довѣренности, этотъ кордонъ будетъ совершенно безполезенъ противъ экземпляровъ, которыми я начиню бомбы и буду стрѣлять черезъ этотъ кордонъ. Но отчего, любезный мой другъ, вы такъ жестоко запоздали извѣстить меня о томъ, что получили кучу всякой всячины (quantity of stuff) которую я вамъ послалъ? Я уже предполагалъ, что—или вы нашли для нея употребленіе въ вашей печкѣ (peech), или что васъ сослали въ Сибирь за то, что она была къ вамъ адресована.

«Это приводитъ меня къ Сперанскому, къ которому я въ то же время послалъ тѣже вещи. Онъ точно также имѣлъ варварство оставить меня въ томъ же невѣдѣніи. Правда, я никогда его не видалъ, но также правда и то, что его мнѣнія относительно моихъ вещей извѣстны мнѣ изъ его письма къ Дюмону, которое я храню какъ святыню, и, когда бываю въ хвастливомъ расположеніи духа, показываю иногда нѣкоторымъ молодымъ друзьямъ: сюда прибавится теперь и ваше письмо.

«Я радъ слышать, что вы и Сперанскій въ хорошихъ отношеніяхъ между собой, чего не бываетъ обыкновенно (какъ я читалъ это въ какой-то книгѣ) между товарищами въ такихъ правленіяхъ какъ ваше,—не говоря о другихъ правленіяхъ.

«Я забылъ, кому изъ васъ я послалъ, вмѣстѣ съ своимъ хламомъ (trash), и свою покорнѣйшую просьбу прислать мнѣ экземпляръ того, что было у васъ оффиціально публиковано относительно состоянія законовъ, съ тѣхъ поръ какъ учреждено было вѣдомство для этой цѣли. Я полагаю, что два такихъ могущественныхъ человѣка, какъ вы и онъ, придумали бы между собой средство украсть для этой цѣли одинъ экземпляръ, не подвергая себя большой опасности быть высѣченнымъ. Или, что если великодушный будетъ на столько великодушенъ, что пришлетъ мнѣ это? Я не возвратилъ бы ему этого, какъ возвратилъ перстень. Мнѣ незачѣмъ его перстней. Но мнѣ было бы для чего имѣть его законы. Что касается Розенкампфа — онъ, какъ я слышу, is gone to the dogs. Я думаю, онъ не могъ найти лучшаго употребленія [1]).

«Что касается до злоупотребленій, открытыхъ имъ—я разумѣю, Сперанскимъ, а не Розенкампфомъ,—то конечно было бы весьма любопытно имѣть о нихъ какія-нибудь свѣдѣнія; хотя, впрочемъ, если прискорбная польза составляетъ весь ихъ вредъ, я могъ бы прислать, взамѣнъ, неоспоримо вѣрное указаніе въ двѣнадцать разъ болѣе прискорбной пользы, добытой въ то же количество времени здѣсь, хотя болѣе безопасными и неопреодолимыми средствами. Но серьезно, я былъ бы въ совершенномъ отчаяніи, еслибы въ моемъ Конституціонномъ Кодексѣ не нашлось, въ томъ или другомъ мѣстѣ, мѣръ, примѣнимыхъ съ такой же выгодой въ вашей монархіи, какъ и въ моей Утопіи...

«Я посылаю вамъ, съ этимъ же случаемъ, небольшой республиканскій пасквиль (little Republican squib) avant-courrier моего Кодекса. Онъ можетъ послужить къ тому, чтобы развеселить глубокомысліе какого-нибудь изъ тѣхъ совѣтовъ, которые пользуются вашимъ предсѣдательствомъ. Я боюсь, что вашъ повелитель слишкомъ серьезенъ, чтобы смѣяться такимъ вещамъ.

---

[1]) Эта фраза нѣсколько ужасна по своей нетерпимости: но она любопытна, какъ свидѣтельство, какую страстную энергію вносилъ уже 75-лѣтній Бентамъ въ интересы своего дѣла, даже относительно совсѣмъ чужихъ ему странъ.

Онъ, быть можетъ, скорѣе склоненъ написать брату Георгу, чтобъ тотъ остановилъ публикацію» [1]).

Злоупотребленія, открытыя Сперанскимъ, о которыхъ говоритъ Бентамъ, относятся конечно къ отчету Сперанскаго по обозрѣнію Сибири. Этотъ отчетъ разсматривался по возвращеніи Сперанскаго изъ Сибири особымъ комитетомъ, который вполнѣ одобрилъ всѣ дѣйствія Сперанскаго,—вслѣдствіе чего извѣстный деспотъ Пестель былъ отставленъ отъ службы, грабитель Трескинъ и цѣлая шайка его подчиненныхъ грабителей были преданы суду и проч. [2]) Указъ объ этомъ предметѣ, излагавшій многое подлинными словами отчета Сперанскаго, былъ публикованъ во всеобщее свѣдѣніе 26 января 1822 г., и объ нёмъ вѣроятно и идетъ рѣчь въ письмѣ Бентама.

Республиканскій «пасквиль» Бентама, упомянутый въ письмѣ, есть вѣроятно небольшое сочиненіе «Leading principles of a Constitutional Code for any state». напечатанное въ 1823 году [3]).

Послѣднее письмо Бентама въ Россію, какое мы находимъ въ біографіи, адресовано къ тому же Мордвинову, въ 1830 году. Бентамъ рекомендовалъ Мордвинову генерала Сантандера, бывшаго президента южно-американской республики Венезуэла,—который долженъ былъ удалиться изъ Америки вслѣдствіе диктатуры извѣстнаго Боливара, путешествовалъ тогда по Европѣ и отправлялся въ Петербургъ. Сантандеръ былъ также партизаномъ Бентама, который подвергся изгнанію вмѣстѣ съ нимъ,—потому что Боливаръ, удаливъ Сантандера, въ то же время запретилъ въ своемъ государствѣ сочиненія Бентама.

«Любезный адмиралъ,—писалъ онъ къ Мордвинову,—я живъ, хотя уже перешелъ за восемьдесятъ два года, все еще въ добромъ здоровьѣ и хорошемъ расположеніи духа, и кодифицирую, какъ драгунъ. Я надѣюсь слышать то же и объ васъ; но такъ какъ слышать это отъ васъ самихъ нѣтъ надежды, при множествѣ занятій, на которое вы жалуетесь, то я поручилъ моему другу, генералу Сантандеру, который (я надѣюсь) доставитъ вамъ это письмо,—постараться собрать удовлетворительныя доказательство ф а к т а — столько желательнаго для блага русской имперіи — и извѣстить меня объ этомъ».

---

[1]) Works X, 542—543.

[2]) Корфъ, Жизнь Спер. II. 264 слѣд.

[3]) Оно явилось первоначально въ Pamphleteer, № 24. 1823; Works, II. 269 слѣд.

Разсказавъ потомъ нѣсколько подробностей о самомъ Сантандерѣ, Бентамъ продолжаетъ въ томъ же шуточно-насмѣшливомъ тонѣ, который мы уже видѣли:

«Что касается цѣли Сантандера въ посѣщеніи вашей столицы, то, сколько я могу понимать, въ ней нѣтъ ничего политическаго. Нашей Темзы, до сихъ поръ по крайней мѣрѣ, онъ не поджигалъ, или (я положительно думаю) даже не пробовалъ этого: и я не полагаю, чтобы Нева могла отъ него опасаться чего-нибудь. Будучи хорошо обезпеченъ (тиранъ не осмѣлился конфисковать его собственности), онъ намѣренъ, я полагаю, ни больше ни меньше, какъ развлечься наблюденіемъ общества, представляющаго такой контрастъ съ тѣмъ, къ которому онъ всего больше привыкъ, – и путешествовать до тѣхъ поръ, пока придетъ извѣстіе, что тиранъ-узурпаторъ (т. е. Боливаръ) раздѣлилъ участь Итурбиде, псевдо-императорской памяти» [1]).

Этимъ заканчиваются наши свѣдѣнія о русскихъ отношеніяхъ Бентама. Эти отношенія, какъ мы видѣли, не имѣли важныхъ, непосредственно-практическихъ результовъ, но тѣмъ не менѣе они не лишены своего любопытнаго историческаго значенія. Они бросаютъ свѣтъ на внутреннія, такъ сказать, интимныя обстоятельства русскаго общественнаго развитія, какъ образчикъ тѣхъ путей, какими проходила, въ отдѣльныхъ лучшихъ людяхъ, мысль объ общественныхъ улучшеніяхъ и реформахъ. Самое происхожденіе и судьба связей Бентама въ Россіи и его стремленіе служить Россіи своими кодификаціонными трудами отражали собой ходъ самого русскаго общества во время императора Александра: изъ приведенныхъ данныхъ можно видѣть, что мысль Бентама обратиться къ императору съ предложеніемъ своихъ трудовъ была, если не прямо вызвана, то сильно поддержана тѣмъ пріемомъ, какой встрѣтили въ образованнѣйшихъ людяхъ русскаго общества его труды, и живой его представитель, Дюмонъ; неудача его предложеній совпадаетъ съ священнымъ союзомъ, положившимъ основаніе реакціи европейской и русской. Этотъ поворотъ событій отразился и на мнѣніяхъ Бентама о русскихъ дѣлахъ: у него уже нѣтъ идеально-филантропическихъ порывовъ, какъ прежде, и въ письмахъ проглядываетъ шутливая насмѣшка, или желчное осужденіе. И то и другое не было конечно только дѣломъ личнаго раздраженія: и то и другое обра-

---

[1]) Works, XI, 33.

щалось на то, что совершенно противорѣчило всѣмъ понятіямъ Бентама, цѣлому порядку воззрѣній, котораго онъ былъ представителемъ. Наконецъ, въ тѣхъ идеяхъ, какія излагалъ Бентамъ въ своихъ предложеніяхъ императору Александру, мы съ интересомъ встрѣтимъ тѣ самыя стремленія, какія въ недавнее время одушевляли наше собственное общество. Идеи о гласномъ управленіи и законодательствѣ, о правахъ общественнаго мнѣнія и самостоятельной дѣятельности общества указывались Бентамомъ, какъ неизбѣжная потребность: она почувствовалась опять въ наше время, въ болѣе сильной степени, хотя все еще не понимается обществомъ въ ея истинномъ обширномъ смыслѣ. Прочитать письма Бентама не безполезно и въ наше время.

ВРЕМЕНА РЕАКЦІИ

(1820—1830).

(„Вѣстникъ Европы“ 1869, ноябрь и декабрь).

ВРЕМЕНА РЕАКЦІИ
(1820—1830).

Blätter aus der preussischen Geschichte, von K. A. Varnhagen von Ense. 5 Bde. Leipzig, 1868—1869.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Имя Фарнгагена фонъ-Энзе (1785—1858) очень популярно въ нѣмецкой литературѣ. При жизни, въ немъ цѣнили не только талантливаго писателя, но и живую лѣтопись нѣмецкой литературы и общественнаго движенія за первую половину столѣтія. Въ своей долгой и, въ началѣ, очень подвижной и разнообразной жизни, Фарнгагенъ видѣлъ много замѣчательныхъ людей и событій и изъ своего опыта вынесъ много впечатлѣній и воспоминаній. Послѣ его смерти, въ нѣмецкой литературѣ возбудили самый живой интересъ его переписка и многотомные дневники, часть которыхъ составляютъ и названные въ заглавіи «Листки изъ прусской исторіи». Почти день за день, въ теченіе своей долгой жизни Фарнгагенъ записывалъ видѣнное и слышанное; а онъ стоялъ близко къ центрамъ, съ одной стороны—правительственной дѣятельности, съ другой—литературной и общественной жизни Германіи: правдивый наблюдатель, онъ былъ безпристрастнымъ судьей событій; въ дневникѣ, веденномъ не для печати, онъ не скрывалъ того, что всего чаще скрываетъ печать, стоящая подъ оффиціальной опекой,—понятно, что для нѣмецкаго читателя дневники Фарнгагена, идущіе съ двадцатыхъ и до пятидесятыхъ годовъ, нерѣдко имѣли животрепещущій интересъ. Во многихъ случаяхъ, эти дневники любопытны и для русскаго читателя.

Прежде, чѣмъ перейти къ названной книгѣ, скажемъ нѣсколько словъ объ авторѣ. Фарнгагенъ можетъ служить довольно типическимъ представителемъ того поколѣнія, которое переносило въ новую жизнь традиціи восемнадцатаго вѣка, которое еще испытывало впечатлѣнія революціоннаго возбужденія и своимъ стремленіемъ къ общественной свободѣ сберегло элементы развитія, которымъ грозила такая опасность во времена европейской реакціи. Наиболѣе дѣятельная и энтузіастическая роль этого поколѣнія принадлежитъ періоду войнъ за освобожденіе, но потомъ она была болѣе пассивная: этимъ людямъ не было мѣста на общественной аренѣ, и ихъ стремленія главнымъ образомъ перешли въ литературу, сохранявшую ихъ идеалъ. Фарнгагенъ былъ родомъ изъ рейнскихъ провинцій; въ первые годы его молодости, проведенной въ сосѣдствѣ съ Франціей, отчасти въ Страсбургѣ, еще совершались послѣднія вспышки революціи. Отецъ его, по профессіи медикъ, человѣкъ съ большимъ образованіемъ въ характерѣ XVIII вѣка, горячо сочувствовалъ освободительному движенію, попалъ черезъ это въ число подозрительныхъ людей, подвергся изгнанію изъ своего Дюссельдорфа и поселился въ Гамбургѣ. Фарнгагенъ-сынъ очень рано испыталъ вліяніе этого бурнаго времени. Въ Гамбургѣ общество его отца состояло изъ людей одного съ нимъ образа мыслей; это были люди прочнаго закала, знавшіе практическую жизнь, свободные отъ предразсудковъ, но не потерявшіе идеаловъ вѣка «философіи»; ихъ вліяніе отразилось на умственномъ характерѣ Фарнгагена. Еще мальчикомъ, Фарнгагенъ восторгался Лафайетомъ, когда послѣдній пріѣхалъ въ Гамбургъ въ 1797 году. Образованіе его шло своимъ чередомъ; онъ быстро усвоилъ обычныя школьныя знанія и, предназначенный отцомъ къ той же медицинской карьерѣ, онъ уже съ двѣнадцати лѣтъ сталъ заниматься анатоміей, и въ то же время читалъ латинскихъ классиковъ и писалъ стихи. По смерти отца (1799), онъ поступилъ въ медицинскую школу въ Берлинѣ, но занятія медициной не помѣшали ему сдѣлаться пламеннымъ послѣдователемъ Канта, философія котораго производила тогда сильное умственное, и едва ли не болѣе—нравственное, дѣйствіе на молодые умы. Перессорившись съ властями, Фарнгагенъ оставилъ свою школу и занялъ мѣсто домашняго учителя въ одномъ богатомъ семействѣ и отдался своимъ литературнымъ вкусамъ, которымъ его обстановка очень благопріятствовала. Въ молодомъ кружкѣ, который здѣсь обра-

зовался, господствовали романтико-философскія тенденціи времени: философія Канта, а потомъ Фихте, романтическая поэзія и критика поглощали ихъ интересы; «Вильгельмъ Мейстеръ» былъ настольной книгой; жизнь понималась какъ художественная задача, и фантазія находила исходъ въ стихотворствѣ. Уже съ этого времени, съ первыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія, начинаются личныя связи Фарнгагена со многими изъ главныхъ представителей тогдашней литературы. Вмѣстѣ съ Шамиссо, онъ издалъ уже въ 1804 г., по тогдашней модѣ, альманахъ, въ которомъ принялъ участіе и Фихте. Но Фарнгагенъ чувствовалъ, однако, что ему не достаетъ еще многаго для серьезности образованія; онъ сталъ учиться по-гречески и въ 1805 г. поступилъ въ университетъ въ Галле. Онъ еще прежде познакомился съ Клейстомъ, оріенталистомъ Клапротомъ, у котораго учился попередски, съ философомъ Якоби; въ Галле онъ видѣлъ и зналъ Штрауса, Людвига Берне, Карла Раумера, Ахима Арнима, Фуке; въ университетѣ его особенно привлекали Стефенсъ, Шлейермахеръ и знаменитый филологъ Ф. А. Вольфъ. Такимъ образомъ онъ стоялъ въ самомъ разгарѣ тогдашняго умственнаго движенія, видѣлъ близко людей, въ которыхъ выразилось и готовилось столько разнообразныхъ стремленій. Наполеоновское нашествіе и сраженіе при Іенѣ прервали эту оживленную академическую дѣятельность. Галльскій университетъ закрылся и лучшіе его представители переселились въ Берлинъ, куда переѣхалъ и Фарнгагенъ. Политическія событія дали ему первый сильный толчекъ; открывши передъ нимъ несостоятельность стараго нѣмецкаго порядка вещей, онѣ положили основаніе его позднѣйшимъ политическимъ мнѣніямъ. Онъ продолжалъ въ Берлинѣ свои научныя и литературныя занятія, и въ 1808 г. отправился оканчивать свой университетскій курсъ въ Тюбингенъ. Между тѣмъ готовилась австрійская война съ Наполеономъ (1809 г.). Казалось, Австрія готовила обширное народное возстаніе, и когда было дано сраженіе при Асперне, Фарнгагенъ бросилъ Тюбингенъ и отправился въ австрійскую армію. Принятый въ службу прапорщикомъ, онъ въ первой встрѣчѣ съ французами вызвался въ числѣ охотниковъ впередъ, былъ раненъ и потомъ въ гошпиталѣ былъ захваченъ французами, которымъ онъ понадобился какъ переводчикъ. Размѣненный во время перемирія, онъ жилъ въ Вѣнѣ, гдѣ, между прочимъ, пріобрѣлъ знакомства въ высшемъ вѣнскомъ кругу; затѣмъ онъ отпра-

вился къ своему полку въ Венгрію, гдѣ ему удалось смѣло и счастливо примѣнить свои медицинскія свѣдѣнія и спасти жизнь своему полковнику, графу Бентгейму, который вслѣдствіе того сталъ его другомъ и покровителемъ въ свѣтѣ. Вмѣстѣ съ нимъ Фарнгагенъ отправился въ 1810 г. въ Парижъ; здѣсь, несмотря на свой маленькій военный чинъ, онъ вращался въ высшемъ кругу и познакомился со многими замѣчательными людьми той эпохи, между прочимъ, съ Меттернихомъ. Но главнѣйшей достопримѣчательностью Парижа былъ для него «парижскій пустынникъ», нѣмецкій графъ Шлабрендорфъ, — нѣкогда товарищъ и другъ Штейна, аристократъ по рожденію, демократъ и республиканецъ по убѣжденіямъ, циникъ въ жизни и искренній филантропъ. Для Фарнгагена онъ сталъ предметомъ теплой привязанности и былъ его оракуломъ въ смутныхъ политическихъ вопросахъ времени.

Воротившись въ Германію, онъ имѣлъ случай пріобрѣсти знакомство Штейна, въ которомъ сосредоточивалась тогда вся нѣмецкая ненависть къ Наполеону и французскому господству. Бывшій министръ жилъ тогда, въ своей невольной отставкѣ, въ Прагѣ; по словамъ Фарнгагена, Штейнъ, которому онъ признался въ своемъ невѣжествѣ въ государственныхъ наукахъ, читалъ ему формальныя лекціи о государственномъ хозяйствѣ. Между тѣмъ собиралась гроза 1812 года. Фарнгагенъ оставилъ австрійскую службу, предвидя, что ему пришлось бы служить Наполеону. Нѣмецкіе патріоты отправлялись въ Россію, туда отправились Штейнъ и Арндтъ; Теттенборнъ, Валльмоденъ, Пфуль, Клаузевицъ вступили въ русскую армію. Фарнгагенъ рѣшился служить въ Пруссіи и остался въ ожиданіи событій въ Берлинѣ, и когда война перешла на нѣмецкую почву, Фарнгагенъ вступилъ въ отрядъ Теттенборна. Онъ раздѣлялъ съ тѣхъ поръ всѣ походы знаменитаго партизана съ его казаками, въ Германіи и во Франціи; онъ сталъ тогда же и историкомъ этихъ походовъ. Въ 1814 г. онъ былъ въ Парижѣ свидѣтелемъ первой реставраціи. Въ слѣдующемъ году онъ былъ опять въ Парижѣ, состоя при Гарденбергѣ; онъ снова посѣщалъ Шлабрендорфа и поучался у него общественно-политической мудрости; въ обществѣ г-жи Сталь онъ видѣлъ императора Александра.

Между тѣмъ расположеніе Гарденберга къ нему измѣнилось, и въ 1816 г. Фарнгагена назначили прусскимъ резидентомъ въ

баденскомъ герцогствѣ. Здѣсь онъ опять встрѣтился съ своимъ Теттенборномъ, познакомился съ Ростопчинымъ, любопытную характеристику котораго оставилъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ». По своему военному поприщу, пройденному съ честью въ патріотическую войну, по своей дальнѣйшей оффиціальной дѣятельности, наконецъ, какъ рано замѣченный талантливый писатель и публицистъ, Фарнгагенъ вообще уже съ этого времени имѣлъ множество знакомствъ и связей и обширную почву для наблюденій какъ въ политической жизни, такъ и въ литературѣ.

Въ 1814 году, онъ вступилъ въ бракъ съ знаменитой въ то время женщиной, Рахелью Левинъ. Она не была писательницей; только послѣ ея смерти издана была переписка съ многочисленными друзьями; но она играла замѣтную роль въ литературной жизни того времени, какъ женщина съ замѣчательнымъ умомъ, блестящимъ и оригинальнымъ. Рахель была лѣтъ на пятнадцать старѣе Фарнгагена, но ея умъ и дарованія давали ей сильную привлекательность; между ея многочисленными друзьями и почитателями были и лучшіе представители нѣмецкой науки и литературы, одинаково изъ старыхъ и новыхъ поколѣній, назовемъ напр. Гумбольдта и Гейне.

Такъ обставлена была жизнь Фарнгагена. Между тѣмъ произошелъ Вартбургскій праздникъ, на которомъ нѣмецкое студенчество праздновало годовщину реформаціи, а потомъ устроило, въ сущности шутливое, ауто-да-фе реакціонныхъ и обскурантныхъ книгъ. Это сочтено было за опасную политическую демонстрацію. Затѣмъ вскорѣ послѣдовало убійство Коцебу, и реакція, которая до тѣхъ поръ не находила достаточнаго предлога, развернулась теперь вполнѣ и пустила въ ходъ всѣ средства, какія могла придумать, для подавленія либеральнаго духа и предполагавшихся революцій. Карльсбадскія конференціи постановили цѣлый рядъ репрессивныхъ мѣръ противъ университетовъ, ввели цензуру для обузданія литературы, и «центральная слѣдственная коммиссія», устроенная въ Майнцѣ по поводу дѣла Занда, принялась разыскивать по всей Германіи такъ-называемые «демагогическіе происки» (demagogische Umtriebe), хотя слѣдствіе на первыхъ же порахъ должно было придти къ убѣжденію, что дѣло Занда было фактомъ совершенно исключительнымъ. Преслѣдованіе «происковъ» и тайныхъ обществъ стало наконецъ преслѣдованіемъ цѣлаго «духа времени», въ которомъ реакци-

ненавистно было все движеніе умовъ, стремившееся къ общественному освобожденію. Люди, съ энтузіазмомъ дѣйствовавшіе во время войнъ за освобожденіе, люди, оказавшіе тогда существенную услугу національному дѣлу, передъ которымъ тогда правительства оказывались безсильны, теперь становились подозрительными, попадали подъ слѣдствія; тюрьмы переполнялись молодежью, единственная вина которой была въ обыкновенномъ юношескомъ увлеченіи благородно-фантастическими идеалами. Это преслѣдованіе коснулось отчасти и Фарнгагена; правда, противъ него не оказывалось обвиненій, но его образъ мыслей былъ болѣе или менѣе неодобрителенъ съ реакціонной точки зрѣнія, и его хотѣли удалить почетнымъ образомъ, назначивъ его резидентомъ въ Сѣв.-Американскіе Штаты. Но онъ предпочелъ отказаться и остался въ Берлинѣ. Впослѣдствіи онъ мало-помалу опять началъ свои служебныя занятія у Бернсторфа, по иностранному министерству.

На этомъ пунктѣ, на реакціи со времени Карльсбадскихъ конференцій, начинается изданная теперь часть дневника Фарнгагена. Эти пять томовъ обнимаютъ десять лѣтъ, 1820—1830.

Дальнѣйшая біографія Фарнгагена не представляетъ внѣшней занимательности. До конца жизни онъ прожилъ въ Берлинѣ, за исключеніемъ нѣсколькихъ небольшихъ путешествій, отдавая свое время главнымъ образомъ литературѣ. Какъ писатель, онъ уже съ перваго вступленія на литературное поприще обратилъ на себя вниманіе своими историческими разсказами и публицистическими статьями. Онъ писалъ много: эти были критическія и политическія статьи, разсказы, историческія монографіи, стихотворенія, но главную извѣстность доставили ему мастерскіе историческіе очерки и біографіи. Его «Воспоминанія» (Denkwürdigkeiten), гдѣ онъ разсказываетъ о событіяхъ, которыхъ былъ свидѣтелемъ или и дѣйствующимъ лицомъ, до сихъ поръ полны интереса, несмотря на огромную литературу объ этихъ временахъ. Такъ, въ томъ отдѣлѣ «Воспоминаній», который относится къ десятымъ и двадцатымъ годамъ, передъ читателемъ проходятъ мастерскія картины событій и общественной жизни этого времени—партизанскія похожденія Теттенборна, парижская жизнь 1814—1815 годовъ, Вѣнскій конгрессъ, замѣчательныя личности эпохи: Александръ, Наполеонъ, Меттернихъ, Штейнъ, Генцъ, Шлабрендорфъ, Ростопчинъ, и т. д. Мѣткая наблюдательность, большое искусство изложенія даютъ разсказамъ

Фарнгагена занимательность романа. Его жизнеописанія, въ особенности замѣчательныхъ военныхъ людей Пруссіи—Блюхера, Бюлова, Кейта, Шверина—считаются классическими произведеніями біографіи.

Нѣсколько томиковъ «Воспоминаній» издано было еще въ тридцатыхъ годахъ; но только послѣ его смерти стали появляться въ печати разныя части его дневника. Первое появленіе этого «Дневника» (Tagebücher), издаваемаго его племянницей Людмилой Асингъ и дошедшаго теперь до 1854 года (11-й томъ), подняло противъ издательницы цѣлую бурю. Въ дневникѣ Фарнгагенъ конечно высказывался прямо и заносилъ въ него много вещей, о которыхъ многіе (и въ томъ числѣ правительство) желали бы, чтобы вовсе не говорилось или говорилось совсѣмъ иначе. Г-жѣ Асингъ сдѣлали процессъ и, кажется, приговорили ее къ тюремному заключенію; она предпочла уѣхать изъ Берлина и поселилась во Флоренціи,—захвативъ съ собою матеріалы. Они продолжаютъ выходить въ Лейпцигѣ, въ изданіи Брокгауза.

«Листки», изданные теперь, составляютъ, какъ мы сказали, часть (начало) этого дневника за 1820—1830 годы, классическій періодъ реакціи. Въ предисловіи издательница слѣдующимъ образомъ характеризуетъ это время, представляющее такой странный контрастъ съ нравами современной политической жизни свободныхъ европейскихъ государствъ.

«Подавленная произволомъ, стѣсненная полицейскими стѣнами жизнь тогдашней прусской націи влачилась вяло и повсюду встрѣчала препятствія. Намъ кажется теперь точно сказкой—какъ все тогда было не позволеннымъ, все запрещалось, все подлежало наказанію, все было страшно. Какъ будто миѳическими существами являются передъ нами цензоры, герои тогдашняго полицейскаго государства, повелители порабощенной печати. Книги, сочиненія цѣлые мѣсяцы, даже цѣлые годы остаются въ ихъ когтяхъ; тысячи статей безжалостно уничтожаются ихъ ножницами, точно суда, которыя разбиваются о скалы бурнаго моря! И никакого телеграфа, который бы приносилъ свѣжія извѣстія изъ-за границы, никакой желѣзной дороги, которая быстро сближала бы людей. Только одни тихія, пустынныя почтовыя дороги, украшаемыя паспортными и таможенными привязками, и гдѣ самое быстрое сообщеніе составляютъ курьеры, которые секретно перевозятъ правительствамъ ихъ эстафеты. «Какія извѣстія они привезли? Что случилось?» спрашиваетъ публика въ лихорадочномъ воз-

бужденіи. Но увы! когда наконецъ новости, послѣ долгой проволочки, являются, съ разрѣшенія высшихъ сферъ, въ газетахъ, то въ лучшемъ случаѣ, онѣ уже устарѣли, а обыкновенно—невѣрны! Изуродовать истину гораздо легче, когда нѣтъ ни свободной печати, ни телеграфа, которые бы безпощадно обличили обманъ; и потому дипломатія, всегда великая въ этомъ ремеслѣ—хотя часто только въ этомъ—безпрепятственно занимается имъ. Такимъ образомъ ложь принимаетъ громадные размѣры, но духъ времени все-таки не даетъ подчинить себя, и озабоченная дѣятельность дипломатическихъ и полицейскихъ душъ пропадаетъ задаромъ. Чего не узнаютъ черезъ публичность, то узнаютъ наконецъ частнымъ путемъ, и шопотомъ передаютъ другъ другу. Порядочные люди въ странѣ принимаютъ участіе въ преслѣдуемыхъ патріотахъ, въ студентахъ, засаженныхъ въ тюрьмы за такъ-называемые «происки»; они съ теплой симпатіей, доходящей до пламеннаго одушевленія, смотрятъ на метеоры, которые вспыхиваютъ въ другихъ странахъ: на свободныя движенія неаполитанцевъ, грековъ, испанцевъ и португальцевъ. Между тѣмъ правительство дрожитъ предъ горящими искрами, которыя заносятся оттуда и грозятъ произвести пожаръ во всемъ его зданіи; у него всегда столько же страха, сколько и власти. Наконецъ, наконецъ являются предостерегающіе признаки изъ Франціи! Правительство Карла X, все болѣе и болѣе враждебное свободѣ и приводящее въ восторгъ прусскихъ ультра (т. е. ультра-консерваторовъ), заставляетъ люцей благоразумныхъ и образованныхъ предвидѣть предстоящій кризисъ: Фарнгагенъ уже задолго впередъ пророчитъ новое возстаніе французовъ за свободу и предвѣщаетъ, что Бурбонамъ опять скоро придется «отправиться въ дорогу». И въ самомъ дѣлѣ, въ Парижѣ вдругъ, какъ великолѣпный фейерверкъ, вспыхиваетъ іюльская революція, и съ ней начинается новое время. Это великое событіе драматически завершаетъ настоящіе «Листки».

«Но возвратимся къ прусскимъ внутреннимъ отношеніямъ. Среди искусственнаго, насильственнаго спокойствія берлинской жизни большое мѣсто занимаетъ дворъ и окружающая его суматоха дипломатическаго, чиновничьяго и аристократическаго общества. Мы видимъ наивнаго короля, съ чертами добродушія и даже сердечности, которыя иногда возбуждаютъ къ нему народную любовь, но не имѣющаго достаточно проницательности, чтобы быть въ состояніи понять требованія духа времени. Его

исключительно занимаютъ два любимые предмета: новая литургія, которую онъ старается ввести во что бы то ни стало, и его танцовщицы, которыя, однако, должны быть добродѣтельныя танцовщицы. Такимъ образомъ, занятый постоянно церковью и балетомъ, и развѣ еще смотрами и парадами, пѣніемъ Генріетты Зонтагъ и операми Спонтини и бюргерскими драмами и комедіями—потому что онъ терпѣть не можетъ высокую трагедію—онъ ведетъ существованіе, которое, въ сравненіи съ образомъ жизни другихъ корованныхъ особъ, все-таки надо назвать невиннымъ. Само собою разумѣется, что у него нѣтъ ни силы, ни желанія дать новое направленіе прусской государственной машинѣ; эту машину онъ предоставляетъ людямъ какъ Витгенштейнъ, Шукманъ, Кампцъ, Альтенштейнъ, Ансильонъ и пр. и пр. Мы близко знакомимся здѣсь со всѣми этими государственными людьми, этими рыцарями печальнаго образа; но знакомимся также и съ умственной жизнью Берлина, которая подлѣ жизни двора постоянно заявляетъ свое побѣдоносное значеніе: здѣсь являются Александръ Гумбольдтъ, Шлейермахеръ, Эдуардъ Гансъ»...

Таково время, описываемое въ дневникѣ Фарнгагена. Строго говоря, контрастъ, изображаемый г-жей Асингъ, контрастъ между старымъ и новымъ временемъ, быть можетъ, не такъ великъ, какъ она представляетъ, и сама Пруссія, при телеграфахъ и желѣзныхъ дорогахъ, немного лѣтъ тому назадъ, еще испытывала нѣчто, не совсѣмъ не похожее на эту реакціонную эпоху,—нѣчто подобное на собственномъ опытѣ видѣла и г-жа Асингъ,—но контрастъ во всякомъ случаѣ поразительный, потому что въ описываемую Фарнгагеномъ эпоху реакція была въ полномъ своемъ разгарѣ и при тогдашнихъ условіяхъ могла заглушать жизнь до такой степени, въ какой это было бы совершенно невозможно теперь. Это было время реакціонное по преимуществу, время, когда реакція возведена была въ перлъ созданія, въ правильную, строгую систему, которая и водворилась въ государствахъ Священнаго Союза. Въ дневникѣ Фарнгагена мы, конечно, не найдемъ послѣдовательной исторіи этой системы; форма дневника даетъ только отрывочныя замѣтки; но если бы кто вздумалъ написать такую послѣдовательную исторію реакціи, тотъ нашелъ бы у Фарнгагена множество характеристичныхъ подробностей, которыя раскрываютъ физіологическія свойства реакціи, какъ системы, какъ того патологическаго состоянія госу-

дарственной жизни, когда правители думаютъ, что спасеніе государства состоитъ въ строгомъ охраненіи стараго, въ молчаніи и неподвижности общества или въ понятномъ его движеніи.

Корень реакціи десятыхъ и двадцатыхъ годовъ лежалъ очень глубоко—въ тѣхъ старыхъ традиціонныхъ учрежденіяхъ и правахъ, которыми издавна жило общество и въ которыхъ воспитались привычки и притязанія господствующихъ классовъ. Когда событія вывели жизнь изъ колеи, когда поставленъ былъ вопросъ національнаго существованія, эти привычки и притязанія на минуту скрылись; отчасти страхъ, отчасти и побужденія искренняго великодушія и патріотизма заставили господствующіе классы допустить въ жизни другіе элементы, и лучшимъ людямъ Германіи казалось, что стремленія къ свободѣ, пробудившіяся въ націи, получили свое право въ народномъ движеніи 1813—1815 годовъ за освобожденіе отъ ига. Въ 1815 году, король Фридрихъ-Вильгельмъ III самъ заговорилъ о конституціи, которую хотѣлъ дать Пруссіи; «союзный актъ» въ одномъ изъ своихъ пунктовъ (13) положительно обѣщалъ нѣмецкимъ государствамъ конституціонное устройство, и населенія этихъ государствъ находились, во время вѣнскаго конгресса, въ пріятномъ ожиданіи будущаго. За исключеніемъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ случаевъ, въ родѣ конституціи Вюртемберга, этимъ ожиданіямъ, однако, не суждено было оправдаться. Онѣ не оправдались и въ Пруссіи. Въ томъ же 1815 году, когда надежды были всего живѣе, появляются предвѣстники реакціи—въ добровольной услужливости доносчиковъ и обскурантовъ, которые обвиняли патріотическое движеніе въ покушеніи на власть государей и на цѣлость государствъ. Такъ, Янке доносилъ на «нѣмецкій союзъ», который замѣнилъ собою «Тугенбундъ», закрытый прусскимъ королемъ въ 1810 г., въ угоду французамъ, и который стремился дѣйствовать для уничтоженія французскаго ига. Такъ, тайный совѣтникъ Шмальцъ издалъ брошюру, въ которой заподозривалъ эти патріотическіе союзы въ наклонности подорвать вѣрность государямъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ утверждалъ, что національное возстаніе 1813 года (возстаніе, сдѣланное самой націей, когда нѣмецкіе государи растерялись, и дѣйствительно спасшее Германію) было только дѣломъ простого послушанія, что нація только исполнила приказъ и ничего больше: такимъ образомъ онъ старался отвергнуть то нравственное право, которое нація, по ея мнѣнію, пріобрѣла

своимъ самопожертвованіемъ и на которомъ она основывала свои надежды. Шмальцъ ревностно возставалъ противъ конституціонныхъ стремленій, и тотъ же король, который самъ обѣщалъ конституцію, наградилъ Шмальца орденомъ и печати запрещено было говорить противъ него; ясно, что реакціонныя идеи Шмальца лучше отвѣчали настоящимъ, коренныыъ мыслямъ короля, у котораго получалъ уже большую силу представитель стараго аристократическо-абсолютнаго порядка вещей, князь Витгенштейнъ,— гражданское и государственное воспитаніе котораго сдѣлано было въ кругу извѣстной графини Лихтенау, фаворитки предыдущаго царствованія. Для людей, какъ Витгенштейнъ, вопросъ шелъ просто о сохраненіи привилегій, о правѣ аристократіи,—подъ защитой королевской власти, которой она будто бы была главнѣйшей и важнѣйшей опорой,—безконтрольно и самоуправно господствовать надъ остальными классами общества, и этой партіи не трудно было убѣждать власть—мало понимавшую настоящее положеніе вещей—что всякое стремленіе общества къ самоуправленію есть подкопъ подъ цѣлость государства и достоинство монархіи; король не думалъ о томъ, что цѣлость государства была бы въ большей безопасности, еслибы граждане были равноправны передъ закономъ и находили въ немъ защиту своихъ общественныхъ интересовъ, и что достоинство монархіи было бы лучше соблюдено, еслибы эти граждане не страдали отъ аристократическаго и полицейскаго кулачнаго права. Фридрихъ-Вильгельмъ скоро отказался отъ минутнаго великодушія, и мы увидимъ въ запискахъ Фарнгагена, какъ онъ потомъ давалъ полную свободу дѣйствовать полицейскому самоуправству Шукмана, Кампца и т. п. На помощь реакціи явилась и педантская или лицемѣрная наука: знаменитый представитель историко-юридической школы, Савиньи, высказался противъ новыхъ стремленій къ государственно-юридическому преобразованію нѣмецкой общественной жизни по той причинѣ, что развитіе права должно совершиться на *исторической* почвѣ, т. е. на тѣхъ старыхъ основаніяхъ, которыя собственно и нуждались въ измѣненіи. Это ученіе исторической школы, по словамъ Гервинуса, считало исторіей только старую исторію и за настоящимъ не признавало создающей роли въ области права; этимъ оно давало мнимое освященіе науки лѣнивому консерватизму и потому съ любовью встрѣчалось каждымъ правительствомъ, которому пріятенъ былъ всякій предлогъ для бездѣйствія. Это вліяніе Савиньи отразилось

извѣстнымъ образомъ и въ исторіи новѣйшаго русскаго законодательства. Въ смыслѣ историческаго консерватизма возсталъ противъ конституціонныхъ учрежденій извѣстный прусскій публицистъ и государственный человѣкъ — Ансильонъ, и т. д.

Такимъ образомъ, реакціонное движеніе находило себѣ большую опору не только въ старыхъ привычкахъ самой монархіи, но и въ общественныхъ элементахъ. Когда реакція Священнаго Союза окончательно вышла наружу изъ-за своихъ первыхъ либеральныхъ заявленій, Священный Союзъ считался у современниковъ союзомъ царей противъ народовъ; но въ сущности это былъ союзъ ихъ съ отживающими, и потому упрямо державшимися за старину, элементами самого общества противъ новыхъ его элементовъ. Реакція была возможна потому, что само общество, давало ей подкладку: одни, аристократія и чиновничество, прямо защищали старину, какъ выгодную привилегію; другіе – бюргерство и народная масса были противъ нихъ безсильны, потому что гражданское ихъ развитіе было слишкомъ ничтожно. Масса общества, пламенно одушевившаяся въ 1813—15 годахъ противъ иноземнаго врага, имѣла во внутренней жизни еще слишкомъ платоническія воззрѣнія и полагала, что внутреннее освобожденіе, потребность котораго въ ней теперь почувствовалась, совершится само собой, безъ всякихъ дальнѣйшихъ хлопотъ самого общества. Поэтому, какъ только окончилась война, масса общества возвратилась къ старой, привычной неподвижности. Люди, вносившіе въ этотъ вопросъ больше сознанія, а особенно увлеченія, были слишкомъ малочисленны, и единственнымъ ихъ оружіемъ было благородное воодушевленіе: въ числѣ ихъ были лучшіе бойцы за освобожденіе — Блюхеръ, Гнейзенау (Шарнгорста уже не было въ живыхъ) и др.; здѣсь были также лучшіе люди литературы, и, наконецъ, это была восторженная молодежь, которая въ 1813 году покинула университеты и теперь снова возвратилась въ нихъ доканчивать прерванныя занятія. Первые, при всемъ честномъ пониманіи вещей, неспособны были на какую-нибудь оппозицію, потому что были усердные монархисты и не могли не повиноваться королю; ученые и писатели жили только въ кабинетныхъ отвлеченностяхъ и могли поставить противъ реакціи только логическія доказательства или горячія выраженія своихъ справедливыхъ требованій, — но ихъ стала запрещать цензура; университетская молодежь одна воображала, что можетъ дѣйствовать, и въ самомъ дѣлѣ, когда стало

совершенно ясно, что правительство не исполнитъ никогда 13-й статьи союзнаго акта, въ ней начало обнаруживаться политическое броженіе. Это броженіе выражалось въ сущности очень невиннымъ образомъ; общества, которыя они составляли, имѣли обыкновенно въ виду скромныя цѣли нравственнаго и гражданскаго совершенствованія и большей частью оставались положительно въ предѣлахъ закона. Довольно понятно, что когда реакція, столь несправедливо падавшая на общество, стала совершать свои подвиги, она должна была самымъ фатальнымъ образомъ подѣйствовать на умы наиболѣе экзальтированные. Тѣмъ не менѣе, самое строгое слѣдствіе, произведенное по дѣлу Занда, показало, что его замыселъ былъ совершенно одинокій и не имѣлъ никакой связи съ тенденціями студентскихъ обществъ. Но реакція, отчасти испуганная этимъ дѣломъ, обрадовалась, однако, этому случаю, который давалъ ей полное видимое основаніе для репрессалій. По всей Германіи началось нелѣпое преслѣдованіе «демагогическихъ происковъ», дошедшее наконецъ до нелѣпаго. Это преслѣдованіе, какъ нерѣдко бываетъ, само дѣйствовало возбуждающимъ образомъ: опасныхъ людей чѣмъ дальше, тѣмъ оказывалось больше; гоненіе стало считаться честью.... Странно сказать, но даже замѣчательнѣйшие люди тогдашней Германіи, люди, которымъ Пруссія обязана была самымъ серьезнымъ образомъ, наконецъ люди, стоявшіе выше всякаго подозрѣнія по своему извѣстному монархизму, какъ знаменитый баронъ Штейнъ, также попадали въ число подозрительныхъ. Конечно, полицейскіе обскуранты и реакціонеры побоялись тронуть его самого, но за то они привязались, напр., къ Арндту, который былъ къ нему очень близокъ въ 1812—1813 годахъ, и вообще ко многимъ изъ людей, игравшихъ роль въ патріотическомъ движеніи того времени. Главные полицейскіе инквизиторы по части «демагогическихъ происковъ», Шукманъ и Кампцъ, стали важными государственными людьми.

Какъ мы выше замѣтили, «Листки» Фарнгагена начинаются съ 1820 года, послѣ карльсбадскихъ конференцій, принявшихъ цѣлый рядъ репрессивныхъ мѣръ, и первые годы послѣ того дневникъ Фарнгагена очень часто возвращается къ этимъ дѣламъ. Нѣсколько подробностей дадутъ нѣкоторое понятіе о характерѣ общественной жизни въ Берлинѣ и вообще въ Германіи.

«Господинъ Кампцъ—пишетъ Фарнгагенъ въ 1821 году (23-го апрѣля)—сталъ нѣчто въ родѣ министра безъ портфеля, но съ

большимъ значеніемъ, чѣмъ иной нашъ министръ». Кампцъ имѣлъ особенныя причины негодовать на мнимыхъ революціонеровъ; онъ также былъ своего рода писатель, и студенты на Вартбургскомъ праздникѣ сожгли между прочимъ и его произведеніе. Оно называлось «Кодексъ жандармства» (Codex der Gens d'armerie). Понятно, какъ долженъ былъ въ тогдашнее время дѣйствовать писатель этого рода. Въ то время шло дѣло Арндта: это былъ пламенный нѣмецкій патріотъ, уже съ этого времени пріобрѣтавшій огромную популярность, которою онъ пользовался впослѣдствіи. Къ нему привязывались изъ-за нѣсколькихъ слишкомъ горячихъ выраженій его патріотизма, и эти придирки вызывали негодованіе въ публикѣ: «это—гуманное мучительство, мягкая инквизиція, и если теперь людей не пытаютъ, то тѣмъ постыднѣе пытаютъ понятія; въ дѣлѣ Арндта оказывается — со стороны слѣдователей — величайшая нечестность, самая пошлая хитрость» (апрѣля 1821). «Баронъ Штейнъ считается опаснымъ карбонаромъ, и Umtriebsriecher (люди, разнюхивающіе происки) очень хотѣли бы къ нему подобраться» (май 1821). Но если относительно Арндта, человѣка слишкомъ извѣстнаго въ Германіи, инквизиція была «мягкая» (она лишила его профессорской каѳедры и преслѣдовала мелкими полицейскими придирками), то для другихъ она была вовсе не мягкая: крѣпости Шпандау, Магдебургъ и особенно Кепеникъ были переполнены заговорщиками»,—по большей части самой юной молодежью. Аресты, крѣпостное содержаніе, допросы, тайная судебная процедура отличались всѣми свойствами полицейскаго деспотизма.

Конституціонныя идеи, само собою разумѣется, составляли теперь уже настоящее преступленіе; даже и скромныя провинціальныя и общинныя собранія считались «опаснѣйшей вещью», «поджогомъ къ революціи».

Въ 1822 году начались новыя преслѣдованія студентовъ; для людей разсудительныхъ и тогда уже было ясно, какъ унижаетъ себя правительство подобными занятіями, и Штейнъ высказалъ это въ письмѣ къ одному изъ прусскихъ реакціонеровъ: правительство, по словамъ его, дѣлаетъ себя смѣшнымъ, занимаясь этимъ вмѣсто своего настоящаго дѣла и поднимая тревогу по всей Германіи изъ-за нѣсколькихъ школьныхъ мальчиковъ и студентовъ.

Годъ спустя, дневникъ разсказываетъ, что прусская реакціонная партія добилась отъ короля повелѣнія (и теперь напоминала

о немъ), въ силу котораго не должно было принимать на службу никого, кто участвовалъ въ университетскихъ и другихъ тайныхъ обществахъ, между тѣмъ какъ въ самомъ каммергерихтѣ служило много людей, которые подходили подъ эту категорію.

Въ Касселѣ (августъ 1824) открылось, что директоръ полиціи самъ сочинялъ угрожающія письма, которыми пугалъ курфирста. Въ Берлинѣ говорили: «въ Касселѣ только завели дѣло немного далеко; а развѣ при другихъ дворахъ не дѣлается того же самаго? Развѣ Меттернихъ не также точно пугаетъ своего императора Франца, а оберъ-каммергеръ Витгенштейнъ—Фридриха Вильгельма?» и проч.

Въ 1824 году снова безпрестанныя университетскія исторіи. Прусскимъ подданнымъ запретили поступать въ университеты въ Базелѣ и Тюбингенѣ. Студенты, которыхъ исключали изъ университетовъ за ихъ убѣжденія, гордились этимъ и прабавляли къ своему имени какъ особенно лестный эпитетъ: studios. consiliat. («исключенный студентъ»).

«Отовсюду опять слухи о п р о и с к а х ъ—пишетъ Фарнгагенъ въ началѣ этого года (1824)—въ Неаполѣ, Пармѣ, Парижѣ, Ландсгутѣ, Вестфаліи, въ Галле—вездѣ новыя открытія, новыя слѣдствія... У Кампца хлопотъ полныя руки... Дѣлу придаютъ (въ полицейскомъ кругу) величайшую важность, в п е р е д ъ г о в о р я т ъ о несомнѣнной связи радикаловъ, карбонаровъ, либераловъ съ нашими Umtrieber». Люди проницательные замѣчали, что причина всего этого очень простая: въ этомъ году истекалъ пятилѣтній срокъ репрессивныхъ мѣръ, принятыхъ въ Карльсбадѣ временно; что надо продолжить эти мѣры, а для этого придумать и подготовить поводы. Дѣйствительно, въ сентябрѣ того же года карльсбадскія постановленія были возобновлены. Предложеніе объ этомъ на союзномъ сеймѣ сдѣлано было Австріей и принято было единогласно, съ слабымъ возраженіемъ вюртембергскаго посланника. Постановлено было опять продолжить на неопредѣленное время цензуру, принять новыя мѣры противъ университетовъ и другихъ учебныхъ заведеній. Фарнгагенъ разсказываетъ, что реакціонеры сильно жаловались на дурной духъ въ школахъ и на тайныя общества; но теперь оказалось изъ множества слѣдствій, что настоящимъ образомъ эти тайныя общества устроились уже послѣ 1819 года, т. е. послѣ карльсбадскихъ постановленій. «Изъ этого видно, къ чему послужили эти постановленія»,—замѣчали благоразумные люди, которые вообще съ

презрѣніемъ смотрѣли на эту политику правительства и не безъ основанія считали ее анти-національной, потому что для націи она была и вредна и постыдна. «Спрашиваютъ:—что же сталось съ данными прежде обѣщаніями, съ исполненіемъ 13-й статьи союзнаго акта, съ законодательствомъ о печати, съ публичностью результатовъ, полученныхъ майнцской комиссіей» и пр. Дѣло въ томъ, что при учрежденіи этой комиссіи, розыскивавшей по всей Германіи вредный духъ, обѣщано было, что результаты этой коммиссіи будутъ обнародованы, т. е. что общественное мнѣніе получитъ возможность убѣдиться само въ дѣйствительности тѣхъ опасностей, отъ которыхъ брались теперь предохранять общество заботливые полицейскіе инквизиторы. Но впослѣдствіи оказалось, что публиковать эти результаты не представлялось возможности; это значило бы компрометтировать самую коммиссію, потому что серьезнаго въ ея трудахъ ничего не было...

«Господинъ Кампцъ—записываетъ въ это самое время Фарнгагенъ,—разсказываетъ мнѣ, что теперь вполнѣ открыты высшія степени революціонныхъ обществъ и ихъ связь съ заграничными. Большая дѣятельность и болѣе правильный ходъ происковъ наступили только съ 1821 года. Дѣло зашло очень далеко, но такъ какъ теперь все оно видно, то и нѣтъ уже никакой опасности» и т. д. Черезъ нѣсколько дней мы находимъ въ дневникѣ слѣдующую замѣтку, изъ которой видно, что слухи, распускаемые полиціей, успѣшно пошли въ ходъ. «О проискахъ (техническій терминъ) говоритъ весь городъ, разсказываютъ самыя удивительныя вещи. Называютъ сотни людей какъ открытыхъ участниковъ, или полуоткрытыхъ подозрѣваемыхъ. Называютъ при этомъ самыя уважаемыя имена—короля вюртембергскаго, какъ главу всего, Гнейзенау, Грольмана (знаменитые прусскіе генералы временъ войны за освобожденіе), Гумбольдта, Савиньи(!!). Боятся, будто бы, дальше поднимать завѣсу».

Вотъ до какого пункта простирались вожделѣнія полицейской реакціи: рѣчь шла о людяхъ, извѣстныхъ всей Германіи, и конечно всего меньше годившихся въ заговорщики и революціонеры. Нельзя не вспомнить, что примѣръ такой же реакціонной наглости представляютъ наши обскуранты послѣднихъ годовъ царствованія императора: ему точно также указывали на ближайшихъ къ нему лицъ, какъ на первыхъ враговъ вѣры и престола, напр. на кн. Голицына; Магницкій, какъ извѣстно,

написалъ Александру доносъ на великаго князя Николая Павловича.

Въ концѣ 1824 года или въ началѣ 1825 прусскіе инквизиторы захватили, въ качествѣ заговорщика и революціоннаго эмиссара, извѣстнаго уже въ то время французскаго философа Кузена. Его арестовали, допрашивали (какъ послѣ оказалось, по требованіямъ Австріи), но допросъ не открылъ совершенно ничего такого, что было нужно допрашивавшимъ. Кузена должны были выпустить. Берлинское общество встрѣтило его самымъ гостепріимнымъ образомъ, и онъ, только-что выпущенный изъ-подъ ареста, сдѣлался моднымъ человѣкомъ. Сами слѣдователи, Шукманъ и Кампцъ, были съ нимъ крайне любезны и ухаживали за нимъ. Кузенъ давалъ Шукману совѣтъ, гдѣ искать опасности для государства, объясняя ему, что во Франціи уже нѣтъ якобинцевъ, которыхъ они ищутъ, что тамошніе либералы всего меньше хотятъ революцій, но что тамъ есть іезуиты, которые именно всего опаснѣе для государства. Шукманъ это выслушивалъ, и въ Берлинѣ многіе утѣшались, что это все-таки показываетъ мягкость правленія. Фарнгагенъ записалъ отвѣтъ на это извѣстнаго князя Козловскаго, о которомъ онъ вообще часто упоминаетъ въ своемъ дневникѣ, какъ о человѣкѣ замѣчательнаго, блестящаго ума. «Напротивъ,—говорилъ Козловскій—все это доказываетъ только, что вы живете въ деспотически-управляемой странѣ; въ Англіи не могло бы произойти ничего подобнаго, такая доброта показываетъ только отсутствіе справедливости; произволъ всегда дѣлаетъ слишкомъ много либо въ одну, либо въ другую сторону, и притомъ потому, что именно настоящаго онъ и не дѣлаетъ». Ему не могли противорѣчить, замѣчаетъ Фарнгагенъ.

Русскія событія 14-го декабря дали новую пищу толкамъ о «проискахъ». Мы упомянемъ дальше, какъ прусскіе реакціонеры по этому случаю снова заговорили о связи между заговорщиками во всѣхъ странахъ (это, какъ видимъ, тоже, что теперь называлось у насъ «всемірной революціей», «агенствомъ въ Тульчинѣ» и т. п.), и спеціально между революціонерами русскими и нѣмецкими. Замѣтимъ пока одинъ случай. «Оттерштедтъ (прусскій дипломатическій агентъ въ южной Германіи), съ своимъ обычнымъ азартомъ, самымъ ревностнымъ образомъ кричалъ о связи русскихъ происковъ съ нѣмецкими: онъ заходитъ такъ далеко, что смѣло говоритъ о заговорѣ противъ

жизни прусскаго короля! Этимъ люди пріобрѣтаютъ значеніе и благоволеніе!»

Въ январѣ 1827 г., Фарнгагенъ отмѣчаетъ въ дневникѣ любопытную мѣру австрійскаго правительства: по императорскому повелѣнію всѣ профессора и публичные преподаватели должны были назначаться только на три года, и по истеченіи этого срока должны были получать новое утвержденіе въ должности,—въ противномъ случаѣ должны были выходить въ отставку. Эта мѣра предназначена была дѣйствовать въ пользу монархическаго принципа.

Въ это время ожидали наконецъ закрытія майнцской коммиссіи,—Кампцъ былъ въ крайнемъ раздраженіи и употреблялъ всѣ средства со стороны Пруссіи для ея сохраненія [1]).

Особенной дѣятельностью во всемъ этомъ отличалась, конечно, Австрія. Фарнгагенъ сообщаетъ нѣсколько подробностей объ ея поджигательствахъ; прусскіе инквизиторы были въ сущности только ея послушными орудіями. Австрія всячески старалась запугать нѣмецкія правительства, а также и русское, и ей первой, кажется, принадлежитъ мысль о «всесвѣтной революціи», о связи революціонеровъ всѣхъ странъ и народовъ,—понятно, что этимъ она разсчитывала вовлечь всѣ правительства въ преслѣдованіе ненавистныхъ ей людей и понятій. Одинъ господинъ разсказывалъ Фарнгагену, что читалъ ноту, разосланную Австріей въ августѣ 1819 года ко многимъ нѣмецкимъ дворамъ по поводу открытія карбонарскихъ обществъ въ Италіи и ихъ связи съ нѣмецкими «происками». Въ этой нотѣ она особенно указывала на Пруссію, правительство которой казалось ей тогда не достаточно благоразумнымъ: «Пруссія изображалась въ этой нотѣ какъ страна, совершенно и почти безнадежно зараженная; всѣ чиновники въ ней революціонеры, и особенно подозрительнымъ приложенъ былъ списокъ».... Въ Берлинѣ были вообще увѣрены, что источникомъ реакціонныхъ поджигательствъ была именно Австрія. Въ мартѣ 1824 г., Фарнгагенъ записываетъ берлинскіе толки: «Всѣ эти дѣла о проискахъ опять заведены изъ Вѣны; князю Меттерниху, въ его положеніи, эти рычаги нужны, чтобъ не упасть; вѣритъ публика или нѣтъ въ эти государственныя опасности, это въ сущности все равно, лишь бы

[1]) См. Blätter, I, 290, 305; II, 120, 345; III, 15, 120, 126, 139, 239; IV, 24, 178, 180.

только этимъ можно было напугать государей и лишь бы они считали своими спасителями тѣхъ министровъ, которые все это открываютъ и разрушаютъ». Дѣло такъ и происходило: публика давно перестала вѣрить во все это, а государи были твердо въ этомъ увѣрены, и презрѣнныя ничтожества въ родѣ Шукмановъ, Кампцевъ и прочей обскурантной компаніи дѣлали, что хотѣли. «Публика очень равнодушна къ этимъ дѣламъ, продолжаетъ Фарнгагенъ; никто не вѣритъ въ серьезныя преступленія и важныя открытія; тѣмъ не менѣе господинъ Шукманъ съ большой бранью утверждалъ недавно, что заговоръ идетъ изъ Парижа, что Констанъ (Бенжаменъ), либералы, карбонары и пр., составляютъ одинъ и тотъ же союзъ, и что нашихъ молодыхъ людей увлекаютъ оттуда» [1]. Ему не приходило въ голову, что одного такого управленія было достаточно, чтобы возмущать общество и приводить молодежь къ неосторожнымъ словамъ и поступкамъ, которые потомъ эти господа выдавали за заговоры.

Какъ отражалось это въ общественной жизни? Понятно, что это государственно-сыскное направленіе правительства должно было дѣйствовать на общественную жизнь самымъ подавляющимъ и отупляющимъ образомъ. Въ этомъ смыслѣ дневникъ Фарнгагена доставляетъ опять любопытныя физіологическія замѣтки. Вліяніе реакціонныхъ карльсбадскихъ постановленій почувствовалось очень скоро. «Замѣчаютъ—пишетъ Фарнгагенъ въ концѣ 1820 года,—что со времени инквизиціоннаго давленія карльсбадскихъ постановленій, со времени «происковъ», цензуры и т. д. Берлинъ значительно потерялъ у м а и ж и з н и. Эти слова не лишены основанія: всякій остерегается, прячется и вмѣсто общественныхъ интересовъ отдается чисто эгоистическимъ; въ глазахъ нѣкоторыхъ людей обыкновенная гадость вдесятеро скорѣе заслужитъ снисхожденіе, чѣмъ свободная добродѣтель, направленіе которой возбуждаетъ страхъ». Фарнгагенъ не разъ потомъ повторяетъ такіе отзывы и жалобы. Берлинъ дѣйствительно поглупѣлъ; это бросалось въ глаза всѣмъ посторроннимъ, а часто и своимъ. Въ половинѣ слѣдующаго года въ дневникѣ читаемъ: «Теперь считаютъ фактомъ рѣшеннымъ, что у насъ дѣла всего хуже и мрачнѣе. Саксонія, Баварія, Вюртембергъ, Гессенъ смотрятъ на насъ съ состраданіемъ». Въ половинѣ 1823 года, Фарнгагенъ былъ въ Гамбургѣ и здѣсь

---

[1]) Blätter, II, 43; III 38, 45.

онъ также встрѣтилъ этотъ сострадательный взглядъ на прусское ничтожество. «Здѣсь смотрятъ на Пруссію равнодушно или съ насмѣшливой улыбкой, какъ на государство больное, изгрызенное страхомъ, ожесточеніемъ, тревогами, заблужденіемъ,— какъ на гнѣздо полиціи, цензуры, помѣшательства на проискахъ и шпіонства, какъ на послушнаго исполнителя австрійскихъ внушеній. Здѣсь съ улыбкой и неохотой освѣдомляются о нашихъ дѣлахъ, дивятся и не хотятъ вѣрить, чтобы у насъ могло еще дѣлаться что-нибудь либеральное». Въ концѣ 1825 года, Фарнгагенъ записываетъ: «На этихъ дняхъ сошлось насъ нѣсколько человѣкъ изъ разныхъ круговъ и разной дѣятельности, и мы должны были сознаться, что въ эту минуту ни одинъ изъ насъ не знаетъ ни малѣйшей нити какого-нибудь живого общественнаго интереса, которая проходила бы въ берлинской жизни, которая бы возбуждала и затрагивала—рѣшительно никакой, даже къ театру, который обыкновенно все-таки выручаетъ. Политика касается насъ только какъ studium; дворъ безжизненъ и скученъ; искусство—не особенно важно; внутреннія дѣла идутъ черезъ пень въ колоду; личной симпатіи—никакой, или никакого предмета для нея; литература слаба...; таково положеніе вещей [1])».

Такого результата достигли заботы реакціи: спасая государство отъ небывалыхъ опасностей, она убивала внутреннюю жизнь общества, а, вслѣдствіе того, само государство теряло уваженіе, и вмѣстѣ съ нимъ теряло и политическое значеніе.

Но при всѣхъ своихъ усиліяхъ реакціонная политика нисколько не достигла своихъ цѣлей, она не остановила «духа времени», т. е. развитія общественнаго мнѣнія и политическаго сознанія. Либеральныя идеи развивались и въ подцензурномъ молчаніи неудержимо; печать подвергалась самымъ мелочнымъ придиркамъ, но несмотря на то, когда она получила возможность говорить, оказалось, что въ понятіяхъ сдѣланъ былъ огромный шагъ. Реакція всячески давила демократическія идеи,—поощряла сословную спѣсь аристократіи, но въ концѣ концовъ демократизмъ только развился и усилился. «Юнкерство» господствовало теперь съ полной силой; пренебреженіе къ бюргерству доходило до открытыхъ насилій, которыя балованные Adelige позволяли себѣ надъ горожанами; правительство смотрѣло очень снисхо-

---

[1]) Blätter, I, 207, 339; II, 374; III, 400.

дительно на ихъ подвиги и старательно заминало подобныя исторіи, когда онѣ производили явный скандалъ,—но въ результатѣ получалось еще большее раздраженіе противъ юнкерства, тѣмъ болѣе, что фактически уже становилось замѣтно общественное преобладаніе промышленнаго средняго класса. Мало-по-малу въ обществѣ заговорили стремленія къ политическому освобожденію, которыя наконецъ стали высказываться явно.

На первое время обскурантамъ реакціи удалось, кажется, нѣсколько испугать общество, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые слои его. Въ концѣ 1821 г., Фарнгагенъ пишетъ: «Въ разныхъ кругахъ все больше и больше говорятъ объ опасныхъ движеніяхъ нашего времени, о великомъ кризисѣ Европы, объ огнѣ, который грозитъ пожрать все нынѣ существующее, чтобы очистить мѣсто для новаго. Погибель государствъ и правительствъ есть весьма обыкновенная мысль: вездѣ ожидаютъ революціи и охотно желали бы къ ней приготовиться, чтобы въ общей опасности пріобрѣсть какую-нибудь возможность безопасности». Но если въ однихъ кругахъ былъ этотъ страхъ нѣкоторое время, то вообще тогдашній порядокъ вещей не замедлилъ произвести недовольство. Уже въ 1823 году, Фарнгагенъ замѣчаетъ, что въ обществѣ «распространилось много глухой оппозиціи, много либеральныхъ понятій, которыя ждутъ только удобной минуты, чтобы обнаружиться: ими наполнены всѣ сословія». Разногласіе общества съ правительствомъ становится все замѣтнѣе. Напр., въ это самое время король, напротивъ, думалъ, что «всѣ конституціи — одно зло, даже самое слово конституція должно быть предано забвенію»; въ это время подтверждалась упомянутая мѣра — не принимать на службу людей, заподозрѣнныхъ въ либерализмѣ, — мѣра, о которой, по словамъ Фарнгагена, говорили въ публикѣ «со смѣхомъ или съ отвращеніемъ».

Въ 1824 г., какъ мы упоминали, дѣйствіе карльсбадскихъ постановленій было опять возобновлено, но реакціонная политика уже теряла всякій кредитъ. Даже въ кругу тогдашней высшей администраціи было мнѣніе, что скоро долженъ будетъ произойти поворотъ къ новому порядку вещей, потому что настоящій дѣлается невозможенъ. Въ половинѣ 1825 года, Фарнгагенъ замѣчаетъ, что «въ обыкновенныхъ разговорахъ либерализмъ беретъ рѣшительный перевѣсъ, что ультра-консерватизмъ можетъ показываться не иначе, какъ въ полной своей силѣ», т. е., что онъ

потерялъ всякое уваженіе и возбуждалъ страхъ только своими матеріальными насиліями, на которыя держалъ въ рукахъ средства. Въ обществѣ уже ясно понималось «возвышеніе промышленности и упадокъ дворянства, какъ явленія одновременныя и связанныя одно съ другимъ»; объ этомъ, по словамъ Фарнгагена, «каждый день приходится слышать мѣткія замѣчанія [1])».

Около 1825 года, сила реакціи вообще начинаетъ упадать; она успѣла компрометтировать себя въ глазахъ честныхъ людей своими глупыми преслѣдованіями,—вниманіе общества серьезнѣе, чѣмъ когда-нибудь прежде, начинаетъ обращаться на правительственныя дѣйствія и съ участіемъ слѣдить за тѣмъ, что дѣлалось въ другихъ государствахъ. Дневникъ Фарнгагена есть отличное отраженіе части общества, наиболѣе образованной, и мы видимъ въ немъ, какъ мало-по-малу выростали интересы этого рода — интересъ къ развитію общественной свободы у другихъ — и презрѣніе къ жалкому обскурантизму дома. Фарнгагенъ записываетъ извѣстія о дѣятельности конституціонныхъ собраній въ другихъ государствахъ—нидерландскаго сейма, англійскаго парламента, французскихъ палатъ, венгерскаго сейма. Берлинцамъ бросалось въ глаза это движеніе представительной системы, которое они видѣли вездѣ. «Вы увидите—записываетъ онъ чьи-то слова, сказанныя въ разговорѣ объ этихъ предметахъ,— вы увидите, къ этому привыкаютъ мало-по малу, и дѣло дойдетъ до того, что монархъ будетъ считать столько же невозможнымъ оставаться безъ палатъ, какъ теперь безъ гвардіи».

Чужая публичность и свобода печати стали касаться и подробностей прусской жизни, и берлинцы съ удовольствіемъ видѣли, какъ французскія газеты выводили на сцену господина Кампца, который наслаждался дома полной неприкосновенностью. «Constitutionnel» (февр. 1826) нападаетъ на Кампца за то, что онъ придумываетъ новые проекты—поставить нѣмецкіе происки въ тѣснѣйшую связь съ русскими, и подвергнуть ихъ новымъ преслѣдованіямъ; что Бернсторфъ заодно съ нимъ, и что оба они оказываютъ этимъ услугу только князю Меттерниху. Въ обществѣ открыто радуются этой статьѣ.... офицеры говорятъ о Кампцѣ съ величайшимъ презрѣніемъ, и съ злорадствомъ толкуютъ о плохомъ результатѣ правительственныхъ (репрессивныхъ) мѣръ».

---

[1]) Blätter, I, 385; II, 343, 345, 351

Въ половинѣ 1826 г., Фарнгагенъ съ сочувствіемъ заноситъ въ свой дневникъ извѣстіе, что баварскій король приглашаетъ въ Мюнхенъ профессоровъ, прославленныхъ за демагоговъ, и поддерживаетъ молодыхъ людей, замѣшанныхъ въ слѣдствія по «проискамъ». «Король гордится тѣмъ, — пишетъ Фарнгагенъ,— что онъ учился въ университетѣ, и говоритъ, что если бы другіе государи сами также учились, то лучше бы понимали, какъ слѣдуетъ смотрѣть на подобныя вещи», т. е. на «происки» демагогическихъ профессоровъ и т. п.

Французскія дѣла возбуждаютъ теперь постоянный интересъ, и съ 1826—27 года мы безпрестанно встрѣчаемъ въ дневникѣ замѣтки о французскихъ событіяхъ — какъ слѣдъ разговоровъ и толковъ въ берлинскомъ обществѣ. Въ январѣ 1827 г., Фарнгагенъ записываетъ: «Замѣчательное засѣданіе французской академіи, которая постановляетъ сдѣлать королю представленіе противъ новаго проекта законовъ о печати! Всеобщее раздраженіе противъ французскаго министерства, не только во Франціи, в е з д ѣ!» Отзывы о Франціи, ея конституціонной жизни и общественныхъ вопросахъ выражаютъ самую теплую симпатію къ либеральной конституціонной партіи и негодованіе противъ реакціоннаго министерства; это становилось точно собственнымъ вопросомъ нѣмецкаго общества. «По истинѣ,—говорили въ берлинскихъ кружкахъ,—тѣ крохи хорошаго, что у насъ есть здѣсь въ этомъ родѣ, приходятъ къ намъ только изъ Франціи и Англіи; мы все еще дѣлимъ эту жизнь только издали (wir leben in der Ferne doch immer so mit)».

Исторіи о «проискахъ» еще продолжались, но становились уже предметомъ смѣха. «Однакоже, замѣчаетъ Фарнгагенъ, много молодыхъ людей остается въ крѣпостяхъ, многимъ надолго испорчена жизнь, а другіе на всю жизнь сдѣланы несчастными. За то господинъ Кампцъ сталъ теперь превосходительнымъ». Въ сентябрѣ 1828 г., Фарнгагенъ записываетъ: «Релльштабъ благополучно отсидѣлъ свои три мѣсяца въ Шпандау... Наказаніе считается житейскимъ неудобствомъ, но нисколько не стыдомъ; объ этомъ говорятъ совершенно весело». Такимъ образомъ, гоненіе оказывалось безсильнымъ; надъ нимъ смѣялись; но иной разъ оно оканчивалось и нелѣпостями. Въ числѣ средствъ розыска были, какъ всегда, доносы; Шукманъ и Кампцъ, конечно, поощряли ихъ, какъ благородное патріотическое дѣло, и въ особенности покровительствовали одному доносчику, по имени

Витту-Дёрингу. Этотъ Виттъ участвовалъ въ какихъ-то студенческихъ обществахъ и потомъ донесъ на нихъ; на его доносѣ построенъ былъ цѣлый процессъ. Въ 1827 году, Виттъ издалъ записки, гдѣ разсказывалъ свои воспоминанія, т. е. предметъ, исторію и послѣдствія своего доноса. Кампцъ, конечно, радовался появленію книжки, какъ искреннему разсказу заблуждавшагося и раскаявшагося человѣка; вѣроятно, онъ считалъ ее пріятнымъ и полезнымъ явленіемъ въ литературѣ, рекомендовалъ ее Фарнгагену, утверждая, что содержаніе вышедшей части совершенно вѣрно, согласно съ документами и т. д., наконецъ далъ ему самую книгу. Вотъ что Фарнгагенъ нашелъ въ ней:...: «Я получилъ отъ Кампца самую книгу; но это — самое отвратительное, самое пошлое пустословіе, полное лжи и легкомыслія; авторъ— самый постыдный негодяй, для котораго сдѣлалось потребностью— жить въ тюрьмѣ и съ полиціей, попеременно занимаясь то заговорами, то доносами». Виттъ поселился-было въ одномъ изъ сѣверныхъ нѣмецкихъ государствъ, но эта личность была такова, что правительства не хотѣли терпѣть его въ своихъ владѣніяхъ. Этому заблуждавшемуся, но раскаявшемуся господину наконецъ запретили въѣзжать и въ Пруссію; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ появленія упомянутой книжки, Фарнгагенъ записываетъ: «Шукманъ отдалъ публичное приказаніе всѣмъ полицейскимъ управленіямъ, если бы извѣстный Виттъ показался въ Пруссіи, высылать его за границу, какъ искателя приключеній, и пр. Г. Кампцъ, вѣроятно, не могъ помѣшать этому» [1]). Полиціи приходилось отказываться отъ своихъ протежэ.

Въ своемъ дневникѣ Фарнгагенъ очень часто говоритъ также о жизни двора и аристократіи; онъ могъ близко наблюдать ее, потому что имѣлъ много связей въ высшемъ обществѣ. Эта жизнь верхнихъ слоевъ проходила въ скучныхъ придворныхъ собраніяхъ, натянутыхъ увеселеніяхъ и въ старательномъ удаленіи отъ бюргерства, которое пользовалось отъ аристократіи полнѣйшимъ пренебреженіемъ. Мы видѣли въ предисловіи г-жи Асингъ характеристику занятій короля; дѣйствительно, въ дневникѣ безпрестанно упоминается о новой литургіи, которую король всячески старался ввести, о танцовщицахъ, въ которыхъ король принималъ столь же заботливое участіе, о Спонтини и т. д. Едва ли не самыми вліятельными людьми при дворѣ были

[1]) Blätter, III, 432; IV, 25, 80, 352; V, 50, 67, 110, 119.

піэтисты, противъ которыхъ вооружался даже князь Витгенштейнъ, самъ крайній реакціонеръ; даже для него были непріятны тѣ недостойныя понятія о религіи, которыя распространялись этими людьми. Фарнгагенъ пишетъ о королѣ: «Мысль, что подъ его правленіемъ можетъ страдать религія, для него ужасна: раціоналистическія выраженія о «кажущейся смерти» Христа приводятъ его въ страшнѣйшій гнѣвъ» и т. д. Жизнь прусскихъ принцевъ Фарнгагенъ также изображаетъ какъ пустую, не имѣющую никакихъ высшихъ умственныхъ интересовъ. Понятно, что при этомъ піэтисты тѣмъ легче могли овладѣть и наслѣднымъ принцемъ. Любопытны записанныя въ дневникѣ слова Александра Гумбольдта, очень близко стоявшаго ко двору; онъ пользовался большимъ расположеніемъ короля, и едва ли можетъ быть заподозрѣнъ въ неблагопріятномъ пристрастіи. «Страшно жалуются на нашъ дворъ и высшее общество, — пишетъ Фарнгагенъ въ 1830-мъ году. Александръ Гумбольдтъ говорилъ мнѣ, что, конечно, во всей Европѣ нѣтъ мѣста, гдѣ бы этотъ кругъ былъ до такой крайней степени лишенъ умственныхъ интересовъ, такъ грубъ и невѣжественъ (so völlig geistlos, roh und unwissend), и такимъ хотѣлъ быть,—какъ у насъ; здѣсь намѣренно и сознательно отклоняютъ всякое знаніе другой жизни, другихъ мнѣній и стремленій, не хотятъ ничего знать о прочемъ, даже ближайшемъ мірѣ, замыкаются въ пустую отдѣльность и жалкую спѣсь. Они не подозрѣваютъ, до какой степени ослабляютъ себя этимъ, унижаютъ себя и открываютъ для будущихъ нападеній» [1]).

Такова была жизнь, которую создавала реакція. Фарнгагенъ, какъ мы видѣли, замѣчалъ самъ и другіе замѣчали, что ея непосредственнымъ спутникомъ было стѣсненіе умственной жизни или просто поглупѣніе общества: вездѣ, куда достигало дѣйствіе реакціи, гдѣ она могла вполнѣ примѣнять свои правила, это было неизбѣжнымъ явленіемъ. Къ чему сводился ея общій характеръ и общій выводъ, это ясно было уже давно для всѣхъ серьезныхъ людей. Фарнгагенъ записалъ въ своемъ дневникѣ слова какого-то нѣмецкаго Эйнзиделя, сказанныя еще въ 1823 г. «Одинъ старый профессоръ теологіи въ Лейпцигѣ—пишетъ онъ—говорилъ о новой системѣ, принятой правительствами: ихъ политика есть не что иное, какъ политика нечистой совѣсти;

---

[1]) Blätter, V, 278, 285, 287, 289.

отсюда—подозрительность, удаленіе отъ народовъ, фальшивыя мѣры, и при всемъ томъ, никакой прибыли; они остаются все въ томъ же положеніи» [1]. Это было совершенно вѣрно.

Не надобно думать, однако, чтобы упадокъ былъ полный и всеобщій, или чтобы мы имѣли право относиться къ этому времени съ какимъ-нибудь высокомѣріемъ, и распространять его на цѣлую умственную и литературную жизнь Германіи,—нѣтъ, потому что Германія не заключалась въ Берлинѣ или Вѣнѣ, и реакція, какъ ни была она могущественна по своимъ матеріальнымъ полицейскимъ средствамъ, была безсильна противъ той умственной жизни, гдѣ еще такъ недавно прошли Лессингъ и Кантъ, Фихте и Шиллеръ, гдѣ продолжали дѣйствовать высоко одаренные люди: еще живъ былъ Гете, который—хотя и не возставалъ прямо противъ реакціи, — но высоко держалъ уровень литературныхъ идей, и въ этомъ самомъ прусскомъ обществѣ Берлина дѣйствовали Александръ и Вильгельмъ Гумбольдты, знаменитый теологъ Шлейермахеръ, талантливый гегеліянецъ, энергическій противникъ упомянутой «исторической школы» Гансъ и цѣлый рядъ людей, занявшихъ весьма высокое мѣсто въ нѣмецкой наукѣ и литературѣ. Они не были въ состояніи оказать фактической оппозиціи, но ихъ нельзя было заставить отказаться отъ свободы мысли. Къ благополучію Германіи послужило теперь и самое ея раздѣленіе. Не всѣ правительства пошли по этой дорогѣ, или не всѣ шли по ней такъ усердно, какъ Пруссія; берлинская цензура часто не пускала въ Пруссію книгъ, напечатанныхъ въ другихъ краяхъ Германіи, но цензура не имѣла средствъ прервать умственной связи между частями націи, и то, что не могло быть сказано въ Берлинѣ, свободно высказывалось въ другихъ мѣстахъ. Въ 1829 году Фарнгагенъ радуется появленію сочиненій Людвига Бёрне; началась и дѣятельность Гейне...

Мы видѣли, какъ отсутствіе собственной общественной и политической жизни заставляло лучшихъ людей общества, можно сказать, съ любовью слѣдить за свободной жизнью другихъ народовъ. Они «переживали» въ другихъ тѣ высшіе интересы, которыхъ не давала собственная жизнь. Предметомъ наибольшаго любопытства и сочувствія была, конечно, Франція; это сочувствіе начинаетъ больше и больше возрастать въ концѣ двадца-

---

[1] Blätter, II, 422.

тыхъ годовъ, когда политическое броженіе стало обнаруживаться съ особенной силой и когда появлялась перспектива будущей побѣды либеральныхъ идей и учрежденій.

Наконецъ, наступила іюльская революція. Извѣстно, какимъ сильнымъ впечатлѣніемъ отозвалась она во всей западной Европѣ. Надо прочесть замѣтки Фарнгагена, чтобы получить понятіе объ ея потрясающемъ дѣйствіи на современниковъ. Фарнгагенъ въ эти дни особенно подробно написалъ свои дневныя замѣтки; онѣ полны живого интереса.

«Когда здѣсь, въ Берлинѣ, стали извѣстны французскія ordonnances 25-го іюля,—пишетъ Фарнгагенъ,— весь городъ тотчасъ почувствовалъ все огромное значеніе этого удара. Большая часть либераловъ были смущены, но ожидали волненій и борьбы, въ особенности они разсчитывали на отказъ въ уплатѣ податей, и въ заключеніе все-таки ожидали паденія министровъ и побѣды хартіи. Шлейермахеръ думалъ, что теперь все будетъ зависѣть отъ того, какъ будутъ держать себя суды; другіе думали, что противъ силы будетъ употреблена сила. Гансъ былъ въ крайнемъ безпокойствѣ; иногда онъ думалъ, что ордонансы—благодѣтельны, что при ихъ помощи все быстро созрѣетъ, въ другія минуты онъ опять очень сомнѣвался. Штегеманнъ считалъ, что національное дѣло не можетъ погибнуть, но сначала будетъ запутано въ большую борьбу. Виллизенъ находилъ это предпріятіе безумнымъ, и для Бурбоновъ въ высшей степени опаснымъ. Другіе не понимали, какъ можно будетъ сопротивляться явному превосходству силъ правительства. За то и ультра (т. е. крайніе консерваторы и реакціонеры) были тоже не мало перепуганы; многіе боялись слишкомъ большого сопротивленія (ордонансамъ) и опаснаго кризиса; но другіе не могли скрыть своей радости. Кампцъ былъ въ восторгѣ; вотъ чего одного, говорилъ онъ, не доставало еще политическому состоянію Европы, теперь все превосходно, теперь мы переживемъ золотой вѣкъ спокойствія и порядка! Ансильонъ торжествовалъ, принимая важныя мины,— мудрая сила, наконецъ, показала себя. Д-ръ Юліусъ восхищался. Шмальцъ и Ярке принимали свое участіе въ побѣдѣ; перешедшій въ католичество профессоръ Валентинъ Шмидтъ съ восхищеніемъ бросился въ объятія регирунгсъ-рату Витте, имѣвшему тотъ же образъ мыслей. По всему городу замѣтно было необыкновенное движеніе, всякій разыскивалъ новыхъ извѣстій, всѣ разсчитывали вѣроятности, предполагали, обдумы-

вали. Немногія лица не высказывали своихъ мнѣній изъ благоразумія; конечно, каждый искалъ людей одного съ нимъ образа мыслей.

«Вмѣстѣ съ французскими газетами стали извѣстны здѣсь и нѣкоторые протесты журналистовъ противъ ордонансовъ; поэтому, когда на другой день газетъ не пришло, то здѣсь не знали, перестали ли они выходитъ вслѣдствіе ордонансовъ, или же произошли волненія. Вскорѣ узнали это послѣднее черезъ торговыя письма. Въ полдень 2-го августа, Гансъ пришелъ ко мнѣ и принесъ мнѣ первое, еще не вполнѣ вѣрное извѣстіе, что въ Парижѣ вспыхнули волненія, но онъ мало надѣялся, думалъ, что народъ долженъ будетъ покориться, и былъ совершенно внѣ себя; онъ признавался, что не знаетъ больше, что подумать. Нельзя было узнать ничего положительнаго. Наконецъ, на слѣдующее утро, 3-го августа, пришли болѣе точныя извѣстія, «Staats-Zeitung» сообщила ихъ въ особенномъ прибавленіи, которое было разослано около полудня. Редакторъ «Staats-Zeitung» Филипсборнъ былъ въ Карлсбадѣ, его помощникъ спрашивалъ министра Шукмана, можно ли ему тотчасъ же разослать въ особомъ прибавленіи полученныя извѣстія, отрывки изъ изъ «Messager des Chambres» отъ 28-го Іюля, изъ «Journal de Francfort» отъ 31-го Іюля, и отрывки изъ одного частнаго письма изъ Франкфурта отъ того же числа; министръ послалъ его къ наслѣдному принцу, и тотъ далъ позволеніе, устранивши, какъ неосновательное, замѣчаніе своего адъютанта графа Гребена, не покажется ли въ «Staats-Zeitung» нѣсколько неумѣстнымъ заключеніе частнаго письма: «каждую минуту ожидаютъ отмѣны обоихъ ордонансовъ». Но едва это было напечатано, какъ явился запыхавшись Ансильонъ, свирѣпствовалъ противъ «Staats-Zeitung», жаловался, что не спросили его, что и здѣсь дойдетъ до того, до чего въ Парижѣ, если не положатъ конца проклятой свободѣ печати; въ особенности онъ печалился объ упомянутой заключительной фразѣ, которая очевидно компрометтируетъ Пруссію относительно французскаго двора. Наслѣдный принцъ былъ очень озадаченъ, не хотѣлъ ничего знать о томъ, что онъ самъ позволилъ эту вещь, и не слушалъ графа Гребена, который напоминалъ ему о своемъ напрасномъ возраженіи. Впрочемъ Ансильонъ твердо надѣялся, что чернь и ея предводителей-либераловъ отлично перестрѣляютъ. Кампцъ былъ очень разсерженъ тѣмъ, что народъ осмѣливался

возставать; многіе знатные военные пожимали плечами и думали, что такія толпы черни можно тотчасъ разогнать хорошо дисциплинированной командой, если только ничего не щадить. Отсутствіе оффиціальныхъ извѣстій заставляло предполагать, что дѣло народа еще не потеряно; либералы стали надѣяться; то, что кровь была уже пролита, давало ручательство, что борьба будетъ продолжаться не безъ энергіи; къ вечеру либералы почти вообще были увѣрены въ своихъ надеждахъ. Между прочимъ, 3-е августа былъ день рожденія короля и до ночи праздновалось вездѣ съ большой радостью, и наша публика, во всѣхъ классахъ одушевленная сильнымъ сочувствіемъ къ народному дѣлу французовъ, казалось, какъ будто именно по этой причинѣ хотѣла тѣмъ яснѣе показать свой прусскій монархизмъ.

«Черезъ день узнали, наконецъ, о формальной протестаціи французскихъ газетъ, и что онѣ продолжаютъ издаваться наперекоръ ордонансамъ, узнали о собраніи многихъ депутатовъ и что съ каждой минутой возрастаетъ удача народнаго сопротивленія. Кампцъ былъ теперь очень смущенъ и печалился объ этомъ поворотѣ вещей. Публика съ жадностью пожирала всякое новое извѣстіе, и ея участіе высказывалось все громче и громче. На улицахъ были почти только радостныя лица, въ кофейняхъ и кондитерскихъ собирались группы, въ которыхъ безъ всякаго опасенія высказывалось самое ревностное демократическое настроеніе. При дворѣ было совсѣмъ иначе. Выступленіе Лафайета. учрежденіе временной правительственной коммиссіи, пораженіе королевскихъ войскъ, полное завоеваніе дворцовъ и казармъ въ Парижѣ, наконецъ появленіе трехцвѣтной кокарды не оставляли никакого сомнѣнія о рѣшительномъ поворотѣ вещей. Наслѣдный принцъ рѣзко говорилъ, что, по его мнѣнію, слѣдуетъ тотчасъ же вступить во Францію, чтобы поддержать законное правительство, что онъ самъ, съ 50,000 пруссаковъ, которыхъ можно бы собрать тотчасъ же, немедленно поправилъ бы дѣла. Ансильонъ продолжалъ бушевать, говорилъ въ особенности противъ здѣшней «Staats-Zeitung» [1], которая заражаетъ народъ, и какъ необходимо и здѣсь также принять строгія мѣры. Кампцъ думалъ, что французскій король уже бѣжалъ, но когда онъ не-

---

[1]) Замѣтимъ, что это была ни болѣе ни менѣе какъ оффиціальная правительственная газета.

ожиданно услышалъ, что король еще находится въ Сенъ-Клу, окруженный своей гвардіей, онъ тотчасъ снова поднялъ голову, думалъ, что еще ничего не потеряно, что еще нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ, и Парижъ будетъ страшно раскаяваться въ своемъ возмущеніи. Но эта пустая фантазія только дѣлала его еще смѣшнѣе; вслѣдъ за тѣмъ онъ еще больше упалъ духомъ и долженъ былъ самъ услышать, какъ вокругъ него съ энтузіазмомъ восхваляли эту прекрасную революцію, высказывали удивленіе къ французамъ, желали имъ успѣха и счастія.

«Когда король воротился изъ Теплица, онъ, хотя сначала и выразилъ свою досаду, что французскій король не сдержалъ своего слова и нарушилъ хартію, но въ довѣренномъ кругу былъ очень сокрушенъ французскими событіями. Онъ сказалъ, что надо считать сорокъ лѣтъ потерянными, все это время прожито понапрасну, все опять начинается сначала; что хотя онъ и сдѣлаетъ все для сохраненія мира, не желаетъ вмѣшиваться во внутреннія дѣла Франціи, надѣется того же и отъ другихъ державъ, но несмотря на все это онъ, однако, убѣжденъ, что не пройдетъ года, какъ вспыхнетъ война. Король отложилъ поѣздку въ Гамбургъ и личный смотръ войскъ на Рейнѣ; гарнизоны крѣпостей также не должны выступать, а будутъ занимать крѣпости, которыя будутъ поставлены на военную ногу. Изданіе особыхъ прибавленій было запрещено. Наслѣдный принцъ и другіе принцы говорили въ обыкновенномъ ультра-реакціонномъ духѣ; Ансильонъ продолжалъ свирѣпствовать, также Кампцъ, гановерскій посланникъ Реденъ, португальскій Оріола и др. Лица французскаго посольства начинаютъ мало-по-малу изъ крайнихъ реакціонеровъ дѣлаться двусмысленными; наконецъ они перестали скрывать, что они приняли бы присягу и трехцвѣтному знамени. Когда Орлеанскій принцъ сдѣлался королемъ, Ансильонъ со злобой сказалъ: le crime a vaincu! Отреченіе Карла X и дофина заставляетъ тѣмъ сильнѣе хвататься за права герцога Бордосскаго; разсчитываютъ на медленность путешествія короля, на Вандею, на маршала Бурмона, даже на якобинцевъ; радуются, что есть республиканская партія, которая все перевернетъ. Министровъ бранятъ, но желали бы спасенія Полиньяка, который принадлежитъ къ высокой аристократіи; прольется ли кровь Пейронне, къ этому относятся довольно равнодушно, онъ— плебей, и съ него довольно чести, если онъ умретъ за королевское дѣло!

«Оба Виллизена очень довольны ходомъ вещей, князь Пюклеръ также, Шамиссо въ восхищеніи, всѣ они желаютъ теперь только умѣренности французскихъ правителей, вѣрности хартіи, пощады пэрамъ, не слишкомъ большого демократизма. Но много дѣла парижскимъ событіямъ до здѣшнихъ желаній! Тамъ не хотятъ никакихъ извиненій, не хотятъ довольствоваться уступками, провозглашаютъ верховную власть народа, дѣлаютъ новую хартію и вовсе не боятся войны, хотя и желали бы ея избѣгать. Публика (въ Берлинѣ) вообще въ большомъ восторгѣ; точно также въ Гамбургѣ, въ Дрезденѣ. Аристократія внѣ себя, но еще не теряетъ надежды, и здѣсь, какъ въ Парижѣ. Савиньи, Питтъ-Арнимъ, и многіе, которые вообще только держатся конституціонныхъ мнѣній, вполнѣ за французское національное дѣло. Гансъ отправился въ Парижъ. Обстоятельство, что наслѣдственность царства подвергнута сомнѣнію, вызываетъ негодующіе вопли реакціонеровъ; они чувствуютъ, что грозитъ опасность ихъ существованію.

«Французскія газеты читаются въ кофейняхъ и производятъ сильное впечатлѣніе, слушатели часто единогласно высказываютъ свое одобреніе, офицеры, купцы, студенты и т. д. Злыя остроты «Фигаро» съ удовольствіемъ повторяются. Графъ Оріола разсказывалъ мнѣ съ досадой, что онъ самъ стоялъ въ одной группѣ, гдѣ всѣ парижскія происшествія находили превосходными. Реакціонеры и аристократы въ бѣшенствѣ; они видятъ, что ихъ осмѣиваютъ отчасти люди, имъ подобные, напр. генералъ, графъ Калькрейтъ. За столомъ у короля генералъ Блокъ имѣлъ наивность объявить, что конечно величайшее затрудненіе, какое можетъ встрѣтиться военному, это—быть обязану стрѣлять въ народъ... Штегеманнъ, Эйхгорнъ, Бейме, Александръ Гумбольдтъ, всѣ радуются событіямъ, и болѣе или менѣе высказываютъ это...

«Купцы и бюргеры чрезвычайно гордятся тѣмъ, что люди ихъ сословія облечены въ Парижѣ высшими правительственными должностями. Въ противоположность этому, принцъ Карлъ, при извѣстіи о важномъ положеніи Лафитта, съ презрѣніемъ отозвался: «Какой-нибудь лавочникъ хочетъ быть всѣмъ!»—Я сказалъ какъ-то, что въ парижской революціи свобода печати какъ будто лично вступила въ борьбу. Господинъ фонъ-Лампрехтъ говоритъ: «Теперь ясно, какъ хорошо мы дѣлаемъ, что не даемъ здѣсь свободы печати; отсюда идутъ всѣ бѣдствія Франціи». Гофпредигеръ Штраусъ недавно обѣдалъ у короля, конфиден-

ціально говорилъ съ нимъ и утѣшалъ его. Вскорѣ затѣмъ онъ разсказывалъ это мнѣ; онъ видитъ во французскихъ событіяхъ и въ здѣшней радости имъ только дурной образъ мыслей, безнравственность и безбожіе, и надѣется всего отъ единодушія монарховъ».

Мы прибавимъ въ дополненіе еще нѣсколько замѣтокъ Фарнгагена, написанныхъ въ сентябрѣ этого года.

«Король получилъ письмо новаго короля французовъ черезъ посланника его, генерала графа Лобо, пригласилъ его къ обѣду, на смотръ и т. п. Но еще медлитъ дать ему отвѣтъ и признать новаго короля, удерживаемый въ особенности русскими вліяніями. Графу Бернсторфу (министру иностранныхъ дѣлъ) приходится выдерживать сильную борьбу; онъ находитъ, что къ признанію есть очень настоятельныя побужденія и что къ нему все-таки принудятъ впослѣдствіи; Союзъ (т. е. Священный Союзъ) уже давно почти не существуетъ, что онъ окончательно подорванъ признаніемъ новаго французскаго короля со стороны Англіи, что его надо сначала заключить вновь, чтобы имѣть возможность на него опираться. Волненія въ Бельгіи и въ Ахенѣ—а также въ Гамбургѣ и Лейпцигѣ—еще больше запутываютъ дѣло. Король тотчасъ велѣлъ двинуть на западъ три арміи; это считаютъ черезчуръ поспѣшнымъ. Для военныхъ мѣръ оказалось не все такъ готово, какъ обыкновенно этимъ хвалились; опять должны были прибѣгнуть къ Риббентропу, который былъ до такой степени забытъ. Наши первые люди (Häupter) при каждомъ неблагопріятномъ извѣстіи тотчасъ теряютъ голову и все видятъ въ мрачномъ свѣтѣ; придетъ потомъ другое извѣстіе чуть получше, имъ опять все кажется розовымъ. Яснаго взгляда на фактическое значеніе событій совершенно недостаетъ. При этомъ аристократы постоянно натравливаютъ, и ихъ слова естественно нравятся. Наслѣдный принцъ видимо хочетъ показывать себя твердымъ и язвительнымъ, и у себя на обѣдѣ обходился съ графомъ Лобо очень гордо и язвительно, къ большому удовольствію придворныхъ и адъютантовъ, людей, какъ Роховы, Фоссы, Редеры, Гребены и т. д. Но король сдѣлалъ ему выговоръ, чтобы онъ держалъ себя менѣе рѣзко.

«Наверху нѣтъ никакого порядка и единства! Даже люди, какъ Бернсторфъ и Витгенштейнъ, весьма ограничены въ своихъ дѣйствіяхъ и не могутъ провести многихъ изъ своихъ мнѣній, потому что ихъ положеніе позволяетъ имъ выступать только въ

привычной колеѣ. Настоящее слово съ настоящимъ удареніемъ до событій безразсудно, послѣ событій излишне! Дѣла наши стоятъ теперь не лучше, чѣмъ въ 1806 году!.. Никто не понимаетъ времени и его событій. Все слѣпо и бѣшено стремится къ гибели. Если дѣло идетъ хорошо, то это чистый случай, это происходитъ изъ другихъ источниковъ, а не отъ проницательности тѣхъ, кто ведетъ ихъ» [1]).

Къ такимъ печальнымъ заключеніямъ приходитъ Фарнгагенъ, который не былъ большимъ скептикомъ и вовсе не недоброжелателемъ къ своему правительству. Таковы неизбѣжно должны были быть мнѣнія всѣхъ благоразумныхъ патріотовъ, понимавшихъ требованія времени и ходъ событій. Пруссія смѣшалась при іюльской революціи; королю казалось, что напрасно прожиты были сорокъ лѣтъ—войнъ съ Франціей и Священнаго Союза; другимъ казалось, что напрасно прожито было время съ 1806 года, когда Пруссія получила страшный урокъ, который долженъ былъ бы заставить ее подумать серьезно о внутреннемъ ея устройствѣ и котораго она все-таки не уразумѣла: вмѣсто того Кампцъ гонялся, наконецъ, за гимназистами, и правительство не замѣчало, куда стремилась вся тогдашняя жизнь. Послѣ 1830 года продолжалось опять тоже непониманіе времени, пока, наконецъ, и Пруссія должна была испытать революціонный кризисъ, окончившій ея прежнюю и основавшій ея нынѣшнюю исторію.

Это изображеніе нѣмецкой реакціи въ дневникѣ Фарнгагена представляетъ между прочимъ ту любопытную сторону для русскаго читателя, что въ этой нѣмецкой реакціи былъ тотъ образецъ, которому слѣдовала русская реакція десятыхъ и двадцатыхъ годовъ и пр. Дневникъ любопытенъ и по другому отношенію, по его прямымъ извѣстіямъ о русскихъ дѣлахъ. Россія въ то время сильно занимала умы: личность императора Александра, недавняя военная слава, дипломатическое вліяніе Россіи на ходъ европейскихъ дѣлъ, ея участіе въ европейской реакціи, безпрестанные конгрессы обращали на нее общее вниманіе, и въ Пруссіи это было особенно естественно: здѣсь связи съ Россіей были тѣснѣе, и сосѣдство ближе. Фарнгагенъ нерѣдко записываетъ русскія происшествія, о которыхъ ему случалось слышать, записываетъ

[1]) Blätter, V, 297—306.

разговоры съ русскими путешественниками, которыхъ онъ немало встрѣчалъ въ берлинскомъ обществѣ, воспоминанія своихъ соотечественниковъ объ императорѣ Александрѣ и т. п. Конечно, все это только отдѣльныя подробности; но въ нихъ найдется не одна характерная черта, которою можетъ воспользоваться русскій историкъ. Къ этой сторонѣ дневника мы обратимся въ слѣдующей статьѣ.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Европейская реакція страннымъ образомъ повлекла за собой и русскую. Трудно было, повидимому, представить себѣ болѣе различныя внутреннія отношенія государствъ, чѣмъ были отношенія государствъ западной Европы и Россіи. Не говоря о громадномъ разстояніи, раздѣлявшемъ ихъ по цѣлому характеру устройства и объему цивилизаціи, недавнее прошедшее было слишкомъ непохоже въ Европѣ и въ Россіи. Почти всѣ континентальныя государства Европы прошли такъ или иначе революціонный кризисъ: въ нихъ отчасти прямо отразились возбужденія французской революціи, отчасти косвенно новыя идеи вносимы были наполеоновскимъ господствомъ, которое хотя и было крайне насильственно и тягостно для національнаго чувства побѣжденныхъ народовъ, но представляло, однако, и примиряющій элементъ, какъ было, напримѣръ, въ Германіи, гдѣ оно, вводя французскіе порядки, разрушало и подрывало старый феодализмъ, противъ котораго сама нѣмецкая жизнь была еще безсильна. Въ Германіи вліяніе революціоннаго кризиса съ одной стороны, и войнъ за освобожденіе съ другой, оставили очевидные слѣды, какъ въ самыхъ фактическихъ отношеніяхъ, такъ и въ настроеніи умовъ: послѣ вѣнскаго конгресса, изъ нѣсколькихъ сотъ независимыхъ феодальныхъ владѣльцевъ, существовавшихъ до революціи, уцѣлѣло только нѣсколько десятковъ; въ умахъ осталось стремленіе провести въ жизнь освободительныя идеи, достигнуть утвержденія общественной свободы путемъ конституціонныхъ учрежденій. Правительства, какъ мы упоминали, были согласны на это послѣднее и даже обѣщали нѣмецкимъ государствамъ конституціи. Если потомъ открылась реакція, она имѣла свои основанія въ старыхъ нравахъ: корень ея былъ въ стремленіяхъ феодально-аристократической партіи, которой не хотѣлось отка-

зываться отъ стараго господствующаго положенія въ государствѣ; причины ея недовольства были ясны — потому что крупнымъ феодаламъ уже насталъ конецъ, ихъ политическая независимость была уничтожена, и феодализмъ употребилъ всѣ усилія, чтобы подавить дальнѣйшее движеніе. Успѣхъ реакціи былъ возможенъ потому, что, какъ теперь оказалось, освободительныя стремленія общества были еще слишкомъ слабы; онѣ оставались еще въ области теоретическихъ мечтаній. Такимъ образомъ реакція восторжествовала. Выразилась она тѣмъ, чего можно было ожидать отъ характера тѣхъ принциповъ, которые она представляла, принциповъ стараго феодализма и неподвижности: она выразилась крайнимъ произволомъ и насиліями, и обскурантизмомъ. Первое всегда было привычно феодальной аристократіи; обскурантизмъ былъ естественнымъ спутникомъ преслѣдованія либерализма, потому что научная свобода шла рядомъ и въ тѣсной связи съ развитіемъ либеральныхъ стремленій въ обществѣ.

Русская реакція пошла тѣмъ же путемъ, и нелѣпость этого пути была тѣмъ больше, что русская жизнь не представляла совершенно тѣхъ условій, на которыхъ основывалась реакція въ Германіи. Европейскій переворотъ нисколько не коснулся Россіи, и ничего не измѣнилъ въ основахъ ея внутренняго устройства. Ея враждебное отношеніе къ революціи, участіе въ войнахъ противъ Франціи были первоначально дѣломъ личнаго взгляда государей, а вовсе не практической необходимостью: русское правительство стояло чисто за принципъ. Какъ мало было практической необходимости въ этомъ случаѣ, показываетъ, напр., внезапный миръ съ Франціей, заключенный при Павлѣ I. Войны императора Александра также главнымъ образомъ основывались на отвлеченномъ принципѣ, хотя здѣсь оказывалась и политическая необходимость. Прямое столкновеніе произошло только въ 1812 году, — потому что въ дальнѣйшихъ войнахъ, 1813—15 года, опять дѣйствовалъ скорѣе отвлеченный политическій принципъ, чѣмъ прямой, національный интересъ. При всемъ этомъ, Россія въ своей внутренней жизни оставалась совершенно внѣ всякихъ непосредственныхъ вліяній революціонной идеи; ничего подобнаго тому, что происходило у нѣмцевъ, не представляла и не могла представить русская жизнь: у насъ не упало ни одно учрежденіе, не предстояла опасность никакому основному принципу, въ обществѣ не было никакихъ зловредныхъ элементовъ революціоннаго свойства. Напротивъ, абсолютная монархія была

также сильна, какъ всегда, и ея отправленіямъ не мѣшалъ ни малѣйшій признакъ оппозиціи: ея затрудненія лежали совсѣмъ въ иныхъ обстоятельствахъ—въ крайнемъ невѣжествѣ и угнетеніи массъ, и въ страшной испорченности правительственной и административной сферы: эту испорченность, наслѣдіе старыхъ порядковъ, императоръ Александръ первый видѣлъ и горько на нее жаловался,—хотя не видѣлъ ея дѣйствительнаго источника. Что касается либеральныхъ идей, на распространеніе которыхъ стали у насъ потомъ жаловаться и въ которыхъ видѣли политическую опасность, то онѣ появлялись не вслѣдствіе прямого заряженія отъ революціонной Франціи, а вслѣдствіе цѣлаго характера времени, вслѣдствіе того, что многія изъ понятій, созданныхъ восемнадцатымъ вѣкомъ, успѣли уже стать общимъ достояніемъ образованности, что многое изъ нихъ стало обычной принадлежностью общественнаго развитія,—и въ этомъ отношеніи всего больше сдѣлалъ для распространенія либеральныхъ идей самъ императоръ. Онъ самъ ревностно защищалъ ихъ, особенно въ первой половинѣ царствованія, и своимъ примѣромъ открывалъ имъ широкую дорогу въ обществѣ и освящалъ ихъ распространеніе. Новый наплывъ этихъ идей произошелъ послѣ 1815 года, подъ вліяніемъ тогдашняго европейскаго возбужденія, но и здѣсь императоръ, по прежнему, оставался впереди движенія. Священный Союзъ въ своемъ основаніи имѣлъ въ глазахъ Александра либеральную программу, которой императоръ въ первое время держался съ большимъ упорствомъ: такъ, на вѣнскомъ конгрессѣ, когда шла рѣчь о будущемъ устройствѣ Польши, онъ имѣлъ противъ себя всѣхъ своихъ союзниковъ и довѣренныхъ лицъ, и только онъ одинъ настаивалъ на конституціонномъ ея устройствѣ. Такое настроеніе императоръ сохранилъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ: первый поворотъ его къ реакціи обнаружился уже на ахенскомъ конгрессѣ, въ 1818 году, но и послѣ этого онъ не вдругъ отказался отъ своихъ прежнихъ воззрѣній. Окончательно реакціонными стали онѣ только позже, въ двадцатыхъ годахъ. Такимъ образомъ, и послѣ вѣнскаго конгресса, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, вліяніе его личныхъ взглядовъ могло очень благопріятствовать распространенію либеральныхъ идей въ самомъ обществѣ. Онѣ распространялись дѣйствительно, но, насколько извѣстна ихъ исторія, онѣ въ этотъ періодъ не могли представлять ничего обезпокоивающаго для правительства: тайныя общества (или то, что у насъ называлось этимъ именемъ),

которыя стали образовываться въ это время, отличались первоначально самымъ невиннымъ либерализмомъ. Дѣйствительно, стремленія тайныхъ обществъ, направлявшіяся къ противодѣйствію злоупотребленіямъ, ко взаимному развитію общественныхъ добродѣтелей, къ распространенію знакомства съ общественно-политическими науками,—эти стремленія были такъ естественны, такъ согласны съ видами всякаго здраваго правительства, и въ частности были такъ близки къ идеямъ самого императора, питавшаго сочувствіе къ «законно-свободнымъ учрежденіямъ», что противъ этихъ тайныхъ обществъ не могло быть никакого основательнаго опасенія. «Союзъ Благоденствія» заимствовалъ свою первоначальную программу прямо изъ уставовъ нѣмецкаго «Союза добродѣтели» (Tugenbund), характеръ котораго состоялъ именно въ такомъ же мирномъ воспитаніи и поддержкѣ гражданской добродѣтели и котораго программа была скорѣе сантиментально-наивная, чѣмъ опасная политически. Первые начинатели нашего тайнаго общества имѣли даже мысль представить свой уставъ на усмотрѣніе императора; эта мысль была совершенно искренна, и этого одного достаточно, чтобы видѣть, какого рода намѣренія лежали въ основаніи ихъ предпріятія.

Это былъ самый страшный врагъ, котораго можно было отыскать въ русской жизни съ точки зрѣнія европейской реакціи; какъ видимъ, однако, этотъ врагъ вовсе не былъ такъ страшенъ въ ту пору, когда императоръ Александръ сталъ повсюду бояться революцій, между прочимъ и въ самой Россіи. Если наши тайныя общества стали пріобрѣтать болѣе недовольный, раздражительный характеръ, это случилось уже значительно позднѣе. Мы видѣли выше, какъ прусскіе инквизиторы признавались, что настоящіе «Umtriebe» начались собственно только послѣ 1819 или даже 1821 года, т.-е., послѣ того, какъ началось ихъ преслѣдованіе; другими словами это значитъ, что начались притѣснительныя и ненавистныя мѣры тогда, когда къ нимъ не было достаточнаго основанія, и это самое вызвало различныя выраженія недовольства и негодованія, которыя и были сочтены за «Umtriebe». Нѣчто подобное произошло и въ русскихъ обществахъ: ихъ недовольство начинается тогда, когда правительство приняло реакціонную программу, для которой не было никакихъ данныхъ въ русской общественной жизни, и приняло въ то время, когда лучшимъ людямъ общества яснѣе чѣмъ когда-нибудь бросались въ глаза вопіющіе недостатки

внутренняго устройства, когда наиболѣе чувствовалась потребность въ реформахъ и улучшеніяхъ вмѣсто попятнаго движенія. Правительство не только не удовлетворяло давнишнимъ ожиданіямъ, какія прежде само оно возбуждало; оно разбивало всякія надежды мыслящей части общества на какое-нибудь удовлетвореніе этихъ ожиданій въ будущемъ. Реакціонная роль Россіи въ иностранной политикѣ, суровыя и непослѣдовательныя мѣры дома давали достаточный поводъ къ недовольству, и оно дѣйствительно возрастаетъ больше и больше.

Какимъ же образомъ могла такъ сильно подѣйствовать на имп. Александра европейская реакція и привести его къ реакціи въ Россіи, въ которой, какъ видимъ, для нея совершенно не находилось цѣли и предмета? Какъ бы ни былъ онъ убѣжденъ въ необходимости поддерживать въ Европѣ консервативные и реакціонные элементы, можно было бы думать, что для него будетъ ясна разница положеній, и громадная разница въ степени политическаго развитія общества въ Европѣ и въ Россіи. Но онъ не видѣлъ этой разницы, и когда поворотъ въ его мнѣніяхъ окончательно совершился, онъ смотрѣлъ на слабыя проявленія русскаго либерализма почти съ такими же опасеніями, какъ смотрѣлъ на революціонныя движенія на Западѣ. Приведемъ въ примѣръ ссылку Пушкина. Вина его была— стихотвореніе, конечно свойства либеральнаго, но опасность его для цѣлости и спокойствія государства была такой безконечно малой величины, что невозможно понять, какъ за него могло грозить Пушкину то суровое наказаніе, которое только особымъ заступничествомъ измѣнено было на ссылку въ Бессарабію. Правда, вообще говорятъ, что императоръ не слушалъ множества доносовъ, какіе представляла ему полиція, и это надо конечно объяснять врожденной мягкостью его личнаго характера; но примѣръ Пушкина и нѣсколько другихъ подобныхъ примѣровъ показываютъ, что въ глубинѣ его понятій о политическомъ положеніи вещей лежали крайне преувеличенныя представленія объ опасностяхъ, грозящихъ Россіи отъ необузданнаго либерализма.

Для объясненія этихъ понятій императора Александра надо, кажется, принять въ соображеніе два обстоятельства. Во-первыхъ, его чрезмѣрное увлеченіе интересами западной дипломатіи. Въ 1812—1815 годахъ, русскому императору суждено было играть чрезвычайную, небывалую роль въ судьбахъ Европы. Въ эти

годы, исполненные необыкновенныхъ событій и чрезвычайнаго возбужденія умовъ, охватившаго цѣлые народы, Александръ былъ господствующей личностью. Около него сосредоточивалось рѣшеніе капитальныхъ вопросовъ европейскаго устройства; его имя вынесло наиболѣе славы и уваженія, и понятно, что все это должно было оставить извѣстное впечатлѣніе и дать извѣстное направленіе политическимъ интересамъ императора. Онъ освоился съ той широкой сферой дѣйствій, какая досталась ему въ эти годы, и съ тѣхъ поръ политическая дѣятельность и политическое значеніе самой Россіи представлялись ему не иначе, какъ въ свѣтѣ общеевропейскихъ вопросовъ. Въ такомъ смыслѣ именно и задуманъ былъ Священный Союзъ. Европейскіе народы разсматривались здѣсь какъ одна семья народовъ, которые должны были управляться одинаковымъ заботливо-отеческимъ патріархальнымъ образомъ. Коноводы феодально-реакціонной партіи отлично эксплуатировали идею Александра, чтобы превратить Священный Союзъ въ универсальное, патріархально-инквизиторское преслѣдованіе всѣхъ новыхъ стремленій общества. Они намѣренно настаивали на этой универсальности; изображая всѣ имъ ненравившіяся общественныя движенія какъ порожденіе одной причины, одного вреднаго «духа времени», они обезпечивали и универсальность преслѣдованія, черезъ которую это послѣднее естественно должно было выигрывать въ силѣ и дѣйствительности. Дѣла и были поведены въ этомъ смыслѣ; союзники сдѣлали Священный Союзъ всеобщей опекой и надзоромъ за поведеніемъ народовъ, и такъ какъ поведеніе не всегда отвѣчало понятіямъ о патріархальномъ спокойствіи и послушаніи, то союзникамъ уже скоро пришлось назначать патріархальныя наказанія и экзекуціи. Изобрѣтатель этой экзекуціонной политики мало-по-малу успѣлъ подмѣнить ею первоначальныя идеи Александра. Меттернихъ, котораго Александръ презиралъ въ эпоху вѣнскаго конгресса и въ иныя минуты не хотѣлъ пускать къ себѣ на глаза, постепенно успѣлъ сдѣлаться и для него необходимымъ человѣкомъ. Главнымъ образомъ это начинается съ ахенскаго конгресса. Система универсальнаго надзора и преслѣдованія «духа времени», какъ по преимуществу революціоннаго, расширялась все больше и больше, и распространеніе ея на Россію было наконецъ у Александра естественнымъ послѣдствіемъ того страха отъ универсальной революціи, которымъ онъ наконецъ заразился.

Съ другой стороны, чтобы допустить въ Россiи жалкое копированiе европейской реакцiи, которымъ занималось министерство народнаго просвѣщенiя въ союзѣ съ полицiей, надо было очень удалиться отъ русской жизни, не знать или забыть ея настоящiя свойства. Такъ это и было, къ сожалѣнiю, съ императоромъ Александромъ. Современники дѣйствительно замѣчаютъ, что Александръ, вернувшись въ Россiю послѣ войны 1812—1815 годовъ, какъ будто съ неохотой возвращался въ русскую жизнь, мало интересовался ею и мало въ нее вникалъ. Настоящiе его интересы лежали въ европейской политикѣ, и дипломатическiя дѣла были именно тѣ, которыми онъ всего охотнѣе занимался; кромѣ этого, его занимало еще только войско. Все остальное управленiе шло по заведенной рутинѣ, предоставленное всего больше самому себѣ—и попеченiямъ графа Аракчеева. Традицiонныя свойства администрацiи развились, при недостаткѣ контроля и отсутствiи общественнаго мнѣнiя, до крайняго безправiя и чуть не открытаго грабежа казеннаго и частнаго достоянiя. Нечего и говорить о томъ, что умственные интересы общества, о которыхъ было положено много заботы въ началѣ царствованiя, были теперь совершенно заброшены; императоръ, какъ говорятъ, не любилъ русской литературы и не читалъ ея—да она и мало представляла интереса, окруженная цензурнымъ заборомъ. Такимъ образомъ общественное настроенiе оставалось неизвѣстно правительству, которое всего скорѣе могло составлять себѣ о немъ самыя фальшивыя и преувеличенныя понятiя. Такъ говорятъ, что Александръ, зная о русскомъ тайномъ обществѣ, не принималъ мѣръ противъ него именно потому, что предполагалъ силу его гораздо больше, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ.

Таковы были условiя, въ которыхъ произошла русская реакцiя. Возникши изъ непониманiя настоящаго положенiя и потребностей русской жизни, она не имѣла и той тѣни политической необходимости, на которую могла ссылаться западная реакцiя; эта послѣдняя могла по крайней мѣрѣ указывать на дѣйствительныя революцiонныя движенiя; пользуясь правомъ сильнаго, она по крайней мѣрѣ могла указывать какiя-нибудь историческiя традицiи, возвращенiе которыхъ она могла выставлять необходимымъ по ея политическимъ взглядамъ. Какъ ни скользки и странны могли бы быть подобныя оправданiя западной реакцiи, наша не имѣла и такихъ. У насъ рѣшительно нечего было возвращать, потому что ничего не было потеряно; не было никакихъ рево-

люціонныхъ движеній, которыя надо было сдерживать. Поэтому наша реакція была совершенно безсодержательнымъ гнетомъ, не имѣвшимъ никакого резона и потому тѣмъ болѣе ненавистнымъ. Остановка преобразовательныхъ мѣръ, начатыхъ нѣкогда правительствомъ, послужила только къ большему застою государственнаго и общественнаго развитія и, слѣдовательно, была чистой потерей. Преслѣдованіе умственной дѣятельности общества вело у насъ еще больше, чѣмъ въ Германіи, къ отупѣнію общества, и безъ того не богатаго умственнымъ содержаніемъ. Исполненіе реакціи, которое брали на себя въ этомъ отношеніи піэтистическіе іезуиты, въ родѣ школы князя Голицына, потомъ старовѣры, въ родѣ Шишкова, было нелѣпымъ копированіемъ мѣръ, придуманныхъ австрійско-прусской полиціей, и за неимѣніемъ собственно-политическихъ предметовъ гоненія, реакція обратилась въ чистый обскурантизмъ. Въ Германіи преслѣдовались университеты,—надо было начать такое же преслѣдованіе и у насъ, хотя въ нашихъ университетахъ не было и тѣни тѣхъ явленій, которыя подвергались преслѣдованію тамъ, и хотя вообще русскіе университеты и русскую науку было бы просто смѣшно приравнивать къ нѣмецкимъ. Между тѣмъ, министерство князя Голицына дѣлало это, когда назначало знаменитую ревизію Казанскаго университета, и это была конечно одна изъ самыхъ наглыхъ мистификацій, какимъ подвергался императоръ Александръ, и противъ которой онъ, къ сожалѣнію, по собственной винѣ оказывался безсильнымъ. Тамъ реакціонеры вопіяли противъ «духа времени», эти вопли повторились у насъ, и за неимѣніемъ серьезныхъ вещей, въ которымъ можно было бы приложить обвиненіе въ разрушительныхъ стремленіяхъ, эти обвиненія примѣнялись къ двумъ-тремъ серьезнымъ книгамъ, какія нашлись въ русской литературѣ, или къ случайнымъ фразамъ въ какихъ-нибудь профессорскихъ лекціяхъ. Наша реакція вообще подражала съ одной стороны полицейской проницательности Кампца и Шукмана, съ другой іезуитскому благочестію, и, за отсутствіемъ какого нибудь серьезнаго либерализма, съ которымъ бы ей приходилось бороться, она воевала противъ малѣйшихъ проявленій здраваго смысла въ литературѣ и невиннаго перваго лепета русской науки.

Несмотря, однако, на все это гоненіе противъ «духа времени», онъ дѣлалъ свое дѣло. Либеральныя идеи получили въ русскомъ обществѣ большое развитіе съ 1815 года, когда русскіе пришли

въ непосредственное соприкосновенiе съ движенiемъ умовъ въ Европѣ,—и съ тѣхъ поръ эти идеи получали все больше и больше силы въ извѣстной части образованнаго общества. Начавшаяся реакцiя не только не остановила ихъ, но дала имъ еще новую пищу. Можно даже сказать, какъ мы замѣчали выше, что именно реакцiя вызвала рѣзкiй характеръ либерализма. Настоящая дѣйствительность была такъ безотрадна, что люди, питавшiе какой-нибудь общественный интересъ и какое-нибудь патрiотическое увлеченiе, отворачивались отъ этой дѣйствительности, не подававшей никакихъ надеждъ и никакой опоры для благородныхъ и великодушныхъ порывовъ. Въ такихъ положенiяхъ въ особенности развивается та мечтательная любовь къ отечеству, проникнутая поэтическимъ энтузiазмомъ, которая создаетъ самые фантастическiе планы преобразованiй и новыхъ устройствъ, и отдается имъ съ увлеченiемъ, совершенно забывая объ ихъ очевидной неисполнимости. Отсутствiе всякой сколько-нибудь свободной литературы отнимало послѣднiй исходъ у этого энтузiазма, и онъ поневолѣ весь обращался въ такъ-называемыя тайныя общества. Это была въ тѣ времена любимая обычная форма, въ какую совершенно естественно собирались люди одного настроенiя и образа мыслей. Форма эта отчасти давалась возобновившимися при Александрѣ масонскими ложами, отчасти заимствована была вновь изъ нѣмецкаго тугенд-бунда, и собственно говоря, вовсе не была такъ страшна, какъ ее представляли впослѣдствiи. Тайна была настолько невелика, что въ общество попадалъ всякiй, кто этого хотѣлъ, и существованiе обществъ было не безъизвѣстно правительству; о многихъ изъ ихъ членовъ императоръ Александръ зналъ положительно. Собственно говоря, это были кружки людей либеральнаго образа мыслей, для которыхъ собранiя были единственнымъ возможнымъ средствомъ сближенiя и откровенной бесѣды; онѣ не открывались для людей совсѣмъ постороннихъ прежде всего изъ простого опасенiя перетолкованiй и сплетничества. По разсказамъ современниковъ не мудрено въ этомъ убѣдиться. Первоначальныя цѣли общества были самаго мирнаго свойства; эти цѣли, какъ и естественно, оказались недостижимыми, и въ самомъ обществѣ явилась мысль объ его закрытiи, которое и было исполнено; и если потомъ является новое тайное общество, и въ числѣ агитаторовъ являются люди съ болѣе рѣшительными мнѣнiями, даже съ республиканскими планами,—то эти явленiя надобно конечно объяс-

нять усиліемъ недовольства, которое было плодомъ самой реакціи. Между обществами 1818 года и 1824 года была чрезвычайная разница; въ этотъ промежутокъ движеніе умовъ прошло цѣлый періодъ развитія.

Исторія этого времени и этихъ событій почти нетронута въ нашей литературѣ, хотя это безъ сомнѣнія одинъ изъ любопытнѣйшихъ періодовъ нашей общественной исторіи. Извѣстны различныя затрудненія, мѣшавшія до послѣдняго времени изслѣдованію этого періода, и намъ до сихъ поръ чрезвычайно мало извѣстны и ходъ самой реакціи, и развитіе либеральнаго движенія. Наша историческая литература только еще начинаетъ касаться этой эпохи, и пройдетъ еще не мало времени, пока будетъ возможна безпристрастная и полная исторія послѣднихъ годовъ царствованія императора Александра и послѣдующей эпохи. Литература до сихъ поръ не усвоила даже самаго матеріала, который еще не получилъ въ ней права гражданства; не собраны даже и тѣ черты этого времени, какія могутъ быть собраны. Между прочимъ, рядъ любопытныхъ указаній доставляютъ, нѣсколько неожиданнымъ образомъ, и дневники Фарнгагена. Мы указывали прежде, по какимъ отношеніямъ русскія событія, слухи и т. п. находили мѣсто въ его запискахъ: читатель вообще не долженъ забывать, что его извѣстія весьма случайныя, что всего чаще это чистые слухи, за какіе Фарнгагенъ въ такомъ случаѣ и выдаетъ ихъ;—но эти слухи, разговоры и случайныя извѣстія имѣютъ однако свою историческую цѣнность. Если не всегда точенъ сообщаемый фактъ, то всегда интересны указанія на настроеніе общественнаго мнѣнія; иной разъ замѣтки Фарнгагена намекаютъ на совершенно новыя стороны предмета и даютъ рѣзкое очертаніе фактамъ оффиціальной исторіи.

Русскія извѣстія у Фарнгагена вообще довольно точны, и ихъ было не мало. Такъ до него довольно часто доходили свѣдѣнія о піэтистической реакціи, о судѣ надъ профессорами петербургскаго университета, о закрытіи масонскихъ ложъ, даже о разрѣшеніи книги Станевича. Въ февралѣ 1823 г. онъ пишетъ: «Императоръ Александръ далъ маркизу Паулуччи серьезное приказаніе о прекращеніи дѣятельности сектъ и піэтизма, которую императоръ прежде такъ поощрялъ; собранія піэтистовъ запрещены, библейскія общества ограничены, всякіе благочестивые

кружки и вліянія остановлены; говорятъ, императоръ находитъ, что стало уже слишкомъ мрачно, и потому онъ хочетъ опять ввести нѣсколько просвѣщенія». Въ августѣ 1825 г., Фарнгагенъ упоминаетъ о запрещеніи піэтистическихъ книгъ Юнга-Штиллинга, Гюйонъ и т. д., которыя поощрялись въ прежнее время,—и при этомъ замѣчаетъ, что «императоръ, кажется, долженъ больше и больше подчиняться вліянію собственнаго русскаго духовенства»,—какъ это дѣйствительно и было, послѣ удаленія изъ министерства кн. Голицына [1]).

Нерѣдко упоминаетъ дневникъ вообще о ходѣ внутренняго управленія. Его извѣстія были именно такія, какихъ можно ожидать. Ему разсказывали (декабрь 1823 г.) невѣроятныя вещи о страшномъ взяточничествѣ, почти публичномъ и какъ будто вообще принятомъ. Армія была устроена хорошо, но императоръ, подъ вліяніямъ Меттерниха, не пользовался выгодами этой силы. «Русское войско находится, какъ говорятъ, въ блестящемъ состояніи и такъ многочисленно, что безъ преувеличенія, по первому слову могутъ выступить 600,000 человѣкъ. Но императоръ боится привесть въ движеніе такую массу, онъ дѣйствительно желалъ бы избѣжать войны съ Турціей и допускаетъ, что изъ Вѣны все это превосходство силъ превращаютъ въ его умѣ въ ничто!—Императора хвалятъ какъ человѣка; говорятъ, что онъ далеко лучше всей своей обстановки, и съ своими лучшими намѣреніями остается совершенно одинокъ, безъ единаго честнаго помощника,—это уже говорилъ мнѣ шесть лѣтъ тому назадъ и лейбъ-медикъ Штоффрегенъ. Но теперь императоръ, говорятъ, совершенно подчиняется внушеніямъ Меттерниха». Тотъ «безпристрастный наблюдатель», замѣчанія котораго передаетъ Фарнгагенъ, очень невыгодно отзывается и о русской дипломатіи (вспомнимъ, что передъ этимъ Каподистрія оставилъ министерство иностранныхъ дѣлъ и русскую службу; его преемникомъ сдѣлался гр. Нессельроде); наблюдатель находилъ, что съ этой дипломатіей Меттернихъ «легко управится» [2]).

Мы упоминали выше, что люди, нѣсколько внимательные къ событіямъ, уже въ то время ясно видѣли, какими пружинами велась реакціонная политика, господствовавшая во всей Германіи и въ Россіи и простиравшая свое вліяніе повсюду, куда до-

---

[1]) Blätter II, 298; III, 350.
[2]) Blätter II, 457—458.

ставало оружіе Священнаго Союза; личные интересы Меттерниха играли не послѣднюю роль въ числѣ этихъ пружинъ. Современники видѣли всю мелкость ума Меттерниха, которой не хватало ни на какую широкую и смѣлую мысль и хватало только на запугиваніе государей и тиранническое преслѣдованіе: главнымъ его орудіемъ былъ именно внушаемый имъ страхъ революцій, и этимъ однимъ онъ держался на мѣстѣ, потому что ни къ какой иной роли не былъ способенъ. Вотъ между прочимъ одинъ изъ отзывовъ о Меттернихѣ, записанный тогда Фарнгагеномъ:

«Подробно говорилъ съ г. министромъ Гумбольдтомъ (Вильгельмомъ) о Меттернихѣ; онъ изображаетъ его какъ министра слабымъ и непослѣдовательнымъ, который, если только счастье оставитъ его на минуту, совершенно путается, у котораго нѣтъ никакихъ мнѣній, который на все смотритъ съ личной точки зрѣнія; онъ почти ничего не успѣлъ сдѣлать противъ слабыхъ противниковъ, фальшивъ и лицемѣренъ, и держится позорно. Ему удалось одно время обойти (bethören) императора Александра, но это и все; въ Германіи и въ Италіи онъ всегда могъ только вводить тишину на минуту, и никогда не сдѣлалъ ничего существеннаго. Своей личной манерой онъ овладѣлъ также лордомъ Кэстельри и княземъ Гацфельдтомъ, но и это не великое дѣло» [1]). Но въ тѣ времена было сильно распространено представленіе о Меттернихѣ, какъ тончайшемъ и проницательнѣйшемъ дипломатѣ, какого видѣлъ свѣтъ; исторія давно уже изображаетъ его въ томъ видѣ, какъ онъ представляется въ этомъ отзывѣ Гумбольдта,—и въ послѣднее время нѣкоторые считали нужнымъ даже защищать Меттерниха отъ этихъ обвиненій въ совершенномъ ничтожествѣ. Императоръ Александръ, какъ мы замѣчали, въ иныя минуты совершенно видѣлъ презрѣнность его характера, и тѣмъ печальнѣе тотъ фактъ, что впослѣдствіи онъ дошелъ до того, что позволилъ себѣ руководиться его указаніями. Меттернихъ, который самъ не имѣлъ никакихъ убѣжденій и дѣйствительно не внесъ въ политическую систему ничего кромѣ чисто-отрицательной реакціи, имѣлъ однако огромный успѣхъ потому, что разсчитывалъ на самыя слабыя стороны тогдашней монархіи и поддерживалъ ея дурныя страсти, опираясь при этомъ на всѣ элементы феодальнаго консерватизма

---

[1]) Blätter V, 29.

и обскурантизма. Въ то время, когда недавняя исторія указывала монархіи единственный здравый путь ея существованія—сближеніе съ народами, предоставленіе имъ извѣстной общественной и политической автономіи, онъ принялъ другой путь и поддерживалъ старыя абсолютистскія наклонности, которыя монархія по прежней памяти и привычкѣ считала своимъ божественнымъ правомъ и обязанностью. Меттернихъ только придумалъ всякіе извороты, чтобы возбуждать ея ревность къ этому божественному праву. Въ какое положеніе становилась къ этому русская монархія, мы упоминали.

Вліяніе Меттерниха на Александра объясняется въ значительной степени внутреннимъ состояніемъ императора, преисполненнымъ тревогъ, сомнѣній, подозрительности и колебаній. Иностранная политика, которой онъ отдавался какъ личному дѣлу, ставила вопросы, въ которыхъ онъ не находилъ исхода; во внутреннихъ дѣлахъ происходили безпорядки, противъ которыхъ онъ не находилъ средствъ; общественное движеніе было ему мало извѣстно—примѣръ этому представляетъ хоть вся исторія тогдашняго піэтизма.

Въ дневникѣ Фарнгагена мы встрѣчаемъ нѣсколько анекдотическихъ подробностей, рисующихъ различныя черты характера и настроенія имп. Александра. Въ 1820-мъ году, онъ записываетъ: «Русскій императоръ сказалъ однажды королю (т. е. прусскому), чтобы онъ не обманывался, что онъ (король) окруженъ негодяями, которыхъ можно подкупать, что не лучше этого и его собственныя дѣла,—что онъ хотѣлъ многихъ прогнать, но на ихъ мѣсто являлись такіе же; что перемѣнить этого нельзя, что надо этому покориться и предоставить вещамъ идти тѣмъ же порядкомъ и дальше». Въ Берлинѣ знали объ этомъ подозрительномъ, безпокойномъ настроеніи императора Александра. Въ концѣ 1824-го года тамъ былъ слухъ, что съ императоромъ были будто бы припадки душевной болѣзни. Когда получены были извѣстія о страшномъ петербургскомъ наводненіи ноября 1824-го г., Фарнгагенъ записываетъ: «Петербургское бѣдствіе, говоритъ здѣсь одинъ русскій, еще больше сдѣлаетъ императора доступнымъ для мрачныхъ представленій; въ этомъ, какъ и во всемъ, онъ будетъ видѣть божіе наказаніе. Онъ до сихъ поръ не успокоивается относительно событій 1801 года... Упоминаніе о нихъ лордомъ Голландомъ въ англійскомъ парламентѣ глубоко поразило Александра и снова погрузило его въ

уныніе, отъ котораго онъ еще не вполнѣ успокоился. То, что у него нѣтъ дѣтей, онъ считаетъ божіимъ наказаніемъ» и т. д.[1]). Фарнгагенъ знаетъ, однако, какъ несправедливо было обвиненіе Голланда.

Въ Пруссіи относились къ императору различно. Король былъ искренно къ нему привязанъ, хотя, повидимому, тяготился нѣкоторыми проявленіями его характера, въ томъ числѣ, вѣроятно, слишкомъ настойчивыми дипломатическими вмѣшательствами. Въ октябрѣ 1820 г. въ дневникѣ записано: «Когда импер. Александръ хотѣлъ прибыть въ Берлинъ, король сказалъ, что это—безпокойный гость! Король ненарушимо и съ величайшимъ уваженіемъ держится Александра, и союзъ съ Россіей считаетъ лучшей, самой спасительной политикой для себя и своихъ преемниковъ; его министры думаютъ совершенно иначе». Иначе отзывалась и публика, въ особенности люди либеральныхъ мнѣній съ тѣхъ поръ, какъ Россія стала дѣятельнымъ образомъ заявлять себя въ реакціонной политикѣ конгрессовъ. Въ апрѣлѣ 1821 г., Фарнгагенъ пишетъ: «Почти повсюду говорятъ противъ русскихъ, также и въ высшемъ кругу, и объ императорѣ Александрѣ употребляютъ самыя рѣзкія выраженія, даже многіе ультра, которымъ, собственно говоря, его дѣятельность должна бы нравиться». Черезъ нѣсколько страницъ: «ненависть и отвращеніе къ русскимъ сильно и явно высказываются при каждомъ случаѣ». Въ объясненіе этого припомнимъ, что это было время испанской революціи: она производила тогда сильное дѣйствіе на умы и возбуждала самое горячее сочувствіе во всѣхъ людяхъ либеральныхъ воззрѣній, — между тѣмъ Россія относилась къ ней конечно самымъ враждебнымъ образомъ, и въ то время шли толки, что русскія войска должны двинуться для подавленія революціи. Кромѣ того, эта вражда къ русскимъ могла исходить и изъ различныхъ личныхъ встрѣчъ съ русскими по случаю пріѣзда въ Берлинъ в. кн. Николая. Въ Пруссіи уже съ этого времени чувствовалось сильное вліяніе русскаго двора, и это естественно возбуждало въ пруссакахъ національную ревность. Фарнгагенъ сообщаетъ нѣкоторыя подробности такихъ отношеній по поводу спорнаго вопроса о Данцигѣ, гдѣ императоръ Александръ заставилъ прусскаго принца, говорившаго съ нимъ объ этомъ дѣлѣ въ Петербургѣ, выслушать очень рѣзкія

---

[1]) Blätter I, 211; III, 171, 183.

вещи. Фарнгагенъ прибавляетъ слова короля, имѣющія отношеніе къ этому случаю: «Говорятъ, что король не разъ употреблялъ такое выраженіе: что если-де не имѣешь 40 милліоновъ подданныхъ, то совсѣмъ и говорить нельзя» [1].

Въ числѣ трудныхъ политическихъ вопросовъ, на которыхъ въ особенности сталкивались противорѣчныя стремленія имп. Александра, его первоначальный либерализмъ, позднѣйшая реакціонная политика, стояли на первомъ планѣ вопросы польскій и греческій; эти вопросы въ то же время близко интересовали русскую публику. Фарнгагенъ дѣлаетъ нѣсколько замѣтокъ о томъ и о другомъ. Польская конституція была, какъ мы выше упомянули, дѣломъ личнаго желанія императора; она была рѣшена, но практическое выполненіе съ первыхъ шаговъ представило трудности, непреоборимыя для Александра. Въ самомъ дѣлѣ, являясь въ Польшѣ конституціоннымъ монархомъ, Александру приходилось отказываться отъ собственной личности, отъ всѣхъ взглядовъ, привычекъ, дѣйствій самаго неограниченнаго абсолютнаго государя, какимъ онъ былъ въ Россіи. Открытіе конституціоннаго сейма въ Польшѣ поставило на пробу либеральные принципы, и они не выдержали ея: взаимныя притязанія уже скоро разстроили конституціонныя отношенія, и онѣ наконецъ стали мертвой буквой. Въ результатѣ осталась прежняя, національная вражда, къ которой присоединилось неудовольствіе въ русскомъ обществѣ, что страна завоеванная, какой надо было считать Польшу, получила свободныя учрежденія, которыхъ лишена была страна самихъ завоевателей. Въ сентябрѣ 1820 года, Фарнгагенъ пишетъ: «Сегодня (19-го сентября) въ «Staatszeitung» напечатана рѣчь русскаго императора на сеймѣ къ полякамъ,—объ ней говорятъ въ шутку, что половину ея писалъ Лагарпъ, а другую половину г-жа Крюднеръ; здѣсь въ высшихъ сферахъ рѣчь не понравилась, какъ и ея толкованіе, которое дается ей въ депешахъ изъ Варшавы». Черезъ мѣсяцъ, въ октябрѣ: «Рѣчь императора при распущеніи польскаго сейма — очень чувствительна и трогательна» (sehr schmerzlich und beweglich), и затѣмъ упоминаетъ, что народъ обнаружилъ большую враждебность къ императору. Далѣе, опять новыя извѣстія о польскихъ отношеніяхъ, которыя дѣлаются все болѣе и болѣе натянутыми. Въ іюлѣ 1821 г. Фарнгагенъ

---

[1] Blätter I, 211, 289, 291; III, 34.

пишетъ: «Русскій императоръ объявилъ полякамъ, что такъ какъ они дурно пользуются свободными учрежденіями и самостоятельностью, и возбуждали въ немъ столько неудовольствія, то онъ присоединитъ ихъ къ русской имперіи». Въ маѣ 1822 г.: «Въ Польшѣ очень натянутое положеніе дѣлъ: императоръ объявляетъ, что въ бюджетѣ для арміи отказа быть не можетъ, что въ гражданскихъ дѣлахъ надо было бы придумать средство быть бережливѣе, напр. богатые поляки могли бы служить безъ жалованья и т. п. Думаютъ, что цѣль (этихъ дѣйствій) та, чтобы конституція надоѣла полякамъ, и чтобы они отказались отъ нея добровольно».

Въ то же время Фарнгагенъ сообщаетъ о приказѣ имп. Александра, чтобы ни одинъ полякъ не могъ учиться за границей безъ позволенія. Въ февралѣ 1824 г.: въ «Варшавѣ недавно опять сдѣлано много арестовъ по поводу Umtriebe» [1]).

Если въ польскомъ вопросѣ Александръ долженъ былъ самъ убѣждаться въ своемъ прежнемъ заблужденіи, сознаваться себѣ, что онъ не въ состояніи выполнить своихъ плановъ, то въ греческомъ вопросѣ положеніе его было не лучше: онъ долженъ былъ—противъ своихъ личныхъ желаній—уступать принципамъ европейской реакціи, созданію которой онъ столько содѣйствовалъ. Въ свое время онъ сочувствовалъ нравственному возрожденію Греціи и не могъ въ душѣ не признавать справедливыми ея усилій завоевать себѣ національную свободу. Но европейская реакція ставила дѣло иначе: по разнымъ соображеніямъ, направленнымъ въ сущности и противъ Россіи,—именно противъ ея предполагаемыхъ завоевательныхъ плановъ,—эта реакція считала нужнымъ принять въ этомъ дѣлѣ сторону Турціи. Оставленіе грековъ на произволъ судьбы въ ту минуту, когда рѣшалось ихъ будущее существованіе, было дѣломъ величайшей несправедливости; но при всемъ томъ Александръ сталъ противъ грековъ,—онъ далъ увѣрить себя, что возстаніе грековъ есть одна вѣтвь того революціоннаго пожара, тушеніе котораго въ Европѣ Священный Союзъ поставилъ себѣ задачей. Разъ ступивъ на эту дорогу, Александръ считалъ долгомъ оставаться вѣрнымъ своему рѣшенію и отвергать всѣ другія соображенія, говорившія въ пользу грековъ. Это было положеніе до крайности трудное и мучительное для самого Александра: все общественное мнѣніе

[1]) Blätter I, 202, 218, 219, 342; II, 129, 133; III, 23.

образованной Европы высказывалось въ пользу грековъ, за нихъ говорило и обаяніе классической древности и героизмъ ихъ настоящей борьбы; въ Россіи греческое дѣло было популярно съ другой стороны,—это было сочувствіе къ единовѣрцамъ, связаннымъ съ Россіей исконными историческими воспоминаніями и сражавшимся за освобожденіе отъ ига невѣрныхъ. Александръ не могъ не видѣть справедливости этихъ сочувствій и сознательно шелъ наперекоръ имъ: это стоило ему тягостной личной борьбы и новаго недовольства—въ общественномъ мнѣніи Европы и даже въ Россіи. Нѣсколько замѣтокъ, которыя мы находимъ у Фарнгагена, даютъ нѣсколько новыхъ подробностей для этой исторіи.

Въ іюлѣ 1821 года онъ пишетъ: «Странныя извѣстія изъ Греціи... «Австрійскій Наблюдатель» (оффиціальная австрійская газета, руководимая Генцомъ, и выражавшая взгляды Меттерниха) торжествуетъ... Въ обществѣ все еще надѣются на русскаго императора; даже въ Вѣнѣ думаютъ, что онъ двинетъ свои войска (т. е. противъ Турціи, въ защиту грековъ). Ансильонъ полагаетъ, что цензура можетъ дозволять все въ пользу грековъ—надо только остерегаться, чтобы не было ничего непріятнаго для императора Александра».

Въ январѣ 1822 г.: «Въ Москвѣ русскій народъ произвелъ безпокойства, собирался толпами на улицахъ, и громко и сильно выражалъ свое сочувствіе къ грекамъ».

Въ августѣ того же года: «Импер. Александръ малодушенъ, боится со всѣхъ сторонъ, теперь всего больше — возстанія въ Германіи и въ Польшѣ. Меттернихъ отлично умѣетъ этимъ пользоваться и поддерживать это настроеніе; онъ пугаетъ его карбонарами. Русскія ноты по греческому дѣлу, какъ говорятъ, крайне слабы и незначительны. Каподистрія не участвовалъ въ этихъ переговорахъ и не сдѣлалъ никакого рѣшительнаго вмѣшательства, также изъ малодушія и неувѣренности. О русскомъ кабинетѣ говорятъ: les Turcs leur crachent au visage, bientôt les Grecs leur cracheront au visage, ils en auront donc deux fois.— L'indépendance des Grecs est déjà un fait, ce n'est pas une question». Сказанное здѣсь о Каподистріи не совсѣмъ вѣрно; Каподистрія видѣлъ невозможность сдѣлать что-нибудь въ тогдашнемъ положеніи вещей, и сдѣлалъ единственное, что могъ: онъ оставилъ въ это время русскую службу.

Въ сентябрѣ: «Побѣда грековъ надъ Хуршидъ-пашой подтверждается отовсюду. Русскіе и поляки не скрываютъ своей

радости. Австрійцы досадуютъ, хотя и у нихъ нерѣдко высказывается втайнѣ участіе къ грекамъ».

Въ январѣ 1823 года: «Третьяго дня напечатана въ газетахъ декларація Веронскаго конгресса (въ которой участвовалъ и Александръ, и которая рѣзко осуждала греческое возстаніе)... Въ публикѣ единогласное неудовольствіе противъ этой деклараціи. Говорятъ прямо, что это низость, ничтожество, самая наглая ложь и т. д.; такимъ образомъ выражаются даже ультра (крайніе реакціонеры), — какъ я сказалъ, единогласное неудовольствіе. Жалѣютъ о графѣ Бернсторфѣ, которому пришлось подписать подобную вещь. Мѣсто противъ грековъ, какъ полагаютъ, написано австрійцами такъ рѣзко изъ злости противъ императора Александра: они все еще считаютъ его тайнымъ зачинщикомъ этого дѣла, и по крайней мѣрѣ дѣлаютъ ему его нынѣшнюю притворную роль очень горькой».

Въ октябрѣ: «Греки получаютъ все новыя удачи: но они начинаютъ бояться Священнаго Союза больше, чѣмъ самого турецкаго султана».

Въ сентябрѣ 1824 года: «Русскій императоръ, въ предположеніи, что Молдавія и Валахія теперь окончательно очищены турками, назначилъ маркиза Рибопьера посланникомъ въ Константинополь. Говорятъ открыто, что этимъ императоръ признаетъ передъ всей Европой свою слабость и глубоко унижаетъ себя этой чрезмѣрной уступчивостью, которая готова даже принимать фальшивыя показанія за истинныя».

Въ октябрѣ: «Говорятъ, что способъ дѣйствій Александра въ греческомъ дѣлѣ грызетъ ему душу; онъ чувствуетъ, какъ недостойна его роль, и однако не можетъ покинуть ее. La ruine des Grecs l'affligerait sans doute, mais leurs succés l'irritent [1]».

Въ такомъ видѣ представлялась европейскому общественному мнѣнію политическая роль, данная Россіи императоромъ Александромъ. Россія теряла уваженіе, и достоинство ея, высоко поднятое войнами противъ Наполеона, падало отъ ея способа дѣйствій въ греческомъ вопросѣ, отъ ея подчиненія разсчетамъ Австріи, отъ уступчивости наглымъ требованіямъ Турціи, къ которой Россія еще никогда не становилась въ подобное положеніе. Нелюбовь къ Россіи явно выростала, и любопытно сравнить, въ дневникѣ Фарнгагена, эти отголоски общественнаго мнѣнія

[1]) Blätter I, 339, II, 20, 177, 192, 277, 430; III, 134, 146.

Европы за послѣдніе годы императора Александра и за первые годы царствованія имп. Николая. Послѣдній, сколько можно судить по различнымъ отзывамъ Фарнгагена, вызывалъ въ Пруссіи очень враждебное мнѣніе; но энергія, выказанная имъ въ отношеніяхъ къ Турціи, произвела впечатлѣніе въ Европѣ, и Россія снова стала импонировать.

Весь характеръ послѣднихъ годовъ царствованія Александра не былъ способенъ благопріятно дѣйствовать и на само русское общество. Какъ ни мало имѣло оно всегда голоса въ дѣлахъ государства, но въ немъ повидимому стало сказываться сильное недовольство. Насколько мы знаемъ теперь [1869] эту исторію, мы можемъ наблюдать развитіе этого недовольства въ распространеніи тайныхъ обществъ, принимавшихъ все болѣе и болѣе враждебный правительству характеръ. Но внѣ кружка «декабристовъ», намъ до сихъ поръ мало извѣстно настроеніе тогдашняго общества, и сами декабристы, какъ ни было все-таки значительно ихъ число, представляются намъ какимъ-то исключеніемъ, не имѣющимъ связей съ цѣлой массой общества. Тогдашняя литература была слишкомъ нѣма, чтобы по ней можно было судить о дѣйствительномъ состояніи умовъ. Замѣтки Фарнгагена сообщаютъ и здѣсь нѣсколько небезъинтересныхъ указаній, которыя, хотя и отрывочны, но даютъ однако понятіе о настроеніи общества, о распространеніи либерализма и о сильномъ недовольствѣ, возбуждаемомъ дѣйствіями правительства, и иной разъ намекаютъ на обстоятельства, которыя, сколько мы знаемъ, не были упоминаемы до сихъ поръ въ существующихъ разсказахъ объ этомъ времени. Между прочимъ читатель самъ замѣтитъ нѣсколько явныхъ преувеличеній, на которыхъ мы потому и не будемъ останавливаться.

Въ январѣ 1821 г., Фарнгагенъ пишетъ: «Пріѣзжающіе русскіе сильно бранятъ русскіе военные порядки, рабскій педантизмъ, который по ихъ мнѣнію пришелъ къ нимъ изъ Пруссіи. Поэтому они ненавидятъ Пруссію, гдѣ однако это вовсе не такъ дурно, какъ они сами теперь видятъ. (Эти русскіе не совсѣмъ ошибались потому, что порядки были дѣйствительно прусскіе, только старые, которые въ самой Пруссіи были давно брошены, а въ Россіи еще продолжали процвѣтать,—какъ это у насъ случалось и случается очень часто). Они смѣло высказываются въ пользу Неаполя, говорятъ о правахъ народовъ, о необходимости конституціонныхъ учрежденій, которая чувствуется и въ Россіи,

говорятъ, что пребываніе за границей пробудило и простого солдата, и пр. Анекдотъ о полковникѣ Шварцѣ, который ложится на землю, чтобы лучше видѣть, ровно ли солдаты маршируя поднимаютъ ноги, и если замѣтитъ, что кто-нибудь маршируетъ неровно, вызываетъ его изъ строя и плюетъ на него».—Это конечно тотъ самый Шварцъ, изъ-за котораго произошло извѣстное возмущеніе Семеновскаго полка.

Въ февралѣ: «Одинъ молодой русскій, г. Ш., бранитъ въ обществѣ государей, которые унижаются до Schlächterhunden, и называетъ дѣло неаполитанскаго народа справедливымъ дѣломъ».

Въ маѣ: «Русскіе ужасно бранятъ войну» — вѣроятно, рѣчь идетъ о тогдашнихъ военныхъ приготовленіяхъ къ вооруженному вмѣшательству въ итальянское возстаніе.

Въ іюнѣ: «Императоръ Александръ сказалъ въ Варшавѣ одной графинѣ, кажется Потоцкой, что Лайбахскій конгрессъ будетъ послѣднимъ въ этомъ родѣ, потому что здѣсь уже не оказалось общаго согласія государствъ; что теперь каждому государству надо воротиться опять къ прежней системѣ, имѣть въ виду свои собственные интересы, сколько возможно отдѣльно отъ другихъ. Повидимому, императоръ хочетъ изгладить впечатлѣніе, какое онъ замѣчаетъ въ Польшѣ и въ Россіи относительно своей роли; имъ очень недовольны и считаютъ, что онъ далъ себя обмануть Меттерниху».

Въ сентябрѣ: «Полякъ Конарскій, изъ Кракова, полный пламенной республиканской любви къ отечеству, говоритъ противъ властителей (Grossen) и аристократіи. Между поляками и русскими много затаеннаго озлобленія. Говорятъ, что императоръ Александръ находится въ большой тревогѣ и нерѣшительности, что онъ походитъ на Павла, и что общественное направленіе въ Россіи кажется ему опаснымъ».

Въ декабрѣ этого года Фарнгагенъ записываетъ такіе слухи: «Въ концѣ сентября въ Петербургѣ открытъ будто бы заговоръ высшей аристократіи противъ императора; на престолъ хотѣли возвести царствующую императрицу; первое открытіе и заявленіе о заговорѣ сдѣлалъ будто бы Сперанскій. Императоръ уже не совладаетъ съ своими вельможами и жизнь его не въ безопасности. Говорятъ, что онъ хочетъ совсѣмъ уничтожить старое боярское дворянство и сохранить только выслуженное. На обратномъ пути изъ Витебска въ него, говорятъ, бросали камнями».

Далѣе, въ августѣ 1822 г.: «Нѣсколько молодыхъ русскихъ говорятъ здѣсь въ самомъ рѣшительномъ революціонномъ духѣ времени, смѣются надъ кабинетами и конгрессами, ждутъ полнѣйшаго переворота во всѣхъ государствахъ, предсказываютъ величайшія событія»...

«Здѣшніе русскіе, когда бываютъ въ своемъ кругу, не скрываютъ своей ненависти къ Австріи, съ ожесточенными насмѣшками нападаютъ на ея учрежденія, ея армію, ея педантизмъ; бѣдному эрцъ-герцогу Францу сильно достается».

Фарнгагенъ записываетъ мнѣніе одного русскаго, который находилъ умъ имп. Александра совершенно обыкновеннымъ... «Онъ любитъ только посредственность; настоящій геній, умъ и талантъ пугаютъ его, и онъ, только противъ воли и отворотивъ лицо, употребляетъ ихъ въ крайнихъ случаяхъ. У него никогда не бываетъ ни минуты искренности и простоты, онъ всегда насторожѣ. Самыя существенныя его свойства—тщеславіе и хитрость, или притворство», и т. д. [1])

Въ сентябрѣ 1822 г. (въ Тёплицѣ) Фарнгагенъ опять пишетъ: «Пріѣзжаетъ много русскихъ и поляковъ; они говорятъ чрезвычайно смѣло и свободно, особенно русскіе»...

«Князь Голицынъ говорилъ мнѣ о крѣпостныхъ отношеніяхъ въ Россіи, что большая часть крупныхъ помѣщиковъ склонны освободить своихъ крестьянъ; но императоръ думаетъ теперь только о томъ, чтобы обезпечить себя отъ революціонеровъ и совершенно оставилъ конституціонные планы, если когда-нибудь серьезно имѣлъ ихъ. Внутри Россіи большое развитіе всякаго рода культуры, но управленіе и суды въ печальномъ состояніи, по недостатку въ хорошихъ учрежденіяхъ и хорошихъ чиновникахъ»...

«Въ Россіи дѣйствительно закрыты всѣ масонскія ложи; думаютъ, что Меттернихъ напугалъ императора Александра».

Въ октябрѣ: «По письмамъ изъ Вѣны, имп. Александръ жилъ въ Вѣнѣ (во время поѣздки на Веронскій конгрессъ) очень уединенно и никого почти не видѣлъ... Полагаютъ, что онъ долженъ быть въ очень печальномъ настроеніи. Новые толки о боль-

---

[1]) Blätter I, 256, 296, 327, 349, 380: II, 181, 188. Между прочимъ, любопытныя разсужденія одного русскаго объ Австріи приведены у Фарнгагена I, 347. Этотъ русскій хорошо понималъ положеніе вещей въ Австріи, и предвидѣлъ будущее паденіе Меттерниховской системы управленія (въ 1821 году).

шомъ неудовольствіи военныхъ въ Россіи. Гвардія и другіе полки, бывшіе во Франціи, хотятъ уничтоженія тѣлесныхъ наказаній; младшіе офицеры оказываютъ неповиновеніе и неуваженіе къ старымъ генераламъ» и проч. [1]).

Извѣстія объ этомъ неудовольствіи въ гвардіи и арміи приводятся нѣсколько разъ у Фарнгагена въ теченіе 1821—1825 годовъ: военные высказывали неудовольствіе, оказывали сопротивленіе властямъ; разъ были разжалованы за подобныя вещи даже два генерала; на одномъ обѣдѣ, когда предложенъ былъ тостъ за императора офицеры перевернули стаканы и т. п. [2]).

Источникъ этого неудовольствія отчасти заключался въ чисто военныхъ поводахъ, какъ это было напр. въ случаѣ съ Семеновскимъ полкомъ, гдѣ новыя, болѣе мягкія формы дисциплины, введенія которыхъ желали одинаково и молодые офицеры и солдаты, встрѣтились со старой суровой дисциплиной; но съ другой стороны это неудовольствіе имѣло и свою политическую причину.

Въ запискахъ Фарнгагена не забыта и семеновская исторія. Въ октябрѣ 1823 года, онъ записываетъ слѣдующіе ея результаты, достовѣрность которыхъ мы не имѣемъ возможности провѣрить: «Полковникъ Шварцъ, противъ жестокостей котораго возмутился Семеновскій полкъ снова получилъ мѣсто. Изъ солдатъ этого полка, размѣщенныхъ тогда по армейскимъ полкамъ, теперь не осталось въ живыхъ ни одного — такъ утверждаютъ русскіе, хорошо знающіе дѣло. Говорятъ, что всѣ они были засѣчены и поводы къ этому легко сумѣли найти. Говорятъ, императоръ не хотѣлъ когда-нибудь слышать еще объ этихъ людяхъ» [3])...

Извѣстія изъ Россіи были подъ конецъ все смутнаго и мрачнаго характера. Въ маѣ 1823 года, Фарнгагенъ упоминаетъ о перемѣнахъ въ ближайшей обстановкѣ императора, объ отставкѣ кн. Волконскаго, Меншикова, Гурьева и пр. «Императоръ, какъ говорятъ, очень недовѣрчивъ и суровъ. Говорятъ о большомъ столкновеніи партій въ Петербургѣ, гдѣ все легко переходитъ въ заговоръ».

Въ октябрѣ 1824 г.: «Здоровье императора (путешествовавшаго тогда на югъ Россіи) возбуждаетъ серьёзныя опасенія.—Рус-

---

[1]) Blätter II, 191, 192, 201, 213.

[2]) Blätter I, 342; II, 134, 145, 146, 303.

[3]) Blätter II, 430.

скіе бранятъ его; во всей имперіи господствуетъ большое неудовольствіе, особенно между знатными и въ войскѣ» [1]).

Въ такомъ мрачномъ видѣ представлялось вообще внутреннее состояніе Россіи къ концу царствованія императора Александра. По тому, что мы знаемъ до сихъ поръ объ этой сторонѣ исторіи того времени, нельзя было составить точнаго понятія объ этомъ предметѣ; показанія Фарнгагена также, конечно, должны быть провѣрены, но вообще, кажется, надо признать, что общественное недовольство въ послѣдніе годы правленія Александра было сильнѣе, чѣмъ у насъ обыкновенно представляютъ. Если это такъ, тогда движеніе «декабристовъ» получаетъ больше связи съ общимъ состояніемъ общества, чѣмъ можно было думать.

Записки Фарнгагена сообщаютъ наконецъ интересныя подробности о декабрѣ 1825 года. Изъ нихъ видно, какъ представлялись русскія событія въ Германіи, какое дѣйствіе они произвели въ правительствѣ и обществѣ; въ нихъ найдутся и нѣкоторыя частности для исторіи самыхъ событій. Смерть императора Александра произвела въ Европѣ, и особенно въ Германіи, очень сильное впечатлѣніе. Во первыхъ, это было политическое событіе великой важности, потому что сходилъ со сцены одинъ изъ главнѣйшихъ членовъ Священнаго Союза, представитель цѣлой политической системы,—и можно было ожидать большого переворота въ всемъ политическомъ характерѣ континентальной Европы. Во-вторыхъ, эта смерть вызывала оцѣнку дѣятельности императора, вызывала воспоминанія о немъ какъ человѣкѣ, въ судьбѣ котораго блестящая слава соединялась съ тяжелыми испытаніями и страданіями внутренней борьбы. Эти воспоминанія примиряли или по крайней мѣрѣ смягчали тѣ стороны его послѣдней дѣятельности, которыя могли вызывать только осужденіе. Такое впечатлѣніе передаетъ и Фарнгагенъ.

Мы прослѣдимъ его извѣстія, довольно полно отражающія ходъ дѣла. Извѣстно, къ какимъ затрудненіямъ повело то обстоятельство, что вопросъ о престолонаслѣдіи рѣшенъ былъ имп. Александромъ втайнѣ отъ общества, которое было, вслѣдствіе того, убѣждено, что естественнымъ преемникомъ Александра будетъ в. кн. Константинъ. Читателямъ извѣстно, конечно, изъ книги барона Корфа, какъ давно опредѣлилось это рѣшеніе Александра, вслѣдствіе того, что в. кн. Константинъ самъ отка-

---

[1]) Blätter II, 342; III, 146.

зывался отъ престола, и какъ давно это рѣшеніе сообщено было и в. кн. Николаю. Въ дипломатическихъ кругахъ знали объ этой тайнѣ; но такъ какъ рѣшеніе имп. Александра не было сопровождаемо никакимъ явнымъ оффиціальнымъ актомъ, и объ этомъ вопросѣ никогда потомъ не поднималось рѣчи, то мало-по-малу впечатлѣніе изгладилось, и эти предположенія были оставлены: преемникомъ Александра стали вообще считать в. кн. Константина. Эта увѣренность раздѣляема была даже въ высшемъ русскомъ кругу людьми, которымъ не было неизвѣстно о рѣшеніи имп. Александра. Въ декабрѣ 1823 года Фарнгагенъ заноситъ въ свой дневникъ отзывы о в. кн. Николаѣ и замѣчаетъ: «Въ Россіи не сомнѣваются, что послѣ Александра на престолъ взойдетъ Константинъ, а не Николай, какъ у насъ часто воображали» [1]. Изъ этихъ словъ видно, что упомянутое рѣшеніе имп. Александра было очень извѣстно въ берлинскомъ дипломатическомъ обществѣ, къ которому принадлежалъ Фарнгагенъ. Черезъ годъ, въ декабрѣ 1824, онъ записываетъ слова кн. Козловскаго, который дѣлалъ такія предположенія о будущемъ: «Кн. Козловскій говорилъ мнѣ, что по смерти имп. Александра, съ новымъ правителемъ, кто бы онъ ни былъ, въ первый разъ въ Россіи будутъ говорить о правахъ, если не народа, то аристократіи, и тотъ, кто захочетъ имѣть престолъ, долженъ будетъ на это согласиться». Такимъ образомъ, кн. Козловскій также не былъ увѣренъ въ престолонаслѣдіи. Черезъ нѣсколько дней Фарнгагенъ говоритъ съ нимъ объ одномъ русскомъ дипломатѣ, о которомъ кн. Козловскій предполагалъ, что онъ пойдетъ впередъ и «при Константинѣ навѣрно будетъ министромъ иностранныхъ дѣлъ» [2].

Переходимъ теперь къ извѣстіямъ Фарнгагена о декабрѣ 1825 году, и его послѣдствіяхъ.

«Вчера—пишетъ онъ 14-го декабря н. ст.—пришло сюда отъ генеральнаго консула Юліуса Шмидта изъ Варшавы къ графу Бернсторфу извѣстіе, что императоръ Александръ умеръ (1-го декабря н. ст.) въ Таганрогѣ, на Азовскомъ морѣ. Король былъ очень пораженъ и прослезился, но потомъ выразилъ надежду, что извѣстіе можетъ быть ложно, или что дѣло идетъ не объ императорѣ, а объ императрицѣ. Сегодня газета еще не должна

1) Blätter II, 457—458.
2) Blätter III, 185, 189.

была ничего объявлять. Но посланники отправили извѣстіе дальше съ эстафетами или курьерами. Бумаги на нашей биржѣ вчера же упали на одинъ процентъ. Извѣстіе это приводитъ въ движеніе весь городъ.... Русскій посланникъ надѣлъ уже трауръ. При дворѣ все находится въ мрачномъ, натянутомъ настроеніи.

«В. кн. Константинъ готовится въ Варшавѣ къ скорому отъѣзду въ Петербургъ, съ нимъ в. кн. Михаилъ, но в. кн. Николай именно находится въ Петербургѣ. Не сомнѣваются, что императоромъ будетъ Константинъ, и потому не свободны отъ безпокойства: онъ страшно ненавидитъ пруссаковъ и нисколько этого не скрываетъ; отъ него не ждутъ ничего дружелюбнаго. Боятся также, что онъ объявитъ императрицей свою супругу, графиню Ловичъ, и тѣмъ поставитъ въ непріятное положеніе супругу в. кн. Николая. Но умеръ ли съ Александромъ и Священный Союзъ, или онъ будетъ жить и дальше?—въ этомъ послѣднемъ очень сомнѣваются.

«Господинъ Кампцъ первый сообщилъ мнѣ это извѣстіе. «Проклятое извѣстіе!» воскликнулъ онъ. Дѣйствительно, теперь многое стоитъ на картѣ. Затрудненія Меттерниха увеличиваются, вся система можетъ рухнуть?

«Король велѣлъ своему сыну, принцу Вильгельму, быть готовымъ къ отъѣзду въ Петербургъ; онъ отправится, какъ только будетъ извѣстно, кто императоръ.

«Мнѣніе, уже существовавшее прежде, что в. кн. Константинъ отказался отъ наслѣдованія престола, какъ говорятъ, не совсѣмъ лишено основанія. Фельдмаршалъ графъ Гнейзенау, только что пріѣхавшій сюда изъ Силезіи, увѣряетъ, что государственный канцлеръ князь Гарденбергъ самъ говорилъ ему однажды, что Константинъ сдѣлалъ это отреченіе по случаю брака нашей принцессы Шарлотты съ его братомъ Николаемъ, въ пользу послѣдняго. Но въ Россіи это не сдѣлало бы ничего, если бы даже это и было дѣйствительно такъ, что еще очень подлежитъ сомнѣнію.

«Въ Literat. Konversationsblatt недавно было замѣчено, что въ прусскихъ календаряхъ в. кн. Николай былъ показанъ какъ преемникъ Александра. Этого нѣтъ въ нѣсколькихъ календаряхъ, въ которыхъ искали; но это указаніе, если оно и ложно, въ настоящую минуту получаетъ для Пруссіи очень непріятное значеніе и можетъ страшно повредить намъ у Константина.

«Извѣстіе о смерти Александра было здѣсь уже третьяго дня вечеромъ; въ 8 часовъ гр. Бернсторфъ доставилъ его королю, а полчаса спустя графу Алопеусу» (русскому посланнику).

Черезъ два дня (16-го дек. н. ст.) Фарнгагенъ пишетъ:

«Графъ Бернсторфъ говорилъ мнѣ, что в. кн. Константинъ еще не выѣхалъ изъ Варшавы, а только послалъ (въ Петербургъ) своего брата Михаила; еще ничего рѣшительно неизвѣстно о томъ, кто взойдетъ на престолъ—извѣстіе объ этомъ можетъ придти только черезъ нѣсколько дней. Бернсторфъ признается, что вся прежняя политика кончается, вся система уничтожена, и если будетъ продолжаться, то всѣ нити надо будетъ завязывать вновь. Онъ поручаетъ мнѣ написать статью объ Императорѣ Александрѣ, которую онъ хочетъ представить королю и потомъ напечатать въ «Staatszeitung»; очень трудно, по тому роду, въ какомъ поставлена задача!

«Въ городѣ господствуетъ величайшее смущеніе (Bestürzung): думаютъ, что идетъ дѣло о спокойствіи Европы, что Пруссіи прежде всѣхъ грозитъ война. В. кн. Константинъ ненавидитъ пруссаковъ вообще, и въ особенности кронпринца, который, говорятъ, глубоко оскорбилъ его въ прежнее время своими остротами. Гр. Бернсторфъ тоже говоритъ, что отъ него нечего ждать хорошихъ отношеній. Биржа была въ большомъ безпокойствѣ; бумаги сильно падаютъ... Король очень мраченъ; при дворѣ все въ боязливомъ ожиданіи.

«Фельдмаршалъ графъ Гнейзенау говоритъ, что смерть Александра есть такая большая потеря для міра, что еслибъ только было возможно, онъ отдалъ бы ему многіе или немногіе годы, которые еще суждены ему [1]).

«Графъ Бернсторфъ говоритъ мнѣ, что дѣйствительно при бракѣ принцессы Шарлотты со стороны Константина сдѣланъ

---

[1]) Нѣсколько дней спустя (3-го янв. н. ст. 1826) Фарнгагенъ записываетъ слова графа Зичи (Zichy),—«что для Александра истинное счастье, что онъ умеръ прежде, чѣмъ греческое дѣло пришло къ разрѣшенію,—котораго онъ старательно хотѣлъ избѣгнуть путешествіемъ на югъ въ то самое время, когда объ этомъ шла рѣчь на петербургскихъ конференціяхъ. Такое разрѣшеніе этого дѣла, что онъ совершенно бы не хотѣлъ помочь грекамъ, запятнало бы его славу; дѣятельная помощь имъ разрушила бы его заботу объ европейскомъ мирѣ.—Александръ выдерживалъ самую несчастную войну между двумя направленіями, а ему нельзя было бы откладывать рѣшенія на долго» (IV, 4).

былъ родъ отреченія отъ наслѣдованія престола, но что теперь онъ мало обратитъ на это вниманія.

«Русскихъ видятъ уже въ Кёнигсбергѣ, въ Данцигѣ, въ Берлинѣ; считаютъ уже за вѣрное, что они потребуютъ отъ насъ балтійскихъ провинцій и Помераніи».

Странно видѣть, въ самомъ дѣлѣ, какой страхъ напалъ тогда на Пруссію. Самыя серьёзныя опасенія распространены были не только въ обществѣ, но и въ правительственныхъ кругахъ. Государственные люди раздѣляли страхъ и высказывали раскаяніе за прежнія ошибки и беззаботность Пруссіи: одни боялись за рейнскія провинціи, другіе жаловались на упадокъ значенія Пруссіи въ союзномъ сеймѣ, гдѣ она подчинялась Австріи, теряя довѣріе и авторитетъ внѣ и внутри. «Мы возились съ жалкими дѣлами о происках,—говорили другіе,—мы удалили сильные характеры и таланты, и думали не о дѣлѣ, а о случайныхъ милостяхъ двора...».

Наконецъ, 18-го декабря н. ст. пришло оффиціальное извѣстіе о смерти Александра изъ Петербурга и появилось на другой день въ газетахъ; неоффиціально сообщалось и о присягѣ в. кн. Николая Константину, которому присягнуло и войско.

«Но сегодня, — записываетъ Фарнгагенъ 19-го, — по всему городу распространилось извѣстіе, что в. кн. Николай принялъ эту мѣру прежде, чѣмъ имѣлъ извѣстіе отъ Константина изъ Варшавы, что это извѣстіе пришло тотчасъ послѣ присяги и изъ него увидѣли, что Константинъ отклоняетъ русскую корону и хочетъ быть только королемъ польскимъ, и что поэтому Николай есть русскій императоръ... Большинство умныхъ людей увѣрено, что Константинъ какъ польскій король былъ бы для Пруссіи еще худшимъ сосѣдомъ, чѣмъ какъ русскій императоръ...

«Въ обществѣ слышатся самыя рѣзкія, безпощадныя сужденія о всей нашей государственной роли, особенно относительно дѣлъ, которыя теперь заставляютъ оглянуться на насъ самихъ. Находятъ, что король нерѣшителенъ, заботится только о мелочахъ, государственные люди напуганы или равнодушны; жалуются, что ничего не предвидѣно, ни о чемъ не имѣютъ яснаго представленія». Находили вообще, что если бы Пруссіи предстояла война, то Пруссія оказалась бы не въ лучшемъ положеніи, чѣмъ была въ 1806 году.

«Да, да,—говорили офицеры—нашъ король можетъ испытать еще разъ то же самое, и какъ тогда долженъ былъ уходить

отъ русскихъ въ Саарбрюкенъ» (на французской границѣ). И опять раздавались жалобы на то, что нѣтъ государственныхъ людей съ умомъ и талантомъ, и что у кого было то или другое, тѣмъ только раньше приходилось идти въ отставку.

12-го (24-го) декабря, Фарнгагенъ записываетъ въ дневникѣ новыя извѣстія и предположенія о русскихъ дѣлахъ:

«Въ Вѣнѣ смерть императора Александра произвела большое впечатлѣніе, и государственныя бумаги сильно упали...

«Здѣсь все еще господствуетъ неизвѣстность. Говорятъ, что в. кн. Константинъ отказывается принимать престолъ и продолжаетъ оставаться въ Варшавѣ. Говорятъ, что онъ держится прежняго отреченія; другіе думаютъ, что причина отказа есть обѣтъ, данный имъ въ страхѣ въ 1801 году... Нѣкоторые полагаютъ, что онъ не хочетъ быть императоромъ изъ боязливости; другіе думаютъ, что онъ слишкомъ поторопился и предположивъ, что Николай уже взялъ въ руки правленіе, выбралъ свою теперешнюю роль, изъ которой не вдругъ можетъ выйти. На своемъ отреченіи онъ упорно настаиваетъ, и велѣлъ посадить подъ арестъ многихъ генераловъ и другихъ людей, которые называли его «ваше величество...». Въ Петербургѣ, повидимому, господствуетъ сильное недоразумѣніе (Unsicherheit) и боязнь...

«Здѣсь (въ Берлинѣ) находятъ, что въ политическомъ отношеніи было бы лучше, если бы престолъ получилъ Константинъ». При Николаѣ опасались, конечно, слишкомъ большого вліянія на дѣла Пруссіи со стороны русскаго двора [1]).

16-го (28-го) декабря въ Берлинѣ все еще не было окончательныхъ извѣстій:

«Здѣсь все еще неизвѣстность и озабоченность. Ходятъ самыя противорѣчащія извѣстія и никто не можетъ объяснить себѣ хода вещей. Съ одной стороны объявляютъ, что когда изъ Петербурга отправилась депутація отъ сената для поздравленія Константина, онъ послалъ ей навстрѣчу г. Моренгейма сказать ей, чтобы она тотчасъ же ворочалась назадъ, что онъ не хочетъ быть императоромъ и не совѣтуетъ имъ показываться ему въ Варшавѣ. Съ другой стороны Алопеусъ (русскій посланникъ въ Берлинѣ), который долженъ знать, что̀ дѣлаетъ, сегодня черезъ прусскую газету приглашаетъ всѣхъ присут-

---

[1]) Ср. Blätter III, 229, 428.

ствующихъ здѣсь русскихъ—1 января присягать въ посольской церкви русскому императору Константину. Нѣкоторые думаютъ, что Константинъ играетъ роль отреченія, чтобы его, такъ сказать, вынудили принять корону. Другіе думаютъ, что онъ изъ страха, что въ Петербургѣ все уже кончено безъ него, поспѣшно подчинился, чтобы пріобрѣсти, по крайней мѣрѣ, эту заслугу» и пр... Объясняли разными соображеніями и медленность Николая принять корону.

«Князь Меттернихъ, какъ меня увѣряютъ изъ хорошихъ источниковъ, уже издавна принималъ всѣ мѣры, чтобы привлечь на свою сторону в. кн. Константина и ему, говорятъ, удалось это; въ числѣ окружающихъ великаго князя Меттернихъ также, говорятъ, имѣетъ рѣшительныхъ друзей».

18-го (30-го) декабря новыя анекдотическія подробности въ дневникѣ.

«Изъ Варшавы извѣщаютъ, что Константинъ на всѣхъ письмахъ, которыя приходятъ къ нему, какъ императору, вычеркиваетъ свое имя, ставитъ имя брата своего Николая и нераспечатанными отсылаетъ къ нему. Этого способа дѣйствій не понимаютъ, не могутъ объяснить себѣ ни цѣли, ни основаній его. Если бы онъ совершенно не хотѣлъ короны, — такъ говорятъ здѣсь,—то ему надо было бы принять совсѣмъ другія мѣры, не оставаться также намѣстникомъ и генералиссимусомъ въ Польшѣ и т. д.

«В. кн. Константинъ велитъ продолжать еще до 19-го января молебны о здравіи Александра, какъ будто тотъ былъ еще живъ. Это не простая странность, говорятъ здѣшніе дипломаты; здѣсь скрывается нѣчто большее» [1]).

Упомянувъ о томъ, что в. кн. Михаилъ снова былъ посланъ въ Варшаву, Фарнгагенъ прибавляетъ извѣстіе изъ Варшавы, что, по свѣдѣніямъ изъ Петербурга, къ Константину хотѣлъ ѣхать и самъ в. кн. Николай.

21-го декабря (2-го января) въ Берлинѣ прошелъ уже слухъ, что король и русскій посланникъ получили оффиціальное извѣщеніе, что в. кн. Николай, послѣ упорныхъ отказовъ Константина, вступаетъ, наконецъ, на престолъ. На другой день это извѣстіе подтвердилось, и въ Берлинѣ узнали о вступленіи на престолъ имп. Николая.

---

[1]) Blätter III, 418—431.

Упомянутое нами выше извѣстіе въ «Konversationsblatt», что въ одномъ прусскомъ календарѣ в. кн. Николай показанъ былъ впередъ преемникомъ Александра, произвело цѣлую суматоху въ правительственныхъ сферахъ; о несчастномъ календарѣ началась цѣлая траги-комическая исторія, за которой Фарнгагенъ слѣдитъ въ своемъ дневникѣ. Прежде всего государственные люди сообразили, что этотъ календарь можетъ скомпрометтировать всю Пруссію, показывая наслѣдникомъ престола Николая, когда всѣ ожидали, что императоромъ будетъ Константинъ. Начали отыскивать календарь; долго его не находилось, наконецъ въ газетахъ указано было, что это извѣстіе находится въ одномъ провинціальномъ календарѣ, который былъ частнымъ изданіемъ нѣкоего Тровицша. Потребовали отчета у цензора и издателя, какимъ образомъ былъ допущенъ такой недосмотръ,—хотя его съ самаго начала можно было объяснить давнишнимъ слухомъ объ отреченіи Константина въ пользу Николая (какъ это впослѣдствіи и оказалось). Къ пущему смущенію государственныхъ людей, исторія о календарѣ перешла во французскія газеты, гдѣ объ этомъ поднялись толки, догадки и соображенія. Прусскіе министры увеличили еще нелѣпость этого дѣла изданіемъ сурового министерскаго приказа (подписаннаго Шукманномъ и даже Бернсторфомъ, который все-таки былъ человѣкъ разсудительный), который запрещалъ въ Пруссіи «Konversationsblatt» вслѣдствіе «умышленной лжи» въ извѣстіи о календарѣ,—когда на дѣлѣ отыскался уже и самый календарь (Тровицша). Публика была очень недовольна этимъ запрещеніемъ, которымъ министры «мстили издателю за собственную глупость». Эта глупость оказалась потомъ еще больше, потому что показаніе календаря о русскомъ престолонаслѣдіи оправдалось фактически, когда на престолъ вступилъ дѣйствительно Николай. Черезъ мѣсяцъ 2-го (14-го) января, Фарнгагенъ пишетъ въ дневникѣ: «Теперь открыто, что редакторъ календаря Тровицша назвалъ в. кн. Николая русскимъ наслѣдникомъ совершенно благонамѣренно, безъ всякаго дурного умысла, просто, чтобы дать своей книжкѣ большую точность, потому-что ему не разъ случалось объ этомъ слышать»... Въ то же время оказалось, что календарь Тровицша не былъ единственный, помѣстившій это свѣдѣніе о русскомъ престолонаслѣдіи; то же показаніе находилось еще въ одномъ кведлинбургскомъ календарѣ и въ одномъ генеалогическомъ руководствѣ, напечатанномъ въ Галле.

По словамъ Фарнгагена, берлинскій дворъ, по фамильнымъ интересамъ, показывалъ большое сочувствіе къ новому обороту русскихъ дѣлъ; но въ политическомъ отношеніи этотъ оборотъ многимъ казался самымъ неблагопріятнымъ. Опасались, что Россія будетъ еще требовательнѣе, а прусскій дворъ уступчивѣе, и что отъ этого будутъ страдать прусскіе интересы. Оффиціальные акты, пришедшіе вмѣстѣ съ извѣстіемъ, подвергались комментаріямъ, и объявленіе Константина о причинахъ его отказа вызывало рѣзкія насмѣшки [1]). Разсчитывая будущій ходъ дѣлъ, вспоминали, что въ Берлинѣ (въ одномъ изъ дворцовъ) сохраняется оконное стекло, на которомъ в. кн. Николай, во время своего послѣдняго пребыванія въ Берлинѣ, начертилъ слова: «bonheur aux Grecs!» — въ то время, когда имп. Александръ имѣлъ на греческое дѣло совсѣмъ другіе взгляды. Прусскій кронпринцъ прибавилъ къ этимъ словамъ на томъ же стеклѣ и свое согласіе. Несмотря на то, думали, однако, что «если новый императоръ заступится за грековъ, то его побудятъ къ этому не его склонности, а требованія минуты»: мы видѣли, что образъ дѣйствій Александра въ греческомъ вопросѣ давно уже считали невозможнымъ и унизительнымъ для Россіи.

Вмѣстѣ съ актомъ отреченія Константина, манифестомъ о вступленіи на престолъ Николая и другими документами пришли въ Берлинъ (4-го янв. 1826, н. ст.) и первыя неясныя извѣстія, что въ Петербургѣ произошла «кровавая сцена».

На другой день, Фарнгагенъ записываетъ:

«Въ нашихъ газетахъ (5-го января) подробно разсказывается все, относящееся ко вступленію на престолъ имп. Николая, но ничего не говорится о томъ происшествіи, при которомъ погибъ Милорадовичъ; наша публика очень озадачена этимъ, такъ какъ боятся, что правительство можетъ имѣть и другія, болѣе непріятныя извѣстія. Новыя колебанія, новыя опасенія». Полагали, что въ Петербургѣ можетъ начаться новое кровопролитіе; очень интересовались тѣмъ, какъ принято будетъ это дѣло въ Москвѣ и въ войскѣ, стоящемъ на турецкой границѣ.

Принцъ Вильгельмъ, какъ было предположено, отправился въ Петербургъ черезъ Варшаву, гдѣ на два дня долженъ былъ остановиться у Константина. Король велѣлъ ему не торопиться въ дорогѣ; боялись, что онъ можетъ пріѣхать слишкомъ рано, когда

---

[1]) Blätter IV, 7—8.

новый оборотъ дѣлъ еще не достаточно установился. Австрія посылала въ Россію эрцгерцога Фердинанда Эсте. Въ публикѣ, по словамъ Фарнгагена, «эти поздравительныя путешествія принцевъ казались для многихъ жалкимъ признакомъ того, какое преобладаніе признаютъ за Россіей; находятъ неблагоразумнымъ такъ предупредительно сознаваться тамошнему двору, какъ сильно его боятся. Франція и Англія вовсе не посылаютъ принцевъ»...

Стали, наконецъ, приходить болѣе подробныя извѣстія изъ Петербурга. «Происшествія въ Петербургѣ были, говорятъ, очень серьезныя; между лицами, извѣстными теперь за руководителей, называютъ самыя знатныя имена. Но вообще думаютъ, что эти молодые люди только подставлены, и что за ними скрываются совсѣмъ другія лица. Въ нѣсколько дней неизвѣстности при дворѣ быстро составились партіи или обнаружились давно существовавшія. Вся русская аристократія, какъ говорятъ, въ полномъ броженіи, потребность и желаніе имѣть конституцію простираются очень далеко. Графъ Алопеусъ говоритъ даже, что послѣднія петербургскія событія были подготовлены уже давно; въ мартѣ долженъ былъ вспыхнуть заговоръ противъ Александра, но неожиданная перемѣна престола привела дѣло къ этой несозрѣвшей попыткѣ». Опасались, что произойдетъ еще что-нибудь.

«Здѣсь были очень удивлены тѣмъ,—замѣчаетъ Фарнгагенъ—что имп. Николай поспѣшилъ принесть присягу, что будетъ свято хранить конституціонную хартію, данную полякамъ Александромъ. Для русскихъ — какъ говорятъ здѣсь — страшно завидно, что Польша, въ сущности завоеванная страна, имѣетъ все-таки родъ конституціи, а они никакой».

6-го (18-го) января въ дневникѣ написано:

«Извѣстія изъ Россіи становятся все тревожнѣе... Народъ былъ дѣятельнѣе, чѣмъ солдаты, всѣ кричали о конституціи, ходъ дѣла долго оставался сомнительнымъ, все стояло на картѣ... Въ воззваніи новаго правительства о происходившихъ волненіяхъ встрѣчается выраженіе: «erbärmliche Wahrheiten», которое даетъ здѣсь поводъ къ разнымъ вопросамъ и насмѣшкамъ».

Черезъ нѣсколько дней:

«Существовалъ формальный заговоръ... Само правительство представляетъ дѣло обширнымъ и значительнымъ, и другія правительства еще увеличиваютъ его важность, потому что теперь какъ будто снова оправдываются всѣ мѣры ультраконсерваторовъ, уже принятыя ими и будущія. У насъ съ новой

силой ожило кёпеницкое слѣдствіе. (Въ крѣпости Кёпеникѣ сидѣла нѣмецкая молодежь, обвиняемая въ демагогическихъ происках). Въ Вѣнѣ отлично этимъ пользуются. Что можетъ быть желаннѣе для Меттерниха какъ видѣть, что новый императоръ начинаетъ свое правленіе среди всѣхъ ужасовъ революціи и возстанія. Онъ обойдетъ его еще лучше чѣмъ Александра» и т. д. «Какой бы оборотъ ни приняло дѣло (приводитъ Фарнгагенъ чьи-то слова), остается несомнѣннымъ тотъ фактъ, что движеніе, охватившее до сихъ поръ почти всѣ народы, теперь обнаруживается и въ Россіи.

«Здѣсь (въ Берлинѣ) пущенъ въ ходъ глупый придворный анекдотъ, что многіе солдаты, которыхъ спрашивали послѣ, что собственно значилъ ихъ крикъ «конституція», отвѣчали: «жена Константина». Этимъ очень довольны. Но какъ нелѣпо обманывать себя подобными вещами! Вандейцы, солдаты нашихъ войнъ за освобожденіе, могли бы точно также послужить предметомъ для подобныхъ насмѣшекъ.

«Меттернихъ тотчасъ велѣлъ помѣстить въ «Австрійскомъ Наблюдателѣ» то мѣсто дипломатической ноты, гдѣ императоръ Николай обѣщаетъ оставаться вѣрнымъ политической системѣ Александра. Мы съ своей «Staatszeitung» не рѣшились бы на такую смѣлость»!

Русскія событія, какъ видимъ, сильно занимали общество. Люди прогрессивныхъ мнѣній, даже нѣкоторые изъ прусскихъ министровъ, находили, что здѣсь еще разъ высказывается общее европейское движеніе, и что государямъ слѣдуетъ стать во главѣ этого движенія; съ другой стороны, реакціонеры старались воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы сдѣлать монархизмъ еще болѣе абсолютнымъ, стѣснить конституціонный принципъ и свободу въ государствѣ и въ церкви.

Изъ Варшавы получались извѣстія, что вел. кн. Константинъ самымъ страшнымъ образомъ негодовалъ на происки революціонеровъ, бранилъ карбонаровъ и нѣмецкій буршеншафтъ и полагалъ, что не слѣдуетъ пускать за границу ни одного русскаго или поляка, чтобы не заносить этого яда—въ особенности изъ нѣмецкихъ университетовъ. Берлинскіе реакціонеры, какъ увидимъ, воспользовались этой темой.

Въ теченіе февраля дневникъ продолжаетъ безпрестанно возвращаться къ русскимъ дѣламъ, которыя представляются въ самомъ мрачномъ видѣ.

29-го января (10-го февраля н. ст.): «Изъ Петербурга пишутъ, что нѣтъ почти русской знатной фамиліи, изъ членовъ которой не былъ бы кто-нибудь замѣшанъ въ заговорѣ»...

«Изъ Неаполя пишутъ, что событія въ Россіи произвели особенно сильное впечатлѣніе на австрійскихъ офицеровъ въ Неаполѣ; многіе открыто выражаютъ желаніе, чтобы революція не оказалась совсѣмъ неудачной».

1-го (13-го) февраля: «Частныя письма изъ Петербурга изображаютъ тамошнее состояніе, какъ состояніе ужаса, страха и самаго глухого молчанія. Каждый думаетъ о другомъ, что онъ замѣшанъ. Все знатное общество въ смущеніи» и пр.

6-го (18-го) февраля: «Статья въ «Times», что Веллингтонъ повезетъ въ Россію предложенія, которыя поведутъ къ признанію грековъ».

«Изъ Петербурга приходятъ самыя дурныя извѣстія; слѣдствіе получаетъ все большую важность; почти боятся продолжать его. Императоръ не знаетъ больше кому довѣрять... Правительство изумлено въ особенности тѣмъ, что въ заговорѣ замѣшаны все люди знатныхъ фамилій; наши аристократы sind wie auf's Maul geschlagen, — до сихъ поръ они хвастались тѣмъ, что аристократія есть опора престола».

Одно частное письмо говорило, что боятся новаго возстанія революціонеровъ на 12-е марта, когда выставлено будетъ тѣло имп. Александра.

Въ дневникѣ замѣчено объ арестованіи въ Варшавѣ Кюхельбекера, переодѣтаго нищимъ.

11-го (23-го) февраля: «Изъ Россіи все еще дурныя извѣстія! Въ кровавомъ столкновеніи погибли, какъ говорятъ, тысячи людей, и тѣла ихъ просто брошены въ Неву. Изъ высшихъ источниковъ сообщаютъ, что имп. Николай строго накажетъ революціонеровъ, но также и уступитъ имъ, именно дастъ что-нибудь конституціонное и вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ вести войну съ Турціей».

Кампцъ не остался безъ дѣла при этомъ случаѣ. Въ началѣ февраля французская газета «Constitutionnel» нарушила секретъ его занятій, объявивъ, что онъ занятъ новыми планами — возобновить преслѣдованіе нѣмецкихъ «происковъ», стоящихъ будто бы въ тѣсной связи съ русскимъ заговоромъ; газета обвиняла и Бернсторфа въ соучастіи съ Кампцемъ и говорила, что этимъ они послужатъ только Меттерниху. Статья «Constitutionnel» про-

извела въ Берлинѣ большое впечатлѣніе. «Здѣсь, въ обществахъ открыто радуются этой статьѣ, — пишетъ Фарнгагенъ; — даже зять господина Ансильона въ числѣ тѣхъ молодыхъ офицеровъ, которые съ величайшимъ презрѣніемъ говорятъ о Кампцѣ и съ злорадствомъ о дурныхъ результатахъ правительственныхъ мѣръ». Кампцъ не спорилъ противъ указаній газеты: «она забѣгаетъ впередъ, — говорилъ онъ, — но впрочемъ справедлива, потому что онъ дѣйствительно работаетъ теперь надъ мемуаромъ, гдѣ онъ неопровержимо доказываетъ тѣсную связь русскихъ и нѣмецкихъ происковъ». Черезъ нѣсколько времени (въ томъ же февралѣ) французскій «Монитёръ» сообщалъ, что въ Петербургъ «прибылъ уже мемуаръ г. Кампца, гдѣ этотъ ученый публицистъ доказалъ связь русскаго заговора съ нѣмецкими происками, особенно съ союзомъ старыхъ (Bund der Alten)». Фарнгагенъ называетъ это слишкомъ поспѣшнымъ посольскимъ извѣстіемъ, хотя все-таки думалъ, что дѣло можетъ быть дѣйствительно въ ходу.

Но объ сущности этого дѣла самъ Бернсторфъ говорилъ Фарнгагену совершенно противное. «Графъ Бернсторфъ, съ которымъ я обстоятельно говорилъ, увѣрялъ меня (пишетъ Фарнгагенъ 10-го марта н. ст.), что до сихъ поръ не найдено ни малѣйшаго слѣда какой-нибудь связи между русскими заговорами и нѣмецкими происками [1]). Мы не имѣемъ свѣдѣній о дальнѣйшей судьбѣ мемуара Кампца, — былъ ли онъ дѣйствительно отосланъ въ Россію и какое имѣлъ здѣсь дѣйствіе на мнѣнія правительства объ этомъ предметѣ.

Въ мартѣ Фарнгагенъ опять приводитъ нѣсколько извѣстій о русскихъ дѣлахъ; извѣстія были все дурныя, напр., что заговоръ имѣлъ большія развѣтвленія въ войскѣ, такъ что даже сомнѣвались, не лучше ли совсѣмъ ихъ не раскрывать. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ замѣчаетъ и новое направленіе въ русской политикѣ. Еще въ февралѣ онъ пишетъ: «Наши дипломатическія извѣстія сообщаютъ, что политика новаго правительства начинаетъ уже очень отклоняться отъ прежней, и все больше удаляется отъ австрійскаго духа. Лично имп. Николай мало въ этомъ участвуетъ; онъ не руководитъ ходомъ дѣлъ, а идетъ за нимъ» [2]). Это относится конечно къ положенію новаго правительства въ

[1]) Blätter IV, 2—18, 21, 52, 27—28, 33—34.
[2]) Blätter IV, 22.

греческомъ вопросѣ; прусскіе дипломаты полагали, что болѣе рѣшительный способъ дѣйствій вызываемъ былъ въ особенности внутренними русскими обстоятельствами.

13-го (25-го) марта онъ записываетъ: «Изъ Россіи приходятъ все только тревожныя извѣстія; слѣдствіе все еще расширяется,— въ немъ замѣшана вся Россія. Здѣсь не вѣрятъ, чтобы Веллингтонъ (отправившійся въ Петербургъ для мирнаго разрѣшенія греческаго вопроса) возвратился съ вѣтвью мира, потому что императоръ Николай съ каждымъ днемъ все больше видитъ необходимость дать своему войску занятіе войной противъ турокъ».

18-го (30-го) апрѣля: «Скоро ждутъ со стороны Россіи чего-нибудь рѣшительнаго относительно Турціи. Увѣряютъ, что императоръ Николай показалъ герцогу Веллингтону часть документовъ, касающихся заговора, чтобы убѣдить его въ томъ, что дурное направленіе дѣйствительно произошло большею частью изъ чувства униженія, съ которымъ русскіе смотрѣли на то, какъ честь имперіи и народа приносилась въ жертву дѣйствіями Александра,—и что ему ничего не остается, какъ дать нѣкоторое удовлетвореніе этому всеобщему настроенію, не терпя больше неприличныхъ притязаній Порты» [1]).

Наконецъ 4/16 іюля, Фарнгагенъ пишетъ о докладѣ слѣдственной коммиссіи: «Въ нашихъ газетахъ напечатанъ Докладъ русской слѣдственной коммиссіи по поводу заговоровъ. Онъ составленъ довольно умѣренно, но представляетъ весьма неполное изображеніе дѣла (sehr unsicheres Bild); въ немъ замѣтно стараніе выставить преступность предполагавшихся дѣйствій, и напротивъ оставить въ тѣни духъ и настроеніе.

«По извѣстіямъ изъ Петербурга, въ тамошнихъ высшихъ кругахъ господствуетъ morne silence; императоръ опасается знатныхъ фамилій, и легко можетъ быть, что значительная, еще не открытая часть заговора продолжаетъ существовать втайнѣ» [2]).

Затѣмъ въ дневникѣ занесены извѣстія изъ Петербурга о рѣшеніи дѣла, о казняхъ и ссылкахъ, о новыхъ опасеніяхъ

---

[1]) Blätter, IV, 34, 40, 53.

[2]) Blätter, IV, 89. Въ другомъ мѣстѣ Фарнгагенъ замѣчаетъ, что «въ русскомъ манифестѣ (о рѣшеніи дѣла декабристовъ) здѣсь особенно бросается въ глаза мѣсто, гдѣ говорится, что вину этихъ преступныхъ замысловъ надо возлагать не на просвѣщеніе, а на праздность и пустоту и пр.» (стр. 96).

волненій по поводу коронаціи, о новыхъ арестахъ въ Москвѣ, о торжествѣ коронаціи, о настроеніи народа и т. п. [1]).

Мы отмѣтимъ еще два-три любопытныхъ извѣстія. Фарнгагенъ приводитъ разсказъ графа фонъ-Редерна, который былъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ въ качествѣ кавалера посольства: «онъ, какъ очевидецъ, расказываетъ о происходившихъ въ Петербургѣ казняхъ, что осужденныя сначала до конца обнаруживали самое рѣшительное упорство.... не показывали никакого слѣда раскаянія или страха» и т. д. [2]).

Въ январѣ 1827 года въ дневникѣ читаемъ: «Изъ Петербурга извѣщаютъ, что по повелѣнію импер. Александра князю Меттерниху выплачивался секретно для политическихъ цѣлей пенсіонъ въ 100,000 дукатовъ въ годъ; что Меттернихъ долженъ былъ употреблять это на разныя издержки противъ «происковъ», и тому под., но что онъ, какъ полагаютъ, большую часть этой суммы охотнѣе оставлялъ въ Петербургѣ, чтобы имѣть надежныхъ друзей подлѣ императора. Русскіе очень радуются тому, что имп. Николай тотчасъ велѣлъ прекратить этотъ пенсіонъ» [3]).

Мы видѣли выше, какъ смотрѣли въ европейскомъ обществѣ на роль Александра въ греческомъ вопросѣ; при Николаѣ отъ Россіи ждали другого способа дѣйствій. Въ самомъ дѣлѣ, вмѣшательство Россіи въ греческій вопросъ было гораздо болѣе рѣшительно и какъ бы ни объясняли источникъ этой перемѣны политики, она встрѣчена была съ большимъ сочувствіемъ въ образованныхъ кругахъ Европы. Россія, столько упавшая въ общественномъ мнѣніи Европы вслѣдствіе союза съ реакціей, теперь, поставивши для своей политики цѣль освобожденія угнетенной націи, пріобрѣтала опять большую симпатію. Фарнгагенъ указываетъ въ дневникѣ и этотъ поворотъ мнѣній. Въ мартѣ 1828 г., онъ замѣчаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ: «Приверженцы австрійскаго духа, немного лѣтъ назадъ господствовавшіе у насъ почти безусловно, теперь едва осмѣливаются выступать съ своими мнѣніями» [4]). Война Россіи съ Турціей была отрицаніемъ этого австрійскаго духа и дала нравственную опору его противникамъ. Впрочемъ, это длилось не долго, и, по окончаніи турецкой войны, новыя политическія обстоятельства опять измѣнили

---

[1]) Blätter, IV, 94, 106, 139.
[2]) Стр. 132—133.
[3]) Blätter IV, 169.
[4]) Blätter V, 57.

отношеніе Россіи въ внутреннимъ дѣламъ Германіи и общественному мнѣнію Европы.

Въ такомъ видѣ представляется русское движеніе двадцатыхъ годовъ по замѣткамъ Фарнгагена. Быть можетъ, многое покажется читателю преувеличеннымъ въ этихъ отзывахъ о настроеніи общества въ послѣдніе годы Александра, или о томъ объемѣ, какой придается событіямъ 14-го декабря. На это надобно замѣтить, что если и дѣйствительно свѣдѣнія были довольно неопредѣленныя относительно фактической сущности дѣла и иногда очевидно преувеличены, то любопытенъ во всякомъ случаѣ тонъ извѣстій, въ которомъ отражается характеръ времени. Свѣдѣнія Фарнгагена почерпались не изъ какихъ-нибудь чисто случайныхъ и произвольныхъ слуховъ: онъ наблюдалъ самыхъ людей русскаго общества и руководился дипломатическими извѣстіями; свѣдѣнія о 1825—26 годахъ шли отъ Алопеуса, отъ Кистера (кажется секретарь прусскаго посольства въ Петербургѣ), отъ Шамбо, секретаря императрицы, отъ варшавскаго агента прусскаго министерства и т. д. Фарнгагенъ во всякомъ случаѣ вѣрно передаетъ впечатлѣніе событій въ извѣстныхъ сферахъ общества.

Впечатлѣніе это было очень сильно. Что касается размѣровъ движенія, то конечно нельзя буквально принимать словъ, что въ немъ замѣшана была «вся Россія»,—но эти слова имѣютъ, однако, свой смыслъ. Число прямыхъ участниковъ въ событіи было невелико, но, конечно, слѣдственная коммиссія должна была встрѣтить и предположить множество людей съ тѣмъ же образомъ мыслей. Очень можетъ быть, что въ словахъ Фарнгагена и отразилось это наблюденіе коммиссіи, черезъ тѣ источники, изъ которыхъ шли его свѣдѣнія. Въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ, что въ Петербургѣ не хотятъ изслѣдовать всѣхъ развѣтвленій заговора; въ докладѣ коммиссіи онъ находитъ желаніе «оставить въ тѣни духъ и настроеніе» общества.

Мы замѣтили выше, что русскія событія дали нѣмецкимъ реакціонерамъ новый поводъ къ преслѣдованіямъ въ Германіи и что Кампцъ составлялъ оффиціальную записку о связи русскаго заговора съ нѣмецкими происками. Вся связь, какъ извѣстно, ограничивалась тѣмъ, что при первомъ началѣ русскаго тайнаго общества, основатели его воспользовались уставами нѣмецкаго Тугендбунда (Союза Добродѣтели); это было указано и въ До-

кладѣ русской слѣдственной коммиссіи. Для этого заимствованія не нужно было имѣть никакой связи съ нѣмецкими обществами, потому что уставъ давно закрытаго Тугендбунда былъ извѣстенъ всѣмъ въ печати. Въ чемъ именно состояли выводы Кампца и какую роль получила его записка въ Петербургѣ, мы не знаемъ; но въ Пруссіи оживилось вновь слѣдствіе о проискахъ, въ Австріи—также: итальянскіе и другіе заключенные, находившіеся въ Шпильбергѣ, подверглись длиннымъ допросамъ, въ которыхъ хотѣли получить отъ нихъ свѣдѣнія о русскомъ возстаніи и объ ихъ прежнихъ предполагаемыхъ связяхъ съ русскими революціонерами. Эти несчастные не имѣли, конечно, ни малѣйшаго понятія о томъ, чего отъ нихъ добивались. Такъ сильна была эта увѣренность во всеобщемъ революціонномъ заговорѣ; такъ странно понимались общественныя движенія.

Но идеи Кампца объ этомъ предметѣ не пропали для нѣмецкой публики. Въ январѣ 1827 г. Фарнгагенъ записываетъ въ своемъ дневникѣ: «Въ сентябрьской тетради галльскаго Literaturzeitung (1826 г.) помѣщена рецензія Доклада слѣдственной коммиссіи въ Петербургѣ противъ русскихъ заговорщиковъ, и вышедшаго отдѣльнымъ оттискомъ Приговора бреславскаго оберъландъ-герихта противъ нѣмецкихъ Umtrieber, именно членовъ союза молодыхъ (Bund der Jungen). Тѣ или другія революціонныя стремленія, по мнѣнію рецензента, связаны тѣснѣйшимъ образомъ, и онъ представляетъ все дѣло рѣшительно въ кампцовскомъ духѣ. Одинъ здѣшній совѣтникъ каммергерихта спрашиваетъ: «неужели неизвѣстно имя ученаго, который такъ низко взялся за порученіе, данное полиціей?» [1]).

Другой современникъ, упоминающій объ этой статьѣ, считаетъ ее произведеніемъ самого начальника тайной прусской полиціи, т. е. Кампца. Европейская печать почти не говорила о Докладѣ, вѣроятно не находя въ немъ достаточнаго изложенія дѣла. «Но въ Германіи—замѣчаетъ этотъ современникъ,—нашлось ученое животное (une brute savante), которое въ длинной диссертаціи старалось подавить своей тяжелой эрудиціей тайныя общества вообще, доказать ихъ опасность, вредное вліяніе на ходъ событій; связать между собою всѣ общества различныхъ странъ и такимъ образомъ дать почувствовать необходимость своего рода взаимнаго застрахованія между правитель-

---

1) Blätter IV, 177—178.

ствами противъ ихъ злонамѣренныхъ подданныхъ... Чтобы доказать, что тайныя общества всѣхъ странъ были въ связи одно съ другимъ и составляли такъ сказать одно полное цѣлое, авторъ этой длинной и лживой диссертаціи, г. Кампцъ, въ подкрѣпленіе своихъ разсужденій настаивалъ на поразительномъ сходствѣ уставовъ русскаго Союза Благоденствія съ уставами Тугендбунда. «Когда мы сравнимъ, говоритъ онъ, статуты союза благоденствія со статутами Тугендбунда, мы найдемъ между ними самое полное, самое поразительное и неожиданное сходство съ основными законами этого послѣдняго, какъ въ отношеніи цѣли и стремленій, такъ и въ отношеніи внутренней организаціи»... Полицейское усердіе автора этого обвинительнаго акта новаго рода, кажется, помѣшало ему прочесть со вниманіемъ Докладъ слѣдственной коммиссіи, потому что тамъ положительно указано, что статуты Союза Благоденствія были просто переводомъ статутовъ нѣмецкаго общества», и т. д. [1]).

Но авторомъ этой диссертаціи былъ, однако, не Кампцъ. Въ Берлинѣ она возбудила, повидимому, любопытство узнать имя автора, и Фарнгагенъ уже черезъ нѣсколько дней упоминаетъ въ дневникѣ, что авторомъ ея «совершенно положительно» называютъ нѣкоего штаатсъ-рата Якоба въ Галле [2]). Реакція имѣла вообще недостаточное количество услужливыхъ публицистовъ.

Изъ предыдущаго читатель можетъ видѣть, какъ вообще смотрѣла реакція на движеніе умовъ, совершавшееся въ обществѣ. Австрія, доводившая до свирѣпости свои политическія гоненія, доходила и въ этомъ отношеніи до подавленія всякой умственной жизни; но въ остальной Германіи и наука и литература были уже слишкомъ крѣпки и глубоко вошли въ жизнь, и всѣ стѣсненія, наложенныя на литературу и университеты, были безсильны: писатели, воспитавшіеся въ эпоху реакціи, какъ Гейне и Берне, всего сильнѣе подорвали ея кредитъ. Но если тѣмъ не менѣе для самой Германіи реакція отзывалась тяжело на умственной и общественной дѣятельности, то можно себѣ представить, чѣмъ она должна была быть въ Россіи, гдѣ вся тяжесть реакціоннаго гнета ложилась на литературу и науку,

[1]) N. Tourgueneff, La Russie. I, 192—195.

[2]) Blätter IV, 179. Статья, о которой идетъ рѣчь, помѣщена въ Allgemeine Literaturzeitung, 1826, № 223 и слѣд.

едва разбиравшія первые склады своей настоящей задачи. Положеніе умственныхъ интересовъ нашего общества было тѣмъ печальнѣе, что программа реакціи пришлась совершенно въ пору даже понятіямъ людей, которые не были такими іезуитами, какъ Магницкій. Шишковъ искренно считалъ себя другомъ просвѣщенія, но простота и необразованность его были такъ велики, что онъ шелъ, не подозрѣвая того, по той же жалкой дорогѣ. Съ удаленіемъ Магницкаго дѣло въ сущности мало измѣнилось. Реакціонная точка зрѣнія на многіе годы продолжала управлять судьбами умственнаго развитія русскаго общества: литература еще долго была до послѣдней степени стѣснена цензурными рамками; университеты, еще не успѣвши достигнуть какой-нибудь научной самостоятельности, уже навлекли на себя недовѣріе и подозрительность, и въ то время, когда на дѣлѣ они едва вносили въ русскую жизнь первые зачатки истинной науки, считались уже гнѣздомъ зловреднаго вольнодумства и были почти только терпимы... Это прошлое еще не слишкомъ давнее, и источникомъ его воззрѣній во многихъ отношеніяхъ была указанная нами эпоха европейской реакціи.

РУССКІЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ ВЪ ДВАДЦАТЫХЪ ГОДАХЪ.

(„Вѣстникъ Европы“ 1872, августъ).

РУССКІЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ ВЪ ДВАДЦАТЫХЪ ГОДАХЪ.

Письма Александра Ивановича Тургенева къ Николаю Ивановичу Тургеневу. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1872. XII и 646 стр.

Довольно извѣстна бѣдность нашей литературы относительно тѣхъ матеріаловъ, которые разъясняли бы не одну только оффиціальную исторію, но исторію общественной жизни, умственныхъ интересовъ, развитіе замѣчательнѣйшихъ личностей и ходъ образованія. Литература европейская, особенно въ послѣднія десятилѣтія, чрезвычайно богата въ этомъ отношеніи: не только первостепенные дѣятели литературы, политики и общественной жизни, но даже личности второстепенныя, но игравшія нѣсколько замѣтную роль на томъ или другомъ поприщѣ, разъясняются и отдѣльными біографіями, и изданіемъ ихъ «посмертныхъ» произведеній, и особенно переписки. Масса такого рода публикацій въ нѣмецкой, англійской и французской литературѣ чрезвычайно обширна, и историкъ, изучая извѣстную эпоху литературы, извѣстную сторону политической и общественной жизни, имѣетъ передъ собой множество свѣдѣній, которыя раскрываютъ ему весь ходъ событій, всѣ подробности возникновенія идей и ихъ развитія. Эти-то подробности, идущія нерѣдко изо дня въ день, и даютъ возможность той живой исторіи, образчиковъ которой находится такъ много въ главныхъ европейскихъ литературахъ.

Нечего говорить о томъ, какъ несходно съ этимъ положеніе русскаго историка и русской новѣйшей исторіи. Въ послѣднее время, правда, и у насъ собирается и издается подобный матеріалъ, но какъ вообще бѣдны были у насъ самостоятельные общественные интересы, такъ большею частью бѣдны этими

интересами и тѣ матеріалы, какіе теперь собираются. Внѣ чисто личныхъ отношеній или внѣ круга спеціальной дѣятельности, мы рѣдко встрѣчаемъ въ нихъ черты болѣе широкаго общественнаго значенія. Отчасти сама жизнь была такова, что даже лучшіе умы мало вникали въ общественные предметы, вполнѣ принимали условія status quo и не занимались имъ; отчасти существовавшіе нравы не допускали свободнаго выраженія мыслей о подобныхъ предметахъ, если эти мысли сколько-нибудь были непохожи на господствующіе образцы. Даже въ то время, когда общественный интересъ былъ возбужденъ въ умахъ, и между тѣми людьми, которые были его лучшими представителями, мы не находимъ въ ихъ перепискѣ (насколько она дѣлалась извѣстною) полнаго, настоящаго выраженія ихъ мнѣній; опасеніе, весьма существенное и не безосновательное, связывало даже дружескую переписку, какъ цензура связывала печатное слово. Исключеній немного. Къ числу ихъ можно причислить и изданныя теперь письма А. И. Тургенева, которыя имѣютъ то преимущество въ ряду другихъ матеріаловъ подобнаго рода, что они писаны по большей части не въ Россіи, и писавшій былъ совершенно свободенъ отъ упомянутыхъ опасеній, и высказывался съ полной искренностью о вещахъ и людяхъ.

Имя Тургеневыхъ постоянно встрѣчается въ исторіи лучшихъ людей и движеній русскаго общества съ конца прошлаго столѣтія. Отецъ этой семьи, И. П. Тургеневъ былъ однимъ изъ главнѣйшихъ членовъ масонскаго кружка Новикова и однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ участниковъ его предпріятій. Самъ Тургеневъ перевелъ извѣстную тогда книгу Іоанна Масона: «О познаніи самого себя», и Іоанна Арндта: «О истинномъ христіанствѣ», и въ качествѣ масона, въ одно время съ Новиковымъ подвергся преслѣдованію въ 1792 году и былъ высланъ изъ Москвы. При Александрѣ I, онъ былъ попечителемъ московскаго университета, и умеръ въ 1808. Тургеневъ далъ своимъ сыновьямъ самое внимательное воспитаніе, которое потомъ поставило ихъ въ ряду образованнѣйшихъ людей нашего общества. Наиболѣе извѣстными изъ братьевъ Тургеневыхъ были Александръ и Николай, пережившіе другихъ, также даровитыхъ братьевъ, Андрея и Сергѣя. Семья Тургеневыхъ была тѣсно связана со многими замѣчательнѣйшими личностями русской литературы и образованности конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія. Александръ Тургеневъ писалъ однажды объ

Ив. П. Тургеневѣ: «Я горжусь тѣмъ, что отецъ мой едва ли не первый открылъ Карамзина въ Симбирскѣ и увлекъ его съ собою въ Москву, въ тогдашній кругъ друзей»... Самъ Александръ Тургеневъ всегда оставался въ числѣ ближайшихъ друзей Карамзина, какъ обильно свидѣтельствуетъ о томъ, между прочимъ, ихъ сохранившаяся переписка, и оказалъ Карамзину большія услуги доставленіемъ множества матеріаловъ для «Исторіи»; это былъ вѣрный и неутомимый корреспондентъ, съ которымъ Карамзинъ дѣлился мыслями и планами своего труда и который ревностно разыскивалъ нужныя ему книги и рукописи; нѣтъ сомнѣнія, что онъ сберегъ Карамзину много времени и усилій въ его предварительныхъ работахъ, въ собираніи историческихъ источниковъ. Ихъ дружескія связи сохранились до конца. Еще тѣснѣе были отношенія Александра Тургенева съ Жуковскимъ, какъ это видно изъ біографіи послѣдняго, а между прочимъ и изъ напечатанной теперь переписки. Извѣстный «Арзамасъ», гдѣ Александръ Т. назывался «Эоловой Арфой», состоялъ почти поголовно изъ его друзей; литературныя связи продолжались потомъ у Тургенева и съ новымъ литературнымъ поколѣніемъ; онъ до конца жизни сохранилъ свѣжіе интересы къ литературѣ и дѣлу русской образованности.

Александръ Тургеневъ былъ старше Николая лѣтъ на шесть; также какъ послѣдній, онъ учился въ Геттингенѣ и безъ сомнѣнія выдавался въ ряду тогдашняго молодого поколѣнія столько же своими аристократическими и литературными связями, какъ своимъ образованіемъ и личнымъ характеромъ. Въ послѣднее время своей службы, въ началѣ двадцатыхъ годовъ, онъ занималъ важное положеніе въ министерствѣ князя А. Н. Голицына, какъ директоръ департамента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій,—гдѣ, между прочимъ, онъ принялъ дѣятельную роль въ удаленіи іезуитовъ изъ Россіи. Въ это же время мы видимъ его дѣятельнымъ членомъ библейскаго общества и другихъ филантропическихъ обществъ, и какъ ни странно находить здѣсь Тургенева рядомъ съ фанатиками, мистиками, и иногда людьми совершенно ничтожными въ нравственномъ смыслѣ, эти увлеченія были въ Александрѣ Тургеневѣ совершенно искренни, если и не глубоки. Можно сказать, что онъ въ этомъ случаѣ представлялъ именно лучшую сторону тогдашняго піэтизма и тогдашней вѣротерпимости. Въ немъ можно было какъ въ живомъ примѣрѣ видѣть историческое соединеніе и послѣдовательность

различныхъ тенденцій, проникавшихъ тогда въ русское общество. Отъ отца и отъ первыхъ лѣтъ молодости онъ перенялъ преданія стараго масонскаго піэтизма, который сохранился у него, потерявъ только свои крайности и свою прежнюю внѣшность; новое европейское образованіе, полученное рядомъ съ этими впечатлѣніями, избавляло его отъ преувеличеній піэтизма и давало его религіи характеръ мечтательнаго благочестія и вѣротерпимости и, наконецъ, дѣлало для него сочувственными либеральныя стремленія къ улучшенію общественныхъ отношеній. Вслѣдствіе того, его симпатіи и могли быть очень разносторонни; такъ онъ могъ быть близокъ съ библейскими дѣятелями, дружески сходился съ Патерсономъ, съ квакеромъ Вильямомъ Алленомъ, — далѣе, съ Карамзинымъ, Жуковскимъ и Арзамасомъ,—могъ вѣрить въ князя А. Н. Голицына, — черезъ брата Николая могъ имѣть дружескія отношенія съ либеральнымъ кружкомъ. Оставаясь самъ въ сторонѣ отъ интригъ, которыя велись въ кругу піэтистовъ, Тургеневъ довѣрчиво оставался въ этомъ кругу, съ которымъ думалъ что имѣетъ общіе отвлеченные интересы.

Паденіе князя Голицына въ 1824 г. отразилось тотчасъ же и на положеніи Александра Тургенева: взявши отпускъ, онъ пересталъ заниматься дѣлами, и думалъ совершенно покинуть службу, отъ чего однако отговаривалъ его Карамзинъ. Онъ уѣхалъ за границу и въ началѣ 1826 г. находился съ братомъ Николаемъ въ Англіи, гдѣ они и услышали о смерти имп. Александра, о петербургскихъ событіяхъ и о томъ, что имя Николая Тургенева было замѣшано въ дѣлѣ о возмущеніи. Александръ отправился въ Петербургъ, чтобы узнать подробности о дѣлѣ, которое такъ близко касалось его брата. Съ этого времени начинается его переписка, продолжавшаяся до самой его смерти и прерывавшаяся только на то время, когда они жили вмѣстѣ, сначала въ Англіи, потомъ во Франціи,—гдѣ впослѣдствіи Ник. Тургеневъ поселился окончательно.

Съ тѣхъ поръ Александръ Тургеневъ уже не возвращался на службу; онъ жилъ въ Россіи и за границей, много путешествовалъ, и свой невольный досугъ употребилъ между прочимъ на собраніе иностранныхъ документовъ, относящихся къ русской исторіи, которые онъ отыскивалъ въ европейскихъ библіотекахъ. Такъ произошли, между прочимъ, извѣстные «Monumenta», въ двухъ томахъ, изданные въ сороковыхъ годахъ Археографической Коммиссіей. По его же матеріаламъ, какъ

говорятъ, издана была, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, извѣстная книжка: «La cour de Russie il y a cent ans», заключающая въ себѣ любопытныя выдержки изъ донесеній европейскихъ посланниковъ, состоявшихъ при русскомъ дворѣ въ прошломъ столѣтіи. Александръ Ив. Тургеневъ умеръ въ 1846 г.

Изданныя теперь письма составляютъ одну часть всей переписки А. Тургенева и относятся только къ 1826—1828 годамъ. Цѣлая переписка весьма обширна. «Эта корреспонденція,— говоритъ издатель въ предисловіи,—составляетъ 10 портфелей. Печатаемыя нынѣ письма избраны мною, и притомъ отрывками, или выписками, только изъ перваго портфеля. Я желалъ бы продолжать изданіе писемъ брата: желаю, но не надѣюсь».

Кромѣ переписки, остался отъ А. И. Тургенева столько же обширный журналъ. Веденный имъ, какъ видно, только для себя, онъ заключаетъ въ себѣ важное и неважное, небреженъ въ редакціи и въ самомъ почеркѣ. «Не легко было бы выбрать изъ этого огромнаго журнала пятую или даже десятую часть и напечатать,—говоритъ издатель писемъ. Но этотъ трудъ изданія былъ бы достаточно вознагражденъ интересомъ для читателей. Между прочимъ я нашелъ въ журналѣ брата весьма дѣльныя, безпристрастныя и часто трогательныя замѣчанія и наблюденія, относительно положенія нашего простого народа, наблюденія, дѣланныя въ его различныхъ странствіяхъ по Россіи».

Изданіе этой переписки было послѣднимъ трудомъ Н. Ив. Тургенева. Предисловіе помѣчено 30 іюня 1871 года.

Братьевъ соединяла самая нѣжная дружба. Когда, въ 1826-мъ году, постигло Николая Тургенева несчастье — быть замѣшаннымъ въ дѣло о тайныхъ обществахъ, подвергнуться осужденію и потерять вслѣдствіе того родину, это несчастье подѣйствовало чрезвычайно тяжело на его братьевъ, Александра и Сергѣя. Послѣдній такъ глубоко пораженъ былъ этимъ нежданнымъ ударомъ, что, кажется, это разстроило его умъ и ускорило кончину [1]. Напечатанныя теперь письма Александра Ив. трогательнымъ образомъ раскрываютъ его привязанность къ брату: съ первой минуты, когда до нихъ достигло роковое извѣстіе, дѣло брата становится господствующимъ помышленіемъ Алек-

---

[1] См. переписку Жуковскаго съ г-жей Пушкиной, напечатанную въ «Девятнадцатомъ вѣкѣ» г. Бартенева, кн. I.

сандра Тургенева. Отправившись въ Петербургъ, онъ, повидимому, долженъ былъ потерять надежду убѣдить судей въ невинности своего брата; но онъ тѣмъ не менѣе не покидаетъ своей мысли, и послѣ, когда приговоръ уже состоялся, онъ все надѣется, что правда возьметъ когда-нибудь верхъ и что несчастье брата будетъ вознаграждено.

Въ письмахъ первыхъ мѣсяцевъ 1826 года, изданныхъ теперь повидимому съ нѣкоторыми намѣренными выпусками, мы встрѣчаемъ извѣстія о дѣлѣ, совѣты, утѣшенія, негодованіе... Извѣстія, посылавшіяся имъ изъ Россіи, очень кратки; но становятся обильнѣе и откровеннѣе, когда онъ пишетъ къ брату уже выѣхавши за границу. Многія подробности любопытны для характеристики времени и людей.

Въ апрѣлѣ 1826 г. Александръ Тургеневъ въ письмѣ изъ Петербурга извѣщаетъ брата, что скоро объявлено будетъ изложеніе дѣла и что вслѣдъ за тѣмъ назначенъ будетъ судъ, составляемый изъ особыхъ знатныхъ чиновниковъ. Затѣмъ, онъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ отсовѣтуетъ брату ѣхать въ Петербургъ (Николай Т. хотѣлъ въ это время пріѣхать въ Петербургъ, съ цѣлью оправдаться отъ взводимыхъ на него обвиненій): «Если бы ты поѣхалъ сюда, то самъ бы себя лишилъ средства оправданія; ибо не вынесъ бы дороги, и обвиненія на твой счетъ остались бы необъясненными. Это должно рѣшить тебя сюда не ѣздить. Я страшусь твоего сюда пріѣзда, какъ величайшаго несчастія. Не смѣю и не могу дать никакого совѣта болѣе». Подчеркнутыя нами выраженія довольно ясно указываютъ настоящую мысль писавшаго.

Самого Александра Т. ни о чемъ не спрашивали; бумагъ его брата, у него находившихся, не брали, и онъ сожалѣетъ объ этомъ, потому что онѣ по его мнѣнію могли бы примирить съ образомъ мыслей его брата. «Здѣсь много къ тебѣ уваженія отъ нѣкоторыхъ; но незнающіе ни характера, ни души твоей, винятъ тебя. То, что должно служить нѣкоторою отрадою, есть мнѣніе покойнаго государя. Передъ отъѣздомъ въ Таганрогъ, слѣдовательно когда уже зналъ то, что говорили о тебѣ, сказалъ онъ Карамзину, говоря съ нимъ объ успѣхахъ законодательства въ Польшѣ, откуда возвратился: «Тамъ все идетъ прекрасно; а здѣсь Сперанскій лѣнится, Николая Тургенева нѣтъ; онъ боленъ, лечится. Что же мнѣ дѣлать?» Вотъ его мнѣніе о тебѣ».

Въ половинѣ 1826 г. Александръ Тургеневъ отправился за границу. Изъ Мемеля онъ вкратцѣ извѣщаетъ брата о сущности приговора уже состоявшагося, о томъ, что везетъ съ собой его бумаги (различныя работы по законодательству и вопросамъ внутренней политики, между прочимъ и по крестьянскому вопросу), и замѣчаетъ при этомъ: «будешь отвѣчать на осужденіе трудами для отечества». Въ письмѣ изъ Дрездена, въ августѣ 1826, онъ пишетъ брату, находившемуся въ Англіи: «будь остороженъ съ посольствомъ. Въ домъ ходить не должно». Въ примѣчаніи издатель объясняетъ, какъ справедливо было это предостереженіе, потому что существовалъ тогда планъ захватить его за границею.

Въ письмахъ изъ Дрездена, Лейпцига, А. И. безпрестанно говоритъ брату о планахъ его оправданія, сообщаетъ свои мнѣнія, замѣчанія и поправки къ запискѣ, которую Н. И. составлялъ въ свою защиту. Полное сочувствіе къ своему дѣлу встрѣчали оба брата въ Жуковскомъ, съ которымъ Александръ Т. въ это пребываніе за границей провелъ много времени вмѣстѣ. Кромѣ Жуковскаго находились другіе соотечественники, у которыхъ дѣло Николая Т. встрѣчало большое сочувствіе. Въ числѣ ихъ былъ гр. Стр..., имя котораго очень часто называется въ этимъ письмахъ. Александръ Т. разбиралъ съ нимъ записку брата, вмѣстѣ они обдумывали ея мотивы, обороты и выраженія и т. д. Въ это первое время дѣло брата поглощаетъ его вполнѣ. Онъ знакомится въ Дрезденѣ съ главнымъ редакторомъ саксонскаго уголовнаго кодекса Стейбелемъ. «Знакомство его для насъ очень наставительно,—пишетъ онъ въ февралѣ 1827—и я постараюсь имъ воспользоваться... Онъ осуждаетъ рапортъ слѣдственной коммиссіи и все производство дѣла. Изъ проекта его (т. е. проекта уголовнаго кодекса) желалъ бы я выписать для тебя нѣсколько параграфовъ, кои могутъ тебѣ подать мысль или къ пополненію нѣкоторыхъ оправданій и объясненій твоихъ, или къ исправленію и пополненію того résumé, котораго проектъ я тебѣ послалъ въ послѣднемъ письмѣ и который можетъ съ моей или съ чьей-нибудь другой стороны пойти въ дѣло... По совѣту Стейбеля прочелъ я и другія двѣ или три книжки, въ коихъ нашелъ юридическія аксіомы, не уваженныя судомъ верховнымъ», и проч. Онъ выписываетъ нѣсколько этихъ аксіомъ.

Вскорѣ затѣмъ, въ другомъ письмѣ, онъ сообщаетъ новыя замѣчанія. «На сихъ дняхъ прочелъ я нѣсколько статей изъ

журнала уголовныхъ законовъ Миттермайера и пр. Желалъ бы я многое сообщить тебѣ. Безпрестанно нахожу я въ законахъ и въ общемъ источникѣ оныхъ такія правила, по коимъ никакой европейскій судъ ни къ чему не осудилъ бы тебя; даже и на основаніи показаній въ рапортѣ. И въ наказѣ Екатерины II нашелъ многое въ твою пользу... Я составилъ уже нѣкоторыя замѣчанія отъ себя, но начерно и долженъ прежде показать ихъ здѣшнимъ судьямъ моимъ: Жуковскому и Стр.....ву», и проч.

Въ Эмсѣ онъ встрѣчается съ извѣстнымъ кн. Козловскимъ: «Онъ только и твердитъ о тебѣ и о несправедливости суда и судей и о томъ, что онъ говорилъ за столомъ у гр. Гур...ва въ Брюсселѣ. Я просилъ его и взялъ съ него слово ни съ кѣмъ о тебѣ и о твоемъ дѣлѣ, особливо пока я здѣсь, не говорить... Но много говорилъ съ нами (т.-е. съ Александромъ Тургеневымъ и Жуковскимъ), и всѣ сужденія его, въ смыслѣ юридическомъ, здравы и справедливы. Безпрестанно возвращается къ тебѣ, и слушать любо, но больно то, что говоритъ о Россіи».

Невдалекѣ отъ Эмса, въ Нассау [1]), доживалъ свои послѣдніе годы знаменитый баронъ Штейнъ, при которомъ Николай Тургеневъ состоялъ въ 1814-мъ году и который былъ для него предметомъ величайшаго уваженія, какъ по системѣ его политическихъ мнѣній, такъ и по непреклонному убѣжденію и характеру. Штейнъ долженъ былъ близко знать Николая Тургенева, и потому Александръ Т. съ особеннымъ интересомъ желалъ говорить съ нимъ о дѣлѣ брата. Онъ посѣтилъ Штейна въ іюлѣ 1827 года. Первое слово Штейна было объ его братѣ; Александръ Т. разсказалъ ему все дѣло, безпрестанно прерываемый его распросами. Въ письмѣ къ брату, Александръ Т. сообщаетъ всѣ подробности своего свиданія съ бар. Штейномъ, мнѣніями котораго братъ его долженъ былъ очень дорожить. Штейнъ дѣйствительно выказалъ чрезвычайное участіе къ этому печальному дѣлу и нѣсколько разъ просилъ Александра передать брату, что онъ «никогда, ни на минуту не вѣрилъ клеветѣ доносителей, что зналъ и образъ мыслей и правила твои и не могъ ни на минуту вѣрить, чтобы ты хотя въ чемъ-либо, что на тебя взводили, участвовалъ»... Они видѣлись потомъ еще

---

[1]) Въ этой мѣстности поставленъ памятникъ Штейну, котораго открытіе происходило въ прошедшемъ іюлѣ [1871].

нѣсколько разъ, между прочимъ и Жуковскій и Штейнъ постоянно возвращался къ этому предмету. Между прочимъ, однажды Штейнъ разсказывалъ объ императорѣ Александрѣ и о планѣ отдѣленія Польши отъ Россіи, занимавшемъ императора въ эпоху вѣнскаго конгресса: извѣстно, что Штейнъ сильно высказывался противъ этого плана, чѣмъ даже и навлекъ на себя неудовольствіе императора. По этому поводу Александръ Т. пишетъ: «Это привело меня невольно къ событіямъ, послѣ 14 декабря открытымъ. Не слѣдовало ли набросить покрывало и на истинныхъ преступниковъ русскихъ и поляковъ—и не исчезаетъ ли преступность послѣднихъ и даже первыхъ, когда вспомнишь, чего желалъ, за что гнѣвался государь, коему не должно было сопротивляться, безъ преступленія? По любви къ государю и къ его памяти, къ душѣ его, понесшей на себѣ грѣхи всей его политики и администраціи, должно было бы бросить покровъ забвенія или милосердія и на другихъ заблудшихъ»... Это разсужденіе въ самомъ дѣлѣ было очень справедливо, потому что либеральныя идеи, которыя распространялись тогда въ обществѣ и которыя теперь преслѣдовались, были несомнѣнно въ связи съ либеральными тенденціями правительства, т.-е. въ особенности самого императора Александра.

Друзья и братъ Николая Тургенева въ 1827 г. еще горячо заняты были планами его защиты и оправданія. Мы упоминали, что въ числѣ его партизановъ былъ кн. Козловскій. Въ «Письмахъ» не одинъ разъ упоминается о томъ, съ какимъ жаромъ Козловскій защищалъ Николая Т. въ русскомъ кругѣ, собравшемся тогда въ Эмсѣ. Между прочимъ, Козловскій съ своей стороны также составилъ оправдательную записку, которая и приведена въ письмахъ (стр. 54—58).

Но однимъ изъ самыхъ нѣжныхъ было участіе, которое показывалъ въ то время къ несчастію Тургенева Жуковскій. Онъ дѣлалъ вмѣстѣ съ Александромъ Т. часть его тогдашняго путешествія; изъ упомянутыхъ писемъ его къ г-жѣ Пушкиной видна его горячая привязанность къ этой, давно ему близкой семьѣ; съ тѣми же чертами онъ является и въ настоящихъ письмахъ. Въ концѣ 1826 жили въ Дрезденѣ тѣснымъ кружкомъ Жуковскій съ Александромъ Тургеневымъ и братомъ его Сергѣемъ (который умеръ въ 1827 г.). Жуковскій былъ тогда занятъ своими педагогическими планами, готовясь вести воспитаніе великаго князя (нынѣ [1872] царствующаго государя императора). Алек-

сандръ Т. разсказываетъ въ письмѣ къ брату (въ октябрѣ 1826) объ ихъ препровожденіи времени: «Послѣ обѣда обыкновенно читаемъ мы всѣ трое вмѣстѣ: я чтецъ, а Жуковскій и братъ слушатели... Не придумаешь ли назначить намъ какія-нибудь лучшія книги англійскія въ разныхъ родахъ и лучшія изданія; но не великолѣпныя. Мы дѣлаемъ для Жуковскаго реэстръ всего классическаго въ разныхъ родахъ, для составленія библіотеки великаго князя, которая должна имѣть лучшее и новѣйшее, а именно: 1) для чтенія, со временемъ, ему самому, и 2) для учителей, т. е. для приготовленія ихъ къ урокамъ съ помощію лучшаго по каждой части, напримѣръ: исторія во всѣхъ ея видахъ и подраздѣленіяхъ; философія, литература, воспитаніе вообще, военное искусство, законодательство и правовѣдѣніе. Что замѣтишь хорошаго по каждой изъ сихъ и другихъ частей, запиши и пришли названіе книги замѣченной»... Не знаемъ, участвовалъ ли, и насколько, Николай Т. въ составленіи реестра библіотеки, но бросается въ глаза его странное положеніе въ этихъ тѣсныхъ связяхъ съ Жуковскимъ въ то самое время, когда надъ нимъ уже произнесенъ былъ безпощадный приговоръ. Жуковскій хотѣлъ принести ему и поэтическое утѣшеніе, и написалъ, въ прозѣ, небольшую басню, приноровленную къ его положенію, которую и посвятилъ ему: Александръ Т. началъ переписывать эту басню въ письмѣ къ брату, но списалъ только первыя строки,—остальное въ его письмѣ было дописано самимъ Жуковскимъ (стр. 20). Эта басня, кажется, не вошла ни въ одно собраніе сочиненій Жуковскаго.

Въ письмѣ изъ Эмса, въ іюлѣ 1827, Александръ Т. пишетъ брату между прочимъ о Жуковскомъ:.. «Онъ со слезами на глазахъ вчера пришелъ ко мнѣ съ письмомъ твоимъ и говоря о словахъ твоихъ, въ отношеніи къ его любви къ брату Андрею [1]), ко мнѣ и къ Сергѣю,—онъ сказалъ съ чувствомъ, что ты забылъ главное теперь, то-есть себя, что въ тебѣ видитъ онъ для себя болѣе; что онъ нашелъ подтвержденіе въ твоемъ характерѣ, въ твоихъ чувствахъ, всего, о чемъ только могъ мечтать, когда мечталъ о предметахъ высокой нравственности, о душѣ человѣческой, о высокой простотѣ ея и о ея назначеніи, что ты для него все подтвердилъ, объяснилъ, возвысилъ и чело-

[1]) Старшій изъ братьевъ Тургеневыхъ, съ которымъ Жуковскій былъ, кажется, ближе всѣхъ, и который умеръ еще ранѣе.

вѣка, и его самого для него». Жуковскій—пишетъ Александръ Т.—просилъ для себя копіи всѣхъ писемъ, какія будутъ получаться отъ Николая Т., перечитывая прежнія—«для составленія résumé для себя самого и приведенія еще въ большую ясность идей своихъ о твоей невинности, дабы представить ихъ съ такою же ясностію и другимъ»... Далѣе онъ пишетъ, что и Жуковскій также сталъ составлять записку въ защиту Николая Т.: «желалъ бы доставить тебѣ копію съ записки, которую Жук. началъ составлять и частію составилъ уже для себя по твоему дѣлу, но ты не любишь этимъ заниматься; а мнѣ любо видѣть, какъ понимаютъ здѣсь тебя и твое дѣло, и предвидѣть, какъ современемъ и всѣ понимать будутъ, какъ бы предразсудки, предубѣжденія и упрямство ни искажали теперь и еще нѣкоторое время все, что до тебя касаться можетъ» (стр. 53—54). Письма еще не разъ возвращаются къ Жуковскому, и между прочимъ очень любопытны здѣсь его мнѣнія о рапортѣ слѣдственной комиссіи и объ его составителѣ: эти мнѣнія имѣютъ положительный историческій интересъ, такъ какъ Жуковскій былъ близкій свидѣтель, и мнѣнія его имѣютъ цѣну (стр. 84—85).

Александръ Т. еще нѣсколько разъ возвращается къ дѣлу по поводу разныхъ своихъ встрѣчъ. Между прочимъ, онъ встрѣчался и съ судьями брата, напр. съ гр. Головкинымъ, сенаторомъ Кушниковымъ (племянникомъ Карамзина). Оказывалось, что судьи не находились что говорить въ защиту своихъ мнѣній, особенно первый: Кушниковъ не былъ въ числѣ рѣшительныхъ враговъ Николая Т. Вотъ одинъ образчикъ ихъ разговоровъ объ этомъ дѣлѣ: «Былъ у Кушникова,—пишетъ Александръ Т. въ августѣ 1827. Два-три раза повторилъ онъ мнѣ, что прочиталъ бумаги твои (вѣроятно бумаги Николая Т., находившіяся у его брата, и оправдательныя записки) съ большимъ вниманіемъ, онъ самъ для себя пришелъ къ одному результату, т.-е. что никогда бы не обвинилъ тебя и что почитаетъ тебя невиннымъ; но вмѣстѣ съ симъ говорилъ много о неявкѣ, о принадлежности къ тайному обществу, вопреки тому, что они запрещены еще со временъ Екатерины. Я объяснилъ ему неявку, и также сказалъ, что запрещеніе было только съ 1822 г.; что самъ Балашевъ, beau-frère его, министръ полиціи, ободрялъ, приглашалъ въ масонскія тайныя общества, при Екатеринѣ II запрещенныя; что Сперанскій, будучи государственнымъ секретаремъ,

заводилъ ложу въ коммиссіи законовъ, слѣдовательно никакъ нельзя почитать тайныя общества запрещенными. Онъ понялъ все и опять повторилъ мнѣ, что болѣе ничего сказать мнѣ не можетъ, какъ то, что никогда бы, никакъ и ни къ чему бы не приговорилъ тебя, что и въ судѣ остался онъ при своемъ мнѣніи, въ коммиссіи данномъ (онъ былъ членомъ не слѣдственной, но предварительной коммиссіи, категоріи составлявшей); что представлялъ суду разсмотрѣть недостаточность показаній на тебя, что другіе, особливо военные, вопили жестоко противъ всѣхъ, особливо противъ тебя»... Въ другой разъ Кушниковъ прямо сказалъ, что по прочтеніи записки Николая Т. ни секунды не задумался бы и объявилъ бы его невиннымъ (стр. 78, 80).

Въ Лозаннѣ Александръ Т. видѣлся съ Лагарпомъ, который зналъ ихъ семью, и разговоръ необходимо зашелъ опять о «дѣлѣ». Письмо передаетъ слѣдующимъ образомъ мнѣніе Лагарпа: «По прочтеніи рапорта, сказалъ онъ, я не вѣрилъ, чтобы Николай Тургеневъ могъ быть участникомъ въ томъ, въ чемъ его и другихъ обвиняли. Я его знавалъ, какъ честнѣйшаго и благоразумнаго человѣка; я и прежде о немъ всегда говаривалъ, что онъ дѣлаетъ честь своей націи и правилами своими, и рѣдкимъ просвѣщеніемъ; что у императора немного подобныхъ слугъ, что вѣрно въ обвиненіи его есть какое-нибудь недоразумѣніе. Я это всѣмъ говорилъ, повторилъ онъ мнѣ, и вы ничего не прибавили къ моему убѣжденію въ его невинности»... «Точно,— прибавляетъ Александръ Т.,—для меня быть въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ тебя знавали или видѣли, есть услажденіе душевное: вездѣ одно слышу» (письмо отъ 5 окт. 1827).

Не будемъ приводить другихъ подробностей о положеніи дѣла Николая Ив. Тургенева и о взглядахъ, какіе вызывало оно въ различныхъ кругахъ русскаго общества. Нѣтъ сомнѣнія, что было много людей, которые имѣли и высказывали къ нему самое теплое сочувствіе. Прежде всего, это были, конечно, люди, лично знавшіе Николая Тургенева, и въ ряду ихъ въ особенности Жуковскій, который, повидимому, не ограничился одними словами въ выраженіи своего участія; Штейнъ не долго зналъ Тургенева, и это было уже довольно давно [1]), но онъ такъ

---

[1]) Они встрѣтились еще разъ, кажется, нѣсколько позднѣе того времени, когда велась эта переписка.

былъ убѣжденъ въ достоинствѣ его идей и характера, что не вѣрилъ обвиненіямъ, и горячее участіе, обнаруженное къ Тургеневу этимъ суровымъ и строгимъ человѣкомъ, имѣло конечно высокую нравственную цѣну, которую долженъ былъ вполнѣ чувствовать Тургеневъ. Но въ пользу Тургенева были наконецъ и люди, расположенные совсѣмъ иначе смотрѣть на вещи, какъ, напр., Кушниковъ, и мнѣнія его показываютъ, что аргументы защитительной записки имѣли свою силу и въ то время, на первыхъ порахъ и при свѣжемъ воспоминаніи людей и событій. Упомянутые отзывы Жуковскаго о рапортѣ слѣдственной коммиссіи [1]) не должны быть забыты въ исторіи этого дѣла.

Но оставляя эту личную сторону изданной теперь переписки, мы, и мимо нея, найдемъ въ ней много историческаго интереса. И именно, мы найдемъ здѣсь любопытныя черты для характеристики того общественнаго и литературнаго круга, которому принадлежало большое значеніе въ нашемъ образованіи въ десятыхъ и двадцатыхъ годахъ. Это — кругъ, стоявшій между Карамзинымъ и романтиками, соединившійся одно время въ Арзамасѣ, одною стороной связанный со старыми преданіями, но сочувствовавшій умѣренному либерализму тогдашняго правительства. Александръ Ив. Тургеневъ является весьма типическимъ представителемъ этого круга, который въ литературѣ имѣлъ своего главнаго представителя въ Жуковскомъ. И въ литературѣ, и въ общественной жизни, направленіе этого круга имѣло въ себѣ что-то неясное и недоконченное — сантиментально-романтическіе порывы къ истинѣ, къ добру, филантропическая любовь къ людямъ, мечтательная и космополитическая религія; все это было очень не похоже на прежнее, здѣсь были задатки новаго движенія умовъ, но эти задатки не успѣли еще выработаться въ какую-нибудь опредѣленную формулу, и потому люди этого круга съ одной стороны легко теряли дорогу своего платоническаго либерализма и мирились съ элементами, къ нему мало подходившими, съ другой, слѣдующее поколѣніе легко могло не удовлетвориться ихъ неясными стремленіями и дѣйствительно разошлось съ ними, отыскивая себѣ новое, болѣе ясное содержаніе.

---

[1]) Къ нимъ присоединяются и мнѣнія Александра Тургенева, также знавшаго людей (см., напр., стр. 319).

Таковъ по преимуществу былъ кружокъ Арзамаса, къ которому Николай Тургеневъ почти не могъ быть причисленъ, но гдѣ его братъ Александръ и Жуковскій играли дѣйствительную роль.

Переписка Александра Тургенева съ его братомъ принадлежитъ, какъ мы сказали, къ числу немногихъ въ нашей литературѣ образчиковъ бесѣды, не связанной никакими опасеніями, и потому откровенной и задушевной. Онъ подробно писалъ брату о своемъ путешествіи, о своихъ знакомствахъ и пр. У него нашлось много связей въ европейскомъ обществѣ, онъ видѣлъ много извѣстныхъ людей, игравшихъ роль въ литературѣ и въ политической жизни, и разсказъ объ его путешествіи, который безъ сомнѣнія былъ интереснымъ развлеченіемъ для его брата, будетъ не лишенъ интереса и для нынѣшнихъ читателей.

Тургеневъ былъ хорошо приготовленъ и обставленъ для этого путешествія. Онъ имѣлъ большое образованіе, можетъ быть не глубокое, но весьма разностороннее; онъ прошелъ административную школу, которая познакомила его со многими сторонами русской жизни и давала матеріалъ для сличеній; онъ очень любилъ общество, въ которомъ занималъ видное мѣсто какъ по своему служебному положенію, такъ и по аристократическимъ связямъ своего семейства. Изъ Петербурга онъ принесъ съ собой много готовыхъ связей и за границей, при которыхъ легко завязывались новыя многочисленныя знакомства. Еще было очень памятно царствованіе Александра, и тѣсное сближеніе Россіи съ европейскими дѣлами давало русскому человѣку, какъ Тургеневъ, много точекъ соприкосновенія съ политическими и литературными кругами европейскаго общества, которые для самого путешественника были цѣлью изученія и любознательности.

По характеру своихъ общественныхъ понятій Александръ Тургеневъ былъ похожъ на большинство своихъ сотоварищей по Арзамасу. Въ этихъ понятіяхъ оставалось много неопредѣленнаго и недоконченнаго. Образованіе сообщило ему много прекрасныхъ качествъ просвѣщеннаго человѣка, дало запасъ отвлеченныхъ идей въ либерально-филантропическомъ направленіи, но не дало ему яснаго пониманія дѣйствительныхъ отношеній, какое отличало, напр., его брата. Николаю Тургеневу показалось скучно въ «Арзамасѣ»,—онъ не могъ понять, какъ взрослые люди могутъ тратить время на шутовское остроуміе и пустословіе; но другимъ членамъ, и Александру Тургеневу въ ихъ числѣ, не приходили въ голову

эти сомнѣнія. Точно также и въ ихъ службѣ: Николай Ивановичъ совершенно понималъ свойства своей служебной дѣятельности, видѣлъ, какъ эта дѣятельность въ тѣхъ условіяхъ далека была отъ истиннаго служенія интересамъ государства и общества; ему надо было мириться съ этими прискорбными условіями, чтобы сдѣлать хоть что-нибудь дѣйствительно полезное. Александръ Тургеневъ, какъ большая часть его сотоварищей, не находили повидимому этихъ условій столь тѣсными; положеніе вещей казалось имъ почти правильнымъ и нормальнымъ и они принимали его безъ дальнѣйшихъ сомнѣній. Поэтому, Александръ Тургеневъ и могъ такъ съ такимъ хлопотливымъ интересомъ участвовать въ тогдашнихъ дѣлахъ: по своей службѣ онъ былъ въ тѣсныхъ связяхъ съ кн. А. Н. Голицынымъ, онъ былъ почти постояннымъ секретаремъ библейскаго общества, онъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ различными кружками тогдашнихъ піэтистовъ, въ связяхъ съ міромъ бюрократическимъ, въ то же время онъ сходился съ людьми либеральныхъ мнѣній, съ литературнымъ міромъ, и т. д. Понятно, что здѣсь было не мало недоразумѣній, которыя должны были наконецъ обнаружиться. И дѣйствительно, они обнаружились для него, прежде всего, кажется съ паденіемъ кн. Голицына, которое повлекло за собой и его отставку: это должно было показать ему непрочное положеніе самыхъ идей, которымъ онъ думалъ служить; въ измѣнившихся личныхъ отношеніяхъ онъ долженъ былъ увидѣть, какъ далеки отъ жизни были тѣ хлопоты, которыми онъ до тѣхъ поръ былъ занятъ, и какъ мало принесли онѣ прочнаго результата. Другое обстоятельство, повидимому, еще больше пробудившее его недовѣріе, было несчастье его брата: повязка еще болѣе спадала съ его глазъ, и онъ видитъ вещи, столь еще недавнія, въ иномъ свѣтѣ и—ближе къ истинѣ. Онъ сталъ лучше понимать русскую дѣйствительность, и успѣлъ разочароваться въ людяхъ, и въ порядкахъ, на которые смотрѣлъ прежде иначе. Наконецъ, многое въ его прежнихъ теоретическихъ представленіяхъ разъяснилось для него путешествіемъ.

Письма Александра Тургенева, въ той (наибольшей) ихъ долѣ, которая посвящена замѣткамъ объ европейской жизни, могутъ служить любопытной мѣркой образованности въ старшемъ поколѣніи двадцатыхъ годовъ, какъ «Письма русскаго путешественника» отражаютъ собой образованность предшествовавшаго поколѣнія. Надо сдѣлать, конечно, оговорку, что таланты были очень различны, и что Тургеневъ во время своего путешествія не былъ

такъ молодъ, какъ Карамзинъ. У Тургенева мы находимъ болѣе серьезное знакомство съ политическимъ положеніемъ вещей, съ литературой, и вообще болѣе ясное понятіе объ отношеніяхъ европейской жизни и образованности къ нашей. Тургеневъ не только приходитъ «поклониться» разнымъ европейскимъ знаменитостямъ, и въ кругу литературной и политической аристократіи европейскихъ столицъ представляетъ для нея интересъ не только по свѣтскимъ качествамъ или связямъ, но и по объему своего образованія. Разница русскаго и европейскаго общества была иначе ясна для Тургенева, чѣмъ для Карамзина, и выводы, которые дѣлалъ первый, были уже гораздо поучительнѣе и серьезнѣе. Эта новая ступень, которую представляютъ взгляды Тургенева, безъ сомнѣнія отражала новую ступень въ развитіи самаго общества.

На первыхъ же страницахъ писемъ Александра Тургенева мы встрѣчаемся съ масонскими воспоминаніями семейства. Правильное образованіе, которое получили братья Тургеневы, конечно направило иначе ихъ понятія; но у нихъ, особенно кажется у Александра, осталось и теплое воспоминаніе о друзьяхъ отца, и нѣкоторый отголосокъ ихъ направленія и сочувствій: въ его религіи былъ еще замѣтный оттѣнокъ мечтательнаго піэтизма. Въ Лейпцигѣ Тургеневъ встрѣтился и познакомился съ Линднеромъ, котораго въ первый разъ онъ называетъ просто «авторомъ Макъ-Бенака», повидимому считая это опредѣленіе достаточно понятнымъ для его брата. Этотъ Линднеръ, нѣкогда ревностный масонъ, произвелъ большой шумъ въ нѣмецкомъ масонскомъ мірѣ своей книгой «Макъ-Бенакъ» (1818), изданной имъ вмѣстѣ съ выходомъ изъ ордена: Линднеръ обличалъ и отвергалъ масонскую внѣшнюю формальность и вызывалъ «братьевъ» на открытую дѣятельность для народа въ духѣ «истинной евангельской свободы». Объ этомъ-то Линднерѣ Тургеневъ отзывается въ письмѣ: «Истинный, практическій, христіанскій мудрецъ съ счастливою физіономіею и говорящій просто и краснорѣчиво, славный педагогъ и обучающій (въ лейпцигскомъ университетѣ) нѣкоторымъ частямъ богословія... Онъ принимаетъ участіе во всѣхъ обществахъ, христіанскую цѣль имѣющихъ: библейскомъ, миссіонерскомъ и пр.» (май, 1827, стр. 26—28). Изъ Цюриха онъ пишетъ: «Я читалъ описаніе и исторію города... но мысль моя летала въ минувшемъ, которое ближе моему сердцу—я думалъ о Лафатерѣ, коего любилъ батюшка и Иванъ Владиміровичъ, какъ въ Камбре

думалъ о Фенелонѣ, думалъ о родственникѣ Лафатера Тоблерѣ, который былъ не столько учителемъ, сколько другомъ нашимъ, т.-е. брата Андрея, ибо я еще не зналъ цѣну ему» и пр. (стр. 152). Въ другой разъ—услышавши на лекціи у Вильмена анекдотъ о Руссо, который сказалъ однажды, что желалъ бы быть камердинеромъ Фенелона, такъ какъ не смѣлъ бы надѣяться быть его секретаремъ,—Тургеневъ вспоминаетъ, что Иванъ Владиміровичъ (Лопухинъ) любилъ разсказывать этотъ анекдотъ (стр. 280). Въ Парижѣ онъ встрѣчается съ Дежерандо, извѣстнымъ французскимъ философомъ двадцатыхъ годовъ, и пишетъ о немъ: «Онъ былъ другъ Сенъ-Мартена и написалъ о немъ біографическую статью, которую я прочту; ибо люблю не только талантъ или геній, но и нравственный характеръ Сенъ-Мартена; и Дежерандо подтверждаетъ о немъ все слышанное мною: онъ былъ другъ людей и творилъ добро» (стр. 314). Въ рукахъ Тургенева была между прочимъ копія неизданной переписки Сенъ-Мартена, которою пользовались французскіе біографы знаменитаго мистика [1]). Въ письмѣ изъ Парижа, въ декабрѣ 1827, Александръ Т. дѣлаетъ для брата выписку изъ письма Жуковскаго о смерти извѣстнаго масона старой новиковской школы, Невзорова... «Нашъ добрый Максимъ Ивановичъ кончилъ жизнь свою. Умеръ съ именемъ твоего отца и Ивана Владиміровича (Лопухина) на языкѣ... Оставилъ 30 копѣекъ мѣдью и нѣсколько книгъ. Пенсіонъ свой весь отдавалъ бѣднымъ: это узнали послѣ смерти его». Тургеневъ прибавляетъ, что онъ дѣлалъ распоряженіе—выдавать Невзорову денегъ сколько нужно: «онъ, казалось, точно не на себя употреблялъ ихъ. Какой умъ, какая душа и какая судьба! И какой характеръ, какая смѣлость за правду противъ сильныхъ земли, грозившихъ ему гибелью, особливо въ послѣднее время, отъ монаховъ» (стр. 322). Это послѣднее обстоятельство еще не разъяснено достаточно біографіей Невзорова.

Тургеневу были также близки его недавніе библейскіе и филантропическіе интересы, которымъ онъ хотѣлъ служить въ свое время въ Россіи. Онъ посѣщалъ въ Германіи библейскія собранія, причемъ видѣлъ, кажется, что наше «библейское дѣло» было не совсѣмъ похоже на то, чѣмъ оно было, напр., въ Германіи и чѣмъ бы оно должно было быть. Онъ любилъ посѣщать проповѣдниковъ и лекціи профессоровъ богословія, и своему

---

[1]) См. Matter, Saint-Martin, le philosophe inconnu, Paris 1864, стр. 455.

благочестивому настроенію могъ удовлетворять за протестантской проповѣдью. Въ Англіи онъ разыскалъ и дружески видался съ старымъ знакомымъ, пасторомъ Патерсономъ (стр. 421, 593), игравшимъ большую роль въ первомъ учрежденіи русскаго библейскаго общества; вспоминаетъ о другомъ пріятелѣ, квакерѣ Вильямѣ Алленѣ.

Но еще больше вниманія возбуждали въ путешественникѣ нѣмецкіе университеты. Живя въ Лейпцигѣ, онъ усердно посѣщалъ лекціи тамошняго университета по теологіи и нравственнымъ наукамъ. На него производило впечатлѣніе это богатство ученой дѣятельности,—хотя отъ него не ускользнули нѣкоторыя странности преподаванія, напр., чрезмѣрная мелочность классическихъ изслѣдованій (стр. 111). Жуковскій, съ которымъ онъ вмѣстѣ жилъ въ Лейпцигѣ, также чувствовалъ желаніе пробыть нѣсколько времени въ какомъ-нибудь нѣмецкомъ университетѣ, чтобы готовиться къ предстоявшей ему воспитательной задачѣ (стр. 119). Посѣщеніе лекцій, знакомство и бесѣды съ профессорами занимали почти все время Тургенева въ Лейпцигѣ.

Русская жизнь нерѣдко вспоминалась ему по разнымъ поводамъ, и къ этимъ воспоминаніямъ почти всегда примѣшивалось чувство печали и неудовлетворенности: бюрократическая фантасмагорія исчезла изъ глазъ, и дѣйствительность возстановлялась въ памяти съ своими настоящими чертами; надежды возлагались на будущее. Между прочимъ наши путешественники встрѣтили одного русскаго молодого человѣка, очень образованнаго спеціалиста по горному дѣлу. Оказалось, что этотъ молодой человѣкъ, много путешествовавшій для изученія своего предмета, получившій за-границей прекрасный аттестатъ, былъ крѣпостной человѣкъ, котораго Демидовъ взялъ изъ Сибири и воспитывалъ для своихъ заводовъ. Можно себѣ представить, что положеніе этого крѣпостного горнаго инженера было очень печально; онъ просилъ Демидова объ освобожденіи, но получилъ отказъ, и хотя имѣлъ возможность получить мѣсто за-границей, рѣшился однако возвратиться домой. Тургеневъ принялъ въ немъ участіе и сталъ хлопотать о немъ, надѣясь устроить дѣло въ Петербургѣ черезъ Жуковскаго и, кажется, Перовскаго. Это былъ слишкомъ наглядный и убѣдительный фактъ относительно крѣпостного права. Въ іюнѣ 1827 г. Александръ Т. пишетъ къ брату изъ Парижа: «Жуковскій нѣсколько разъ прежде думалъ, и сегодня, вспомнивъ объ участи бѣднаго демидовскаго Швецова, о которомъ

вчера со слезами говорилъ мнѣ, хотѣлъ просить тебя записать мысли твои о рабствѣ въ Россіи, если не для близкаго, то для отдаленнаго будущаго. У меня здѣсь твои «мысли о рабствѣ», кажется черновой проектъ. Но теперь ты могъ многое обдумать, или придумать. На что намъ лишать себя средствъ быть полезными, когда силы ума и души еще насъ не оставили? Перенесись мысленно въ 1850-й годъ и далѣе. И что останется отъ нашего бѣдствія? Память добрыхъ и безпристрастныхъ, и чистое почтеніе къ твоей жизни и къ твоему бѣдствію и къ твоимъ правиламъ... Nichts hoffen und doch wollen, das ist der Mann. Ты самъ избралъ этотъ девизъ» (стр. 38—39). Тургеневъ все-таки ошибся на десять лѣтъ. Ему пришлось вспомнить и о собственныхъ ошибкахъ, во времена его службы. «Я прочелъ во французской газетѣ,—пишетъ онъ изъ Парижа въ ноябрѣ 1827—нѣсколько строкъ объ отмѣнѣ мерзкаго закона въ Россіи, мною, по несчастію, въ департаментѣ законовъ составленнаго, но тобою осужденнаго, о правѣ помѣщиковъ посылать въ Сибирь дворовыхъ людей безъ суда, а только объявлять, что они недовольны ими (!). Сказываютъ, что составлены въ совѣтѣ (т.-е. государственномъ) какія-то правила и поименованы случаи, по коимъ могутъ помѣщики поступать такъ, токмо съ своими в а с с а л а м и, какъ сказано въ журналѣ. Жаль, что нѣтъ ничего о семъ подробнѣе; но и этому радъ, ибо эта редакція—хотя, впрочемъ, я и возставалъ противъ смысла или безсмыслицы закона,—лежала у меня на совѣсти». Такъ старый арзамасецъ въ болѣе свѣжей атмосферѣ видѣлъ свои заблужденія, и простое чувство человѣческаго достоинства брало верхъ надъ прежнимъ чиновничьимъ безсердечіемъ. Другіе такъ и остались навсегда съ этимъ безсердечіемъ, которое могло такъ легко уживаться съ сантиментальностью на словахъ.

Въ Лейпцигѣ Тургеневъ встрѣтился съ однимъ нѣмецкимъ чиновникомъ, который былъ въ прежнее время секретаремъ принца Ольденбургскаго въ Эстляндіи и многое зналъ о тамошнемъ освобожденіи крестьянъ, по которому ему приходилось работать. «И тамъ были двѣ партіи,—передаетъ Т. его слова,—одна искренно желала освобожденія ихъ, другая скрытно противодѣйствовала и нашъ Коз....въ или окружающіе его и Роз....фъ были подкуплены эстляндскимъ предводителемъ дворянства Бер...мъ, который пострадалъ, не будучи въ состояніи дать отчета въ 60-ти тыс., употребленныхъ имъ на подкупъ нашихъ чинов-

никовъ. Государь хотѣлъ coûte que coûte кончить дѣло посредствомъ Ольденбургскаго принца, утверждая, что русскій государственный чиновникъ не могъ бы употребленъ быть на сіе дѣло, ибо навлекъ бы на себя ненависть другихъ». Тургеневъ дѣлаетъ по этому поводу любопытное замѣчаніе о характерѣ императора Александра. «Храбрѣйшій и добрѣйшій изъ царей—всего и всѣхъ боялся и все хитрилъ тамъ, гдѣ могъ дѣйствовать bona fide съ простотою величія и съ убѣжденіемъ, что намѣреніе его согласно съ пользою Россіи, съ любовію къ человѣчеству, съ религіею Христа-Искупителя. На что было умничать? Наказанъ невѣріемъ въ чистоту его намѣреній со стороны и добрыхъ и злыхъ, и неуспѣхомъ во многомъ, что лежало на душѣ его и прежде и во время его царствованія»... (стр. 110).

До какой значительной степени развивалось теперь въ Тургеневѣ это сомнѣніе и недовѣріе къ русской дѣйствительности, можетъ показать отрывокъ изъ его письма отъ октября 1827, изъ Парижа. Въ началѣ онъ сообщаетъ нѣсколько слуховъ о сосланныхъ декабристахъ, и затѣмъ продолжаетъ: «Насъ вело и ведетъ Провидѣніе стезей непостижимой; но я вижу благость и въ самомъ бѣдствіи. Мы должны были многое постигнуть, чего безъ сего опыта и безъ сего удаленія изъ Россіи, конечно бы съ такою силою, съ такимъ убѣжденіемъ, не постигнули. Вотъ примѣръ хотя въ бездѣлицѣ: вчера сообщили мнѣ «Сына Отечества» нѣсколько книжекъ [1]) и за весь годъ «Инвалида». Я давно не читалъ русскихъ журналовъ: не умѣю выразить, что я чувствовалъ, пробѣгая листы сихъ репрезентантовъ нашей словесности, нашей администраціи, нашей политической, моральной и литературной жизни! Я и жалѣлъ и краснѣлъ, но всего менѣе досадовалъ. Мнѣ было все это такъ чуждо: и Булгарина распри съ Вяземскимъ и Воейковымъ... и всѣ сіи ничтожныя хлопоты о ничтожномъ, и указы о Хитрова генералъ-контролерствѣ... и ленты и чины...—все это произвело на меня неизъяснимо чуждое по сію пору впечатлѣніе и я уже не страдалъ, какъ прежде, не сокрушался и не досадовалъ, а чувствовалъ почти только одно: что я сему хаосу безстыдства, безпорядка и беззаконія—непричастенъ. Чувствовалъ это такъ сильно, что благодарилъ Бога за то, что я былъ далекъ и душевно и помышленіемъ и умомъ—и пространствомъ. Къ этой же кате-

[1]) Онъ издавался тогда Гречемъ и Булгаринымъ.

горіи долженъ причислить и литературу, самую, такъ сказать, внѣшнюю сторону оной. Что это за варварство?.. Булгаринъ герой! Въ нѣсколько дней раскупаютъ изданія его сочиненій! Шишкову еще подличаютъ; стало быть ничто не перемѣнилось и ничего еще не перемѣнили. И тѣ, въ коихъ желалъ бы принимать участіе, возбуждаютъ жалость по категоріи, въ которую ихъ возводятъ. На одного отставленнаго плута, десять новыхъ съ новыми средствами къ взяткамъ, и юстиція высшая... Это не досада, не тяжелое чувство, а болѣе родъ какого-то удивленія, непривычка къ сему, хотя самъ чувствую, что не имѣю никакого права отвыкнуть отъ того, въ чемъ самъ погруженъ былъ и что было 30 лѣтъ передъ глазами безпрерывно и во всѣхъ ужасахъ существенности! Но полно! Будетъ и тамъ лучше, какъ и въ судьбѣ нашей!»... (стр. 229—230). Тѣмъ же чувствомъ отзывается другое мѣсто въ его письмахъ, гдѣ онъ говоритъ о «моральномъ уродствѣ» нашего общества (стр. 319). О русской литературѣ говоритъ онъ еще въ письмѣ отъ января 1828-го г. изъ Парижа... «Послалъ Жуковскому замѣчанія на статью Греча о Карамзинѣ въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ на 1828-й годъ: что-то такое рабское и писателя недостойное. На счетъ истины дѣлаются фразы, напр., что милость (назначеніе огромной пенсіи) на минуту возбудила его къ жизни,—тогда какъ онъ принялъ ее съ негодованіемъ на чрезмѣрность пенсіи,—и безпрестанно твердятъ о 3-мъ Влад. и о томъ, что одинъ онъ имѣлъ въ чинѣ ст. сов. анненскую ленту! Въ другомъ журналѣ нашелъ я единственное замѣчаніе журналиста на новый отрывокъ Гете, что авторъ имѣетъ теперь уже пять орденовъ! Пусть говорятъ объ этомъ, если хотятъ, въ біографіи тѣхъ государей, кои давали ордена сіи, ибо это имъ нѣкоторую честь дѣлаетъ; но что та грудь, гдѣ билось сердце Вертера, украшена датскимъ слономъ»! [1]).

Свойства нашихъ нравовъ разъяснялись для Тургенева при тѣхъ сравненіяхъ, какія представлялись ему безпрестанно: изъ тѣхъ выраженій, какія онъ употребляетъ, можно видѣть, къ чему приходили его мнѣнія. Вотъ, напримѣръ, замѣчаніе, которое онъ дѣлаетъ по поводу французскаго société d'encourage-

---

[1]) Замѣчаніе, конечно, очень справедливо и естественно; но любопытно, что біографы Карамзина и до послѣдняго времени не могли совсѣмъ покинуть манеру Греча, «что-то рабское и писателя недостойное».

ment pour l' industrie nationale, собраніе котораго онъ посѣтилъ: «Ободрительное общество, по предметамъ занятій своихъ, имѣло для меня мало привлекательнаго, ибо я не могу судить объ успѣхахъ въ искусствѣ продѣлывать ушко въ иголкѣ или въ дѣланіи колесъ на мельницу; но не могу безъ нѣкоторой зависти, смѣшанной однакоже съ космополитическою радостію объ успѣхахъ политическаго просвѣщенія, видѣть дѣятельность сихъ частныхъ обществъ, замѣняющихъ медленную и всегда расточительную, убыточную дѣятельность правительства. Существованіе сихъ обществъ свидѣтельствуетъ бытіе нѣкоторой свободы гражданской, и тамъ гдѣ ихъ больше, тамъ больше и свободы. Отсутствіе оныхъ означаетъ противное и верхъ деспотизма есть гоненіе на участіе частныхъ людей, частныхъ обществъ въ улучшеніяхъ, въ усовершенствованіяхъ, до всего государства касающихся. Я никогда не забуду важности, съ какою говорилъ гр. Сергѣй П. Румянцевъ, возлелѣянный французами 18-го вѣка въ царствованіе Екатерины, объ Арзамасѣ невинномъ. Но и арзамасская шутка была при Александрѣ и принадлежитъ уже къ другой эпохѣ. Впрочемъ страхъ частной дѣятельности, частныхъ усилій къ общему благу принадлежитъ характеру правленія, а не личному (характеру) государей; ибо и Траянъ запрещалъ учрежденіе небольшой компаніи въ маленькомъ азіатскомъ городкѣ, для возстановленія бань, поставляя въ причину, «что всякое общество, всякій союзъ, имѣющій въ виду частные интересы, противны имперіи», хотя при Траянѣ имперія уже отдыхала отъ ужасовъ тиранства и писалъ Тацитъ! Но зло было не въ немъ, а въ натурѣ его власти. А мы должны хранить, беречь сію власть, какъ надежду! Она одна можетъ исцѣлить у насъ язву рабства» (стр. 285).

«Космополитическая радость» была очень справедлива, потому что наконецъ этотъ обычай или принципъ частной дѣятельности, развившійся въ Европѣ, сталъ дѣйствовать и у насъ, и наше общество могло воспользоваться его благими результатами. Какъ видимъ, Тургеневъ хорошо понималъ, для своего времени, значеніе общественной инціативы, и въ этомъ, какъ въ другихъ случаяхъ, онъ удачно обращалъ вниманіе на предметы, въ которыхъ сказывалось настоящее свойство нашего положенія вещей въ то время. Жизнь въ европейскомъ обществѣ объясняла ему, чего недоставало русскому.

Въ то время путешествіе было не такимъ обыкновеннымъ дѣломъ, какъ теперь; познанія, теперь довольно распространенныя, въ то время были несравненно рѣже, и въ европейской жизни для русскаго было вѣроятно еще болѣе новаго и непривычнаго; путешествія не были такъ спѣшны, и, можетъ быть, болѣе внимательны. Тургеневъ, по крайней мѣрѣ, имѣетъ весьма разнообразные интересы; повсюду онъ отыскиваетъ людей, чѣмъ-либо для него любопытныхъ, и нерѣдко сближается съ ними до дружескихъ отношеній. Рядъ этихъ знакомствъ довольно характеристиченъ.

Его путешествіе (къ которому относятся письма 1826—1828 года) началось съ Германіи; онъ жилъ особенно въ Дрезденѣ и Лейпцигѣ, потомъ въ Эмсѣ; затѣмъ онъ проѣхалъ черезъ Швейцарію, остановившись особенно въ Женевѣ, и наконецъ два раза посѣтилъ Парижъ, гдѣ жилъ довольно долго; наконецъ переѣхалъ въ Англію, гдѣ увидѣлся послѣ долгой разлуки съ братомъ.

Въ Германіи онъ съ перваго раза встрѣчаетъ литературныя знакомства, начиная со стараго поэта Тидге и Матиссона, съ которымъ вспоминаетъ о Карамзинѣ, и до представителя новѣйшаго романтизма, Тика. Въ Дрезденѣ онъ знакомится съ наслѣднымъ саксонскимъ принцемъ Іоанномъ, который потомъ сталъ извѣстенъ учеными трудами европейской репутаціи (изслѣдованія о Данте, подъ псевдонимомъ Филалетеса). Въ Швейцаріи онъ посѣщаетъ пастора Гессе, памятнаго ему по прежнему піэтистическому чтенію. Въ Гофвилѣ осматриваетъ знаменитое учебное заведеніе Фелленберга, слава котораго дошла тогда и до Россіи и которое привлекало, между прочимъ, и русскихъ воспитанниковъ изъ высшей аристократіи (стр. 169 и д.). Въ Лозаннѣ онъ встрѣчаетъ Лагарпа, съ которымъ вспоминаетъ императора Александра (стр. 176—189). Въ Женевѣ онъ вошелъ въ дружескія отношенія съ Бонштеттеномъ, швейцарскимъ политическимъ дѣятелемъ и полу-нѣмецкимъ, полу-французскимъ писателемъ. Бонштеттенъ, въ то время восьмидесятилѣтній старикъ, но еще бодрый и интересный своими далекими историческими и литературными воспоминаніями, кажется, полюбилъ своего русскаго собесѣдника: Тургеневъ перечитывалъ въ рукописи его переписку съ Іоанномъ Мюллеромъ, знаменитымъ историкомъ, съ которымъ Бонштеттенъ былъ въ тѣсной дружбѣ; наконецъ Бонштеттенъ отдалъ Тургеневу въ распоряженіе другую свою переписку. «Вообрази

себѣ,—пишетъ Александръ Тургеневъ къ брату,—что Бонштеттенъ отдалъ мнѣ всю свою оригинальную переписку съ отцемъ и матерью; всѣ письма къ отцу его Боннета [1]... и много другихъ писемъ къ нему, весьма любопытныхъ, съ тѣмъ, чтобы я въ Парижѣ списалъ ихъ для себя или сдѣлалъ выписки. Я беру весь толстый томъ съ собою и перепишу все примѣчательное для себя и буду и тебѣ сообщать кое-что. Позволилъ и напечатать все, что я хочу. Письма Боннета всѣ достойны печати». (стр. 206).

Въ Женевѣ Тургеневъ познакомился также съ Сисмонди и вообще съ тамошнимъ литературнымъ кругомъ; онъ жалѣлъ, что не могъ познакомиться съ Дюмономъ, извѣстнымъ другомъ и издателемъ Бентама, пріѣзжавшимъ въ Петербургъ въ первые годы царствованія импер. Александра. По словамъ Тургенева, Дюмонъ «написалъ путешествіе свое въ Россію и читалъ здѣсь (въ Женевѣ) многимъ свою рукопись: описываетъ видѣнное. Онъ не можетъ быть очень доволенъ нами, ибо Новосильцевъ не поддержалъ съ нимъ сношеній по законодательству, а послѣ и совсѣмъ забылъ его» [2]).

Еще обширнѣе были связи и знакомства Тургенева въ Парижѣ. Здѣсь отчасти черезъ русскую аристократическую колонію, отчасти и мимо ея, Тургеневъ очень близко сошелся со множествомъ лицъ, знаменитыхъ въ литературномъ и политическомъ мірѣ. Онъ нашелъ здѣсь старую знакомую, г-жу Свѣчину, которая уже начала тогда свою католическую роль и соединяла въ своей гостинной аристократическихъ католиковъ и легитимистовъ, и писателей. Тургеневъ бывалъ и у г-жи Рекамье и въ другихъ салонахъ, гдѣ имѣлъ возможность видѣть много замѣчательныхъ людей того времени. Съ нѣкоторыми онъ связалъ довольно близкое знакомство: онъ безпрестанно бываетъ у Талейрана и его извѣстной племянницы, герцогини Дино, посѣщаетъ Гизо, Вилльмена, знакомится съ Ройе-Колларомъ, Форіэлемъ, Августиномъ Тьерри, философомъ Дежерандо, барономъ Экштейномъ; встрѣчаетъ старыя знакомства—графа Каподистрію и аббата Николя, занимавшагося въ Россіи педагоги-

---

[1]) Извѣстный философъ прошлаго столѣтія, который былъ почти воспитателемъ Бонштеттена и которымъ такъ увлекался Карамзинъ.

[2]) Мы имѣли случай говорить объ этомъ путешествіи Дюмона (см. «Русскія отношенія Бентама», В. Евр. 1869). [См. выше стр. 24 слл.].

ческой дѣятельностью, какъ говорятъ, подъ крыломъ іезуитовъ, о которыхъ онъ теперь разсказывалъ Тургеневу историческіе анекдоты (стр. 264); наконецъ онъ разсказываетъ о русскихъ знаменитостяхъ, сошедшихъ со сцены, проживавшихъ въ то время въ Парижѣ—какъ адмиралъ Чичаговъ, графъ Аракчеевъ, Ант. Нарышкина (стр. 234, 286, 245). Само собою разумѣется, что Тургеневъ не забылъ въ Парижѣ и публичной жизни,—онъ слѣдитъ за курсомъ Вилльмена, который его интересуетъ и удивляетъ, но котораго онъ умѣетъ однако судить хладнокровно, бываетъ въ публичныхъ засѣданіяхъ академіи, посѣщаетъ публичныя лекціи для рабочихъ, наконецъ слѣдитъ и за политическими событіями, за борьбой партій при министерствѣ Вилleля, наблюдаетъ революціонныя вспышки и уличныя демонстраціи. «Пребываніе въ такую эпоху во Франціи,—замѣчаетъ онъ,—болѣе познакомитъ съ нею и съ первоначальными элементами представительнаго правленія, нежели чтеніе книгъ и журналовъ. Мнѣніе народа и пріемы правительства, можно сказать, всплываютъ на поверхность всего видимаго теперь міра въ Парижѣ» (стр. 287).

Разсказы Тургенева обо всемъ этомъ, хотя отрывочные и короткіе, представляютъ и до сихъ поръ не мало любопытныхъ подробностей о парижской жизни двадцатыхъ годовъ. Между прочимъ онъ бывалъ нерѣдко у Талейрана и записываетъ нѣсколько разсказовъ его о временахъ большой революціи, о вѣнскомъ конгрессѣ и т. п.

Въ январѣ 1828 Александръ Тургеневъ извѣщаетъ брата, жившаго тогда въ Англіи, что можетъ наконецъ съ нимъ увидѣться. Надобно замѣтить, что до тѣхъ поръ онъ не рѣшался ѣхать къ нему: братъ его былъ человѣкъ слишкомъ компрометированный, а онъ хотѣлъ строго соблюсти всѣ оффиціальныя приличія и не дозволялъ себѣ свиданія безъ разрѣшенія правительства, а вмѣстѣ, вѣроятно, и опасался этого. Однимъ словомъ, разрѣшеніе, наконецъ, черезъ два года, явилось. «Милый братъ,—пишетъ Александръ Т.,—наконецъ горизонтъ и для насъ свѣтлѣетъ! Дружба Жуковскаго подѣйствовала. Для меня главное сдѣлано: я могу быть съ тобою. Я почти счастливъ и спокоенъ на всю жизнь. Вотъ копія съ письма Жуковскаго. Досадуя на неполученіе (мнимое) мною писемъ его, онъ увѣдомляетъ о полученныхъ имъ отъ меня письмахъ и книгахъ, и говоритъ: «Но не объ этомъ. Теперь спѣшу. Содержаніе

моего теперешняго письма важное, хотя письмо короткое. Я могу тебѣ теперь по совѣсти дать совѣтъ, которымъ не боюсь повредить тебѣ! ты можешь ѣхать въ Лондонъ. На это напрасно ты требовалъ позволенія съ изъясненіемъ для чего ѣдешь: такого позволенія дать нельзя было; но тебѣ ѣхать не запрещено и я теперь могу сказать тебѣ рѣшительно, ибо имѣю причину такъ говорить, что поѣздка твоя въ Лондонъ и твое свиданіе съ Николаемъ не сдѣлаютъ тебѣ никакого вреда, не произведутъ даже никакого дурного впечатлѣнія. Итакъ, поѣзжай...» Что мнѣ болѣе этого сказать тебѣ, милый другъ и братъ! Въ душѣ моей одно чувство: благодарность къ Провидѣнію за тебя и за дружбу Жуковскаго» и пр. (стр. 364).

Съ февраля по іюль 1828 письма прекращаются. Все это время братья провели вѣроятно вмѣстѣ. Въ іюлѣ они разъѣхались опять: Николай отправился на острова Джерсей и Гернсей, Александръ поѣхалъ по Англіи и Шотландіи. Описаніе этого послѣдняго путешествія наполняетъ вторую серію писемъ и вторую половину книги. Изъ Лондона Александръ Т. отправился черезъ Манчестеръ и Ливерпуль въ Шотландію, прожилъ довольно долго въ Эдинбургѣ, потомъ отправился въ сѣверную Шотландію до Инвернеса и Стаффы и, осмотрѣвъ подробно страну, возвратился на югъ Англіи, останавливаясь во всѣхъ замѣчательныхъ городахъ. Послѣднее письмо, въ октябрѣ 1828, изъ Портсмута, опять наканунѣ свиданія съ братомъ.

Въ своемъ путешествіи по Англіи Тургеневъ отличался той же любознательностью. Онъ успѣлъ уже освоиться съ англійскимъ языкомъ, и съ помощью рекомендательныхъ писемъ пріобрѣлъ и здѣсь много знакомствъ, опять преимущественно въ аристократическомъ и литературномъ кругу. Такъ, онъ посѣщаетъ, въ ихъ провинціальныхъ замкахъ въ Англіи и Шотландіи, лордовъ Лансдоуна, Минто, Росбери, герцога Гамильтона, герцога Девонширскаго, разсказываетъ любопытныя подробности объ англійскомъ бытѣ и англійскомъ гостепріимствѣ, которымъ много разъ имѣлъ случай пользоваться. Изъ литературнаго міра онъ знакомится съ профессорами Эдинбургскаго университета, съ знаменитымъ критикомъ и издателемъ «Эдинбургскаго обозрѣнія» Джеффри (стр. 460), съ политико-экономомъ МакъКуллохомъ (стр. 420), посѣщаетъ Вальтеръ-Скотта и гоститъ у него (стр. 396 и д.), и проч. Его интересуютъ, конечно, и

другія стороны англійской жизни; онъ осматриваетъ фабрики, школы, благотворительныя заведенія, посѣщаетъ знаменитый Нью-Ланаркъ, гдѣ «фабрики содержатся компаніею, въ числѣ коей Owen и мои пріятели квакеры Will. Allen и Forster» (стр. 463 и слѣд.), знакомится съ извѣстнымъ изобрѣтателемъ «ватерпруфа», фабрикантомъ Макинтошемъ и проч.

Такимъ образомъ, нашему путешественнику были совершенно доступны и занимательны умственные и политическіе интересы европейской жизни; въ его космополитическомъ отношеніи къ нимъ отражается вообще положеніе русской образованности, для которой Европа была богатымъ источникомъ поучительныхъ знаній и общественнаго опыта: онъ почти одинаково легко оріентируется и въ Германіи, и во Франціи, и въ Англіи. Его собственныя идеи еще не были довольно ясны и полны, — какъ и въ большинствѣ нашего образованнаго общества, начинавшаго сочувствовать лучшимъ стремленіямъ европейской жизни; — но задатки самостоятельности уже и здѣсь можно замѣчать въ томъ, что изученіе европейскаго образованія дѣлалось собственнымъ трудомъ, почерпалось изъ различныхъ источниковъ, не впадало въ исключительную односторонность самыхъ источниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, для нашего путешественника были одинаково поучительны и Германія, и Франція, и Англія, но онъ не одинъ разъ замѣчаетъ ихъ литературное разъединеніе: какъ представитель болѣе бѣдной образованности, онъ больше считалъ для себя нужнымъ знакомство съ главными европейскими литературами, чѣмъ считали образованные нѣмцы, англичане или французы, которые удобнѣе могли довольствоваться только собственной литературой; но ему видны были и недостатки ихъ исключительности. Дѣйствительно, въ то время международная связь европейскихъ литературъ была гораздо слабѣе, чѣмъ теперь, когда она уже стала весьма значительна, и Тургеневъ могъ дѣлать весьма образованнымъ, даже ученымъ французамъ и англичанамъ, такія указанія о нѣмецкой литературѣ, которыя были для нихъ и полезны, и совершенно новы. Вотъ нѣсколько примѣровъ. Въ Женевѣ,—пишетъ онъ,—«Бонштеттенъ просилъ меня составить для ихъ литературнаго общества, весьма скуднаго нѣмецкими книгами, каталогъ лучшихъ нѣмецкихъ книгъ по исторіи и философіи, и особенно въ отношеніи къ русской исторіи. Они мало знаютъ богатства нѣмецкой словесности въ исторической части и новыя книги мало доходятъ сюда. Я обрадовался сему предло-

женію, ибо оно забавляетъ меня мыслію, что русскій познакомитъ ученыхъ женевцевъ съ нѣмецкой словесностію.... Женевцы, самый Бонштеттенъ, — замѣчаетъ онъ въ другомъ письмѣ, — очень запоздали въ нѣмецкой словесности. По всему видно, что они французы и что сношенія ихъ болѣе съ Франціею, даже съ Италіею, нежели съ Германіею» (стр. 214, 218). Разсказывая о Гизо, Тургеневъ сообщаетъ его мнѣніе о баронѣ Штейнѣ, и потомъ замѣчаетъ: «онъ думаетъ, что образъ мыслей б. Штейна произошелъ и отъ несовершеннаго знанія Франціи. Я объяснилъ ему, какъ онъ и теперь все знаетъ о ней и судитъ ее; но я думаю, что замѣчанія Гизо о Штейнѣ можно обратить и на него самого: и онъ не знаетъ всего б. Штейна и не знаетъ Германіи, хотя я не встрѣчалъ еще француза, которому бы литература нѣмецкая и отличные нѣмцы во всѣхъ родахъ такъ извѣстны были какъ Гизо. Нѣтъ книги, которую бы я назвалъ, ему незнакомой. Онъ или читалъ ее, или купилъ, или читалъ о ней и знаетъ автора по другимъ сочиненіямъ....» (стр. 223). Бесѣдуя съ Дежерандо о новомъ изданіи его исторіи философіи, Тургеневъ опять встрѣтилъ случай, болѣе обыкновенный во Франціи, т. е. незнакомство съ нѣмецкой наукой: «я наименовалъ ему нѣкоторыя нѣмецкія книги, сказавъ, что теперешнее движеніе умовъ въ Германіи примѣчательно по части философіи тѣмъ, что она входитъ во всѣ отрасли наукъ, напримѣръ, въ юриспруденцію, въ законодательство, въ исторію давно уже, а въ изслѣдованіе натуры и подавно; что нельзя не указать на сіе въ исторіи новѣйшей философіи» и проч. (стр. 226). Съ другой стороны о знаменитомъ Клапротѣ Тургеневъ замѣчаетъ: «онъ, точно, отличенъ отъ другихъ французовъ и знаніями и сужденіями безпристрастными. Симъ обязанъ онъ, кажется, нѣмецкимъ книгамъ» (стр. 232). Далѣе, опять незнакомство съ нѣмцами у Авг. Тьерри. Тургеневъ нашелъ, что онъ мало знаетъ нѣмцевъ, хотя ему и читаютъ нѣмецкія книги (Тьерри уже тогда былъ почти слѣпъ). «Я наименовалъ ему нѣкоторыхъ авторовъ ему неизвѣстныхъ о предметѣ, коимъ теперь онъ занимается. Онъ пишетъ исторію народовъ, громившихъ римскую имперію и наконецъ разрушившихъ ее.... Книгу Сарторіуса объ Остготахъ въ Италіи—онъ уже зналъ, ибо она написана на задачу французской академіи. Мансо и другихъ еще не знаетъ. О скандинавахъ я ему говорилъ много и долго и назвалъ источники и критическія сочиненія о ихъ исторіи; обѣщалъ ему и 1-ю часть

Нибура и историческую литературу Эрша, по которой узнаетъ все, что о каждомъ предметѣ писано по части исторіи. Буду иногда заходить къ нему; ибо онъ сидитъ обыкновенно одинъ и въ полутемнотѣ и не всегда можетъ заниматься....» (стр. 233—234). Мы упоминали отзывы Тургенева о Вилльменѣ: это была тогда едвали не первая знаменитость французской публичной каѳедры; онъ привлекалъ огромныя толпы слушателей. Тургеневъ пересказываетъ брату нѣсколько его лекцій, отмѣчаетъ блестящія мѣста и счастливыя выраженія, удивляется его таланту, но тѣмъ не менѣе, опять вѣроятно по привычкѣ къ нѣмецкой научной точности, не можетъ помириться съ той французской ораторской манерой, которая, въ разсчетѣ на эффектныя картины и рѣзкія характеристики, не стѣснялась строгой вѣрностью фактовъ, и не можетъ помириться съ хвастливымъ превознесеніемъ Франціи превыше всего остального міра. Тургеневу бросалась въ глаза насмѣшливая улыбка, съ которой Вилльменъ говорилъ о нѣмцахъ; и когда Вилльменъ принимался, по его выраженію, feuilleter toute l'Europe, Тургеневъ удивлялся легкости перелистыванья, при которомъ Вилльменъ забывалъ, напримѣръ, такихъ людей, какъ Баконъ; и онъ находилъ, что это не дѣлало чести учености профессора. Вообще, онъ приходилъ къ тому заключенію, что «когда слушаешь Вилльмена, то онъ кажется не только остеръ, краснорѣчивъ, но даже глубокомысленъ; а повѣряя дома впечатлѣнія результатомъ, оставшимся въ умѣ и душѣ, то пожива оказывается незначительною. И я не всегда умѣю удержать связь его лекціи: это бѣглый огонь, и есть ли связь въ словахъ его, то развѣ лирическая, не совсѣмъ примѣтная». «Вилльменова лекція, — замѣчаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, — подобна фейерверку, блеснетъ, но ничего не оставитъ, кромѣ темнаго воспоминанія о минутномъ блескѣ» (стр. 280, 291).

Въ Англіи Тургеневъ знакомится также съ людьми ученаго и литературнаго міра, и вообще прекрасно принятъ въ ихъ кругу, сначала по письмамъ, а потомъ по личнымъ его достоинствамъ. Здѣсь ему опять приходится рекомендовать нѣмецкія книги. Въ Эдинбургѣ онъ знакомится съ извѣстнымъ натуралистомъ Джемсономъ, къ которому имѣлъ письма: «онъ обводилъ меня по всему университету, показалъ кабинеты, строющуюся великолѣпную библіотеку.... Я долженъ былъ шарлатанить съ ними (Джемсономъ и другими профессорами) о Блуменбахѣ и записалъ

имъ нѣкоторыя книги, имъ неизвѣстныя» (стр. 406). Съ профессоромъ Пиленсомъ Тургеневъ «заговорился о книгахъ по его части (воспитанію) въ нѣмецкой литературѣ и долженъ былъ все записать ему, начиная отъ Базедова до Линднера и Нимейера. Онъ и о первомъ ничего не слыхалъ, хотя читаетъ нѣмецкія и особливо учебныя книги. Онъ взамѣнъ познакомилъ меня съ здѣшнею методою Вуда и повелъ въ его училище»... (стр. 408).

Оканчивая съ книгой, приводимъ изъ нея отрывокъ, гдѣ Тургеневъ разсказываетъ о посѣщеніи имъ Вальтера-Скотта. Знаменитый романистъ былъ тогда на верху своей славы, и нашъ путешественникъ конечно не могъ миновать его. Вальтеръ-Скоттъ жилъ въ извѣстномъ Абботсфордѣ, который лежалъ на пути Тургенева; у послѣдняго не было на этотъ разъ никакой рекомендаціи, но это не помѣшало любезности пріема. Вальтеръ-Скоттъ любилъ посѣщенія иностранцевъ, и англійское гостепріимство въ этомъ кругу была вещь обычная и правильная. «Ничто меня такъ не поражаетъ въ путешествіи по дачамъ Англіи и Шотландіи,—замѣчаетъ Тургеневъ въ одномъ мѣстѣ, какъ это отсутствіе всякой жизни, или лучше суматохи, которую слышишь, видишь, чувствуешь въ деревняхъ на континентѣ, особливо въ нашихъ барскихъ или помѣщичьихъ. Всему здѣсь часъ, минута; пріѣдешь: не видишь ни хозяина, ни хозяйки. Кажется, все пусто. Зазвонятъ къ завтраку, къ одѣванью передъ обѣдомъ, къ обѣду—и столъ уставленъ всѣмъ, что роскошь придумать можетъ; и вы уже нагулявшись одни, безъ свидѣтелей, приготовившись къ обществу на день, сходите и любезничаете, какъ умѣете, или молчите: васъ напоятъ, накормятъ и спать уложатъ — и проводятъ и все безъ шума, въ опредѣленный часъ. Откуда берется все, что находишь въ комнатахъ, за столомъ, въ гостиной? Всѣ связи съ обществомъ столицы и съ ея представителями журналистами соблюдены, и газета, 3-го дня въ Лондонѣ вышедшая, напоминаетъ вамъ, что вы не въ волшебномъ замкѣ (стр. 446).

Тѣ же нравы видѣлъ нашъ путешественикъ и въ Абботсфордѣ. Вотъ письмо его, писанное отсюда въ августѣ 1828.

«Хочу начать тебѣ письмо перомъ В. Скотта и въ его замкѣ. Я пріѣхалъ въ городъ Мельрозъ, за три мили отсюда, 3-го дня часу во второмъ; осмотрѣлъ прелестныя развалины аббат-

ства, описанныя В. Скоттомъ, и пустился къ нему пѣшкомъ, хотя и не получалъ отвѣта его на мое письмо, котораго онъ не получалъ и по сіе время. Я пришелъ къ нему въ 4 часа. Онъ только что возвратился съ похоронъ. Долго бродилъ въ его первой залѣ, унизанной рыцарскими доспѣхами, убранной различными гербами фамилій здѣшняго края, населеннаго нѣкогда бордерами, т.-е. пограничными жителями, въ вѣчной борьбѣ съ шотландцами и съ англичанами. Сіи разбои воспѣлъ и описалъ В. Скоттъ и ты вѣрно знаешь давно то, что я отчасти успѣлъ прочесть у лорда Минто. Наконецъ встрѣтилъ я официанта въ пудрѣ, и онъ доложилъ обо мнѣ немедленно В. Скотту, который въ ту же минуту принялъ меня въ кабинетѣ своемъ, гдѣ была и дочь его, не замужняя; — другая замужемъ и ея и двухъ сыновей здѣсь нѣтъ. Послѣ нѣкоторыхъ объясненій онъ пригласилъ меня остаться у него; я сказалъ, что спѣшу въ Эдинбургъ и не надѣялся болѣе ничего какъ видѣть его; но дочь въ ту же минуту отвѣчала, что уже комната готова и человѣкъ явился провести меня туда; а В. Скоттъ пригласилъ меня къ обѣду и послѣ обѣда на музыку дамскую. Въ 6 часовъ меня позвали къ обѣду и я нашелъ болѣе 10 человѣкъ гостей.... Всѣ говорили по французски и обѣдъ былъ вкусный и веселый; а послѣ обѣда В. Скоттъ перешелъ ко мнѣ и мы короче познакомились; онъ говорилъ много и съ важною любезностью и мы долго проболтали. Въ гостиной нашли уже мы кофе, чай и музыку. Дѣвушки и одна старушка пѣли, играли на арфѣ и на гитарѣ, и В. Скоттъ безпрестанно подходилъ ко мнѣ и объяснялъ національныя пѣсни; оживлялся, повторяя ихъ наизусть съ начала до конца и щелкалъ пальцами, какъ удальцы шотландскіе. Въ 11 часу подали опять ужинъ и скоро разошлись».... На другое утро Тургеневъ одинъ осмотрѣлъ садъ въ Абботсфордѣ и окрестности, и затѣмъ отправился гулять съ самимъ хозяиномъ. «Дорогой, В. Скотъ расказывалъ, какъ за 15 лѣтъ нашелъ онъ это мѣсто совершеннымъ пустыремъ, какъ устраивалъ его, и показывалъ всѣ виды съ горы на Мельрозъ, на дачу лорда Сомервиля и на рѣку Твидъ и другую рѣчку, недалеко отъ его замка въ Твиду впадающую; толковалъ о шотландскихъ древностяхъ, вспоминалъ часто старинные стихи и пѣсни и съ жаромъ повторялъ ихъ. Онъ читалъ и нѣм. книги и выспрашивалъ о фемгерихтѣ [1])

[1]) Средневѣковыхъ тайныхъ судилищахъ.

въ Германіи и хотѣлъ записать книги, кои я ему назвалъ о семъ предметѣ. Древность, или лучше старина среднихъ вѣковъ его очень интересуетъ и другихъ народовъ, и я нашелъ въ его библіотекѣ много любопытнаго по исторической и археологической части. Мы гуляли до 5 часовъ... Въ 6 часовъ позвали къ обѣду, къ которому я одѣлся какъ на балъ. Разговоръ былъ общій, но оживленный. Въ столовой, также какъ и во всѣхъ комнатахъ множество картинъ, портретовъ и разныхъ рисунковъ, относящихся къ старинѣ шотландской. Послѣ обѣда дамы, а за ними и англичанинъ (пріятель В. Скотта) ушли и В. Скоттъ снова подсѣлъ ко мнѣ и мы проговорили до 10 час. вечера. Онъ объяснялъ мнѣ кланы, отношенія ихъ между собою и къ начальникамъ ихъ, и описывалъ прежнее состояніе ихъ, говоря, что въ нихъ не было ничего феодальнаго, но болѣе патріархальное; что начальникъ клана, конечно, пользовался большимъ вліяніемъ, но что это вліяніе и дорого стоило ему; что теперь стараніями правительства и измѣненіемъ нравовъ—кланы почти не существуютъ. Называлъ того убившагося шотландца (Гленгари), у коего ты обѣдалъ, какъ своего пріятеля и ревностнаго учителя обыкновеній шотландскихъ. Мы перешли къ литературѣ и онъ повелъ показывать мнѣ свои книги и акты двухъ обществъ шотландскихъ древностей и достопримѣчательностей. Показывалъ и другія рѣдкія книги на шведскомъ языкѣ; ибо занимался поэзіею исландскою и выспрашивалъ меня о новыхъ книгахъ по сей части. Я хотѣлъ уѣхать; но онъ не пустилъ меня и оставилъ опять ночевать, сказалъ, что приготовилъ для меня другую комнату, просторнѣе, хотя и прежняя была прекрасная и удобная. Я провелъ опять вечеръ съ ними и онъ былъ необыкновенно любезенъ... Мнѣ кажется, что посѣщеніе мое ему не въ тягость и вчера ввечеру, прощаясь со мною, онъ сказалъ мнѣ даже не только что-то лестное, но даже почти нѣжное, въ отвѣтъ на мое извиненіе, что я, не рекомендованный никѣмъ, рѣшился пріѣхать къ нему. Пріятель его много разсказывалъ мнѣ о немъ особенностей и хвалилъ его благородный характеръ, о коемъ другіе иначе отзывались. Онъ любитъ посѣщенія чужестранцевъ, хотя лондонскіе дэнди и надоѣдаютъ ему своими незнакомыми визитами, всегда и весь день почти въ обществѣ, и никто не знаетъ, когда онъ имѣетъ время писать и что пишетъ... Любитъ балагурить съ гостями, хотя и балагурство его все съ какою-то любезною важностью и лицо чрезвычайно умное и выразитель-

ное... Весь домъ его въ книгахъ и въ древностяхъ и достопримѣчательностяхъ всякаго рода: я нашелъ и русскіе православные складни и шитые торжковскіе сапоги, цѣлыя одежды рыцарей съ панцырями и шлемами и копьями на стѣнахъ. Много хорошихъ картинъ и комнаты убраны со вкусомъ» (стр. 396—400).

Нельзя, въ заключеніе, не выразить желанія, чтобы изданіе этой переписки было продолжаемо: судя по началу, она, среди своихъ личныхъ отношеній, должна представлять не мало общаго историческаго интереса. Еще болѣе, быть можетъ, требуютъ изданія бумаги самого Н. Ив. Тургенева: для него еще при жизни наступила исторія, примиряющая партіи и безпристрастная; тѣ, кто были ему враждебны по принципамъ, отдавали ему справедливость, даже не-хотя, потому что общій голосъ вынуждалъ эту справедливость. Его жизнь была изъ самыхъ поучительныхъ, какія можетъ представить біографія дѣятелей нашего общественнаго быта; собрать документы, личныя выраженія этой жизни, значило бы дать ей еще разъ новую цѣну, примѣромъ твердаго и возвышеннаго убѣжденія, и утвердить ея историческую память.

РАЗБОРЪ СОЧИНЕНІЯ
М. И. БОГДАНОВИЧА.

(„Отчетъ о XV-мъ присужденіи наградъ графа Уварова“. Спб. 1874).

РАЗБОРЪ СОЧИНЕНІЯ М. И. БОГДАНОВИЧА:

«Исторія царствованія Императора Александра I-го и Россіи въ его время» VI томовъ. Печатано по Высочайшему повелѣнію. Спб. 1869—1871.

Понятіе исторіи, способы ея изученія и матеріалъ чрезвычайно расширились въ наше время. Исторія уже не понимается болѣе какъ разсказъ объ однихъ внѣшнихъ государственныхъ событіяхъ, каковы войны, дипломатическіе переговоры, или какъ личная біографія государей и т. п. Болѣе серьезное вниманіе къ жизни народовъ научило, что внѣшнія государственныя событія составляютъ далеко не единственный историческій интересъ, и что гораздо болѣе существенная важность принадлежитъ внутренней жизни народовъ, изображеніе которой и составитъ истинное представленіе судьбы націй. Это измѣненіе понятія исторіи и было естественно, когда увидѣли, что внѣшнія событія имѣли свое основаніе въ многоразличныхъ внутреннихъ условіяхъ народнаго характера, учрежденій, степени образованности, въ условіяхъ матеріальнаго бытія націи и т. д.: для изученія исторіи народа становилось неизбѣжно необходимымъ изыскивать эти первыя основанія внѣшнихъ явленій и событій.

Разсматриваемая съ этой точки зрѣнія, исторія нерѣдко можетъ доставить значительно иное представленіе судьбы націи, если бы она ограничивалась картиной внѣшнихъ явленій. Эпоха Людовика XIV могла бы казаться верхомъ національнаго развитія, если бы судить ее только по внѣшнему блеску, завоеваніямъ, шумнымъ восхваленіямъ современниковъ, но болѣе внимательное изученіе открыло въ ней одну изъ тѣхъ эпохъ, которыя полагали основаніе будущему паденію монархіи,—распаденіемъ внутреннихъ отношеній, гдѣ старыя формы быта, потерявъ смыслъ въ новомъ развитіи націи, становились враждебны самымъ основ-

нымъ требованіямъ народнаго благосостоянія. Историки прежней школы долго, и совершенно искренно, не могли понять оснований переворота, который совершился въ концѣ того столѣтія во французскомъ государствѣ и обществѣ подъ вліяніемъ этихъ скрытыхъ пружинъ, и приписывали его обыкновенно дѣйствію случайныхъ лицъ и событій, анекдотическимъ обстоятельствамъ и проч. Исторія понимаетъ теперь жизнь народовъ не какъ случайное сцѣпленіе событій, но какъ послѣдовательное развитіе явленій изъ первоначальныхъ данныхъ подъ всѣми вліяніями національной сущности и внѣшнихъ условій, и усилія исторіи направлены къ тому, чтобы массу фактовъ объединить разъясненіемъ ихъ внутренней связи и естественной послѣдовательности. Органическія основы и требованія развитія не теряютъ своей силы; ихъ значеніе можетъ быть иногда закрыто отъ непосредственныхъ дѣятелей, но рано или поздно оно сказывается; нарушеніе ихъ можетъ остаться незамѣченнымъ въ данную минуту, можетъ быть закрыто внѣшнимъ блескомъ офиціальной жизни, громкими побѣдами,—но потомъ оно обнаружится явленіями упадка, для которыхъ объясненія и должно искать въ прошедшемъ. Задача историка и состоитъ въ томъ, чтобы наблюдать это органическое развитіе явленій, и онъ не понялъ бы своей задачи, если бы думалъ, что выполняетъ ее только хронологическимъ подборомъ фактовъ.

Съ измѣненіемъ понятія исторіи, измѣняется и способъ ея изученія. Не останавливаясь на внѣшности событій, новѣйшій историкъ ищетъ ихъ внутренняго основанія въ народномъ характерѣ, въ господствующихъ понятіяхъ и складѣ жизни, въ матеріальныхъ условіяхъ, требованіяхъ времени и совершающагося кругомъ прогресса; не принимая на вѣру готовыхъ абсолютныхъ принциповъ, которые заявляетъ традиція и офиціальная жизнь,—онъ, напротивъ, самые принципы подвергаетъ изслѣдованію и опредѣляетъ ихъ значеніе въ ряду явленій, какія представляетъ исторія идей и учрежденій. Для объясненія національной исторіи, изслѣдователь обращается къ многоразличнымъ сторонамъ государственнаго и народнаго быта, и въ свойствѣ учрежденій, въ состояніи народнаго образованія, въ экономическомъ положеніи, находитъ болѣе вѣрную мѣрку степени національнаго развитія, чѣмъ какую можетъ давать внѣшній блескъ и слава побѣдъ, завоеваній и т. п. Со всѣмъ этимъ изученіе исторіи усложнилось множествомъ разнообразныхъ изученій, которыя находятъ

въ ней сводъ и завершеніе. Исторія уже не можетъ сохранить своего прежняго уединеннаго положенія, и можетъ быть сильна, только воспринимая въ себя результаты наукъ нравственныхъ, политическихъ и экономическихъ, на сколько они разъясняютъ и общіе принципы и частныя явленія національной жизни.

Наконецъ, съ этимъ расширеніемъ изученій измѣняется и такъ называемая «цѣль» исторіи. Покидая свой прежній характеръ простаго разсказа или художественной повѣсти, принимая новый способъ и матеріалъ изслѣдованія, исторія становилась въ рядъ чисто научныхъ изысканій, и въ этомъ смыслѣ не могла имѣть иной, кромѣ научной, цѣли. Историки отвергли ея прежнюю задачу, по которой она должна была служить только интересамъ чистой любознательности или практическимъ цѣлямъ воспитанія любви къ отечеству, національной гордости и т. п., и ставили ей отвлеченную задачу научнаго изысканія,—къ какому бы результату оно ни приходило. Это было совершенно справедливо. Конечно исторія національная, по самому предмету своему, и въ наше время можетъ и должна служить нравственнымъ цѣлямъ гражданскаго воспитанія; но этимъ цѣлямъ она можетъ служить только тогда, когда сохраняетъ свое научное значеніе, когда оставляетъ въ сторонѣ соображенія, постороннія сущности науки.

Какъ всякая наука, кромѣ своего чисто отвлеченнаго значенія,—расширенія человѣческаго знанія,—дорога и всѣми результатами, которые она приноситъ въ жизни своими разнообразными приложеніями, такъ и исторія имѣетъ многія стороны, гдѣ она тѣсно примыкаетъ къ дѣйствительной жизни и имѣетъ свои практическія приложенія. Предметъ ея есть изслѣдованіе жизни человѣческаго общества, въ сущности котораго лежитъ стремленіе къ совершенствованію и прогрессу; поэтому исторія, въ ея истинномъ значеніи, становится одной изъ наиболѣе дѣйствительныхъ научныхъ силъ, играющихъ роль и въ стремленіяхъ современной жизни. Историкъ, по словамъ Гервинуса, естественно долженъ быть поборникомъ прогресса, и ему (если онъ служитъ дѣйствительнымъ задачамъ своей науки) трудно избѣгнуть подозрѣній въ сочувствіи къ дѣлу свободы, потому что свобода есть одно и то же съ движеніемъ силъ, а здѣсь-то и заключается стихія, въ которой онъ дышетъ и живетъ [1]). Въ этомъ

[1]) Grundzüge der Historik. Leipz. 1839, стр. 94.

нравственно-общественномъ значенiи исторической науки согласится каждый, кто только признаетъ самый смыслъ историческаго движенiя.

Русская исторiографiя, еще новая и небогатая, представляетъ немного трудовъ, гдѣ исторiя является съ этимъ значенiемъ. Но сюда несомнѣнно сводится смыслъ всѣхъ тѣхъ многочисленныхъ трудовъ, которые посвящаются теперь обнародованiю и первоначальному объясненiю матерiаловъ, относящихся къ нашей новѣйшей исторiи (восемнадцатаго и девятнадцатаго вѣка). Надо всѣми этими трудами господствуетъ мысль о томъ, чтобы прослѣдить элементы нашей государственной и общественной жизни, опредѣлить цѣнность управлявшихъ ею принциповъ, сравнить прошлое съ настоящимъ. Правда, наша исторiографiя (относительно новѣйшаго перiода) до сихъ поръ остается всего болѣе на степени предварительной разработки и рѣдко приступаетъ къ попыткамъ выводить историческiй результатъ; но очевидно, что задача настоящаго историка должна заключаться именно въ сведенiи этихъ историческихъ счетовъ, въ выводѣ общаго результата.

Современная эпоха въ особенности вызывала бы на подобное пониманiе задачи. Послѣ многихъ десятилѣтiй неизмѣнявшагося общественнаго склада, наше время видѣло цѣлый рядъ преобразованiй, имѣвшихъ глубокiй историческiй смыслъ. Какъ бы мы ни понимали ихъ размѣры и частное значенiе каждаго изъ нихъ, очевидно, что эти преобразованiя вносили въ жизнь совершенно новые элементы, невѣдомые практически для прежнихъ поколѣнiй; и существенное значенiе реформъ состояло неоспоримо въ томъ, что онѣ открыто отвергали старыя формы и старыя понятiя, какъ изжитыя и уже вредныя для нацiональнаго бытiя. Это было отверженiе фактическое, рѣшительное и безвозвратное, и имѣло тѣмъ больше значенiя, что практически было теперь осуществляемо совершенно независимой правительственной инициативой, — той государственной силой, которая обыкновенно всего менѣе входила въ теоретическiя соображенiя частныхъ мнѣнiй общества. Эта инициатива издавна была у насъ несравненно осторожнѣе, несравненно консервативнѣе, чѣмъ бывало общественное мнѣнiе образованныхъ людей, и если наконецъ она вступала въ этотъ путь, это означало, что отвергаемыя формы въ самомъ дѣлѣ окончательно потеряли свой смыслъ, — что новыя формы составляли неизбѣжную потребность. Предположивъ дальнѣйшее послѣдовательное развитiе идеи, лежавшей

въ основѣ реформъ, мы приходимъ къ почти всеобщему или во всякомъ случаѣ весьма обширному преобразованію общественныхъ и отчасти даже политическихъ формъ, которое начало бы новую эпоху нашего національнаго существованія.

Гдѣ же источникъ этого движенія? Очевидно, что оно подготовлено было предыдущей исторіей, что практическое отверженіе старыхъ формъ было только послѣднимъ пунктомъ ихъ вырожденія, начавшагося давно, что уничтоженіе ихъ только вскрыло давно таившійся фактъ. Очевидно, что исторія стараго времени и должна дать разъясненіе этого положенія вещей, указать и состояніе народной жизни въ старыхъ отживавшихъ формахъ, и возникновеніе потребности въ новомъ порядкѣ вещей. Начала нынѣшняго движенія принадлежатъ не одному ближайшему періоду, но и болѣе отдаленному времени, и исторія Александра I должна разъяснять для насъ многое изъ тѣхъ предварительныхъ явленій, которыхъ результатъ обнаруживается въ наше время.

Такимъ образомъ, и русскій историкъ, по сущности предмета, объясненной приведеннымъ примѣромъ, находится не въ иномъ положеніи, чѣмъ то, о которомъ говоритъ нѣмецкій писатель. Какъ историкъ прогресса, понимаемаго не только въ смыслѣ внѣшняго расширенія и усиленія государства, но и въ смыслѣ усовершенствованія формъ общественнаго быта и образованности, онъ долженъ быть и поборникомъ прогресса; въ этомъ должно заключаться нравственное достоинство его науки.

Обширный трудъ г. Богдановича предпринятъ былъ въ такое время, когда наша историческая литература едва приступала къ изученію выбранной имъ эпохи, и приступала почти только къ предварительному изданію отрывочныхъ матеріаловъ,— такъ что авторъ, можно сказать, не имѣлъ предшественниковъ на этомъ пути. Нѣсколько слабыхъ панегириковъ прежняго времени не заслуживаютъ упоминанія. Въ послѣднее время можно назвать только немногія историческія монографіи о царствованіи императора Александра I, какъ напр. біографіи Сперанскаго и Блудова, писанныя барономъ Корфомъ и Е. П. Ковалевскимъ; какъ исторія отдѣльныхъ учрежденій,—напр. отдѣлъ въ исторіи министерства внутреннихъ дѣлъ, г. Варадинова, какъ матеріалы для исторіи министерства народнаго просвѣще-

нія, г. Сухомлинова, какъ исторія другихъ учрежденій, учебныхъ заведеній и т. п., какъ исторія іезуитовъ, г. Самарина и Морошкина; два—три сочиненія о борьбѣ Греціи за независимость (Палеолога и Сивиниса, Ѳеоктистова), объ эпохѣ конгресовъ, г. Соловьева, и т. п. Затѣмъ единственный общій обзоръ царствованія импер. Александра I (если не считать главы въ прежней книгѣ г. Устрялова) сдѣланъ былъ въ короткой статьѣ г. Путяты, помѣщенной въ «Энциклопедическомъ Словарѣ, составленномъ русскими учеными и литераторами» (Спб. 1862) [1]). Прибавимъ, наконецъ, что одна часть нынѣшняго сочиненія г. Богдановича, именно описаніе войнъ 1812—14 годовъ, была имъ разработана раньше, въ болѣе обширномъ объемѣ, въ двухъ особыхъ сочиненіяхъ, и вошла сюда въ сокращеніи.

Такимъ образомъ, г. Богдановичъ только въ немногихъ случаяхъ могъ воспользоваться трудами предшествующихъ русскихъ историковъ; главная доля въ постройкѣ сочиненія, въ собраніи и изученіи матеріала принадлежала ему самому.

Авторъ, во первыхъ, собралъ съ большой полнотою то, что представляла ему печатная литература, иностранная и русская, о временахъ императора Александра I. Приложенный въ концѣ его сочиненія списокъ печатныхъ книгъ, служившихъ ему источниками, представляетъ длинный и весьма полный перечень книгъ иностранныхъ и русскихъ, заключающихъ біографію императора: записки и другія сочиненія, относящіяся къ его времени, сочиненія, относящіяся къ дипломатической и военной исторіи, къ исторіи администраціи, народнаго просвѣщенія, литературы, финансовъ; къ исторіи тайныхъ обществъ. Мы укажемъ далѣе нѣкоторые пропуски, которые были сдѣланы имъ въ ряду этихъ матеріаловъ.

Г. Богдановичъ высказываетъ, впрочемъ, большое недовѣріе къ иностраннымъ писателямъ. Упоминая о томъ, что исторія послѣднихъ годовъ царствованія еще не была предметомъ безпристрастнаго изслѣдованія, онъ говоритъ: «Причины тому

---

[1]) Та же статья, съ дополненіями, перепечатана теперь въ сборникѣ г. Бартенева «Девятнадцатый вѣкъ» (1872). Наконецъ, отдѣлъ о Россіи во время имп. Александра, находящійся во 2-мъ томѣ «Исторіи девятнадцатаго столѣтія» Гервинуса, не проникъ въ русскій переводъ этой книги, и слѣдовательно остался неизвѣстенъ въ русской литературѣ.

очевидны: источники свѣдѣній, могшихъ служить къ тому, сохранялись подъ спудомъ, да и самая исторія новѣйшаго времени приняла у насъ форму неосновательныхъ обвиненій, либо панегириковъ, которымъ вѣрили... только ихъ составители. Это подавало иностранцамъ возможность сдѣлаться глашатаями новѣйшей русской исторіи, и легко представить себѣ, какъ они искажали ее при совершенномъ незнаніи нашего быта. Вмѣсто того, чтобы представить картину, либо, по крайней мѣрѣ, очеркъ событій, происходившихъ предъ ихъ глазами, они собирали слухи, сплетни и, приправя ихъ собственными намеками и измышленіями, угощали своимъ рукодѣліемъ всю Европу. Въ ихъ сочиненіяхъ находимъ источникъ неточныхъ и даже превратныхъ понятій о такъ называемомъ періодѣ реакціи послѣднихъ годовъ Императора Александра» [1]) Обвиненіе едва ли не слишкомъ строго. По словамъ самого автора, въ этомъ прежде всего виновато отсутствіе нашей собственной исторіи, лежавшей «подъ спудомъ»: если наша литература была неспособна къ исторіи, по тѣмъ или другимъ причинамъ (всего болѣе, впрочемъ, отъ нея независѣвшимъ), то можно ли винить иностранныхъ писателей, что они оставались безъ русскихъ пособій, безъ должныхъ источниковъ, и отъ этого впадали въ ошибки? Между тѣмъ сами они обнаруживали довольно любознательности, и труды ихъ едва ли оставались безплодны. Самъ авторъ могъ еще цитировать книгу Рабба; книга Шницлера доставила много цѣнныхъ указаній; книга Эйнара писана въ значительной степени съ помощью русскихъ указаній; иностранные писатели доставили не мало матеріала для исторіи нашего двѣнадцатаго года; европейскія дѣла имп. Александра были разсказаны почти исключительно иностранными писателями, и проч. Шницлеръ, въ прежнее время запрещенный у насъ, долго былъ единственнымъ источникомъ, откуда можно было извлечь какія нибудь свѣдѣнія человѣку, который хотѣлъ бы познакомиться съ послѣдними годами царствованія. Было, конечно, не мало фантастическихъ ошибокъ у иностранныхъ писателей, когда шла рѣчь о Россіи; но едва ли мы имѣемъ право относиться къ нимъ высокомѣрно, потому что у насъ и вовсе не было никакой исторіи.

---

[1]) Т. V, стр. 446. Ту же мысль авторъ высказываетъ и въ предисловіи къ V-му тому, съ которымъ начинается вторая часть сочиненія.

Въ исторіи внутреннихъ русскихъ дѣлъ, конечно авторъ прежде всего изучалъ весь тотъ огромный матеріалъ, который доставляло ему Полное Собраніе Законовъ, откуда онъ почерпалъ свѣдѣнія объ учрежденіяхъ, административной и законодательной дѣятельности правительства;—а также цѣлую литературу того времени, періодическія изданія, гдѣ находилъ отраженія общественной жизни и мнѣній.

Затѣмъ, авторъ пользовался чрезвычайно обширнымъ запасомъ матеріаловъ рукописныхъ, какой вообще только въ исключительныхъ случаяхъ бываетъ доступенъ русскому писателю. Автору открыты были различные государственные архивы, начиная съ Государственнаго Архива министерства иностранныхъ дѣлъ. Длинный списокъ документовъ, которыми пользовался авторъ изъ этихъ архивовъ и изъ частныхъ собраній, представляетъ обширную массу свѣдѣній изъ всѣхъ періодовъ царствованія по самымъ различнымъ отраслямъ дѣлъ и управленія.

Рядъ этихъ источниковъ начинается письмами императора Александра къ различнымъ европейскимъ государямъ, письмами къ иностраннымъ и русскимъ государственнымъ людямъ, генераламъ и дипломатамъ, высочайшими рескриптами и повелѣніями; далѣе, письмами къ самому императору. Далѣе слѣдуетъ обширная переписка множества извѣстныхъ дѣятелей того времени, иностранныхъ и русскихъ, относящаяся къ русскимъ внутреннимъ дѣламъ, къ событіямъ тогдашнихъ войнъ, и къ дипломатическихъ совѣщаніямъ. Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ доставилъ автору протоколы дипломатическихъ переговоровъ, тексты мирныхъ и союзныхъ трактатовъ, конвенцій и т. д.; рядъ политическихъ и дипломатическихъ записокъ, которыя представляемы были имп. Александру. Архивъ государственнаго совѣта, главнаго штаба, канцеляріи военнаго министерства, военныхъ поселеній, министерства финансовъ, внутреннихъ дѣлъ и др. доставили автору обильный запасъ разнообразныхъ офиціальныхъ свѣдѣній и подлинныхъ дѣлъ. Донесенія высшей полиціи открывали ему взгляды властей на состояніе общественнаго мнѣнія и закулисную исторію общественной жизни. Относительно польскихъ дѣлъ авторъ пользовался подлинными донесеніями Новосильцова. Относительно тайныхъ обществъ г. Богдановичъ также имѣлъ въ рукахъ матеріалъ замѣчательно любопытный: если не ошибаемся, онъ

первый получилъ возможность пользоваться (для печати) подлинными дѣлами слѣдственной коммиссіи о тайныхъ обществахъ Сѣверномъ, Южномъ и Соединенныхъ Славянъ, дѣлами, хранящимися въ Государственномъ архивѣ.

Наконецъ въ распоряженіи автора находилась обширная коллекція записокъ (мемуаровъ) лицъ, занимавшихъ болѣе или менѣе важныя служебныя положенія во время императора Александра, или вообще бывшихъ свидѣтелями разныхъ достопримѣчательныхъ событій эпохи. Таковы, напр., записки адмирала Шишкова (теперь напечатанныя заграницей); Вигеля (напечатанныя въ Москвѣ); Щербинина, состоявшаго при Толѣ въ 1812—14 годахъ; мичмана Мельникова—о дѣйствіяхъ эскадры Сенявина; де-Санглена, завѣдывающаго тайной полиціей при Балашовѣ; Барклая де-Толли; кн. А. Б. Голицына; генерала Раевскаго; Беннигсена; А. Х. Бенкендорфа; гр. Орлова-Денисова; генерала К. М. Полторацкаго; гр. Ланжерона; М. Ѳ. Орлова; Ермолова и проч.

Такъ обширенъ былъ матеріалъ, которымъ воспользовался историкъ времени императора Александра I. Въ этомъ отношеніи автора почти невозможно упрекнуть въ упущеніяхъ;—кромѣ нѣсколькихъ пунктовъ, гдѣ онъ могъ бы полнѣе воспользоваться источниками, онъ указываетъ все существенное, что представляла русская и иностранная историческая литература, и имѣлъ въ виду массу матеріала рукописнаго, которымъ еще никто не пользовался для описываемаго имъ времени, и который большею частью даже мало кому вообще былъ извѣстенъ.

Планъ сочиненія очень простъ. Разсказавъ, въ предварительной главѣ, о дѣтствѣ и воспитаніи Александра, упомянувъ вкратцѣ о правленіи императора Павла, авторъ приступаетъ къ описанію царствованія Александра I, располагая это описаніе въ хронологической послѣдовательности событій. Для «удобнѣйшаго обозрѣнія» ихъ, онъ раздѣляетъ исторію этого времени на четыре періода: 1) отъ 1801 до 1805 г.—періодъ административныхъ преобразованій; 2) отъ 1805 до 1812,—періодъ войнъ, веденныхъ внѣ предѣловъ имперіи; 3) отъ 1812 до 1815,—отечественная война и ея послѣдствія, и 4) отъ 1815 до 1825,—періодъ конгресовъ и охраненія установленнаго ими порядка въ Европѣ. Затѣмъ, въ каждомъ періодѣ, авторъ описываетъ событія и правительственную дѣятельность императора по отдѣльнымъ предметамъ: дѣла внѣшней политики и военныя событія; админи-

страція; законодательство; военное управленіе; флотъ; финансы; промышленность и торговля; народное просвѣщеніе; литература и журналистика; сооруженія и общественныя работы и памяттики; общественная благотворительность и подвиги добра, и т. п. Въ нѣсколькихъ случаяхъ авторъ говоритъ объ общественной жизни, о настроеніи общественнаго мнѣнія.—Такимъ образомъ, планъ обнимаетъ по возможности всѣ главнѣйшія отрасли государственной жизни. Какъ спеціалистъ военной исторіи, авторъ даетъ военнымъ событіямъ особенно обширное мѣсто: «при изложеніи военныхъ событій,—говоритъ онъ въ предисловіи,—описаны подробно только тѣ, въ которыхъ императоръ Александръ I-й принималъ лично участіе, либо тѣ, въ коихъ особенно проявлялась доблесть нашего народа; вообще же дѣйствія на главномъ театрѣ войны изложены въ пространнѣйшемъ объемѣ, нежели прочія военныя дѣйствія, упоминаемыя только для сохраненія взаимной связи событій, одновременно происходившихъ на различныхъ пунктахъ». Это изложеніе тѣмъ не менѣе довольно обширно и, быть можетъ, занимаетъ до 2/5 цѣлаго сочиненія.

Въ предисловіи авторъ указываетъ «трудность безпристрастнаго изложенія столь недавно минувшихъ событій»; не смотря на то, онъ предпринялъ свой трудъ съ убѣжденіемъ, что «при всѣхъ недостаткахъ своихъ, онъ можетъ послужить къ сохраненію изустныхъ и письменныхъ свѣдѣній объ этомъ времени, свѣдѣній, которыя иначе изчезли бы невозвратно, какъ уже нерѣдко случалось со многими преданіями и документами». «Будучи весьма далекъ отъ мысли видѣть въ своемъ сочиненіи вполнѣ достойный памятникъ Благословенному Монарху,—говоритъ авторъ въ предисловіи къ 5-му тому,—ласкаю себя только надеждою, что собранные мною факты послужатъ въ пользу болѣе меня искусному художнику. Пользуясь общественными архивами и свѣдѣніями, полученными отъ частныхъ лицъ, благосклонно содѣйствовавшихъ мнѣ сообщеніемъ имѣющихся у нихъ письменныхъ свѣдѣній, я, кромѣ того, не упускалъ случаевъ почерпать, въ бесѣдахъ съ немногими оставшимися современниками описанной мною эпохи, тѣ замѣтки и мысли, которыя, вмѣстѣ съ ними, могли безвозвратно исчезнуть. Что же касается до иностранныхъ источниковъ, то я также пользовался ими, но съ большою осторожностью: судя по современнымъ отзывамъ западныхъ европейцевъ о Россіи и русскихъ, не трудно видѣть, въ какой степени мы должны полагаться на достовѣр-

ность и добросовѣстность чужеземныхъ писателей», и проч. Вотъ главнѣйшее, что по словамъ автора побуждало его къ предпринятому труду, хотя, конечно, этимъ не ограничивается значеніе его книги: исторія времени во всякомъ случаѣ получаетъ у него особенную, имъ собственно данную окраску; въ этой личной долѣ его труда и будетъ состоять характеръ и достоинство книги,—и если бы дѣло шло только о сохраненіи свѣдѣній, книга могла бы просто явиться въ видѣ сборника несвязаннаго ничѣмъ матеріала. Количество изустныхъ свѣдѣній, занесенныхъ въ его разсказъ, сравнительно очень не велико; количество свѣдѣній письменныхъ было въ самомъ дѣлѣ весьма значительно, и многое изъ нихъ, какъ мы замѣчали, до сихъ поръ дѣйствительно было недоступно для нашихъ историковъ: но едва ли сомнительно, что этимъ свѣдѣніямъ предстоитъ больше и больше переходить въ общее достояніе, какъ видно уже теперь по нашимъ историческимъ изданіямъ; наконецъ, если бы сохраненіе свѣдѣній составляло цѣль труда, эти свѣдѣнія слѣдовало бы излагать въ ихъ подлинной формѣ. Авторъ сдѣлалъ это послѣднее только съ немногими изъ своихъ матеріаловъ. Такъ напечаталъ онъ, въ приложеніяхъ, протоколы засѣданій «неофиціальнаго комитета» (напечатанные, впрочемъ, только въ «извлеченіи» и, быть можетъ, при этомъ утратившіе нѣкоторыя рельефныя подробности), нѣсколько росписей государственныхъ приходовъ и расходовъ, письма Аракчеева къ императору Александру, письмо Сперанскаго изъ Перми (уже извѣстное), записку Карамзина о Польшѣ (также извѣстную), одинъ доносъ Фотія, одинъ документъ по исторіи масонства (не самый важный изъ тѣхъ документовъ о масонствѣ, какіе были у него въ рукахъ), списокъ лицъ, участвовавшихъ въ тайныхъ обществахъ двадцатыхъ годовъ (также извѣстный, только съ нѣкоторыми новыми подробностями), и т. п. Въ другихъ случаяхъ авторъ довольствуется краткими цитатами изъ своихъ письменныхъ источниковъ. Нѣкоторыя записки, которыми авторъ пользовался въ рукописяхъ, или свѣдѣнія изустныя, съ тѣхъ поръ уже были напечатаны, какъ напр. записки Шишкова, изданныя гг. Самаринымъ и Киселевымъ за границей; записки лейбъ-медика Тарасова, напечатанныя «Русской Стариной»; автобіографическая записка Каподистріи, изданная въ «Сборникѣ Историческаго Общества» (съ пропусками, дополненными въ другомъ изданіи); письма Лагарпа печатались тамъ же и въ «Русской Старинѣ»; записка о древней

и новой Россіи Карамзина была напечатана «Русскимъ Архивомъ»; изданъ цѣлый рядъ матеріаловъ о семеновской исторіи, о бунтахъ въ военныхъ поселеніяхъ; записки де-Санглена—въ томъ, что относится къ Сперанскому—изложены г. Погодинымъ въ «Русскомъ Архивѣ», и т. д. Наконецъ, явилось въ печати множество разсказовъ, переписки, отдѣльныхъ замѣтокъ о времени императора Александра, которыхъ и вовсе не имѣлъ въ виду нашъ историкъ.—Относительно собственно сохраненія свѣдѣній или изданія матеріала можно сказать даже, что авторъ сдѣлалъ меньше, чѣмъ былъ бы въ состояніи, по тому богатству, которое находилось въ его распоряженіи.

Такимъ образомъ, если бы трудъ г. Богдановича, хотя и представляющій много новаго матеріала, долженъ былъ служить только для собранія и сохраненія свѣдѣній, онъ уже при своемъ появленіи перестаетъ выполнять это назначеніе: новый матеріалъ, имъ указываемый, уже становится болѣе и болѣе извѣстенъ, и вмѣстѣ открывается другой, и вовсе не затронутый авторомъ.

Такая постановка задачи могла быть дѣломъ авторской скромности. «Это убѣжденіе (что трудъ можетъ послужить къ сохраненію свѣдѣній) — говоритъ г. Богдановичъ — заставило меня изложить событія, ознаменовавшія жизнь Александра I и Россіи. Но далѣе онъ еще разъ подтверждаетъ, что не имѣлъ иной цѣли, и повидимому хочетъ именно сказать, что не признаетъ за исторіей другого значенія, кромѣ повѣствовательнаго. «Исторія минувшаго, — говоритъ онъ, — не можетъ служить поученіемъ въ настоящемъ, потому что никакіе факты не повторяются при одинаковыхъ обстоятельствахъ, да ежели бы это и случилось, то сами дѣятели смотрятъ на одни и тѣ же предметы съ различныхъ точекъ зрѣнія. Но исторія минувшаго миритъ съ настоящимъ, убѣждая насъ, что ошибки присущи человѣчеству, и что невзгоды, бывшія ихъ послѣдствіемъ, всегда отклонялись довѣріемъ къ собственнымъ силамъ». Авторъ можетъ быть правъ, если онъ не соглашается съ прежними понятіями объ «урокахъ исторіи», которые буквально выставлялись уроками морали,—хотя и здѣсь въ защиту стариннаго мнѣнія можно было бы сказать, что исторія, безъ сомнѣнія, нерѣдко бывала сильнымъ возбуждающимъ нравственнымъ средствомъ, какъ напр. исторія класической древности въ образованныхъ классахъ новой Европы со временъ возрожденія, или національная древность

во времена новѣйшихъ реставрацій и народныхъ движеній. Полагаемъ, что и самъ авторъ имѣлъ не одинъ отвлеченный интересъ, изображая исторію Благословеннаго Монарха. Но авторъ совершенно неправъ, когда отвергаетъ ту поучительность въ настоящемъ, которую несомнѣнно имѣетъ исторія не только вообще, какъ наука, но въ частности, какъ одна изъ наукъ общественныхъ, — потому что исторія тѣмъ только и пріобрѣтаетъ свою научную, а затѣмъ и практическо-нравственную цѣнность, тѣмъ и становится выше простого анекдотическаго сборника, что, стараясь раскрывать законы историческаго движенія, помогаетъ на примѣрахъ прошедшаго опредѣлять и вопросы настоящаго.

Авторъ, повидимому, не признаетъ этого значенія историческаго изученія, и въ его изложеніи дѣйствительно нѣтъ общей исторической мысли, которая бы связывала описываемую имъ эпоху съ предшествующей и послѣдующей исторіей. Та отрицательная мораль, которую онъ приписываетъ исторіи, — что она «миритъ съ настоящимъ, убѣждая насъ, что ошибки присущи человѣчеству», — очевидно не требуетъ даже поддержки исторіи, а въ примѣненіи къ этой послѣдней оцѣнена была очень давно, первыми критиками «Исторіи Государства Россійскаго»[1]).

Отклоняя, такимъ образомъ, общее изслѣдованіе объ историческомъ значеніи эпохи императора Александра I, и какъ будто считая его излишнимъ, трудъ г. Богдановича оставляетъ почти совершенно нетронутымъ существенный историческій вопросъ: какая же особенность отличаетъ время императора Александра отъ предъидущаго и послѣдующаго періодовъ, что оно прибавило къ прежнему національному развитію, что завѣщало дальнѣйшему? Выбранный авторомъ способъ изложенія вполнѣ соотвѣтствуетъ его взглядамъ: «Исторія» имѣетъ характеръ біографіи, и такъ какъ предметомъ жизнеописанія былъ государь, то въ біографію вошли и событія государственныя; но историческое значеніе цѣлаго времени мало останавливало вниманіе автора; итоги событій остались неподведенными, смыслъ цѣлаго періода не разъясненъ. Взгляды автора высказались только отрывочно въ характеристикѣ частныхъ явленій и отдѣльныхъ личностей, и мы дальше остановимся на нихъ.

[1]) Записка Н. М. Муравьева объ «Исторіи Карамзина», въ книгѣ г. Погодина о Карамзинѣ (1866).

Вмѣстѣ съ тѣмъ, «Исторія» не представляетъ вообще и достаточной разработки фактовъ. Распредѣливъ свое изложеніе по рубрикамъ, авторъ наполняетъ ихъ фактическими свѣдѣніями, на основаніи оффиціальныхъ данныхъ, и часто считаетъ на этомъ свой трудъ конченнымъ. Такъ, когда идетъ рѣчь объ администраціи, о введеніи новыхъ учрежденій, о преобразованіи старыхъ, авторъ большею частію указываетъ все это словами оффиціальныхъ указовъ, положеній и т. п., иногда простыми выписками. Оффиціальныя данныя этого рода имѣютъ несомнѣнную важность, представляя правительственную точку зрѣнія на предметы; но очевидно, съ другой стороны, что оффиціальное представленіе вещей не есть еще полное и дѣйствительное ихъ представленіе. Во-первыхъ, за оффиціальнымъ изложеніемъ остаются скрыты живыя частности дѣла, участіе личностей и характеровъ; во-вторыхъ, извѣстны свойства самаго оффиціальнаго языка. Оффиціальныя данныя обыкновенно обезличиваютъ факты, такъ что изъ-за нихъ не видно, какимъ образомъ произошло то или другое явленіе, чѣмъ оно отразилось въ жизни, какія были имъ порождены столкновенія въ общественныхъ отношеніяхъ и т. д. Съ другой стороны, оффиціальный языкъ, богатый эвфемизмами, т. е. смягчающими и вмѣстѣ затемняющими выраженіями, когда нужно называть вещь по имени, выраженіями общими и неопредѣленными, нерѣдко требуетъ необходимо перевода или коментарія, чтобы изъ-за него можно было открыть дѣйствительную сущность предмета. Оттого, рядомъ съ оффиціальными данными, вообще пріобрѣтаютъ такой интересъ частныя свидѣтельства, въ которыхъ можно видѣть простую, неукрашенную дѣйствительность.

Это господство оффиціальной исторіи въ изложеніи г. Богдановича такъ велико, что нѣтъ надобности приводить примѣровъ. Нѣтъ сомнѣнія, что оффиціальныя данныя важны, во многихъ случаяхъ необходимы или даже единственны, но не провѣренныя иными фактами, приводимыя въ ихъ прямой формѣ, онѣ, къ сожалѣнію, даютъ иногда весьма неясную, иногда и невѣрную картину дѣйствительности. И это чувствуется тѣмъ болѣе, что г. Богдановичъ вообще относится къ предмету своего изслѣдованія съ извѣстнымъ готовымъ предпочтеніемъ, которое часто даетъ его труду тонъ панегирика. Мы не скажемъ, чтобы г. Богдановичъ умалчивалъ истину, когда зналъ ее; чтобы онъ намѣренно измѣнялъ факты — совсѣмъ

нѣтъ; напротивъ, можно указать много случаевъ въ его книгѣ, гдѣ видно полное желаніе безпристрастія; но упомянутое предпочтеніе нерѣдко слишкомъ беретъ верхъ надъ строгой критикой. Его панегирикъ, безъ сомнѣнія, отражаетъ въ себѣ искреннее увлеченіе автора своимъ героемъ, но, тѣмъ не менѣе, тонъ его остается нерѣдко ошибочнымъ и неточнымъ.

Личность императора Александра I можетъ послужить предметомъ любопытнаго историко-психологическаго наблюденія. Во многомъ вполнѣ способная возбудить сочувствіе, эта личность не всегда, однако, оставалась вѣрна этой привлекательной сторонѣ своего характера, и представляетъ весьма противоположныя проявленія, приводившія въ недоумѣніе и современниковъ и позднѣйшихъ историковъ. Г. Богдановичъ, кажется намъ, понималъ эту личность въ особенности только съ одной стороны, и слишкомъ мало опредѣлилъ другую. Тонъ панегирика нерѣдко дѣлаетъ его изложеніе одностороннимъ. Онъ любитъ неясныя сравненія съ героями древности, сравниваетъ императора Александра съ Ахиломъ и Агамемнономъ, съ Нервой и Титомъ, говоритъ въ общихъ выраженіяхъ объ его кроткой душѣ, чувствительности (и тамъ, гдѣ факты дѣлаютъ эти выраженія мало понятными), любитъ бросать на свой разсказъ нѣсколько реторическій колоритъ,—такъ что въ концѣ концовъ господствующая личность его разсказовъ становится слишкомъ отвлеченной. Возьмемъ нѣсколько примѣровъ.

Сказавъ о томъ, какъ въ началѣ своего царствованія императоръ Александръ стремился внушать чувство законности и самъ строго держался закона, — какъ на медали, выбитой въ память его коронованія, была изображена колонна съ надписью «законъ, залогъ блаженства всѣхъ и каждаго», авторъ прибавляетъ: «Ежели усилія его остались тщетны, ежели и при немъ, какъ и до него, законъ не всегда служилъ вѣрною защитою сиротѣ и вдовицѣ, то въ этомъ должно винить блюстителей закона, не уважавшихъ ввѣренной имъ Святыни, и еще болѣе — общественное мнѣніе, не клеймившее своимъ презрѣніемъ нарушителей закона» (т. I, стр. 49). Думаемъ, что это заключеніе весьма не точно [1]).

[1]) Винить, столько же, если не болѣе, слѣдовало и учрежденія, способствовавшія этому. Такъ, лихоимство происходило всего больше отъ жалкаго содержанія, назначавшагося чиновникамъ, отъ отсутствія хо-

Упомянувъ о томъ, какъ однажды, будучи въ дорогѣ, императоръ нашелъ въ одномъ городкѣ колодниковъ, содержавшихся въ тюрьмѣ, и по дѣлу которыхъ еще не было произведено слѣдствія, повелѣлъ предать виновныхъ въ этомъ промедленіи суду и принять мѣры для предупрежденія впредь подобныхъ случаевъ, авторъ прибавляетъ: «Счастливы народы, коихъ властители, подобно благодушному монарху древняго Рима, считаютъ потеряннымъ тотъ день своей жизни, который не удалось имъ ознаменовать добрымъ дѣломъ» (т. I, стр. 67).

Говоря о первыхъ законодательныхъ работахъ царствованія, авторъ опять обвиняетъ исполнителей въ дальнѣйшемъ неуспѣхѣ дѣла. Эти работы, по словамъ автора, были отрывочны, потому что, когда законы еще не были собраны въ систему, оставалось дѣлать частныя улучшенія, устранять злоупотребленія, смягчать прежніе уставы. «Все это составляло предметъ заботъ правительства, и многія изъ нашихъ тогдашнихъ постановленій, въ отношеніи къ человѣколюбію и къ предвѣчной правдѣ, могли служить образцомъ для юристовъ западной Европы. Конечно, — исполненіе законовъ и тогда оставляло желать многаго», и авторъ приводитъ извѣстный стихъ объ «лихихъ супостатахъ» — исполнителяхъ законовъ, и народную пословицу «не бойся суда, а бойся судьи». Опять то же обвиненіе исполнителей и неумѣренное возвеличеніе самыхъ законовъ (т. I, стр. 110—111).

Подобнымъ образомъ кажутся не совсѣмъ умѣстными и другія выраженія автора, гдѣ сущность факта не соотвѣтствуетъ панегирическому тону (напр., т. V, стр. 472, по поводу военныхъ поселеній и т. п.). Можно считать этотъ тонъ серьезнымъ недостаткомъ, потому что онъ слишкомъ часто сглаживаетъ тѣни и краски картины и дѣлаетъ ее безцвѣтной и неясной, а наконецъ и невѣрной.

Чисто оффиціальное отношеніе къ предмету повторяется далѣе въ изложеніи крестьянскаго вопроса. Авторъ ставитъ темой, что императоръ Александръ «принималъ всевозможныя мѣры для улучшенія участи помѣщичьихъ крестьянъ», что

рошо устроенныхъ судовъ и гласности. Общество, по необходимо образовавшейся привычкѣ, мирилось на практикѣ съ тѣмъ зломъ, которому нисколько не противодѣйствовали, а напротивъ способствовали учрежденія. Но противъ лихоимства у насъ была написана цѣлая литература: это и былъ настоящій голосъ общественнаго мнѣнія.

въ этомъ отношенiи «правительство упреждало понятiя просвѣщеннѣйшихъ людей русскаго общества», что, «способствуя частному освобожденiю крестьянъ, оно выказывало сочувствiе къ дѣлу, совершившемуся въ наше время волею Царя Милостиваго» и т. п. (т. I, стр. 96 и слѣд.; т. III, стр. 26 и слѣд.). Затѣмъ, онъ исчисляетъ мѣры, принятыя по этому предмету, приводитъ узаконенiя по остзейскому освобожденiю, отдѣльныя распоряженiя, которыми хотѣли умѣрить крайности помѣщичьяго произвола; но, упоминая потомъ неясными указанiями о неудовлетворительности сдѣланнаго, авторъ, можно сказать, не даетъ понятiя о дѣйствительномъ положенiи вещей, которое тѣмъ не менѣе оставалось чрезвычайно тягостнымъ. Приводя слова Карамзина о ненужности освобожденiя, онъ замѣчаетъ: «Дѣйствительно—число помѣщичьихъ людей, тогда сдѣлавшихся свободными хлѣбопашцами, было довольно ограниченно»,—и не указываетъ, однако, почему это такъ было; между тѣмъ извѣстно, что законъ о свободныхъ хлѣбопашцахъ уже вскорѣ обставленъ былъ такой массой формальностей, что становился недѣйствительнымъ. Самое расположенiе правительства переставало быть сочувственнымъ освобожденiю. Въ другихъ мѣстахъ книги самъ авторъ приводитъ факты, которые мало соотвѣтствуютъ вышеупомянутымъ отзывамъ. Напримѣръ, онъ разсказываетъ: «Въ 1816 году многiе изъ богатѣйшихъ помѣщиковъ Петербургской губернiи, зная душевное стремленiе его (императора) къ улучшенiю участи крѣпостныхъ крестьянъ, согласились между собою обратить ихъ въ обязанныхъ поселянъ, на основанiи существовавшихъ тогда на сей предметъ постановленiй. Составленный о томъ актъ былъ подписанъ 65-ю помѣщиками; оставалось поднести его на утвержденiе Государя, и это было предоставлено, удостоенному монаршимъ благоволенiемъ, одному изъ героевъ отечественной войны, Илар. Вас. Васильчикову. Какъ Васильчиковъ, такъ и прочiе участники въ подписанiи помянутаго акта, полагали, что Государь не зналъ ничего о происходившихъ по сему поводу собранiяхъ, но были убѣждены, что онъ приметъ благосклонно предложенiе, согласно съ его образомъ мыслей. Но императору Александру было извѣстно рѣшенiе дворянъ, и едва лишь Васильчиковъ, испросивъ высочайшее соизволенiе представиться Государю, сталъ говорить объ этомъ дѣлѣ, какъ Александръ, прервавъ его рѣчь, спросилъ у него: «кому, по его мнѣнiю, принадлежитъ законодательная

власть Россіи?» и когда Васильчиковъ отвѣчалъ: «Безъ сомнѣнія— Вашему Императорскому Величеству, какъ Самодержцу Имперіи», тогда Государь, возвысивъ голосъ, сказалъ: «такъ предоставьте же мнѣ издавать тѣ законы, которые Я считаю наиболѣе полезными для моихъ подданныхъ» (т. I, стр. 129 — 130). Этотъ случай былъ образчикомъ того позднѣйшаго настроенія, которое овладѣваетъ императоромъ Александромъ въ послѣднюю эпоху его жизни, и вовсе не обнаруживаетъ сочувствія къ крестьянскому вопросу. Авторъ, правда, не умолчалъ объ этомъ случаѣ, но онъ относитъ его въ другую категорію характеристики императора, а именно приводитъ его въ примѣръ того, что императоръ «постоянно занимаясь законодательною частью, считалъ предложеніе (инициативу) законовъ существеннымъ правомъ верховной власти». Но здѣсь вовсе не шло дѣло о правѣ верховной власти или объ инициативѣ закона: помѣщики, по собственнымъ словамъ автора, составили свое соглашеніе на основаніи существовавшихъ тогда на сей предметъ постановленій. Полагаемъ, что и императоръ неправильно понялъ значеніе этого дѣла, когда въ представленной ему просьбѣ, совершенно законной, увидѣлъ покушеніе на верховное право власти. Но вообще, этотъ фактъ можетъ послужить примѣромъ того, что если въ первые годы правительство относительно крестьянскаго вопроса упреждало понятія общества, то впослѣдствіи до значительной степени отступилось отъ прежнихъ взглядовъ, такъ что самое исполненіе прежде изданныхъ о томъ узаконеній сдѣлалось весьма затруднительнымъ или даже невозможнымъ.

Преобразованія, предпринятыя въ періодъ значенія Сперанскаго, изображены также безъ достаточной оцѣнки сущности предполагавшихся реформъ (т. II, стр. 485, объ учрежденіи государственнаго совѣта; III, стр. 34 и друг.).

Чтобы взять примѣръ изъ другой области, возьмемъ цитату изъ разсказа объ учрежденіи педагогическаго института. «Докладъ объ учрежденіи втораго разряда Главнаго педагогическаго института удостоился Высочайшаго утвержденія. Такое учебное заведеніе обѣщало принести несомнѣнную пользу и ежели эта надежда не исполнилась, то причиною неудачи преимущественно было весьма ограниченное число воспитанниковъ, несоразмѣрное съ потребностью множества учителей въ низшихъ училищахъ Россіи; къ тому же учители, получившіе образованіе въ инсти-

тутѣ, прослуживъ положенный шести-лѣтній срокъ въ вѣдомствѣ министерства народнаго просвѣщенія, старались пріискать б о л ѣ е выгодный родъ службы и уклонялись отъ своего прямаго назначенія» (т. V, стр. 327). Но, во первыхъ, число воспитанниковъ могло бы быть увеличено самимъ правительствомъ, посредствомъ увеличенія средствъ на народное образованіе; слѣдовательно вопросъ былъ опять въ самомъ учрежденіи. Во-вторыхъ, если учители «уклонялись отъ своего прямаго назначенія», какъ говоритъ авторъ, то въ этомъ винить ихъ никто не имѣлъ бы права, потому что причина уклоненія была очень ясная: «болѣе выгодный родъ службы» составлялъ весьма существенную потребность, при ничтожномъ ихъ содержаніи на службѣ учебной.

Съ этимъ пріемомъ изложенія у автора соединяется особая черта его историческихъ взглядовъ, по нашему мнѣнію, весьма ошибочная; авторъ относится вообще очень неблагопріятно къ тому, что можно назвать либеральными мнѣніями того времени: такъ, онъ обвиняетъ молодыхъ сотрудниковъ Императора Александра, въ первомъ періодѣ царствованія; такъ, онъ неохотно говоритъ о либеральныхъ увлеченіяхъ самого Императора (въ русскихъ дѣлахъ); такъ, онъ предаетъ суровому осужденію либеральныя идеи въ обществѣ послѣднихъ годовъ этого періода.

То справедливое, что говоритъ авторъ о Строгановѣ, Кочубеѣ Чарторижскомъ, Новосильцовѣ, къ сожалѣнію, теряется въ его враждебномъ къ нимъ отношеніи. Авторъ не хочетъ видѣть той солидарности, какая соединяла съ ними Императора, и, находя извиненія для самого Александра, не находитъ извиненія для людей, мнѣніе которыхъ самъ Императоръ раздѣлялъ и значеніе которыхъ было дѣломъ его собственнаго выбора. Осуждая ихъ предположенную неопытность и ихъ административные эксперименты, авторъ не хочетъ признать, что ихъ опыты (главная часть которыхъ осталась на бумагѣ) были ничто въ сравненіи напр. съ опытами военныхъ поселеній, которыя были признаннымъ государственнымъ дѣломъ, или съ опытами остзейскаго освобожденія крестьянъ, которое сдѣлало послѣднихъ окончательной жертвой помѣщиковъ. Далѣе. Первые совѣтники имѣли и свои положительныя заслуги въ организаціи министерства народнаго просвѣщенія и въ устройствѣ новыхъ учебныхъ заведеній. Наконецъ, историкъ не можетъ упускать изъ виду, что это направленіе было вообще историческимъ явленіемъ, которое объясняется вовсе не однимъ случайнымъ стремленіемъ

нѣсколькихъ лицъ, а напротивъ было весьма естественнымъ послѣдствіемъ прежняго общественнаго развитія, имѣвшаго свое вліяніе и на позднѣйшее. И если бы историкъ хотѣлъ опредѣлять историческій смыслъ эпохи, онъ долженъ былъ бы именно вникнуть въ содержаніе этихъ понятій, не смущаясь тѣми частными неудачами и ошибками, на которыхъ всего больше и настаиваетъ г. Богдановичъ.

Мы имѣли случай въ другомъ мѣстѣ [1]) указывать эти взгляды г. Богдановича, и позволимъ себѣ повторить нѣсколько замѣчаній, которыя послужатъ объясненіемъ и примѣромъ.

«Новосильцовъ,—говоритъ г. Богдановичъ—извѣстный своими свѣдѣніями и рвеніемъ къ общему благу, въ томъ смыслѣ, въ какомъ самъ понималъ его, пользовался уваженіемъ и сочувствіемъ въ публикѣ..» (Но развѣ не каждый серьезный человѣкъ стремится къ общему благу такъ, какъ самъ понимаетъ его?). «Россія была ему неизвѣстна, тѣмъ болѣе, что въ молодости онъ не управлялъ никакою частію». (Доказательствъ незнанія не приводится). «Тѣ, которые знавали его въ позднѣйшее время, думали, что онъ измѣнилъ прежнимъ своимъ либеральнымъ склонностямъ, въ дѣйствительности же онъ всегда былъ абсолютистомъ и постоянно стремился къ централизаціи управленія и къ слитію въ одну общую форму всѣхъ національностей Россіи», и пр. (Но это послѣднее не имѣетъ связи съ либеральными или нелиберальными склонностями: очень возможно было бы въ централизаторскихъ стремленіяхъ руководствоваться либеральными понятіями; Новосильцовъ могъ быть централизаторомъ и въ началѣ своей дѣятельности и въ концѣ ея, но эти начало и конецъ тѣмъ не менѣе были слишкомъ несходны).

«Графъ Павелъ Строгановъ, человѣкъ съ прекрасною, благородною душою..., получивъ исключительно французское воспитаніе, принадлежалъ къ числу ревностныхъ почитателей Мирабо и гласно изъявлялъ заимствованный имъ отъ запада свободный обзоръ мыслей». (Припомнимъ, что Карамзинъ былъ почитателемъ Робеспьера; что въ 1802 году въ петербургскомъ обществѣ и даже при дворѣ очень любезно принимали друга и сотрудника Мирабо, а потомъ Бентама, швейцарца Дюмона). «Само собою разумѣется, что его ультра-либерализмъ былъ не столько

[1]) Общ. движеніе при Алекс. I, стр. 72 и слѣд. [по первому изд. 1871 г.].

выраженіемъ глубокаго вѣрованія, сколько стремленіемъ поддѣлаться подъ бывшій тогда въ ходу тонъ современнаго общества». (Отчего само собою разумѣется, этого не видно, и напротивъ непонятно, какимъ образомъ, человѣкъ «съ прекрасною, благородною душою» упадалъ до того, чтобы поддѣлываться подъ тонъ общества: въ этомъ обществѣ онъ былъ поставленъ достаточно независимо, и если господствующій тонъ общества былъ таковъ, то ему нечего было и поддѣлываться, когда онъ по своему «исключительно французскому воспитанію» былъ уже готовымъ почитателемъ Мирабо).

О Кочубеѣ говорится: «Современники находили, что онъ зналъ Англію лучше Россіи, и что, передѣлывая многое на англійскій ладъ, онъ, какъ львенокъ Крылова, училъ звѣрей вить гнѣзда».

О Чарторижскомъ мы упомянемъ дальше. Общій отзывъ г. Богдановича слѣдующій: «Таковы были первые приближенные Александра, первоначальные сотрудники его въ правленіи судьбами обширной имперіи. Ни одинъ изъ нихъ не стоялъ вполнѣ на высотѣ своего призванія, какъ по недостаточному знанію Россіи, такъ и по малой опытности въ дѣлахъ, совершенно для нихъ новыхъ. Довѣріе къ нимъ монарха было основано не столько на ихъ способностяхъ, сколько на привычкѣ къ нимъ и на прежнихъ дружескихъ отношеніяхъ. Молодые любимцы, люди благонамѣренные, каждый по своему, но неопытные, раздѣляли страсть къ нововведеніямъ Государя, столь же не знавшаго страны своей. Вмѣсто того, чтобы явиться на поприще государственнаго управленія во всеоружіи положительныхъ свѣдѣній, они, управляя дѣлами, учились въ такой школѣ, гдѣ шла рѣчь о будущности, о судьбѣ многихъ милліоновъ людей, а не о какой либо отвлеченной теоріи». Еще недружелюбнѣе другой отзывъ, изъ котораго видно, однако, что и дѣльцы стараго поколѣнія не подавали хорошаго примѣра:.. «Такимъ образомъ сотрудниками Александра, въ первые годы его царствованія, являются и дѣльцы вѣка Екатерины, люди, искусившіеся опытами жизни, и юные дѣятели [1]), вступившіе на невѣдомое имъ поприще, съ душою, не затвердѣвшею отъ житейскихъ неудачъ и треволненій. Казалось бы, что соединеніе

[1]) Не лишнее замѣтить, что изъ этихъ «юныхъ дѣятелей», «юныхъ сподвижниковъ» (Богд. I, 77, 78), Новосильцову около 1802 г. было уже 40 лѣтъ, Кочубею—34, «юность» очень относительная.

противоположныхъ началъ — съ одной стороны осторожности и привычки къ прежнему ходу дѣлъ, а съ другой—новѣйшей образованности и благонамѣреннаго, хотя и безсознательнаго (?), стремленія къ улучшеніямъ, казалось бы, что такое соединеніе началъ, умѣряемыхъ и дополняемыхъ одно другимъ, могло имѣть самыя благотворныя послѣдствія для матеріальнаго и духовнаго преуспѣянія Россіи. Но, къ сожалѣнію, вышло иначе. По собственному сознанію одного изъ людей прежняго времени, люди опытные, вмѣсто того, чтобы содѣйствовать юному Императору въ управленіи государствомъ... предались радости при восшествіи на престолъ государя милостиваго, невзыскательнаго, провожали время въ пиршествахъ, читали восторженные стихи и громко прославляли, не стѣсняясь присутствіемъ служителей своихъ, прекращеніе прежней строгости и возстановленіе спокойствія. А между тѣмъ молодые люди, окружавшіе императора Александра, пользуясь бездѣйствіемъ старшихъ (?), окружали престолъ и съ самонадѣянностью, свойственною невѣдѣнію и неопытности, порицая всѣ уставы и законы, существовавшіе въ Россіи (?), считали ихъ отсталыми, отжившими вѣкъ свой. Полагая, что достаточно было природныхъ способностей, сознаваемыхъ ими въ самихъ себѣ, чтобы сдѣлаться законодателями, полководцами (?), просвѣтителями милліоновъ людей, они вызывались (?) начертать законы, болѣе совершенные, болѣе благодѣтельные, что однако же не мѣшало имъ съ непостижимою неосновательностью подрывать уваженіе ко всѣмъ (?) уставамъ, разглагольствуя о свободѣ и равенствѣ, въ самомъ превратномъ и уродливомъ смыслѣ. Многія изъ предложенныхъ ими преобразованій въ дѣйствительности были хороши, но, будучи приводимы въ исполненіе поспѣшно, безъ связи съ общею системою управленія, не всегда приносили ожидаемую пользу и часто подавали поводъ къ неудовольствію» (т. I, стр. 82, 87—88).

Трудно сдѣлать оцѣнку, болѣе неблагопріятную для совѣтниковъ Александра, притомъ и невѣрную исторически. На чемъ же основаны такія суровыя осужденія?

Обвиненія эти, извлеченныя между прочимъ изъ отзывовъ «старыхъ служивцевъ», какъ напр. Дмитріевъ и особенно Шишковъ, не знаютъ никакой мѣры. Въ самомъ дѣлѣ, что значитъ, что молодые совѣтники Александра окружали престолъ, «пользуясь бездѣйствіемъ старшихъ»? Неужели они дѣйствительно

порицали всѣ уставы (что повторено дважды)? Кто изъ нихъ собирался въ полководцы? Когда они вызывались составлять совершенные законы? Какимъ образомъ, при такомъ невѣдѣніи, самонадѣянности, непостижимой неосновательности, при такомъ превратномъ и уродливомъ разглагольствованіи о свободѣ и равенствѣ, какъ при всѣхъ этихъ грубыхъ недостаткахъ могло у нихъ выдти что нибудь хорошее? И однако же оказывается, что по словамъ автора многое было хорошо, только поспѣшно выполнено. Но въ этой самой тирадѣ мы видимъ нѣкоторое объясненіе этихъ отношеній: въ самомъ дѣлѣ, можно ли было Александру ждать чего нибудь отъ тѣхъ «опытныхъ» людей, которые, при вступленіи на престолъ государя невзыскательнаго, провожали время въ пиршествахъ и кромѣ этого ни о чемъ не помышляли? Понятно, что Императоръ предпочелъ совѣтоваться съ людьми другаго качества, какихъ онъ и находилъ въ своихъ друзьяхъ. «Опытные» люди конечно были крайне этимъ озлоблены, и имъ все не нравилось въ новомъ царствованіи. «Весьма замѣчательно,—говоритъ тутъ же г. Богдановичъ,—что нѣкоторыя похвальныя качества государя, его простота вкусовъ, его отвращеніе отъ всякаго этикета и внѣшняго блеска, подвергались превратнымъ толкамъ». Недовольны были, что дворъ будто бы «утратилъ величіе»—оттого, что Александръ не дѣлалъ безумныхъ издержекъ на это «величіе», какъ дѣлалось прежде [1];—что Императоръ «не отличался отъ подданныхъ въ одеждѣ и образѣ жизни»; что онъ былъ вѣжливъ, предпочиталъ законъ своему произволу, что въ одномъ манифестѣ онъ нѣсколько разъ употребилъ слово «отечество» и т. д. Не удивительно, что Александръ не былъ расположенъ выбирать своихъ совѣтниковъ изъ людей, гдѣ были такіе недовольные [2], и въ чемъ виноваты были здѣсь его молодые совѣтники?

---

[1] «Величіе» временъ Екатерины извѣстно; о временахъ Павла читаемъ въ запискахъ И. И. Дмитріева: «Никогда не было при дворѣ такого великолѣпія, такой пышности и строгости въ обрядѣ» и т. д. («Взглядъ на мою жизнь» стр. 149).

[2] Ср. съ этимъ отзывъ о «старыхъ дѣльцахъ», Беклешовѣ и Трощинскомъ, въ первое время по вступленіи Александра на престолъ, въ Зап. Державина... «Беклешовъ и Трощинскій, бывшіе тогда приближенные къ государю чиновники, и имѣющіе, такъ сказать, всю власть въ своихъ рукахъ, оказывали себя по прихотямъ своимъ выше

Переходимъ къ другимъ обвиненіямъ.

Что эти люди не стояли на высотѣ своего призванія, мы не будемъ спорить и съ своей стороны: но часто ли вообще являлись въ нашей новѣйшей исторіи люди, стоявшіе на высотѣ своего призванія, если мы станемъ понимать «призваніе», т. е. служеніе благу отечества и націи—сколько нибудь серьезнымъ и строгимъ образомъ? Если сравнивать первыхъ совѣтниковъ Александра со старыми дѣльцами, или со многими людьми, игравшими роль во второй половинѣ царствованія, то, по содержанію понятій, которое представляли эти люди, и по способу дѣйствій мы едвали не потеряемъ право попрекать совѣтниковъ Александра.

Прежде всего, эти приближенные Александра совершенно не были похожи на прежнихъ временщиковъ и фаворитовъ XVIII столѣтія. Всѣми тогда и послѣ чувствовалось, что ихъ соединяло съ Александромъ согласіе въ основныхъ убѣжденіяхъ. Они были дѣйствительно, а не лицемѣрно скромны; они не добивались себѣ добычи и не грабили государства; причина ихъ близости къ государю, дружба, основанная на сходствѣ понятій, была слишкомъ не похожа на тѣ обстоятельства, какія выводили въ люди прежнихъ «случайныхъ» людей. «Недостаточное знаніе Россіи», «малая опытность въ дѣлахъ»—обвиненіе очень серьезное. Мы замѣчали прежде, что ему подлежалъ (въ не меньшей, если не въ большей степени) самъ императоръ Александръ въ началѣ своей дѣятельности. Но принявъ въ соображеніе обстоятельства и характеръ времени, мы должны снять съ этихъ людей значительную долю этого обвиненія. Мы уступаемъ обвиненію «малую опытность въ дѣлахъ», потому что, дѣйствительно, это было дѣло рутины, которой они еще не имѣли много, и въ этомъ

всѣхъ законовъ, а какъ они между собою поссорились, и, противоборствуя другъ другу, ослабили свою въ государѣ довѣренность, то и сбили его съ твердаго пути, такъ что онъ не зналъ, кому изъ нихъ вѣрить» (Зап. Держ., стр. 438—439, и ср. разсказъ о тѣхъ же Беклешовѣ и Трощинскомъ въ запискахъ Комаровскаго Р. Архивъ, 1867, стр. 561—569). А между тѣмъ въ это первое время они именно и «ворочали государствомъ», по словамъ Державина. Кто же виноватъ, если Александръ пересталъ на нихъ и имъ подобныхъ полагаться? Ср. сходные съ этимъ отзывы Дюмона о недовольствѣ противъ императора Александра въ началѣ его царствованія. Вѣстн. Евр. 1869, февр. 806—807 [см. выше стр. 27]. Трощинскій, по словамъ самого автора, былъ человѣкъ умный и опытный, но отсталый (т. I, стр. 72).

отношеніи ихъ конечно долженъ былъ превосходить всякій неглупый выслужившійся приказный, который въ разныхъ ступеняхъ своей службы могъ отлично изучить эту рутину. Быть можетъ, что имъ недоставало иногда практическихъ свѣдѣній о различныхъ отрасляхъ управленія, но общій характеръ управленія вовсе не былъ для нихъ загадкой, и коренные недостатки его были имъ больше понятны, чѣмъ самымъ опытнымъ служивцамъ стараго времени. Своимъ желаніемъ улучшеній они стояли неизмѣримо выше этихъ служивцевъ, и улучшенія, ими предпринятыя, вовсе не были безуспѣшны. Далѣе, сказать, что довѣріе Александра къ нимъ основано было «не столько на ихъ способностяхъ, сколько на привычкѣ и на прежнихъ дружескихъ отношеніяхъ»—также будетъ неточнымъ опредѣленіемъ факта. Со всѣми своими любимцами—Новосильцовымъ, Чарторижскимъ, Кочубеемъ (кромѣ, кажется, одного Строганова) Александръ разлучился довольно давно; съ Новосильцовымъ—въ теченіе всѣхъ четырехъ лѣтъ царствованія Павла,—такъ что привычка могла бы изгладиться. Напротивъ, прежнія дружескія отношенія вовсе не были единственнымъ основаніемъ довѣрія Александра, потому что и «способности» этихъ людей вовсе не были дюжинныя; само обвиненіе признаетъ ихъ и за Новосильцовымъ, и за Кочубеемъ, и за Чарторижскимъ. Довѣріе основывалось собственно на томъ, что эти люди кромѣ прежнихъ дружескихъ связей, были единственныя люди въ обстановкѣ Александра, съ которыми онъ былъ связанъ общимъ направленіемъ понятій. Онъ довѣрялъ имъ, потому что былъ увѣренъ, что они совершенно понимаютъ и раздѣляютъ его благія желанія и стараются содѣйствовать ихъ выполненію; самая дружба съ ними основывалась на этомъ единствѣ мнѣній. Они не явились на поприще государственнаго управленія «во всеоружіи положительныхъ свѣдѣній»: но гдѣ было въ то время получать это всеоружіе? Многіе ли вообще могли имъ хвастаться? И что придется сказать о дѣятеляхъ екатерининскихъ и разныхъ другихъ временъ, если мы приложимъ къ нимъ столь же строгую мѣрку? Въ какомъ «всеоружіи» являлись на это поприще Орловы или Зубовы, или потомъ Аракчеевы и Голицыны? Кромѣ того, друзьямъ Александра нелегко было и пріобрѣтать его, когда, при воцареніи Павла, имъ пришлось удаляться отъ центра дѣлъ, отчасти добровольно, по чувству самосохраненія, отчасти невольно, потому что они были удалены. «Управляя дѣлами, они учились

въ такой школѣ, гдѣ шла рѣчь о будущности, о судьбѣ многихъ милiоновъ людей, а не о какой либо отвлеченной теорiи» — можно подумать, что эти люди въ самомъ дѣлѣ вздумали основывать въ Россiи Платонову республику или Утопiю, и въ жертву своей метафизической теорiи приносили судьбу милiоновъ. На дѣлѣ милiоны могли бы гораздо менѣе жаловаться на управленiе этихъ людей, чѣмъ многихъ другихъ прежде и послѣ; и именно въ эту первую эпоху царствованiя Александра судьба милiоновъ принималась къ сердцу гораздо больше, чѣмъ въ какое нибудь другое время этого царствованiя, и конечно не вина этихъ однихъ людей, что великодушные планы ихъ могли осуществиться только далеко не вполнѣ...

Наконецъ, еслибы нужно было говорить о положительныхъ заслугахъ нѣкоторыхъ изъ этихъ людей, то, не вдаваясь въ спорные вопросы, можно, во-первыхъ, указать на цѣлый, мягкiй и человѣколюбивый характеръ этихъ первыхъ лѣтъ, въ которомъ невозможно отрицать нравственнаго участiя этихъ людей, и во-вторыхъ, можно указать дѣятельность министерства народнаго просвѣщенiя за время управленiя Завадовскаго. «При Завадовскомъ,—говоритъ авторъ—благодаря усилiямъ правительства и жаждѣ къ наукѣ народа, устремившагося на встрѣчу образованiю, было сдѣлано по этой части гораздо болѣе въ восемь лѣтъ, нежели во все предшествовавшее столѣтiе» (т. I, стр. 140). Похвала не малая. Между тѣмъ, теперь достаточно извѣстно, между прочимъ по личному отзыву самого императора Александра, что главное, что было сдѣлано, было сдѣлано между прочимъ именно этими совѣтниками Императора, даже наперекоръ Завадовскому, старому служивцу» [1]).

Рядомъ съ этимъ можно поставить взглядъ г. Богдановича на Сперанскаго. Основывая, главнымъ образомъ, свои сужденiя на книгѣ барона Корфа, авторъ тѣмъ не менѣе даетъ разсказу особый оттѣнокъ различными выраженiями, которыя способны скорѣе бросить тѣнь на тогдашнюю дѣятельность Сперанскаго, чѣмъ дать объ ней правильное и безпристрастное понятiе. Напримѣръ. «Извѣстна склонность императора Александра къ представительнымъ формамъ правленiя, которыми онъ плѣнялся, какъ бывшiй ученикъ республиканца Лагарпа, но увлеченiе его было подобно тому, какое испытываютъ дилет-

[1]) Сборникъ Историч. Общ., т. V, стр. 39.

танты искусства, восхищаясь прекрасною картиною. Александръ вскорѣ убѣдился на дѣлѣ, что ни обширность Россіи, ни состояніе нашего гражданскаго общества, не дозволяли осуществить мечту его. Отлагая день за день исполненіе созданной имъ утопіи, императоръ Александръ охотно бесѣдовалъ съ своими приближенными о задуманномъ имъ уложеніи, о вредѣ произвола и проч. Сперанскій, угождая государю, являлся жаркимъ защитникомъ свободныхъ уставовъ, и тѣмъ возбуждалъ противъ себя упреки въ вольнодумствѣ, въ желаніи низпровергнуть все освященное временемъ и обычаемъ» (т. III, стр. 33—34). Неужели существеннымъ мотивомъ Сперанскаго было только, что онъ хотѣлъ угождать государю? Мотивъ, кажется, былъ бы весьма мало достойный уваженія, еслибы онъ былъ дѣйствительно единственнымъ. Но тотчасъ оказывается, что было здѣсь и что-то другое. «Не находя опоры ни въ комъ изъ стоявшихъ у монаршаго престола, окруженный людьми новыми, не имѣвшими никакого вѣса (изъ коихъ многіе были готовы оставить его при первой невзгодѣ), Сперанскій по необходимости былъ скрытенъ, замкнутъ въ самомъ себѣ» и пр. Какимъ же образомъ могло случиться, что, угождая государю, Сперанскій не могъ найти опоры ни въ комъ? Безъ сомнѣнія слишкомъ много было людей, которыхъ всѣ помышленія направлены были на одно только это угожденіе, и со многими Сперанскому можно было бы въ этомъ совершенно сойтись. Но, кромѣ того, въ это самое время Сперанскій «не давалъ никакой цѣны отечественному законодательству, называлъ его варварскимъ и находилъ совершенно безполезнымъ и лишнимъ обращаться къ его пособію». Были ли это его собственныя мнѣнія, или онъ этимъ угождалъ Императору? Далѣе, мы встрѣчаемъ новую черту: «Пристрастіе къ Франціи заставило Сперанскаго при составленіи книги новыхъ русскихъ законовъ принять за основаніе Наполеоновъ кодексъ» (тамъ же). Изъ всего этого составляется очень смутное понятіе о личности Сперанскаго: нельзя сказать, чтобы авторъ не высказывалъ къ нему извѣстнаго сочувствія въ пору его несчастій, но первая и существенная дѣятельность Сперанскаго характеризована недостаточно.

Періодъ времени послѣ Священнаго Союза также изображенъ неясными, обоюдными чертами. Авторъ энергически протестуетъ противъ тѣхъ неблагопріятныхъ отзывовъ, какіе дѣлались о Священномъ Союзѣ въ тѣ времена и послѣ. «Священный

Союзъ подвергался многимъ упрекамъ и нападкамъ,—говоритъ онъ. Послѣдователи легкомысленной философіи XVIII-го вѣка осыпали насмѣшками религіозныя идеи нашего государя, демагоги (?) видѣли въ актѣ Священнаго Союза заговоръ властителей въ пользу абсолютизма противъ свободы и прогресса. Ничего подобнаго не было и не могло быть въ эпоху заключенія условій Священнаго Союза. Утвердительно можно сказать, что тогда онъ не имѣлъ никакой практической цѣли» и пр. (V, стр. 95)... «Можно ли думать, чтобы Александръ, защитникъ конституціи во Франціи, даровавшій свободу Польшѣ, основалъ союзъ, діаметрально противный свободнымъ учрежденіямъ»? (V, стр. 267). Но авторъ не совсѣмъ правъ. И послѣдователи философіи XVIII-го вѣка и «демагоги» не безъ основанія смотрѣли недовѣрчиво на Священный Союзъ. Этотъ Союзъ былъ чисто дѣломъ религіознаго идеализма, мистической чувствительности, которые и въ самой теоріи были слишкомъ далеки отъ жизни, и въ практическомъ осуществленіи (если бы только оно было возможно) не обѣщали должнаго вниманія къ совершенно реальнымъ вопросамъ тогдашняго положенія народовъ. Притомъ Священный Союзъ, хотя отдаленнымъ и неяснымъ образомъ, указывалъ, однако, на извѣстную политическую систему, которая должна была предстоять союзникамъ, и которая не представляла ничего существеннаго не только для послѣдователей философіи XVIII-го вѣка и «демагоговъ», но и для людей умѣренно-либеральныхъ мнѣній. Эта политическая система была какая-то теологическо-патріархальная монархія, которая самой туманностью своихъ принциповъ возбуждала основательныя опасенія,—являясь среди либеральныхъ заявленій императора, эта новая программа какъ будто указывала на неясность и непрочность его либеральныхъ представленій, и заставляла предполагать въ ихъ основаніи старый патріархальный абсолютизмъ. Въ этомъ смыслѣ Священный Союзъ и тогда, въ первое время своего появленія, могъ возбуждать справедливыя опасенія. Кромѣ того, если самъ императоръ Александръ на дѣлѣ былъ тогда еще проникнутъ либеральными намѣреніями, то его сотоварищи въ этомъ союзѣ, остававшіеся тѣмъ же, чѣмъ, были нисколько не задавались подобными намѣреніями, и это было очевидно съ перваго взгляда. Наконецъ, упомянутые отзывы о Священномъ Союзѣ, обличаемые авторомъ, главнымъ образомъ стали высказываться уже позднѣе, когда Священный Союзъ уже доста-

точно выразился въ своихъ дѣйствіяхъ, и эти дѣйствія были таковы, что не нужно было вовсе быть демагогомъ, чтобы возъимѣть сомнѣнія и приписать Священному Союзу реакціонные и притѣснительные планы. Самъ авторъ, въ другомъ мѣстѣ, очень ясно опредѣляетъ, каково стало, немного спустя, настроеніе самого императора Александра,—единственнаго изъ участниковъ Священнаго Союза, который въ эпоху его составленія питалъ либеральныя мнѣнія. Императоръ—«вмѣсто того, чтобы, оставаясь въ челѣ европейскихъ монарховъ, вести къ преуспѣянію освобожденные имъ народы, сталъ поддерживать политику вѣнскаго двора, совершенно чуждую его великодушному характеру» (V, стр. 284). Что такое была политика вѣнскаго двора,—это слишкомъ извѣстно. И послѣ этого теряетъ свою важность вопросъ о томъ, что собственно былъ тогда, при началѣ, Священный Союзъ въ мысляхъ императора Александра. Современники судили, и имѣли право судить, о немъ по его дѣйствіямъ: имя Священнаго Союза продолжало оставаться за державами, его заключившими; въ своихъ дѣйствіяхъ они продолжали на него ссылаться—достаточное основаніе понимать мысль Священнаго Союза въ томъ коментаріи, который давала ему на практикѣ упомянутая политика вѣнскаго двора. Не забудемъ, что то же впечатлѣніе Священный Союзъ долженъ былъ производить и у насъ: во имя Священнаго Союза не было оказано помощи православнымъ грекамъ, возставшимъ противъ безсмысленнаго ига; Магницкій, совершая свои гнусныя дѣянія, выставлялъ себя исполнителемъ началъ, утвержденныхъ «актомъ» Священнаго Союза.

Разсказъ о польскихъ дѣлахъ долженъ былъ бы представлять большой историческій интересъ, какъ исторія вопроса, который до послѣдняго времени не перестаетъ быть предметомъ волненій въ Польшѣ и предметомъ напряженнаго вниманія общества въ Россіи. Къ сожалѣнію, этотъ пунктъ нашей исторіи, именно по своей близкой связи съ настоящимъ, трудно поддается всестороннему и безпристрастному изслѣдованію. Здѣсь особенно часто приходится у насъ встрѣчаться съ нарушеніемъ правила: audiatur altera pars. Мы ограничимся нѣсколькими замѣчаніями объ изложеніи г. Богдановича.

Какъ естественно ожидать, авторъ смотритъ на дѣло съ той русской точки зрѣнія, которая во времена императора Александра I ставилась Карамзинымъ, хотя мягко обходитъ собствен-

ныя мнѣнія императора Александра, не всегда согласныя съ этой точки зрѣнія. Авторъ очень нерасположенъ къ Чарторижскому, постоянно и сурово обличаетъ его польскія притязанія и его магнатство,—хотя отдаетъ справедливость его просвѣщенному взгляду на потребности современнаго образованія. «Къ сожалѣнію—говоритъ онъ,—народное образованіе для Чарторижскаго было не цѣлью, съ достиженіемъ которой возвысилось бы нравственное и матеріальное состояніе народа, а средствомъ для ополченія жителей края, коихъ огромное большинство, и тогда, какъ и теперь, состояло изъ русскихъ. Чарторижскій, будучи однимъ изъ правителей аристократической касты, надѣялся воспользоваться ея превосходствомъ въ образованіи и въ вещественныхъ средствахъ надъ неразвитою массою народа для распространенія предѣловъ Польши, которая, по его понятіямъ должна была заключать въ себѣ не только собственно польскія области, но и Литву, Бѣлоруссію и даже значительную часть Малороссіи съ Кіевомъ—второю колыбелью русскаго государства. Напрасно императоръ Александръ старался убѣдить его въ несбыточности такихъ плановъ, увѣряя, что никакая логика въ мірѣ не заставитъ русскихъ отказаться отъ своихъ правъ на Литву, Волынь и Подолію. Чарторижскій, по его собственному сознанію, вступилъ въ русскую службу единственно для возстановленія самобытной Польши, и вѣрнѣйшимъ средствомъ къ тому считалъ введеніе въ народныя школы польскаго языка преимущественно передъ русскимъ» (т. I, стр. 147—148). На это можно сказать, что народное образованіе, конечно, и по мнѣнію Чарторижскаго должно было служить къ нравственному и матеріальному благосостоянію (иначе, въ чемъ бы состоялъ его просвѣщенный взглядъ?), онъ только искалъ его примѣнить въ польскомъ смыслѣ. Но это направленіе, осуждаемое авторомъ, въ то время имѣло, конечно, значительно иной видъ, чѣмъ теперь. Не забудемъ, что Чарторижскій принадлежалъ къ первому поколѣнію, выроставшему подъ русскимъ господствомъ,—поколѣнію, отцы котораго еще были свидѣтелями польской независимости. Было весьма естественно, что они считали польскими области, присоединенныя отъ недавней еще Польши, и сама власть, не только во времена императора Александра, но даже и послѣ, смотрѣла на положеніе западныхъ губерній иначе, чѣмъ стали на него смотрѣть въ послѣднее время. «Напрасно императоръ Александръ старался убѣдить его» и проч.,

но самъ императоръ не всегда былъ въ этомъ убѣжденъ: извѣстны его взгляды, благопріятные Польшѣ, которыми огорчались и раздражались русскіе патріоты, отъ Карамзина до многихъ декабристовъ. Самый фактъ, что Чарторижскій, не смотря на эти свои тенденціи, могъ въ теченіе цѣлыхъ лѣтъ управлять народнымъ образованіемъ западнаго края, показываетъ, что само правительство находило возможной его точки зрѣнія.... Историческое безпристрастіе требовало бы оцѣнки тогдашнихъ обстоятельствъ, и разъясненія заблужденій, которыя были и съ той, и съ другой стороны [1].

Въ другомъ мѣстѣ авторъ самъ открываетъ небольшую перспективу дѣйствительнаго положенія вещей въ западномъ краѣ. Въ маѣ 1812 года въ государственномъ совѣтѣ (въ департаментѣ государственной экономіи) слушалась записка, гдѣ говорилось, что по отчету виленскаго губернатора за 1809 годъ, въ той губерніи еще до сихъ поръ русскій языкъ не вошелъ въ общее употребленіе, и хотя дѣти свободныхъ состояній съ малолѣтства посѣщаютъ школы, но рѣдкій изъ нихъ можетъ читать и писать порусски. Такая же неохота къ изученію русскаго языка замѣчалась и въ остзейскомъ краѣ, и министръ народнаго просвѣщенія предлагалъ поэтому разныя болѣе или менѣе принудительныя мѣры для распространенія русскаго языка. Государственный совѣтъ нашелъ, что въ тогдашнихъ обстоятельствахъ надлежало съ пограничными губерніями обращаться со всевозможной осторожностью, и опредѣлилъ предположенныя мѣры отложить до болѣе удобнаго времени (V, стр. 203—204). Въ 1809 году, относительно западнаго края это не было еще результатомъ дѣятельности Чарторижскаго,—а было просто

[1] Г. Богдановичъ упрекаетъ также Чарторижскаго его магнатствомъ. Упрекъ, безотносительно говоря, справедливый, но едва ли не заимствованный изъ современныхъ нападокъ на шляхетскую Польшу. Для исторической справедливости слѣдовало прибавить, что къ сожалѣнію въ то время пренебреженіе къ народнымъ массамъ составляло всеобщій недостатокъ не только польскаго, но и русскаго барства. О польскомъ народѣ, т. е. крестьянствѣ, не думали не только польскіе магнаты, не только ихъ русскіе противники, какъ Карамзинъ, но и само правительство. До этого предмета вовсе еще не доходили политическія понятія, и состояніе крестьянскаго народа и польскаго, также, какъ русскаго, не принималось въ политическія соображенія. Замѣтимъ, впрочемъ, что въ протоколахъ засѣданій «неофиціальнаго Комитета» Чарторижскій является въ числѣ защитниковъ освобожденія крестьянъ.

обычнымъ порядкомъ вещей, остававшимся отъ прежняго времени, и если государственный совѣтъ находилъ здѣсь необходимой особенную осторожность, это одно показываетъ, что по мнѣнію самой русской власти рѣчь шла о довольно серьезномъ и трудномъ предметѣ. Это—тотъ же вопросъ обрусѣнія, который въ наше время снова выдвинутъ въ нашей государственной и общественной жизни. Кончились времена Чарторижскаго, наступила новая система, долго господствовавшая, и положеніе вещей въ этомъ отношеніи оказалось къ нашему собственному времени почти тѣмъ же, какъ было за пятьдесятъ лѣтъ назадъ, и снова предлагались принудительныя мѣры. Русскіе полячились въ западномъ краѣ уже издавна, со временъ первыхъ связей этого края съ Польшей; извѣстно, что это продолжалось и до самаго послѣдняго времени.

Такимъ образомъ, роль Чарторижскаго въ народномъ образованіи западнаго края была не только признакомъ его личныхъ притязаній, но еще больше была отголоскомъ цѣлаго обширнаго историческаго факта, оцѣнка котораго требовала бы бо̀льшаго вниманія. Если мы прибавимъ къ этому, что само русское общество въ то время едва начинало сознавать свои силы, что средства русскаго образованія едва только получали въ то время свою первую организацію, мы увидимъ еще яснѣе дѣйствительное отношеніе двухъ сторонъ дѣла. (Образчикъ состоянія русскаго образованія былъ только-что передъ тѣмъ указанъ самимъ авторомъ, V, стр. 202).

Въ такихъ же условіяхъ какъ этотъ вопросъ о западномъ краѣ, находится въ нашей литературѣ исторія временъ конституціонной Польши. Нѣтъ сомнѣнія, что для Польши, политическая судьба которой въ тѣ десятилѣтія нѣсколько разъ мѣнялась въ рѣзкихъ переходахъ, это время было весьма смутное. Общество не могло не быть раздѣлено между различными мнѣніями, и было бы для всякаго правительства трудно найти истинную точку опоры для своихъ дѣйствій. Авторъ желаетъ быть безпристрастнымъ, – но изложеніе тѣмъ не менѣе одностороннее. «На счетъ общественнаго духа въ Варшавѣ и вообще въ царствѣ,—говоритъ онъ о времени послѣ 1815 года,—хотя и не подлежало сомнѣнію, что часть жителей была весьма хорошо расположена къ сліянію съ Россіей, отъ которой исключительно зависѣла безопасность и благосостояніе Польши, однако же многіе были совершенно инаго мнѣнія». Было не мало людей, которые, мечтая о неза-

висимости Польши, думали достигнуть ея какимъ нибудь насильственнымъ переворотомъ. Эти мечтанія были, конечно, несбыточныя и фантастическія, но факты, приводимые самимъ авторомъ, показываютъ, что съ нашей стороны едва ли было сдѣлано многое для того, чтобы умѣрить это броженіе умовъ и направить его болѣе здравымъ образомъ. Во всякомъ случаѣ требовалась твердая, но либеральная политика, и кромѣ того сближеніе польскихъ интересовъ съ русскими. Но въ эпоху варшавскихъ сеймовъ политика императора Александра уже приняла тотъ характеръ, о которомъ мы говорили, и она не могла быть иная относительно Польши, чѣмъ была вообще. Недоставало и разъясненія истинныхъ отношеній Польши къ Россіи и русскому правительству. По словамъ г. Богдановича,—«какъ въ продолженіи нѣскольких лѣтъ не было принято правительствомъ никакихъ мѣръ для привлеченія на свою сторону общественнаго мнѣнія въ царствѣ Польскомъ, то изъ всѣхъ заграничныхъ журналовъ, французскихъ и англійскихъ, выписывались тамъ преимущественно тѣ, которые, будучи враждебны правительству, распространяли въ обществѣ вредныя мысли и правила, либо передавали искаженные факты. Подобнымъ же образомъ, публика предпочитала такія политическія брошюры, которыя отличались опасными ученіями и крайнею дерзостью»... «Польскіе журналы (которые большею частію издавались весьма молодыми людьми) сообщали своимъ читателямъ содержаніе лишь оппозиціонной иностранной прессы, распространяли въ провинціи ложныя сужденія и вѣсти. Для противодѣйствія тому, Новосильцовъ предлагалъ подвергнуть благоразумной, но строгой цензурѣ всѣ заграничные журналы и брошюры»... «Новосильцовъ полагалъ, что весьма было бы полезно издавать въ Варшавѣ журналъ въ духѣ и въ интересахъ правительства», и т. д. (VI, стр. 152—153).

Главнымъ источникомъ, которымъ руководился авторъ въ изображеніи общественныхъ дѣлъ въ тогдашней Польщѣ, были донесенія Новосильцова, и, сколько можно судить, авторъ прямо заимствовалъ изъ нихъ свои показанія, не провѣряя ихъ другими источниками. Можно предположить, что брошюры, отличавшіяся опасными ученіями, были именно та публицистическая литература, которая естественно занята была политическими вопросами того времени, и конечно вопросами конституціонными. Трудно было бы представить, чтобы эта литература не была извѣстна въ странѣ, которая сама пользовалась конституціонными учрежденіями, и

введеніе «благоразумной, но строгой» цензуры конечно не могло измѣнить расположенія умовъ, послужило бы только къ большему успѣху «опасныхъ» ученій, — и не совсѣмъ бы соотвѣтствовало конституціонному характеру правленія. Разумнѣе была бы другая мѣра, предлагаемая Новосильцовымъ, — изданіе журнала; но эта мѣра была трудно исполнима: для того, чтобы такой журналъ имѣлъ успѣхъ, т. е. получилъ вліяніе и могъ противодѣйствовать мнѣніямъ, которымъ долженъ былъ противодѣйствовать, нужно было, чтобы онъ выступалъ съ сильной аргументаціей, съ прямымъ признаніемъ основнаго принципа, и съ талантомъ; нужно было ставить вопросъ прямо и открыто, чтобы дѣйствовать на общество. Собственно говоря, это все можно бы было сдѣлать, если «часть жителей была весьма хорошо расположена къ сліянію съ Россіей»; но при этомъ надо было принять и послѣдствія подобной мѣры,— допустивъ большую свободу въ самой Польшѣ, допустить и вліяніе новыхъ идей въ русскомъ обществѣ. Двойственное положеніе правительства въ Россіи и Польшѣ необходимо должно было обнаружиться ясно и наглядно, — императоръ Александръ видѣлъ неестественность этого двойственнаго положенія и въ началѣ думалъ устранить его извѣстнымъ приготовленіемъ конституціонныхъ учрежденій для Россіи (проектъ Новосильцова); но вскорѣ, — черезъ три, четыре года послѣ вѣнскаго конгреса, взгляды его на этотъ предметъ совершенно измѣнились.

Словомъ, обѣ стороны находились въ натянутомъ положеніи другъ къ другу, которое могло быть разрѣшено только уравненіемъ ихъ внутреннихъ отношеній и возвышеніемъ въ обѣихъ общественно-политическаго уровня. Эта мысль, которая едва начинаетъ созрѣвать въ наше время, въ то время возникла на минуту въ умѣ императора Александра I, но не получила затѣмъ никакого развитія, и отношенія остались и впослѣдствіи становились еще болѣе натянутыми, чѣмъ въ началѣ. Противорѣчіе абсолютной Россіи и конституціонной Польши окончилось польскимъ волненіемъ и уничтоженіемъ конституціи.

Въ этомъ ходѣ вещей едва ли можно слагать всю вину историческаго недоразумѣнія лишь на одну сторону; недоразумѣніе было взаимное, и нельзя не признать, что императоръ Александръ не разъ подавалъ поводъ къ заблужденію относительно положенія Польши. Г. Богдановичъ, излагая дѣло съ своей апологической точки зрѣнія, не затронулъ самой сущности историческаго вопроса. Источники, которыми онъ руководился (см.

приложенія къ гл. LXXII), представляютъ исключительно свидѣтельства одной стороны.

Изложеніе внутреннихъ дѣлъ, управленія и проч. вообще составлено главнымъ образомъ по офиціальнымъ даннымъ, и нерѣдко, какъ мы замѣчали, остается слишкомъ внѣшнимъ, не разъясняющимъ дѣйствительнаго положенія вещей. Таковы свѣдѣнія объ управленіи, о попыткахъ къ разрѣшенію крестьянскаго вопроса, о народномъ просвѣщеніи, о финансахъ. Объ этомъ послѣднемъ предметѣ авторъ доставляетъ не мало матеріала, напечатавши цѣлый рядъ офиціальныхъ росписей государственныхъ приходовъ и расходовъ того времени; но критической исторіи финансовъ онъ не даетъ. Глава о финансахъ за первые годы царствованія (гл. IX, т. I) представляетъ единственно голый рядъ цифръ. Въ изложеніи дальнѣйшаго времени авторъ приводитъ большія подробности о финансовыхъ дѣлахъ, но, оставаясь исключительно въ области внѣшнихъ офиціальныхъ данныхъ, не дѣлаетъ попытки къ ихъ разработкѣ и къ опредѣленію состоянія народнаго хозяйства. Финансовая система того времени, какъ и ея продолженіе въ послѣдующемъ періодѣ, была система, соотвѣтствовавшая крѣпостному хозяйству, лежала всею тяжестью на низшемъ сословіи, которое, наконецъ, и истощила до послѣдней крайности. Изображеніе этой системы, въ существенныхъ чертахъ ея дѣйствія, дало бы замѣчательную картину обратной стороны внѣшняго величія Россіи, въ ту эпоху, и вмѣстѣ поучительный аргументъ въ виду тѣхъ новыхъ идей, какія начинаютъ въ послѣднее время искать новаго, лучшаго устройства государственнаго хозяйства.

Исторія военныхъ поселеній изложена авторомъ съ большой точностью и безпристрастно.

Положеніе администраціи, судовъ и т. д. также представлены авторомъ правдиво (ср. т. IV, стр. 586; т. V, стр. 282, 380; VI, 88, 401—403. 411—413), хотя ихъ изображеніе остается отрывочной чертой, и ихъ связь съ общей характеристикой времени недостаточно разъяснена для читателя.

Перемѣна въ характерѣ императора Александра, отличающая вторую половину его царствованія, указана авторомъ не одинъ разъ,—но мы думаемъ, что смыслъ ея тѣмъ не менѣе еще ожидаетъ разъясненія. Самый фактъ ея авторъ передаетъ въ слѣдующихъ словахъ: «По заключеніи перваго парижскаго мира, Александръ, миротворецъ Европы, благодѣтель Франціи, явился съ

желаніемъ творить людямъ добро, съ убѣжденіемъ въ его возможности. Его взоръ былъ столь же ясенъ, его улыбка столь же привѣтлива, какъ въ первые годы его владычества, когда единственною, завѣтною его цѣлью было идти по стопамъ Матери Отечества, Великой Екатерины. Прошло немного дней, и.... то, въ чемъ былъ увѣренъ Александръ, оказалось мечтою. Властители, утвержденные имъ на поколебленныхъ престолахъ, едва было не возстали противъ него за-одно съ побѣжденною Франціей; народы, избавленные имъ отъ лежащаго на нихъ ига, требовали исполненія обѣщаній, данныхъ въ роковое время борьбы съ Наполеономъ; изъ среды возстановленнаго имъ польскаго народа раздавался ропотъ неудовольствія; въ Россіи говорили съ завистью о правахъ, дарованныхъ мятежнымъ полякамъ, и съ безпокойствомъ о намѣреніяхъ Государя расширить предѣлы буйной Польши. Такъ на ясномъ небѣ являются едва замѣтныя облака — предвѣстники бури. Александръ, недовольный всѣмъ, что окружало его, болѣе и болѣе удалялся отъ людей, болѣе и болѣе не довѣрялъ имъ. Обычная безмятежность его характера уступила мѣсто гнѣвнымъ порывамъ. Онъ сдѣлался несравненно болѣе взыскательнымъ въ отношеніи къ военной дисциплинѣ; запрещено было офицерамъ носить гражданское платье и приказано обращать вниманіе на строжайшее соблюденіе установленной формы въ одеждѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, были приняты мѣры къ искорененію злоупотребленій, вкравшихся во всѣ части государственнаго управленія», и проч. (т. V, стр. 119—120). Мотивы, указываемые авторомъ, не такъ достаточны, чтобы можно было ограничиться ими, какъ объясненіемъ удовлетворительнымъ. Властители, дѣйствительно, показали себя предателями, и это могло быть причиною огорченія и мизантропіи; но когда «народы требовали исполненія обѣщаній», то это не должно бы быть предметомъ огорченія, потому что требованія были справедливы, такъ какъ обѣщанія были дѣйствительно и добровольно даны; если въ Россіи говорили съ завистью о правахъ, дарованныхъ мятежнымъ полякамъ, то и это опять было естественно. Подобнаго рода мотивы не объясняютъ всѣхъ особенностей въ личномъ и политическомъ настроеніи императора въ послѣдніе годы правленія. Существенной чертой этого направленія было постоянное колебаніе принциповъ и безсиліе воли, — которыя позволяли ему въ одно и то же время и сохранять воспоминаніе о своихъ прежнихъ либеральныхъ правилахъ (авторъ приводитъ любопытную фразу, сказанную

императоромъ въ послѣдніе дни его жизни: «Et pourtant — on a beau dire ce qu'on veut de moi, j'ai vécu et je mourrai républicain!»), и давать полную волю Аракчееву. И должно сказать, что эта черта высказывалась издавна въ характерѣ императора Александра: теперь эта двойственность стала только высказываться болѣе рѣзко и болѣе для всѣхъ очевидно.

Перемѣна въ характерѣ сопровождалась и преобладаніемъ чисто консервативнаго, абсолютнаго духа въ его дѣйствіяхъ и управленіи. Преобразовательные планы были совсѣмъ покинуты, и все то «искорененіе злоупотребленій», о которомъ теперь старались по словамъ г. Богдановича, оказывалось безсильно при сохраненіи старыхъ обычаевъ управленія, нравовъ и общественной жизни. Единственнымъ средствомъ искорененія злоупотребленій оставались тѣ, о которыхъ думали въ первые годы царствованія: публичность [1]), большая свобода общественной жизни и печати, измѣненіе учрежденій. Теперь все это считалось невозможнымъ: теоріи, говорившія объ этомъ, стали опасными ученіями; а затѣмъ искорененіе дѣлалось совершенно невозможнымъ (ср. т. V, стр. 284).

Изложеніе литературнаго развитія (т. III, стр. 61; т. V, стр. 177 и слѣд.), какъ вообще успѣховъ умственныхъ, искусства и т. д., опять ограничивается почти только внѣшними фактами,—исчисленіемъ именъ писателей съ краткими характеристиками, напр.:.... «Крыловъ, языкомъ вымысла говоря истину, издалъ, еще въ 1805 году, въ первый разъ, собраніе своихъ басенъ; Дмитріевъ посвящалъ свободное отъ государственныхъ трудовъ время изящной словесности; Озеровъ, возобновя память о подвигахъ Донскаго, предрекъ побоища при Бородинѣ и Лейпцигѣ;... Батюшковъ, при свѣтѣ бивачныхъ огней, издавалъ образцы русскаго слова; князь Вяземскій, отъ юности любимецъ Аполлона, возбудилъ сочувствіе къ себѣ тогдашняго общества бойкою защитою Карамзина» и т. п. Общія замѣчанія о «процвѣтаніи» литературы не довольно ясны и несовсѣмъ справедливы. Таково, напр., мнѣніе автора о значеніи «Русскаго Вѣстника» Сергѣя Глинки: «то, что мы видѣли въ наше время, — говоритъ авторъ, — когда одно изъ русскихъ періодическихъ изданій, дѣйствуя въ духѣ здоровой части

---

[1]) О необходимости ея въ финансовыхъ дѣлахъ высказывался и впослѣдствіи государственный совѣтъ; т. III, стр. 51.

общества, сдѣлалось главнымъ его органомъ, то самое было въ грозную эпоху нашествія Наполеона. «Русскій Вѣстникъ» былъ своего рода силою, а самъ Глинка жилъ среди народа и жизнью народной» и проч. Сравненіе горячаго, но простодушнаго патріотизма Глинки съ патріотизмомъ современнаго изданія, на которое авторъ намекаетъ, едва ли вѣрно характеризуетъ и тогдашнее время, и основателя «Русскаго Вѣстника». Особенно подробно останавливается авторъ на извѣстномъ «Арзамасѣ», которому всего больше сочувствуетъ; но Арзамасъ, имѣвшій свою роль въ улучшеніи литературнаго стиля, въ общественномъ смыслѣ не представлялъ никакихъ опредѣленныхъ мнѣній. Къ Карамзину авторъ относится съ большимъ уваженіемъ, высоко ставитъ его записку о Польшѣ, но относится критически къ запискѣ «о древней и новой Россіи» и указываетъ ея недостатки.

Имѣя въ виду прежде всего официальное теченіе дѣлъ, авторъ вообще мало обращаетъ вниманія на исторію самого общества, которое именно въ этомъ періодѣ начинаетъ обнаруживать признаки умственной самодѣятельности и интересъ къ вопросамъ внутренней политики. Однимъ изъ самыхъ характеристическихъ явленій того періода было возникновеніе и распространеніе тайныхъ обществъ. Исторія ихъ разсказана авторомъ, къ сожалѣнію, односторонне.

Онъ начинаетъ съ масонства. Для его исторіи авторъ пользовался только нѣсколькими современными официальными записками, которыя, сколько можно судить, сообщаютъ свѣдѣнія немаловажныя; но ограниченное этимъ матеріаломъ, изложеніе остается неполно [1]). Другимъ матеріаломъ, какой представляютъ напр. извѣстныя собранія масонскихъ документовъ и рукописей,

[1]) И не всегда точно. Такъ въ т. VI, стр. 451, упоминается въ Варшавѣ ложа «Большаго Востока»; такой особой ложи, вѣроятно, не было, а «Великимъ Востокомъ» (Grand Orient) называются вообще главныя масонскія управленія въ странѣ или краѣ. Въ т. VI, стр. 410, упоминается въ Кіевѣ ложа «Бѣдные Славяне»,—вѣроятно ошибка. Тамъ существовала ложа подъ именемъ «Соединенныхъ Славянъ». Распространеніе ложъ указано неполно. Намъ кажется, что авторъ не воспользовался всѣмъ матеріаломъ, безъ сомнѣнія находящимся въ тѣхъ архивахъ, какіе онъ при этомъ изложеніи упоминаетъ. Между прочимъ, изъ официальныхъ данныхъ вѣроятно могли бы быть разъяснены домашніе поводы къ закрытію масонскихъ ложъ,—о чемъ до сихъ поръ не было свѣдѣній въ печати, кромѣ извѣстнаго указа.

авторъ не пользовался вовсе. Затѣмъ онъ переходитъ къ собственно тайнымъ политическимъ обществамъ. Упоминая передъ тѣмъ о недовольствѣ, которое стало, во второй половинѣ царствованія, обнаруживаться въ разныхъ кругахъ, особенно въ военномъ, и послужило поводомъ къ основанію тайныхъ обществъ, авторъ прямо или косвенно осуждаетъ это недовольство, какъ поспѣшное или неблагоразумное.

«Въ послѣдніе годы царствованія Александра I, — говоритъ онъ, — проявлялось въ русскомъ обществѣ неудовольствіе, — слѣдствіе несбывшихся надеждъ, возбужденныхъ прежними дѣйствіями Благословеннаго Монарха. Какъ нерѣдко случается, восхваляли времена минувшія, славили вѣкъ Екатерины, забывъ то, что прежде казалось достойнымъ порицанія. Самовластіе былыхъ временщиковъ исчезло въ памяти новаго поколѣнія, считавшаго несноснымъ бременемъ господство Аракчеева. Ему приписывали всѣ бѣдствія, всѣ язвы Россіи: и застой народнаго богатства, и тяжкій трудъ исправленія дорогъ, и новые налоги, и дороговизну необходимѣйшихъ предметовъ общей потребности. Кроткое правленіе Александра не могло ни истребить, ни даже уменьшить лихоимства судовъ; казнокрадство по откупамъ, подрядамъ и общественнымъ работамъ достигли крайней степени...

«Военные были недовольны учрежденіемъ аракчеевскихъ поселеній, угрожавшихъ распространиться на всю армію, но и строгими порядками, введенными по возвращеніи нашихъ войскъ изъ-за границы... Множество офицеровъ было предано военному суду и исключено изъ службы. При всей справедливости такихъ мѣръ, онѣ казались жестокими и возбудили ропотъ въ военныхъ обществахъ. Осужденіе вкривь и вкось дѣйствій правительства вошло въ моду (?); либеральничанье считалось признакомъ высокой образованности и умственнаго развитія.

«Не менѣе волновали общество дѣла внѣшней политики. Лучезарный блескъ, озарявшій подвиги освободителя Европы отъ Наполеонова ига, омрачился возстановленіемъ Польши и зловѣщими слухами о предстоявшемъ расширеніи ея предѣловъ до Днѣпра и Двины. Эти слухи, распускаемые съ умысломъ княземъ Чарторижскимъ и другими поляками, получали достовѣрность въ Россіи при отдѣленіи Выборгской губерніи въ пользу Финляндіи, да и самъ государь иногда подавалъ поводъ къ толкамъ — о предположеніи возстановить Польшу въ прежнихъ ея границахъ... Безразсудные поступки поляковъ измѣнили расположеніе къ нимъ

императора Александра; но въ русскомъ обществѣ не переставали толки, будто бы государь предпочитаетъ Польшу Россіи, любитъ иностранцевъ преимущественно предъ русскими и жертвуетъ въ пользу чужихъ державъ выгодами собственной страны... Возстаніе грековъ и уклоненіе нашего правительства содѣйствовать ихъ освобожденію подали поводъ къ осужденію принятой государемъ политической системы. Немногіе лишь у насъ признавали основательность дѣйствій императора Александра, который, поддерживая права законной власти на западѣ Европы, считалъ непозволительнымъ поддерживать мятежъ противъ союзной ему Порты. Но большинство русскихъ видѣло въ грекахъ единовѣрныхъ братій, которымъ слѣдовало помогать всѣми силами» (т. VI, стр. 401—403).

Къ сожалѣнію, факты этой исторіи еще слишкомъ мало разработаны; но, насколько они извѣстны и теперь, едва ли не слѣдуетъ сказать, что общественное мнѣніе, порицавшее тѣ или другія мѣры, нерѣдко имѣло свои основанія. Было ли справедливо недовольство лихоимствомъ и казнокрадствомъ, военными поселеніями, угрожавшими распространиться на всю армію; тѣми толками, къ которымъ, по словамъ автора, подавалъ поводъ и самъ императоръ Александръ,—объ этомъ, вѣроятно, и авторъ не будетъ спорить, также какъ о томъ, что недовольство распространялось не на одного Аракчеева. Мизантропическое настроеніе императора упоминается не разъ современниками. Въ греческомъ вопросѣ роль Россіи была слишкомъ уступчивая; забота объ интересѣ «союзной» Порты совершалась въ виду самыхъ наглыхъ притязаній этой Порты, и неестественность этихъ отношеній обнаружилась потомъ въ первые же годы новаго царствованія, которое объявило Портѣ войну,—по справедливости очень популярную.

Тайныя общества двадцатыхъ годовъ составляютъ для насъ столь далекое прошедшее, что для нихъ пора уже наступить дѣйствительной исторіи, которая относилась бы къ нимъ sine ira et studio. Исторія въ формѣ обвинительнаго акта была бы слишкомъ неумѣстна относительно событій и лицъ, отдѣленныхъ отъ насъ двумя царствованіями и многими десятилѣтіями. Но авторъ какъ будто думаетъ, что декабристовъ еще и въ наше время должно обличать такъ, какъ обличали ихъ пятьдесятъ (почти) лѣтъ тому назадъ; при этомъ онъ находитъ иногда укоръ для нихъ и въ томъ, въ чемъ еще не было предмета для укора.

Указавъ, что на умы нашего военнаго общества имѣло вліяніе продолжительное пребываніе войскъ заграницею, авторъ продолжаетъ: «Многое изъ того, что прежде казалось обычнымъ дѣломъ, приняло въ общемъ мнѣніи видъ несносныхъ злоупотребленій, которыя могли быть искоренены не одною лишь властью правительства, но усиліями всѣхъ и каждаго. Нѣкоторые изъ членовъ тайныхъ обществъ впослѣдствіи сознавались, что развитію вольнолюбиваго духа ихъ много способствовало чтеніе западныхъ публицистовъ, и въ особенности Биньона, Бенжамена Констана, Маккіавелли, Монтескье, Райналя, Contrat social Жанъ-Жака Руссо и проч. Люди образованные, но, большею частью, молодые и неопытные, бесѣдуя между собою, съ полною свободою, разсуждали о современномъ положеніи Россіи, разбирая главныя язвы нашего отечества: крѣпостное право, подававшее поводы къ столь многимъ притѣсненіямъ и варварствамъ; закоснѣлость и невѣжество народа; жестокое обращеніе съ солдатами, несправедливость въ судахъ, повсемѣстное лихоимство и безстыдное казнокрадство; наконецъ — явное неуваженіе къ человѣку и человѣчеству» (т. VI, стр. 411—412). Изъ показаній, данныхъ впослѣдствіи Кюхельбекеромъ, авторъ прибавляетъ, что одною изъ причинъ, побуждавшихъ этого члена тайнаго общества желать другаго порядка, была «распространявшаяся и въ простомъ народѣ порча нравовъ, особенно же лукавство и недостатокъ честности, которыя онъ приписывалъ угнетенію и всегдашней неувѣренности, въ коей находится рабъ (крѣпостной) на счетъ права пользоваться своимъ имуществомъ»,—а также и «крайнее стѣсненіе, которое россійская словесность претерпѣвала въ послѣднее время» отъ цензуры.

Приводя эти образчики мотивовъ, которые дѣйствовали на людей тайнаго общества, и за которыми трудно не признать основанія, авторъ замѣчаетъ: «Очевидно, что многія изъ такихъ жалобъ и нареканій были неосновательны, или, по крайней мѣрѣ, преувеличены», и доказываетъ очевидность слѣдующими соображеніями: «Конечно,—тогдашнее положеніе нашего государства, несмотря на блескъ славы, озарявшей Россію, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ было неудовлетворительно: всѣ области имперіи, отъ западныхъ границъ до самой Москвы, опустошенныя непріятелемъ, еще не могли придти въ прежнее состояніе, торговля находилась въ упадкѣ; финансы были разстроены. Но и въ другія эпохи нашей исторіи, Россія подвергалась столь же

тяжкимъ испытаніямъ, и мы переносили ихъ безропотно. Быть можетъ, главную причину неудовольствія, тогда объявшаго русское общество, должно искать въ тѣхъ надеждахъ, которыя возбуждала заря воцаренія юнаго Монарха, торжественно давшаго своему народу слово,—«управлять по законамъ и по сердцу Великой Екатерины». Эти надежды были вполнѣ оправданы первыми дѣяніями императора Александра: онъ повелъ свой народъ по пути благодѣтельныхъ преобразованій и указалъ ему конечную цѣль ихъ. Преобразователи государствъ вѣчно живутъ въ памяти народовъ своими подвигами; но чтобы посѣянныя ими сѣмена принесли плодъ, должно зорко слѣдить за исполненіемъ добра, внушеннаго ихъ свѣтлымъ умомъ и любящимъ сердцемъ. Императоръ Александръ сдѣлалъ много для счастья своихъ подданныхъ и хотѣлъ сдѣлать еще болѣе, но желанія народа, имъ возбужденныя, опережали ходъ дѣйствій правительства, и неудовольствіе болѣе и болѣе распространялось, преимущественно же въ кругу образованныхъ людей, познавшихъ цѣну реформъ, но не успѣвшихъ вполнѣ оцѣнить всѣ сопряженныя съ ними затрудненія» (т. VI, стр. 413—414).

Эти доказательства, однако, неубѣдительны. Прежде всего, разумѣется само собою, что недовольство исходило вовсе не оттого, что западныя области были опустошены войной съ Наполеономъ и торговля пришла въ упадокъ: было бы безсмысленно винить въ этомъ правительство. Вопросъ шелъ вовсе не о томъ, а объ цѣломъ рядѣ недостатковъ внутренней жизни Россіи, которые самъ авторъ назвалъ «язвами нашего отечества», и которые дѣйствительно были язвами. Ссылка на «другія эпохи» показываетъ только, что въ другія эпохи общество менѣе занималось подобными предметами, не составляло себѣ опредѣленныхъ понятій о положеніи государственной жизни, не давало себѣ труда, или же не осмѣливалось высказывать свои понятія, если онѣ возникали. Внѣшнія бѣдствія и теперь сносились безропотно: гибель войскъ, опустошеніе страны, пожаръ Москвы—все это были страшныя бѣдствія, но и небывалая слава. Но если стало считаться «несноснымъ злоупотребленіемъ» то, что прежде казалось обычнымъ дѣломъ,—этому можно было бы радоваться, потому что такая перемѣна взглядовъ свидѣтельствовала бы только объ успѣхахъ образованія, о возвышеніи уровня общественно-нравственныхъ понятій. Далѣе, надежды, возникшія при воцареніи Александра, оправдывались именно первыми годами

правленія, хотя, какъ мы замѣтили, и эти первые годы не представляли довольно энергіи и послѣдовательности. Но никакъ нельзя сказать, чтобы онѣ были оправданы вполнѣ, потому что главнѣйшіе планы, поставленные тогда, остановились на одномъ слабомъ началѣ, какъ напр. освобожденіе крестьянъ, учрежденіе какого-нибудь представительства: первое кончилось полумѣрами, впослѣдствіи ограниченными почти до полной отмѣны даже этихъ паліативныхъ средствъ; второе ограничилось учрежденіемъ государственнаго совѣта, т. е. еще одной новой правительственной инстанціи. Сказать, что желаніе народа «опережали ходъ дѣйствій правительства» — кажется намъ неточно, потому что собственно преобразовательныя дѣйствія во второй половинѣ царствованія совсѣмъ остановились, и что удаленіе Сперанскаго было уже характеристическимъ поворотомъ въ другую сторону [1]). Во многихъ случаяхъ, напр. въ мѣрахъ по улучшенію быта русскихъ крестьянъ, въ цензурѣ и т. д., правительство положительно шло назадъ; въ учрежденіи военныхъ поселеній отказывалось отъ прежнихъ гуманныхъ принциповъ; въ допущеніи обскурантизма кн. Голицына и Магницкаго отреклось отъ покровительства просвѣщенію и развитію общественнаго мнѣнія и т. д.

Въ другихъ случаяхъ, говоря о положеніи вещей независимо отъ разбора мнѣній либеральной партіи, г. Богдановичъ самъ признаетъ, что въ послѣдней половинѣ царствованія внутреннія дѣла шли дѣйствительно самымъ незавиднымъ, даже печальнымъ образомъ. Повторимъ сдѣланныя прежде цитаты, т. IV, стр. 586; т. V, стр. 282, 380 и др.

«Предлогами (?) для составленія тайныхъ обществъ,—говоритъ далѣе авторъ, — служатъ общее благо, любовь къ отечеству; но эти святыя чувства, превратно понятыя, ведутъ къ преступнымъ замысламъ и къ бѣдственнымъ послѣдствіямъ. Не даромъ говорятъ французы: l'enfer est pavé de bonnes intentions (адъ вымощенъ добрыми намѣреніями). Можно отдавать справедливость благонамѣренности Тургенева, можно жалѣть не только о Бестужевыхъ и другихъ членахъ тайнаго общества, которыхъ дѣятельность, принявъ иное направленіе, могла бы

---

[1]) «Паденіе Сперанскаго,—говоритъ самъ авторъ въ другомъ мѣстѣ,— повлекло за собой уничтоженіе всѣхъ предложенныхъ имъ преобразованій» (т. VI, стр. 421). А другихъ преобразованій потомъ и не предлагалось, кромѣ аракчеевскихъ и голицынскихъ.

принести несомнѣнную пользу Россіи, но и о тѣхъ, которые «не вѣдали, что творятъ». Но считать всѣхъ декабристовъ мучениками за правду—какъ видимъ въ нѣкоторыхъ иностранныхъ сочиненіяхъ—было бы верхомъ заблужденія, и, напротивъ того, потомство справедливо подвергнетъ русскія тайныя общества упреку въ томъ, что ихъ покушеніе подало поводъ къ реакціи и отодвинуло на многіе годы тѣ благодѣтельные реформы, которыя совершены въ наше время» (т. VI, стр. 416). Нѣтъ сомнѣнія, что и между декабристами были люди пустые, неумные и испорченные; но историческое объясненіе должно, кажется, показать, какія условія приводили однакоже къ факту тайнаго общества, которое очевидно грозило своимъ членамъ всякими опасностями и въ которомъ, несмотря на то, находились люди, безъ всякаго сомнѣнія, достойные и замѣчательные. Историку необходимо безпристрастнымъ образомъ изслѣдовать эти условія. Быть можетъ, оказалось бы, что въ данныхъ обстоятельствахъ, дѣйствительно, трудно было найти иной исходъ для тѣхъ горячихъ чувствъ любви къ отечеству и общаго блага, которыми многіе изъ членовъ общества безспорно проникнуты были самымъ искреннимъ и безкорыстнымъ образомъ? Ихъ преступленіе дѣлается больше, если этотъ выходъ былъ—выходъ дѣйствительный и разумный; и, наоборотъ, историческая справедливость требуетъ многое извинить въ ихъ увлеченіи, если добросовѣстная оцѣнка условій времени покажетъ, что для болѣе горячаго, чѣмъ обыкновенно, патріотическаго чувства въ ту пору не было иного исхода — кромѣ подчиненія вкусамъ Аракчеева, или равнодушія къ жгучимъ вопросамъ общаго блага. И потомство едва ли справедливо подвергнетъ этихъ людей еще упреку въ томъ, что они подали поводъ къ реакціи и отодвинули реформы: въ этихъ послѣдствіяхъ они лично нисколько не виноваты, и конечно о нихъ никогда не помышляли; это были послѣдствія, зависѣвшія отъ другихъ людей; и кромѣ того, можетъ быть, странно было бы ставить столь долгую послѣдующую исторію въ зависимость отъ того, болѣе или менѣе одинокаго и другою стороною столь пренебрегаемаго факта.

«Нельзя оставить безъ замѣчанія,—продолжаетъ авторъ,—что тайныя общества, полагая освобожденіе крестьянъ краеугольнымъ камнемъ всей будущей организаціи государства, встрѣчали сильную оппозицію не только въ современныхъ понятіяхъ огромнаго большинства высшихъ сословій, но и въ лю-

дяхъ, считавшихся передовыми по своему образованію и направленію. Извѣстный патріотъ Мордвиновъ говорилъ во всеуслышаніе, что для Россіи была необходима богатая и сильная аристократія, для образованія которой надлежало раздать знатнѣйшимъ фамиліямъ всѣ казенныя имѣнія. Да и самые члены тайнаго общества, или, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ нихъ, отличавшіеся крайнимъ вольномысліемъ, предполагали, давъ личную свободу своимъ крестьянамъ, предоставить имъ только ихъ усадьбы и выгоны, а сами хотѣли пользоваться всею остальною землею, обработывая ее вольнонаемными людьми, либо отдавая въ наемъ своимъ людямъ. Такимъ образомъ, по распоряженію этихъ филантроповъ, явилось бы и у насъ, какъ на западѣ, многочисленное сословіе пролетаріевъ, не имѣющихъ никакой осѣдлости и зависящихъ болѣе нежели прежде отъ того самаго произвола землевладѣльцевъ, противъ котораго возставали мнимые преобразователи Россіи. Если бы они въ дѣйствительности были объяты духомъ любви къ меньшей братіи, то могли и тогда, на основаніи указа 1805 года, о вольныхъ хлѣбопашцахъ, освободить своихъ крѣпостныхъ людей на условіяхъ, добровольно съ ними заключенныхъ» (т. VI, стр. 421—422). Здѣсь опять рядъ неправильныхъ толкованій или недоразумѣній. Мордвиновъ расходился съ либералами въ крѣпостномъ вопросѣ не изъ страсти къ рабовладѣнію, не изъ убѣжденія въ его абсолютной справедливости и необходимости, словомъ не изъ ходячаго помѣщичьяго консерватизма, а потому конечно, что его собственная теорія предпочитала иной путь внутренняго политическаго преобразованія. Онъ увлекался англійскими учрежденіями и считалъ нужной богатую и сильную аристократію именно въ смыслѣ англійской, т. е. политически-свободной и управляющей государствомъ подъ конституціонными формами; народная же масса наша, хотя бы и освобожденная, не безъ основанія казалась ему неспособной (хотя на нѣкоторое время) пользоваться политическими правами этого рода. Но въ мнѣніяхъ Мордвинова невозможно видѣть простого крѣпостничества стараго нашего барства, и потому либералы могли цѣнить и уважать его, несмотря на разногласіе въ этомъ пунктѣ: стремленіе къ болѣе свободнымъ учрежденіямъ было у нихъ общимъ. Авторъ, далѣе, напрасно бросаетъ въ декабристовъ ироническимъ названіемъ «филантроповъ»: если бы даже они хотѣли освобождать крестьянъ безъ земли, то все-таки

это было не меньше того, что было сдѣлано самимъ правительствомъ императора Александра въ освобожденіи крестьянъ остзейскихъ, и ироническое названіе пришлось бы относить и къ этому послѣднему. Но, сколько извѣстно, вопросъ о крестьянскомъ освобожденіи еще не былъ рѣшенъ у декабристовъ вполнѣ и категорически (какъ вообще и всѣ ихъ политическіе предметы), а тѣмъ менѣе въ смыслѣ освобожденія безъ земли. Напротивъ, лучшіе изъ нихъ уже въ то время пришли къ убѣжденію въ необходимости освобожденія съ земельнымъ надѣломъ, какъ можно видѣть, напримѣръ, изъ тѣхъ самыхъ записокъ Ив. Д. Якушкина, на которыя авторъ въ этомъ случаѣ ссылается. Наконецъ, мы указывали прежде, что около двадцатыхъ годовъ было трудно пользоваться и постановленіями указа 1805 года о свободныхъ хлѣбопашцахъ: до чего былъ доведенъ этотъ законъ разными позднѣйшими разъясненіями и ограниченіями, наконецъ совсѣмъ лишавшими его силы, можно видѣть изъ практическихъ примѣровъ, приводимыхъ въ тѣхъ же запискахъ, и изъ разсказовъ Н. И. Тургенева.

Исторія тайныхъ обществъ доведена авторомъ до конца царствованія императора Александра; развязка уже не принадлежала этому времени и потому не вошла въ изложеніе автора. Для исторіи тайныхъ обществъ авторъ имѣлъ, какъ мы упоминали, матеріалъ, до сихъ поръ остававшійся недоступнымъ для нашихъ историковъ—подлинное дѣло слѣдственной коммиссіи. Онъ вводитъ въ свой разсказъ много отдѣльныхъ фактовъ, заимствованныхъ изъ показаній подсудимыхъ, дѣлаетъ извлеченія и изъ самыхъ показаній, впрочемъ вообще довольно короткія. Такъ, кромѣ упомянутой выдержки изъ показаній Кюхельбекера, приведены извлеченія изъ показаній Пестеля, одного изъ Крюковыхъ, Поджіо, выдержки изъ Русской Правды и пр. (т. VI, стр. 446—449, 466—468, 474—475, 483—484 и др.). Нѣкоторыя изъ этихъ показаній весьма любопытны, какъ напримѣръ, въ особенности отрывокъ изъ показаній Пестеля.

Не имѣвши въ рукахъ этого важнаго матеріала, мы, собственно говоря, не имѣемъ настоящей возможности судить объ изложеніи г. Богдановича въ тѣхъ частяхъ, гдѣ оно основано на этомъ матеріалѣ, на сколько полно или неполно, точно или неточно авторъ имъ воспользовался, — и дѣлаемъ слѣдующія замѣчанія съ необходимой оговоркой, что они болѣе или менѣе предположительны. Матеріалъ употребленный авто-

ромъ, было слѣдственное дѣло, производившееся исключительнымъ образомъ и въ исключительныхъ обстоятельствахъ. Это не былъ процессъ, какъ мы понимаемъ его теперь, процессъ, гдѣ мы можемъ видѣть равно обѣ стороны, предварительное производство, судебное слѣдствіе, обвиненіе и защиту, наконецъ приговоръ, извлеченный судомъ изъ данныхъ, представляемыхъ всѣми этими условіями. Напротивъ, это былъ закрытый, секретный процессъ, какъ они велись въ прежнее время, и въ этомъ случаѣ веденный особымъ, исключительно на то назначеннымъ, составомъ лицъ. О производствѣ, которое при этомъ было принято, остались нѣкоторые разсказы, отчасти сохранившіеся въ позднѣйшихъ запискахъ самихъ подсудимыхъ; между прочимъ, много немаловажныхъ замѣчаній въ извѣстной книгѣ Н. И. Тургенева 1847 г. и въ особой брошюрѣ, изданной имъ въ шестидесятыхъ годахъ.

Для вполнѣ точнаго историческаго отчета о событіяхъ, послужившихъ предметомъ процесса, матеріалъ, представляемый дѣломъ слѣдственной коммиссіи, долженъ былъ бы подвергнуться предварительной критикѣ, которая опредѣлила бы (для настоящаго случая) свойство данныхъ показаній. Извѣстно, что показанія, даваемыя особенно въ подобныхъ случаяхъ, на предварительныхъ слѣдствіяхъ, нерѣдко нуждаются въ ближайшихъ разъясненіяхъ и опредѣленіяхъ: даваемыя въ первый разъ въ извѣстномъ настроеніи, подъ тѣми или другими впечатлѣніями, они иногда далеко не соотвѣтствуютъ сущности дѣла и представляютъ его въ невѣрномъ свѣтѣ; поэтому такъ важно бываетъ, въ современномъ процессѣ судебное слѣдствіе и потомъ сопоставленіе обвиненія и защиты, гдѣ первоначальныя данныя разъясняются другими показаніями, очными ставками и т. д. Въ той формѣ, какую имѣлъ процессъ о тайныхъ обществахъ, и въ тогдашнихъ условіяхъ вообще, едва ли могли быть соблюдены всѣ тѣ гарантіи, какихъ требуетъ полная юридическая достовѣрность,—по крайней мѣрѣ на недостатокъ ихъ указываютъ упомянутые разсказы,—и потому матеріалъ, доставляемый слѣдственнымъ дѣломъ, нуждается въ особенно внимательномъ изслѣдованіи для того, чтобы изъ него можно было извлечь достовѣрные факты, въ ихъ дѣйствительной важности и настоящемъ освѣщеніи.

Авторъ, сколько видно, не считалъ нужной эту предварительную критику и принималъ матеріалъ слѣдственнаго дѣла

какъ готовыя историческія данныя [1]). Онъ излагаетъ общій ходъ дѣла въ такихъ же чертахъ, какъ изображается оно въ извѣстномъ «Донесеніи». Между тѣмъ, это послѣднее вызывало различныя возраженія, которыя до сихъ поръ еще не были разъяснены и во всякомъ случаѣ заслуживаютъ вниманія. Въ «Донесеніи» указывались противорѣчія и преувеличенія, отчасти касающіяся весьма существенныхъ пунктовъ дѣла. Такъ, между прочимъ, нѣкоторыя собранія членовъ тайнаго общества, изображаемыя въ «Донесеніи» и въ книгѣ г. Богдановича (т. VI, стр. 424) какъ формальныя и такъ сказать офиціальныя засѣданія общества, въ другихъ источникахъ представляются простыми случайными бесѣдами, не имѣвшими дальнѣйшихъ послѣдствій по тогдашнему мнѣнію самихъ участниковъ, и принятыя «рѣшенія», или выводы изъ разговоровъ, — нисколько для нихъ не обязательными. Это послѣднее представленіе дѣла имѣетъ за себя большую вѣроятность. Точно также различныя необузданныя мнѣнія, которыя высказывались нѣкоторыми членами общества и считаются въ «Донесеніи» и въ книгѣ нашего автора замыслами общества, въ другихъ источникахъ опять представляются только личной необузданностью этихъ людей, которая притомъ и у нихъ иногда была только необузданностью словъ. Такъ, есть значительныя разногласія о томъ, было ли закрытіе общества, постановленное въ 1821 году въ Москвѣ, дѣйствительнымъ или только фиктивнымъ и т. д. Эти и подобные вопросы, весьма важные для историческаго опредѣленія факта, остаются вопросами и послѣ изложенія г. Богдановича.

Мы упоминали о цѣломъ взглядѣ его на людей тайнаго общества. Разсматривая это дѣло только какъ заблужденіе извѣстной части общества и какъ преступный замыселъ, авторъ мало обращалъ вниманія на общее направленіе тѣхъ политическихъ понятій, которыя распространялись въ то время. Эти понятія не трудно замѣтить среди увлеченій и заблужденій, и намъ кажется, что въ историческомъ смыслѣ появленіе и распространеніе этихъ понятій не лишено значенія. Правда, онѣ принадлежали небольшому относительно кругу образованныхъ людей, не были еще достаточно продуманы, не могли быть изучаемы и провѣряемы

[1]) Конечно, въ рамкѣ его книги не было мѣста для такой критической разработки матеріала, — объ этомъ мы и не говоримъ, — но она должна бы предполагаться. Авторъ не дѣлаетъ ни малѣйшей оговорки въ этомъ смыслѣ.

практически; но нельзя не видѣть, что въ нихъ совершенно явственно высказывалось стремленіе къ тѣмъ преобразованіямъ, необходимость которыхъ все болѣе и болѣе подтверждалась послѣдующимъ ходомъ нашей внутренней жизни и наконецъ заявлена была многоразличными реформами нашего времени. Мы не будемъ указывать, въ примѣръ этого, политическихъ мнѣній, высказанныхъ Н. И. Тургеневымъ: эти мнѣнія достаточно извѣстны. Но и въ кругу другихъ лицъ тайнаго общества, менѣе серьезныхъ, обладавшихъ гораздо меньшими политическими знаніями, также высказывались понятія, которымъ нельзя отказать въ исторической достопримѣчательности; и если мнѣнія Тургенева могутъ назваться исключительными (хотя онѣ сильно распространялись между членами тайнаго общества), то эти послѣднія представятъ, такъ сказать, средній уровень политическихъ воззрѣній декабристовъ. Г. Богдановичъ приводитъ (въ приложеніяхъ къ главѣ LXXX) одинъ документъ, весьма любопытный въ этомъ отношеніи. Это — одна изъ различныхъ конституцій, какія составлялись тогда членами тайнаго общества. Эта конституція, неоконченная, найдена въ бумагахъ кн. Трубецкаго и, по указанію автора, весьма сходна съ той, которую составилъ Никита Муравьевъ. Рядъ политическихъ положеній, выставленныхъ здѣсь основными началами и представляющихъ ту цѣль, къ которой стремились желанія общества, весьма замѣчателенъ. Эти основныя начала были слѣдующія: свобода печати;— свобода богослуженія; — уничтоженіе владѣнія крѣпостными людьми;— равенство всѣхъ гражданъ предъ законами, и потому отмѣна военныхъ судовъ и всякихъ судныхъ комисій;—объявленіе права каждому изъ гражданъ избирать родъ занятій и занимать всякія должности; — уничтоженіе монополій и предоставленіе каждому права винокуренія и добыванія соли, съ уплатою пошлинъ по количеству добываемыхъ продуктовъ;—уничтоженіе рекрутской повинности и военныхъ поселеній; — сокращеніе срока службы для нижнихъ чиновъ и уравненіе воинской повинности между всѣми сословіями;— увольненіе въ отставку всѣхъ нижнихъ чиновъ, прослужившихъ 15 лѣтъ; — учрежденіе волостныхъ, уѣздныхъ, губернскихъ и областныхъ управленій, и назначеніе въ нихъ членовъ по выбору, въ замѣнъ всѣхъ нынѣшнихъ чиновниковъ (мѣстное самоуправленіе); — гласность судовъ;—введеніе присяжныхъ въ суды уголовные и гражданскіе.

Безпристрастная исторія нашей внутренней жизни едва ли можетъ обойти и оставить безъ вниманія это замѣчательное совпаденіе стремленій людей двадцатыхъ годовъ съ тѣми явленіями реформы, какія представляетъ наше время. Это совпаденіе въ самомъ дѣлѣ любопытно: высказанныя здѣсь понятія могли быть неполны въ то время у самыхъ этихъ людей, масса общества могла быть къ нимъ не приготовлена и т. д., но при всемъ томъ нельзя, однако, считать этого совпаденія случайнымъ. Дѣйствительно, ни одно изъ выставленныхъ здѣсь положеній не осталось незатронутымъ въ новѣйшихъ преобразованіяхъ; иное осуществлено вполнѣ; иное составляетъ до сихъ поръ предметъ, на который обращены заботы правительства. Если не подлежитъ сомнѣнію необходимость совершенныхъ нынѣ преобразованій и не имѣютъ смысла консервативныя воззрѣнія противъ нихъ, и если очевидно, что такія серьезныя измѣненія въ формахъ внутренней жизни бываютъ только результатомъ исторической потребности и сознанія, то должно допустить, что въ развитіи послѣдняго имѣли мѣсто и люди двадцатыхъ годовъ.

Заключительная глава сочиненія г. Богдановича посвящена разсказу о послѣднихъ мѣсяцахъ жизни императора Александра, о его путешествіи на югъ и его смерти.

Мы представили свои замѣчанія о трудѣ г. Богдановича, которыя, быть можетъ, укажутъ его достоинства и недостатки. Этого труда еще нельзя назвать критически-разработанной исторіей выбранной авторомъ эпохи. Изложеніе слишкомъ часто остается на поверхности событій, передаваемыхъ преимущественно съ офиціально-апологетической точки зрѣнія, которая высказывается иногда съ ущербомъ для строго исторической критики. Наименѣе удовлетворяющей частью сочиненія является, поэтому, изложеніе внутренней жизни, дѣйствительнаго состоянія народнаго быта, развитія умственнаго въ образованныхъ классахъ. Авторъ не дѣлаетъ изслѣдованій о цѣломъ историческомъ значеніи изображаемой имъ личности и времени, о томъ мѣстѣ, которое занимаетъ Александровская эпоха въ новѣйшей исторіи нашего отечества, — и какъ будто авторъ считаетъ даже такое изслѣдованіе излишнимъ. Историческіе вопросы, возбуждаемые различными явленіями этой эпохи и значеніе которыхъ распространяется до нашего собственнаго времени, эти вопросы

остаются, можно сказать, не болѣе разъясненными, чѣмъ это было до сихъ поръ.

Но если насъ не удовлетворяетъ историческій взглядъ автора и характеръ его изложенія, то съ другой стороны трудъ г. Богдановича представляетъ свои несомнѣнныя достоинства, которыя дѣлаютъ его цѣннымъ вкладомъ въ нашу историческую литературу. Авторъ приступалъ къ изложенію предмета, до тѣхъ поръ очень мало разработаннаго, и слѣдовательно долженъ былъ исполнить обширную предварительную работу собиранія и распредѣленія фактическаго матеріала, что само по себѣ составляетъ заслугу. Мы указывали выше, что авторъ положилъ много труда на собраніе источниковъ, особенно рукописныхъ; во многихъ частяхъ сочиненія онъ основывался исключительно на архивныхъ свѣдѣніяхъ и неизданныхъ запискахъ; многое, извлеченное имъ изъ этихъ источниковъ, до сихъ поръ было неизвѣстно; наконецъ, онъ съ большой пользой воспользовался свѣдѣніями, какія доставляла русская и иностранная литература по исторіи этого времени. Многочисленныя указанія, сдѣланныя авторомъ, послужатъ несомнѣнно съ пользой для будущихъ изслѣдователей временъ императора Александра. Если, увлекаясь героемъ своего повѣствованія, авторъ не всегда правильно располагалъ свѣтъ и тѣни своей картины, то съ своей точки зрѣнія онъ старался быть безпристрастнымъ, не умалчивая и о темныхъ сторонахъ эпохи: съ такимъ безпристрастіемъ говоритъ онъ о многихъ явленіяхъ того времени — о крайнемъ упадкѣ администраціи и судовъ; о чрезвычайномъ распространеніи лихоимства; о военныхъ поселеніяхъ; такъ онъ говоритъ о завоеваніи Финляндіи и др. Его разсказъ обнимаетъ всѣ главныя отрасли государственнаго управленія; съ изложеніемъ фактовъ авторъ соединяетъ отчетливо составляемыя краткія характеристики наиболѣе замѣчательныхъ лицъ, игравшихъ роль въ различныхъ отрасляхъ управленія или въ военныхъ событіяхъ. Изложеніе дипломатической и военной исторіи, занимающее большую часть цѣлаго сочиненія, исполнено вообще съ точностью. Военныя событія 1812—1814 годовъ изложены (болѣе кратко) на основаніи спеціальныхъ сочиненій того же автора, которыя въ свое время были оцѣнены публикою и отзывами Академіи.

Укажемъ, наконецъ, обширность многотомнаго труда, совмѣстившаго обильное количество разнообразныхъ свѣдѣній

требовавшаго продолжительныхъ изысканій и исполненнаго авторомъ съ любовью къ предмету.

Такимъ образомъ сочиненіе г. Богдановича: «Исторія царствованія императора Александра I и Россіи въ его время» должно признать полезнымъ пріобрѣтеніемъ для нашей исторической литературы, полагающимъ начало спеціальному изслѣдованію эпохи, которая (за исключеніемъ военныхъ событій) до сихъ поръ не имѣла описанія въ нашей литературѣ.

ШКОЛА ДВАДЦАТЫХЪ ГОДОВЪ.

(„Вѣстникъ Европы“ 1879, декабрь)

ШКОЛА ДВАДЦАТЫХЪ ГОДОВЪ.

Полное собраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго. Томъ I. 1810—1827 г. Томъ II. 1827—1851 г. Спб. 1878—1879.

«Полныя собранія сочиненій» бываютъ иногда особенно любопытны, какъ, напр., въ настоящемъ случаѣ. Князь П. А. Вяземскій, немного забытый въ послѣдніе годы, былъ въ прежнее время крупнымъ дѣятелемъ нашей литературы; его поприще, хотя всего болѣе чисто-дилеттантское, было такъ продолжительно, какъ чрезвычайно рѣдко бываетъ:—почти семьдесятъ лѣтъ участія въ литературѣ!—но какъ его трудамъ недоставало сосредоточенности, такъ и во внѣшнемъ отношеніи его сочиненія были до того разбросаны, отъ 1810 и до настоящаго года (въ послѣднихъ книжкахъ «Русскаго Архива» г. Бартенева, въ 1879 году, еще все печатаются Paralipomena кн. Вяземскаго),—что обозрѣніе ихъ стоило бы большого труда,—еслибъ не явилось «Полное собраніе». Между тѣмъ, кн. Вяземскій заслуживаетъ историческаго изученія. До прошлаго года въ нашей литературѣ еще дѣйствовалъ членъ того «Арзамаса», имя котораго кажется уже преданіемъ сѣдой древности,—дѣйствовалъ одинъ изъ младшихъ сверстниковъ Дмитріева, Озерова, Карамзина, Жуковскаго, старшій сверстникъ и другъ Пушкина, одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ первые годы «Телеграфа»; потомъ, это былъ одинъ изъ друзей Гоголя и одинъ изъ рѣзкихъ противниковъ новой литературно-критической школы Бѣлинскаго и всѣхъ его друзей и преемниковъ; наконецъ, это былъ одно время товарищъ министра народнаго просвѣщенія, въ этомъ качествѣ имѣвшій вліяніе на оффиціальное положеніе литературы, и оставившій здѣсь добрую память...

Литературная оцѣнка кн. Вяземскаго бывала весьма различная,—доходила до полной противоположности. «На моемъ дол-

томъ вѣку,—говоритъ онъ самъ въ автобіографическомъ введеніи (т. I, XLV),—всего было довольно. И я жилъ въ счастливой Аркадіи, и меня хвалили, и мнѣ кланялись журналы, и меня называли печатно остроумнѣйшимъ писателемъ. И мало ли еще какія бывали величанія. Меня и очень бранили. Все это дѣло житейское и бывалое... Отъ журнальныхъ похвалъ не раздувался я; отъ браней не худѣлъ. Позднѣе настала пора заговора молчанія. Критически печать меня заживо похоронила; не потрудилась даже выставитъ надгробную надпись»...

Дальше мы скажемъ объ этомъ «заговорѣ молчанія»; но дѣйствительно, какъ въ пору своей настоящей молодой дѣятельности кн. Вяземскій имѣлъ большое имя въ ряду сподвижниковъ Пушкина, репутацію «остроумнѣйшаго писателя»,—такъ позднѣе относилось къ нему весьма недружелюбно новое литературное поколѣніе, и относилось такъ не совсѣмъ безъ причины, потому что кн. Вяземскій, хотя рѣдко являлся тогда въ печати, встрѣтилъ это поколѣніе крайне враждебно,—и, въ дѣйствительности, совершенно напрасно. Князю Вяземскому, какъ увидимъ, казалось, что эта вражда къ нему была дѣломъ журнальнаго произвола, неуваженія къ старымъ преданіямъ и славнымъ именамъ литературы (которыя онъ хотѣлъ защищать), дѣломъ самонадѣянности, даже просто невѣжества новой литературной школы, возникшей въ тридцатыхъ годахъ, развившейся въ сороковыхъ, и дошедшей до крайности позднѣе;—но, въ дѣйствительности, споръ и вражда были вовсе не случайны. Это была встрѣча двухъ разныхъ историческихъ періодовъ, разныхъ ступеней литературнаго и общественнаго развитія,—и новая школа, встрѣтивъ отъ старой только укоры въ несоблюденіи привычныхъ послѣдней традицій и поклоненій, должна была по необходимости защищаться, и тѣмъ рѣзче, чѣмъ сильнѣе на нее нападали... Здѣсь, какъ во множествѣ другихъ случаевъ, и въ литературѣ, и во внутреннемъ политическомъ бытѣ общества, старое поколѣніе оставалось глухо къ новымъ требованіямъ жизни, и новое поколѣніе, лишенное опоры, какую въ другихъ европейскихъ обществахъ обыкновенно оно находитъ въ опытахъ старшаго поколѣнія и его разумныхъ сочувствіяхъ, было вынуждено защищаться отъ тѣхъ, въ комъ должно бы имѣть связь нравственно-историческаго родства и преемства...

Все это теперь—исторія, и мы можемъ относиться къ этому положенію кн. Вяземскаго въ литературѣ съ спокойной, если не

равнодушной точки зрѣнія. Современной критикѣ надо имѣть дѣло съ тѣми, кто и теперь хочетъ продолжать эту вражду; относительно же кн. Вяземскаго рѣчь можетъ идти только о томъ, чтобы выяснить историческое происхожденіе его литературныхъ идей, а не бороться съ нимъ.

Какъ замѣчено, мы уже такъ привыкли къ взаимному непониманію разныхъ поколѣній, что нимало не удивительно, если новая литература не пользовалась расположеніемъ кн. Вяземскаго. Но слѣдуетъ, однако, оговориться, что кн. Вяземскаго—при всѣхъ ошибкахъ, неблагополучныхъ по своему вліянію, въ какія онъ впадалъ въ этомъ отношеніи—никакъ, однако, нельзя причислить къ тѣмъ, старымъ и молодымъ, такъ-называемымъ «консерваторамъ», которые проповѣдуютъ въ литературѣ (или выполняютъ на дѣлѣ, сколько могутъ) принципы Салтыковскаго «Ѳединьки». Причислить кн. Вяземскаго къ такого рода «консерваторамъ» было бы несправедливостью и ошибкой. Не говоря о достоинствѣ характера, которое не позволило кн. Вяземскому быть въ этомъ лагерѣ, куда его, однако, зазывали,—его «консервативныя» понятія заключали въ себѣ много такого, что совсѣмъ невразумительно для нашихъ «охранителей» новѣйшаго издѣлія. Какъ ни далеко въ старину восходитъ воспитаніе кн. Вяземскаго—дѣйствительно, онъ росъ подъ свѣжими впечатлѣніями XVIII вѣка,—его нѣтъ возможности сравнивать съ позднѣйшими «консервативными» баши-бузуками. Онъ часто очень неправильно заключалъ объ историческомъ смыслѣ и происхожденіи новой русской литературы и общественности,—но у него сберeглось до конца представленіе о томъ, что умъ человѣческій имѣетъ свое право и достоинство, и съ другой стороны, что литература не есть отдѣленіе «участка» и представительница его образованія. Отъ первой поры своего развитія кн. Вяземскій зналъ права литературы, ея нравственное значеніе. Въ первомъ кругѣ молодого поколѣнія, въ который онъ вступилъ, бродили идеалистическія стремленія, которыя, въ первой половинѣ царствованія Александра I, приходили къ убѣжденію въ необходимости другого порядка вещей, когда и императоръ Александръ думалъ о выгодахъ для Россіи «законно-свободныхъ» учрежденій. Послѣ, когда самъ императоръ оставилъ эти мысли и пошелъ совсѣмъ инымъ путемъ, кн. Вяземскому, который не оставилъ ихъ такъ же скоро, пришлось поплатиться за довѣрчивость и идеализмъ; но и тогда онъ сохранилъ, хотя отвлеченное, представленіе о

томъ, что обществу, для нормальной его жизни, нуженъ извѣстный просторъ мысли и дѣятельности.

Въ свое время онъ былъ человѣкомъ либеральныхъ мнѣній, которыя и долго послѣ не получали у насъ права гражданства. Когда, въ послѣдніе либеральные дни временъ императора Александра I, ходили мысли объ освобожденіи крестьянъ, кн. Вяземскій былъ участникомъ въ запискѣ, поданной императору отъ имени графа Воронцова, князя Меньшикова и другихъ, гдѣ они просили о позволеніи приступить теоретически и практически къ разсмотрѣнію и рѣшенію этого государственнаго вопроса (т. II, стр. 88). Какъ извѣстно, записка не имѣла успѣха. Нѣсколько позднѣе (1823), въ статьѣ о сочиненіяхъ Дмитріева князь Вяземскій указывалъ, въ министерской дѣятельности Дмитріева, «замѣчательный по государственной важности указъ, въ силу коего запрещалось личнымъ дворянамъ пріобрѣтать крестьянъ и дворовыхъ людей: благомыслящіе люди,—прибавлялъ кн. Вяземскій,—съ признательностію и радостію увидѣли въ семъ благонамѣренномъ распоряженіи правительства отсѣченіе одной изъ отраслей бѣдственнаго злоупотребленія и надежду на совершенное искорененіе зла» (I, стр. 118).

Въ литературѣ, въ первую пору своей дѣятельности, кн. Вяземскій упорно воевалъ за новую школу, которая должна была пробивать себѣ дорогу въ умахъ. Онъ былъ ревностный партизанъ новаго свободнаго движенія литературы, и очень большая доля въ успѣхѣ «Телеграфа», въ то время лучшаго и самаго живого, журнала, принадлежала именно ему. То, что дѣйствительно было тогда лучшимъ достояніемъ русской литературы, находило въ немъ ревностнаго защитника: Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ, это были его святыни; Карамзина, къ которому въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ начали уже относиться критически, никто не отстаивалъ съ такимъ жаромъ, какъ именно кн. Вяземскій,—любопытно, что подъ его филиппику попался однажды самъ Погодинъ, который впослѣдствіи также дѣлалъ изъ авторитета Карамзина настоящую религію.

Такая одушевленная преданность заслуженнымъ дѣятелямъ литературы была прекрасной чертой въ писательскомъ характерѣ кн. Вяземскаго, и могъ быть серьёзный смыслъ въ его настояніяхъ на уваженіи къ литературному преданію, которое у насъ въ самомъ дѣлѣ забывается слишкомъ скоро. Но, какъ увидимъ, кн. Вяземскій не сохранилъ мѣры въ этомъ, собственно говоря,

очень похвальномъ дѣлѣ: преувеличеніе повело его самого къ ошибкамъ, которыя отразились потомъ на всей его дѣятельности.

Патріотизмъ кн. Вяземскаго—очень сильный, не былъ, однако, квасной. Уже въ позднѣйшіе годы (1847), говоря о народности въ литературѣ, онъ замѣчалъ: «люблю народность какъ чувство, но не признаю ее какъ систему. Ненавижу исключительность, не только безпрекословную и повелительную, но и условную и двусмысленную. Можетъ быть, эту ненавижу еще болѣе». Христіанская образованность породнила народы между собою и всѣхъ соединила взаимною любовью и пользою. «Мнѣ не входитъ ни въ голову, ни въ сердце, что можно положить себѣ за правило и обязанность предпочитать русскую Волгу нѣмецкому Рейну» (II, стр. 312). У кн. Вяземскаго не было поэтому той національной нетерпимости, какая считается у насъ обыкновенно обязательнымъ признакомъ патріотизма и доводится обыкновенно до послѣдней пошлости. Кн. Вяземскому пришлось нѣкоторое время пробыть на службѣ въ Варшавѣ: по его словамъ, которымъ можно вполнѣ повѣрить, онъ очень хорошо сошелся въ польскимъ обществомъ—чему, вѣроятно, помогли просто и его свѣтскія наклонности. Но кн. Вяземскій умѣлъ и серьезно взглянуть на наши польскія отношенія. Въ автобіографическомъ введеніи, писанномъ въ послѣднее время, онъ говоритъ по поводу своихъ тогдашнихъ отношеній въ польскомъ обществѣ: «Могутъ быть при разномысліи такіе жгучіе вопросы, до которыхъ дотрогиваться не должно, даже между пріятелями и братьями, равно благовоспитанными и вѣжливыми. Въ общей и хорошо сознаваемой образованности есть т а к ъ м н о г о т о ч е к ъ с б л и ж е н і я и с о ч у в с т в і й, что незачѣмъ отыскивать и выводить наружу точекъ пререканій и преткновеній. А между тѣмъ есть люди, вооруженные до-нельзя преувеличенными микроскопами, которые только дѣлаютъ, что изыскиваютъ мельчайшія несходства и противорѣчія личныя, общественныя и международныя, чтобы ставить между ими грани, столбы и предѣлъ, его же не прейдеши. Это обозначаетъ н е о б ы ч а й н у ю у з к о с т ь и н е п о д в и ж н о с т ь у м а» (II, стр. VIII).

Конечно, трудно бываетъ въ подобныхъ отношеніяхъ избѣжать точекъ пререканія, и если бы пошла рѣчь о полномъ примиреніи, онѣ неизбѣжно должны были бы выступить на сцену,—но несомнѣнно, что именно для ихъ уравненія необходимо то,

что указываетъ кн. Вяземскій:—нужно руководиться «общей и хорошо сознаваемой образованностью», нужно кромѣ предметовъ спора искать и точекъ сближенія и сочувствія, которыя дѣйствительно есть, и при желаніи или благоразуміи могутъ быть найдены... Замѣчательно то, что къ этимъ мыслямъ приходилъ писатель, котораго «благонамѣренность» не подлежитъ сомнѣнію, и о которомъ очень мудрено было бы сказать, что онъ былъ орудіемъ пресловутой «польской интриги».

Прибавимъ еще нѣсколько замѣчаній изъ чрезвычайно любопытной «Исповѣди» 1829 г., гдѣ кн. Вяземскій косвенно говорилъ съ самимъ правительствомъ. «Я былъ любимъ поляками,—говоритъ онъ,—въ числѣ немногихъ русскихъ, былъ принимаемъ въ ихъ дома на пріятельской ногѣ. Но ласки отличнѣйшихъ изъ нихъ покупалъ я не потворствомъ, не отриновеніемъ національной гордости. Напротивъ, въ запросахъ, гдѣ отдѣлялась русская польза отъ польской, я всегда крѣпко стоялъ за первую и вынесъ не одинъ жаркій споръ по предмету возстановленія старой Польши и отсѣченія отъ Россіи областей, запечатлѣнныхъ за нами кровью нашихъ отцовъ. Дѣло въ томъ, что живя въ Польшѣ, не ржавѣлъ я въ запоздалыхъ [1]) воспоминаніяхъ о полякахъ въ Кремлѣ и русскихъ въ Прагѣ (т. е. варшавской), а былъ посреди соплеменныхъ современниковъ съ умомъ и душою, открытыми къ впечатлѣніямъ настоящей эпохи. Должно еще признаться, что мои короткія сношенія съ поляками были тѣмъ болѣе на виду, что я былъ изъ числа весьма немногихъ русскихъ въ Варшавѣ, съ которыми образованные изъ поляковъ могли имѣть какое-нибудь сближеніе. Я всегда удивлялся равнодушію нашего правительства въ выборѣ людей на показъ передъ чужими. Безъ сомнѣнія, надежнѣйшая порука наша есть дубинка Петра Великаго, которая выглядываетъ изъ-за головъ представителей и посредниковъ нашихъ у европейской политики: могущество можетъ обойтись безъ дальнѣйшаго мудрствованія, но нравственное достоинство народа оскорбляется симъ отреченіемъ отъ народной гордости. Самая палица Алкида была принадлежностью полубога. Русская колонія въ Варшавѣ не была представительницею пословицы, что товаръ лицомъ продается. Въ числѣ русскихъ чиновниковъ мало было лицъ обольстительныхъ, и потому

---

[1]) Писано въ 1829 году.

польское общество не могло обрусѣть. Частныя лица не содѣйствовали мѣрамъ правительства, и общежитіе (т.-е. образованность и порядочность) не довершало дѣла, начатаго политикою»... (II, стр. 89—90). Въ приведенныхъ словахъ есть нѣкоторыя неточности, и, напр., имя Петра Великаго употреблено всуе, или по крайней мѣрѣ забыто, что дубинка Петра Великаго была и въ рукахъ Великаго,—но въ общей мысли опять чрезвычайно много вѣрнаго и—прошло пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ эти слова были сказаны, но они все еще должны казаться странными въ нашей общественности...

Впослѣдствіи кн. Вяземскій, въ оффиціальномъ положеніи, обыкновенно такъ сильно мѣняющемъ людей, не потерялъ своего интереса къ литературѣ, и время его управленія цензурой (въ пятидесятыхъ годахъ), въ качествѣ товарища министра народнаго просвѣщенія, памятно тѣмъ, что онъ, глава цензуры, отстаивалъ права литературы на общественную дѣятельность, а въ частности достигъ разрѣшенія изданій для славянофиловъ, которые тогда считались еще «опасной партіей»; нѣкоторымъ членамъ этой партіи даже просто запрещено было писать. «Общественные вопросы,—говоритъ кн. Вяземскій (въ пятидесятыхъ годахъ),—возбуждаютъ пытливость современной литературы и подвергаются ея изслѣдованіямъ. Литература наша, и особенно журналы, дѣятельно принялись въ послѣднее время за обличенія злоупотребленій, укоренившихся въ низшихъ слояхъ нашей администраціи. Отъ этихъ тысячи разсказовъ, тысячу разъ повторяемыхъ, общество наше ничего новаго не узнаетъ. Зло не въ томъ, что разсказывается, а въ томъ, что дѣлается. Каждый крестьянинъ, и не читая журналовъ, знаетъ лучше всякаго остроумнѣйшаго писателя, что за человѣкъ—становой приставъ. Нѣтъ сомнѣнія, что внутри Россіи журнальныя нескромности не имѣютъ никакого вреднаго дѣйстія и не производятъ соблазна. Но въ высшемъ обществѣ, и то въ ограниченномъ кругу тѣхъ, которые изрѣдка и случайно читаютъ по-русски, русская грамота, мало имъ знакомая, имѣетъ въ глазахъ ихъ особенную важность. Имъ какъ-то дико и страшно видѣть мысль, облеченную въ русскія буквы. Имъ кажется, что русская азбука совсѣмъ не на то составлена, чтобы служить проводникомъ и выраженіемъ русскаго ума... Никому не уступлю въ любви къ отечеству, но вмѣстѣ съ тѣмъ скажу, что не вижу ни малѣйшей опасности, угрожающей со стороны

литературы. Напротивъ, я думаю, что для общей пользы не должно усыплять ее».

Въ этомъ рядѣ мыслей для всякаго обыкновеннаго образованнаго человѣка нѣтъ, конечно, ничего ни новаго, ни очень рискованнаго, но онѣ дѣлаютъ особенную честь сказавшему ихъ, если принять во вниманіе, что онѣ сказаны въ оффиціальной запискѣ, въ извѣстныхъ условіяхъ, лицомъ, именно поставленнымъ надъ литературой, отъ котораго тогда ждалось, что онъ будетъ «усыплять» литературу.

И въ другихъ случаяхъ князь Вяземскій, человѣкъ умѣреннѣйшихъ мнѣній, воспитавшійся шестьдесятъ-семьдесять лѣтъ тому назадъ, никакъ не годился въ союзники новѣйшимъ охранителямъ,—онъ былъ далеко впереди ихъ. Напримѣръ, въ прозѣ и въ стихахъ онъ говорилъ: «Мы довольно склонны развертывать зонтики свои, когда идетъ дождь, напримѣръ, въ Парижѣ» (I, стр. XXI); или—

«Огонь ли дальный домъ затронетъ,
У нихъ ужъ дѣйствуетъ труба,
И, какъ во дни потопа, тонетъ
Ихъ неповинная изба»...

«Религіозная совѣсть имѣетъ свои тайны, которыя легко и необдуманно оцѣнивать и въ особенности порочить нельзя...»

«Вообще нельзя не замѣтить, что у насъ бываютъ охотники создавать предъ собою и предъ обществомъ чудовищныя страшилища, чтобы доставить себѣ удовольствіе ратовать противъ нихъ и протыкать ихъ своими спасительными перьями. Эта способность пугать и напугивать, бываетъ иногда очень забавна, но бываетъ часто и вредна. Въ такомъ настроеніи духа противорѣчія неизбѣжны. Высокомѣріе и малодушіе, трусливость и задорливость сталкиваются на каждомъ шагу. То ставятъ Россію такъ высоко, что она внѣ всѣхъ возможныхъ покушеній на нее, то уже такъ низко, что она, тщедушная, разлетится въ прахъ при малѣйшемъ враждебномъ дуновеніи. Мы уже не говоримъ, что врага шапками закидаемъ, но еще думаемъ, что можемъ Европу закидать словами» (I, стр. XXIII).

Комментаріевъ къ этимъ словамъ мы столько видимъ въ послѣдніе годы въ нашей литературѣ и въ нашей жизни, что нечего и приводить ихъ. Слова эти сказаны княземъ Вяземскимъ въ «Автобіографическомъ введеніи», писанномъ въ послѣдніе дни его жизни...

Остановимся на приведенныхъ образчикахъ. Они даютъ понятіе объ общемъ складѣ литературно-общественныхъ понятій князя Вяземскаго, которымъ нельзя не отдать сочувствія, — особенно если вспомнить, что подобные взгляды въ самую позднюю пору своей жизни высказывалъ писатель далекаго, стараго, поколѣнія. — И однако же князь Вяземскій уже давно вызывалъ противъ себя вражду, о которой мы упоминали. Откуда же она происходила?—Академическій біографъ князя Вяземскаго мимоходомъ отмѣчаетъ этотъ фактъ, но не объясняетъ его. Біографъ замѣчаетъ, что «князъ Вяземскій, зорко слѣдя за явленіями общественной жизни и литературы, отзывался на нихъ своимъ смѣлымъ и искреннимъ словомъ, и не боясь ни гнета, ни опалы, ни сверху, ни снизу, открыто высказывалъ свои убѣжденія и называлъ вещи ихъ настоящими именами». Но «обстоятельства рѣзко измѣнились... Князь Вяземскій поставленъ во главу цензурнаго вѣдомства и имѣлъ полную возможность, если бы только пожелалъ, вмѣсто оборонительной начать войну наступательную, устремлять свои громы на литературу»... Этого, какъ мы видѣли, не случилось. «Положеніе князя Вяземскаго въ литературѣ,— по словамъ того же біографа,—было на ту пору самое неутѣшительное; представители литературы показывали ему холодность весьма тяжелую и для его выносливой натуры; противъ него образовался тотъ заговоръ молчанія, о которомъ онъ упоминаетъ въ своей автобіографіи».

Замѣтивъ сначала, что не знаемъ, откуда взялся «заговоръ молчанія», о которомъ говоритъ князь Вяземскій и его біографъ: когда онъ происходилъ и кѣмъ былъ сдѣланъ? Намъ кажется, что князь Вяземскій просто преувеличивалъ. Молчаніе могло быть по разнымъ причинамъ, или потому, что не являлось особенно крупныхъ его произведеній, которыя заставляли бы о себѣ говорить,—и такихъ дѣйствительно тогда не было; или критика стѣснялась говорить о лицѣ съ высокимъ оффиціальнымъ положеніемъ, — стѣснялась или по невозможности говорить, или по деликатности, — это бывало и бываетъ сплошь и рядомъ. Предположеніе, что «заговоръ» произошелъ между раздраженными писателями оттого, что князь Вяземскій «открыто высказывалъ свои убѣжденія и называлъ вещи ихъ настоящими именами», едвали основательно: были и есть въ нашей литературѣ дѣятели которые гораздо больше раздражали и гораздо рѣзче высказывались противъ извѣстныхъ новыхъ направленій, и однако про-

тивъ нихъ не дѣлалось заговора молчанія, а напротивъ велась очень упорная полемика. Съ другой стороны, главная или единственная крупная работа князя Вяземскаго по исторической критикѣ: «Фонъ-Визинъ» — всегда поминалась съ большими одобреніями и сочувствіями. Самъ князь Вяземскій на первой же страницѣ автобіографическаго введенія упоминаетъ, что «даже литературные недоброжелатели его удивлялись, съ примѣсью нѣкотораго сожалѣнія, что его нѣтъ на книжномъ рынкѣ». Развѣ это — заговоръ молчанія?

Но «холодность», о которой говоритъ біографъ, дѣйствительно была, и имѣла свои основанія; но онѣ заключались не въ томъ, что князь Вяземскій открыто высказывалъ убѣжденія и называлъ вещи настоящими именами, — а развѣ въ томъ, что онъ не всегда оставался послѣдователенъ въ своихъ литературныхъ идеяхъ, и что имена, которыя онъ давалъ вещамъ, вовсе не были «настоящія».

Въ чемъ же заключается точка зрѣнія и литературная роль кн. Вяземскаго, — которая съ одной стороны даетъ столько взглядовъ, сочувственныхъ намъ до сей поры, а съ другой внушила къ нему «холодность», дѣлала его, по его собственнымъ словамъ, «одинокимъ» въ новѣйшей литературѣ? Дѣло просто въ томъ, что кн. Вяземскій, какъ онъ ни былъ остроуменъ и воспріимчивъ къ явленіямъ жизни, все таки невольно оставался человѣкомъ своего времени, т.-е. того, которое было самымъ свѣжимъ временемъ его дѣятельности. Онъ видѣлъ и пережилъ нѣсколько литературныхъ поколѣній, но навсегда остался человѣкомъ поколѣнія двадцатыхъ годовъ. Тѣ люди и тѣ преданія всегда были для него самыя близкія и сочувственныя. Образованіе, собственное размышленіе, кругъ, въ которомъ онъ умственно и нравственно жилъ, сообщили ему извѣстные теоретическіе взгляды на жизнь и литературу, — уваженіе къ просвѣщенію, сочувствія къ «законно-свободной» общественности, высокое понятіе о литературѣ, какъ просвѣщающей дѣятельности; образчики этихъ взглядовъ мы выше приводили, — но эти взгляды остались у него только въ той формѣ и на той степени развитія, какую имѣли въ его дружескомъ кружкѣ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, и не пошли дальше. Взгляды эти были въ сущности весьма отвлеченны. Дѣйствительность въ тѣ годы не давала имъ никогда возможности какого-нибудь живого примѣненія, такъ что они оставались по необходимости теоретическимъ идеаломъ, раздѣляе-

мымъ въ тѣсномъ дружескомъ кружкѣ, — который притомъ, какъ увидимъ, былъ довольно исключителенъ. Но умственная жизнь общества тѣмъ не менѣе, хотя туго, но двигалась впередъ. Очень естественно, что и въ содержаніи и въ формѣ новой литературы встрѣчалось кое-что не совсѣмъ похожее или совсѣмъ непохожее на прежнее содержаніе и форму. Кругъ, къ которому принадлежалъ князь Вяземскій и который считалъ себя (въ свое время справедливо) во главѣ литературы, увидѣлъ въ этомъ какъ-бы захватъ и нарушеніе своихъ правъ и дисциплины. Этого новыя направленія никакъ не хотѣли признать, и отсюда шла первая «холодность» и «вражда».

Присоединилось къ этому еще одно внѣшнее, но очень важное обстоятельство, которое, между прочимъ, однажды и было затронуто въ тогдашней литературѣ. Кругъ, къ которому князь Вяземскій принадлежалъ, былъ извѣстнымъ образомъ кругъ аристократическій. Когда въ прямыхъ и косвенныхъ столкновеніяхъ того времени, изъ другого лагеря сдѣлано было такого рода указаніе, князь Вяземскій возсталъ противъ этого опредѣленія своей партіи или своего круга, — но доказательства не были достаточны. Въ самомъ дѣлѣ, это былъ фактъ: кругъ князя Вяземскаго имѣлъ свое начало въ знаменитомъ «Арзамасѣ»; здѣсь были и дѣйствительные писатели, а больше дилеттанты изъ высшаго круга; главнымъ или единственнымъ дѣломъ «Арзамаса» была литература — какъ забава; кружокъ былъ исключительный и многіе его члены пріобрѣли потомъ, и довольно скоро, болѣе или менѣе высокое общественное, или вѣрнѣе, служебное положеніе министровъ, статсъ-секретарей, посланниковъ и т. п. Кружокъ считалъ себя законодателемъ въ литературѣ; а личный характеръ писателей, въ «Арзамасѣ» участвовавшихъ, и личные взгляды упомянутыхъ дилеттантовъ, въ сущности очень далекихъ отъ литературы на практикѣ, дѣлали то, что литературныя идеи Арзамаса, хотя свидѣтельствовали о любви къ просвѣщенію, но остановились на весьма отвлеченномъ ихъ представленіи. Между тѣмъ, въ особенности съ тридцатыхъ годовъ, складъ нашей литературы значительно измѣняется: дѣйствующими лицами, вскорѣ овладѣвающими журнальной ареной, являются люди другого, не французско-аристократическаго образованія, совсѣмъ иного общественнаго слоя и положенія. Литература замѣтно демократизуется или, другими словами, распространяется на большую массу общества и изъ нея беретъ свои силы. Къ «Арзамасу» можно еще

вполнѣ примѣнить замѣчаніе г-жи Сталь, что «въ Россіи нѣсколько дворянъ (gentilshommes) воздѣлываютъ литературу»; въ тридцатыхъ годахъ замѣчаніе переставало быть вѣрнымъ, потому что на сцену выступаютъ далеко не одни «жантильомы», и литературная критика, не ограничиваясь чисто-эстетическими вопросами, стремится связать съ ними вопросы общественнаго характера: за Полевымъ слѣдуетъ Надеждинъ, потомъ Бѣлинскій и его кругъ. Въ области литературы художественной, Пушкинъ, какъ великій поэтъ, продолжалъ сильно дѣйствовать на послѣдующія поколѣнія, указывая предметъ поэзіи въ жизни національной; а Гоголь, который, по мнѣнію стараго арзамасскаго круга, стоялъ на одной съ нимъ почвѣ, въ дѣйствительности открывалъ въ области поэтической горизонты, до тѣхъ поръ неизвѣстные. Школа Гоголя дѣйствуетъ и по настоящее время; глубокій внутренній смыслъ произведеній его былъ таковъ, что «школа» его въ состояніи была идти рядомъ съ расширеніемъ чисто-общественныхъ интересовъ, и ея кліенты могли непосредственно служить имъ. Все это новое броженіе осталось непонятно для арзамасскаго кружка, представителемъ котораго былъ и князь Вяземскій. Имъ не понятны были ни рѣзкіе запросы новой критики, открывшей въ тридцатыхъ годахъ, что у насъ даже нѣтъ литературы; ни совмѣщеніе съ художествомъ интересовъ реальной общественности. Одно казалось почти безуміемъ, такъ какъ у насъ былъ не только Пушкинъ, Жуковскій, но Карамзинъ, Дмитріевъ, Озеровъ, Державинъ, Ломоносовъ; второе казалось своевольнымъ «либерализмомъ». Когда новыя поколѣнія восхищались Гоголемъ и видѣли въ немъ блестящее подтвержденіе своихъ идей, писатели того круга видѣли въ этомъ подлогъ, противозаконное присвоеніе и эксплуатацію знаменитаго сатирика, котораго они считали своимъ. Мало-помалу выросла положительная антипатія двухъ поколѣній и школъ, не разумѣвшихъ другъ друга. Писатели стараго арзамасскаго круга не хотѣли видѣть въ новыхъ фактахъ естественнаго развитія изъ фактовъ прежнихъ, не могли допустить, что новая литература есть продолженіе ихъ собственнаго труда. Кончалось тѣмъ, что они впадали въ противорѣчіе съ самими собой: они желали въ теоріи свободнаго развитія литературы, а на практикѣ осуждали, иногда съ великимъ негодованіемъ, являвшіеся признаки этого развитія; они знали необходимую связь литературы съ жизнью общества, но возставали противъ совершавшихся въ литературѣ проявленій

этой жизни; они жаловались прежде на ограниченность движенія въ нашей литературѣ, и пугались, когда движеніе стало оказываться. Поэтому, мы вовсе не думаемъ, чтобы, напримѣръ, князь Вяземскій въ подобныхъ случаяхъ называлъ вещи «настоящими» именами; нѣтъ, настоящихъ именъ онъ или не зналъ, или опасался назвать. Его остроуміе указывало ему иногда слабыя стороны противниковъ, но всегда это были только вещи частныя и внѣшнія; въ самой сущности дѣла, истина была не совсѣмъ на его сторонѣ. Такимъ образомъ, оказывались вопіющія противорѣчія: теоретическія идеи и благія намѣренія говорили одно, а гдѣ нужно было бы только примѣнить ихъ, оказывалось другое. Нужна была смѣлость и послѣдовательность мысли, чтобы спокойно и вѣрно понять движеніе исторической жизни,—но этого не случилось. И такъ было не съ однимъ княземъ Вяземскимъ: въ тѣ же противорѣчія впадалъ въ свое время и Карамзинъ, и Жуковскій, и самъ Пушкинъ, позднѣе, напр., Ѳ. Тютчевъ и т. д. Въ мнѣніяхъ князя Вяземскаго, къ которымъ теперь обратимся ближе, мы увидимъ, такимъ образомъ, отраженіе взглядовъ цѣлаго круга и поколѣнія.

Когда начато было настоящее изданіе, кн. Вяземскій написалъ къ нему автобіографическое введеніе и къ нѣкоторымъ старымъ статьямъ сдѣлалъ приписки. Изъ всѣхъ его воспоминаній о старинѣ ясно, конечно, что этой старинѣ принадлежатъ его сильнѣйшія привязанности; но твердо сохраняя привязанности, онъ хотѣлъ оставаться совершенно безпристрастнымъ къ самому себѣ. По поводу изданія онъ замѣчалъ, что это было «уже не въ чужомъ, а въ собственномъ пиру похмѣлье»: поздняя старость, говоритъ онъ, имѣетъ право говорить о себѣ въ третьемъ лицѣ, какъ о «постороннемъ»—и въ самомъ дѣлѣ, не въ сторонѣ ли я отъ самого себя послѣ всего такъ долго пережитаго мною?». Но онъ и не отказывается отъ написаннаго и сдѣланнаго. Литературная жизнь писателя есть также своего рода жизнь человѣка. «Еже писахъ, писахъ»: что прожилъ, то прожилъ. Выходи на этотъ судъ, каковъ ты ни есть. Судья, то-есть читатель и критикъ, присудятъ сами, что должно тутъ пойти на правую сторону, что ошую; я же тутъ при рѣшеніи суда и приговорѣ остаюсь ни причемъ. Впрочемъ, меня будутъ судить заднимъ числомъ, по большей части не меня настоящаго, а меня нѣкогда бывшаго...» (т. I, стр. I, XXXIII, LVI).

По поводу одного своего полемическаго сочиненія, письма къ гр. Уварову, оставшагося въ рукописи и теперь только откровенно напечатаннаго, кн. Вяземскій замѣчаетъ:

«Полемическія статьи имѣютъ сходство съ любовными письмами, которыя мы писали въ молодости; имѣютъ онѣ и ту же участь. И тѣ и другія пишутся сгоряча, подъ давленіемъ необоримаго чувства, точно вслѣдствіе роковой и неизбѣжной необходимости. Когда позднѣе случится самому прочесть ихъ, то иногда дивишься увлеченію своему, или своей заносчивости; иногда смѣешься надъ ними и, слѣдовательно, надъ собою; чаще всего, перечитывая ихъ, испытываешь въ себѣ чувство неловкости: хотѣлъ бы иное исправить, другое выключить, но поздно: написанное написано, не вырубишь его топоромъ не только на бумагѣ, но также и изъ своей жизни, а впрочемъ и хорошо, что не вырубишь. Это даетъ силу и власть слову. Теперь замерла животрепещущая нота, которая свѣжо и сильно звучала въ этой свободной рѣчи; но эта рѣчь была въ свое время искренняя и правдивая. Слѣдовательно и нынѣ сохраняетъ она правду свою, хотя уже и относительную.

«То же сбывается и со мною. Нынѣ перечитывая хладнокровно и такъ-сказать заднимъ умомъ, мою обвинительную рѣчь [1]), я, разумѣется, не вполнѣ доволенъ ею. Но не хочу также заднимъ числомъ примѣнять ее къ теперешнимъ понятіямъ моимъ. Не хочу ни передѣлывать себя, ни переодѣвать себя по новому покрою. Это было бы болѣе или менѣе ложь. Остаюсь въ томъ видѣ, въ какомъ я вылилъ себя...» (II, стр. 213).

Статья, о которой идетъ рѣчь, именно изъ тѣхъ, какія способны были внушать «холодность»; кн. Вяземскій чувствовалъ это, прибавляя къ ней объяснительную приписку; но тѣмъ больше напечатаніе ея теперь можетъ сдѣлать честь его высокой правдивости.

Справедливо, что человѣкъ, даже и не такъ много прожившій, какъ кн. Вяземскій, можетъ въ своемъ прошедшемъ увидѣть себя какъ третье лицо, какъ «посторонняго»: но въ томъ и дѣло, что въ исторіи дѣянія этихъ лицъ—настоящаго и «посторонняго» — составляютъ одинъ и тотъ же фактъ, создаютъ одну репутацію и вызываютъ одно заключеніе. На кого же пе-

[1]) Мы скажемъ о ней дальше; замѣтимъ здѣсь только, что это была рѣчь къ министру народнаго просвѣщенія противъ Устрялова, обвиненнаго кн. Вяземскимъ за неуваженіе къ Карамзину.

нять, если въ результатѣ бываетъ иногда «холодность», «вражда», «заговоръ молчанія?»

Князь Вяземскій, какъ мы сказали, является въ литературныхъ взглядахъ однимъ изъ представителей своего круга: были у него, разумѣется, личныя особенности въ складѣ характера, таланта, но по своему образованію, по своимъ вкусамъ онъ былъ именно человѣкомъ своего времени. Онъ былъ въ значительной степени «gentilhomme, воздѣлывавшій литературу», остроумный писатель. Въ самой настоящей книгѣ, въ новыхъ припискахъ къ старымъ сочиненіямъ, кн. Вяземскій хотя и заявляетъ однажды (объясняя, что изданіе его сочиненій имѣетъ нѣкоторое законное основаніе, sa raison d'être): «я все-таки, хорошо или худо, былъ человѣкомъ литературнымъ, ничего изъ человѣчески-литературнаго не было мнѣ чуждо»; но гораздо чаще напоминаетъ самъ о томъ, что литература была для него больше зазывомъ, чѣмъ призваніемъ, что «чернилами допьяна онъ никогда не упивался», что ему было «не до того», что и настоящее собраніе сочиненій дѣлается не по его почину.

Не желая вовсе злоупотреблять собственными словами автора, мы, однако, можемъ воспользоваться нѣкоторыми собственными замѣчаніями кн. Вяземскаго о свойствахъ его ума, которыя дѣйствительно отразились на его литературной дѣятельности.

Въ «Автобіографическомъ введеніи» кн. Вяземскій говоритъ:

«Вообще въ дѣтствѣ моемъ учился я лѣниво и разсѣянно. Во мнѣ не было никакого прилежанія и послѣ мало было усидчивости. Въ умѣ моемъ нѣтъ свойства устойчивости... Отца огорчала моя разсѣянность или «развлекательность»: она была еще сильнѣе лѣни моей. Впрочемъ, это была, можетъ быть, одна внѣшняя лѣнь, которая закрывала мою внутреннюю дѣятельность. Отецъ упрекалъ меня, что когда я возьму книгу въ руки, то начну читать ее безъ разбора, то съ середины, то съ конца, и поэтому безъ толка и безъ пользы. Замѣчаніе его должно быть справедливо, потому что и позднѣе я читалъ болѣе урывками. Въ жизни моей я очень многое прочелъ, но мало дочиталъ. И нынѣ у меня нерѣдко двѣ-три книги перебиваютъ одна другую. Вообще, я довольно смѣтливъ: изъ нѣсколькихъ страницъ постигаю сущность книги, и часто отрываюсь отъ пищи не дождавшись насыщенія. Такъ можно обращаться съ романами, особенно съ нашими, и вообще съ книгами легкаго содержанія. Съ другими книгами подобное обращеніе невы-

годно. Но я всегда предпочитаю занятіе труду. Это также— погрѣшность и недостатокъ...» (стр. VII—IX).

Князь Вяземскій полагаетъ, что вѣроятно еще въ дѣтствѣ стали обнаруживаться у него качества, указывавшія «наблюдательность и развитіе (позднѣйшихъ) способностей его въ упражненіяхъ литературнаго сыщика и общежитейскаго сплетника»; что онъ «былъ вообще неуступчивъ и парадоксаленъ» (стр. X).

Собирая свои воспоминанія, князь Ваземскій отказывается давать имъ какой-нибудь хронологическій порядокъ. «Выбрасываю изъ мѣшка, что попадется,—говоритъ онъ шутя. Подбираю воспоминанія свои болѣе по мастямъ. Если будетъ у меня біографъ, пусть онъ потрудится сводить и группировать года мои, какъ слѣдуетъ. А работать на него и за него не намѣренъ». Это очень понятно; но князь Вяземскій и на этотъ разъ указываетъ характеръ своего ума: «Иной умъ плотно переплетенъ въ одну книгу: страницы въ строгомъ порядкѣ слѣдуютъ одна за другою. Другіе умы худо переплетены, сшиты на живую нитку, страницы перемѣшаны. Мой умъ состоитъ изъ летучихъ листковъ» (стр. XIV).

«Въ стихахъ и въ прозѣ, — говоритъ онъ далѣе, — у меня много неровностей, и нельзя имъ не быть. Я никогда не писалъ прилежно, постоянно; никогда не изучалъ я систематически языка нашего. Какъ пѣвцы самоучки, писалъ я болѣе по слуху. Писалъ я болѣе урывками подъ вдохновеніемъ или подъ осязаніемъ мысли и чувства. Писалъ я, когда что-нибудь внутреннее или внѣшнее за-живо задирало меня, когда мнѣ именно хотѣлось сказать или высказать что-нибудь, такъ или сякъ, все равно. Натура моя довольно живучая и произрастительная, но не трудолюбивая; напротивъ трудъ пугаетъ ее, она сжимается подъ давленіемъ его. А что ни говори, трудъ есть родникъ, двигатель всякаго положительнаго успѣха и возможнаго усовершенствованія... У меня литература была всегда животрепещущею склонностью, болѣе зазывомъ, нежели призваніемъ. Если и было то призваніе, то я охотно сознаюсь, что я не выдержалъ, не вполнѣ оправдалъ его. Никогда, или такъ рѣдко, что не стоитъ упоминать того, не велъ я жизни литературной, какъ вели ее, напримѣръ, Жуковскій, Пушкинъ. О Карамзинѣ уже не говорю: онъ былъ воплощенный трудъ, воплощенное терпѣніе... Къ тому же, нечего таить, какая-то врожденная

безпечность, просто лѣнь, никогда не допускали пера быть постоянною принадлежностью руки моей...» (стр. XXXIII—XXXIV).

Два-три эпизода изъ старыхъ сочиненій князя Вяземскаго, вошедшихъ въ первые два тома, и изъ новыхъ комментаріевъ къ нимъ, дадутъ понятіе о томъ, въ какомъ направленіи складывались издавна литературные взгляды и пріемы кн. Вяземскаго. Однимъ изъ первыхъ, если не первымъ поводомъ къ большому возбужденію его, былъ споръ объ «Исторіи» Карамзина. Князь Вяземскій былъ Карамзину близкимъ родственникомъ и величайшимъ почитателемъ его какъ писателя. Какъ извѣстно, «Исторія» при своемъ появленіи уже вызывала критическіе отзывы, гдѣ иногда проглядывало неблагопріятное, почти раздражительное отношеніе къ автору,—очень можетъ быть, что оно вызывалось и цензурной невозможностью говорить въ печати о нѣкоторыхъ сторонахъ книги. Князь Вяземскій негодовалъ на критиковъ Карамзина (въ томъ числѣ на Погодина), обвиняя ихъ въ неприличіи, въ неуваженіи къ произведенію національному; на критики онъ отвѣчалъ эпиграммами, которыя растолковывалъ частными письмами. Быть можетъ, обѣ стороны преувеличивали, но до сихъ поръ князь Вяземскій былъ совершенно правъ, потому что употреблялъ оружіе легальное. Это было въ концѣ двадцатыхъ годовъ.

Но онъ былъ совершенно неправъ въ другомъ случаѣ,— именно, когда возвратился къ тому же предмету въ 1836 г., въ письмѣ къ министру народнаго просвѣщенія, графу Уварову. Авторъ не помнитъ, достигло ли это письмо своего назначенія; онъ печатаетъ его по черновой, которая имѣетъ нѣсколько поправокъ Пушкина. Авторъ замѣчаетъ, что «Пушкинъ въ то время не только что раздѣлялъ мысли, выраженныя въ письмѣ, но настоятельно поощрялъ къ скорѣйшему изложенію ихъ на бумагѣ и обращенію въ ходъ» (II, стр. 212).

Въ чемъ же состоятъ мысли письма къ графу Уварову,— письма одного арзамасца къ другому арзамасцу? Онѣ состоятъ въ призывѣ цензурной строгости противъ людей, которые осмѣливались отзываться объ исторіи Карамзина, какъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ устарѣвшей. «Одна и есть у насъ книга, въ которой начала православія, самодержавія и народности облечены въ положительную дѣйствительность, освященную силою историческихъ преданій и силою высокаго таланта... Твореніе Карамзина есть единственная у насъ книга истинно государ-

ственная, народная и монархическая... А между тѣмъ, книга сія, которая естественно осуществляетъ въ себѣ тройственное начало, принятое девизомъ вашего министерства, служитъ по неизъяснимому противорѣчію, постоянною цѣлію обвиненій и ругательствъ (?), устремленныхъ на нее съ ученыхъ каѳедръ и изъ журналовъ, пропускаемыхъ цензурою... Нельзя при этомъ не пожалѣть о худомъ выборѣ цензоровъ, которые съ одной стороны раздражаютъ писателей придирчивыми стѣсненіями и часто нелѣпостью своихъ толкованій, а съ другой наносятъ общей пользѣ вредъ непростительною оплошностью... Ошибочный наборъ людей есть также родъ противорѣчія правительства съ самимъ съ собою, который никогда не остается безъ пагубныхъ послѣдствій. Дѣйствія нашей цензуры въ отношеніи къ критикамъ на Исторію Государства Россійскаго служитъ тому лучшимъ доказательствомъ...».

Мы упоминали сейчасъ, что однимъ изъ провинившихся противъ «Исторіи» и навлекшихъ на себя гнѣвъ князя Вяземскаго, былъ—по удивительной игрѣ случая—Погодинъ; на этотъ разъ громы падали на—Устрялова. Извѣстная литературная роль этихъ двухъ ученыхъ достаточно показываетъ, что проницательность на этотъ разъ измѣняла князю Вяземскому.

Хотя самъ кн. Вяземскій говоритъ, что диспутъ Устрялова въ университетѣ былъ «посмѣшищемъ», такъ что, очевидно, вольнодумство относительно Карамзина никакъ не грозило «пагубными послѣдствіями»,—тѣмъ не менѣе Устряловъ казался опасенъ князю Вяземскому. Въ подтвержденіе своихъ опасеній онъ указываетъ рядъ давнихъ нападеній на Карамзина. Началось дѣло слѣдующимъ. «Часть молодежи нашей, увлеченная вольнодумствомъ, политическимъ суемудріемъ современнымъ и легкомысліемъ, свойственнымъ возрасту своему, замышляла въ то время несбыточное преобразованіе Россіи. Съ чутьемъ вѣрнымъ и проницательнымъ, она тотчасъ оцѣнила важность книги, которая была событіе, и событіе, совершенно противодѣйствующее замысламъ ея. Книга Карамзина есть непреложное и сильное свидѣтельство въ пользу Россіи, каковою содѣлало ее Провидѣніе, столѣтія, люди, событія и система правленія; а они хотѣли на развалинахъ сей Россіи воздвигнуть новую по образу и по подобію своихъ мечтаній. Медлить было нечего. Колкіе отзывы, эпиграммы, критическія замѣчанія, предосудительныя заключенія посыпались на книгу и автора изъ среды потаен-

наго судилища (?)... Обвиненія въ смыслѣ судей были основательны и раціональны. Имъ не хотѣлось самодержавія; какъ же было имъ не подкапываться подъ твореніе писателя, который чистымъ убѣжденіемъ совѣсти, глубокимъ соображеніемъ отечественныхъ событій и могуществомъ краснорѣчія доказывалъ, что мудрое самодержавіе спасло, укрѣпило и возвысило Россію». Князь Вяземскій напоминаетъ еще, что Карамзинъ писалъ тогда исторію не совершенно въ духѣ императора, и проповѣдывалъ самодержавіе, когда само правительство въ извѣстной рѣчи при открытіи польскаго сейма (1818) отрекалось, такъ сказать, отъ своихъ принциповъ.

Далѣе кн. Вяземскій напоминаетъ гр. Уварову о 14-мъ декабря (такъ что Пушкинъ сдѣлалъ противъ этого мѣста письма замѣтку: «не лишнее ли?»), пересчитываетъ другихъ противниковъ Карамзина, и во-первыхъ Лелевеля. «Въ русскомъ журналѣ явился польскій писатель Лелевель. Подъ формами (?) безпристрастія, вѣжливости и учености, началъ онъ наносить удары книгѣ Карамзина. Мнѣнія и духъ писателя сего, раскрывшіяся п о с л ѣ, во дни польскаго мятежа, позволяютъ намъ заключить, безъ обиды чести его, что вѣроятно не любовь къ Россіи и къ пользѣ просвѣщенія н а ш е г о побудила его подвизаться на поприщѣ критика» (но польза просвѣщенія н а ш е г о кажется должна быть н а ш и м ъ, а не чужимъ дѣломъ?). Затѣмъ, указана вниманію гр. Уварова дѣятельность журналовъ «Телеграфъ» и «Телескопъ». Кн. Вяземскій замѣчаетъ потомъ, что онъ «не зараженъ болѣзнью мнительности политической», и въ видѣ презрительнаго снисхожденія говорить, что изъ 20-ти примѣровъ отрицанія Карамзина отдаетъ только одну долю на неблагонамѣренность, и 19-ть на «безразсудность и упоеніе самолюбія». Тѣмъ не менѣе—«изъ несообразностей частныхъ, положимъ совершенно невинныхъ въ побужденіи своемъ, можетъ впослѣдствіи произойти общій вредъ: на случай этой возможности правительство именно и облечено с и л о ю и средствами для заблаговременнаго противодѣйствія злу» (II, стр. 219). Далѣе, кн. Вяземскій напоминаетъ о Чаадаевѣ, съ которымъ произошла именно въ это время извѣстная исторія: «Историческій скептицизмъ, терпимый и даже поощряемый министерствомъ просвѣщенія, неминуемо довелъ до появленія въ печати извѣстнаго письма Чаадаева... Оно—естественный и созрѣвшій результатъ направленія, которое дано исторической нашей критикѣ.

Допущенное безвѣріе къ писанному (?) довело до безвѣрія къ дѣйствительному...». Конецъ письма посвященъ изобличенію Устрялова.

Смыслъ письма заключается въ томъ, что кн. Вяземскій призывалъ силу противъ литературы,—той литературы, о бѣдности, зачаточности которой самъ онъ множество разъ говорилъ, и давить которую еще больше—не долженъ бы былъ желать «мыслитель», какимъ характеризуетъ князя Вяземскаго академическій біографъ.

Письмо кн. Вяземскаго—все равно, дошло ли оно до своего назначенія, или нѣтъ—даетъ намъ одно изъ яркихъ объясненій литературныхъ взглядовъ его и его круга, и указываетъ, гдѣ была глубокая причина «холодности», на которую онъ потомъ жаловался. Письмо было безъ сомнѣнія большой ошибкой,—стало ли оно дѣйствіемъ, или оставалось только мнѣніемъ. Не будемъ говорить о томъ, отвѣчало ли достоинству писателя—обращаться къ власти съ призывомъ силы въ защиту своихъ вкусовъ отъ вкусовъ другихъ: вопросъ былъ обычный литературный, и дѣйствовать въ немъ было обязательно и прилично только литературными средствами, а не тѣми, которыя находятся въ распоряженіи власти. Но въ изложеніи кн. Вяземскаго были и другія ошибки.

Какія были идеи той «молодежи, увлеченной вольнодумствомъ, политическимъ суемудріемъ», когда она высказалась противъ Карамзина? кто писалъ критическія замѣчанія и эпиграммы? Дѣйствіе происходитъ въ 1818 году, или около этого. «Молодежью» былъ тотъ кружокъ, изъ котораго позднѣе только вышли члены Союза благоденствія и гдѣ было немало образованнѣйшихъ и благороднѣйшихъ людей тогдашняго молодого поколѣнія. Въ то время, о которомъ говорится, эта молодежь не думала о государственныхъ переворотахъ, но имѣла ту самую наклонность къ «законно-свободнымъ» учрежденіямъ, какую имѣлъ тогда и самъ авторъ письма къ гр. Уварову (и для которой самъ онъ - для себя — находилъ много объясненій и оправданій въ «Исповѣди» 1829 г.) — кн. Вяземскій упоминаетъ, что правительство въ тѣ годы само питало эту наклонность. «Критическія замѣчанія» противъ «Исторіи» изъ той поры и изъ этого круга извѣстны только однѣ: это — статья Никиты Муравьева, которая тогда не могла быть напечатана и оставалась извѣстна лишь въ дружескомъ кругѣ; статья могла быть

ошибочна (тогда это нужно было доказать), но не была злонамѣренна, ни легкомысленна. Самыя извѣстныя и самыя колкія «эпиграммы» на «Исторію» писалъ — Пушкинъ, поправлявшій письмо кн. Вяземскаго къ гр. Уварову. Что польскій писатель явился въ русскомъ журналѣ, это фактъ, появленіе котораго было пріятно по собственному взгляду кн. Вяземскаго на русско-польскія отношенія; что въ статьѣ польскаго писателя было «безпристрастіе, вѣжливостъ и ученость»—неужели это преступленіе? и такъ далѣе.

Бросается въ глаза странное противорѣчіе всего этого съ тѣми общими, очень справедливыми и сочувственными мыслями, какія тотъ же писатель высказывалъ раньше и позднѣе.—Выше замѣтили мы, что напечатаніе теперь письма къ гр. Уварову можно считать фактомъ безпристрастія автора къ самому себѣ; но прибавимъ, что въ припискѣ къ этому документу авторъ все-таки, кажется, не видѣлъ его неблагополучнаго характера: «Сущность дѣла,—говоритъ онъ,—на которую указывается въ предлагаемомъ здѣсь письмѣ, можетъ быть и не совершенно устарѣла. Болѣе или менѣе вѣрныя и справедливыя, заключающіяся въ немъ нареканія на тогдашнюю печать могутъ, если не ошибаемся, быть отчасти примѣняемы и къ новѣйшей печати». Но вѣдь нареканія-то совсѣмъ особенныя: развѣ и теперь нужно употребить силу?...

Намъ вспоминаются при этомъ собственныя слова кн. Вяземскаго. «Писатель,—говорилъ онъ,—который, по званію своему, обязанъ быть проповѣдникомъ просвѣщенія, а вмѣсто того бываетъ доносчикомъ на него, подобенъ сатиру, который дуетъ и тепломъ и холодомъ, или еще болѣе врачу, который призванъ будучи къ больному, пугаетъ его невѣрностію своей науки и раскрываетъ передъ нимъ гибельныя ошибки врачеванія. Пусть каждый остается въ духѣ своего званія. Довольно и безъ писателей найдется людей, которые готовы остерегать отъ властолюбивыхъ посяганій разума и даже клеветать на него при удобномъ случаѣ». Подобный примѣръ забвенія писателемъ своего званія кн. Вяземскій указываетъ, въ другомъ мѣстѣ, на Крыловѣ по поводу сомнительной или прямо дурной морали его басенъ: «Сочинитель и Разбойникъ», «Огородникъ и Философъ».—«Признаюсь,—говорилъ кн. Вяземскій въ припискѣ 1876 г. къ статьѣ о сочиненіяхъ Дмитріева,—по моимъ понятіямъ какъ-то неловко и неблаговидно сочинителю, то-есть поэту, выводить рядомъ

на очную ставку разбойника и сочинителя, и еще съ тѣмъ, чтобы отдать преимущество разбойнику предъ сочинителемъ. Найдутся и безъ поэта люди, которые охотно выведутъ такое заключеніе и подпишутъ подобный приговоръ. Намъ, людямъ пера, не подобаетъ мирволить и потакать такимъ безпощаднымъ осужденіямъ» (I, стр. 161).

Мы упомянули сейчасъ и другой эпизодъ изъ сочиненій самого кн. Вяземскаго, опровергающій его разсужденія въ письмѣ къ гр. Уварову; это—его «Исповѣдь» 1829 г. Кн. Вяземскому приходилось тогда защищать самого себя отъ обвиненій такого же рода,—идущихъ неизвѣстно откуда, говорящихъ неизвѣстно что, но чтó-то неблагополучное. Его самозащита (т. II, 85—111) очень любопытна для характеристики русскихъ нравовъ и отношеній.

Что касается до существа дѣла, т.-е. основной мысли и тенденціи «Исторіи Государства Россійскаго»,—что сказалъ бы кн. Вяземскій, если бы увидѣлъ, что взглядъ «молодежи» двадцатыхъ годовъ, который онъ отвергъ съ такимъ презрительнымъ негодованіемъ, возвращается въ трудахъ ученыхъ, которыхъ нѣтъ уже никакой возможности обвинить ни въ легкомысліи юности, ни въ политическомъ суемудріи—но возвращается съ той разницей, что въ тѣ годы этотъ взглядъ являлся больше какъ инстинктъ, какъ умная догадка, которая будучи въ сущности справедлива, не была, однако, достаточно доказана по тогдашнему положенію историческаго знанія; между тѣмъ теперь этотъ взглядъ обставленъ историческими данными и соображеніями, не оставляющими сомнѣнія въ его справедливости. Мы разумѣемъ взглядъ г. Забѣлина, изложенный имъ недавно во 2-мъ томѣ его «Исторіи русской жизни» [1]: то, что по кн. Вяземскому было н а р о д н ы м ъ взглядомъ Карамзина, по г. Забѣлину выходитъ нѣмецко-феодальнымъ и книжно-крѣпостническимъ, а исторически вовсе невѣрнымъ...

Въ другой разъ, когда кн. Вяземскій опять возсталъ противъ тогдашней литературы, поводомъ къ тому послужило сдѣланное тогда замѣчаніе, что у насъ есть своя «литературная аристократія»: такъ опредѣляли именно тотъ кругъ, къ которому принадлежалъ кн. Вяземскій (въ то время онъ уже разошелся съ

[1]) Объ этомъ была рѣчь въ «Вѣстникѣ Европы»: [1879] ноябрь, стр. 293—294 [въ анонимной рецензіи А. Н. Пыпина на книгу И. Е. Забѣлина].—*Ред.*

«Телеграфомъ»). Было бы слишкомъ долго входить въ подробности этой полемики; приведемъ лишь нѣкоторыя общія мысли кн. Вяземскаго изъ статьи «о духѣ партій, о литературной аристократіи» (1830).

Кн. Вяземскій, съ одной стороны, желаетъ доказать, что толки о литературной аристократіи—нелѣпость; съ другой даетъ свое толкованіе, что въ дѣйствительности эта аристократія есть только аристократія талантовъ. Но нѣкоторое высокомѣріе—скажемъ даже раздраженіе, доходящее до недоброжелательства, съ какимъ онъ говоритъ объ всемъ этомъ, именно и даетъ видѣть, какую аристократію понимали ея тогдашніе противники.

О русской литературѣ кн. Вяземскій имѣлъ вообще весьма невысокое мнѣніе. «Литература наша ограничена такимъ малымъ числомъ дѣйствій и дѣйствующихъ лицъ, такъ еще молода, что смѣшно искать въ ней явленій литературъ обширныхъ, многолюдныхъ и достигнувшихъ зрѣлаго возраста. Извѣстное слово о буряхъ въ стаканѣ воды можетъ быть примѣнено и здѣсь. Впрочемъ, встрѣчаются такіе охотники до бурь, что они рады искать ихъ и въ стаканѣ, помня пословицу, что хорошо ловить въ мутной водѣ. У насъ можно опредѣлить двѣ главныя партіи, два главные духа, если непремѣнно хотѣть ввести междоусобія въ домашній кругъ литературы нашей; можно даже означить ихъ двухъ родоначальниковъ: Ломоносова и Тредьяковскаго. Къ первому разряду принадлежатъ литераторы съ талантомъ, къ другому литераторы безталанные (?). Мудрено ли, что люди, возвышенные мыслями и чувствами своими, сближаются единомысліемъ и сочувствіемъ? Мудрено ли, что Расинъ, Мольеръ, Депрео были друзьями? Прадоны и тогда называли вѣроятно связь ихъ духомъ партіи, заговоромъ аристократическимъ. Но дѣло въ томъ, что потомство само пристало къ этой партіи и записалось въ заговорщики» (II, стр. 156—157). «И тѣ, которые у насъ болѣе другихъ говорятъ объ аристократическомъ союзѣ, будто существующемъ въ литературѣ нашей, твердо знаютъ, что этотъ союзъ не опасенъ выгодамъ ихъ, ибо не онъ занимается текущими дѣлами литературы, не онъ старается всякими происками, явными и тайными, овладѣть источниками ежедневныхъ успѣховъ... Литературной промышленности нечего по пустому заботиться и кричать о такъ-называемой аристократіи, которая чужда оборотовъ промышленности» (II, стр. 159). Наконецъ, кн. Вяземскій доказываетъ, что дѣйстви-

тельно русское дворянство и было образованнѣйшимъ классомъ, и странно упрекать его въ томъ, что ему равно были доступны и европейская образованность, и мѣста служебныя, и ученыя общества, что имена его встрѣчаются и въ «царскихъ указахъ и въ журнальныхъ статьяхъ, и даже въ нарядныхъ альбомахъ свѣтскихъ красавицъ»..,

Много лѣтъ спустя, въ 1847 г., кн. Вяземскій возвращается къ этому предмету; онъ снова защищаетъ аристократію и говоритъ объ ея значеніи литературномъ. «Аристократическіе салоны не помѣшали Карамзину написать 12 томовъ Исторіи; Пушкину написать въ короткое время нѣсколько превосходныхъ произведеній. Напротивъ, можетъ быть—о, ужасъ!—эти салоны способствовали развитію, разнообразію, окрѣпленію ихъ дарованій. Исключительный духъ товарищества, что-то въ родѣ замкнутаго заведенія, съуживаетъ понятія; тутъ не себя переносишь въ среду жизни, а жизнь переносишь въ свой заколдованный кругъ... Я былъ въ сношеніяхъ со многими, едва ли не со всѣми современными литераторами нашими. Изъ впечатлѣній и слѣдовъ, оставшихся на мнѣ отъ разговоровъ съ ними, глубже и плодоноснѣе врѣзалось слышанное мною отъ Карамзина, Дмитріева, Пушкина, Баратынскаго... Въ л у ч ш і я (?) эпохи у насъ литературная держава переходила какъ-будто наслѣдственно изъ рукъ въ руки. На нашемъ вѣку литературное первенство долго означалось въ лицѣ Карамзина. Послѣ него олицетворилось оно въ Пушкинѣ. Въ настоящую минуту верховное мѣсто въ литературѣ нашей праздно. Наша эпоха отвѣчаетъ исторической эпохѣ нашего междуцарствія, смутъ и самозванцевъ» (II, стр. 356—357), и т. д.

Авторъ могъ быть и былъ въ иномъ правъ, когда полемизировалъ съ Булгаринымъ или Полевымъ, противополагая литературную аристократію литературной промышленности; но онъ имѣлъ не однихъ этихъ противниковъ, и вопросъ былъ гораздо серьезнѣе, чѣмъ онъ представлялъ. Начать съ того, что съ тѣхъ поръ, какъ литературная дѣятельность стала давать и матеріальное вознагражденіе, сама «аристократія» вовсе не была ч у ж д а этой сторонѣ дѣла: Пушкинъ былъ неравнодушенъ къ цѣнѣ «рукописи»; кн. Вяземскій самъ признаетъ въ другомъ мѣстѣ (II, стр. 98), что участвуя въ «Телеграфѣ», имѣлъ въ виду— «получить нѣсколько тысячъ рублей и такимъ о б о р о т о м ъ замѣнить недоимки въ оброкѣ съ крестьянъ, наложеніемъ добро-

вольной платы на публику». То, что «аристократія» была богаче не-аристократическаго писателя, нуждавшагося въ вознагражденіи за свой трудъ, конечно, не давало ей никакого нравственнаго преимущества, ни малѣйшаго права смотрѣть свысока на оплачиваемый трудъ,—мало того, это обстоятельство могло даже уменьшать ея значеніе, потому что ея трудъ становился дилеттантизмомъ, гдѣ она ничѣмъ не жертвовала для насущныхъ интересовъ литературы, а только пріятно забавлялась, тогда какъ трудъ другого былъ трудомъ постояннымъ, профессіей, часто очень тяжелой. Эта профессія была не однимъ «оборотомъ промышленности»; она была трудной, нерѣдко опасной борьбой въ защиту самого права литературы, стремленіемъ къ какой-нибудь свободѣ мысли литературно-общественной, стремленіемъ, за которое многимъ, именно искреннѣйшимъ людямъ, приходилось дорого платиться. Этого послѣдняго всего чаще не видѣла литературная аристократія (въ «свѣтѣ» это не было «принято»), какъ не видѣла того, что литература выростала изъ прежнихъ понятій, и прежняя «держава» дѣлалась несостоятельной по самому своему содержанію. Для «державы» наступала историческая критика. Писателямъ-«аристократамъ» казалось обыкновенно, что если въ литературѣ начинали говорить иначе о Карамзинѣ, Дмитріевѣ, даже Пушкинѣ, то это было только «невѣжество», неуваженіе къ славѣ и преданію, необузданность; они не хотѣли понять, что напротивъ, здѣсь было естественное и необходимое желаніе выяснить себѣ это преданіе, опредѣлить его историческую цѣну, выдѣлить то, что было принадлежностью и слабостью своего времени и что было сильнымъ, самобытнымъ, зерномъ. Въ самомъ дѣлѣ «аристократы» говорили много о «преданіи», но, страннымъ образомъ, они сами всего меньше и сдѣлали для укрѣпленія этого преданія—они не написали біографіи Карамзина, какъ послѣ не написали біографіи Пушкина и Жуковскаго... Пушкинъ, потомъ Гоголь, признавши критическую силу Бѣлинскаго, опасались, однако, вступить съ нимъ въ прямое знакомство: Пушкинъ тайкомъ отъ друзей (т. е. «аристократовъ») посылаетъ ему книги; Гоголь желаетъ тайкомъ съ нимъ видѣться... Что же это такое?

Новый случай непріязненной встрѣчи съ младшими литературными поколѣніями представила статья князя Вяземскаго: «Языковъ и Гоголь», 1847, главнымъ поводомъ къ которой были

знаменитыя «Избранныя Мѣста изъ переписки съ друзьями». Не будемъ повторять извѣстныхъ подробностей; довольно сказать, что князь Вяземскій вполнѣ сталъ на сторонѣ Гоголя и къ отрицаніямъ самого Гоголя отъ новѣйшей литературы прибавилъ собственные крайне враждебные комментаріи. Нѣсколько образчиковъ объяснятъ мысль князя Вяземскаго. «Я всегда былъ того мнѣнія, — говоритъ онъ, — что Гоголь самъ по себѣ и самъ за себя дарованіе необыкновенное, что онъ занимаетъ свѣтлое и высокое мѣсто въ литературѣ нашей; но вмѣстѣ съ тѣмъ, что какъ родоначальникъ школы, во что хотѣли возвести его, онъ былъ не только не у мѣста, но даже вреденъ. Отдѣльный голосъ его имѣлъ прекрасное и полезное значеніе. Но на бѣду сто голосовъ подтянули ему и все дѣло испортили. Рано или поздно Гоголь съ своимъ мѣткимъ и разсудительнымъ умомъ долженъ былъ это почувствовать и опомниться» (II, стр. 313). Такова была странная теорія. Князь Вяземскій допускалъ высокое значеніе Гоголя такъ сказать въ четырехъ стѣнахъ, à huis clos, но когда вліяніе великаго таланта произвело могущественное дѣйствіе въ обществѣ, начало новый періодъ въ литературѣ, кн. Вяземскій отвергалъ его, находилъ его даже вреднымъ. Писателю позволялось доставить эстетическое (отвлеченное и индифферентное) удовольствіе (забаву) тѣсному кружку, но не позволялось никакъ, чтобы къ этому дѣйствію присоединялось широкое нравственное, общественное вліяніе... На этомъ фактѣ опять оказывалось, что «аристократическая» школа съ трудомъ понимала или не понимала совсѣмъ новыхъ движеній общества, новыхъ формъ литературы. Эти формы были фактомъ, чѣмъ дальше тѣмъ больше выроставшимъ, но школа не желала вникать въ причины новаго явленія и только отвергала, осуждала и обвиняла его. Какъ въ письмѣ къ графу Уварову, князь Вяземскій въ обвиненіяхъ не признаетъ мѣры. Онъ представляетъ дѣло такъ, что особая партія рѣшила эксплуатировать Гоголя для какихъ-то темныхъ цѣлей. Очень извѣстно, что Гоголь пріобрѣлъ себѣ восторженныхъ поклонниковъ, между которыми были вліятельнѣйшіе писатели сороковыхъ годовъ, — восторгъ былъ совершенно искренній и совершенно естественный, потому что въ Гоголѣ дѣйствительно являлась въ нашей литературѣ новая, необычайная сила. Князь Вяземскій представляетъ дѣло въ самомъ неблагополучномъ свѣтѣ. «Въ похвалахъ (Гоголю), — говоритъ онъ, — было и такое,

которое неминуемо должно бы растревожить и испугать его здравый умъ и добросовѣстность (?); его хотѣли поставить главою новой литературной школы, олицетворить въ немъ какое-то черное (??) литературное знамя. Такимъ образомъ, съ больныхъ головъ на здоровую складывали всѣ несообразности, всѣ нелѣпости, провозглашаемыя нѣкоторыми журналами (?). На его душу и отвѣтственность обращали всѣ грѣхи, коими ознаменовались послѣдніе годы нашего литературнаго паденія (?). Какъ тутъ было не одуматься, не оглядѣться? Какъ писателю честному не осыпать головы своей пепломъ и не отказаться съ досадою отъ торжества, устроеннаго непризванными и непризнанными руками?» и проч. (II, стр. 315). Еще далѣе: «Друзья и поклонники задушили Гоголя лаврами... Онъ былъ натуры нервной, впечатлительной, легко воспріимчивой. Онъ слушался Жуковскаго и Пушкина, но не хотѣлъ бы огорчить и Бѣлинскаго и школу его, если можно назвать ее школою. Непризванные хвалители, непризванные противники не умѣли спокойно оцѣнить дарованіе его по достоинству» и проч. (II, стр. 351). Можно спросить: да кто же, наконецъ, призванъ и кто долженъ призывать? Здѣсь мѣрка одна: это—сила сознанія, сама возникающая изъ среды общества, и призваніе ея рѣшается тѣмъ прочнымъ нравственнымъ вліяніемъ, которое она въ этомъ обществѣ пріобрѣтаетъ. Едва ли можно усумниться, что въ сороковыхъ годахъ такой силой былъ Бѣлинскій и—не школа, а дружескій кругъ, къ которому онъ принадлежалъ; этотъ кругъ наложилъ свою печать на тогдашнюю и дальнѣйшую литературу, и обладалъ для этого, въ разныхъ областяхъ, цѣлымъ рядомъ замѣчательныхъ умовъ и дарованій. Бросается въ глаза, какое собраніе неблагополучныхъ эпитетовъ направилъ князь Вяземскій на «школу», не говоря однако прямо и положительно, что же преступнаго сдѣлала эта «школа» и чего она хочетъ? «Черное знамя», «нелѣпости», «непризванные» поклонники, «литературное паденіе»—все это могло послужить для какого-то неопредѣленнаго, но все-таки очень тяжелаго обвиненія,—и въ то же время не говорило ровно ничего. Дѣло разыгралось извѣстнымъ письмомъ Бѣлинскаго къ Гоголю, исполненнымъ реальныхъ указаній, положительныхъ и ясныхъ упрековъ,—и Гоголь не нашелся что сказать.

Князь Вяземскій полагалъ, что книга Гоголя была «нужна», какъ переломъ. «Переломъ этотъ тѣмъ полезнѣе, что противо-

дѣйствіе истекло изъ той же силы, которая невольно, но не менѣе того всеувлекательнымъ стремленіемъ, дала пагубное направленіе» (II, стр. 313). Вскорѣ уже оказалось однако, что надежды князя Вяземскаго на «переломъ» были столь же основательны, какъ надежда самого Гоголя (въ той же «Перепискѣ съ друзьями»), что такой переломъ произведетъ «Одиссея» Жуковскаго. Разумѣется, малому младенцу было бы понятно, что «Одиссея» не могла никакъ произвести такого спасительнаго дѣйствія на общество, какъ ожидалъ Гоголь; книга самого Гоголя—произвела впечатлѣніе, но совершенно не то, какого ждалъ онъ и его друзья. Она осталась только памятникомъ прискорбнаго психологическаго настроенія великаго писателя; затѣмъ, вліянія она не имѣла ни малѣйшаго.

Въ новѣйшей «припискѣ» къ этой статьѣ князь Вяземскій остается при своемъ старомъ взглядѣ на этотъ предметъ; ему все-таки осталось чуждо, что было съ 1847 года сказано въ нашей литературѣ о значеніи дѣятельности Гоголя и ея послѣдняго періода. Одно замѣчаетъ онъ: «Какъ бы то ни было, печать наша, какъ хвалебная, такъ и порицательная, вѣроятно имѣетъ на совѣсти своей многое изъ того, что заволокло тучами послѣдніе годы жизни Гоголя, а можетъ быть и послѣдній день ея» (II, стр. 334). Но съ другой стороны можно спросить: могла ли литература,—которая въ тѣ годы была единственнымъ возможнымъ выраженіемъ общества и средствомъ его сознанія, остаться равнодушной къ тому неестественному и высокомѣрному вызову, какой былъ сдѣланъ Гоголемъ и подтвержденъ, какъ мы видимъ теперь, его друзьями?

Изъ приведенныхъ примѣровъ можно замѣтить, что отъ князя Вяземскаго вообще ускользало историческое движеніе литературы: онъ остановился на томъ ея характерѣ, какой она имѣла въ пору полнаго господства школы, къ которой онъ самъ принадлежалъ; новыя явленія обыкновенно были ему мало доступны и скорѣе представлялись ему какъ своевольное нарушеніе преданія и литературнаго чинопочитанія. Ему казалось также, что на вѣку его литературныя явленія повторяются: только съ чисто-в н ѣ ш н е й стороны онъ видѣлъ, что и въ старину и послѣ бывали литературные споры, бывала вражда посредственности или интриги противъ таланта; но онъ какъ-будто

совсѣмъ не замѣчалъ, что между старымъ и новымъ все больше выростала внутренняя разница и разстояніе—въ содержаніи.

Князь Вяземскій имѣлъ издавна очень невысокое мнѣніе о русской литературѣ, и высшимъ пунктомъ ея казался ему тотъ кругъ, въ средѣ котораго онъ самъ дѣйствовалъ. Кругъ этотъ въ свое время могъ справедливо относиться къ существовавшей тогда литературѣ съ чувствомъ своего превосходства — хотя можно бы и тогда пожелать, чтобы кружокъ («арзамасцы») сдѣлалъ больше для поднятія литературнаго уровня, помимо средствъ гр. Уварова. У князя Вяземскаго высокомѣрное отношеніе къ нашей литературѣ шло въ частности изъ его французскаго воспитанія: онъ выросъ, какъ и всѣ тогда, на французской литературѣ, и сравненіе съ нею русской литературы, которое онъ видимо дѣлалъ постоянно, выпадало разумѣется не въ пользу послѣдней. Съ этимъ представленіемъ о русской литературѣ кн. Вяземскій дошелъ до конца своего поприща. Но что однако происходило въ русской литературѣ въ теченіи этого долгаго его поприща, какъ видоизмѣнялось ея содержаніе, къ чему и подъ какими условіями она пробивалась, это, какъ мы замѣтили, осталось темно для кн. Вяземскаго,—какъ вообще оставалось темно для его круга и школы. Поэтому, даже раздѣляя, вообще, невысокое мнѣніе кн. Вяземскаго о русской литературѣ, невозможно согласиться съ его приговорами въ частности.

Русская литература молода,—говорилъ онъ,—ограничена въ своихъ средствахъ, да и неблаговоспитанна.—Вѣрно: но слѣдуетъ добавить, что ограниченность ея средствъ зависѣла прежде всего отъ ограниченности запасовъ ея образованія, указываемыхъ тою или другою нормою. «Благовоспитанность» точно также порождается не однимъ сословіемъ писателей, а всѣмъ характеромъ жизни; если сословіе испытывало на себѣ неблаговоспитанность другихъ сословій, низшихъ и высшихъ, то трудно пенять только на него.—«Рѣдко случается писателямъ нашимъ задѣть публику за живое, касаясь предметовъ, близкихъ къ ней,—говоритъ князь Вяземскій по поводу «Ревизора». Многіе изъ писателей нашихъ живутъ слишкомъ внѣ общества; они чужды общежитейскимъ отношеніямъ, понятіямъ, мнѣніямъ, нравственности высшаго круга читателей, т.-е. образованнѣйшаго; между тѣмъ не довольно положительны, добросовѣстны (?), чтобы дѣйствовать съ пользою на классы читателей, нуждаю-

щихся въ пищѣ простой, но сытой и здоровой. Они—какой-то междоумокъ въ обществѣ: они пишутъ для людей, которые ихъ не читаютъ, или не имѣютъ нужды ихъ читать (?), и слѣдовательно читаютъ равнодушно и разсѣянно, и читаются тѣми, которые не могутъ судить ихъ» (II, стр. 257—258). Нѣсколько неясно; но о высшемъ кругѣ нашемъ тѣхъ временъ достаточно извѣстно, что для него русская литература почти не существовала, что «образованнѣйшій» кругъ часто не зналъ даже русскаго языка, или смотрѣлъ на литературу съ высоты своего аристократическаго величія какъ на занятіе разночинцевъ. Эту послѣднюю точку зрѣнія даетъ понять кн. Вяземскій даже и въ своемъ литературномъ кругѣ: «Съ журналами спорить нельзя, по той же причинѣ, по которой Карамзинъ не отвѣчалъ ни на одну критику, хотя онъ и любилъ спорить. Есть люди, которые—жаркіе спорщики въ своемъ кругу и вмѣстѣ съ тѣмъ миролюбивы и безотвѣтны на толкучемъ рынкѣ» (II, стр. 260). Неужели вся остальная литература—кромѣ «своего круга»—была толкучій рынокъ; и неужели всѣ критики на трудъ Карамзина были неблаговоспитанны? Это—или невозможно, или—означало что-нибудь больше одной «неблаговоспитанности»... Изъ тогдашней критики кн. Вяземскій дѣлаетъ комплименты только критикѣ «Наблюдателя» (авторомъ ея былъ тогда Шевыревъ)—какова была эта критика, достаточно извѣстно изъ статьи о ней Бѣлинскаго.

Свое личное чувство въ средѣ современной литературы самъ кн. Вяземскій опредѣлялъ такимъ образомъ: «Нѣтъ сомнѣнія, что и нынѣ есть въ литературѣ нашей почетныя личности, которыя уважаю и мнѣніемъ которыхъ дорожу... Но не менѣе того, я какъ-то одинокъ въ современной литературѣ нашей. Нѣтъ уже спутниковъ моихъ, ровесниковъ, такъ сказать единовѣрцевъ. Нѣтъ того полнаго сочувствія, которое развилось и окрѣпло на родной почвѣ товарищества, общихъ привычекъ, понятій, склонностей, направленій... Не могу бѣжать къ Батюшкову, Жуковскому, Пушкину, чтобы подѣлиться съ ними свѣжимъ, только что созрѣвшимъ, только что сорваннымъ съ вѣтки плодомъ моей мысли, моего вдохновенія. Оцѣнка ихъ была бы и моею окончательною оцѣнкою, одобреніе ихъ было бы освѣщеніемъ моей радости. Это одиночество, можетъ быть, и есть поводъ къ нѣкоторому охлажденію къ самому себѣ, и можетъ быть

къ малому сочувствію и часто равнодушію къ тому, что у насъ пишется» (I, стр. XLVII).

И дѣйствительно, кн. Вяземскій не только равнодушенъ къ тому, что дѣлалось позже въ русской литературѣ, но и почти недружелюбенъ и враждебенъ. Новѣйшая литература—книгопрядильная промышленность; новѣйшая критика—хуже даже Каченовскаго, Сенковскаго и Булгарина (?), въ которыхъ все-таки была «нѣкоторая литературная основа»; изъ новыхъ писателей не названо ни одной «почетной» личности, но щедро разсѣяны огульныя квалификаціи «глупости», «безсовѣстной неправды» и т. п. Да и о прежнихъ временахъ приводится такое изреченіе. «Въ старину,—говоритъ кн. Вяземскій,—любилъ я гарцовать въ чистомъ полѣ предъ непріятелями своими; нынѣ и эта охота отпала; да и прежде не самолюбіе дѣйствовало во мнѣ, а какая то задорливость. Баратынскій говаривалъ о мнѣ, что въ моихъ полемическихъ стычкахъ напоминаю я ему старыхъ нашихъ баръ, напримѣръ, Алексѣя Орлова, который любилъ выходить съ ч е р н ь ю на кулачный бой» (I стр. XLVII).

Толстые журналы кн. Вяземскому не нравятся. «Они начали появляться и при Пушкинѣ, — замѣчаетъ онъ. Но послѣ него они, не скажу подобрѣли, а кажется еще пожирѣли. Журналы—дѣло хорошее и полезное, но при соблюденіи нѣкоторыхъ условій. Журналы должны быть дополненіемъ въ литературѣ, а не могутъ быть замѣною ея. Надобно начать литературою и кончить журналистикою. У насъ журналистика стала впереди. Это—беззаконное владѣніе чужою собственностью. Это—самозванство. Журналы умѣстны и пригодны въ обществѣ уже образованномъ, зрѣло воспитанномъ на почвѣ свѣдѣній и науки... Тамъ никто не учится по журналамъ... Въ обществѣ, еще мало образованномъ исключительное, всепоглащающее господство журналистики имѣетъ свою вредную сторону. Журналы кое-какъ бросаютъ сѣмена въ неприготовленную, неразработанную почву, даютъ огнестрѣльныя оружія въ руки, не наученныя какъ имъ пользоваться. Нѣтъ книгъ, которыя требуютъ усидчиваго вниманія и труда и, такъ сказать, правильнаго и медленнаго пищеваренія. Ж а д н о с т и читателей кидаютъ статьи, которыя они въ одинъ присѣстъ, въ одинъ глотокъ проглатываютъ. Молодежь, которая сама ничего не читала кромѣ текущихъ журналовъ, пускается тоже въ журнальный коловоротъ»... (II, стр. 367—368).

Что журналы должны быть дополненіемъ къ литературѣ, это совершенно вѣрно, какъ и то, что въ положеніи нашей журналистики есть слабыя стороны, указываемыя кн. Вяземскимъ. Но дѣло опять въ томъ: откуда идетъ это положеніе, и если надо кого-нибудь обвинить, то кого-же?—Формы литературы опредѣляются вовсе не прихотью и произволомъ писателей и литературныхъ кружковъ. Журналистика есть явленіе всемірное, и наша литература играетъ здѣсь, сравнительно, даже довольно жалкую роль — и по числу журналовъ, и по числу читателей. Единственная особенность нашей литературы въ этомъ отношеніи есть только сравнительное обиліе толстыхъ журналовъ (и то maximum 7—8); откуда она происходитъ? Прежде всего отъ той же причины, на которую разъ мы указывали—отъ чрезвычайно слабаго распространенія просвѣщенія. Довольно припомнить (и сравнить съ другими, дѣйствительно просвѣщенными народами) число нашихъ университетовъ, среднихъ и низшихъ школъ—и качество просвѣщенія, преподаваемаго въ нихъ— относительно населенія въ 80—90 милліоновъ; въ результатѣ имѣется громадная безграмотная масса, и сравнительно ничтожный слой такъ называемаго образованнаго общества,—слой, который доставляетъ и мало силъ для дѣятельности литературы и мало матеріальныхъ средствъ для ея поддержанія. Журналистика сложилась у насъ именно для средняго небольшого и небогатаго слоя читателей—потому что богатое купечество обрѣтается еще въ безграмотствѣ, богатая аристократія предпочитаетъ французскіе и англійскіе романы. Журналъ, въ сложности, даетъ очень дешево много разнообразнаго чтенія, конечно, хорошій журналъ—хорошаго, плохой—плохого чтенія. Въ европейскихъ литературахъ, вся образованность шире и разнообразнѣе; оттого журналистика тамъ спеціализировалась до чрезвычайной степени; у насъ журналъ сохраняетъ еще энциклопедическій характеръ. Много другихъ обстоятельствъ дали у насъ значеніе журналу: у насъ не было печати собственно политической, и теперешняя— мизерна, такъ что интересы политическіе остались въ числѣ общихъ вопросовъ и также вошли въ журналъ; для общественной мысли часто оставалась одна только форма и одно убѣжище въ литературной критикѣ: отсюда размноженіе этого отдѣла, отсюда—ожесточенныя полемики о вещахъ, которыя въ другой литературѣ неспособны были бы стать предметомъ такихъ отчаянныхъ споровъ. Словомъ, между отношеніями нашей и евро-

пейской журналистики такъ мало общаго, что дѣлать прямого сравненія между ними никакъ нельзя.

Еще одна подробность. Сказавъ о томъ, что въ западной литературѣ журналъ есть правильно организованная сила, есть политическое знамя, кн. Вяземскій—совсѣмъ позабывъ время и мѣсто — нашелъ возможнымъ сдѣлать упрекъ нашимъ журналамъ. «Съ подобными журналами (т.-е. на Западѣ), отголосками общества, то-есть того или другого большинства этого общества, и само общество и правительство могутъ и должны справляться, должны слѣдовать за движеніями и указаніями этихъ барометровъ. У насъ журналъ не можетъ имѣть ни того значенія, ни той важности. У насъ журналъ — не коллективная сила. У насъ первый Петръ Ивановичъ Добчинскій или Петръ Ивановичъ Бобчинскій можетъ завести журналъ, какъ завелъ бы онъ табачную лавочку... Нельзя не замѣтить еще, что журналистъ Бобчинскій, до облаченія себя въ званіе журналиста, былъ или вовсе не извѣстенъ въ уѣздѣ своемъ, или не пользовался въ немъ никакимъ авторитетомъ... Но Бобчинскій-Добчинскій сдѣлался журналистомъ, и весь уѣздъ обращается къ нему съ благоговѣніемъ или страхомъ. Онъ переродилсл въ наставника, проповѣдника, пророка»... (II, 369—370).

Не остановимся на преувеличеніи, позволительномъ въ шуткѣ, и даже согласимся, что такихъ журналистовъ можно иногда встрѣтить. Только мы никакъ не понимаемъ, на кого метятъ обличенія кн. Вяземскаго, на Бобчинскихъ или кого другого, — потому что возникновеніе Бобчинскихъ въ журналистикѣ тоже вопросъ довольно сложный; нѣтъ ли особыхъ причинъ появленія ихъ въ журналистикѣ, и непоявленія людей другого рода?

Князю Вяземскому кажется наконецъ, что не только русская, но и французская литература, къ которой онъ былъ издавна привязанъ, какъ-то не въ порядкѣ. Нѣтъ «свободнаго, безкорыстнаго и наслѣдственнаго служенія литературѣ»,—думалъ кн. Вяземскій (въ 1847 г.). «Куда ни посмотри, въ Англіи, въ Германіи, а въ особенности во Франціи литература нынъче не что иное, какъ средство и орудіе. Нѣкогда могучая и самостоятельная (?) Республика письменъ (la République des lettres) занимаетъ въ настоящее время въ статистикѣ всемірной мѣсто едва-ли не уступающее въ значеніи и силѣ республикѣ Санъ-Марино... Все, что нынѣ читается съ жадностію, развѣ

это литература въ прежнемъ смыслѣ этого слова? Священнослуженіе обратилось болѣе или менѣе въ спекуляцію и промышленность. Кто нынѣ пишетъ поэмы? Куда дѣвалась трагедія? Сколько различныхъ родовъ піитики и статей литературнаго уложенія пропало безъ вѣсти?.. Исторія, романъ, поэзія, все это перегорѣло въ политическій памфлетъ разныхъ видовъ, цѣлей и размѣровъ. Все это можетъ быть и потребность или прихоть времени. Вовсе не слушать этихъ потребностей и прихотей неумѣстно и невозможно. Вполнѣ побѣдить ихъ трудно, но слѣпо прислуживать имъ и рабски повиноваться не слѣдуетъ. Во Франціи о литературѣ даже почти не упоминается. Это слово вытѣснено другимъ: la presse, т. е. печатность. Выраженіе матеріальнаго значенія замѣнило выраженіе, имѣвшее болѣе нравственное значеніе. Это не случайность»... Теперь уже невозможны Вальтеръ-Скоттъ, Гёте, Байронъ, Манзони. Нѣкогда — «великіе художники держали въ рукѣ своей умы и сердца очарованнаго ими поколѣнія. Нынѣ очарованія нѣтъ. Времена чародѣевъ минули. Сила и владычество вымысла и художественности отжили свой вѣкъ. Ремесленники слова этому радуются и празднуютъ паденіе идеальныхъ предшественниковъ. Капища опустѣли, — говорятъ они: теперь на нашей улицѣ праздникъ...

«Желѣзныя дороги частью уже упразднили, а со временемъ и окончательно упразднятъ бывшія путевыя сообщенія. Другія силы, другіе пары давно уже уволили огнекрылатаго коня, который ударомъ копыта высѣкалъ животворные потоки, утолявшіе благородную и поэтическую жажду многихъ поколѣній. Нынѣ Пегасъ—та же кляча Россинантъ, на которой разъѣзжалъ рыцарь печальнаго образа, и поэтъ въ наше время едва-ли не тотъ же Донъ-Кихотъ» (II, стр. 351—353).

Оспаривать все это нѣтъ надобности. Чтобы предположенія кн. Вяземскаго оправдались, нужно было бы, чтобы изъ человѣческой природы исчезла цѣлая способность — воображеніе и поэтическое чувство; но, конечно, былъ бы Донъ-Кихотомъ поэтъ, который бы серьезно вздумалъ теперь осѣдлать Пегаса.

Такимъ образомъ, князя Вяземскаго, въ позднѣйшую пору его дѣятельности, не удовлетворяла не только русская, но и цѣлая европейская литература. По крайней мѣрѣ за русскую литературу становится легче. — Біографъ кн. Вяземскаго замѣчаетъ, что «скептическій складъ его ума удерживалъ его отъ

увлеченій», что онъ «не позволялъ себѣ бездоказательно и повально осуждать явленія, которымъ онъ рѣшительно не сочувствовалъ». Приведенныя цитаты указываютъ, напротивъ, что повальныя осужденія бывали довольно изобильны. Если искать общаго основанія недовольствъ кн. Вяземскаго, оно, очевидно, заключается въ одномъ источникѣ, къ которому примыкаютъ вообще всѣ литературныя идеи кн. Вяземскаго,—въ литературномъ преданіи и школѣ двадцатыхъ годовъ.

Намъ случалось выше противопоставлять князю Вяземскому его же собственныя слова. Такъ и эта жалоба на упадокъ литературы—не только у насъ, но и въ цѣлой Европѣ — имѣетъ свое опроверженіе въ словахъ самого князя Вяземскаго, сказанныхъ тогда, когда ему самому приходилось защищать направленіе его собственной школы отъ нападеній предшествовавшей: «Нельзя не почесть за непоколебимую истину, — говорилъ онъ въ 1822, по поводу «Кавказскаго Плѣнника», — что литература, какъ и все человѣческое, подвержена измѣненіямъ; онѣ многимъ изъ насъ могутъ быть не по сердцу, но отрицать ихъ невозможно или безразсудно. И нынѣ, кажется, настала эпоха подобнаго преобразованія. Но вы, милостивые государи (князь Вяземскій обращается къ тогдашнимъ литературнымъ старовѣрамъ, мнимымъ «классикамъ»), называете новый родъ чудовищнымъ потому, что почтеннѣйшій Аристотель съ преемниками вамъ ничего о немъ не говорили. Прекрасно! Такимъ образомъ, и ботаникъ долженъ почесть уродливымъ растеніе, найденное на неизвѣстной (прежде) почвѣ, потому, что Линней не означилъ его примѣтъ; такимъ образомъ, и географъ признавать не долженъ существованія вновь открытыхъ острововъ..., потому что о нихъ не упомянуто въ землеописаніяхъ, изданныхъ за годъ до открытія. Такое разсужденіе могло бы быть основательнымъ, еслибъ природа и геній, на смѣхъ вашимъ законамъ и границамъ, не слѣдовали въ твореніяхъ своихъ однимъ вдохновеніямъ смѣлой независимости и не сбивали ежедневно съ мѣста вашихъ Геркулесовыхъ столбовъ. Жалкая неудача!...» (т. I, стр. 74; ср. стр. 130).

Идеи, какія князь Вяземскій проводилъ въ своей критикѣ, повторяются и въ его поэзіи. Упомянутый біографъ, характеризуя дѣятельность и свойство таланта князя Вяземскаго, замѣчаетъ, что онъ былъ «поэтомъ-мыслителемъ по пре-

имуществу»: для исторической точности надо прибавить: свѣтскимъ мыслителемъ двадцатыхъ годовъ.

Въ изданныхъ двухъ томахъ намъ слѣдовало бы еще остановиться и на очень любопытной «Исповѣди»: но эту «Исповѣдь», равно какъ и поэзію, мы отложимъ до слѣдующаго раза, когда появятся новые томы «Полнаго Собранія».

НАКАНУНѢ ПУШКИНА.

(„Вѣстникъ Европы“ 1887, сентябрь).

НАКАНУНѢ ПУШКИНА.

Сочиненія К. Н Батюшкова. Изданы П. Н. Батюшковымъ. Со статьею о жизни и сочиненіяхъ К. Н. Батюшкова, написанною Л. Н. Майковымъ, и примѣчаніями, составленными имъ же и В. И. Саитовымъ. Спб. 1885 –87. Три тома, больш. 8º.

Въ нынѣшнемъ году исполнилось столѣтіе со дня рожденія писателя, сочиненія котораго вышли теперь въ первомъ полномъ собраніи, обставленномъ всею роскошью обширной біографіи и комментарія и роскошью изданія. Книга становится юбилейною. Появленіе ея будетъ пріятно всѣмъ любителямъ нашей литературы: мимо юбилея давно было желательно изданіе поэта, стоявшаго нѣкогда въ первыхъ рядахъ предъ пушкинской литературы, той литературы, изученіе которой существенно необходимо для полной оцѣнки дѣла, совершеннаго Пушкинымъ. Если Пушкинъ привлекаетъ теперь усиленное вниманіе историковъ литературы, то изданіе Батюшкова является тѣмъ болѣе кстати: это—одинъ изъ ближайшихъ предшественниковъ пушкинской эпохи, вмѣстѣ съ Карамзинымъ, Жуковскимъ, кн. Вяземскимъ, «Арзамасомъ» и пр. и пр.

Судьба несчастнаго поэта извѣстна. Рано, съ юношескихъ лѣтъ, начавши свою литературную дѣятельность, ощупью отыскивая новую дорогу поэтическаго творчества, среди мало благопріятныхъ условій литературы, рано пріобрѣвши себѣ имя въ кругу сверстниковъ и лучшихъ людей прежняго поколѣнія, несчастный поэтъ въ пору зрѣлаго мужества впалъ въ неизлечимую душевную болѣзнь, которая наполнила цѣлую вторую половину его долгой жизни (род. въ маѣ 1787, умеръ въ іюлѣ 1855 г.). Такимъ образомъ, можно судить только о началѣ его поприща; думаемъ, впрочемъ, по примѣру писателей современнаго его поколѣнія, работавшихъ болѣе долго и счастливо,

что существенное въ его талантѣ и содержаніи было уже высказано; если бы дѣятельность его продолжалась, мы имѣли бы, можетъ быть, бо́льшій рядъ его зрѣлыхъ произведеній, но не встрѣчали бы новой поэтической идеи,—когда на литературной аренѣ стали совершаться блестящія явленія пушкинской поэзіи.

Намъ случалось говорить по другому поводу, какъ несправедливы бывали упреки, какіе дѣлались новымъ поколѣніямъ общества со стороны ветерановъ этой прежней поры—въ равнодушіи къ преданіямъ стараго, предъ пушкинскаго и пушкинскаго времени. Если преданій было немного, то первая вина этого лежала на самихъ современникахъ той эпохи, которые сами слишкомъ мало сдѣлали для того, чтобы основать это преданіе. Въ самомъ дѣлѣ, никто, напр., изъ современниковъ Карамзина, его ревностныхъ, иногда даже черезъ мѣру, поклонниковъ не оставилъ намъ сколько-нибудь полной характеристики этого замѣчательнаго лица; никто изъ современниковъ Пушкина, упрекавшихъ потомъ позднюю литературу въ невниманіи къ пушкинскому преданію не далъ въ свое время ни біографіи, ни сколько-нибудь обстоятельныхъ воспоминаній о великомъ поэтѣ. Біографія Пушкина начата была впервые писателемъ именно слѣдующаго поколѣнія который не имѣлъ счастливой для біографіи выгоды непосредственно видѣть, имѣть живое впечатлѣніе изучаемаго дѣятеля, и который притомъ долженъ былъ работать въ самыхъ неблагопріятныхъ внѣшнихъ обстоятельствахъ. Величайшій поэтъ, какого имѣла русская литература, былъ изслѣдуемъ его первымъ біографомъ, какъ изслѣдуются лица, давно отошедшія въ область исторіи, о которыхъ не осталось близкой, живо чувствуемой памяти, которыя изучаются по архивнымъ документамъ, по рѣдкимъ и скуднымъ преданіямъ и памятникамъ ихъ собственной дѣятельности. Въ послѣднее время этотъ біографическій матеріалъ о пушкинской эпохѣ былъ значительно обогащенъ усиліями новѣйшихъ собирателей, между прочимъ, изъ внимательно подбираемыхъ остатковъ старой переписки того времени и отрывочныхъ упоминаній въ разсказахъ современниковъ. Біографія Пушкина состоитъ, такимъ образомъ, не изъ широкой обработки обильнаго матеріала оставленнаго современниками, а изъ мозаичной работы, очень мелкой, очень сложной, но оставляющей тѣмъ не менѣе чувствительные пробѣлы иногда о весьма важныхъ пунктахъ въ жизни писателя.

Біографія Батюшкова есть также мозаичная работа. Изъ современниковъ никто не оставилъ о немъ даже краткаго біографическаго очерка; извѣстны были только главныя даты его біографіи, его гражданская и военная служба. Новѣйшему біографу пришлось собирать жизнеописаніе Батюшкова по отрывочнымъ подробностямъ изъ семейныхъ преданій, изъ остатковъ переписки, изъ оффиціальнаго формуляра, изъ немногихъ отрывковъ дневника, изъ сочиненій; весьма немногое дали біографическія показанія лицъ, которыя нѣкогда были друзьями поэта. Внѣшняя біографія была, правда, не очень сложная: жизнь дома въ дѣтствѣ, въ деревенской помѣщичьей обстановкѣ; обученіе въ французскомъ пансіонѣ; родственныя связи съ М. Н. Муравьевымъ, которыя помогли его сближенію съ литературными кругами; поступленіе въ военную службу и два похода въ 1807 и 1809 г., жизнь въ деревнѣ, вынуждаемая необходимостью; пребываніе въ Москвѣ въ 1811 и 1812 году; новое вступленіе въ военную службу, участіе въ походѣ въ Германію и Францію, и, наконецъ, служба при посольствѣ въ Неаполѣ, въ теченіе которой обнаружились признаки нервнаго разстройства, дошедшаго въ два-три года до степени буйнаго сумасшествія. Болѣе интересны, конечно, факты внутренняго развитія, и для ихъ объясненія осталось, къ сожалѣнію мало ясныхъ и точныхъ данныхъ. Авторъ біографіи приложенной къ настоящему изданію, старался собрать отрывочныя подробности, которыя освѣтили бы эту сторону вопроса, старался сколько возможно характеризовать обстановку, въ которой проходила внѣшняя и внутренняя жизнь Батюшкова, и выяснить содержаніе его идей, но, при всей старательности его работы недостаточность источниковъ тѣмъ не менѣе даетъ себя чувствовать.

Въ самомъ дѣлѣ, остается неясной, напримѣръ, пора перваго школьнаго образованія, полученнаго Батюшковымъ во французскихъ пансіонахъ.

Онъ овладѣлъ здѣсь, по обычаю времени, французскимъ языкомъ, читалъ уже и по-нѣмецки. Въ письмѣ, писанномъ къ отцу изъ пансіона, Батюшковъ (ему было тогда 14 лѣтъ) проситъ прислать ему книгъ—ему нуженъ Ломоносовъ и Сумароковъ, сочиненія Мерсье, «Кандидъ» Вольтера, изъ нѣмцевъ Геллертъ; но кто руководилъ его литературными вкусами и въ какомъ смыслѣ—неизвѣстно. Ему было уже, кажется, лѣтъ 15,

когда сталъ оказывать на него вліяніе извѣстный Михаилъ Никитичъ Муравьевъ, который приходился ему родственникомъ. Муравьевъ (умершій уже въ первые годы царствованія Александра I-го) былъ человѣкъ старыхъ литературныхъ вкусовъ, но достаточно образованный, чтобы не раздѣлять узкихъ взглядовъ тогдашняго нашего псевдо-классицизма; онъ самъ близко зналъ и любилъ классическую литературу и направилъ Батюшкова на ея изученіе. Въ своихъ пансіонахъ Батюшковъ не учился по-латыни; теперь онъ занялся латинскимъ языкомъ и овладѣлъ имъ настолько, что могъ читать латинскихъ писателей болѣе или менѣе свободно; изъ его послѣдующихъ сочиненій видно, что латинскіе поэты были ему довольно хорошо знакомы—онъ любилъ ихъ цитировать; онъ читаетъ (вѣроятно, во французскихъ переводахъ) также писателей греческихъ и вообще любитъ вращаться въ философіи и поэзіи древнихъ. Его особенными любимцами надолго остаются Горацій и Тибуллъ: въ ихъ духѣ складывается его собственная поэзія и философія. Впослѣдствіи за Батюшковымъ осталась слава лучшаго въ нашей тогдашней литературѣ истолкователя классической лирики и антологическаго поэта.

Еще со времени своего пансіонскаго ученія, Батюшковъ началъ заниматься итальянскимъ языкомъ и литературой, въ которой Аріостъ и Тассъ стали потомъ его особенными любимцами. Наконецъ, его привлекала французская литература, начиная съ Вольтера и Руссо и кончая новыми поэтами, въ которыхъ пробивалась новая, романтическая струя.

Авторъ біографіи, какъ мы сказали, внимательно слѣдитъ за тѣми литературными вліяніями, которыя опредѣляли складъ мысли и направленія поэзіи Батюшкова. Однимъ изъ первыхъ было здѣсь вліяніе Вольтера, знакомаго Батюшкову еще въ пансіонѣ и къ которому онъ надолго сохранилъ сочувствіе. Въ чемъ же заключалось это вліяніе? На Батюшкова дѣйствовали только нѣкоторыя стороны этого писателя: «Вольтеръ, которому поклонялся Батюшковъ,—разсказываетъ его біографъ,—былъ не совсѣмъ настоящій, съ его достоинствами и недостатками, а тотъ легендарный, такъ сказать, Фернейскій мудрецъ, который болѣе полувѣка восхищалъ собою Европу. Уже давно стоустая молва и всемірная слава идеализировали его личность, а уровень общественнаго пониманія сдѣлалъ выборъ между его сочиненіями, превознося одни, болѣе общедоступныя, и не по-

нимая, не цѣня другихъ, болѣе глубокихъ по своему смыслу. И Батюшкову, конечно, не были знакомы въ своей полнотѣ всѣ сочиненія Вольтера; въ общей оцѣнкѣ ихъ онъ подчинялся господствовавшимъ мнѣніямъ; но тѣ произведенія Вольтера, которыя пользовались наибольшею популярностью, принадлежавшія преимущественно къ области изящной словесности, онъ зналъ хорошо; онъ часто приводитъ цитаты изъ нихъ, любуется остроуміемъ ихъ автора, восхищается мѣткостью его сужденій, выражаетъ негодованіе противъ его враговъ и критиковъ, вообще относится къ нему, какъ къ непререкаемому авторитету». Біографъ находитъ, что въ образѣ мыслей Батюшкова—до той перемѣны, какая произошла въ немъ въ эпоху послѣ отечественной войны—несомнѣнно отражаются идеи Вольтера. «Сочиненія Фернейскаго мудреца подѣйствовали на нашего поэта, главнымъ образомъ, своею культурною силой; на нихъ воспиталась въ Батюшковѣ глубокая любовь къ просвѣщенію и неразрывно связанной съ нею свободѣ мысли; изъ нихъ почерпнулъ онъ уваженіе къ достоинству человѣка, къ благородному умственному труду и къ званію писателя, отвращеніе отъ педантизма, помрачающаго умъ и ожесточающаго сердце; они же внушили ему общую гуманность понятій и терпимость къ чужимъ убѣжденіямъ. Вмѣстѣ съ этими истинами, которыя составляютъ основныя и вѣчныя начала образованности, Батюшковъ позаимствовалъ у Вольтера и такія идеи, въ которыхъ послѣдній является только сыномъ своего вѣка. Вслѣдъ за Вольтеромъ (и Кондильякомъ) Батюшковъ высказываетъ сенсуалистическія понятія о неразрывности души отъ тѣла; подъ его вліяніемъ берется онъ за чтеніе Локка и вооружается противъ метафизики, которую и Вольтеръ любилъ сводить къ морали. Наконецъ, и религіозныя идеи Вольтера отразились на Батюшковѣ. Противникъ положительной религіи, Вольтеръ оставался, однако, деистомъ и защищалъ идею Божества противъ Гольбаха. Батюшковъ, безъ сомнѣнія, зналъ эти возраженія Вольтера противъ атеизма; когда онъ прочелъ Гольбаха «Систему природы», онъ въ слѣдующихъ словахъ высказалъ Гнѣдичу свое впечатлѣніе: «Сочинитель въ концѣ книги, разрушивъ все, призываетъ природу и дѣлаетъ ее всему началомъ... Невозможно никому отвергнуть и познать какое-либо начало; назови его, какъ хочешь, все одно, но оно существуетъ, т.-е. существуетъ Богъ» [1]. Наконецъ, авторъ ука-

[1] Томъ I, стр. 89—90, въ біографіи.

зываетъ, что Вольтеръ подѣйствовалъ на Батюшкова и собственно въ литературномъ смыслѣ не столько какъ теоретикъ,—потому что при всей смѣлости своихъ взглядовъ Вольтеръ не рѣшался измѣнять установленнымъ псевдо-классическимъ правиламъ,—сколько какъ лирическій поэтъ. Спеціальностью Батюшкова была такъ-называвшаяся въ то время «легкая поэзія», то-есть собственно лирика личнаго чувства. Здѣсь образцами Батюшкова были вообще два классическіе поэта — Горацій и Тибуллъ, которыхъ, между прочимъ, онъ могъ ближе изучить по указаніямъ и при помощи Муравьева, и два новѣйшіе поэта, которыхъ изучалъ онъ самъ—Вольтеръ и Парни.

Старый литературный обычай снисходительно относился къ заимствованіямъ; этимъ не стѣснялись даже крупныя литературныя величины; въ нашей литературной практикѣ прошлаго вѣка, для начинающихъ писателей считалось даже необходимостью, для пріобрѣтенія опытности, «подражать» какому-нибудь избранному «образцу». Для писателя молодого было бы вообще естественно увлечься на первыхъ порахъ какимъ-нибудь авторитетнымъ поэтомъ и невольно подчиняться его манерѣ; но въ старое время «подражаніе» было систематическимъ требованіемъ. То же было и съ Батюшковымъ. «Онъ любилъ с в ѣ р я т ь свое вдохновеніе съ чужимъ,—говоритъ его біографъ:—не рѣдко бралъ онъ у того или другого поэта ту или иную черту и усвоивалъ ее своему произведенію; онъ самъ говоритъ объ этомъ въ своихъ письмахъ и притомъ, какъ о дѣлѣ художественнаго выбора, а не простого заимствованія. Таковъ былъ старый литературный обычай, быть можетъ, завѣщанный молодому поэту Муравьевымъ, и если обычай этотъ стѣснялъ иногда свободные порывы творчества, зато служилъ къ выработкѣ точности въ поэтической рѣчи» [1]).

Этотъ обычай, какъ извѣстно, долго держался въ нашей литературѣ прошлаго вѣка, и Батюшковъ въ этомъ отношеніи сближается съ писателями старой школы, противъ которыхъ послѣ ратовалъ. Въ господствовавшемъ у насъ образцѣ, во французской литературѣ, большую роль игралъ вопросъ стиля, счастливаго выраженія, красивой фразы. Французская литература XVII—XVIII в. гордилась созданіемъ изящнаго языка, который дѣйствительно достигъ въ то время высокаго совершен-

---

[1]) Т. I, стр. 92, въ біографіи.

ства въ извѣстномъ направленіи — это была красивая вылощенная фраза, вполнѣ отвѣчавшая выработанному манерному тону придворной свѣтской жизни, но вмѣстѣ точная и строгая въ предметахъ научнаго изслѣдованія. Это выработанное изящество рѣчи, кромѣ самаго содержанія литературы, создало то господство французскаго языка, которое распространялось тогда на всю образованную Европу. Вопросъ стиля сталъ существенной заботой и русскихъ писателей съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ имъ представился въ западныхъ литературахъ образецъ литературнаго развитія; объ этомъ постоянно напоминала трудность передачи на русскомъ языкѣ тѣхъ идей, какія увлекали въ литературахъ иностранныхъ и какія хотѣлось передать по-русски. Въ половинѣ прошлаго вѣка именно вопросъ языка, удачнаго или неудачнаго выраженія, былъ предметомъ споровъ Ломоносова и Сумарокова и всякихъ мелкихъ писателей; примѣръ французской литературы усиливалъ эту заботу о формѣ.

Но этотъ вопросъ о «подражаніи» и выработкѣ литературной рѣчи сводится къ цѣлому состоянію нашей литературы XVIII-го столѣтія. Батюшковъ, какъ и его другъ и современникъ Жуковскій и цѣлый рядъ другихъ писателей того же поколѣнія, еще завершали тотъ періодъ первой формаціи нашей новой литературы, который начатъ былъ петровской реформой или даже еще концомъ XVII-го вѣка. Это былъ тотъ самый періодъ, который столько старались обезславить, какъ періодъ слѣпого подражанія и оторванности отъ народа и народныхъ началъ.— Въ чемъ дѣло? Имѣютъ ли какое-нибудь значеніе дѣятели этого обезславленнаго времени,—были ли они только представителями въ литературѣ этой жалкой оторванности отъ своего народа, или ихъ трудъ, напротивъ, велъ къ чему-нибудь благотворному для цѣлаго русскаго просвѣщенія и для самого народа? Мы имѣемъ теперь возможность, ближе присматриваясь къ фактамъ, проще и справедливѣе взглянуть на это время, исполненное крайностей и противорѣчій, какъ всякая переходная эпоха, разстающаяся съ прежнимъ складомъ жизни и невѣрными шагами идущая къ неизвѣстному и только указываемому будущему. Русскому обществу, раньше ли, позже ли, неизбѣжна была встрѣча съ обществомъ западнымъ, въ рукахъ котораго была и большая ступень научнаго образованія (у насъ до тѣхъ поръ совсѣмъ неизвѣстнаго), и большая степень внѣшней бытовой культуры. Отнестись къ этому новому открывавшемуся міру

совершенно отрицательно было невозможно, потому что представляемое имъ содержанiе научной мысли, намъ ранѣе чуждой, отвѣчало неодолимой потребности человѣческой природы — потребности знанiя и работы мысли. Такой же неодолимой потребности отвѣчала открывавшаяся вновь область поэтической фантазiи и тонкаго выраженiя чувства. Наконецъ, трудно было бы отталкивать ту новизну, какая представлялась въ утилитарномъ практическомъ знанiи, которое могло удовлетворить все болѣе настоятельнымъ потребностямъ реальной государственной жизни, и новомъ обычаѣ, который имѣлъ свои привлекательныя стороны или удобства. Всѣ эти стороны западной жизни еще гораздо ранѣе Петра стали привлекать русскихъ людей стараго времени; когда Петръ Великiй начиналъ свое преобразованiе въ цѣляхъ государственной пользы, передъ нимъ открывались, конечно, и эти общiя стороны западной образованности; но хотя бы онъ думалъ только о чисто практическихъ нововведенiяхъ эти стороны тѣмъ не менѣе неминуемо оказали бы свое дѣйствiе, потому что нельзя было брать однихъ чисто практическихъ примѣненiй знанiя безъ его теоретическихъ основанiй, и потому что въ самомъ обществѣ разъ возбужденная любознательность сама должна была искать этихъ основанiй. Извѣстно, что преемники Петра до Екатерины II не имѣли ни одной ясной мысли о потребностяхъ русскаго образованiя и никакого желанiя принимать широкiя мѣры для его развитiя; сама Екатерина, послѣ первыхъ свободномыслящихъ увлеченiй, очень заботилась о томъ, чтобы поставить предѣлъ притязанiямъ общественной мысли, но дѣло въ томъ, что, несмотря на тѣсныя практическiя цѣли петровской реформы, несмотря на равнодушiе его преемниковъ къ дѣлу просвѣщенiя, несмотря на всѣ помѣхи, которыя уже вскорѣ стали представляться для его успѣховъ, въ самомъ обществѣ уже начался и все болѣе развивался этотъ свободный процессъ мысли, въ который завлечены были всѣ живые умы и дарованiя, пробужденные для новыхъ потребностей знанiя, фантазiи и чувства. Екатерина II, отличавшаяся сильнымъ, но холоднымъ и трезвымъ умомъ, поддавалась сама этой внутренней потребности, и въ первые годы своего правленiя дѣлила общественное увлеченiе въ область свободной мысли. Наша литература прошлаго вѣка отражаетъ на себѣ разные оттѣнки состоянiя общества: въ теченiе всего столѣтiя она даетъ образчики того служебнаго положенiя, какое

указывалось ей политическимъ состоянiемъ общества. Безчисленныя оды на всякiе торжественные случаи, похвальныя слова и т. п. идутъ съ первой половины прошлаго вѣка и до первой половины нынѣшняго, свидѣтельствуя, конечно, не только о личномъ вкусѣ ихъ авторовъ, но и о цѣломъ общественномъ настроенiи: въ этомъ послѣднемъ еще не было ни самостоятельнаго критическаго сознанiя, ни достаточнаго интереса къ болѣе широкому литературному содержанiю. Мало-по-малу «ода» начинаетъ падать; она становится уже только оффицiальной поэзiей, появляется все рѣже, наконецъ дѣлается предметомъ насмѣшекъ: повидимому, въ этомъ упадкѣ ея и въ насмѣшкахъ надъ ней была только устарѣлость этой литературной формы, но въ сущности смѣнилось общественное настроенiе, выросло сознанiе, что литература не есть только форма казенной или придворной службы, но есть независимая дѣятельность, свободное выраженiе общественной мысли. Мыслящiй писатель, какъ и мыслящiй образованный человѣкъ XVIII-го вѣка, поставленъ былъ въ положенiе, о которомъ мы уже съ нѣкоторымъ трудомъ составляемъ себѣ понятiе теперь, когда наша литература, хотя все еще далекая отъ своего настоящаго достоинства, достигла, однако, многихъ существенныхъ результатовъ. Люди XVIII-го вѣка были еще тяжелы на подъемъ въ умственной работѣ; ихъ знанiя бывали обыкновенно довольно ограниченныя, тѣмъ болѣе, что и тогдашнiя средства къ образованiю были очень невелики, но, видимо, новое знанiе, новыя литературныя формы, новыя поэтическiя удовольствiя начинали сильно привлекать ихъ. Сумароковъ, напр., былъ человѣкъ вовсе не глупый, хотя съ образованiемъ очень ограниченнымъ: онъ наивно гордился своими произведенiями, но видимо способенъ былъ понимать поэтическiя красоты или внѣшнее изящество, какiя находилъ во французской литературѣ. Въ ту пору, въ самой серединѣ XVIII-го вѣка, полагались первыя основанiя тѣхъ псевдоклассическихъ вкусовъ, которые дожили и до нашего столѣтiя, и если перенестись въ тѣ времена, то это увлеченiе будетъ весьма понятно. Французская литература являлась къ намъ во всеоружiи своей европейской, по тогдашнему почти всемiрной славы, обставленная рядомъ первостепенныхъ талантовъ, говорившая языкомъ, который всюду господствовалъ и который выработанъ былъ до рѣдкаго совершенства въ томъ стилѣ, какой одинъ казался тогда возможнымъ. Если влiянiе французской

литературы распространялось тогда и у народовъ съ несравненно болѣе широкимъ и давнимъ развитіемъ просвѣщенія, какъ въ Германіи, Англіи, Италіи, то тѣмъ больше оно могло быть сильно тамъ, гдѣ для него открывалась почва совсѣмъ не разработанная; и тѣмъ прочнѣе могло быть это вліяніе, что французская литература являлась съ цѣлымъ, точно выработаннымъ кодексомъ теоретическихъ законовъ и правилъ. Господство псевдо-классицизма было подготовлено у насъ той церковной школой, которая еще съ XVII-го вѣка вводила изученіе реторики и піитики по классическимъ образцамъ; теперь тѣ же теоріи являлись въ подновленномъ видѣ, приноровленныя къ новѣйшей литературѣ свѣтскаго общества. Восемнадцатый вѣкъ былъ въ особенности вѣкомъ аристократизма: псевдо-классическій тонъ былъ тонъ придворный и свѣтскій; это опять сходилось съ условіями нашей литературы, которая находила первую опору въ образованнѣйшемъ кругу, при дворѣ, нуждалась въ меценатахъ, и первую драму могла видѣть только на придворномъ театрѣ; своихъ меценатовъ она находила въ людяхъ, знакомыхъ съ французской литературой и не знавшихъ иной формы литературной дѣятельности, кромѣ той, какую видѣли тамъ. Національное самолюбіе высказывалось желаніемъ имѣть своихъ Корнелей и Расиновъ, своихъ Мольеровъ и Вольтеровъ... Упомянутая бѣдность знаній дѣлала то, что къ намъ обыкновенно запаздывали тѣ явленія, какія совершались въ европейской литературѣ. Чистый псевдо-классицизмъ былъ въ сущности уже подорванъ критикой Лессинга, распространеніемъ Шекспира, зачатками романтическаго движенія, когда у насъ онъ еще продолжалъ господствовать почти безраздѣльно.

Мало-по-малу, однако, до нашей литературы доходили новыя явленія европейской мысли и поэзіи, когда на мѣстѣ они пріобрѣтали значеніе господствовавшаго факта, бросавшагося въ глаза. Такъ достигла къ намъ та французская «мѣщанская» комедія, которая впервые нарушила условную торжественность французской драмы и сводила ее изъ придворно-классической сферы въ буржуазную дѣйствительность. У насъ узнали потомъ и Бомарше, и англійскихъ сатирическихъ журналистовъ, и драму Лессинга, и Макферсонова «Оссіана» и т. д., обыкновенно послѣ того, какъ эти явленія пріобрѣтали уже великую славу. Съ теченіемъ времени знакомство съ европейской литературой все болѣе расширялось; конецъ XVIII-го вѣка наводненъ у насъ

массой переводовъ преимущественно съ французскаго и нѣмецкаго, но при всей пестротѣ этихъ заимствованій въ нихъ была своя мысль, было логическое стремленіе удовлетворить нароставшимъ умственнымъ потребностямъ.

Передъ русскимъ образованнымъ человѣкомъ XVIII-го вѣка открывалась едва обозримая масса научныхъ и поэтическихъ явленій, которыя не могли не привлекать къ себѣ, какъ скоро мысль стала способна ихъ усвоивать. Старые зачатки знанія, передаваемые прежней литературой, были слишкомъ ничтожны, чтобы удовлетворять умъ сколько-нибудь требовательный. Знаніе историческое и знаніе природы пріобрѣтаютъ великій интересъ для первыхъ нашихъ образованныхъ людей прошлаго столѣтія. Извѣстно, что прежде чѣмъ печатная литература стала удовлетворять этой потребности, создавалась весьма значительная литература рукописныхъ переводовъ историческихъ и политическихъ книгъ, исполнявшихся по особымъ заказамъ,—какова, напр., извѣстная и замѣчательная коллекція архангельской библіотеки князя Голицына, временъ имп. Анны Іоанновны. Людей ученыхъ, которымъ удалось получить основательное по времени образованіе въ академіи кіевской или московской, или послѣ въ академіи наукъ въ Петербургѣ, или за границей, или даже разными случайными путями самоучкой, занимала и классическая древность, и славнѣйшія произведенія новѣйшей литературы. Кружокъ ихъ былъ невеликъ; въ петровское и первое послѣ-петровское время такихъ людей можно пересчитать по пальцамъ: они знаютъ другъ друга и отчасти держатся вмѣстѣ, какъ Ѳеофанъ, Кантемиръ, Татищевъ, нѣкоторые ученые нѣмцы изъ академіи — они составляютъ нашу первую интеллигенцію начала XVIII-го вѣка. Имъ близки «греки и латины», имъ извѣстны наиболѣе крупныя произведенія литературы исторической, политической, богословской; возникаетъ мысль прилагать новое знаніе къ явленіямъ русской жизни, къ русской исторіи. Начитавшись римскихъ сатириковъ и Буало, Кантемиръ задумываетъ русскую сатиру; Ломоносовъ, по нѣмецкимъ образцамъ, пишетъ оду; Сумароковъ, восхищаясь французскими драматургами, задумываетъ русскія трагедіи и комедіи. Первые приступы трудны, внѣшняя форма и языкъ мало поддаются благимъ намѣреніямъ,—но основной планъ будущихъ работъ засѣлъ крѣпко, и дальнѣйшее развитіе литературы на новомъ пути уже обезпечено первыми грубыми попытками. Онѣ по-неволѣ были грубы:

та среда которою живетъ литература, была слишкомъ тѣсная; старина представляла еще болѣе грубые антецеденты, какими были, напр., нескладное силлабическое стихотворство; какъ драматическіе опыты конца XVII вѣка, какъ рукописные опыты переводовъ иностранныхъ повѣстей и романовъ въ началѣ столѣтія. Общество, въ громадномъ большинствѣ чуждое новому образованію, не имѣло еще языка для выраженія тѣхъ болѣе тонкихъ мыслей и ощущеній, которыя возникали съ новымъ просвѣщеніемъ, которыя хотѣлось усвоить изъ иноземной литературы. Въ первомъ литературномъ языкѣ была большая примѣсь церковно-славянскаго элемента, и это было естественно: прежде это былъ обычный книжный языкъ, и извѣстные выработанные обороты для передачи возвышенной мысли и чувства можно было найти готовыми только въ языкѣ библіи и церковныхъ писателей. Какъ извѣстно, наклонность къ этому стилю удержалась до первой четверти нашего столѣтія, когда еще велся споръ «о старомъ и новомъ слогѣ». Писатели того періода и круга, которые обвиняются въ оторванности отъ народа, стремятся именно къ тому, чтобы дать въ книжномъ языкѣ мѣсто русскому народному элементу. Очевидно, что винить ихъ за это очень мудрено.

То образовательное содержаніе, которое почерпалось теперь въ литературахъ классической и новой европейской, съ теченіемъ времени, съ размноженіемъ школъ, съ расширеніемъ самой литературы, съ одной стороны, распространяется все на большую массу общества, съ другой воспринимается все въ болѣе серьезномъ смыслѣ и въ болѣе тонкихъ оттѣнкахъ. Изученіе того, какъ совершенствовалось самое понимані е европейской и классической литературы, составило бы любопытную страницу въ исторіи нашей образованности. Такъ, первый классицизмъ является у насъ на славянско-русскомъ языкѣ XVII-го вѣка въ произведеніяхъ южно-русскихъ и западно-русскихъ ученыхъ и церковныхъ проповѣдниковъ. Это былъ классицизмъ старой католической церковной школы, формы которой были перенесены въ наши духовныя академіи и симинаріи. Это была на первыхъ порахъ чисто школьная рутина, гдѣ знаніе классическихъ литературъ, особливо римской, доставляло запасъ реторическихъ украшеній, которыя чисто внѣшнимъ образомъ приставлялись, напр., къ церковной проповѣди: въ особенности пошла въ ходъ греко-римская миѳологія, изъ которой извлекалось множество ретори-

ческихъ сравненій, примѣровъ и т. п. Южно-русскій и западно-русскій писатель не задумывался приводить имена греческихъ божествъ въ своихъ православныхъ писаніяхъ (онъ слишкомъ привыкъ къ этому въ латино-польской школѣ и литературѣ), и Москва XVII-го вѣка очень скандализировалась, встрѣчая въ богословскомъ сочиненіи имена Зевеса, Меркурія или самой Афродиты: это казалось непозволительнымъ язычествомъ—видѣли формальное язычество тамъ, гдѣ была только реторика. Такъ какъ французскій псевдо-классицизмъ видѣлъ свое основаніе въ той же античной литературѣ, то и впослѣдствіи этотъ классическій литературный орнаментъ продолжаетъ господствовать въ свѣтской литературѣ, гдѣ онъ уже никого не пугаетъ: стихотворческая фантазія не можетъ обойтись безъ пособія музъ, Олимпа и Иппокрены. Странно сказать, что этотъ пріемъ господствуетъ не только у Тредьяковскаго и у Сумарокова, но даже у ближайшихъ предшественниковъ Пушкина, наконецъ, даже у самого Пушкина, съ которымъ и кончается. Поэты первой четверти нашего столѣтія еще не могутъ обойтись безъ Музы, безъ Кастальскихъ источниковъ, безъ харитъ и грацій, безъ Аполлона, Вакха и Киприды; но былъ, впрочемъ, и большой шагъ впередъ противъ классиковъ XVIII-го вѣка. То внѣшнее подражаніе, какое господствовало прежде, замѣняется все болѣе живымъ и глубокимъ пониманіемъ стараго классицизма: если съ одной стороны, классическія воспоминанія остаются изящнымъ украшеніемъ для совсѣмъ новой поэзіи, то, съ другой—является гораздо бо̀льшее умѣнье понять дѣйствительныя красоты античныхъ писателей, войти въ ихъ міровоззрѣніе, оцѣнить изящныя подробности. Все тѣ же классики занимаютъ русскую литературу и во времена Кантемира, и во времена Батюшкова, но на пространствѣ почти ста лѣтъ сдѣланы были большіе успѣхи: Батюшковъ, безъ сомнѣнія, глубже чувствуетъ тѣхъ Горація и Тибулла, которыхъ онъ такъ внимательно изучалъ, умѣетъ войти въ ихъ міросозерцаніе, съ которымъ сливается его собственное. Историки нашей литературы считаютъ особенной заслугой Батюшкова его антологическую поэзію, его искусство передать духъ древнихъ поэтовъ этого стиля. Раньше этого сдѣлано не было; но это художественное усвоеніе возможно было теперь только послѣ ряда прежнихъ работъ, послѣ того, какъ русская литература пріобрѣла бо̀льшую степень поэтической воспріимчивости, болѣе выработанный языкъ и форму.

Для цѣлаго достоинства литературы усвоеніе классическаго и иного поэтическаго матеріала было необходимо. Чтобы развить собственное и національное, чтобы дать ему подобающее мѣсто среди дѣятельности другихъ народовъ, нужно было усвоить то, что сдѣлано было другими, усвоить не внѣшнимъ образомъ, а путемъ внутренняго пониманія и свободно настроеннаго творчества. На первыхъ шагахъ литературы это было умственно и нравственно невозможно: антологическая дѣятельность Батюшкова, представленная многими, дѣйствительно прекрасными и искренними произведеніями, была возможна только какъ результатъ продолжительныхъ прежнихъ опытовъ и закрѣпляла въ литературѣ извѣстную долю пониманія классическаго міра. Такимъ образомъ, въ его дѣятельности сдѣланъ былъ извѣстный шагъ, за которымъ стали возможны дальнѣйшія ступени. Подобнымъ образомъ совершались и вообще пріобрѣтенія нашей литературы со стороны содержанія, а вмѣстѣ и языка. Одинъ и тотъ же писатель иноземной литературы, одно и то же произведеніе встрѣчаются въ русскихъ истолкованіяхъ на пространствѣ XVIII-го вѣка и начала нынѣшняго столѣтія, но чѣмъ дальше, тѣмъ пониманіе ихъ становится серьезнѣе, и наконецъ они провѣряются уже собственной критикой. Наша литература слѣдуетъ, обыкновенно болѣе или менѣе опаздывая, за основными явленіями европейской литературы и болѣе или менѣе переживаетъ ихъ собственною мыслію; и когда они такимъ образомъ усвоивались, то тѣмъ самымъ расширялось содержаніе нашей собственной литературы, тѣмъ свободнѣе становились ея собственные пріемы и смѣлѣе обработка матеріала русской жизни.

Батюшковъ въ этомъ отношеніи представляетъ особенно любопытный типъ писателя стараго вѣка, именно, первой четверти столѣтія. Это была натура несомнѣнно талантливая, хотя, повидимому, съ самаго начала болѣзненная и, быть можетъ, оттого нѣсколько неустойчивая. Его школьное образованіе было весьма неполное, но счастливыя личныя условія, собственная воспріимчивость и талантъ помогли ему пополнить недостатки школы,— хотя въ извѣстныхъ пунктахъ, какъ увидимъ, ему недоставало очень многаго. Средствомъ его дальнѣйшаго образованія осталась, конечно, литература—отчасти классики, къ которымъ приводилъ его Муравьевъ, а главнымъ образомъ владычествовавшая тогда литература французская. Выше упомянуто, что уже 14-ти лѣтъ онъ собирается читать «Кандида», и Вольтеръ надолго

остался для него источникомъ восхищенія и поученія. Чтеніе наводитъ его на поэтическіе мотивы и на философскія размышленія, но поэзія удается ему лучше философіи. Обстановка, въ которой онъ жилъ, была спокойно консервативная, а то, что онъ вычитывалъ у Вольтера, складывалось въ весьма мирное свободолюбіе, извѣстнаго рода либеральный идеализмъ. Такъ какъ его вольтеріанская философія была въ сущности мало опытнымъ дилеттанствомъ, то немудрено, что онъ послѣ въ значительной степени отказался отъ нея.

За классической лирикой и Вольтеромъ слѣдовалъ рядъ другихъ литературныхъ увлеченій и пристрастій: онъ заинтересованъ Оссіаномъ, скандинавской поэзіей, отголоски которой доходятъ до него черезъ французскія книги; еще въ пансіонѣ онъ сталъ заниматься итальянскимъ языкомъ и увлекается теперь Петраркой, Аріостомъ и Тассомъ—послѣдняго много переводитъ и воспѣваетъ въ собственныхъ элегіяхъ; англичане извѣстны ему мало; нѣсколько ближе онъ знаетъ нѣмцевъ, но въ первый разъ почувствовалъ настоящую силу нѣмецкой литературы только послѣ того, когда самъ былъ въ Германіи въ 1813 году; наконецъ, отъ знаетъ новую французскую лирику въ лицѣ Парни, и французскій романтизмъ въ лицѣ Шатобріана,

Всѣ эти литературныя стихіи отразились болѣе или менѣе въ его поэтической дѣятельности. Нельзя не видѣть, что въ его увлеченіяхъ было много случайнаго: его литературныя стремленія не складывались въ какомъ-нибудь ясно опредѣленномъ направленіи; это—страстный любитель, который въ разныхъ областяхъ европейской литературы ищетъ новыхъ впечатлѣній и отзывается на сочувственные мотивы. Нѣкоторыя изъ этихъ его литературныхъ знакомствъ, хотя для него весьма привлекательныхъ, были, однако, очень поверхностны, какъ, напр., знакомство съ поэзіей скандинавской и даже съ нѣмецкой литературой; литературу французскую онъ зналъ всего ближе, но и здѣсь многія основныя черты отъ него ускользали... Этотъ, всего чаще неглубокій, эклектизмъ характеризуетъ не одного Батюшкова, но и весь лучшій литературный кругъ того времени. Литературныя явленія, какъ и политическія событія, съ конца прошлаго вѣка быстро слѣдовали одни за другими, исполненныя часто глубокаго значенія. Въ содержаніи литературы и въ ея формахъ совершался, какъ и въ политическомъ строѣ Европы, могущественный переворотъ: старый аристократическій псевдо-

классицизмъ, съ его натянутой манерой, съ его условными или отвлеченными темами, падалъ безвозвратно; его смѣнялъ въ романтизмѣ свободный полетъ фантазіи, выбиравшій новыя капризныя формы; вступала въ свои права интимная жизнь чувства съ тѣмъ внутреннимъ разладомъ, въ которомъ отражалось тогдашнее броженіе началъ нравственныхъ и общественныхъ; наконецъ, взамѣнъ условнаго классическаго единообразія выступали разнообразнѣйшіе элементы національности, съ ихъ романтикой стараго преданія и современной народной поэзіи. Въ то же время въ другой области литература преисполнена была борьбой разнородныхъ ученій религіозныхъ политическихъ, историческихъ; возникала новая критика и новая теорія искусства.

Трудно было овладѣть одному человѣку всѣмъ этимъ богатымъ многообразіемъ европейской мысли, когда между самими литературами Европы далеко не было такого общенія, какое прочно установляется между ними теперь. Многія однородныя явленія совершались въ разныхъ литературахъ безъ взаимной связи, почти не зная одно о другомъ, — между тѣмъ какъ во многихъ случаяхъ они могли бы поддержать другъ друга... Не мудрено, что и къ намъ новые литературные результаты приходили съ тою случайностью, какую видимъ у Батюшкова. Она восполнялась тѣмъ, что трудъ изученія былъ раздѣленъ. Батюшковъ былъ одинъ изъ цѣлаго кружка солидарныхъ дѣятелей, соединенныхъ однимъ общимъ стремленіемъ обогащать содержаніе нашей литературы, и, дѣйствительно, изъ ихъ вкладовъ собиралось нѣчто общее, что давало литературѣ новый тонъ и новый видъ.

То новое литературное содержаніе, какое отличаетъ послѣдніе годы прошлаго вѣка и начало нынѣшняго, означаютъ обыкновенно именемъ школы сентиментальной, связываемой съ именемъ Карамзина, и романтической, гдѣ первое мѣсто отдается Жуковскому. Эти названія болѣе или менѣе вѣрны. Вступленіе новыхъ элементовъ въ литературную жизнь было замѣтно, между прочимъ, по той ожесточенной враждѣ, какую новыя направленія встрѣтили въ представителяхъ старомоднаго классицизма. Это была извѣстная борьба Шишкова и его партизановъ противъ послѣдователей Карамзина. Борьба была довольно смутная. Послѣдователи Шишкова не совсѣмъ понимали, чего хотѣли, и тѣмъ легче была защита, которую связываютъ обыкно-

венно съ именемъ такъ-называемаго «Арзамаса». — Вопросъ «о старомъ и новомъ слогѣ», поднятый Шишковымъ, обозначалъ, въ сущности, не одну только вражду къ Карамзинскимъ нововведеніямъ въ языкѣ, но и сидѣвшую въ людяхъ стараго вѣка антипатію ко всякимъ новымъ идеямъ, заходившимъ въ литературу: Карамзинъ, въ послѣдніе годы прошлаго столѣтія и въ первые годы нынѣшняго, имѣлъ, въ глазахъ этихъ людей, репутацію большого либерала. Относительно Шишкова высказывалась мысль, что онъ былъ именно защитникомъ здравыхъ русскихъ народныхъ началъ противъ иноземныхъ нововведеній; новый біографъ Батюшкова, кажется, не раздѣляетъ этого взгляда и видитъ въ нападеніяхъ Шишкова на его противниковъ только «простодушіе невѣжды и откровенность ограниченнаго человѣка» [1]. Какъ извѣстно, въ 1812 году Шишковъ высказывался, что писатели, искавшіе образцовъ во французской литературѣ, были виновниками не только «французской заразы», но и самаго нашествія Наполеона и пожара Москвы. Отсюда виденъ смыслъ его борьбы противъ «новаго слога»; но онъ понималъ вещи такъ смутно и защищалъ свои взгляды такъ нескладно, что въ результатѣ оставалось неизвѣстно, въ чемъ же долженъ былъ состоять русскій народный интересъ, въ виду тѣхъ заимствованій, которыя наполняли литературу. Его нападенія встрѣтили достаточный отвѣтъ отъ приверженцевъ Карамзина и новой литературы. Для многихъ, и въ томъ числѣ лучшихъ представителей новаго направленія, весь вопросъ сталъ только предметомъ остроумнаго шутовства: такъ казались нелѣпы и такъ дѣйствительно бывали нелѣпы обвиненія и проклятія Шишкова. Батюшковъ, по связямъ съ Муравьевымъ и по характеру своихъ произведеній скоро примкнувшій къ новому литературному кругу, во главу котораго ставился Карамзинъ (хотя, отдавшись своему историческому труду, послѣдній давно покинулъ прежнія литературныя занятія), — не могъ быть иного мнѣнія о дѣятельности Шишкова и отозвался на литературный споръ только шутливыми стихотвореніями: «Видѣніе на берегахъ Леты» (1809) и «Пѣвецъ въ Бесѣдѣ славяноросовъ» (1813). По поводу рѣчи, произнесенной Шишковымъ при открытіи извѣстной Бесѣды, Батюшковъ высказался очень рѣзко: «Иныя смѣялись, читая его слово, — писалъ онъ Гнѣдичу, — а я плакалъ.

---

[1]) Т. I, стр. 185, въ біографіи.

Вотъ образецъ нашего жалкаго просвѣщенія! Ни мыслей, ни ума, ни соли, ни языка, ни гармоніи въ періодахъ: une stérile abondance de mots, и все тутъ, а о ходѣ и планѣ не скажу ни слова. Это — академическая рѣчь? Гдѣ мы?.. И этотъ человѣкъ, и эти люді бранятъ Карамзина за мелкія ошибки и строки, написанныя въ молодости, но въ которыхъ дышетъ дарованіе! И эти люди хотятъ сдѣлать революцію въ словесности не образцовыми произведеніями, нѣтъ, а системою новою, глупою!» [1]) Батюшковъ былъ достаточно образованъ, чтобы понимать нелѣпость шишковскихъ нападеній и на новое направленіе, не представлявшее ничего зловреднаго, но способствовавшее успѣхамъ литературы въ обществѣ и развитію литературнаго вкуса, и на новый языкъ, относительнаго котораго онъ справедливо разсуждалъ, что языкъ не можетъ оставаться неподвижнымъ и, напротивъ, идетъ вмѣстѣ съ развитіемъ самаго общества и государства. Батюшковъ понималъ также, что не однажды разражавшіеся тогда нападки на галломанію представляютъ ту опасность, что, защищая патріотическій интересъ, они рядомъ проповѣдуютъ злостную вражду къ образованію, котораго и безъ того было слишкомъ мало.

Въ этомъ столкновеніи Батюшковъ стоялъ, безъ сомнѣнія, на лучшей сторонѣ общественнаго мнѣнія. Литературному дѣлу онъ оказалъ несомнѣнныя услуги расширеніемъ поэтическихъ интересовъ, вводя новые мотивы, расширяя знакомство съ произведеніями старой и новой иноземной поэзіи и такимъ образомъ расширяя опытъ, который былъ необходимъ для того, чтобы русская поэзія могла, наконецъ, выдвинуть свое собственное содержаніе на томъ же уровнѣ, какой давали современныя литературы Европы и который былъ нуженъ для ея самобытнаго достоинства. Но въ этой дѣятельности Батюшкова были, однако, существенные пробѣлы: одна доля ихъ, вѣроятно, должна быть отнесена на счетъ болѣзненности, которая издавна надъ нимъ тяготѣла и окончилась его послѣднимъ прискорбнымъ недугомъ; съ другой стороны, эти пробѣлы принадлежатъ цѣлому поколѣнію. Въ данный моментъ историческое развитіе не можетъ дать больше того, что́ возможно для общества по его общему умственному и нравственному состоянію: для каждаго дальнѣйшаго пріобрѣтенія на историческомъ поприщѣ требуется новый

---

[1]) Т. I, стр. 135—136, въ біографіи.

запасъ силъ, которыя, воспользовавшись предыдущимъ, ведутъ дѣло дальше къ новой ступени развитія. Поколѣніе, къ которому принадлежалъ Батюшковъ, сдѣлало свое дѣло въ десятыхъ и двадцатыхъ годахъ столѣтія. Поколѣніе, съ лучшими представителями котораго онъ былъ связанъ близкой и искренней дружбой, были — Жуковскій, князь П. А. Вяземскій, А. И. Тургеневъ, Уваровъ, Гнѣдичъ, Блудовъ и вообще такъ-называемый «Арзамасъ». Многіе изъ сверстниковъ и друзей Батюшкова продолжали дѣйствовать долго послѣ того, какъ прекратилась его собственная дѣятельность; но никто изъ нихъ уже не пошелъ дальше тѣхъ идей, какія были содержаніемъ ихъ кружка въ первой четверти столѣтія. Такова была, напр., дѣятельность Жуковскаго: онъ много работалъ и послѣ, далъ нашей литературѣ много прекрасныхъ произведеній, только расширявшихъ ту самую область, которая была уже имъ выбрана раньше; точно также и другіе. Этотъ кружокъ, и Батюшковъ въ томъ числѣ, привѣтствовалъ Пушкина, но литературный подвигъ Пушкина затмилъ ихъ не только силой могущественнаго дарованія, но глубиной и новостью содержанія, котораго они не могли не признать, но которое было выше ихъ собственныхъ средствъ. Сличая идеи этого кружка съ идеями пушкинской дѣятельности, бросается въ глаза, что первыя составляли именно только приготовительную ступень, которая, будучи для нихъ дѣломъ ихъ зрѣлаго труда, для Пушкина стала только юношескимъ урокомъ и ученическимъ опытомъ.

Нѣсколько примѣровъ объяснитъ это различіе двухъ поколѣній. Разница двухъ историческихъ ступеней, на которыхъ онѣ стояли, обнаруживается въ особенности въ отношеніи каждаго изъ нихъ къ явленіямъ русской жизни. Какъ ни странно сказать о писателяхъ, занимающихъ такое видное мѣсто въ исторіи русской литературы, какъ Батюшковъ и даже Жуковскій, но ихъ отношеніе къ русской жизни было очень далекое. Ихъ мысль и фантазія витали въ области идеальныхъ представленій, навѣянныхъ европейской литературой, въ области внутренняго чувства, и здѣсь ихъ поэтическая работа была большимъ успѣхомъ литературы, какъ новый матеріалъ для образовательно-художественнаго и нравственнаго воспитанія; но они были далеки отъ простой русской дѣйствительности и ея историческаго преданія. Какъ мы выше упоминали, мы узнаёмъ внутреннее развитіе того поколѣнія, и Батюшкова въ томъ

числѣ, лишь по отрывочнымъ біографическимъ даннымъ, случайно оставшимся въ иномъ письмѣ, въ иномъ позднемъ воспоминаніи другого лица, въ намекѣ стихотворенія и т. п.; но при всей неполнотѣ этихъ показаній они даютъ видѣть взгляды этихъ лицъ на разныя отношенія русской жизни. Обратимъ, напр., вниманіе на отношеніе Батюшкова къ русской давней и недавней старинѣ. Извѣстно, въ какой степени эта старина интересовала Пушкина; онъ читалъ ея памятники, онъ съ жадностью собиралъ преданія о людяхъ и нравахъ недавняго прошлаго, прислушивался къ народной поэзіи, старался представить себѣ внутренній ходъ политической жизни русскаго общества, думалъ, наконецъ, что самъ можетъ стать историкомъ; правда, онъ не пускался въ археологическія подробности, но у него была нерѣдко замѣчательная отгадка смысла событій и живой стороны прошедшаго. Ничего подобнаго мы не найдемъ у Батюшкова. Его отношеніе къ старинѣ и народности есть отношеніе свѣтскаго человѣка, который занимается литературой какъ дилеттантъ, пугается «учености», даже самой умѣренной, и имѣетъ слабое понятіе о русской исторіи. Г. Майковъ, объясняя, что во время упомянутаго шишковско-карамзинскаго спора «справедливая идея (т. е. защита національности въ литературѣ) въ неумѣлыхъ и невѣжественныхъ рукахъ получила смѣшной и нелѣпый видъ», находитъ понятнымъ, что Батюшковъ могъ уклониться въ противоположную крайность [1]). Но мысли Батюшкова о русской исторіи, какія біографъ здѣсь указываетъ, очевидно не были вызваны однимъ разгаромъ спора: этотъ споръ далъ писателю только поводъ высказать взглядъ, который былъ его обычнымъ взглядомъ. Вотъ что именно пишетъ Батюшковъ въ 1809 г. къ своему другу Гнѣдичу: «Нѣтъ, невозможно читать русской исторіи хладнокровно, то-есть, съ разсужденіемъ. Я сто разъ принимался: все равно. Она дѣлается интересною только со временъ Петра Великаго. Подивись, подивимся мелкимъ людямъ, которые роются въ этой пыли. Читай римскую, читай греческую исторію, и сердце чувствуетъ, и разумъ находитъ пищу. Читай исторію среднихъ вѣковъ, читай басни, ложь, невѣжество нашихъ праотцевъ, читай набѣги половцевъ, татаръ, литвы и проч., и если книга не выпадетъ изъ рукъ твоихъ, то я скажу: или ты великій,

[1]) Т. I, стр. 99, въ біографіи.

или мелкій человѣкъ! Нѣтъ середины! Великій, ибо видишь чувствуешь то, чего я не вижу; мелкій, ибо занимаешься пустяками. Жанъ-Жакъ говоритъ: Car ne vous laissez par éblouir par ceux qui disent, que l'histoire la plus intéressante pour chacun est celle de son pays. Cela n'est pas vrai. Il y a des pays dont l'histoire ne peut pas être même lue, à moins qu'on ne soit imbécile ou négociateur» [1]). Батюшковъ нападаетъ при этомъ на одного изъ сторонниковъ шишковской школы, Писарева, который покушался писать о русской исторіи и напомнилъ Батюшкову Тредьяковскаго... «Отъ одного слова русское, не кстати употребленнаго, у меня сердце не на мѣстѣ». Далѣе онъ говоритъ въ томъ же письмѣ: «Еще два слова: любить отечество должно. Кто не любитъ его, тотъ извергъ. Но можно ли любить невѣжество? Можно ли любить нравы, обычаи, отъ которыхъ мы отдалены вѣками и, что еще болѣе, цѣлымъ вѣкомъ просвѣщенія? Зачѣмъ же эти усердные маратели выхваляютъ все старое? Я умѣю разрѣшить эту задачу, знаю, что и ты умѣешь, — и такъ, ни слова. Но повѣрь мнѣ, что эти патріоты, жаркіе декламаторы, не любятъ или не умѣютъ любить русской земли. Имѣю право сказать это, и всякій пусть скажетъ, кто добровольно хотѣлъ принести жизнь на жертву... Да дѣло не о томъ: Глинка называетъ Вѣстникъ свой Русскимъ, какъ будто пишетъ въ Китаѣ для миссіонеровъ или пекинскаго архимандрита. Другіе, а ихъ тысячи, жужжатъ, нашептываютъ; русское, русское, русское... а я потерялъ вовсе терпѣніе!» [2]).

Въ приведенныхъ словахъ, вызванныхъ крайностями шишковской школы, была доля правды, но было и простое непониманіе русской исторіи. Мы видимъ здѣсь пока только инстинктъ, который вѣрно подсказывалъ антипатію къ злоупотребленію патріотической терминологіи, когда подъ ней не было здраваго содержанія. Литературный тактъ, выработанный Батюшковымъ въ его школѣ, помогалъ ему видѣть, что было нескладнаго и фальшиваго въ томъ отношеніи къ русской старинѣ и націо-

---

[1]) Любопытно сличить этотъ отзывъ съ мнѣніями людей стараго (и для Батюшкова) вѣка, какъ, напр., Завадовскій, слова котораго приводятся, между прочимъ, въ статьѣ г. Брикнера объ «Архивѣ кн. Воронцова» [«Вѣстникъ Европы» 1887, №№ 8—9]. Завадовскій точно также совсѣмъ не понималъ русской старины, и интересъ въ русской исторіи видѣлъ именно только со временъ Петра Великаго.

[2]) Т. III, стр. 56—58.

нальности, какимъ отличались Шишковъ и его приверженцы; но онъ не въ состояніи былъ замѣнить ихъ чѣмъ-нибудь положительнымъ. Онъ искалъ въ исторіи литературной красивости или философскихъ сентенцій, съ какими понималъ исторіографію XVIII вѣкъ; ему какъ будто не приходило на мысль, что первая задача исторіи—установить достовѣрные факты, разыскать ихъ соотношенія и найти связь прошедшаго съ настоящимъ; что для этой первой задачи необходимо переизслѣдовать всѣ разнородные сохранившіеся памятники древности—безъ чего исторія даже въ рукахъ талантливаго человѣка, не Писарева, была бы однимъ пустословіемъ. Онъ дивится людямъ, которые «роются въ пыли» русской старины, догадывается только, что въ этомъ есть что-то нужное [1]), но забываетъ или не думаетъ, что въ это самое время точно также «рылся въ пыли» Карамзинъ.

Подобное неясное отношеніе къ старинѣ и народности повторяется въ разсужденіяхъ Батюшкова о русскомъ языкѣ, литературномъ и народномъ. Онъ опять съ вѣрнымъ инстинктомъ чувствуетъ, что было фальшиваго, неизящнаго и даже противонароднаго въ стремленіяхъ Шишкова наполнить русскій книжный языкъ славянщиной. Въ 1816 году онъ пишетъ Гнѣдичу, по поводу разсужденія Каченовскаго о славянскихъ діалектахъ. «Я не критикъ, — говоритъ онъ, — я невѣжда, но, кажется, онъ рѣжетъ истину». Каченовскій придерживался того мнѣнія, что библія была переведена первоначально на сербское нарѣчіе, а «славянскій» языкъ вовсе исчезъ и, можетъ быть, чистый и не существовалъ, потому что «подъ именемъ славянъ мы разумѣли всѣ поколѣнія славенскія, говорившія разными нарѣчіями, весьма отличными одно отъ другого». Батюшковъ радовался этой ученой новости. «Онъ разбудитъ славянофиловъ. Если правду говоритъ Каченовскій, то каковъ Шишковъ съ партіей! Они влюблены были въ Дульцинею, которая никогда не существовала. Варвары, они исказили языкъ нашъ славенщизною! Нѣтъ, никогда я не имѣлъ такой ненависти къ этому мандаринному, рабскому, татарско-славенскому языку, какъ теперь! Чѣмъ болѣе вникаю въ языкъ нашъ, чѣмъ болѣе пишу и раз-

[1]) Напр., въ 1816 году въ письмѣ къ Гнѣдичу онъ отказывается напечатать «Видѣніе на берегахъ Леты», между прочимъ, чтобы не огорчить Дмитрія Языкова, который «питается пылью». Сочин. т. III, стр. 389.

мышляю, тѣмъ болѣе удостовѣряюсь, что языкъ нашъ не терпитъ славенизмовъ, что верхъ искусства — похищать древнія слова и давать имъ мѣсто въ нашемъ языкѣ, котораго грамматика, синтаксисъ, однимъ словомъ, все—противно сербскому нарѣчію. Когда переведутъ священное писаніе на языкъ человѣческій? Дай Боже! Желаю этого!» [1])

Опять инстинктъ Батюшкова былъ вѣренъ, потому что въ шишковскомъ языкѣ дѣйствительно было нѣчто «мандаринное», какъ выражается Батюшковъ, нѣчто условно-казенное и въ концѣ концовъ даже противонародное; но несмотря на то, что Батюшковъ самъ много сдѣлалъ для усовершенствованія нашей литературной рѣчи, онъ еще не чувствовалъ всей силы, на какую способенъ русскій языкъ. По поводу своего итальянскаго чтенія и затѣмъ по поводу знаменитой своей элегіи на тему смерти Тасса, Батюшковъ, увлекавшійся красотою и звучностію итальянскаго языка, не разъ находилъ русскій грубымъ и варварскимъ. Въ 1811 году онъ пишетъ Гнѣдичу: «Отгадайте, на что я начинаю сердиться? На что? На русскій языкъ и на нашихъ писателей, которые съ нимъ немилосердно поступаютъ. И языкъ-то по себѣ плоховатъ, грубенекъ, пахнетъ татарщиной Что за ы? Что за щ, что за ш, ш і й, щ і й, п р ы, т р ы? О варвары! А писатели? Но Богъ съ ними! Извини, что я сержусь на русскій народъ и на его нарѣчіе. Я сію минуту читалъ Аріоста, дышалъ чистымъ воздухомъ Флоренціи, наслаждался музыкальными звуками авзонійскаго языка и говорилъ съ тѣнями Данта, Тасса и сладостнаго Петрарка, изъ устъ котораго что слово, то блаженство». Позднѣе, въ статьѣ объ Аріостѣ и Тассѣ, онъ говоритъ объ итальянскомъ языкѣ, въ сравненіи съ языками сѣверными: «Языкъ гибкій, звучный, сладостный языкъ, воспитанный подъ счастливымъ небомъ Рима, Неаполя и Сициліи, среди бурь политическихъ и потомъ при блестящемъ дворѣ Медицисовъ, языкъ, образованный великими писателями, лучшими поэтами, мужами учеными, политиками глубокомысленными, — этотъ языкъ сдѣлался способнымъ принимать всѣ виды и всѣ формы. Онъ имѣетъ характеръ, отличный отъ другихъ новѣйшихъ нарѣчій и коренныхъ языковъ, въ которыхъ менѣе или болѣе примѣтна суровость, глухіе или дикіе звуки, медленность въ выговорѣ и нѣчто принадлежащее Сѣверу». «Умирающій

[1]) Т. III, стр. 409—410.

Тассъ» (1816) внушаетъ Батюшкову такое размышленіе:« Я смѣшонъ, по совѣсти. Не похожъ ли я на слѣпого нищаго, который, услышавъ прекраснаго виртуоза на арфѣ, вдругъ вздумалъ воспѣвать ему хвалу на волынкѣ или балалайкѣ? Виртуозъ—Тассъ, арфа—языкъ Италіи его, нищій—я, а балалайка—языкъ нашъ, жестокій языкъ, что ни говори». Но около того же времени онъ вноситъ въ свою записную книжку слѣдующія замѣчанія. «Каждый языкъ имѣетъ свое словотеченіе, свою гармонію, и странно было бы русскому, или итальянцу, или англичанину писать для французскаго уха, и наоборотъ. Гармонія, мужественная гармонія не всегда прибѣгаетъ къ плавности. Я не знаю плавнѣе этихъ стиховъ:

На свѣтло-голубомъ эѳирѣ
Златая плавала луна, и пр.

и оды «Соловей» Державина. Но какая гармонія въ «Водопадѣ» и въ одѣ на смерть Мещерскаго:

Глаголъ временъ, металла звонъ» [1]).

И это предубѣжденіе противъ русскаго языка высказывалось писателемъ, которому принадлежитъ въ до-пушкинское время великая заслуга въ образованіи нашей поэтической рѣчи, гдѣ ему приписывается даже бо́льшее мастерство, чѣмъ у Жуковскаго. Надо думать, что при всемъ художественномъ настроеніи онъ не имѣлъ того глубокаго чутья народнаго языка, какое послѣ отличало Пушкина—хотя, впрочемъ, и нашъ великій поэтъ сказалъ однажды, что французскій языкъ ему болѣе привыченъ, нежели русскій.

Батюшкову чужда была и область народно-поэтическаго преданія. Мы упоминали, что романтическая струя затронула и Батюшкова, какъ показываютъ его экскурсіи въ скандинавскую поэзію и въ Оссіана; но онъ подшучивалъ надъ мистическимъ романтизмомъ Жуковскаго, надъ его пристрастіемъ къ исторіямъ о чертяхъ, вѣдьмахъ, мертвецахъ и т. п., и, кажется, въ самомъ дѣлѣ не имѣлъ вкуса къ народно-поэтическому сказанію и не имѣлъ предчувствія того, какой скрывается въ немъ обильный матеріалъ для развитія національной поэзіи. Въ одномъ письмѣ къ Гнѣдичу 1811 года онъ говоритъ: «Жуковскій написалъ балладу, въ которой стихи прекрасны, а сюжетъ взятъ на Спасскомъ мосту» [2]). На Спасскомъ мосту, о которомъ поминали еще са-

---

[1]) Т. I, стр. 234—236; т. II, стр. 149, 340; т. III, стр. 164, 457.
[2]) Т. III, стр. 111.

тирики конца прошлаго вѣка, смѣявшіеся надъ простонародной поэзіей, шла, повидимому, и теперь торговля незамысловатыми произведеніями народной повѣсти и сказки, и въ шуточной ссылкѣ Батюшкова сквозитъ это же старое нерасположеніе къ простонародной музѣ. Но въ литературахъ европейскихъ, гдѣ Батюшковъ и его друзья еще искали образцовъ и руководства, народное преданіе пріобрѣтало все большую роль, и даже въ литературѣ французской, которая осталась всего дальше отъ народно-поэтическаго романтизма, Батюшковъ находилъ у своего любимца Парни скандинавскій сюжетъ, которымъ воспользовался для своего стихотворенія. Слѣдовало ли оставлять безъ вниманія русскую историческую старину? Дружескій кружокъ, повидимому, согласно находилъ, что не слѣдовало, тѣмъ больше, что первыя пробы этого рода были давно сдѣланы Карамзинымъ, Радищевымъ и другими. Жуковскій, уже обращавшійся къ источнику народныхъ сказаній, задумывалъ, какъ извѣстно, цѣлую поэму изъ древне-русской исторіи; но этотъ «Владиміръ», къ которому поощрялъ его и Батюшковъ, остался неисполненнымъ. Самъ Батюшковъ попробовалъ свои силы въ повѣсти изъ русской древности подъ заглавіемъ: «Предслава и Добрыня» (1810). Повѣсть не была, впрочемъ, напечатана самимъ Батюшковымъ и появилась уже въ 1832 году, когда дѣятельность Батюшкова давно прекратилась. Повѣсть относится къ временамъ кіевскаго князя Владиміра. Нечего и говорить, что въ ней, кромѣ именъ Владиміра и Добрыни, кромѣ двухъ-трехъ археологическихъ подробностей, найденныхъ въ двухъ-трехъ книгахъ, нѣтъ ровно ничего ни историческаго, ни народнаго. Батюшковъ, видимо, подражалъ здѣсь повѣсти Муравьева, также изъ древне-кіевской эпохи («Оскольдъ»): та же неестественная высокопарная манера, то же притязаніе рисовать величественныя картины и нѣжныя чувства. Для сохраненія колорита времени Батюшковъ счелъ нужнымъ сдѣлать историческія справки—съ лѣтописью Нестора, съ книгой Кайсарвоа о славяно-русской миѳологіи; но они мало помогли ему, и къ ошибкамъ Кайсарова онъ прибавилъ еще весь фальшивый тонъ своего разсказа, натянутаго и слащаваго. Очень возможно, что Батюшковъ въ свое время не отдавалъ въ печать этого разсказа потому именно, что самъ чувствовалъ его недостатки.

Отношеніе Батюшкова къ ближайшей исторіи несовсѣмъ ясно. Онъ мало касается нашего XVIII вѣка, и только къ пе-

тровской реформѣ онъ не разъ возвращается въ своихъ разсужденіяхъ. Взглядъ на Петра есть общій тогда взглядъ образованныхъ людей, какъ онъ былъ изложенъ, напр., Карамзинымъ въ «Письмахъ русскаго путешественника». Петръ Великій создалъ Россію, впервые выведя ее изъ невѣжества къ просвѣщенію, далъ ей славу оружія, высоко поставилъ государство. Петровское преобразованіе есть для Батюшкова настоящее начало русской исторіи,—старины до-петровской онъ не любитъ и не знаетъ, и даже мало интересуется знать. Подобнымъ образомъ, Ломоносовъ есть первый основатель русской литературы. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ Батюшковъ довольствуется однимъ панегирикомъ: повидимому, подробности петровскаго дѣла, какъ и подробности ломоносовской реформы, занимали его мало.

Если исторія представлялась ему лишь въ общихъ, неопредѣленныхъ очертаніяхъ (а древность была и совсѣмъ непонятна, облекаясь въ чисто произвольныя черты, книжно - выдуманныя), если чуждо было ему и народное преданіе, то не мудрено, что и въ его отношеніи къ современной дѣйствительности, насколько она соприкасалась съ исторіей, мы находимъ нѣчто несвободное и искусственное. Возьмемъ одинъ примѣръ. Передъ двѣнадцатымъ годомъ Батюшковъ не разъ и по долгу живалъ въ Москвѣ: Москва того времени была, безъ сомнѣнія, очень оригинальна. Заброшенная столица, она сохраняла, однако, разнообразное значеніе стариннаго центральнаго города, гораздо больше богатаго тогда, чѣмъ теперь, памятниками, обычаями и преданіями старины; здѣсь былъ пріютъ стараго боярства, которое отправлялось сюда жить на покой послѣ политическихъ придворныхъ треволненій, которыми такъ богато было XVIII-е столѣтіе, и гдѣ, забытое Петербургомъ, не встрѣчало препятствій своему нраву и разнообразило свой вѣкъ всякими причудами, средства на которыя давало накопленное въ счастливые годы крѣпостное богатство; здѣсь съ до-петровскихъ временъ хранилась нерушимо бытовая старина, не сломленная реформой; но здѣсь же былъ и пріютъ новыхъ дворянскихъ нравовъ: по словамъ Карамзина, Москва была «столицей россійскаго дворянства», куда охотнѣе, чѣмъ въ Петербургъ, «отцы везутъ дѣтей для воспитанія и люди свободные ѣдутъ наслаждаться пріятностями общежитія». Много дѣлало при этомъ то, что Москва и въ новой имперіи осталась старымъ топографическимъ центромъ, который гораздо ближе Петербурга былъ къ среднимъ губер-

ніямъ, составлявшимъ производительный центръ Россіи и владѣвшимъ наиболѣе многолюднымъ помѣщичьимъ населеніемъ. Словомъ, Москва больше, чѣмъ какой-нибудь другой русскій городъ, совмѣщала въ себѣ все разнообразіе бытовыхъ формъ до-петровскихъ и послѣ-петровскихъ, старинные нравы, вѣрные Домострою, и новѣйшее образованіе на французскій ладъ, всю пестроту жизни, выведенной изъ прежняго однообразнаго покоя и не установившейся въ новомъ бытовомъ складѣ. Двѣнадцатый годъ унесъ безвозвратно многое изъ цѣлаго русскаго быта: погибло много памятниковъ старины и много старыхъ обычаевъ, которые уже не возвратились въ Москву, заново построенную и заново населенную... Эту именно Москву описывалъ Батюшковъ въ статьѣ: «Прогулка по Москвѣ» (1810). Батюшковъ не былъ москвичъ, и естественно, что его должна была поразить картина жизни, слишкомъ непохожей на ту, какую онъ видалъ въ Петербургѣ. Онъ очень замѣтилъ эту разницу, догадывался о сложномъ историческомъ характерѣ, который представляла Москва; ему бросились въ глаза разнообразіе и противорѣчія московской жизни; онъ былъ достаточно умнымъ наблюдателемъ,—и тѣмъ не менѣе его картина мало удовлетворитъ наши ожиданія. Передъ нимъ былъ богатый матеріалъ для картины; онъ самъ пересчитываетъ этотъ матеріалъ, и тѣмъ не менѣе изображеніе остается блѣднымъ. Одну причину онъ указываетъ откровенно самъ. Статья имѣетъ видъ письма къ другу: другъ желалъ отъ него описанія Москвы; авторъ отказывается дать его по двумъ причинамъ. «Первое—потому, что я не въ силахъ удовлетворить твоему любопытству за неимѣніемъ достаточныхъ свѣдѣній историческихъ, и пр. и пр., которыя необходимо нужны; ибо здѣсь на всякомъ шагу встрѣчаемъ памятники вѣковъ протекшихъ, но сіи памятники безмолвны для невѣжды, а я притворяться ученымъ не умѣю. Вторая причина—лѣность, причина весьма важная!» Дѣйствительно, историческія свѣдѣнія были бы не лишними, чтобы передать сохранившіяся черты старинной Москвы, которыхъ въ то время было очень много, и жаль, что «лѣнь» (довольно распространенная тогда модная манера эпикурейскаго, или разочарованнаго, или барскаго бездѣлья) мѣшала писателю. По тогдашней, а также и болѣе поздней поэтической манерѣ онъ, дѣйствительно, даетъ своему описанію характеръ болтовни человѣка, который разсказываетъ только то, что прямо бросается въ глаза,

которому лѣнь вникать въ представляющіяся ему картины и черты нравовъ и который небрежно разбрасываетъ свои замѣтки, наблюденія и остроты. Форма была весьма благодарная, потому что ни къ чему не обязывала, но, просматривая статью, думается, что только она и была по силамъ автору. Правда, самъ авторъ былъ еще очень молодъ въ то время, и на этомъ основаніи можно было бы не предъявлять къ статьѣ особыхъ требованій; но думаемъ, что она характерна и для позднѣйшаго Батюшкова. Въ ней сказывается цѣлая точка зрѣнія. Какъ мы сказали, матеріалъ для описанія до-пожарной Москвы представлялся здѣсь богатый и оригинальный. Въ самой статьѣ Батюшкова намѣчены многія бросавшіяся въ глаза противоположности внѣшняго вида и нравовъ старой Москвы.

«Теперь, на досугѣ,—пишетъ Батюшковъ своему другу,—не хочешь ли со мною прогуляться въ Кремль? Дорогою я невольно восклицать буду на каждомъ шагу: это исполинскій городъ, построенный великанами; башня на башнѣ, стѣна на стѣнѣ, дворецъ возлѣ дворца! Странное смѣшеніе древняго и новѣйшаго зодчества, нищеты и богатства, нравовъ европейскихъ съ нравами и обычаями восточными! Дивное, непостижимое сліяніе суетности, тщеславія и истинной славы и великолѣпія, невѣжества и просвѣщенія, людкости и варварства. Не удивляйся, мой другъ: Москва есть вывѣска или живая картина нашего отечества. Посмотри: здѣсь, противъ зубчатыхъ башенъ древняго Китай-города, стоитъ прелестный домъ новѣйшей итальянской архитектуры! въ этотъ монастырь, построенный при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, входитъ какой-то человѣкъ въ длинномъ кафтанѣ, съ окладистою бородою, и тамъ къ булевару кто-то пробирается въ модномъ фракѣ: и я, видя отпечатки древнихъ и новыхъ временъ, вспоминаю прошедшее, сравнивая оное съ настоящимъ, тихонько говорю про себя: Петръ Великій много сдѣлалъ и ничего не кончилъ» [1].

Читатель могъ бы спросить: отчего же нужно было говорить «тихонько про себя», и худо или хорошо было, что Петръ Великій много сдѣлалъ и ничего не кончилъ, да и можно ли было ему вообще кончить то, что онъ началъ? Притомъ, коечто и «кончилъ». Въ болѣе поздней статьѣ: «Вечеръ у Кантемира» (1816) Батюшковъ, заставляя Кантемира спорить съ

---

[1]) Т. II стр. 20.

Монтескьѣ, сомнѣвавшимся въ возможности привить въ Россіи просвѣщеніе, и безъ сомнѣнія влагая ему въ уста свои собственные взгляды, находилъ, что Петръ Великій и не могъ достигнуть сразу всего и что за одними успѣхами должны были впослѣдствіи придти другіе.

«Войдемъ теперь въ Кремль,—продолжаетъ авторъ,—направо, налѣво мы увидимъ величественныя зданія, съ блестящими куполами, съ высокими башнями, и все это обнесено твердою стѣною. Здѣсь все дышетъ древностію: все напоминаетъ о царяхъ, о патріархахъ, о важныхъ происшествіяхъ; здѣсь каждое мѣсто ознаменовано печатью вѣковъ протекшихъ. Здѣсь все противное тому, что мы видимъ на Кузнецкомъ мосту, на Тверской, на булеварѣ, и пр. Тамъ книжныя французскія лавки, модные магазины, которыхъ уродливые вывѣски заслоняютъ цѣлые дома, часовые мастера, погреба, и словомъ, всѣ снаряды моды и роскоши. Въ Кремлѣ все тихо, все имѣетъ какой-то важный и спокойный видъ; на Кузнецкомъ мосту все въ движеніи:

Корнеты, чепчики, мужья и сундуки.

«А здѣсь одни монахи, богомольцы, должностные люди и нѣсколько часовыхъ».

Показавъ своему пріятелю картину Москвы и Кремля при закатѣ солнца, авторъ замѣчаетъ: «Здѣсь представляется взорамъ картина, достойная величайшей въ мірѣ столицы, построенной величайшимъ народомъ на пріятнѣйшемъ мѣстѣ. Тотъ, кто, стоя въ Кремлѣ и холодными глазами смотрѣлъ на исполинскія башни, на древніе монастыри, на величественное Замоскворѣчье, не гордился своимъ отечествомъ и не благословлялъ Россіи, для того (и я скажу это смѣло) чуждо все великое, ибо онъ былъ жалостно ограбленъ природою при самомъ его рожденіи; тотъ поѣзжай въ Германію и живи, и умирай въ маленькомъ городкѣ, подъ тѣнью приходской колокольни съ мирными германцами, которые, углублясь въ мелкіе политическіе разсчеты, протянули руки и выи для принятія оковъ гнуснѣйшаго рабства».

Прибавимъ еще одну подробность. Онъ рисуетъ московскіе типы изъ «образованнаго» круга. «Зайдемъ въ конфектный магазинъ, гдѣ жидъ или гасконецъ Гоа продаетъ мороженое и всякія сласти. Здѣсь мы видимъ большое стеченіе московскихъ франтовъ въ лакированныхъ сапогахъ, въ широкихъ

англійскихъ фракахъ и въ очкахъ и безъ очковъ, и растрепанныхъ, и причесанныхъ. Этотъ, конечно, англичанинъ: онъ, розиня ротъ, смотритъ на восковую куклу. Нѣтъ, онъ русакъ и родился въ Суздалѣ. Ну, такъ этотъ—французъ: онъ картавитъ и говоритъ съ хозяйкой о знакомомъ ей чревовѣщателѣ, который въ прошломъ годѣ забавлялъ весельчаковъ парижскихъ. Нѣтъ, это—старый франтъ, который не ѣзжалъ далѣе Макарья и, промотавъ родовое имѣніе, наживаетъ новое картами. Ну, такъ это—нѣмецъ, этотъ бѣдный высокій мужчина, который вошелъ съ прекрасною дамою? Ошибся! И онъ русскій, а только молодость провелъ въ Германіи. По крайней мѣрѣ жена его иностранка; она насилу говоритъ порусски. Еще разъ ошибся! Она русская, любезный другъ, родилась въ приходѣ Неопалимой Купины и кончитъ жизнь свою на святой Руси. Отчего же они всѣ хотятъ прослыть иностранцами, картавятъ и кривляются, отчего?»

Повидимому, Батюшковъ подходилъ близко къ существенным чертамъ тогдашнихъ нравовъ помѣщичьяго круга, московскаго высшаго общества, и, однако, эскизъ остается неясенъ. Приведенная картинка мало говоритъ о нравахъ, которые онъ хотѣлъ изображать, Батюшковъ останавливается на одномъ намекѣ, такъ сказать, на общихъ мѣстахъ, въ родѣ того, какъ нѣкогда сатирики XVIII-го вѣка изображали петиметровъ и кокетокъ, имѣвшихъ, въ сущности, только отдаленное сходство съ живою дѣйствительностью. Сатира и картина нравовъ, какія рисовались въ нашей литературѣ XVIII-го вѣка, были, какъ извѣстно, весьма условны, писались съ иностранныхъ образцовъ, ограничивались самыми неопредѣленными, общими человѣческими пороками; чисто и исключительно русскія черты отъ нихъ ускользали. Отголосокъ этой манеры представляютъ и приведенные очерки Батюшкова. Въ своемъ разсказѣ онъ дѣлаетъ кое-гдѣ и анекдотическіе намеки на извѣстныя лица, но это не увеличиваетъ яркости изображенія. Вспоминается невольно блестящая картина, въ которой немного времени спустя нарисовалъ Москву послѣ-пожарную Грибоѣдовъ; вспоминаются старомодныя, но несомнѣнно рисующія русскую жизнь изображенія Радищева. Не говоримъ о томъ, какая блестящая картина этой самой до-пожарной Москвы дана была въ знаменитомъ произведеніи современнаго намъ писателя. Не говоримъ о различіи степени таланта, но очевидно была

глубокая разница въ самомъ тонѣ мысли у нашего писателя и у автора «Горя отъ ума»; наконецъ, подобныя черты несравненно ярче рисовались въ произведеніяхъ ближайшаго современника, какъ Пушкинъ. Какъ мы видѣли, основная черта картины Москвы была довольно понятна и Батюшкову, но въ мысляхъ того поколѣнія и того круга еще недоставало сознательнаго отношенія къ окружавшей его дѣйствительности: его останавливаютъ только внѣшнія черты видѣнной картины.

Въ самомъ дѣлѣ, таковъ былъ не одинъ Батюшковъ: съ нимъ сходенъ былъ весь «Арзамасъ», къ которому онъ принадлежалъ. Какъ извѣстно, «Арзамасъ» совмѣщалъ въ себѣ, такъ сказать сливки тогдашняго литературнаго круга. Со словъ современниковъ, сохранившихъ о немъ дружественныя воспоминанія, было довольно распространено мнѣніе о большомъ и благотворномъ вліяніи его на успѣхи литературы. Новѣйшій біографъ Батюшкова сомнѣвается въ этомъ. Онъ говоритъ: «Арзамасъ пользуется почетною извѣстностью въ преданіяхъ нашего общества и литературы; было даже высказано мнѣніе, что подъ его вліяніемъ писались въ то время стихи лучшихъ нашихъ поэтовъ, что его вліяніе отразилось, можетъ быть, на иныхъ страницахъ «Исторіи» Карамзина. Но чѣмъ болѣе накопляется свѣдѣній объ этомъ пріятельскомъ литературномъ кружкѣ, тѣмъ очевиднѣе выясняется слабое дѣйствіе его на умственное движеніе своего времени. Не подлежитъ, конечно, сомнѣнію, что члены Арзамаса, и въ особенности главные его дѣятели, были люди очень умные, очень даровитые, прекрасно образованные, съ развитымъ вкусомъ, съ искреннею любовью къ словесности и просвѣщенію, съ желаніемъ общей пользы; но случайное происхожденіе этого литературнаго братства и отсутствіе всякой опредѣленной цѣли при его основаніи, а затѣмъ еще болѣе случайное и безцѣльное расширеніе его состава были коренными причинами незначительной дѣятельности кружка и его скораго распаденія. Говорятъ, что направленіе Арзамаса было преимущественно критическое, что «лица, составлявшія его, занимались строгимъ разборомъ литературныхъ произведеній, примѣненіемъ къ языку и словесности отечественной всѣхъ источниковъ древней и иностранныхъ литературъ, изысканіемъ началъ, служащихъ основаніемъ твердой, самостоятельной теоріи языка и пр.». Быть можетъ,—но, къ сожалѣнію, въ нашей литературѣ не осталось слѣдовъ совокупной дѣятельности арзамасцевъ въ этомъ направленіи; они собирались что-то дѣлать,

но ничего не сдѣлали сообща; а что сдѣлано нѣкоторыми изъ нихъ порознь, того нельзя ставить въ общую заслугу всему кружку. Попытка предпринять періодическое изданіе отъ имени Арзамаса не состоялась, и совѣщанія объ этомъ предпріятіи всего яснѣе обнаружили, что во взглядахъ членовъ кружка далеко не было единства» [1]).

Справедливость замѣчанія подтверждается тѣмъ, что и дальнѣйшая дѣятельность членовъ Арзамаса не представляла особенно живого участія въ спорныхъ вопросахъ литературы и общественности. Отношенія этого кружка, въ которомъ находился и Батюшковъ, къ литературѣ было отвлеченное, идеалистическое, скорѣе любительское; ихъ много занимала борьба съ шишковской бесѣдой, противникомъ, не стоившимъ особаго напряженія силъ, и взамѣнъ они не могли, однако, поставить никакой теоріи, которая совмѣстила бы принципы ихъ дѣятельности и могла служить руководствомъ для общества: они предпочитали невинное шутовство. Новый просвѣтъ литературныхъ идей начинается мимо ихъ — съ одной стороны въ дѣятельности Пушкина, съ другой — въ дѣятельности молодого кружка философическихъ критиковъ (Веневитиновъ, Одоевскій и пр.), который былъ ближайшимъ предшественникомъ гегельянскаго кружка тридцатыхъ годовъ.

Одинъ изъ критиковъ настоящаго изданія (г. О. Миллеръ) обратилъ вниманіе на общественное содержаніе идей Батюшкова и указывалъ на то почтеніе, какимъ въ молодомъ кружкѣ тогдашнихъ писателей (Пнинъ и др.) окружено было имя Радищева. По словамъ біографа, въ этомъ кружкѣ «восхищались пламенными гражданскими чувствами» этого писателя, и его вліянію онъ приписываетъ распространеніе произведеній, писанныхъ такъ называемымъ «русскимъ складомъ»; г. Миллеръ считаетъ возможнымъ отнести къ вліянію Радищева и мягкое отношеніе Батюшкова къ своимъ крестьянамъ, — хотя это послѣднее скорѣе надо приписать общему смягченію помѣщичьихъ пріемовъ въ болѣе образованномъ кругу. Но, затѣмъ, трудно найти въ идеяхъ и произведеніяхъ Батюшкова какой-нибудь положительный слѣдъ вліянія Радищева: сочувствіе къ нему было естественнымъ впечатлѣніемъ его дѣятельности и его печальнаго конца, но оставалось отвлеченнымъ и платоническимъ и не имѣло дальнѣйшихъ отголосковъ въ мнѣніяхъ Батюшкова.

---

[1]) Т. I, стр. 143—244, въ біографіи.

Съ Пушкинымъ вступала въ литературу богатая, свѣжая, геніальная сила. Любопытно видѣть, какъ юноша, почти мальчикъ, Пушкинъ уже вскорѣ послѣ появленія его первыхъ опытовъ примыкаетъ къ кругу писателей, тогда уже пользовавшихся славой, примыкаетъ какъ равный, становится въ дружескія отношенія къ старшему поколѣнію, въ которомъ держитъ, однако, себя независимо, поражая его оригинальными произведеніями молодого творчества. Біографъ Батюшкова разыскиваетъ, что эти первыя отношенія съ нимъ Пушкина относятся еще къ началу 1815 года: въ это время произошло ихъ личное знакомство, и Пушкинъ, кажется, еще раньше пишетъ къ Батюшкову первое посланіе. Понятно, что молодой поэтъ въ первые годы испытывалъ извѣстное вліяніе старшаго поколѣнія, которое господствовало наканунѣ; первые шаги его сдѣланы въ той манерѣ, какая была на лицо у наиболѣе талантливыхъ старшихъ современниковъ. Біографъ разсказываетъ, что въ первыхъ произведеніяхъ Пушкина Батюшковъ могъ нерѣдко узнавать подражаніе себѣ. Въ 1815 г. напечатана была пьеса Пушкина (написанная несомнѣнно еще въ предыдущемъ году), которая была посланіемъ къ Батюшкову. Пушкинъ обращается къ нему съ вопросомъ — почему умолкъ «философъ рѣзвый», «радости пѣвецъ», и вызываетъ его возвратиться снова къ предметамъ его вдохновенія, къ веселому наслажденію, или вмѣстѣ съ Жуковскимъ воспѣвать кровавую брань, или вооружиться «сатирой, съ жаломъ» противъ безсмысленныхъ поэтовъ. Такимъ образомъ, самъ Пушкинъ былъ тогда въ сферѣ тѣхъ самыхъ поэтическихъ интересовъ, которые передъ тѣмъ наполняли Батюшкова. Старшій поэтъ, въ то время убѣждавшій Жуковскаго писать поэму «Владиміръ», совѣтовалъ и Пушкину посвятить свой талантъ важной эпопеѣ, но юный поэтъ въ новомъ посланіи отклонилъ совѣтъ и, между прочимъ, говорилъ:

«Дано мнѣ мало Фебомъ:
Охота — скудный даръ;
Пою подъ чуждымъ небомъ,
Вдали домашнихъ Ларъ,
И съ дерзостнымъ Икаромъ
Страшась летать, не даромъ
Бреду своимъ путемъ:
Будь всякій при своемъ».

Но въ выработкѣ формы Пушкинъ не мало былъ обязанъ Батюшкову, котораго и послѣ, въ пору своего зрѣлаго развитія, признавалъ своимъ учителемъ. Біографъ приводитъ любопытную

анекдотическую подробность. Въ 1828 году одинъ московскій литераторъ, желая имѣть стихи Пушкина въ своемъ альбомѣ, просилъ его объ этомъ; Пушкинъ вписалъ свою пьесу «Муза» (1818 г.), и на вопросъ: отчего именно эти стихи пришли ему на память прежде всякихъ другихъ, отвѣчалъ: «Я ихъ люблю: они отзываются стихами Батюшкова» [1]).

Встрѣча Пушкина съ Жуковскимъ, Батюшковымъ, Вяземскимъ и цѣлымъ ихъ кругомъ была встрѣча двухъ поколѣній, двухъ историческихъ періодовъ литературы. Это значеніе ея отразилось и на личныхъ отношеніяхъ; біографъ Батюшкова собралъ подробности, характеризующія эту встрѣчу.

«По пріѣздѣ въ Петербургъ въ 1817 году, — говоритъ г. Майковъ, — Батюшковъ увидѣлъ Пушкина уже восемнадцатилѣтнимъ молодымъ человѣкомъ, окончившимъ курсъ лицея и принятымъ въ составъ Арзамаса на ряду со своимъ дядей, арзамасскимъ старостой. «Маленькій Пушкинъ» становился уже величиной среди наиболѣе просвѣщенныхъ дѣятелей словесности и цѣнителей искусства. Въ лицѣ его новое литературное поколѣніе, возросшее подъ впечатлѣніями великой борьбы съ Наполеономъ среди могучаго пробужденія народнаго духа, блестящимъ образомъ выступало на общественное поприще, и выступало прежде, чѣмъ его ближайшіе предшественники успѣли занять безспорно первенствующее положеніе въ современной литературѣ. Самолюбивый Батюшковъ долженъ былъ почувствовать, что на его глазахъ нарождаются новыя художественныя силы, призванныя смѣнить безъ труда или увлечь въ свое теченіе тѣ дарованія, которыя считали себя непосредственными учениками Карамзина и продолжателями его труднаго дѣла въ созданіи русскаго литературнаго языка и художественной словесности. Понятно поэтому, что нѣкоторый оттѣнокъ соревнованія обнаружился въ отношеніяхъ нашего поэта къ тому свѣтлому генію, который появился на горизонтѣ русской словесности и, въ сознаніи своихъ творческихъ силъ, бодро прокладалъ себѣ новый путь, хотя и признавалъ еще себя ученикомъ Батюшкова. На такой характеръ отношеній послѣдняго къ Пушкину намекаютъ нѣкоторыя уцѣлѣвшія о нихъ преданія. Таковъ, напримѣръ, слѣдующій случай, сохраненный воспоминаніями Н. А. Полевого: «Пушкинъ разсказывалъ о себѣ, что онъ разъ какъ-то, въ началѣ своего поэтическаго поприща, пред-

---

[1]) Т. I, стр. 152—255, въ біографіи.

ставилъ Батюшкову стихи одного молодого человѣка, который, по его тогдашнему мнѣнію, оказывалъ удивительное дарованіе. Батюшковъ прочиталъ пьесу и, равнодушно возвращая ее Пушкину, сказалъ, что не находитъ въ ней ничего особеннаго. Это изумило Пушкина: онъ старался защитить своего молодого пріятеля и сталъ превозносить необычайную гладкость стиха его. «Да кто теперь не пишетъ гладкихъ стиховъ!» — возразилъ Батюшковъ».—Еще характернѣе другое преданіе. Разсказываютъ, что Батюшковъ судорожно сжалъ въ рукахъ листокъ бумаги, на которомъ читалъ (пушкинское) «Посланіе къ Юрьеву» (1818 г.), и проговорилъ: «О, какъ сталъ писать этотъ злодѣй!» Соревнуя молодому поэту, Батюшковъ, однако, тѣмъ самымъ призналъ одинъ изъ первыхъ его великое дарованіе; онъ уже тогда ссылался на «чуткое ухо» Пушкина... Вскорѣ Батюшкову пришлось познакомится съ отрывками изъ «Руслана и Людмилы»: молодой Пушкинъ «пишетъ прелестную поэму и зрѣетъ», отозвался онъ по этому случаю Вяземскому. А между тѣмъ, поэма Пушкина упраздняла собою всѣ давно лелѣянные Батюшковымъ замыслы о подобномъ же произведеніи съ содержаніемъ, взятымъ изъ народныхъ преданій русской старины» [1]).

Припомнимъ другой отзывъ писателя того же старшаго поколѣнія. Въ 1818 г. князь Вяземскій писалъ Жуковскому: «Стихи чертенка племянника [2]) чудесно хороши. Этотъ бѣшеный сорванецъ насъ всѣхъ заѣстъ, насъ и отцовъ нашихъ».

Анненковъ, говоря объ этой первой порѣ Пушкина, замѣчалъ, что во многихъ стихотвореніяхъ этого времени «врожденная сила таланта проявлялась сама собою, замѣняя при случаѣ геніальною отгадкой то, чего не могъ еще дать жизненный опытъ начинающему поэту». Біографъ Батюшкова прибавляетъ, что эта отгадка была облегчена ему упорнымъ трудомъ его ближайшихъ предшественниковъ, и особливо Батюшкова, въ выработкѣ поэтическаго языка и стиха [3]).

Біографъ старательно собралъ въ первыхъ стихотвореніяхъ Пушкина подробности языка и выраженія, которыя были отголос-

---

[1]) Т. I, стр. 255—258, въ біографіи.

[2]) Подразумѣвался при этомъ племянникѣ дядюшка-стихотворецъ, Вас. Л. Пушкинъ.

[3]) Анненковъ, «Матеріалы», 2-е изд., стр. 50; Соч. Батюшкова, т. I, стр. 257, въ біографіи.

комъ вліяній Батюшкова въ ихъ содержаніи и формѣ [1]). Вліяніе не подлежитъ сомнѣнію. Въ первыхъ произведеніяхъ Пушкина еще господствуетъ въ сильной степени то служеніе «легкой поэзіи», надъ которой въ особенности работалъ Батюшковъ; конечно, Пушкинъ имѣлъ при этомъ свои источники, между прочимъ, въ тѣхъ же французскихъ поэтахъ, какими увлекался Батюшковъ; но большое значеніе имѣлъ и примѣръ предшествующихъ русскихъ поэтовъ и особливо Батюшкова [2]).

Но это вліяніе простирается все-таки только на годы молодой дѣятельности Пушкина: съ первыми поэмами поэзія Пушкина упраздняла не только какіе-либо частные планы Батюшкова, но отодвигала въ исторію цѣлый предшествовавшій періодъ русской поэзіи. Самолюбіе Батюшкова вѣрно подсказало ему, что въ Пушкинѣ народилась новая сила, съ которой невозможно было соперничать и которая должна была смѣнить ихъ поколѣніе. Любопытно, въ самомъ дѣлѣ, сравнить Пушкина юнаго, начинающаго, съ его непосредственными предшественниками и «учителями». Его начатки не равняются только съ ихъ зрѣлыми произведеніями, но уже стоятъ выше ихъ по существу содержанія. Быть можетъ, онъ и самъ не вполнѣ сознавалъ свою силу, но таинственное дѣйствіе историческаго развитія передавало ему, какъ готовое наслѣдіе, то, что было предметомъ стремленій предыдущаго поколѣнія, и онъ сразу становился выше его всѣмъ запасомъ своихъ идей и стремленій. То, что у его предшественни-

---

[1]) Т. I, стр. 338, 351, 377, 383, 393 и др., въ примѣчаніяхъ къ стихотвореніямъ. Примѣры эти собраны какъ г. Майковымъ, такъ и ранѣе изслѣдователями Пушкина.

[2]) Это вліяніе, и именно на лицейскія стихотворенія Пушкина, было обстоятельно указано еще Бѣлинскимъ, который основу его видѣлъ въ близости двухъ художественныхъ натуръ. «Вліяніе Батюшкова, — говорилъ Бѣлинскій, — обнаруживается въ лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина не только въ фигурѣ стиха, но и въ складѣ выраженія, и особенно во взглядѣ на жизнь и ея наслажденія. Во всѣхъ ихъ видна нѣга и упоеніе чувствъ, столь свойственная музѣ Батюшкова; и въ нихъ проглядываетъ мѣстами унылость и веселая шутливость Батюшкова. Пушкинъ занялъ у него даже любимыя имена, и въ особенности Хлою и Делію, и манеру пересыпать свои стихотворенія миѳологическими именами Купидона, Амура, Марса, Аполлона и проч., и любимыя его выраженія: «цитерская сторона, дѣвственная лилея» и тому подобныя». Бѣлинскій указываетъ дальше стихотворенія Пушкина, въ которыхъ вліяніе Батюшкова обнаруживается особенно наглядно. См. Сочин. Бѣлинскаго, т. VIII, изд. 2, стр. 322 — 324.

ковъ было смутнымъ намекомъ, у него является яснымъ принципомъ; та дѣйствительность, къ которой имъ было такъ трудно подступиться, для него была близка и ясна; поэзія, которая для нихъ все еще была какой-то извнѣ являющейся усладой жизни, даромъ немногихъ избранныхъ, у него становится необходимымъ жизненнымъ дѣломъ, достояніемъ не только поэта, но также общества, не только усладой, но и долгомъ и общественной задачей. Правда, эти новыя идеи и новый тонъ мысли у самого Пушкина явились не вдругъ готовой системой; была постепенность, были оттѣнки, сближавшіе Пушкина съ его предшественниками; но тѣмъ не менѣе между ними съ самаго начала легла глубокая разница — историческое развитіе. То общее различіе Пушкина отъ его предшественниковъ, которое мы указывали и которое было различіемъ двухъ эпохъ, сопровождается коренным различіемъ ихъ частныхъ особенностей, различіемъ литературныхъ взглядовъ, манеры, ихъ отношеній къ старинѣ, къ исторіи, къ народности, къ общественной жизни. Мы видѣли, какъ въ сущности далекъ былъ Батюшковъ (и не онъ одинъ, а цѣлый тотъ кружокъ) отъ сколько-нибудь сознательнаго отношенія къ исторіи, и извѣстно, напротивъ, какимъ глубокимъ интересомъ была она для Пушкина; касаясь сюжета изъ древнерусской исторіи, Батюшковъ не можетъ не стать на ходули, не впасть въ натянутую высокопарность — отношеніе Пушкина къ этой старинѣ было всегда проще и реальнѣе. Натянуто было отношеніе Батюшкова (и повторимъ опять, не его одного, а цѣлаго круга) и къ ближайшему преданію XVIII вѣка, послѣдніе концы котораго онъ видѣлъ собственными глазами: опять только высокопарно онъ могъ говорить, напр., о Ломоносовѣ, когда, напротивъ, Пушкинъ говорилъ о немъ какъ о живомъ дѣятелѣ, какъ будто трудъ его совершался вчера, — ему не нужно было дѣлать усилій, чтобы возстановить себѣ его личность. Конечно, дѣйствовала здѣсь необычайная сила дарованія, творческая фантазія, возстановлявшая передъ нимъ живую картину прошедшаго, но была просто и другая степень историческаго пониманія. Далѣе, различно было отношеніе къ современной дѣйствительности, къ той общественной средѣ, гдѣ вращался поэтъ и гдѣ дѣйствовала литература: старая поэзія, еще слишкомъ нуждавшаяся въ чужомъ образцѣ выраженія своего смутно бродившаго чувства, къ которому прилаживала и свое собственное настроеніе — эта поэзія съ трудомъ опредѣляла свое отношеніе къ обществу, въ

которомъ какъ будто не ожидала встрѣтить себѣ ни почвы, ни сочувствія: оттого самая попытка изображенія этого общества является несвободной, натянутой, какъ картина московскаго общества у Батюшкова. Теперь мы встрѣчаемъ нѣчто совсѣмъ иное: у поэта нѣтъ этого недоумѣнія; у него не двоится поэтическій туманъ и дѣйствительность, и картина жизни блещетъ яркими, реальными красками. И здѣсь, правда, опять были переходныя черты,—въ юношеской поэзіи Пушкина еще держалась та унаслѣдованная отъ предшественниковъ условная поэтическая фразеологія, мѣшавшая языкъ антологіи съ языкомъ новѣйшей французской поэзіи, но рядомъ съ этимъ уже съ самаго начала были черты, тѣсно примыкавшія къ жизни и составлявшія ея чистый, непосредственный отголосокъ. Наконецъ, яркая разница стараго и новаго поколѣнія сказалась въ отношеніи къ народной поэзіи. Батюшкову она была чужда, какъ и всему его кругу: эта поэзія не вязалась ни съ изысканной эпикурейской манерой, свое выраженіе которой Батюшковъ выработывалъ съ помощью далекихъ образцовъ, ни съ туманнымъ романтизмомъ, который увлекалъ предшественниковъ Пушкина въ формѣ Оссіана, новѣйшей англійской и нѣмецкой баллады: если и встрѣчался иной русскій мотивъ, онъ былъ понимаемъ и излагаемъ въ тонѣ чужеземной баллады [1]). У Пушкина было иначе: онъ такъ высоко ставилъ народно-поэтическую стихію, что, какъ извѣстно, даже приписывалъ ей исправленіе недостатковъ своего воспитанія; ему помогло въ оцѣнкѣ этой стихіи его тонкое художественное чувство,—въ произведеніяхъ народной поэзіи, пѣснѣ и сказкѣ, наконецъ, въ простой народной рѣчи, онъ угадывалъ изящные поэтическіе мотивы, мѣткія выраженія, оригинальные обороты, словомъ, ту свѣжесть народнаго творчества въ поэзіи и языкѣ, какой не знала тогдашняя ходячая книжность и которую долго спустя объяснила научная филологія и старалась употребить въ дѣло литература.

Такимъ образомъ, сопоставляя Пушкина съ его предшественниками, мы во всѣхъ сторонахъ ихъ поэтической дѣятельности—въ содержаніи поэтическихъ идеаловъ, въ отношеніи къ дѣйствительности исторической и современной, въ чувствѣ народ-

[1]) «Муза Батюшкова,—замѣчаетъ опять Бѣлинскій,—вѣчно скитаясь подъ чужими небесами, не сорвала ни одного цвѣтка на русской почвѣ». Соч. т. VIII, стр. 515.

ности, въ поэтической формѣ и языкѣ, — находимъ на первыхъ порахъ извѣстную преемственность, но затѣмъ и великую разницу. Въ оцѣнкѣ этой разницы представляется прежде всего мысль о необычайномъ дарованіи, создававшемъ новыя пріобрѣтенія; но было здѣсь и общее явленіе: великій успѣхъ Пушкина былъ вмѣстѣ результатомъ времени, котораго онъ сталъ великимъ представителемъ; менѣе талантливые современники Пушкина были независимо отъ него настроены иначе, чѣмъ предъидущее поколѣніе; въ ихъ умахъ возникали новыя требованія общественныя и литературныя. Наступала новая историческая эпоха: этимъ, кромѣ высокихъ достоинствъ пушкинскаго творчества, объясняется небывалый успѣхъ его произведеній, въ особенности въ молодыхъ поколѣніяхъ; какъ извѣстно, люди прежняго литературнаго поколѣнія, даже образованные и авторитетные (вспомнимъ, напр., Мерзлякова или Каченовскаго), до конца не понимали его.

Старая поэзія была совершенно устранена дѣятельностью Пушкина, и естественно. Она была только предварительнымъ опытомъ, намекомъ, которые забывались, когда на смѣну ихъ являлось цѣльное широко развившееся исполненіе.

Намъ остается сказать о самомъ изданіи. Мы сказали въ началѣ, что изданіе исполнено съ большою литературною и внѣшнею роскошью. Главное украшеніе его составляетъ біографія, авторъ которой перебралъ всѣ матеріалы, въ которыхъ могли найтись свѣдѣнія о внѣшней жизни писателя и его внутреннемъ развитіи. Матеріалы, собственно говоря, весьма скудны и отрывочны, но, сопоставляя ихъ съ литературными произведеніями Батюшкова, съ характеристикой его друзей, авторъ біографіи съумѣлъ изобразить, сколько было возможно, подвижной характеръ писателя, различные источники и ступени его умственнаго и поэтическаго развитія и его литературныя заслуги.

Текстъ сочиненій Батюшкова составленъ съ большою полнотою: къ тому, что собрано въ старомъ изданіи самого Батюшкова, прибавлено все, что появлялось впослѣдствіи изъ его неизданныхъ сочиненій, что нашлось вновь въ немногихъ оставшихся отъ него рукописяхъ, между прочимъ, переписка и отрывки изъ его дневника; всѣ отдѣльныя пьесы сличены по различнымъ прежнимъ изданіямъ и, гдѣ представлялась воз-

можность, по рукописямъ. Къ каждому стихотворенію и къ каждой прозаической статьѣ присоединенъ комментарій, объясняющій какъ содержаніе, такъ и обстоятельства появленія пьесы; наконецъ, въ массѣ особыхъ примѣчаній даны біографическія свѣдѣнія о всѣхъ сколько-нибудь замѣчательныхъ лицахъ, которыя играли какую-либо роль въ жизни писателя. Собраніе писемъ является въ первый разъ въ своемъ полномъ объемѣ. Наконецъ, ко всѣмъ томамъ изданія и къ разнымъ его отдѣламъ присоединены подробные указатели, дающіе возможность самыхъ обстоятельныхъ справокъ. Полнота изданія не достигнута, однако, и здѣсь, при всѣхъ усиліяхъ. Такъ г. Веневитиновъ напечаталъ теперь стихи, написанные Батюшковымъ въ 1814 г. по случаю торжества въ честь возвращенія имп. Александра изъ-за границы,—стихи, которые біографъ Батюшкова считалъ затерянными и которые, впрочемъ, ничего не прибавляютъ къ поэтической славѣ писателя [1]).

Одинъ изъ критиковъ изданія (г. Миллеръ) замѣтилъ, что ему кажется излишествомъ помѣщеніе въ изданіи всѣхъ мелочныхъ подробностей, какія могли уцѣлѣть отъ переписки писателя, какъ это встрѣчается въ данномъ случаѣ. Объ этомъ можно думать различно. Дѣло въ томъ, что изданія, подобныя настоящему, вѣроятно надолго останутся единственными (трудно ожидать, чтобы подобное изданіе могло быть скоро повторено), и въ такомъ случаѣ редакторъ изданія можетъ не безъ основанія желать, чтобы оно осталось возможно полнымъ складомъ свѣдѣній объ изучаемомъ писателѣ. Въ разсчетѣ на обыкновеннаго читателя можно бы было сдѣлать одно,—какъ это иногда и дѣлалось,—именно, выдѣлить вполнѣ обработанныя произведенія писателя и наиболѣе важную долю его переписки, какъ основной результатъ его дѣятельности и какъ его исторически важное литературное достояніе, а затѣмъ собрать остальное какъ біографическій и историко-литературный матеріалъ.—Долю излишества мы нашли бы также въ чрезмѣрномъ обиліи примѣчаній. Комментарій долженъ имѣть свои предѣлы. Онъ долженъ указать необходимое для пониманія писателя, но въ немъ не должно быть мѣста фактамъ, не имѣющимъ къ писателю ближайшаго отношенія. Въ данномъ случаѣ мы назвали бы

---

[1]) См. «Русскій Архивъ», 1887, № 7, стр. 341—363: «Празднество въ Павловскѣ 27-го іюля 1814 года».

излишествомъ цѣлый рядъ болѣе или менѣе обширныхъ біографій писателей и другихъ современниковъ Батюшкова: нѣкоторыя изъ этихъ біографій касаются лицъ, очень достаточно извѣстныхъ въ исторіи литературы. Зачѣмъ, напримѣръ, нужны подробныя біографіи Озерова (II, стр. 467—472), Капниста (II, 492—503), В. Л. Пушкина (II, стр. 512—525), и т. д., и т. д. Эти біографіи (принадлежащія большею частью, если не сполна, г. Саитову составлены вообще чрезвычайно обстоятельно, съ огромнымъ аппаратомъ историческихъ и библіографическихъ свѣдѣній, и представляютъ прекрасный справочный матеріалъ сами по себѣ, но въ такомъ размѣрѣ они совсѣмъ не нужны для Батюшкова. Кто, въ обыкновенномъ порядкѣ вещей, будетъ искать этихъ свѣдѣній въ изданіи сочиненій Батюшкова, и съ другой стороны не пришлось ли бы повторять ихъ снова, еслибы предпринималось такое комментированное изданіе, напр., Жуковскаго, кн. Вяземскаго, Гнѣдича или иного писателя той поры? Между прочимъ особая, богатая фактами, біографія посвящена А. И. Тургеневу (I, стр. 355—372, въ прим.), хотя для объясненія его отношеній къ Батюшкову всѣ эти подробности нисколько не требовались. Невольно приходитъ мысль, что еслибы авторъ этихъ біографій, не руководясь случайнымъ поводомъ изданія, прямо остановился на цѣлой эпохѣ и собралъ жизнеописанія ея дѣятелей съ тѣмъ богатствомъ библіографическихъ данныхъ и справокъ, какія находятся у него подъ руками, его трудъ имѣлъ бы болѣе цѣльный и мотивированный характеръ и больше достигъ бы цѣли—распространенія свѣдѣній о данной эпохѣ.

Преувеличеніе комментарія въ настоящемъ случаѣ является не въ первый разъ; примѣръ поданъ былъ комментаріемъ г. Грота къ Державину. Какъ извѣстно, этотъ комментарій даетъ множество разнообразныхъ подробностей не только о Державинѣ, но по поводу его о множествѣ лицъ и фактовъ того времени. Излишество было и здѣсь, но по крайней мѣрѣ Державинъ былъ господствующимъ лицомъ своей эпохи, чего нельзя сказать о Батюшковѣ. Эта неравномѣрность историко-литературной работы указываетъ вообще на чрезвычайную неровность нашихъ изслѣдованій въ этой области; комментированныя подобнымъ образомъ изданія являются случайностью. Изъ XVIII-го вѣка такого изданія удостоился Державинъ,—но сочиненія Ломоносова, несмотря на его огромное историческое значеніе въ судьбахъ

русской литературы и образованія, остаются до сихъ поръ несобранными сколько-нибудь полнымъ и разумнымъ образомъ. Въ нашемъ вѣкѣ мы имѣемъ подробно комментированнаго Батюшкова, но не имѣемъ комментированнаго Жуковскаго, Пушкина, Гоголя. Но потребность изслѣдованія подробностей уже развилась, и приводитъ къ этому неравномѣрному распредѣленію историко-литературнаго матеріала, собираемаго въ качествѣ комментарія.

НОВЫЕ МЕМУАРЫ

ОБЪ

АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЭПОХѢ.

(„Вѣстникъ Европы“ 1887, декабрь).

НОВЫЕ МЕМУАРЫ ОБЪ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЭПОХѢ.

Въ послѣднее время отличительную черту нашей исторической литературы составляетъ большое обиліе различнаго рода мемуаровъ, дневниковъ, переписки, оффиціальныхъ документовъ, относящихся къ временамъ давно и недавно прошедшимъ. Собственно историческихъ работъ по XVIII-му и XIX-му вѣку является сравнительно немного: кромѣ историческихъ обзоровъ по предметамъ спеціальнымъ, особливо военнымъ, мы почти не имѣемъ книгъ, посвященныхъ изображенію цѣлыхъ эпохъ съ ихъ основными руководящими силами и складами общественной жизни. И особенно нынѣшнее столѣтіе лишено такихъ цѣльныхъ историческихъ объясненій: времена императора Александра I, уже значительно далекія отъ насъ, и болѣе близкая къ намъ вторая четверть столѣтія, еще не нашли полной историко-критической оцѣнки, которая дала бы возможность относиться къ этимъ эпохамъ вполнѣ сознательно, извлечь изъ нихъ тотъ историческій опытъ, въ которомъ мы очень бы нуждались. Въ самомъ дѣлѣ, въ нашемъ обществѣ не существуетъ, до сихъ поръ, яснаго представленія объ основныхъ чертахъ первой половины столѣтія: съ послѣднихъ 50-хъ годовъ, въ лучшей части общественнаго мнѣнія и въ полувысказанномъ мнѣніи самого правительства система, господствовавшая въ Николаевскую эпоху, была признана ошибочною и въ послѣднемъ результатѣ пагубною не только для развитія силъ общественныхъ, но и для жизни самого государства; результатомъ этого убѣжденія былъ рядъ реформъ, хотя не довершенныхъ, но принятыхъ съ величайшимъ энтузіазмомъ и, въ общемъ, въ высокой степени благотворныхъ для развитія русской жизни; теперь, напротивъ, мы

видимъ странное обращеніе къ той же эпохѣ, какъ къ лучшему идеалу государственнаго и общественнаго быта, причемъ желается возвращеніе тѣхъ самыхъ сторонъ той эпохи, которыя были въ ней наименѣе сочувственны. Оказывается очевидно, что историческій опытъ, смыслъ котораго наглядно и реально чувствовался въ 50-хъ годахъ, тотчасъ вслѣдъ за окончаніемъ того періода, теперь совершенно забытъ. Безъ сомнѣнія, онъ забытъ тѣмъ легче, что на помощь не явилось всестороннее и безпристрастное изученіе Николаевскаго періода въ его принципахъ и послѣдствіяхъ. Не скажемъ, чтобы подобное цѣльное изученіе было легко,—время все еще слишкомъ близко,—но самая близость давала бы возможность живой оцѣнки по крайней мѣрѣ основныхъ явленій, если бы не помѣшала ей давнишняя несвобода историческаго слова.

Взамѣнъ этого, наша литература должна ограничиваться простымъ накопленіемъ матеріала, отрывочными эпизодическими разсказами, которые могутъ явиться на свѣтъ (и то, впрочемъ, не всегда) именно благодаря этой отрывочности, которая не тревожитъ недовѣрчивыхъ и подозрительныхъ умовъ. Матеріалъ, однако, собирается обширный и нерѣдко чрезвычайно любопытный: выходятъ на свѣтъ самые разнообразные отголоски прошедшихъ временъ, отъ писемъ государей, отъ воспоминаній высокопоставленныхъ лицъ, игравшихъ нѣкогда могущественную роль въ событіяхъ, до дневниковъ, писемъ и воспоминаній второстепенныхъ исполнителей, и, наконецъ, до разсказовъ мелкихъ людей, небольшого чиновника, офицера, сельскаго священника и т. д. Въ обществѣ, очевидно, развилось большое историческое любопытство: спеціальныя архивно-историческія изданія находятъ и многочисленныхъ поставщиковъ, и многочисленныхъ читателей; люди, владѣющіе старымъ матеріаломъ, находятъ личный или фамильный интересъ внести свой вкладъ въ историческіе архивы, сохранить память близкихъ, такъ или иначе, событій и лицъ, вывести на свѣтъ старые споры, обвиненія и защиты, сообщить характерные анекдоты и т. д. Это историческое любопытство, конечно, совершенно естественно; оно никогда не заглушалось въ обществѣ, но въ прежнее время оно почти не находило себѣ исхода или находило его только въ слабой степени—въ исторіи оффиціальной; множество фактовъ животрепещущаго интереса, не находившее мѣста въ печати, передавалось въ преданіяхъ или въ рукописяхъ; мы помнимъ

время, когда ходили по рукамъ рукописные документы, цѣлыя сочиненія, которыя съ 60-хъ годовъ стали попадать въ печать. Не мудрено, что когда для этого матеріала, хранившагося подъ спудомъ, явилась возможность появиться на свѣтъ, интересъ къ прошедшему сталъ развиваться еще сильнѣе. Эта архивная литература давала, во всякомъ случаѣ, опору для развитія историческаго самосознанія.

Въ ней нашлось, въ самомъ дѣлѣ, множество разсказовъ о такихъ событіяхъ, о такихъ явленіяхъ русской жизни, о которыхъ въ прежнее время не только не могло быть ничего напечатано, но иногда не безопасно было и говорить: дворцовые перевороты XVIII-го вѣка, тогдашняя закулисная административная практика, интимная жизнь двора и высшаго общества, множество дѣлъ, которыя были въ свое время «секретными», изображеніе историческихъ дѣятелей, подвиги которыхъ давно были извѣстны молвѣ, но оставались неприкосновенны въ литературѣ, много таинственныхъ событій, которыя бывали чрезвычайно характернымъ отраженіемъ своего времени,—все это было исполнено не только историческаго интереса, но и поучительности. Въ первый разъ сквозь скорлупу оффиціозной исторіи стала проглядывать живая, неподкрашенная и неподдѣланная дѣйствительность. Извѣстно, какъ изученіе этого стараго матеріала послужило и для тѣхъ прекрасныхъ поэтическихъ воспроизведеній, какія далъ, напр., графъ Толстой въ «Войнѣ и Мирѣ».

Въ послѣдніе два-три года издано было опять нѣсколько очень любопытныхъ мемуаровъ; остановимся на нѣкоторыхъ изъ нихъ, относящихся въ особенности ко временамъ императора Александра I. Едва ли не самый интересный между ними: «Записки Н. Н. Муравьева Карскаго» [1]). Николай Николаевичъ Муравьевъ принадлежалъ къ замѣчательной семьѣ, члены которой заняли различнымъ образомъ видныя мѣста въ общественной и государственной исторіи нашего столѣтія. Отецъ Муравьевыхъ, служака Екатерининскихъ временъ, образованный человѣкъ, хорошій математикъ, извѣстенъ какъ основатель «школы колонновожатыхъ», которая сначала была его частной домашней школой, гдѣ онъ преподавалъ для молодыхъ любителей математическія и военныя науки, потомъ сдѣлалась школой полуоффиціальной и была первымъ началомъ основанной впослѣдствіи акаде-

---

[1]) Онѣ печатались въ «Р. Архивѣ» 1886—87 г.

міи генеральнаго штаба. Изъ школы Муравьева вышло много людей, получившихъ потомъ большую извѣстность на военномъ, административномъ и общественномъ поприщѣ; между ними были и его сыновья, изъ которыхъ Н. Н. Муравьевъ, авторъ «Записокъ», былъ вторымъ; нѣсколько моложе его былъ Михаилъ, знаменитый впослѣдствіи своими дѣяніями въ усмиреніи польскаго возстанія въ западномъ краѣ, и, наконецъ, Андрей, извѣстный благочестивый паломникъ и писатель. Н. Н. Муравьевъ родился въ 1794 году; въ 1811 отецъ привезъ уже его на службу въ Петербургъ; здѣсь онъ тотчасъ могъ выдержать офицерскій экзаменъ и назначенъ былъ въ число преподавателей въ петербургскую школу колонновожатыхъ. Вскорѣ послѣ того вступилъ туда же его братъ Михаилъ, а затѣмъ, когда началась война двѣнадцатаго года, оба они, какъ и старшій братъ ихъ Александръ, отправились въ дѣйствующую армію.

Не однѣ только чрезвычайныя событія заставили ихъ еще юношами вступить на трудное и опасное поприще. Правда, было тогда много юныхъ людей, которыхъ увлекалъ въ ряды арміи патріотическій энтузіазмъ; но въ прошломъ вѣкѣ, какъ и въ Александровское время, молодые люди вообще гораздо раньше, чѣмъ теперь, вступали въ дѣйствительную жизнь, оставались на своихъ рукахъ, начинали отвѣтственное служебное поприще, военное и гражданское. Н. Муравьеву въ 1812-мъ году шелъ 18-й годъ, и его служба была далеко не легкая. Прошедши школу колонновожатыхъ, онъ поступилъ въ армію по квартирмейстерской части,—служба страшно хлопотливая и утомительная, тѣмъ болѣе, что ближайшіе начальники въ большинствѣ были люди мало знающіе и вмѣстѣ вздорные, такъ что вся тягость обязанностей и почти безъ всякаго руководства падала на молодыхъ офицеровъ, почти мальчиковъ, какъ былъ Муравьевъ, почти прямо изъ домашней жизни попавшій въ невообразимую суматоху военныхъ дѣйствій 12-го года, съ неокрѣпшими силами и очень скудными средствами. Ему пришлось перенести столько трудностей, что онѣ были бы подъ силу только опытному и вполнѣ зрѣлому человѣку; вмѣстѣ съ тѣмъ, это была хотя трудная, но прекрасная школа и военная, и житейская. Его братъ Михаилъ попалъ въ армію на 15-мъ году и былъ уже тяжело раненъ при Бородинѣ. Муравьевъ упоминаетъ объ одномъ офицерѣ дѣйствующей арміи, который былъ еще моложе: ему шелъ только 14-й годъ.

Н. Муравьевъ началъ свои «Записки» въ 1815 году, по близкимъ еще воспоминаніямъ и по замѣткамъ дневника — поэтому его воспоминанія богаты множествомъ еще свѣжихъ впечатлѣній; написаны онѣ просто и вмѣстѣ точно и отличаются, вѣроятно, полною правдивостью. Въ той части ихъ, какая появилась до сихъ поръ въ печати, много мѣста посвящено двѣнадцатому году, и эта доля ихъ принадлежитъ къ наиболѣе любопытнымъ свидѣтельствамъ, какія оставлены современниками объ этой великой эпохѣ. Муравьевъ писалъ вскорѣ послѣ событій, когда только-что вернулся изъ заграничнаго похода; онъ писалъ для себя, не имѣлъ надобности ни въ какихъ литературныхъ прикрасахъ, и говоритъ вообще только о томъ, что самъ видѣлъ и самъ перечувствовалъ. Оттого его «Записки» даютъ особенно наглядную картину событій, гдѣ нѣтъ притязанія на широкій планъ, на цѣльную картину военныхъ движеній и т. п., которыя такъ легко дѣлаютъ разсказъ отвлеченнымъ; здѣсь, напротивъ, масса мелкихъ подробностей, хотя и ограниченныхъ однимъ пунктомъ, даетъ читателю гораздо болѣе яркое впечатлѣніе того страшнаго хаоса, который называется войной и какимъ въ особенности была война 12-го года. Въ подобныхъ случаяхъ чѣмъ проще разсказъ, тѣмъ онъ живѣе. Иной разъ представляется, какъ будто именно здѣсь брались нѣкоторыя подробности, которыя послужили для военныхъ эпизодовъ «Войны и Мира».

Мы не имѣемъ возможности приводить здѣсь образчики этихъ разсказовъ—нужны были бы слишкомъ большія извлеченія, чтобы дать понятіе объ этихъ картинахъ тогдашней военной жизни;— и укажемъ еще другую сторону этихъ записокъ, гдѣ разсѣяны черты вѣка и нравовъ, составляющихъ особенность Александровской эпохи.

Эта эпоха, столько разъ осуждаемая, имѣла свои весьма привлекательныя стороны, къ числу которыхъ принадлежатъ распространявшаяся тогда потребность просвѣщенія и первые признаки самостоятельнаго общественнаго чувства. Мы обыкновенно забываемъ, гдѣ былъ корень нашихъ собственныхъ идеаловъ и стремленій; но, вернувшись къ исторіи, мы нерѣдко найдемъ начатки ихъ еще въ давнемъ прошедшемъ, между прочимъ въ Александровской эпохѣ, которая въ свою очередь была подготовлена концомъ прошлаго вѣка. Н. Муравьевъ въ своихъ стремленіяхъ къ просвѣщенію многое унаслѣдовалъ уже отъ

своего отца. «Отецъ мой,—говоритъ онъ,—былъ нѣкогда записанъ въ Измайловскомъ полку и на 16-мъ году отъ рожденія поѣхалъ учиться въ страсбургскій университетъ, гдѣ отличался своими успѣхами». Онъ пробылъ за границей четыре года, и въ университетъ его привела собственная любознательность, которая и потомъ сдѣлала его профессоромъ-добровольцемъ. Изъ его школы вынесъ ту же любознательность и его сынъ, и «Записки» Муравьева даютъ нѣсколько чрезвычайно характерныхъ подробностей о томъ броженіи идей, которое само собой возникало въ нѣсколько пробужденныхъ умахъ подъ вліяніемъ вѣка: въ самой русской жизни стали нарождаться исканія новаго содержанія и новыхъ формъ быта. Французскій языкъ принадлежалъ къ первымъ необходимостямъ тогдашняго воспитанія, и французская литература имѣла особенное вліяніе. Муравьевъ вспоминаетъ, что когда онъ поселился самостоятельно въ Петербургѣ, ему попалась книга «Compère Mathieu»: «этотъ романъ, говоритъ онъ,—разрушилъ всѣ мои религіозныя понятія и чувства; однако, книга сія не замѣнила разрушеннаго новыми правилами, а потому она только спутала понятія мои, не возродивъ ничего новаго. Мнѣ тогда было 26 лѣтъ. За этой книгой попалась мнѣ въ руки «Новая Елоиза» Руссо. Чувствительность, выражающаяся въ сихъ письмахъ, растрогала мое сердце, по природѣ впечатлительное. Разметанныя первымъ чтеніемъ мысли мои начали приходить въ порядокъ. Нѣсколько разъ прочиталъ я съ большимъ вниманіемъ «Новую Елоизу», и страсть моя къ Н. Н. (подъ этими буквами подразумѣвалась дочь извѣстнаго адмирала Мордвинова) усилилась. Думаю, что начало это способствовало къ развитію во мнѣ нелюдимости, къ которой я отъ природы склоненъ... Слогъ Жанъ-Жака увлекалъ меня; и я повѣрилъ всему, что онъ говоритъ. Не менѣе того, чтеніе Руссо отчасти образовало мои нравственныя наклонности и обратило ихъ къ добру; но, со времени чтенія сего, я потерялъ всякую охоту къ службѣ, получилъ отвращеніе къ занятіямъ, предался созерцательности и облѣнился». Такъ захватывало чтеніе, что отражалось и на сердечныхъ влеченіяхъ, и на службѣ. Въ первый годъ пребыванія въ Петербургѣ у Н. Муравьева составился и тѣсный дружескій кружокъ, нѣчто въ родѣ тайнаго общества. Старшій братъ его Александръ уже раньше вступилъ въ какую-то масонскую ложу; братъ подмѣтилъ таинственное чтеніе и масонскіе знаки, и мистифировалъ Александра мнимой

собственной принадлежностью къ какому-то тайному союзу,— между тѣмъ въ своемъ собственномъ кружкѣ онъ дѣйствительно устроилъ тайный союзъ весьма фантастическаго свойства. «Какъ водится въ молодыя лѣта, говоритъ Н. Муравьевъ о своемъ кружкѣ,—мы судили о многомъ, и я, не ставя преграды воображенію своему, возбужденному чтеніемъ «Contrat Social» Руссо, мысленно начертывалъ себѣ всякія предположенія въ будущемъ. Думалъ и выдумалъ слѣдующее: удалиться чрезъ пять лѣтъ на какой-нибудь островъ, населенный дикими, взять съ собою надежныхъ товарищей, образовать жителей острова и составить новую республику, для чего товарищи мои обязывались быть мнѣ помощниками. Сочинивъ и изложивъ на бумагу законы, я уговорилъ слѣдовать со мною Артамона Муравьева, Матвѣя Муравьева-Апостола и двухъ Перовскихъ, Льва и Василія, которые тогда опредѣлились колонновожатыми; въ собраніи ихъ я прочиталъ законы, которые имъ понравились. Затѣмъ были учреждены настоящія собранія и введены условные знаки для узнаванія другъ друга при встрѣчѣ... Меня избрали президентомъ общества, хотѣли сдѣлать складчину, дабы нанять и убрать особую комнату по нашему новому обычаю; но денегъ на то ни у кого не оказалось. Одежда назначена была самая простая и удобная: синія шаровары, куртка и поясъ съ кинжаломъ, на груди двѣ параллельныя линіи изъ мѣди въ знакъ равенства; но и тутъ ни у кого денегъ не оказалось, посему собирались къ одному изъ насъ въ мундирныхъ сюртукахъ. На собраніяхъ читались записки, составляемыя каждымъ изъ членовъ для усовершенствованія законовъ товарищества, которые по обсужденіи утверждались всѣми. Между прочимъ, постановили, чтобы каждый изъ членовъ научился какому-нибудь ремеслу, за исключеніемъ меня, по причинѣ возложенной на меня обязанности учредить воинскую часть и защищать владѣніе наше противъ нападенія сосѣдей. Артамону назначено быть лекаремъ, Матвѣю—столяромъ. Вступившій къ намъ юнкеръ конной гвардіи Сенявинъ долженъ былъ заняться флотомъ». «Ребяческій бредъ», какимъ уже вскорѣ показались Н. Муравьеву эти затѣи, прошелъ, когда наступили событія 12-го года, и болѣе не возвращался; но въ ту пору, какъ видимъ, довольно легко набирались охотники на эту фантастическую затѣю—любопытная черта, которая свидѣтельствуетъ о настроеніи умовъ молодого поколѣнія: тайное общество осно-

вывается, хотя и въ ребяческомъ видѣ, еще до 12-го года (обыкновенно думаютъ, что идея такихъ союзовъ принесена военной молодежью только по возвращеніи изъ заграничнаго похода, въ 1815 году); нѣкоторые члены его стали потомъ декабристами, другіе— видными государственными дѣятелями Николаевскаго времени; очевидно, что причина явленія была не въ одномъ произволѣ молодого воображенія, но и въ общихъ условіяхъ времени. Это былъ одинъ изъ тѣхъ періодовъ оживленія, какіе случались (хотя очень рѣдко) въ исторіи русскаго общества, и когда задержанная внутренняя жизнь высказывалась порывами къ реформѣ, которые въ молодыхъ умахъ легко переходили въ невозможные фантастическіе планы. Н. Муравьевъ, какъ видно по самымъ запискамъ, былъ человѣкъ ума точнаго и трезваго: фантастика скоро отпала, но сохранилась потребность просвѣщенія и сознательнаго служенія своему обществу. Когда кончились военныя бури и Муравьевъ былъ опять въ Петербургѣ, онъ снова устраиваетъ небольшой кружокъ, гдѣ шли общія занятія, чтеніе и толки. Онъ мало сообщаетъ подробностей объ этомъ второмъ кружкѣ, но, видимо, съ нимъ связаны были для него дорогія воспоминанія. Кружокъ ставилъ себѣ нравственныя и образовательныя цѣли, и когда вскорѣ Муравьевъ, по своимъ личнымъ обстоятельствамъ, покинулъ Петербургъ для службы на Кавказѣ, друзья проводили его своимъ напутствіемъ, и по дорогѣ на Кавказъ Муравьевъ получилъ отъ кружка письмо за подписью всѣхъ его членовъ съ привѣтами и пожеланіями. Муравьевъ былъ очень тронутъ этимъ посланіемъ: «Я сей листъ высоко чту,—пишетъ онъ послѣ,—и никогда ни на какіе аттестаты не промѣняю». Потомъ ему не разъ вспоминается «священная артель»; живя на Кавказѣ, ему хотѣлось составить подобный же кружокъ, но, повидимому, это никогда уже не удалось. Эта забота о самообразованіи, взаимный нравственный контроль, идеальныя стремленія составляютъ именно одну изъ привлекательныхъ сторонъ извѣстной доли тогдашняго молодого поколѣнія, и иногда на долго отличали людей Александровской эпохи отъ дѣятелей позднѣйшей формаціи, во второй четверти столѣтія.

Любопытна еще подробность, которую находимъ въ запискахъ. «Французскія войска,—пишетъ Муравьевъ,—были уже на границахъ нашихъ. Молодые офицеры мечтали о предстоявшей имъ бивачной жизни и о кочевомъ странствованіи внѣ предѣ-

ловъ столицы, помимо часто досадливыхъ требованій гарнизонной службы. Они увлекались мыслью, что въ бою съ непріятелемъ уподобятся героямъ древности [1]), когда каждый могъ ознаменовать себя личною храбростью. Повѣствованія о подвигахъ древнихъ рыцарей и примѣры воинской доблести, почерпаемой при чтеніи жизни героевъ, дѣйствительно служатъ къ пробужденію воинскаго духа между молодыми людьми. Я слышалъ отъ А. П. Ермолова, что, наканунѣ бородинскаго сраженія, онъ читалъ съ гр. Кутайсовымъ, убитымъ въ семъ сраженіи, пѣсни Фингала. Понятіе о святости обязанностей, конечно, обезпечиваютъ исполненіе оной, но примѣры отличныхъ подвиговъ украшаютъ сію обязанность» [2]). Не мудрено, что потомъ, когда Муравьевъ былъ въ арміи, ему не нравились военные кружки другого склада. Въ первое время онъ былъ причисленъ къ штату великаго князя Константина; встрѣченный имъ кружокъ Муравьеву очень не понравился. «Мы теперь очутились,—пишетъ онъ,—въ совершенно чуждомъ для насъ обществѣ, и еще какомъ! Все полковники, генералы... Въ первые дни были мы отуманены и въ большомъ замѣшательствѣ, впослѣдствіи же нѣсколько обошлись. Кругъ, въ коемъ мы находились, состоялъ вообще изъ людей мало образованныхъ, и хотя обращеніе ихъ было простодушное, но мы, несмотря на привѣтливость ихъ, избѣгали короткаго съ ними знакомства, ибо обычная праздная жизнь ихъ не соотвѣтствовала нашимъ понятіямъ объ обязанности и трудолюбіи, въ коемъ были воспитаны. Общество ихъ было въ высокой степени mauvais genre».

Въ запискахъ разсѣяно множество любопытныхъ подробностей, бытовыхъ и военныхъ. Война изображена не съ ея показной стороны и не съ точки зрѣнія стратегіи, а именно въ тѣхъ реальныхъ частностяхъ, которыя всего лучше передаютъ ея настоящій характеръ. Въ воспоминаніяхъ, составленныхъ для себя и въ то время, когда еще не успѣла укрѣпиться легенда, мы встрѣчаемъ также и весьма трезвыя характеристики лицъ, которыя въ позднѣйшей молвѣ и оффиціальной исторіи были прикрашены до неузнаваемости. Многіе изъ героевъ 12-го года

---

[1]) Вотъ, между прочимъ, отголосокъ тогдашняго классицизма.

[2]) Въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ о Ермоловѣ, что когда при Павлѣ онъ попалъ въ немилость и былъ сосланъ въ Кострому, «Алексѣй Петровичъ съ пользою употребилъ время пребыванія въ ссылкѣ, занимаясь усовершенствованіемъ, и примѣрно учился»...

являются въ запискахъ Муравьева не весьма привлекательными; онъ объясняетъ, напримѣръ, исторію Платова, который во время бородинскаго сраженія былъ совершенно пьянъ и не могъ исполнить своего дѣла; изображаетъ Милорадовича опять въ чертахъ не весьма красивыхъ, и даетъ портреты многихъ другихъ лицъ, весьма непохожіе на ихъ распространенную тогда репутацію. Ему случалось близко видѣть и многія крупныя событія, о которыхъ опять онъ разсказываетъ иначе, чѣмъ современныя реляціи, какъ, напримѣръ, о кульмскомъ сраженіи, и т. п.

Есть въ разсказѣ и бытовыя черты, очень характерныя. Таковы, напримѣръ, нѣкоторые эпизоды изъ тогдашней помѣщичьей жизни. Еще на пути изъ Петербурга въ армію заѣхалъ онъ съ братомъ къ одному родственнику, и видѣнное у него въ домѣ описываетъ какъ образчикъ быта мелкаго помѣщика и деревенской его жизни. «То былъ Петръ Семеновичъ Муравьевъ, дальній родственникъ нашъ, человѣкъ лѣтъ 50-ти, когда-то записанный сержантомъ въ Измайловскомъ полку, откуда онъ былъ выпущенъ, какъ при Екатеринѣ водилось, капитанскимъ чиномъ по арміи; вышелъ въ отставку, никогда не служивши, и поселился на житье въ своемъ сельцѣ Радгуси, отстоящемъ въ пяти верстахъ отъ нашего Сырца. Тутъ онъ построилъ себѣ порядочный домъ, копитъ деньги и ѣздитъ каждыя пять или шесть лѣтъ на лошадяхъ своихъ крестьянъ въ Москву; иногда бываетъ въ Петербургѣ, гдѣ останавливается въ Ямской слободѣ у знакомыхъ ямщиковъ, откуда справляетъ въ зеленой тележкѣ визиты къ своимъ родственникамъ, засиживаясь у нихъ по цѣлымъ днямъ, если же не съ ними, то пьянствуетъ съ ихъ дворовыми людьми. Хотя человѣкъ этотъ безъ всякаго воспитанія, но онъ по носимой имъ фамиліи ласково принимаемъ моимъ отцомъ, къ которому имѣетъ большое уваженіе. Обыкновенное общество Петра Семеновича въ деревнѣ состоитъ изъ поповъ, приказчиковъ околодка, съ которыми онъ пьетъ и нерѣдко дерется, при чемъ случалось, что его обкрадывали и пьянаго привозили въ телѣгѣ домой безъ часовъ или другихъ вещей, при немъ находящихся. Петръ Семеновичъ извѣстенъ также въ околодкѣ своими раскрашенными дугами и коренными лошадьми, на которыхъ онъ иногда тратитъ деньги. Онъ жестоко обходится съ своими крестьянами и дворовыми людьми, насильственно безчеститъ дѣвокъ и въ пьянствѣ своемъ палками наказываетъ бабъ, раздѣвъ ихъ прежде на-голо и привязавъ къ кресту, на сей предметъ сдѣланному.

Такая, по крайней мѣрѣ, неслась о немъ дурная слава. Вмѣстѣ съ этимъ онъ большой хлѣбосолъ... Едва ли проходилъ годъ, въ который не бѣжалъ бы отъ него кто-либо изъ его дворовыхъ людей, съ уворованіемъ денегъ изъ накопляемой имъ казны, которая хранится въ амбарѣ, въ окованномъ сундукѣ за нѣсколькими замками, изъ коихъ первый у него самого всегда въ рукѣ. Нѣкоторые изъ сихъ бѣглыхъ людей были пойманы и зарѣзались... На другой день мы отправились къ Петру Семеновичу; обѣдъ былъ хорошій. Хозяинъ всячески старался угождать намъ, и хотя то было во время великаго поста, онъ велѣлъ созвать всѣхъ деревенскихъ бабъ и дѣвокъ, поставилъ ихъ въ комнату около стѣнъ и приказалъ имъ пѣсни пѣть. Между тѣмъ, самъ онъ не переставалъ пить и насъ хотѣлъ къ тому же склонить; но мы были осторожны и выливали вино подъ столъ на полъ. Хозяинъ началъ-было плясать, но, не будучи болѣе въ состояніи ходить, онъ приказалъ себя по комнатамъ водить, только приплясывалъ и кланялся намъ въ ноги съ поддержкою, разумѣется, старосты и Ѳомки-кучера».

Это очевидно «предокъ» Ноздрева, и посѣщеніе родственника кончилось почти такъ же, какъ посѣщеніе Ноздрева Чичиковымъ. Гости едва спаслись отъ хозяина.

Изъ впечатлѣній Муравьева въ арміи отмѣтимъ еще одинъ отзывъ. Общество тогдашнихъ аристократическихъ офицеровъ «мнѣ вообще не нравилось,—пишетъ Муравьевъ;—не знаю, по какимъ причинамъ оно такъ прославилось въ Петербургѣ. Ничего святого у нихъ не было: пересуживали всѣхъ генераловъ, любовь къ отечеству было чувство для нихъ чуждое, и каждый изъ нихъ считалъ себя въ состояніи начальствовать арміею. У нихъ сочинялись насмѣшливыя пѣсни насчетъ начальниковъ и военныхъ дѣйствій». Муравьеву случилось быть въ Москвѣ передъ ея оставленіемъ; онъ искалъ здѣсь своего брата Михаила, который раненъ былъ подъ Бородинымъ и котораго послѣ того онъ потерялъ изъ виду. Михаилъ былъ вывезенъ въ Нижній; Николай оставилъ Москву вмѣстѣ съ войсками. Онъ сообщаетъ ходившіе тогда слухи и то, что ему самому случалось видѣть. «Кромѣ небольшой части простого народа, никого въ городѣ не оставалось. Дворянство все почти выѣхало. По каретамъ, въ то время показывавшимся на улицѣ, народъ бросалъ каменьями». Нѣкоторые изъ его знакомыхъ офицеровъ, запоздавшіе выѣздомъ, были захвачены французами. Вмѣстѣ съ арміей вы-

ѣхалъ изъ Москвы послѣдній огромный обозъ выходцевъ, который на первый ночлегъ остановился, по большей части, вмѣстѣ съ главной квартирой, не далѣе какъ верстахъ въ пятнадцати отъ города. «Во всѣхъ дѣйствующихъ войскахъ нашихъ, по выступленіи изъ столицы, состояло только 55 тысячъ человѣкъ подъ ружьемъ».

По выступленіи изъ Москвы, когда Муравьевъ пріѣхалъ въ одно селеніе, «сдѣлался въ Москвѣ взрывъ порохового магазина. Трескъ былъ ужасный, и городъ, который уже въ нѣсколькихъ мѣстахъ горѣлъ, почти весь запылалъ. Зрѣлище было грустное и вмѣстѣ страшное. Мы никакъ не хотѣли вѣрить, чтобы пламя пожирало Москву, и полагали, что горитъ какое-нибудь большое селеніе, лежащее между нами и столицею. Свѣтъ отъ сего пожара былъ такой яркій, что въ 12-ти верстахъ отъ города, гдѣ мы находились, я ночью свободно читалъ какой-то газетный листъ, который на дорогѣ нашелъ».

На походѣ отъ Москвы къ границѣ, Муравьевъ видѣлъ собственными глазами множество страшныхъ сценъ бѣдствія отступавшей французской арміи.

«Я не сократилъ, — говоритъ онъ, — пространнаго описанія бѣдствій, претерпѣнныхъ въ 1812 году французскою арміею, и оставилъ даже встрѣчающіяся о томъ повторенія, какъ свидѣтельство о впечатлѣніи, оставшемся у меня въ памяти, когда я писалъ сіи записки, шесть лѣтъ спустя послѣ событія, объ ужасахъ, сопровождавшихъ бѣгство непріятеля изъ нашего отечества... Въ 1812 году взято было нами въ плѣнъ 180 т. человѣкъ, изъ коихъ едвали 30 т. возвратились въ свое отечество. Французы оставили въ Россіи 1.400 орудій и всю казну, отъ которой обогатились преимущественно казаки. Довольно странно, что нѣкоторые изъ бродящихъ по дорогѣ французовъ, забывъ опасность, грабили вмѣстѣ съ казаками казну Наполеона и, въ общей суматохѣ, лазили въ фургоны, отъ коихъ, разумѣется, были отбиты. Инымъ, однако же, удавалось вытащить нѣсколько золота, которое у нихъ, впрочемъ, на мѣстѣ же и отбирали.

«Наши солдаты тоже много потерпѣли отъ холода. Потеря наша замерзшими состояла, можетъ быть, болѣе, чѣмъ изъ 1.000 человѣкъ. Кромѣ того, люди у насъ отъ трудовъ сильно ослабѣли. На переходахъ оставалось по дорогѣ большое количество усталыхъ, изъ коихъ часть впослѣдствіи присоединилась къ своимъ полкамъ, другая же сворачивала въ сторону отъ дороги и бродила по

селеніямъ. Помню, что подъ Радушкевичами весь минскій пѣхотный полкъ состоялъ только изъ 80 человѣкъ нижнихъ чиновъ; въ иныхъ ротахъ другихъ полковъ было только по 7, 8 и 10-ти рядовыхъ. Солдаты ходили въ лаптяхъ, одѣвались въ сѣрые крестьянскіе кафтаны и въ чемъ попало. И офицеры немногимъ лучше одѣвались; многіе ходили въ нагольныхъ тулупахъ и отличались отъ рядовыхъ только остатками нитянаго шарфа, которымъ подпоясывались».

Тѣмъ не менѣе, продолжаетъ далѣе Муравьевъ, «когда войска пришли въ Вильно, императоръ Александръ, не взирая на заслуги, оказанныя войсками, ознаменовалъ прибытіе свое въ Вильну арестованіемъ нѣсколькихъ офицеровъ гвардейскихъ за несоблюденіе формы въ одеждѣ».

Муравьевъ былъ при арміи во все продолженіе заграничнаго похода, участвовалъ въ послѣднихъ дѣйствіяхъ подъ Парижемъ и во вступленіи русскихъ войскъ во французскую столицу. Онъ подтверждаетъ прежніе разсказы о томъ нѣсколько странномъ предпочтеніи, какое императоръ Александръ сталъ отдавать французамъ передъ русскими; положеніе русскихъ войскъ было не весьма пріятно. «Во все время пребыванія нашего въ Парижѣ часто дѣлались парады, такъ что солдату въ Парижѣ было болѣе трудовъ, чѣмъ въ походѣ. Побѣдителей морили голодомъ и держали какъ бы подъ арестомъ въ казармахъ. Государь былъ пристрастенъ къ французамъ и до такой степени, что приказалъ парижской національной гвардіи брать нашихъ солдатъ подъ арестъ, когда ихъ на улицахъ встрѣчали, отъ чего произошло много дракъ, въ которыхъ большею частью наши оставались побѣдителями. Но такое обращеніе съ солдатами отчасти склонило ихъ къ побѣгамъ, такъ что при выступленіи нашемъ изъ Парижа множество изъ нихъ осталось во Франціи.

«Комендантомъ Парижа сдѣлали Рошешуара, флигель-адъютанта государева. Онъ былъ родомъ французъ и въ числѣ тѣхъ, которые во время революціи оставили отечество свое, подъ предлогомъ преданности къ своему изгнанному и неспособному королю, но въ сущности, какъ многіе судили, съ единственною цѣлью миновать бѣдствія и труды, которые соотечественники ихъ перенесли для спасенія Франціи. Рошешуаръ дѣлалъ всякія непріятности русскимъ офицерамъ, почему и не терпѣли его. Онъ окружился французами, которыхъ поддерживалъ и давалъ имъ всегда преимущество надъ нашими, такъ что цѣль государя

была вполнѣ достигнута: онъ пріобрѣлъ расположеніе къ себѣ французовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вызвалъ на себя ропотъ побѣдоноснаго своего войска».

Извѣстно, что это пристрастіе къ европейскому, особливо къ французскому, сохранилось у императора Александра и по возвращеніи его въ Россію. Замѣчалось какое-то неохотное отношеніе къ русскимъ дѣламъ; императора увлекала европейская политика и его успѣли втянуть въ интересы западно-европейской реакціи, чѣмъ воспользовались и домашніе обскуранты: императоръ Александръ допускалъ имъ дѣйствовать, не замѣчая, что не было ничего общаго между интересами русскаго общества и стремленіями австрійской и прусской реакціи.

Записки Муравьева, кажется, еще далеко не окончены изданіемъ, и мы не будемъ слѣдить за ихъ продолженіемъ послѣ 1815 г. Муравьевъ послѣ окончанія войны не долго оставался въ Петербургѣ. Личныя обстоятельства побудили его искать службы на Кавказѣ, и онъ причисленъ былъ къ штату Ермолова, отправлявшагося тогда посломъ въ Персію. Разсказъ объ этой поѣздкѣ въ изданной части записокъ его только начатъ.

Двѣнадцатому году посвящено еще нѣсколько историческихъ матеріаловъ, явившихся въ послѣдніе годы. Въ числѣ ихъ заслуживаютъ вниманія записки В. И. Бакуниной [1]). Эти записки совсѣмъ не назначались къ печати; это чисто домашній, личный дневникъ, составительница котораго желала сохранить для себя воспоминанія о крупныхъ событіяхъ ея времени. Сама Бакунина не была вовсе близка къ какому-нибудь изъ крупныхъ дѣятелей того времени, мало изъ происходившаго видала собственными глазами, но событія волновали ее, она много слышала о нихъ, и ея воспоминанія любопытны именно какъ отголосокъ, что дѣлалось, что думалось и говорилось въ обществѣ (петербургскомъ) въ то время, когда совершались тревожныя внутреннія и внѣшнія событія двѣнадцатаго года. Записки ея даютъ намъ заглянуть въ домашнюю интимную жизнь общества, видѣть его настроеніе, страхи и ожиданія. Составительница записокъ — большая патріотка: канунъ двѣнадцатаго года наполнилъ ее безпокойствомъ; русская политика того времени не удовлетворяла ее, то есть

---

[1]). «Двѣнадцатый годъ», въ «Русск. Старинѣ» 1885, сент., стр. 391—410.

не удовлетворяла большой массы общества, мнѣнія которой она повторяла.

Упомянувъ, въ началѣ своихъ записокъ, что по ея знакомствамъ ей было извѣстно многое, что не всѣ знаютъ и чего память она хотѣла сохранить, она продолжаетъ: «Черезъ нѣсколько лѣтъ трудно будетъ себѣ привести на память обстоятельно разнообразные случаи и происшествія, какими изобилуетъ вѣкъ нашъ; еще труднѣе будетъ припомнить новыя постановленія, замѣненныя другими... Пріятно мнѣ будетъ самой найти здѣсь любопытныя и достопримѣчательныя приключенія, всѣми давно забытыя; ежели бы болѣе имѣла досужнаго времени, могла бы описать напоминанія лѣтъ юности моей, времени высшей степени славы Россіи. Солнце ея было тогда на самой высотѣ неба, плавно стало склоняться къ западу и вдругъ быстро покатилось и скрылось подъ горизонтомъ,—сумракъ, потомъ глубокая тьма покрыли землю нашу. Вдругъ яркая багряная заря предвозвѣстила намъ восходъ солнечный; но едва стало оно освѣщать и согрѣвать насъ, какъ пары зараженные, поднявшись изъ земли ненавистной, собрались въ густой туманъ, сокрыли и притупили благотворные лучи его. О, когда Богъ русскихъ, возставши на сопротивныхъ и разсѣя мглу, просвѣтитъ отечество наше блескомъ полуденнымъ, облекши въ прежнюю славу!» Въ этихъ нѣсколько темныхъ словахъ, очевидно, идетъ рѣчь о двѣнадцатомъ годѣ.

Въ запискахъ Бакуниной смѣшаны факты и слухи, и послѣдніе любопытны не меньше первыхъ, рисуя общественное настроеніе. Въ январѣ двѣнадцатаго года она отмѣчаетъ ожиданіе «желаннаго мира съ турками», на который надѣялись по военнымъ успѣхамъ Кутузова. Рядомъ она упоминаетъ, что: «13-го числа большой парадъ, день рожденія имп. Елисаветы Алексѣевны; каждаго пѣшаго полка гвардіи третьяго баталіона арестованы всѣ офицеры, худо маршировали,—отъ того, быть можетъ, что озябли, морозъ былъ пресильный».

Въ февралѣ онъ отмѣчаетъ, что «начали поговаривать о войнѣ съ французами и пророчить близкій походъ гвардіи. Гласъ Божій — гласъ народа. Манифестъ о налогахъ вышелъ, много недовольныхъ; но ропотъ уменьшился, когда сказанъ походъ полкамъ; не стали жалѣть о собственности, въ надеждѣ, что употреблено будетъ въ пользу на военныя издержки противъ врага ненавидимаго».

Въ мартѣ Бакунина записала «великій день»: это была ссылка Сперанскаго. Изъ его біографіи извѣстно, какую ожесточенную вражду питали тогда къ нему въ различныхъ кругахъ общества, и съ какимъ удовольствіемъ принята была его ссылка, въ которой видѣли явное указаніе на его «измѣну». Къ немногимъ современнымъ свидѣтельствамъ объ этой враждѣ къ Сперанскому присоединяется теперь показаніе Бакуниной, которая и сама была страшно возстановлена противъ Сперанскаго и старательно собрала ходившія тогда обвиненія, въ которыя вполнѣ вѣрила. Эти строки очень любопытны: «Великъ день для отечества и насъ всѣхъ — 17-й день марта! Богъ ознаменовалъ милость свою на насъ, паки къ намъ обратился и враги наши пали. Открыто преступленіе въ Россіи необычайное, измѣна и предательство. Неизвѣстно еще всѣмъ, ни какъ открылось злоумышленіе, ни какія точно были намѣренія, и какимъ образомъ должны были приведены быть въ дѣйствіе. Должно просто полагать, что Сперанскій намѣренъ былъ предать отечество и государя врагу нашему. Увѣряютъ, что въ то же время хотѣлъ возжечь бунтъ вдругъ во всѣхъ предѣлахъ Россіи и, давъ вольность крестьянамъ, вручить имъ оружіе на истребленіе дворянъ. Извергъ, не по доблести возвышенный, хотѣлъ довѣренность государя обратить ему на погибель. Магницкій, наперсникъ его и сотрудникъ, въ тотъ же день сосланъ. Увѣряютъ, что Ф. А. Воейковъ соучастникъ въ преступленіи, но онъ не наказанъ, удаленъ только отъ министра и дана ему бригада въ Москвѣ. Видно, онъ еще не уличенъ, а подозрѣваемъ. Время откроетъ истину; слухи, также противорѣчащіе другъ другу, и разногласіе въ томъ, кто открылъ преступленіе и какимъ образомъ,

«17-го ввечеру Сперанскій былъ призванъ къ государю, который, какъ увѣряютъ, долго его увѣщевалъ, надѣясь и ожидая признанія, но тщетно; ожесточенный измѣнникъ твердо увѣрялъ о своей невинности, наконецъ, уличенный доказательствами, кои были въ рукахъ государя, бросился къ ногамъ его и рыдалъ горько, отъ страху ли то было или досады, что открылось, или отъ раскаянія — Богу одному извѣстно. Послѣ сего разговора былъ онъ отправленъ съ полицейскимъ чиновникомъ, какъ говорятъ, въ Нижній, Магницкій — въ Вологду. Бумаги ихъ теперь разбираютъ Вязмит. Гол. и Молч. (?). Умудри ихъ Господи обнаружить все, открыть преступниковъ и сообщниковъ ихъ и оправдать невинныхъ.

«18-го числа потихоньку, за великую тайну, на ухо другъ другу шептали о ссылкѣ недостойнаго вельможи, но 19-го сдѣлалось то совершенно гласно, и принята вѣсть съ восторгомъ; посѣщали другъ друга для поздравленія, воздали славу и благодареніе Спасителю Господу и хвалу сыну отечества, открывшему измѣну, но намъ неизвѣстному.

«Никакое происшествіе на моей памяти не возбудило всеобщаго вниманія до такой степени, какъ это; все забыто,—одно занятіе, одна мысль, одинъ у всѣхъ разговоръ».

Лѣтописательница прибавляетъ, что «никого измѣна не удивила; давно ее угадывали изъ всѣхъ новыхъ постановленій, клонящихся къ разрушенію порядка повсемѣстно и потрясенія въ самомъ основаніи зданія правленія. Исчислять начали всѣ вымышленныя положенія для удаленія отъ дворянства и для возрожденія взаимнаго негодованія». Въ числѣ преступленій Сперанскаго ставится извѣстный указъ объ экзаменахъ на чины; далѣе «постановленіе, что придворное званіе не даетъ чина, пресѣкло лестную дорогу дворянамъ» (хотя извѣстно, что самъ императоръ Александръ не любилъ этой службы, называя придворныхъ полотерами) и т. п. Вообще Сперанскому приписывается злонамѣренный планъ унизить дворянство и поселить «взаимное негодованіе». Только «нѣсколько робкихъ и слабыхъ голосовъ» защищали Сперанскаго, «сѣтовали на клевету, злобу и ухищренія министровъ противъ невинности». Въ обществѣ, по словамъ Бакуниной, «всѣ согласуются въ желаніи примѣрнаго наказанія» преступнику и обнародованія преступленія и наказанія». Этого обнародыванія, какъ извѣстно, никогда не воспослѣдовало. Къ концу мѣсяца Бакунина записываетъ: «Продолжали говорить о паденіи Сперанскаго и всѣ благомыслящіе сожалѣли, что не гласно преступленіе и не строго наказаніе. Не радовались милосердію, называя оное попущеніемъ; единомысленники и потакатели Сперанскаго стали громче проповѣдывать о мнимой невинности его».

Въ слѣдующіе мѣсяцы Бакунина записываетъ доходившіе свѣдѣнія и слухи о приближающейся войнѣ, объ отъѣздѣ государя къ арміи, о пребываніи его въ Вильнѣ. Въ іюнѣ пишетъ она, что «въ Вильнѣ, по слухамъ, занимаются разводами, праздниками и волокитствомъ, отъ старшихъ до младшихъ, по пословицѣ— игуменья за чарку, сестры за ковши; молодые офицеры пьютъ, играютъ и прочее... вседневные orgies». Къ этому послѣднему

слову она замѣчаетъ: «не знаю русскаго слова сего значенія, по чистотѣ нравовъ нашихъ, недавно искаженныхъ», — разумѣется, она очень ошибалась въ скудости русскаго языка на эту тему...

«Все въ бездѣйствіи, которое можно почти назвать столбнякомъ, когда подумаешь, что непріятель, самый хитрый, самый счастливый, искуснѣйшій полководецъ въ свѣтѣ, исполинскими шагами приближается къ предѣламъ нашимъ».

Съ этого же времени идутъ въ лѣтописи Бакуниной выраженія прискорбія и неудовольствія противъ дѣйствій тогдашнихъ военачальниковъ и вообще совѣтниковъ императора Александра. Всего больше негодованіе направлялось противъ Барклая-де-Толли. Н. Н. Муравьевъ отмѣчаетъ въ своихъ запискахъ недовольство арміи, когда началось отступленіе: «Во всей арміи, солдаты и офицеры желали генеральнаго сраженія, обвиняли Барклая и нещадно бранили его. Сраженіе, въ самомъ дѣлѣ, предполагалось дать, и никто не полагалъ, чтобы Смоленскъ уступили безъ боя». Бакунина передаетъ отголоски этого же неудовольствія въ Петербургѣ. Барклая считали уже заранѣе человѣкомъ неопытнымъ и незаслуживавшимъ довѣрія. «Государь самъ съ нимъ,—пишетъ Бакунина:—пословица: одинъ умъ хорошо, а два лучше; но одна неопытность и одно неискусство гораздо лучше двухъ. Совѣтники же царскіе и наперсники не удобны подать не только совѣта, ниже мысли доброй... Аракчеевъ, злобный и мстительный человѣкъ, служилъ только въ Гатчинѣ, училъ военному искусству на Марсовомъ полѣ и на площадяхъ Исакіевской и Дворцовой и, какъ увѣряютъ, разсуждаетъ о вещахъ совсѣмъ противно здравому разсудку. Балашевъ отнюдь не военный, да и не государственный человѣкъ. Кочубей былъ весьма дурной министръ внутреннихъ дѣлъ; онъ первый наложилъ руку на гражданскую часть и началъ разстройства и путаницу, которыя доведены до совершенства его преемниками. Канцлеръ Румянцевъ по своимъ способностямъ могъ бы управлять департаментомъ иностранныхъ дѣлъ въ Сенъ-Маринской республикѣ, подлый льстецъ въ добавокъ, душою преданъ былъ всегда Наполеону, ненавидимъ и презрѣнъ всѣми до такой степени, что радовались, когда ему сдѣлался ударъ, отъ котораго ротъ и глаза покривились, жалѣли всѣ, что онъ оправился».

Извѣстія объ отступленіи продолжаютъ возбуждать крайнее негодованіе: «Горесть и страхъ часъ отъ часу умножались

однако же старались насъ обмануть (?), увѣряя, что отступаютъ только отъ назначеннаго мѣста..., что все это дѣлается по премудрому плану..., что, придя въ крѣпкую позицію, остановятся и отразятъ непріятеля, что нужно сіе, чтобы навѣрное его разбить и заставить раскаяться въ дерзости. Сіи и подобныя предположенія нѣсколько времени насъ тѣшили, сперва онымъ вѣрили, надѣялись, потомъ начали сомнѣваться и, наконецъ, извѣрились совершенно». Бакунина смѣется надъ «витіеватыми, хотя нескладно написанными» приказами Барклая, въ которыхъ онъ «призываетъ войска храбро поражать врага, а самъ отъ него велитъ бѣжать». «День полтавской побѣды, 27-го іюня, не пропущенъ также безъ приказа, хотя въ немъ, напоминая побѣды праотцевъ нашихъ, заставляютъ потомковъ слѣдовать по стезямъ ихъ, но между тѣмъ велятъ идти назадъ, что, однако же надобно сказать къ чести нашихъ воиновъ, весьма неохотно исполняютъ».

Настроеніе лѣтописательницы остается мрачнымъ и послѣ того, когда императоръ Александръ былъ въ Москвѣ и потомъ пріѣхалъ въ Петербургъ: «Сердца наши, стѣсненныя горестью, озлобленныя, неудобны были чувствовать радости, не чувствовать восторговъ. Обычное унылое молчаніе вездѣ царствовало и день сей былъ для всѣхъ мраченъ, подобно и предъидущимъ; по повелѣнію городъ былъ иллюминованъ». Стали, наконецъ, думать, что Барклай есть предатель: «имя его сдѣлалось ненавистнымъ, никто изъ прямо русскихъ не произносилъ его хладнокровно, иные называли его измѣнникомъ другіе, сумасшедшимъ или дуракомъ, но всѣ соглашались въ томъ, что онъ губитъ насъ и предаетъ Россію. Нѣкоторые еще изъ нѣмецкой партіи слабымъ голосомъ его защищали, но заглушаемы были громкими криками негодованія» [1]). Въ іюлѣ она записываетъ общія желанія, чтобы во главѣ арміи былъ поставленъ Кутузовъ, который передъ тѣмъ возвратился въ Петербургъ по заключеніи мира съ Турціей и назначенъ былъ командовать петербургскимъ ополченіемъ. Это казалось страннымъ, какъ и возведеніе его въ княжеское достоинство, которое на немъ должно было кончиться, такъ какъ у него не было мужского потомства. «Извѣрившись совершенно Барклаю, полагали единственную надежду на князя Голенищева-

[1]) Припомнимъ сообщеніе Муравьева, что численность нашего сберегавшагося Барклаемъ войска по выступленіи изъ Москвы составляла только 55 тысячъ. Что было бы, еслибы войска не были сберегаемы?

Кутузова; одна у всѣхъ мысль, одинъ разговоръ; возмущены женщины, старые, молодые, однимъ словомъ всѣ состоянія, всѣ возрасты нарекали его единодушно спасителемъ отечества; единогласно призывали его, громко вездѣ раздавалось, что погибель наша неизбѣжна, когда не будетъ предводительствовать арміею князь Гол.-Кутузовъ. Такое движеніе арміи, которая, уже соединясь съ Багратіономъ, все продолжала отступать, ясно намъ показало, что ежели хотятъ еще что защищать, то, конечно, не Петербургъ, а Москву; безпокойство, уныніе, страхъ дошли до высочайшей степени».

На этомъ и кончаются записки Бакуниной. При всей краткости, онѣ имѣютъ историческую важность, какъ современное и видимо точное свидѣтельство о той тревогѣ, какая наполняла петербургское общество въ первую пору двѣнадцатаго года до назначенія Кутузова главнокомандующимъ. Отзывъ о Сперанскомъ идетъ изъ того круга, который уже давно былъ вооруженъ противъ него, и даетъ образчикъ тѣхъ стадныхъ настроеній, какія не разъ проявлялись въ русскомъ обществѣ, особливо при безгласности общественнаго мнѣнія. Изъ записокъ Бакуниной видно, что и тогда желали открытаго разъясненія дѣла, но его не было—не потому ли, что нечего было сказать положительнаго и справедливаго? Дѣло Сперанскаго не было выяснено и напечатанными нѣсколько лѣтъ назадъ записками Де-Санглена, который очень близко стоялъ къ этому дѣлу и всетаки оставляетъ его въ туманѣ. Такою же стадною была вражда къ Барклаю-де-Толли; его оправдалъ только цѣлый ходъ событій, который показалъ, что при первомъ вступленіи французовъ невозможенъ былъ иной способъ дѣйствій, кромѣ того выжидательнаго, какой былъ имъ принятъ. Предубѣжденіе противъ Барклая было такъ сильно, что долго спустя Пушкинъ счелъ нужнымъ защитить его въ извѣстномъ стихотвореніи.

Къ эпохѣ двѣнадцатаго года примыкаютъ частію разсказы князя А. Н. Голицына, передаваемые въ запискахъ Ю. Н. Бартенева. Часть ихъ была напечатана въ 1884 году въ «Русской Старинѣ» (кн. 1-я); новый рядъ отрывковъ явился въ «Русскомъ Архивѣ» [1]). Этотъ Бартеневъ былъ извѣстенъ въ Александровское и Николаевское время какъ одинъ изъ ревностныхъ мистиковъ той школы,

[1]) 1886 г. № 3, 5, 7, 10.

которая развилась въ особенности въ царствованіе императора Александра, отчасти какъ продолженіе стараго масонскаго піэтизма, отчасти какъ слѣдствіе новѣйшихъ вліяній европейской реакціонной эпохи. Не припомнимъ, была ли разсказана біографія этого Бартенева, знаемъ только, что онъ былъ директоромъ одной провинціальной гимназіи, служилъ также въ Петербургѣ и въ 30-хъ годахъ былъ близокъ къ князю А. Н. Голицыну, игравшему извѣстную роль въ царствованіе императора Александра. Князь Голицынъ всю свою жизнь провелъ при дворѣ: въ ранней юности онъ видѣлъ дворъ Екатерины; при Павлѣ онъ впалъ въ немилость; возвратился ко двору при Александрѣ I, съ которымъ былъ въ близкихъ дружескихъ отношеніяхъ. Человѣкъ свѣтскій, подвижной, остроумный, онъ велъ разсѣянную жизнь и, по его собственнымъ признаніямъ, напитанный французской литературой, хвастался въ свѣтскихъ аристократическихъ кругахъ своимъ религіознымъ вольномысліемъ или даже прямо безбожіемъ и кощунствомъ; но въ одно прекрасное утро императоръ Александръ назначилъ его—оберъ-прокуроромъ святѣйшаго синода. Назначеніе было такъ неожиданно по складу мыслей и поведенія князя Голицына, извѣстныхъ всѣмъ и самому императору, что Голицынъ самъ усомнился принять это назначеніе; но императоръ желалъ имѣть въ упомянутомъ вѣдомствѣ свое довѣренное лицо и настоялъ на своемъ. Князь Голицынъ принялся за дѣла святѣйшаго синода и, уже состоя оберъ-прокуроромъ, не мѣнялъ ни своего образа мыслей, ни образа жизни; бывали случаи, гдѣ противорѣчіе его служебнаго положенія и его характера сказывалось странными проявленіями; но мало-по-малу новая среда, въ которой онъ вращался, новые вопросы, которые потребовали ознакомленія съ правилами церкви и церковнымъ законодательствомъ, стали оказывать на него вліяніе, и князь Голицынъ изъ свѣтскаго безбожника превратился въ благочестиваго человѣка. Такимъ онъ остался и до конца. Позднѣе онъ сталъ министромъ народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, и, наконецъ, послѣ неудачи въ въ этомъ министерствѣ, былъ поставленъ во главѣ почтоваго вѣдомства. При императорѣ Николаѣ онъ сохранялъ свое значеніе при дворѣ, гдѣ былъ дружески принимаемъ, но, кажется, не имѣлъ большого дѣлового вліянія. Онъ умеръ въ сороковыхъ годахъ.

Религіозность князя Голицына не была, однако, простымъ искреннимъ благочестіемъ, а носила на себѣ особую печать времени, когда религіозное настроеніе осложнялось остатками

стараго мистицизма и новѣйшаго піэтизма. Первые годы царствованія Александра ознаменовались, между прочимъ, возобновленіемъ масонскихъ ложъ и вслѣдствіе того новымъ распространеніемъ мистическихъ ученій. Немного позднѣе стало распространяться «библейское общество», въ которомъ нашли себѣ пріютъ именно эти элементы; послѣ двѣнадцатаго года, рядомъ съ развитіемъ либерализма въ молодыхъ поколѣніяхъ, въ старомъ поколѣніи сталъ размножаться особый типъ людей, которые, возставая противъ либерализма во имя религіи, проповѣдывали нѣчто странное, въ чемъ было не столько церковной вѣры или практическаго христіанства, сколько туманныхъ мистическихъ теорій и фанатическаго піэтизма. Въ эту пору дѣйствовалъ Лабзинъ, извѣстный издатель «Сіонскаго Вѣстника», въ эту пору пророчествовала г-жа Крюднеръ, одно время имѣвшая вліяніе на самого императора Александра; извѣстные круги петербургскаго общества увлекались иностранными проповѣдниками-піэтистами, какъ Госнеръ; іезуиты вели ревностную пропаганду, пока, наконецъ, ихъ удаленіе вызвано было церковнымъ скандаломъ успѣховъ католической и іезуитской пропаганды въ средѣ русской аристократіи; процвѣтала хлыстовская секта г-жи Татариновой, поднимались извѣстныя безобразныя гоненія противъ профессоровъ петербургскаго университета (1821) и т. д. Ревнители этого движенія считали себя хранителями вѣры и добрыхъ истинно русскихъ началъ,—когда на дѣлѣ, не говоря о постыдномъ лицемѣріи, съ какимъ дѣйствовали многіе изъ нихъ, вся складка ихъ мыслей и ихъ «вѣры» была, конечно, совсѣмъ не русская и навѣяна была піэтизмомъ западно-европейской реакціи, получавшимся нерѣдко изъ первыхъ рукъ, напр. отъ графа Жозефа де-Местра, отъ іезуитовъ, отъ Госнера и пр. Фальшивость положенія не могла, въ концѣ концовъ, не обнаружиться, и когда вліятельное духовенство молчало, довольно было выступить такому странному дѣятелю, какъ архимандритъ Фотій, произвести погромъ, противъ котораго оказался безсиленъ даже князь А. Н. Голицынъ. Нападенія Фотія на новую религіозную тенденцію, на масоновъ и мистиковъ, были грубы, аляповаты, необузданны, да и лицемѣрны, и не могутъ возбуждать никакого сочувствія, потому что самъ онъ былъ невѣжда и обскурантъ въ другую сторону, но на нѣкоторую долю онъ былъ правъ,—поэтому онъ имѣлъ успѣхъ, несмотря на всю нелѣпость его нападеній вообще.

Кн. Голицынъ, послѣ своего обращенія, игралъ важную роль въ этомъ распространеніи піэтизма; въ его ближайшей обстановкѣ, подъ охраной его вліятельнаго положенія при дворѣ и въ правительствѣ, это направленіе распространялось какъ признанное и какъ бы оффиціально потребное; подъ его ближайшимъ начальствомъ бывали особливо упорные мистики, конечно, имъ поощряемые.

Разсказы этого князя Голицына и собраны въ запискахъ Бартенева. Не знаемъ, въ какомъ именно отношеніи находился Бартеневъ къ князю Голицыну въ 30-хъ годахъ, когда составлялись записки, но отношенія эти были близки, хотя князь смотрѣлъ на Бартенева видимо свысока, съ аристократическимъ высокомѣріемъ, а Бартеневъ отвѣчалъ ему величайшимъ подобострастіемъ. Повидимому, князь Голицымъ поручилъ Бартеневу составленіе этихъ записокъ: князь разсказывалъ, часто съ большими подробностями, различные эпизоды своей жизни, своей придворной и служебной карьеры; Бартеневъ дома записывалъ и потомъ записанное прочитывалъ снова князю, который обыкновенно находилъ запись правильною и точною. Но работа шла неровно: записки отчасти передаютъ разсказы кн. Голицына сполна, отчасти состоятъ только изъ конспекта, который остался невыполненнымъ,—о чемъ нельзя не пожалѣть, потому что въ конспектѣ намѣчено не мало любопытныхъ темъ, особливо изъ придворной исторіи конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія.

Бартеневъ не однажды замѣчаетъ, что кн. Голицынъ одобрялъ его изложеніе; оно было тѣмъ болѣе старательно, что Бартеневъ преклонялся передъ Голицынымъ, какъ олицетвореніемъ и христіанской, и житейской, и придворной мудрости. Изъ самыхъ записокъ видно, что Бартеневъ не затруднялся выражать это преклоненіе самому князю, такъ что, высказываемое въ глаза, оно являлось лестью безмѣрной и не весьма тонкой. Разсказы были иногда довольно откровенны: такъ, кн. Голицынъ не скрывалъ своего характера до обращенія,—правда, не трудно было указывать ошибки, столь блистательно потомъ исправленныя. Записки, по свойствамъ обоихъ составителей, даютъ весьма замѣчательный матеріалъ для знакомства съ цѣлой полосой нашей общественной оффиціальной жизни за вторую половину Александровской эпохи. Обстановка кн. Голицына была главнымъ гнѣздомъ, откуда исходило практическое вліяніе тогдаш-

нихъ мистиковъ, которые были вмѣстѣ съ тѣмъ и злостными обскурантами. Бартеневъ, какъ мы сказали, изображаетъ кн. Голицына образцомъ мудрости, остроумія и просвѣщенія. Свѣтскимъ остроуміемъ онъ дѣйствительно обладалъ; по всей вѣроятности, обладалъ и большой придворной мудростью; память сохраняла множество любопытныхъ эпизодовъ, но что касается его просвѣщенія, оно было сомнительное. Сначала оно состояло въ поверхностномъ знакомствѣ съ вольнодумной французской литературой, потомъ въ изученіи мистическихъ трактатовъ; его министерство ознаменовано извѣстнымъ постыднымъ преслѣдованіемъ профессоровъ петербургскаго университета и хозяйничаньемъ Магницкаго въ университетѣ казанскомъ—нечего говорить, что то и другое не могло бы быть допущено министромъ, сколько-нибудь понимающимъ и цѣнящимъ просвѣщеніе... Когда кн. Голицынъ обратился въ христіанство, онъ сблизился именно съ мистиками. Изъ его разсказовъ видно, что не малое вліяніе возъимѣли на него старые масоны, Р. А. Кошелевъ, затѣмъ Лѣнивцевъ; однимъ изъ ближайшихъ подчиненныхъ по министерству былъ Поповъ, котораго судили потомъ за намѣреніе издать по-русски книгу Госнера; онъ велъ дружбу съ мистическими дамами, между прочимъ съ баронессой Крюднеръ и пр.

По словамъ его, онъ первый навелъ императора Александра на религіозныя мысли и былъ виновникомъ его обращенія. Вотъ нѣсколько подробностей объ этомъ предметѣ: «Политическій горизонтъ давно уже началъ темнѣть, тучи медленно собирались на западѣ Европы, все предвѣщало катастрофу, все ожидало какого-то необычайнаго событія, еще небывалаго въ новѣйшей исторіи. Дѣла шли, однако, своимъ обычнымъ порядкомъ, и я, по обыкновенію, хотя былъ близокъ къ государю, но постоянно уклонялся отъ всякой съ нимъ полемики. Александръ былъ добръ сердцемъ, великодушенъ и добросовѣстенъ въ непосредственныхъ сношеніяхъ своихъ съ его близкими окружающими. Но, къ несчастію, глубоко вкорененный въ немъ типъ западнаго образованія и, можетъ быть, неизвинительная небрежность, если не злонамѣренность, главныхъ его пѣстуновъ, поселили въ сердцѣ государя странное разнорѣчіе съ его истинными потребностями. Во внѣшнихъ дѣлахъ управленія Александръ никогда не мѣшалъ дѣйствовать другимъ по ихъ христіанскому побужденію и, слѣдовательно, былъ весьма далекъ, чтобъ преслѣдовать подозрѣніемъ и мою перемѣну въ образѣ мыслей; но я самъ никогда

не могъ забыть и простить себѣ сего несчастнаго и горько оплаканнаго мною времени, когда, въ безуміи моего заносчиваго невѣрія, я позволялъ себѣ, часто въ его личномъ присутствіи, и подстреканія, и ядовитыя насмѣшки надъ христіанскимъ вѣрованіемъ.

«Но вотъ, въ одно время, бесѣдуя наединѣ съ государемъ о Евангеліи, я простодушно спросилъ его, читывалъ ли онъ эту книгу?—«Нѣтъ, никогда не читывалъ,—отвѣчалъ мнѣ государь:—а если что изъ нея знаю, то развѣ слыхивалъ въ церкви. А теперь и этотъ источникъ для меня уже прекратился,—продолжалъ Александръ:—ибо я, сдѣлавшись глухъ, не пользуюсь нынѣ и малымъ моимъ знаніемъ, да и послѣднее растерялъ, что слыхивалъ».—Не угодно ли вашему величеству полюбопытствовать, прочитать эту книгу,—промолвилъ я ему:—мнѣ, право, сдается, что она стоила бы всего вашего вниманія, и я увѣряю васъ, государь, что вы никакъ не будете въ томъ раскаяваться, и еще скажете мнѣ спасибо.—Александръ согласился и далъ мнѣ слово прочитать Евангеліе, что меня крайне утѣшило, и я въ тотъ же день поспѣшилъ подарить ему собственную мою библію... Вскорѣ послѣ нашего разговора, государь отправился въ Новую Финляндію... По возвращеніи своемъ въ Петербургъ, государь счелъ за нужное поблагодарить меня за данный ему совѣтъ.—«Я въ восхищеніи отъ этой книги,—сказалъ мнѣ императоръ:—но, вмѣстѣ съ тѣмъ, признаюсь тебѣ, Голицынъ, меня очень соблазняетъ твой Апокалипсисъ; тамъ братецъ, только и твердятъ объ однѣхъ ранахъ и зашибеніяхъ (il n'y a que plaies et bosses, точныя слова Александра). Мнѣ кажется,—продолжалъ государь,—что будто какой новый міръ открывается для меня; право, я очень тебѣ благодаренъ за твой совѣтъ»...—Обрадованный до глубины сердца моего, я осмѣлился тогда же просить Александра.—Государь,—сказалъ я ему,—пожалуйте мнѣ вѣрное царское слово ваше, что какъ скоро вы возъимѣете рѣшительную и полную вѣру въ Распятаго Іисуса, то увѣдомите меня о томъ немедленно.

«Причина сего желанія очевидна: мнѣ хотѣлось облегчить совѣсть свою и уничтожить то болѣзненное въ ней воспоминаніе, что я самъ нѣкогда развивалъ въ моемъ государѣ идеи невѣрственныя и ложныя.

«Между тѣмъ, государь не оставлялъ и въ Петербургѣ постоянно заниматься чтеніемъ Новаго Завѣта»...

Затѣмъ императоръ отправился къ арміи, Голицынъ остался въ Петербургѣ.

«Я ожидалъ желаннаго увѣдомленія, отъ Александра,—не было увѣдомленія.

«Наконецъ, я рѣшаюсь самъ уже писать къ государю, и беру смѣлость напомнить ему о взаимныхъ нашихъ условіяхъ. Оканчивая мое письмо, я такъ говорю ему: «Государь! Не нужно даже увѣдомленія вашего, чтобъ меня утѣшить и успокоить; вселенскія ваши дѣйствія, ваши, государь, торжественные манифесты, исполненные христіанскаго помазанія, достаточно могутъ увѣрить всѣхъ и каждаго, какъ глубоко вкоренено въ васъ христіанство, и какъ свѣтло оно просіяваетъ въ смиренномъ и любящемъ сердцѣ вашемъ». На сіе письмо я вскорѣ получаю отъ государя отвѣтъ, въ которомъ, со всѣмъ увлеченіемъ растворенной и проникнутой воли, онъ вполнѣ сознается мнѣ, что давно уже передалъ себя совершенному вожденію Господа...

«Съ этихъ поръ взаимная наша съ Александромъ переписка приняла уже на себя характеръ прямо-христіанскій; она обратилась въ непритворную бесѣду искреннихъ и простодушныхъ друзей, которые сладко и протяжно бесѣдуютъ о возлюбленномъ ихъ Спасителѣ. Я сохраняю свято всѣ письма Александровы, которыя и нынѣ составляютъ для меня священный залогъ отраднаго воспоминанія, всегда сладостнаго, когда я мысленно переношусь въ прошедшее».

Мы приведемъ еще одно мѣсто изъ этихъ записокъ, чтобы дать понятіе о той философіи, какую исповѣдывали Бартеневъ и его патронъ. Между прочимъ, при свиданіяхъ они читали разные религіозно-мистическіе трактаты. Бартеневъ подробно передаетъ одно изъ этихъ чтеній.

«По обыкновенію,—пишетъ Бартеневъ въ декабрѣ 1837 г.,—являемся къ князю въ исходѣ второго часа. Начинается чтеніе. На этотъ разъ князь самъ начинаетъ, и читаетъ съ особенной ловкостію и одушевленіемъ, котораго я прежде въ немъ не замѣчалъ. Это привело мнѣ на память способность Расинову для чтенія. Авторъ «Enfant de Dieu» продолжаетъ свою теорію. Полнота ея, помазаніе, теплота слога и какое-то простодушіе увлекаютъ сердце принимать ее. Въ Плеядахъ,—говоритъ авторъ,—царствуетъ святое человѣчество Господа нашего Іисуса Христа; но онѣ, какъ бы par procuration, ввѣрены Іоанну Богослову, этому молодому, пылкому, любимому изъ учениковъ Спасителя,

во время смертной жизни его. Возлѣ Плеядъ (la Poussinière) въ близъ лежащихъ звѣздахъ или мірахъ господствуютъ Престолы Апостольскіе. Св. Павелъ Ѳивейскій, этотъ осерафимленный старецъ, сосчитавшій смертную жизнь свою единственно годами житія пустыннаго, въ которомъ пробылъ 98 лѣтъ, господствуетъ надъ планетою Сатурномъ. По смерти душа человѣческая, если она положила въ себя начало покаянія еще во временной жизни, проходитъ мытарства свои въ Лунѣ; тамъ сильно, иногда, обуревается отъ общаго врага человѣческаго, который имѣетъ свободный доступъ до Луны и всѣхъ планетъ солнечной нашей системы; душа обуревается его внушеніями на этой Лунѣ, какъ и въ планетахъ; потрясается весь составъ ея; но, однажды отданная Творцу, воля спасаетъ ее заступленіемъ Могучаго Владыки отъ когтей духа злобы и хищенія. Но если мы съ слабымъ покаяніемъ переходимъ въ шеолъ [1]), и по этой причинѣ Луны не достигаемъ, то въ этомъ преходящемъ состояніи весьма рискуемъ еще затмить въ себѣ начатки покаянія и быть увлечену подъ жестокую зависимость врага человѣческаго рода. Авторъ говоритъ, что тлетворная матерія растлила всю планетную систему нашу; несмотря, что земля наша болѣе уже не свѣтовая, но и самыя звѣзды, принадлежащія къ системѣ нашей, проникнуты этою проказою паденія. Отъ того звѣздное или, понятнѣе сказать, планетное вліяніе на человѣка, если не вредно, то всегда бываетъ безполезно. Здѣсь я осмѣлюсь прибавить мое собственное мнѣніе. Мало, что всѣ планетные міры заражены проказою паденія, но мнѣ что-то сдается, что и нѣкоторыя ближайшія къ нашей созданной изъ Хаоса вселенной, хотя и свѣтлыя, обиталища не изъяты же отъ тлетворной сущности того страшнаго небеснаго мятежа и бунта, хотя степень поврежденія нѣсколько, можетъ быть, и меньшая противу нашему».

Читатель видитъ передъ собой типическій образчикъ чепухи, какая занимала людей этого толка.

Къ кругу религіозно-возбужденныхъ людей того времени (хотя въ болѣе благоразумной степени, чѣмъ князь Голицынъ и его наперсникъ Бартеневъ) и къ той же придворной сферѣ, въ которой вращался князь Голицынъ, принадлежала графиня

[1]) Шеолъ—еврейское слово, означающее адъ. Сколько намъ извѣстно, это есть мистическое выраженіе, подъ которымъ разумѣется нѣчто среднее между здѣшнею и загробною жизнью—Пр. «Р. Архива».

Эдлингъ или Эделингъ, записки которой появились въ нынѣшнемъ году [1]). Графиня Эдлингъ, урожденная Роксандра (Александра) Стурдза, была дочь молдавскаго аристократа, выселившагося въ концѣ прошлаго столѣтія въ Россію, вслѣдствіе домашнихъ и политическихъ раздоровъ ихъ рода. Ихъ огромное состояніе разстроилось, оставшись на чужихъ рукахъ. Мать Роксандры принадлежала къ извѣстной также греческой фамиліи Мурузи, имѣвшей вліятельное положеніе въ Левантѣ и въ Константинополѣ; дѣдъ Роксандры по матери былъ молдавскимъ господаремъ. Младшій братъ Роксандры, Александръ, былъ въ русской службѣ въ Александровское время и, между прочимъ, извѣстенъ въ русской литературѣ какъ писатель-піэтистъ и какъ авторъ исторической записки о временахъ императора Александра.

Въ Россіи матеріальное положеніе этихъ молдавскихъ эмигрантовъ было не лишено затрудненій, которыя увеличивались разными семейными несчастіями. Изъ записокъ гр. Эдлингъ не вполнѣ ясна хронологія ихъ домашней исторіи; относительно ея самой видно только, что передъ 12-мъ годомъ она, по аристократическимъ связямъ своей семьи, поступила ко двору въ качествѣ фрейлины при императрицѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ. При дворѣ она оставалась въ теченіе нѣсколькихъ, именно самыхъ тревожныхъ, лѣтъ Наполеоновскихъ войнъ, близко видѣла много замѣчательныхъ людей и фактовъ этого времени [2]).

Хотя, какъ мы сказали, графиня Эдлингъ принадлежала къ людямъ, увлекавшимся тогда мистическимъ піэтизмомъ, ея мемуары очень непохожи на воспоминанія кн. Голицына, записанныя его раболѣпнымъ кліентомъ. Здѣсь нѣтъ совсѣмъ этихъ мнимоелейныхъ умствованій и мистическаго вздора; мемуары написаны очень просто, съ умомъ, наблюдательностью, искреннимъ чувствомъ, гдѣ былъ къ нему поводъ, но и съ отсутствіемъ того изысканнаго лицемѣрія, которое почти неизмѣнно встрѣчается въ запискахъ придворныхъ людей. Къ сожалѣнію мемуары графини Эдлингъ даютъ мало свѣдѣній о томъ, какъ шло ея собственное образованіе и внутреннее развитіе: разсказы ея начинаются почти прямо съ того времени, когда она является при

---

[1]) «Изъ записокъ графини Эделингъ, урожд. Стурдзы. Съ неизданной французской рукописи». «Р. Архивъ», 1887, № 2—4.

[2]) Намъ случалось говорить о графинѣ Эдлингъ въ біографіи баронессы Крюднеръ, «Вѣстн. Европы» 1869, авг., 622 и слѣд. [См. ниже Примѣчанія].

дворѣ, съ характеромъ уже опредѣлившимся. По нѣкоторымъ замѣткамъ можно видѣть, однако, что не мало глубокихъ впечатлѣній прошло черезъ ея дѣятельный умъ. На первыхъ страницахъ разсказа мы читаемъ объ этомъ такія подробности. Въ годы дѣтства и ученья, семейство ея жило въ уединенномъ провинціальномъ имѣньѣ, которое ея родители купили въ Россіи.

«Въ домѣ нашемъ были учителя, присутствіемъ которыхъ оживлялись долгіе зимніе вечера. Способности наши развивались посреди этой занятой и правильно распредѣленной жизни; но въ то же время уединенность нашего быта и вліяніе величавой сѣверной природы сообщили намъ какую-то мрачную восторженность, которая составляла странную противоположность съ мягкостью и подвижностью нашего южнаго происхожденія. Въ то время всѣ умы заняты были французскою революціей. Съ утра до ночи слышали мы толки о самыхъ важныхъ предметахъ и, благодаря этимъ заманчивымъ разговорамъ, а равно и чтенію древней исторіи, составлялось у насъ столь же восторженное, какъ и невѣрное понятіе о томъ, что происходило на свѣтѣ. Искренно благочестивый отецъ нашъ съ раннихъ лѣтъ внушалъ намъ уваженіе къ религіи; но чтеніе многихъ философскихъ сочиненій потрясло въ насъ вѣру: мы сомнѣвались вопреки самимъ себѣ, и наше возвращеніе къ смиренному, настоящему вѣрованію послѣдовало лишь тогда, какъ разсудокъ началъ разгонять туманы, которыми были окутаны наши головы. Сочиненія Клопштока также немало способствовали нашему примиренію съ Богомъ».

Мысли были настроены на высокій тонъ,—повидимому не безъ вліянія матери, у которой былъ «умъ живой и настойчивый» и стремленія «высокаго полета». Когда затѣмъ семейство переѣхало въ Петербургъ, первыя встрѣчи съ петербургскимъ обществомъ не произвели пріятнаго впечатлѣнія. «Кружокъ нашъ, хотя довольно многочисленный, не отличался ничѣмъ замѣчательнымъ. Мы не смѣли заявлять, что намъ скучно; но часто это сказывалось само собою. Намъ ставили въ упрекъ нашу одичалость, которая, напротивъ, свидѣтельствовала объ изящномъ вкусѣ». Въ 17 лѣтъ, бѣдная дѣвушка испытала семейныя потери и уже «научилась познавать ничтожество жизни».

Когда Стурдза поступила ко двору, передъ ней открылся широкій кругъ наблюденій, и хотя эпоха, которой особенно она посвящаетъ свои воспоминанія,—канунъ 12-го года и послѣ-

дующее время,—была множество разъ описана, ея разсказъ даетъ тѣмъ на менѣе много любопытнаго. Императрица Елизавета Алексѣевна, при которой она состояла, едва ли не впервые здѣсь получаетъ нѣсколько опредѣленную характеристику. Вспоминая о томъ, какъ баденская принцесса, выбранная Екатериной въ супруги юношѣ, почти отроку, Александру, отправлялась въ Петербургъ, гр. Эдлингъ пишетъ: «Съ наружностью Психеи, съ горделивымъ сознаніемъ своей прелести и исторической славы своей родины, которую она восторженно любила, Елизавета трепетала отъ мысли о томъ, что ей придется подчинить свою будущность произволу молодого варвара. Дорогою, когда ей объявили, что она должна покинуть страну свою и свою семью, она силилась выскочить изъ кареты, въ отчаяніи простирала руки къ прекраснымъ горамъ своей родины и раздирающимъ голосомъ прощалась съ ними, что растрогало даже и ея мать, женщину холодную и честолюбивую. Но и сама она не была равнодушна къ соблазнамъ величія. Возвышенная душа ея была создана для престола; но живое и кипучее воображеніе, слабо развитой умъ и романтическое воспитаніе готовили ей опасности, которыми омрачилось ея благополучіе. По прибытіи въ Россію она заполонила сердца, и въ томъ числѣ сердце Александра. Онъ сгоралъ потребностью любви; но онъ чувствовалъ, думалъ и держалъ себя какъ шестнадцатилѣтній юноша, супругѣ своей, восторженной и важной, представлялся навязчивымъ ребенкомъ»... При Павлѣ молодымъ супругамъ жилось не легко, и однажды Павелъ, «управлявшій своею семьею столь же насильственно, какъ и своею имперіею», едва не погубилъ великую княгиню Елизавету,—ее спасло «благородное сопротивленіе» Александра, которое Павла удивило. По смерти имп. Павла, Александръ, «безъ опытности, безъ руководства, очутился въ средѣ губителей отца своего, которые разсчитывали управлять имъ. Онъ съумѣлъ удалить ихъ и мало-по-малу укрѣпить колебавшуюся власть свою, обнаруживъ притомъ благоразуміе, какого трудно было ожидать отъ его возраста». Но событіе страшно потрясло его; онъ скрывалъ отъ окружающихъ свои чувства, но, «желая высказаться и подѣлиться горемъ, онъ сближался съ императрицей. Она не поняла его. Тогда оскорбленное сердце его отдалось Нарышкиной».

Обыкновенно виной разлада этихъ отношеній считали самого Александра; первой причиной его былъ, безъ сомнѣнія, слишкомъ

ранній бракъ, но затѣмъ, какъ видимъ, и со стороны Елизаветы не было достаточнаго пониманія этихъ взаимныхъ отношеній. Графиня Эдлингъ стояла къ обоимъ лицамъ такъ близко и настолько была одарена здравымъ умомъ и наблюдательностью, что ея показанія должны имѣть основаніе. Разсказывая дальше свои отношенія съ импер. Елизаветой Алексѣевной, она говоритъ о добротѣ и ласковыхъ рѣчахъ императрицы, но замѣчаетъ тутъ же, что отношенія съ нею оставались неровными и не могли стать вполнѣ близкими. Графиня Эдлингъ приписывала это «недостатку равновѣсія въ характерѣ императрицы»: «воображеніе у нея было пылкое и страстное, а сердце холодное и неспособное къ настоящей привязанности. Въ этихъ немногихъ словахъ вся исторія ея. Благородство ея чувствъ, возвышенность ея понятій, доброжелательныя склонности, плѣнительная наружность заставляли толпу обожать ее, но не возвращали ей ея супруга. Поклоненіе льстило ея гордости, но не могло доставить ей счастія, и лишь подъ конецъ своего поприща эта государыня убѣдилась, что привязанность, украшающая жизнь, пріобрѣтается только привязанностью. Постоянно гоняясь за призраками, она занималась то искусствами, то науками, волновалась самыми страстными ощущеніями; все надоѣдало ей, во всемъ наступало для нея разочарованіе, и она постигла настоящее счастіе лишь тогда, когда жить оставалось ей недолго». Дальше она говоритъ: «Нарышкина своею идеальною красотою, какую можно встрѣтить развѣ на картинахъ Рафаэля, плѣнила государя, къ великому огорченію народа, который желалъ видѣть въ императрицѣ Елизаветѣ счастливую супругу и счастливую мать. Ее любили и жалѣли, а государя осуждали, и, что еще хуже, петербургское общество злорадно изображало ее жертвою. Я отмѣтила, что будь поменьше гордости, побольше мягкости и простоты, и государыня взяла бы легко верхъ надъ своею соперницей; но женщинѣ, и особенно царственной, трудно измѣнить усвоенный образъ дѣйствій. Привыкнувъ къ обожанію, императрица не могла примириться съ мыслію, что ей должно изыскивать средства, чтобы угодить супругу. Она охотно приняла бы изъявленіе его нѣжности, но добиваться ея не хотѣла. Кромѣ того, между супругами всегда находилось третье лицо, сестра императрицы, принцесса Амалія, гостиная которой была средоточіемъ городскихъ сплетенъ, производившихъ дурное вліяніе на императрицу». Въ 12-мъ году,

когда неожиданно распространились въ Петербургѣ слухи о занятіи Французами Москвы, чего никакъ не ожидали, императоръ Александръ былъ очень опечаленъ. «Я видѣла,—пишетъ графиня Эдлингъ (она тогда была въ ближайшей обстановкѣ императрицы), какъ государыня, всегда склонная къ высокимъ душевнымъ движеніямъ, измѣнила свое обращеніе съ супругомъ и старалась утѣшить его въ горести. Убѣдившись, что онъ несчастенъ, она сдѣлалась къ нему нѣжна и предупредительна. Это его тронуло, и во дни страшнаго бѣдствія пролился въ сердца ихъ лучъ взаимнаго счастія».

Но къ императору Александру графиня Эдлингъ, тогда еще фрейлина Стурдза, относилась съ неизмѣннымъ поклоненіемъ. Ее увлекали не только его тонкая любезность, отличавшая его всегда въ женскомъ обществѣ, но и вообще возвышенныя качества ума и сердца, какія она въ немъ находила... Едва ли, конечно, видѣла она всѣ стороны характера и дѣятельности Александра, чтобы сужденія ея можно было счесть полными, но во всякомъ случаѣ она видѣла много симпатичныхъ чертъ его личности. Гр. Эдлингъ упоминаетъ съ самаго начала, что «Екатерина вовсе не была жестокою матерью, какъ хотѣли намъ ее изобразить; но она отлично знала своего сына, предвидѣла пагубное его царствованіе и желала предотвратить бѣду, заставивъ его отречься отъ престола и уступить его Александру. Ея не остановили бы затрудненія, которыми могъ сопровождаться столь смѣлый шагъ»... Но этого не случилось, и Александръ, исполненный «благожелательными наклонностями», долженъ былъ вынести страшныя испытанія въ царствованіе своего отца. Объ этомъ послѣднемъ гр. Эдлингъ выражается такъ: «лишь умственнымъ разстройствомъ можно извинить царствованіе этого злополучнаго государя»; «когда событіе, само по себѣ ужасное, совершилось, крикъ радости раздался съ одного края Россіи до другого. Было бы ошибочно обвинять въ этомъ случаѣ русскихъ въ жесткомъ чувствѣ: противоестественный порядокъ вещей всегда влечетъ къ подобнымъ слѣдствіямъ. Но если страшное событіе это спасло имперію, то оно сдѣлалось для того, кто долженъ былъ возложить на себя тяготу вѣнца, неизсякаемымъ источникомъ скорби и сожалѣній». Гр. Эдлингъ разсказываетъ вообще не мало новыхъ эпизодовъ изъ интимной жизни имп. Александра, и иногда показанія ея расходятся съ общераспространенными свѣдѣніями, между прочимъ съ приведенными выше

разсказами кн. Голицына. Напримѣръ, причину нравственной бодрости, можно сказать, высокаго мужества императора въ то время, когда неудержимо надвигалась гроза непріятельскаго нашествія, гр. Эдлингъ приписываетъ не одному религіозному настроенію, какое осѣняло тогда импер. Александра, но въ особенности тому сближенію съ народнымъ энтузіазмомъ, какое совершилось въ Москвѣ. «Государь научился знать свой народъ, и душа его поднялась въ уровень съ его положеніемъ. До тѣхъ поръ царскій вѣнецъ былъ для него лишь бременемъ, которое онъ несъ, повинуясь долгу. Охваченный и какъ бы просвѣтленный общимъ восторгомъ, онъ почувствовалъ въ себѣ призваніе къ дѣламъ великимъ, и его нравственная бодрость и самодѣятельность получили поспѣшное развитіе. Народъ рѣшился побѣдить или погибнуть и опасался только недостатка твердости и опытности въ молодомъ своемъ государѣ. Сей послѣдній, въ свою очередь, сомнѣвался, надолго ли станетъ столь напряженнаго одушевленія, такъ что правительство и народъ относились другъ къ другу съ взаимнымъ недовѣріемъ». Недовѣріе народа и общества и высказывалось,—и въ этомъ случаѣ Александръ показалъ дѣйствительно много характера. Извѣстіе о занятіи Москвы французами было, какъ мы замѣтили, сверхъ всякихъ ожиданій и произвело подавляющее впечатлѣніе въ Петербургѣ. «Сильный ропотъ раздавался въ столицѣ,—пишетъ гр. Эдлингъ. Съ минуты на минуту ждали волненія раздраженной и тревожной толпы. Дворянство громко винило Александра въ государственномъ бѣдствіи, такъ что въ разговорахъ рѣдко кто рѣшался его извинять и оправдывать... Между тѣмъ государь, хотя и ощущалъ глубокую скорбь, усвоилъ себѣ видъ спокойствія и бодраго самоотреченія, которое сдѣлалось потомъ отличительною чертою его характера. Въ то время, какъ всѣ вокругъ него думали о гибели, онъ одинъ прогуливался по Каменно-островскимъ рощамъ, а дворецъ его по прежнему былъ открытъ и безъ стражи [1]). Забывая про опасности, которыя могли грозить его

[1]) Лѣтомъ имп. Александръ живалъ обыкновенно въ Каменно-островскомъ дворцѣ; тамъ же жила и императрица Елизавета, при которой состояла гр. Эдлингъ. Послѣдняя замѣчаетъ объ этомъ дворцѣ: «садовые входы никогда не запирались, такъ что мѣстные обыватели и гуляющіе свободно ими пользовались. Вокругъ царскаго жилища не было видно никакой стражи, и злоумышленнику стоило подняться на нѣсколько ступенекъ, убранныхъ цвѣтами, чтобы проникнуть въ небольшія комнаты государя и его супруги».

жизни, онъ предавался новымъ для него размышленіямъ, и это время было рѣшительнымъ для нравственнаго его возрожденія, какъ и для внѣшней его славы». Новыя размышленія были религіозныя. «Пламенная и искренняя вѣра проникла къ нему въ сердце, и, сдѣлавшись христіаниномъ, онъ почувствовалъ себя укрѣпленнымъ. Про эти подробности (его обращенія) я узнала много времени спустя отъ него самого».

«Приближалось 15-е сентября, день коронаціи, обыкновенно празднуемый въ Россіи съ большимъ торжествомъ. Онъ былъ особенно знаменателенъ въ этотъ годъ, когда населеніе, приведенное въ отчаяніе гибелью Москвы, нуждалось въ ободреніи. Уговорили государя на этотъ разъ не ѣхать по городу на конѣ, а прослѣдовать въ соборъ въ каретѣ вмѣстѣ съ императрицами. Тутъ въ первый и послѣдній разъ въ жизни онъ уступилъ совѣту осторожной предусмотрительности; но по этому можно судить, какъ велики были опасенія. Мы ѣхали шагомъ въ каретахъ о многихъ стеклахъ, окруженные несмѣтною и мрачно-молчаливою толпою. Взволнованныя лица, на насъ смотрѣвшія, имѣли вовсе не праздничное выраженіе. Никогда въ жизни не забуду тѣхъ минутъ, когда мы вступили въ церковь, слѣдуя посреди толпы, ни единымъ возгласомъ не заявлявшей своего присутствія. Можно было слышать наши шаги, и я была убѣждена, что достаточно было малѣйшей искры, чтобы все кругомъ воспламенилось. Я взглянула на государя, поняла, что происходило въ его душѣ, и мнѣ показалось, что колѣна подо мною подгибаются».

Графиня Эдлингъ вѣроятно опять передаетъ отчасти и дворцовыя впечатлѣнія, когда разсказываетъ, какое дѣйствіе имѣли первыя извѣстія объ очищеніи Москвы французами. Едва дошелъ до нея слухъ,—«вдругъ раздался пушечный выстрѣлъ съ крѣпости, позолоченная колокольня которой приходится какъ разъ напротивъ Каменно-островскаго дворца. Отъ этой разсчитанной, торжественной пальбы, знаменовавшей радостное событіе, затрепетали во мнѣ всѣ жилы, и подобнаго ощущенія живой и чистой радости никогда я не испытывала. Я была бы не въ состояніи вынести дольше такое волненіе, еслибы не облегчили меня потоки слезъ. Я испытала въ эти минуты, что ничто такъ не потрясаетъ душу, какъ чувство благородной любви къ отечеству, и это-то чувство овладѣло тогда всею Россіею. Недовольные замолчали; народъ, никогда не покидавшій надежды

на Божью помощь, успокоился, и государь, увѣрившись въ уморасположенiи столицы, сталъ готовиться къ отъѣзду въ армiю».

Графиня Эдлингъ, повидимому, обратила на себя вниманiе императора Александра своимъ умомъ и непринужденною откровенною рѣчью. Она передаетъ нѣсколько разговоровъ, которые онъ имѣлъ съ нею и въ которыхъ есть любопытныя черты его мнѣнiй. Ей случилось говорить съ нимъ и въ это время, и она замѣчаетъ: «говоря про Наполеона, государь не могъ воздержаться отъ нѣкотораго раздраженiя, но не прибѣгалъ, однако, къ выраженiямъ рѣзкимъ: воздержность рѣдкая для того времени, когда Наполеоново имя не произносилось иначе, какъ въ сопровожденiи ѣдкихъ словъ, въ родѣ проклятiя».

Въ запискахъ разсѣяно не мало весьма независимыхъ сужденiй о разныхъ дѣятеляхъ того времени. Упомянемъ, напримѣръ, весьма суровую характеристику вел. кн. Константина Павловича, который не внушалъ ей ни малѣйщаго сочувствiя ни личными, ни общественными своими качествами [1]. О Кутузовѣ, когда онъ командовалъ молдавскою армiей, она говоритъ, что это былъ «старый воинъ, влюбленный во власть и опасавшiйся, что онъ останется не у дѣлъ», и что поэтому онъ въ то время «старался подъ невозможными предлогами отсрочивать дѣло (заключенiе мира съ Турцiей), столь важное для отечества». «Выведенный изъ терпѣнiя его медлительностью и недобросовѣстностью, государь придумалъ замѣнить его Чичаговымъ, котораго прямота была ему извѣстна. Ему были уже даны полномочiя и нужныя наставленiя, какъ г-жа Кутузова, успѣвъ о томъ провѣдать, предувѣдомила мужа, и тотъ заключилъ миръ до прiѣзда новаго главнокомандующаго». Можно видѣть отсюда, почему императоръ Александръ, который умѣлъ угадывать лукавство, не долюбливалъ Кутузова и по возвращенiи его въ Петербургъ не далъ ему назначенiя въ армiи и предоставилъ стать во главѣ петербургскаго ополченiя, т.-е петербургскихъ мужиковъ. Позднѣе, только необходимость, голосъ общественнаго мнѣнiя и армiи заставили его сдѣлать Кутузова главнокомандующимъ. «Общiй ропотъ и унынiе, а также, можетъ быть, нѣкоторые происки побудили, наконецъ, государя отозвать отъ командованiя войсками генерала, котораго онъ наиболѣе уважалъ, и ввѣрить начальство старику Кутузову, престарѣлому и

---

[1]) См. «Русскiй Архивъ», 1887 г., № 2, стр. 214—215.

больному, но сохранившему еще всю тонкость отмѣнно развитаго ума. Онъ не могъ быть дѣятеленъ, какъ подобаетъ главнокомандующему; но этотъ недостатокъ возмѣщался въ немъ его военною опытностью. Выборъ этотъ оживилъ умы, что было очень важно». Понятно, что гр. Эдлингъ не раздѣляла тогдашнихъ предубѣжденій противъ Барклая: «Барклай былъ иностранцемъ только по имени; онъ съ молодыхъ лѣтъ служилъ въ Россіи, и любовь къ отечеству равнялась въ немъ съ его храбростью». Дальше гр. Эдлингъ весьма невысокаго понятія о Нессельроде, «представляющемъ собою поразительный примѣръ того, какъ слѣпо счастіе льнетъ къ ничтожеству», и пр.

Мы не будемъ дѣлать дальнѣйшихъ извлеченій изъ этихъ записокъ. Довольно сказать, что и въ послѣдующемъ разсказѣ разбросано много интересныхъ подробностей изъ тогдашнихъ придворныхъ и политическихъ отношеній. Въ качествѣ фрейлины гр. Эдлингъ сопровождала императрицу Елизавету въ ея путешествіи за границу въ 1813—1814 годахъ, сначала въ Баденъ, гдѣ императрица видѣлась съ своими родными, и затѣмъ въ Вѣну во время конгресса. Нѣсколько разъ гр. Эдлингъ встрѣчалась и говорила съ императоромъ Александромъ, близко видала владѣтельный и придворный кругъ русскій и иностранный, и хорошо умѣла понимать и характеризовать людей, которыхъ встрѣчала. Ея собственное настроеніе начало принимать въ это время ту піэтистическую складку, которая была очень распространенной чертой времени; она сблизилась въ Баденѣ съ баронессой Крюднеръ и съ знаменитымъ тогда мистикомъ Юнгомъ-Штиллингомъ [1]); первую она считала искренней и съ нѣкоторымъ сочувствіемъ говоритъ объ ея христіанской филантропіи; въ послѣднемъ она, кажется, увлекалась не столько его мистицизмомъ, сколько его практическимъ христіанствомъ. Повидимому, новое настроеніе не мѣшало ей здраво понимать вещи и людей. Она съ сочувствіемъ говоритъ о Лагарпѣ, котораго вообще не любили въ піэтистическохъ кругахъ и котораго она видѣла въ Бруксалѣ, гдѣ жила императрица. «Лагарпъ наслаждался славою Александра, какъ плодомъ трудовъ своихъ. Мѣщанская простота въ обращеніи не соотвѣтствовала его андреевской лентѣ. Чистотою своихъ побужденій онъ обезоруживалъ

---

[1]) О послѣднемъ см. въ біографіи Крюднеръ, «В. Европы» 1869, авг., 608—612. [Перепеч. въ кн. Пыпина «Религіоз. движенія»].

ненависть и зависть, и самыя сильныя противъ него предубѣжденія незамѣтно пропадали въ бесѣдѣ съ нимъ». Еще больше чести уму гр. Эдлингъ дѣлаетъ ея отзывъ о знаменитомъ Штейнѣ, котораго она видѣла въ первый разъ въ Вѣнѣ и котораго также не долюбливали въ консервативныхъ и высшихъ придворныхъ кругахъ. «Тутъ же былъ доблестный баронъ Штейнъ, привлекая къ себѣ вниманіе нѣмецкихъ князей, которые и ненавидѣли его, и льстили ему. Онъ неспособенъ ни на минуту скрыть свою мысль. Онъ принадлежитъ къ числу людей античнаго характера, никогда не вступающихъ въ сдѣлку съ совѣстью. Тиранство Наполеона, какъ и нѣмецкихъ князей, было ему однако ненавистно, и, подъ покровительствомъ Александра, онъ одинъ боролся съ ихъ притязаніями, отстаивалъ дѣло населеній и, наконецъ, добился обезпеченія ихъ правъ». Въ запискахъ сообщены дальше любопытныя черты о вѣнской жизни во время конгресса, которую опять близко видѣла гр. Эдлингъ; о первыхъ проблескахъ греческаго движенія,—она сама горячо сочувствовала этому движенію, была въ дружескихъ отношеніяхъ съ гр. Каподистріей, знала Ипсиланти, и пр.

Очень видное мѣсто въ нашей литературѣ мемуаровъ займутъ записки Александра Михайловича Тургенева, пока [1887], впрочемъ, неоконченныя изданіемъ [1]. А. М. Тургеневъ родился въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія и умеръ въ 1863 г.

«Составитель записокъ,—говоритъ редакція журнала,—принадлежитъ къ числу достойнѣйшихъ русскихъ людей; представитель старинной дворянской фамиліи, онъ вѣрой и правдой прослужилъ многіе десятки лѣтъ Россіи и ея державнымъ представителямъ, на его вѣку четыре раза смѣнявшимся; храбрый воинъ на ратномъ полѣ, мудрый и честный администраторъ на поприщѣ гражданской службы, А. М. Тургеневъ былъ человѣкъ весьма образованный и отличался свѣтлымъ взглядомъ на все, что только относилось къ славѣ и пользѣ дорогого отечества—такъ, напр., онъ пламенно желалъ освобожденія крестьянъ и былъ столь счастливъ, что на закатѣ дней увидѣлъ свою мечту осуществленною».

---

[1]) «Русская Старина», 1884–87; нѣсколько главъ записокъ въ печати опущено.

Въ біографіи, предшествующей запискамъ Тургенева, сообщается, что онъ родился въ 1772 году, въ Москвѣ [1]); въ 1786-мъ, четырнадцати лѣтъ, поступилъ (былъ записанъ?) на службу унтеръ-офицеромъ въ лейбъ-гвардіи конный полкъ; 5-го ноября 1796, наканунѣ смерти императрицы Екатерины, Тургеневъ былъ въ караулѣ во дворцѣ; 8-го ноября онъ уже назначенъ былъ ординарцемъ къ императору Павлу и былъ свидѣтелемъ его первыхъ вахтъ-парадовъ. Затѣмъ онъ былъ переведенъ въ екатеринославскій кирасирскій полкъ, офицеры котораго испытали опалу за то только, что прежде полкъ назывался по имени князя Потемкина Таврическаго. Съ мая 1799 до сентября 1803, Тургеневъ состоялъ адъютантомъ при московскомъ генералъ-губернаторѣ, князѣ Салтыковѣ, и какъ въ своей полковой службѣ, такъ и въ этой должности былъ близкимъ свидѣтелемъ особенностей царствованія Павла и не однажды имѣлъ встрѣчи съ самимъ императоромъ. Графиня Салтыкова, о которой Тургеневъ сохранилъ самыя благодарныя воспоминанія, убѣдила его заняться своимъ образованіемъ, и подъ тридцать лѣтъ Тургеневъ отправился за границу и въ Геттингенѣ, въ 1803—1806 годахъ, прослушалъ курсъ философіи, юридическихъ и естественныхъ наукъ, и кромѣ того основательно познакомился съ французской и нѣмецкой литературой. Онъ пробылъ потомъ еще нѣсколько лѣтъ за границей; вернувшись въ Россію, работалъ у Сперанскаго, въ 1811 году снова вступилъ въ военную службу, принималъ участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ, былъ снова раненъ и вышелъ въ отставку. Еще разъ побывавъ за границей для излеченія раны, Тургеневъ началъ свою гражданскую службу; управлялъ таможней въ Ѳеодосіи, Брестъ-Литовскѣ, Астрахани; въ 1823 году назначенъ губернаторомъ въ Тобольскъ, потомъ въ Казань, былъ затѣмъ директоромъ медицинскаго департамента, когда министерствомъ внутреннихъ

---

[1]) Это и другія хронологическія показанія довольно смутны. Въ первыхъ строкахъ самыхъ записокъ Тургеневъ говоритъ, что въ 1848, октября 26 (когда онъ, повидимому, приступилъ къ запискамъ), ему было 73 года; слѣд., годъ его рожденія былъ не 1772-й, а 1775-й («Русская Старина», 1885, сентябрь, стр. 365 и 373). Далѣе въ біографіи (стр. 367) говорится, что онъ отправился въ геттингенскій университетъ въ 1803 г., слѣд., по счету біографіи, 31-го года, а въ запискахъ самъ Тургеневъ пишетъ, что «сѣлъ на скамью студента въ геттингенскомъ университетѣ въ 25 лѣтъ отъ рожденія» («Русск. Старина», 1885, декабрь стр. 483).

дѣлъ управлялъ Закревскій, отъ котораго испыталъ весьма неблаговидныя притѣсненія, и, наконецъ, вышелъ въ отставку послѣ 44-лѣтней службы.

По своимъ убѣжденіямъ Тургеневъ весь принадлежалъ Екатерининскому вѣку, — говоритъ его біографъ и родственникъ г. Сомовъ, — и до конца 90-лѣтней жизни своей сохранилъ въ душѣ обаяніе мудрой императрицы.

«Этотъ екатерининскій либеральный здравый духъ онъ затаилъ въ себѣ въ теченіе царствованій императоровъ: Павла Александра I и Николая, но онъ вылился наружу при реформахъ Александра II.

«И вотъ, когда заговорили объ освобожденіи крестьянъ, Александръ Михайловичъ явился ярымъ его защитникомъ...

«Явленіе было многознаменательное: 90-ти-лѣтній старикъ, родовой дворянинъ, всѣмъ и каждому доказывалъ, что нельзя продавать людей какъ скотину» и что освобожденіе крестьянъ не уничтожитъ дворянства, которое всегда останется опорою престола.

«Противники освобожденія понимали хорошо то вліяніе, которое имѣлъ Тургеневъ, и не побрезгали средствами. Тургеневъ получилъ приглашеніе явиться, отъ шефа жандармовъ, кн. Вас. Андр. Долгорукаго.

«Это приглашеніе сильно потрясло и оскорбило А. М., тѣмъ не менѣе онъ отправился. Не менѣе его смутился и кн. Долгорукій, увидавъ передъ собой какъ лунь бѣлаго старика, увѣшеннаго медалями и крестами.

— «Въ ваши годы, въ ваши годы...» — могъ только произнести шефъ жандармовъ.

— «Прослуживъ вѣрой и правдой четыремъ императорамъ, мало надежды, чтобы я измѣнилъ пятому», — отвѣчалъ А. М. Тургеневъ.

Несмотря на то, что, по настоянію многочисленныхъ друзей Тургенева, кн. Вас. Андр. Долгорукій извинился передъ нимъ, объясняя происшедшее ошибкой, что А. М. смѣшали съ родственникомъ его, Иваномъ Сергѣевичемъ Тургеневымъ, однако случай этотъ произвелъ на него такое непріятное впечатлѣніе, что онъ уѣхалъ на 1857 и 1858 г. за границу».

Біографъ разсказываетъ дальше: «По возвращеніи изъ геттингенскаго университета до своей смерти А. М. Тургеневъ былъ въ постоянныхъ сношеніяхъ съ лучшими людьми Россіи: Сперан-

скимъ, Канкринымъ, Жуковскимъ, съ которымъ переписывался въ теченіе 30 лѣтъ, кн. П. А. Вяземскимъ, графами Строгоновыми; въ 1850-хъ годахъ на квартирѣ его на Милліонной собирались молодые литераторы и читали свои произведенія. Здѣсь И. С. Тургеневъ впервые прочелъ свой разсказъ «Муму» и многія другія повѣсти; гр. Л. Н. Толстой—свои «Военные разсказы»; тутъ же читали свои произведенія В. П. Боткинъ, Я. П. Полонскій, И. А. Гончаровъ, Дружининъ; тутъ же бывалъ Н. А. Милютинъ и многіе другіе дѣятели по освобожденію крестьянъ».

Записки Тургенева исполнены своеобразнаго интереса. Въ лицѣ ихъ автора дожилъ до нашихъ дней представитель Екатерининскаго вѣка, сохранивъ лучшія черты тогдашнихъ общественныхъ инстинктовъ, укрѣпленныхъ въ немъ нѣмецкой университетской школой, и являясь поучительнымъ примѣромъ того преемства идей, которое связываетъ конецъ прошлаго столѣтія съ нашимъ настоящимъ. Онъ не заявилъ себя въ литературѣ; въ своемъ служебномъ положеніи не имѣлъ случая и возможности дѣйствовать на складъ общественнаго мнѣнія,—между тѣмъ въ немъ олицетворялась нить преданія, соединявшаго лучшія мысли прошлаго вѣка съ тѣмъ, что волновало новыя поколѣнія. Въ своемъ возбужденіи новое поколѣніе склонно было считать свои мысли какъ бы новымъ открытіемъ,—но исторія напоминала, что были и въ прошедшемъ зачатки тѣхъ же самыхъ стремленій, а наконецъ, оказывалось, что были и живые представители этого стараго преданія. Таковъ былъ А. М. Тургеневъ; таковъ былъ, изъ нѣсколько болѣе поздней эпохи, другой Тургеневъ, Н. И., и съ нимъ цѣлый рядъ доживших до прошлаго царствованія и вернувшихся изъ ссылки декабристовъ. Есть и другая сторона историческаго значенія записокъ А. М. Тургенева. До недавняго времени для нашей литературы была совсѣмъ закрыта правдивая исторія нашей внутренней жизни; А. М. Тургеневъ едва дожилъ до той поры, когда стали раскрываться архивы, появляться на свѣтъ сберегавшіеся въ тайнѣ мемуары, документы, воспоминанія. Онъ началъ свои записки въ 1848 году, въ самомъ разгарѣ тогдашнихъ цензурныхъ запрещеній, которыя, между прочимъ, съ особенною строгостью падали на извѣстныя эпохи русской исторіи старой и новой; и однако, наперекоръ запрещеніямъ, въ это самое время велась лѣтопись о той эпохѣ, которую хотѣли удалить отъ вѣдѣнія общества. Большая часть того, что издано пока изъ записокъ

А. М. Тургенева, посвящена временамъ Екатерины и Павла. Здѣсь далеко не одни личныя воспоминанія самого автора; напротивъ, отсутствіе въ литературѣ историческихъ свѣдѣній о концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго вѣка какъ будто побуждало Тургенева собрать какъ можно больше если не настоящей полной исторіи, то отдѣльныхъ фактовъ и воспоминаній объ эпохѣ, которая обществу 40-хъ годовъ была извѣстна только по темнымъ слухамъ и преданіямъ. Собственно о своей жизни, домашнемъ воспоминаніи, началѣ службы, Тургеневъ не говоритъ почти ничего и начинаетъ свои записки съ того дня 5-го ноября 1796 года, когда онъ стоялъ въ караулѣ во дворцѣ наканунѣ смерти имп. Екатерины, и дальше разсказъ идетъ гораздо менѣе о происшествіяхъ его личной жизни, чѣмъ о совершавшихся дворцовыхъ и правительственныхъ событіяхъ.

Мы упомянули, какъ послѣ службы при фельдмаршалѣ Салтыковѣ онъ отправился учиться за границу, и съ какой благодарностью говорилъ онъ о женѣ фельдмаршала, графинѣ Дарьѣ Петровнѣ Салтыковой, которая побудила его, тридцатилѣтняго служаку, заняться своимъ образованіемъ. «Если Всемогущему будетъ угодно продлить мнѣ жизнь еще на семьдесятъ-три года, я никогда не перестану благословлять память въ Бозѣ почившей; никогда не вспоминаю о графинѣ безъ чувствъ благоговѣйнаго уваженія и чистѣйшей благодарности. Графиня сдѣлала для меня, чего не могла сдѣлать моя родительница. Я имѣлъ счастіе слышать въ разговорахъ сужденія графини Дарьи Петровны, изъ коихъ понялъ и уразумѣлъ, что можно быть отличнымъ кавалерійскимъ офицеромъ и быть невѣждою, неотесаннымъ болваномъ... Да будетъ на вѣки благословенна память твоя, благочестивая жена! Да покоится душа твоя на лонѣ Авраамлѣ съ миромъ до радостнаго утра. Тебѣ одной, тебѣ обязанъ я благодарностью, что я отправился въ Гёттингенъ; правда, время было уже утрачено, я былъ уже поврежденный сосудъ, но благодарю Создателя — кору невѣжества съ меня поскоблили и я возвратился изъ Германіи не свиньею, а похожимъ на человѣка».

Въ другомъ мѣстѣ говоритъ онъ, что слушаніе разныхъ научныхъ предметовъ въ Германіи, «въ продолженіе безъ малаго 7 годовъ», не разъединило его съ Русью, научило его понимать человѣка, знать его назначеніе и дѣйствовать правомѣрно, безпристрастно. «Благодарю Бога, подавшаго мнѣ случай сѣсть на

скамью студента въ Геттингенскомъ университетѣ, въ 25 лѣтъ отъ рожденія моего, а не въ шестнадцать, и послѣ того, какъ говорится, когда я уже, предварительно сему событію, прошелъ сквозь огонь и воду».

Иностранная школа сдѣлала только его патріотизмъ сознательнымъ. Разсказывая событія своего времени, Тургеневъ не разъ предается размышленіямъ о свойствѣ этихъ событій и высказываетъ свою горячую любовь къ отечеству. «Я, если не полные шесть вѣковъ, то, конечно, близко того, дворянинъ русскій; люблю безъ ограниченія Русь, мою родину; монархизмъ есть моя природа, онъ мнѣ соврожденъ, я не могу отдѣлиться отъ него; люблю Русь, но не менѣе люблю правду».

Тургеневъ, юность котораго прошла въ царствованіе Екатерины, остался навсегда ея величайшимъ поклонникомъ. Кромѣ общаго впечатлѣнія той эпохи, богатой шумною славою, надо думать, что высокое понятіе о ней было усилено и окрѣпло въ теченіе четырехъ лѣтъ слѣдующаго царствованія, которое стремилось уничтожить всѣ плоды предшествовавшаго правленія и только заставляло вспоминать о немъ, сожалѣя о настоящемъ.

«Я существовалъ уже,—пишетъ онъ,—во времена славы, величія, могущества отечества моего, когда просвѣщеніе ума начинало постепенно укрощать варварство, уничтожать предразсудки, и жизнь гражданскаго общества получила свое развитіе подъ благотворнымъ, мудрымъ правленіемъ повелительницы сѣвера, незабвенной Екатерины II. Въ первый разъ народы, обитающіе на землѣ пространнѣйшей Россіи, услышали изъ устъ Екатерины богоподобный законъ: «Безъ суда никто да не будетъ наказанъ: предъ закономъ всѣ равны». Въ наставленіи (наказѣ) о составленіи государственнаго уложенія Екатерина сказала: «лучше десять виновныхъ освободить, нежели одного невиннаго наказать».

«Екатерина говаривала: «я не люблю самодержавія, въ душѣ я республиканка, но не родился еще портной, который умѣлъ бы скроить кафтанъ по кости для Россіи».

«Екатерина говорила правду: изданными ею узаконеніями она доказала желаніе ввести конституціонное правленіе въ Россіи. Она предоставила право дворянству, купечеству и мѣщанамъ избирать судей и блюстителей порядка и спокойствія изъ среды ихъ общества. Дворянамъ предоставила полную свободу служить и не служить, вступать въ службу въ иностран-

ныхъ государствахъ, гдѣ пожелаютъ, и выѣхать, оставить навсегда Россію по произволу. Но въ ея царствованіе никому не могло на мысль придти выѣхать, оставить Россію. Раздѣленіе Франціи послѣ революціи, въ 1789 году возникшей, на департаменты, выборы меровъ и учрежденіе муниципальныхъ судовъ есть списокъ съ учрежденія объ управленіи губерній, изданнаго Екатериною.

«Читайте узаконенія, учрежденія, Екатериною изданныя, вы увидите въ нихъ искреннее уваженіе къ свободѣ гражданина, возвышенныя чувства о чести его и огражденіе закономъ неприкосновенности лица и собственности. Исторія провозгласитъ о ней въ потомствѣ хвалу и удивленіе! Будетъ превозносить болѣе ея мудрыя распоряженія въ управленіи имперіей, нежели воинственные подвиги россіянъ, непрерывно въ продолженіе 34 лѣтъ ея царствованія весь свѣтъ удивлявшіе.

«Въ царствованіе императрицы никто безъ предварительнаго суда или разсмотрѣнія обстоятельствъ не былъ наказанъ. Въ крѣпостной казематъ, въ тюрьму, даже умалишенныхъ въ домъ призрѣнія не отправляли» [1]).

«Вѣкъ Екатерины II,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—непрерывная цѣпь побѣдъ надъ врагомъ, до сего страшнымъ въ Европѣ, заставила признать мужество россіянъ у всѣхъ народовъ, и славѣ военной, непобѣдимой арміи Екатерины не было равной. Первенство на горизонтѣ политическомъ: слово повелительницы сѣвера рѣшало судьбу царей и народовъ! Мудрые и благотворные законы и учрежденія водворили въ имперіи благоденствіе, спокойствіе, увѣренность, изобиліе и полное, никѣмъ, никому прекаемое, наслажденіе плодовъ труда своего, неприкосновенность собственности, благоразумное и необременительное распоряженіе государственныхъ податей приковали сердца подданныхъ Екатеринѣ искреннѣйшею, чистою и неограниченною любовью. Въ чертогахъ богатаго и въ хижинѣ земледѣльца Екатерина была равно любима искренно; имя ея произносили съ благоговѣніемъ, называя всегда императрицу: матушка всемилостивая государыня» [2]).

Тургеневъ оправдываетъ даже недостатки правленія Екатерины, напр. распространеніе крѣпостного права. «Кричатъ до

---

[1]) «Р. Старина». 1886, янв., стр. 61—62.
[2]) Тамъ же, 1885, декабрь, стр. 480.

сего времени еще о расточительности Екатерины, о томъ, что надѣляла любимцевъ своихъ большими помѣстьями крестьянъ, (но) даже и сія слабость Екатерины послужила къ пользѣ и благоустройству государства, къ водворенію порядка и укрощенію убійства въ полудикомъ народѣ. Съ поступленіемъ крестьянъ въ управленіе дворянъ, смягченіе полудикихъ нравовъ скоро послѣдовало: уменьшились скопища разбойничьи на рѣкахъ и дорогахъ, государственныя подати начали поступать въ казну вѣрнѣе и безъ недоимокъ. Правительство получило вѣрныхъ и безкорыстныхъ управителей во владѣльцахъ; видимъ нынѣ, по прошествіи 70 лѣтъ, со всѣми улучшеніями хода дѣлъ въ управленіи, со всѣми средствами, существующими въ настоящее время, управленіе казенное не можетъ достигнуть предположенной цѣли, водворить того порядка, подчиненности, какіе существуютъ при всѣхъ стѣсненіяхъ дворянамъ въ ихъ вотчинахъ, и благосостояніе крестьянина дворянскаго несравненно лучше, прочнѣе и не подвержено притѣсненіямъ, которыми сугубо обременены крестьяне государственные!

«Это весьма просто и понятно: въ дворянскомъ имѣніи одна инстанція для разбора, разсмотрѣнія и рѣшенія всякихъ пререканій и обстоятельствъ — владѣлецъ или его довѣренный; въ казенномъ управленіи ихъ цѣлая лѣстница! Чѣмъ короче лѣстница, тѣмъ лучше, и по старинной пословицѣ—у семи нянь дитя всегда безъ глазу. Съ уничтоженіемъ дворянства ничто не уцѣлѣетъ на святой Руси» [1]).

Но эти строки, какъ будто внушенныя желаніемъ дать апологію временъ Екатерины, не подтверждаются другими мѣстами записокъ: самъ Тургеневъ высказываетъ иныя мысли о значеніи учрежденій Екатерины и очень не высокаго мнѣнія о политическомъ смыслѣ нашего дворянства. Любопытны мнѣнія Тургенева, котораго, въ полномъ смыслѣ слова, можно назвать человѣкомъ стараго вѣка, о предметѣ, въ настоящее время снова занимающемъ умы, особливо въ средѣ новѣйшей дворянской публицистики.

«Екатерина II, невѣдомо по какимъ побужденіямъ, къ удивленію цѣлаго свѣта, даровала дворянству права важныя, раздѣлявшія съ нею власть,—права избирать блюстителей закона, охранителей порядка и общественнаго спокойствія, изъ среды

---

1) Тамъ же, 1886, янв., стр. 60—61.

своей, независимо отъ власти предержащей. Даровала хартію, предоставляющую дворянамъ полную и неограниченную свободу дѣйствовать въ отношеніи лично себя и достоянія, какъ имъ заблагоразсудится: служить по произволу въ отечествѣ своемъ или въ другомъ государствѣ оставить навсегда отечество безъ всякой укоризны и преслѣдованія; жить въ чужой странѣ и получать невозбранно доходы съ своего имѣнія; сказала: «дворянинъ на тѣлѣ да не накажется», сказала болѣе—мудрое, божеское изреченіе, сказала: «безъ суда никто да не накажется». Повелѣла и предоставила право повѣреннымъ дворянства требовать отъ всѣхъ предержащихъ властей яснаго и подробнаго свѣдѣнія въ случаяхъ, когда кѣмъ бы то ни было, по какому то ни было обстоятельству будетъ дворянинъ лишенъ свободы и будетъ болѣе трехъ дней находиться подъ стражею. Уполномочила, когда дворяне будутъ имѣть надобность въ дополненіи или въ отмѣненіи закона, въ учрежденіи вновь чего-либо, слать къ себѣ повѣренныхъ своихъ (депутатовъ).

«Дворянство русское, искони въ тинѣ невѣжества грязнувшее, преданное лѣности, пьянству, сладострастію, не умѣло или не хотѣло раздѣлить правъ своихъ съ народомъ (т.-е. освободить крестьянъ отъ рабства), пожелало тогда—увы! и до нынѣ еще (1835 г.) желаетъ—сохранить гнусное право быть властелиномъ неограниченнымъ надъ рабами, крѣпостью, какъ цѣпью, скованными, продавать ихъ какъ утварь, какъ домашній скотъ. Сіе скаредное, презрительное желаніе дворянъ въ то же время, когда права были имъ дарованы, обезсилило ихъ, можно сказать, разрушило, уничтожило, и права остались—какъ бы только для памяти напечатанными, въ существѣ же безъ силы и дѣйствія. Народъ или крѣпостные рабы, оставшись по прежнему подъ игомъ рабства, пребыли по прежнему непримиримыми врагами дворянамъ (1835).

«Народъ восхищался, одобрялъ, выхвалялъ всѣ дѣянія, надъ дворянами совершавшіяся въ 1796—1800 гг. Въ народѣ, при Павлѣ Петровичѣ, не шопотомъ—вслухъ говорили относительно дворянъ: вотъ онъ требуетъ (?) ихъ, варваровъ, отжили они красные дни!» [1]).

Возвратившись еще разъ ко временамъ императрицы Екатерины, Тургеневъ опять приходитъ къ заключеніямъ, не сход-

---

[1]) Тамъ же, 1886, ноябрь, стр. 262—263. См. еще разсужденія его о русскомъ дворянствѣ и духовенствѣ тамъ же, 1885, декабрь, стр. 483—485.

нымъ съ приведенной выше апологіей. Онъ находитъ, напримѣръ, что «всѣ дарованныя права и преимущества, словомъ и обѣщаніемъ Екатерины утвержденныя, въ сущности никакихъ правъ никому не усвоили» (?); онъ намѣревается «обнаружить, какія гибельныя были для народа отъ того послѣдствія, вмѣсто изреченныхъ, обѣщанныхъ милостей, покровительства, равенства передъ закономъ и судомъ, и продолжаетъ:

«Уничтоженъ тайный, розыскной приказъ и пытки словомъ, а на дѣлѣ осталось все по прежнему.

«Вмѣсто розыскного приказа учреждена тайная канцелярія, гдѣ Степанъ Ивановичъ Шишковскій пыталъ, мучилъ и тиранилъ не менѣе прежняго.

«Правда, съ тѣхъ, которые послѣ наказанія оставались живы, Шишковскій бралъ подписки въ томъ, что они во всю жизнь никому и ни подъ какимъ предлогомъ не будутъ говорить о случившемся съ ними. Наказанный былъ обязанъ подтвердить подписку присягою и обѣщать, если проговорится, подвергнуть себя безотвѣтному вновь наказанію.

«Городскіе полиціймейстеры, въ Петербургѣ генералъ-полиціймейстеръ Чичеринъ, въ Москвѣ оберъ полиціймейстеры Татищевъ и Суворовъ, всегда имѣли въ каретахъ своихъ по нѣскольку десятковъ плетей, называемыхъ подлинниками, съ желѣзными наконечниками, и сѣкли на улицахъ изъ обывателей, какъ говорится, встрѣчнаго и поперечнаго, какъ имъ заблагоразсудилось.

«Что же значилъ, въ XVIII вѣкѣ, изреченный законъ: безъ суда никто да не накажется?» [1])

Отзывы видимо писаны подъ разными впечатлѣніями историческаго прошлаго, противорѣчія остались несведенными, но въ общемъ выводѣ Тургеневъ остается величайшимъ поклонникомъ временъ императрицы Екатерины, и, какъ мы замѣчали, весьма вѣроятно, что это возвеличеніе временъ Екатерины развилось въ немъ въ особенности подъ вліяніемъ событій, наступившихъ по ея смерти. По своей службѣ въ конной гвардіи Тургеневъ былъ близокъ къ дворцовымъ происшествіямъ; первое же время новаго царствованія онъ бывалъ дежурнымъ ординарцемъ у императора Павла; переведенный потомъ въ екатеринославскій полкъ, онъ былъ свидѣтелемъ тогдашней службы;

[1]) Тамъ же, 1886, октябрь, стр. 57—58.

при коронацій былъ въ Москвѣ, въ качествѣ полкового адъютанта снова не одинъ разъ представлялся императору; видѣлъ на своемъ полку и на самомъ себѣ примѣры его добродушія и взрывы гнѣва, наконецъ, состоя адъютантомъ при московскомъ генералъ-губернаторѣ, онъ опять видѣлъ многое, что оставалось тайной для массы,—и видѣть случалось вещи ужасныя,—такъ что его воспоминанія являются достовѣрнымъ матеріаломъ для характеристики того времени, которое еще ни разу не было разсказано нашими историками.

Тургеневъ не былъ историкомъ, говорилъ лишь о томъ, что видѣлъ или что было предметомъ общихъ толковъ, но характеръ эпохи, изображенный въ его разсказѣ, подтверждается единогласно свидѣтелями того времени. Общая черта есть впечатлѣніе переворота и ужаса.

Въ продолженіе 8 часовъ царствованія вступившаго на всероссійскій самодержавный тронъ, весь устроенный въ государствѣ порядокъ правленія, судопроизводства,—однимъ словомъ, всѣ пружины государственной машины были вывернуты, столкнуты изъ своихъ мѣстъ, все опрокинуто вверхъ дномъ и все оставлено и оставалось въ семъ исковерканномъ положеніи четыре года! Однимъ почеркомъ пера уничтожено 230 городовъ! Мѣста государственныхъ сановниковъ ввѣрены людямъ безграмотнымъ, не получившимъ никакого образованія, не имѣвшимъ даже случая видѣть что-либо полезное, поучительное; они кромѣ Гатчина и казармъ тамъ, въ которыхъ жили, ничего не видѣли, съ утра до вечера маршировали на учебномъ мѣстѣ, слушали бой барабана и свистъ дудки! Бывшему у генералъ-аншефа Степана Ст. Апраксина въ услугѣ Клейнъ-Михелю повелѣно было обучать военной тактикѣ фельдмаршаловъ. Да, шесть или семь тогда находившихся въ Петербургѣ фельдмаршаловъ сидѣли около стола, вверху котораго предсѣдательствовалъ бывшій лакей Апраксина Клейнъ-Михель и исковерканнымъ русскимъ языкомъ преподавалъ такъ названную тактику военнаго искусства фельдмаршаламъ, въ бояхъ посѣдѣвшимъ! Вся премудрость ученія Клейнъ-Михеля заключалась въ познаніи фронтового ученія вступающаго въ караулъ батальона, въ отправленіи службы будучи въ караулѣ, какъ выходить въ сошки, брать ружья, и прочихъ мелочей.

«Первый подвигъ свой (новый порядокъ) обнаружилъ объявленіемъ жестокой, безпощадной войны злѣйшимъ врагамъ государства русскаго—круглымъ шляпамъ, фракамъ и жилетамъ!

«На другой день человѣкъ 200 полицейскихъ солдатъ и драгунъ, раздѣленныхъ на три или четыре партіи, бѣгали по улицамъ и во исполненіе (особаго) повелѣнія срывали съ проходящихъ круглыя шляпы и истребляли ихъ до основанія; у фраковъ обрѣзывали отложные воротники, жилеты рвали по произволу и благоусмотрѣнію начальника партіи, капрала или унтеръ-офицера полицейскаго. Кампанія быстро и побѣдоносно кончена: въ 12 часовъ утромъ не видали уже на улицахъ круглыхъ шляпъ, фраки и жилеты приведены въ несостояніе дѣйствовать и тысяча жителей Петрополя брели въ дома ихъ жительства съ непокровенными главами и въ раздранномъ одѣяніи, полунагіе.

«Двери, ставни оконъ и все, что деревянное въ строеніи выходило на улицу, было въ одни сутки раскрашено въ шахматы; видъ сей и до сего времени (1848 г.) напоминаетъ намъ будки гауптвахтъ и фонарные столбы.

«Въ день объявленія войны соединеннымъ врагамъ Россіи, круглымъ шляпамъ, фракамъ и жилетамъ, я самъ былъ на волосъ отъ бѣды, могъ быть признанъ за лазутчика, посланнаго непріятелемъ для развѣдыванія о состояніи войска, и, конечно, молитва доброй моей матери спасла меня отъ бѣдъ и напастей» [1]).

Разсказавъ нѣсколько эпизодовъ изъ первыхъ дней новаго правленія, которыхъ онъ былъ очевидцемъ, Тургеневъ продолжаетъ:

«Екатерина сказала въ грамотѣ, дарованной дворянству: «отнынѣ да не накажется никогда на тѣлѣ дворянинъ россійскій»

«Наслѣдовавшій ей Павелъ Петровичъ не хотѣлъ продолжать самодержавствовать по стопамъ ея, избралъ себѣ примѣромъ Петра І-го и началъ подражать просвѣтителю народа русскаго, да въ чемъ?—началъ бить дворянъ палкою.

«Петръ присутствовалъ въ Сенатѣ, по крайней мѣрѣ, два раза въ недѣлю, Павелъ ноги въ Сенатъ не поставилъ, не зналъ, какъ дверь отворяется въ храмъ верховнаго судилища; общее собраніе Правительствующаго Сената называлъ Овчимъ Собраніемъ.

«Лишь только поднялъ Павелъ Петровичъ палку на дворянъ, все, что имѣло власть и окружало его въ Гатчинѣ, начало бить дворянъ палками. Дворянская грамота, какъ и учрежденіе объ управленіи губерній, лежали въ золотомъ ковчегѣ на присутственномъ столѣ Правительствующаго Сената, не бывъ уничтоженными, но неприкосновенными, какъ подъ спудомъ» [2]).

[1]) Тамъ же, 1885, сентябрь, стр. 380—381.
[2]) Тамъ же, стр. 388—389.

Въ другомъ мѣстѣ Тургеневъ разсказываетъ: «Съ каждымъ часомъ, съ каждою минутою въ 1797—1800 г. гнѣвъ Павла Петровича распространялся шире, какъ изверженная волканомъ лава быстро пробѣгаетъ пространство, ширѣетъ и все истребляетъ на пути своемъ»...

Было бы слишкомъ длинно указывать различные эпизоды изъ временъ царствованія Павла, какіе разсѣяны въ запискахъ Тургенева. Они цѣнны именно тѣмъ, что представляютъ свидѣтельства очевидца. Событія были таковы, что Тургеневъ, почти черезъ 50 лѣтъ, не могъ отдѣлаться отъ ужаса своихъ воспоминаній: «Ужасно вспомнить! четыре года ожидать ежеминутно бѣдствія, быть во всегдашнемъ треволненіи духа, не быть увѣреннымъ—правильны ли, точны ли даннымъ повелѣніямъ дѣйствія въ исполненіи» [1]...

Дѣйствительно, никто не считалъ себя въ безопасности; даже тотъ фельдмаршалъ Салтыковъ, при которомъ состоялъ Тургеневъ, съ часу на часъ ожидалъ своего удаленія. «Фельдмаршалъ готовился къ принятію громовой опалы царской, (а потому) приказалъ шталмейстеру своему, маіору Никитѣ Ивановичу Захарову, приготовить экипажи дорожные и всю упряжь; фельдмаршалъ думалъ, что его сошлютъ жить въ деревняхъ своихъ и хотѣлъ отправиться на житье въ низовыя свои вотчины на Сурѣ въ Симбирской губерніи; хотѣлъ ѣхать на своихъ лошадяхъ, да иначе не было бы возможно; для подъема его дома было потребно 350 лошадей. Въ двѣ недѣли экипажи и лошади у Захарова были въ такой готовности, что когда угодно было можно приказать запрягать лошадей.

«Мнѣ добрый мой начальникъ сказалъ: «не горюй, выключатъ тебя, будь увѣренъ—я тебя не покину, приготовься со мною къ отъѣзду» [2].

«Я благодарилъ графа за его милостивое благорасположеніе»...

Разсказы Тургенева о вступленіи на престолъ императора Александра согласны со всѣмъ тѣмъ, что сообщали многіе другіе современники. Это была всеобщая восторженная радость, исполненная надеждами на счастливое будущее. Самый разсказъ о временахъ императора Александра, повидимому, предстоитъ еще въ дальнѣйшихъ главахъ записокъ Тургенева.

---

[1] Тамъ же, 1885. ноябрь, стр. 265.
[2] Тамъ же, 1885, ноябрь, стр. 268.

МЕЦЕНАТЫ И УЧЕНЫЕ АЛЕКСАНДРОВСКАГО ВРЕМЕНИ.

(„Вѣстникъ Европы“ 1888, октябрь).

МЕЦЕНАТЫ И УЧЕНЫЕ АЛЕКСАНДРОВСКАГО ВРЕМЕНИ.

— Адмиралъ Шишковъ и канцлеръ гр. Румянцовъ. Начальные годы русскаго славяновѣдѣнія. *А. А. Кочубинскаго*, орд. проф. Импер. Новороссійскаго университета. Одесса, 1887—1888.

— Митрополитъ Евгеній, какъ ученый. Ранніе годы жизни, 1767—1804. *Е. Шмурло.* Спб., 1888.

Если современная литература нерѣдко производитъ довольно тяжелое впечатлѣніе различными явленіями, похожими на признаки упадка и испорченности, то есть въ ней одна сторона которая обѣщаетъ, по крайней мѣрѣ, будущему важный матеріалъ для изученія нашего общественнаго развитія. Мы не однажды указывали на широкое распространеніе изученій историческихъ, на появленіе цѣлой массы интереснѣйшихъ документовъ разнаго рода, которые еще очень недавно были совершенно недоступны для общества и выходятъ теперь на божій свѣтъ, раскрывая прошедшее нашей собственной жизни. Полусознательное отношеніе ко вчерашнему дню начинаетъ смѣняться болѣе отчетливыми представленіями о томъ, изъ какихъ условій мы приходимъ къ своему современному состоянію; и надо думать, что эти представленія, выростая и распространяясь, помогутъ со временемъ обществу дать себѣ ясный отчетъ о тѣхъ «добрыхъ старыхъ временахъ», которыя стремятся такъ разукрасить многіе изъ современныхъ публицистовъ и въ которыя желаютъ возвратить насъ «домой».

Правда, новѣйшая историческая литература въ наибольшей части состоитъ изъ сырого матеріала. Рѣдко, появляются книги съ болѣе широкою темой, которая обнимала бы или большій періодъ времени, или какое-либо крупное явленіе нашей общественной и государственной жизни. Недавно такой рѣдкій при-

мѣръ широкаго историческаго обобщенія мы указывали въ изслѣдованіи г. Семевскаго объ исторіи крестьянскаго вопроса; но трудовъ такого достоинства, къ сожалѣнію, немного: большею частію это — сборники матеріаловъ, болѣе или менѣе случайныхъ, или работы слишкомъ детальныя, которыя въ настоящую минуту въ своемъ отрывочномъ видѣ имѣютъ только анекдотическій интересъ и которымъ еще неизвѣстно когда придется послужить чертой для широкой картины.

Въ послѣднее время довольно много матеріала собирается для исторіи Александровскаго времени, именно для исторіи науки и литературы этой все еще недостаточно изученной эпохи. Однимъ изъ первыхъ трудовъ этого рода были давно уже изданные «Матеріалы» для исторіи просвѣщенія въ Александровское время, собранные изъ архивовъ г. Сухомлиновымъ и въ первый разъ раскрывавшіе какъ просвѣтительныя стремленія той эпохи, такъ и подноготную тогдашняго обскурантизма, который въ Александровское время впервые пытался установить свою дикую теорію. Въ послѣдніе годы тотъ же авторъ занимался «Исторіей Россійской Академіи» [1]), недавно приведенной къ концу. Сама по себѣ, Россійская Академія не представляла такого интереса, чтобы ея исторіей можно было и стоило наполнить обширное сочиненіе; но, повидимому, разъ принявшись за архивный матеріалъ, авторъ хотѣлъ исчерпать его разъ навсегда: этотъ архивный характеръ слишкомъ отзывается на книгѣ г. Сухомлинова, нерѣдко страдающей излишествомъ неважныхъ подробностей, которыя могли бы и остаться въ архивахъ, но, съ другой стороны, Россійская Академія дала рамку для цѣлаго ряда біографій, между прочимъ такихъ, которыя давно требовались въ нашей исторической литературѣ. Мы имѣли случай въ другомъ мѣстѣ указывать, напримѣръ, біографіи Румовскаго, Лепехина, Озерецковскаго, Болтина и др. Собственно говоря, наибольшая часть замѣчательныхъ людей, жизнеописанія которыхъ вошли въ исторію Россійской Академіи, имѣютъ къ ней очень малое отношеніе, потому что хотя они и принимали большее или меньшее участіе въ ея работахъ, не въ этомъ заключается ихъ главное право на память исторіи, и Россійская Академія, украшенная ихъ именами, становится похожа на извѣстную птицу въ павлиньихъ

[1]) Печаталась въ «Сборникахъ» II-го Отдѣленія Академіи Наукъ и отдѣльными книгами, всего 7 томовъ.

перьяхъ. Сущность Россiйской Академiи, какъ она выразилась особливо въ дѣятельности ея ревностнаго члена и потомъ предсѣдателя, адмирала Шишкова, была не такова, чтобы ей можно было поставить памятникъ историческихъ похвалъ; она — не скажемъ: тормозила, потому что это не было въ ея силахъ, но во всякомъ случаѣ желала тормозить успѣхи русской литературы; подъ конецъ она была только предметомъ для шутокъ и прекратилась отъ своего окончательнаго безсилiя. Ея исторiя въ томъ объемѣ, какой данъ ей въ названной книгѣ, способна была бы повести къ ошибкѣ въ исторической перспективѣ, если бы не было такъ явно, что эта исторiя послужила только поводомъ для ряда бiографiй, главная доля которыхъ лежитъ внѣ Россiйской Академiи. Во всякомъ случаѣ, какъ мы сказали, здѣсь собрано изъ архивныхъ источниковъ множество бiографическаго и историко-литературнаго матерiала, который послужитъ съ пользою для изображенiя судьбы русскаго образованiя конца прошлаго вѣка и Александровской эпохи. Далѣе, въ журналахъ, въ спецiальныхъ историческихъ изданiяхъ и въ отдѣльныхъ книгахъ за послѣднее время разсѣяно множество детальныхъ свѣдѣнiй о разныхъ дѣятеляхъ, имѣвшихъ отношенiе къ судьбѣ русскаго образованiя въ Александровскую эпоху. Таковы бiографiи, мемуары, переписка и пр. адмирала Шишкова [1]), кн. А. Н. Голицына, гр. Н. П. Румянцова, Магницкаго, архимандрита Фотiя, Бантыша-Каменскаго, Востокова, митрополита Евгенiя Болховитинова, А. И. Тургенева, Кёппена и пр. Къ этой литературѣ примыкаютъ и книги гг. Кочубинскаго и Шмурло, заглавiя которыхъ выше обозначены и о которыхъ мы скажемъ подробнѣе.

Авторъ первой изъ нихъ поставилъ себѣ цѣлью разсказать о началѣ славяновѣдѣнiя въ нашей литературѣ, сосредоточивъ свой разсказъ на двухъ дѣятеляхъ Александровскаго времени, Шишковѣ и гр. Румянцовѣ. Шишковъ былъ тогда президентомъ Россiйской Академiи, главой оффицiальнаго ученаго учрежденiя, основаннаго при Екатеринѣ II для изученiя и разработки отечественнаго языка; графъ Румянцовъ былъ простой любитель письменной древности, употреблявшiй выгоды своего высокаго положенiя и богатства на разысканiе памятниковъ древней письменности и на изданiе и объясненiе ихъ кружкомъ ученыхъ людей, съ которыми онъ завязалъ сношенiя и которыхъ поддерживалъ.

---

[1]) Записки его изданы въ Прагѣ, 1870, Самаринымъ и Киселевымъ.

Для исторіи этихъ своихъ героевъ авторъ имѣлъ значительный, большею частью извѣстный уже въ литературѣ матеріалъ, частію отысканный имъ вновь. Для Шишкова, кромѣ его собственныхъ записокъ, доставляютъ матеріалъ изданія самой Россійской Академіи и письма Кёппена къ Ганкѣ, извлеченныя теперь г. Кочубинскимъ изъ рукописей Чешскаго музея въ Прагѣ и изданныя въ приложеніяхъ книги. Дѣятельность Румянцова давно уже, съ сороковыхъ годовъ, была предметомъ отдѣльныхъ обзоровъ; и въ послѣдніе годы она останавливала на себѣ вниманіе историковъ, какъ своеобразное, даже единственное въ своемъ родѣ явленіе въ исторіи русской науки; въ послѣдніе годы, кромѣ переписки различныхъ его современниковъ, издана была въ «Чтеніяхъ» московскаго Общества исторіи и древностей (1882) его собственная, довольно обширная ученая переписка; большія дополненія къ ней доставилъ также авторъ разбираемой книги изъ документовъ московскаго архива иностранныхъ дѣлъ, а именно: переписку Румянцова съ управляющимъ московскимъ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ архивомъ, Н. Н. Бантышемъ-Каменскимъ и далѣе письма Румянцова къ преемнику Бантыша, Малиновскому, бумаги коммиссіи печатанія государственныхъ грамотъ и договоровъ и пр. Весьма важный матеріалъ для исторіи возникновенія славянскихъ изученій доставила автору изданная недавно г. Ягичемъ переписка Добровскаго; не мало объяснительныхъ свѣдѣній заключаютъ біографіи и переписка западно-славянскихъ дѣятелей, какъ Ганка, Шафарикъ, Челяковскій. Послужили, наконецъ, изданныя въ послѣднее время въ немаломъ количествѣ письма митрополита Евгенія. Біографія одного изъ главнѣйшихъ исполнителей Румянцовскихъ изданій, Калайдовича, была разработана раньше, насколько допускали сохранившіеся матеріалы. Изъ болѣе раннихъ изданій много свѣдѣній доставила переписка Востокова.

Таковъ существенный матеріалъ, на которомъ опирался въ своемъ изслѣдованіи г. Кочубинскій [1]). Избранная имъ тема со-

[1]) Изъ прежнихъ трудовъ, касавшихся этого періода нашей филологической науки, можно было бы припомнить цѣнную книгу покойнаго Котляревскаго: «Древняя русская письменность. Опытъ библіологическаго изложенія исторіи ея изученія». Воронежъ, 1881 (изъ Филологическихъ Записокъ» 1879—1880). Для личной характеристики Румянцова авторъ могъ бы воспользоваться любопытнымъ «Сборникомъ матеріаловъ для исторіи Румянцовскаго Музея» (изданіе Моск. Публичнаго и Румянц. му-

ставляетъ очень интересный періодъ въ исторіи русской науки, и перечисленный выше матеріалъ, достаточно обширный, особливо съ его новыми дополненіями, до сихъ поръ не былъ разработанъ въ подробности: общее историческое значеніе какъ Шишкова, такъ и Румянцова было достаточно извѣстно, но должно было объединить накопившіяся свѣдѣнія, раскрыть подробности тѣхъ научныхъ стремленій, результатомъ которыхъ была — въ дѣятельности сотрудниковъ Румянцова — первая научная постановка вопроса о древней русской литературѣ и славянской письменной древности и, съ другой стороны, первыя начала русской славистики.

Г. Кочубинскій открываетъ разсказъ въ весьма возвышенномъ тонѣ:

«Сто съ небольшимъ лѣтъ тому назадъ, въ громкій вѣкъ военныхъ споровъ, 21-го октября 1783 года, волею знаменитой императрицы, была воззвана къ жизни (?) Россійская Академія.

«Академію составили: четыре духовныхъ лица съ митрополитомъ Гавріиломъ во главѣ, представительнѣйшіе русскіе члены академіи наукъ и московскаго университета — знаменитые (?) питомцы лучшихъ заграничныхъ школъ, извѣстные поэты и писатели, нѣсколько сановныхъ лицъ и нѣсколько безличныхъ. Феноменальная (?) княгиня Дашкова, президентъ тогда академіи наукъ, явилась законнымъ представителемъ и новой академіи: она была первымъ виновникомъ и единственнымъ ходатаемъ объ учрежденіи ея, какъ привѣтствовалъ княгиню знаменитый академикъ (?)-митрополитъ.

Великое (?) учрежденіе, по мысли державной основательницы, должно было стать для Россіи тѣмъ, чѣмъ была старѣйшая Académie française для Франціи: сосредоточіемъ представителей русскаго генія, импонирующимъ пантеономъ первыхъ людей русской земли, съ первою національною обязанностью «вычищать и обагащать россійское слово» — «толь многихъ языковъ повелителя». Государственное учрежденіе перенимало теперь задачу, разрѣшить которую временами порывались частные люди.

зеевъ къ полувѣковому юбилею открытія послѣдняго), М. 1882, — гдѣ помѣщенъ цѣлый рядъ статей о Румянцовѣ и его музеѣ гг. Герца, Траутшольда, Ренара, Викторова, Филимонова, и особливо статьи Е. Ѳ. Корша: «Опытъ нравственной характеристики Румянцова» (стр. 1 — 70) и «Румянцовъ собиратель книжныхъ пособій» (стр. 70 — 77).

«Возвышенная политическая мысль говорила въ императрицѣ Екатеринѣ—политическое величіе Россіи увѣнчать возвеличеніемъ «многихъ языковъ повелителя» — отечественное(аго) слово (а). Но благородное стремленіе «воздвигнуть храмъ россійскому слову», выражаясь языкомъ самой академіи, выходило за предѣлы эпохи: съ высокими чувствами императрицѣ мало гармонировала проза жизни» и т. д.

Самъ авторъ тутъ же замѣчаетъ, что для «великаго учрежденія», для «возвышенной политической мысли» недоставало очень малаго: школы, потому что дѣйствительно школа находилась еще въ зачаточномъ состояніи; литература едва возникала (но уже испытывая неудобства своего безправнаго состоянія), и надо было имѣть слишкомъ много самомнѣнія, чтобы думать о параллели съ французской академіей. Правда, сама императрица ревностно занялась тогда извѣстнымъ «Сравнительнымъ словаремъ», составлявшимся, впрочемъ, внѣ Россійской Академіи; правда, и сама академія составила вскорѣ съ грѣхомъ пополамъ словарь русскаго языка, но вся затѣя была натянутая и несостоятельная: «черезъ два десятилѣтія, — говоритъ авторъ, — храмъ русскаго слова сталъ отставать отъ опережавшаго его свободнаго движенія родного языка, не имъ россійское слово вычищалось», а еще одинъ, другой десятокъ, и академія была закрыта дѣятельностью частнаго кружка, обогатившаго дѣйствительно отечественное слово. Кружокъ этотъ былъ кружокъ науки, на долю академіи перепала [1]) ученая фантазія», — вѣрнѣе было бы сказать: нимало не ученая фантазія, потому что Шишкову, котораго авторъ разумѣетъ въ этомъ случаѣ, именно недоставало самой элементарной научной школы, какъ при первомъ его вступленіи на словесное поприще, такъ и до самаго конца.

На дѣлѣ «великое учрежденіе» только частію могло быть плодомъ возвышенной политической мысли, и едва ли не гораздо больше оно было плодомъ того тщеславія, которое слишкомъ часто руководило блестящимъ вѣкомъ Екатерины. Россійская Академія была красивой декораціей, но за ней скрывалось весьма бѣдное содержаніе: если академія уже вскорѣ стала отставать, это было единственнымъ послѣдствіемъ самой постановки «великаго учрежденія»; для чего иначе, какъ не для декораціи нужны

---

[1]) Осталась?

были іерархи и сановныя лица, у которыхъ въ дѣйствительности не было ни времени, ни охоты и, какъ показали результаты, даже умѣнья заниматься академическимъ дѣломъ, когда для этого нужны были только ученые люди — если бы они нашлись. Всѣ сановныя лица, которыя и долго потомъ, до послѣднихъ дней злосчастной академіи, находились въ числѣ ея членовъ, не могли помочь ея научному и литературному ничтожеству. Дѣйствительное развитіе русскаго слова шло мимо академіи; среди сановныкъ «академиковъ» не находилось мѣста для настоящихъ двигателей литературнаго языка: эти послѣдніе были молодые таланты съ живымъ чувствомъ, поэзіи и общественнаго интереса; въ произведеніяхъ ихъ сказывался ростъ и новыя стремленія литературы; немноголюдное образованное общество, особливо молодыя поколѣнія, увлекались ими, — но академія осталась глуха и слѣпа. Впослѣдствіи Шишковъ, ярче всѣхъ олицетворявшій въ себѣ степень пониманія, какая господствовала въ академіи, предпринялъ цѣлый походъ противъ новыхъ направленій литературы. Начальствуя потомъ Россійской Академіей, Шишковъ усердно, но абсолютно безплодно, занимался своими словопроизводствами и, кажется, никогда не понялъ того энергическаго движенія въ самой области старославянскаго языка, которое возникло у него на глазахъ въ трудахъ Востокова, какъ совершенно не понялъ той великой научной силы, какую представлялъ тогда знаменитый чешскій аббатъ Добровскій. Съ послѣднимъ Шишковъ встрѣчался даже лично и ничего не уразумѣвши изъ этой встрѣчи, воображалъ, что можетъ поучать Добровскаго своимъ корнесловіемъ. Зрѣлище было жалкое, но и характерное. Шишковъ находился, разумѣется, въ совершенно искреннемъ заблужденіи: онъ просто ничего не понималъ въ славянской наукѣ; но странна была роль представителя оффиціальной Россійской Академіи и главнаго дѣятеля лицомъ къ лицу съ дѣйствительной наукой; это было естественное порожденіе «великаго учрежденія». Авторъ разбираемой книги самъ хорошо видитъ это нелѣпое положеніе вещей, но утверждаетъ, что потомъ и Шишковъ подошелъ къ дѣлу съ иной, практической, стороны, и «новыми начинаніями своими пріобрѣлъ безспорное право на почетное мѣсто въ лѣтописяхъ русскаго просвѣщенія» [1].

---

[1] Стр. 34.

Дѣло въ томъ, что въ двадцатыхъ годахъ возникаетъ мысль объ основаніи каѳедръ славянскихъ нарѣчій въ нашихъ университетахъ. За эту мысль Шишковъ ухватился довольно ревностно, и для замѣщенія этихъ каѳедръ, за неимѣніемъ пока русскихъ преподавателей, предположено было вызвать въ Россію трехъ извѣстныхъ дѣятелей тогдашней чешской литературы и науки, а именно: Ганку, Челяковскаго и Шафарика—для Петербурга, Москвы и Харькова; а затѣмъ, когда это предположеніе не состоялось, думали найти мѣсто этимъ ученымъ въ «славянской библіотекѣ» при Россійской Академіи, причемъ названныя лица должны были работать надъ составленіемъ какого-то общаго славянскаго словаря. На первое время планъ понимался такъ серьезно, что упомянутымъ славянскимъ ученымъ посланы были даже формальные вызовы и обсуждались условія ихъ переѣзда въ Россію: изъ числа трехъ только одинъ Ганка имѣлъ въ Прагѣ обезпеченное положеніе; Челяковскій былъ въ очень затруднительныхъ матеріальныхъ обстоятельствахъ, а Шафарикъ, жившій тогда въ Новомъ Садѣ, положительно бѣдствовалъ—этихъ послѣднихъ предложенія Шишкова только дразнили, вводя ихъ въ заблужденіе ложными надеждами, а Шафарика спасла потомъ только личная помощь его чешскихъ друзей и небольшого русскаго кружка. Такимъ образомъ, фактически изъ этихъ предположеній вышла только путаница. Что касается до самой идеи, то весь разсказъ г. Кочубинскаго, не лишенный, между прочимъ, новыхъ интересныхъ подробностей, не оставляетъ сомнѣнія, что идея не принадлежала Шишкову, а развѣ только была втолкована ему Кёппеномъ. Дѣло въ томъ, что Кёппенъ (впослѣдствіи извѣстный академикъ, статистикъ и этнографъ), тогда еще молодой ученый съ разнообразными интересами, увлекался вопросами о славянствѣ, которые въ то время начинали все болѣе занимать извѣстный кружокъ, послужившій впослѣдствіи первымъ гнѣздомъ русской славистики. Въ первыхъ двадцатыхъ годахъ Кёппену случилось сдѣлать продолжительное путешествіе на частныя средства за границу: онъ воспользовался пребываніемъ въ Австріи, чтобы сдѣлать нѣсколько экскурсій въ разныя славянскія земли, гдѣ его занимали археологія, исторія, литература, этнографія славянскихъ племенъ; въ Вѣнѣ и Прагѣ онъ близко познакомился съ главными представителями тогдашняго славянскаго движенія, которое въ ту пору поглощено было исторической реставраціей славян-

ской старины и изученіемъ народности. Кёппенъ познакомился съ Добровскимъ и, хотя самъ еще мало-опытный славистъ, умѣлъ оцѣнить великое значеніе человѣка, который былъ тогда патріархомъ славянской науки. Онъ сблизился также съ Копитаромъ въ Вѣнѣ и съ чешскими учеными патріотами въ Прагѣ; съ собой Кёппенъ взялъ за границу много русскихъ книгъ, которыя въ то время, почти при полномъ отсутствіи сношеній, были величайшей и для славянъ чрезвычайно желанной рѣдкостью. Въ Мюнхенѣ Кёппенъ снялъ копію (факсимиле) знаменитыхъ Фрейзингенскихъ отрывокъ (одного изъ древнѣйшихъ памятниковъ славянскаго языка, въ записи латинскими буквами X-го вѣка), изданіе которыхъ долго обдумывали Добровскій и Копитаръ; для послѣдняго изданіе этого памятника, принадлежавшаго его родному племени, было въ особенности любимой мечтой, исполненіе которой задерживалось, однако, тѣмъ, что оно требовало трудныхъ предварительныхъ изслѣдованій. Вернувшись въ Россію, Кёппенъ вступилъ на службу при Шишковѣ, который тѣмъ временемъ назначенъ былъ министромъ народнаго просвѣщенія. Въ то же время Кёппенъ обдумывалъ ученое изданіе, которое и началось въ 1825 году подъ названіемъ «Библіографическихъ Листовъ». Это замѣчательное изданіе осталось надолго—до академическихъ «Извѣстій» Срезневскаго—единственнымъ въ своемъ родѣ. Здѣсь была масса свѣдѣній о славянской старинѣ и современной дѣятельности славянскихъ ученыхъ, свѣдѣній частью собранныхъ самимъ Кёппеномъ, частью доставленныхъ его славянскими корреспондентами. Затѣмъ явилось изданіе славянскихъ памятниковъ, находящихся внѣ Росссіи (1827), гдѣ нашло мѣсто замѣчательное изданіе Фрейзингенскихъ отрывковъ, сдѣланное Востоковымъ, который далъ здѣсь старославянскую реставрацію латинской рукописи и любопытное объясненіе текста съ помощью параллельныхъ памятниковъ въ старославянской письменности; это сличеніе поражало своей ясностью и своей неожиданностью, возможно было только при обширной начитанности и, безъ сомнѣнія, недоступно было бы ни Копитару, ни самому Добровскому... Когда Шишковъ дѣлалъ свои предположенія объ основаніи славянскихъ каѳедръ или о приглашеніи чешскихъ ученыхъ для работъ при славянской библіотекѣ Россійской Академіи, очевидно, онъ говорилъ и писалъ только подъ диктовку Кёппена: этотъ послѣдній имѣлъ тогда болѣе, чѣмъ кто-нибудь другой, свѣдѣній о положеніи славян-

скихъ изученій на славянскомъ западѣ, имѣлъ представленіе о томъ, чѣмъ могла быть работа славянскихъ ученыхъ въ Россіи, наконецъ, зналъ лично главнѣйшихъ дѣятелей западно-славянской науки; и наоборотъ, все это было почти неизвѣстно Шишкову, который и теперь воображалъ, что славянскіе ученые только займутся съ нимъ его нелѣпыми словопроизводствами. Любопытно, что когда около этого времени пріѣзжалъ въ Россію знаменитый сербъ Вукъ Караджичъ, то Шишковъ не могъ заучить даже его имени и называлъ его «Вугомъ». Въ самомъ дѣлѣ, достаточно припомнить, какія понятія имѣлъ Шишковъ о предметѣ—славянскомъ языкѣ,—котораго защитѣ и возвеличенію онъ посвятилъ всѣ труды своей жизни; достаточно всмотрѣться въ его собственныя личныя сношенія и бесѣды съ славянскими дѣятелями, чтобы видѣть, что онъ былъ не въ состояніи понять тогдашняго значенія славянскихъ изученій и что смыслъ предполагаемыхъ каѳедръ славянскихъ нарѣчій былъ для него очень теменъ.

Мы не думаемъ умалять личнаго характера Шишкова и согласимся, что даже своимъ неяснымъ и фантастическимъ стремленіемъ въ область славянской старины онъ стоялъ выше многихъ сановниковъ своего времени, которымъ не приходила въ голову и такая мысль о наукѣ, и особливо выше тѣхъ, которыхъ невѣжество—или еще хуже: значительная степень образованія—соединялось съ мрачнымъ и лицемѣрнымъ обскурантизмомъ; но это признаніе не должно заставлять насъ преувеличивать его заслуги въ дѣлѣ, гдѣ инициатива и пониманіе, очевидно, ему не принадлежатъ и гдѣ несостоятельность его собственныхъ темныхъ представленій должна была неминуемо обнаружиться, еслибы приглашеніе славянскихъ ученыхъ состоялось. Не могъ же, въ самомъ дѣлѣ, напримѣръ Шафарикъ исполнять того, что мерещилось Шишкову.

Мы упомянули выше, какъ странны были встрѣчи Шишкова съ Добровскимъ. Нѣчто подобное было и у себя дома. Самъ авторъ разбираемой книги разсказываетъ, какъ Шишковъ (вѣроятно до конца своихъ дней) не могъ понять Востокова, какъ старался было привлечь его къ своимъ словопроизводственнымъ изысканіямъ, въ которыя, однако, къ своему неудовольствію, никакъ не могъ затянуть его,—и это въ то время, когда Востоковъ своимъ знаменитымъ «Разсужденіемъ» (1820) и другими трудами полагалъ впервые прочныя основанія славянской

филологіи, предъ которыми преклонился самъ патріархъ тогдашней славянской науки, Добровскій, и даже Копитаръ, относившійся къ русскимъ ученымъ обыкновенно съ большимъ пренебреженіемъ [1]).

Если Россійская Академія, съ своими специальными приспѣшниками [2]) осталась совершенно внѣ науки, съ репутаціей безполезнаго учрежденія и была, наконецъ, такъ сказать, заживо похоронена Шишковымъ, совсѣмъ иное зрѣлище представляетъ рядъ лицъ, дѣятельность которыхъ сосредоточилась вокругъ канцлера Румянцова и которыхъ можно объединить названіемъ «Румянцовскаго кружка», какъ дѣлаетъ г. Кочубинскій. Въ противоположность Россійской Академіи этотъ кружокъ не имѣлъ ничего оффиціальнаго: сановнымъ былъ въ немъ одинъ Румянцовъ, но и его роль опредѣлялась вовсе не его саномъ, а его страстной и упрямой ревностью къ собиранію письменной славяно-русской старины; санъ и богатство были для него только средствомъ находить себѣ помощниковъ и исполнителей—ученыхъ издателей и комментаторовъ этой старины. Кружокъ не составился сразу; для него не набирались люди какіе попало, только бы съ важными титулами—напротивъ, онъ составлялся самъ собой; чтобы войти въ него и встрѣтить радушный пріемъ и содѣйствіе отъ Румянцова, надо было только заявить себя

---

[1]) Г. Кочубинскій (стр. 169—170) приводитъ въ забавной формѣ діалога письмо Шишкова къ Востокову по поводу избранія послѣдняго въ Россійскую Академію за «похвальныя упражненія», и отвѣтъ Шишкова. Шишковъ съ серьезностью святой простоты объясняетъ Востокову, что «основательное разсужденіе о языкѣ требуетъ многихъ объясненій и доказательствъ», приглашаетъ Востокова принять участіе въ академическихъ корнесловіяхъ и надѣется, что тотъ приметъ, если «поприлежнѣе» будетъ читать академическія «Извѣстія»; въ своихъ словопроизводствахъ Шишковъ видитъ «неоспоримыя математическія истины» и совѣтуетъ Востокову «хорошенько вникнуть, приняться» и проч. Востоковъ, очевидно, съ ироніей благодаритъ и замѣчаетъ, что совѣты академическихъ сочленовъ послужатъ ему «вѣрнѣйшимъ свѣтильникомъ къ озаренію пути, толикими преткновеніями исполненнаго», и пр. Извѣстно, однако, что къ этому вѣрнѣйшему свѣтильнику онъ никогда не обращался и при всей своей скромной уступчивости, рѣшительно уклонился отъ «упражненій» Шишковской Академіи.

[2]) Не говоримъ здѣсь о дѣйствительно ученыхъ людяхъ, не филологахъ, которые зачислены были въ Академію случайно, только для помпы, какъ напр. Лепехинъ и многіе другіе, которые и не стремились быть филологами.

любовью къ дѣлу и научной работой. Самъ Румянцовъ не имѣлъ, разумѣется, филологической и археологической школы, которая дѣлала бы его готовымъ судьей такой работы, но онъ руководился и не однимъ инстинктомъ: хотя онъ всегда оставался только любителемъ, но самъ много читалъ этой старины и пріобрѣлъ умѣнье угадывать научный пріемъ въ предлагаемыхъ объясненіяхъ и научную подготовленность въ набиравшихся сотрудникахъ. Довольно сказать, что онъ безъ посторонней помощи умѣлъ понять научную силу Калайдовича и Востокова; ни того, ни другого никогда не умѣлъ понять Шишковъ.

Откуда развилась въ Румянцовѣ эта любовь къ славянской и русской письменной древности? По своему образованію онъ не выходилъ изъ тогдашняго обычнаго склада аристократическаго воспитанія—на французской литературѣ и нравахъ; жизнь провелъ частію за границей на дипломатической службѣ, потомъ, завѣдуя иностранными дѣлами при Александрѣ до 1812 года, когда онъ оставилъ дипломатическое управленіе, подвергшись, какъ почитатель Наполеона (въ которомъ, по объясненію г. Кочубинскаго, онъ «прозрѣвалъ вводителя въ міръ новой идеи національности на мѣсто гнетущей силы феодализма»), чуть не обвиненіямъ въ измѣнѣ, за-одно съ Сперанскимъ, но сохранивъ расположеніе имп. Александра и титулъ канцлера. И однако этотъ почитатель французовъ, чуть не прославленный измѣнникомъ, оставилъ по себѣ знаменитое имя въ ряду людей, оказавшихъ великія заслуги изученію русской письменной древности и исторіи, т.-е. русскому національному самосознанію; свои богатства, свое общественное положеніе онъ употреблялъ на монументальныя изданія, на поддержку ученыхъ работъ, наконецъ, на основаніе знаменитаго музея, пожертвованнаго имъ «на благое просвѣщеніе». Румянцовъ—далеко не одинъ—долженъ быть не легко объяснимъ для тѣхъ, кто вопіялъ противъ «иностранной заразы» и до сихъ поръ вопіетъ противъ тлетворныхъ вліяній гніющаго Запада. Румянцовъ былъ именно человѣкъ западнаго, французскаго, образованія, и однако въ немъ же нашелся человѣкъ, питавшій глубокую любовь, настоящую «страсть» къ изысканіямъ въ русской исторіи. Дѣло въ томъ, что только образованіе,—а въ тѣ времена, да и послѣ, оно могло почерпаться только въ иноземномъ источникѣ,—можетъ раскрыть пониманіе нашихъ собственныхъ историческихъ и общественныхъ отношеній. Для людей «стараго вѣка» (однимъ изъ образ-

чиковъ ихъ могъ служить президентъ Россійской Академіи) былъ непонятенъ научный интересъ, невѣдомы пріемы и требованія научной критики, невразумительны тѣ результаты, къ которымъ приводитъ пытливый анализъ. Нуженъ былъ не ограниченный начетчикъ — и то не въ подлинныхъ «старыхъ» книгахъ, — чтобы объяснить историческую древность; нуженъ былъ просвѣщенный умъ, съ широкими интересами, знакомый съ иноземной наукой, чтобы возникло плодотворное критическое изученіе, чтобы создалась своя дѣйствительная наука, которой одной предоставлено быть надежнымъ руководствомъ въ истолковании старины и народности. Первымъ предпріятіемъ Румянцова было знаменитое «Собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ». Любопытно, что образцомъ этому изданію служило въ глазахъ Румянцова извѣстное старое французское собраніе трактатовъ Дюмона, изданное въ началѣ прошлаго столѣтія. Румянцову хотѣлось, чтобы русская наука имѣла своего Дюмона. По тогдашнимъ понятіямъ, подобное изданіе получало оффиціальный, почти государственный характеръ, но Румянцовъ, тогда уже номинальный канцлеръ, испросилъ у императора Александра разрѣшеніе сдѣлать это изданіе отъ своего имени и на собственный счетъ. На первый разъ исполнитель плана былъ на лицо — это былъ извѣстный Н. Н. Бантышъ-Каменскій (1737—1814), управлявшій тогда московскимъ архивомъ министерства иностранныхъ дѣлъ, неутомимый труженикъ, единственный въ то время знатокъ старой дипломатики и собиратель, труды котораго, много послужившіе русскимъ историкамъ и до сихъ поръ еще не вполнѣ приведенные въ извѣстность, представляютъ примѣръ рѣдкаго трудолюбія, напоминающаго бенедиктинцевъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайной точности въ собираніи данныхъ. Воспитанникъ кіевской духовной академіи, родомъ изъ молдаванъ, и родственникъ московскаго архіепископа Амвросія Зертисъ-Каменскаго, убитаго въ Москвѣ въ 1711 году, во время чумы, Бантышъ-Каменскій работалъ въ московскомъ архивѣ во времена Миллера, и съ 1786 года сталъ его преемникомъ по управленію архивомъ. Насколько можно судить теперь по немногимъ разсказамъ людей болѣе или менѣе близко его знавшихъ, по его перепискѣ, а особенно по самымъ его работамъ, это былъ достойный продолжатель трудовъ своего учителя и предшественника по собиранію и приведенію въ порядокъ матеріаловъ для русской исторіи. Имъ разработаны были гро-

мадныя массы бумагъ московскаго архива; онъ составлялъ имъ точныя росписи, приводилъ въ систему и хранилъ какъ зѣницу ока. Онъ жилъ архивомъ, и въ ту пору слабаго развитія историческихъ интересовъ, а вмѣстѣ и знаній, онъ готовилъ для будущаго множество драгоцѣнныхъ свѣдѣній и указаній. Въ прежнее время Бантышъ-Каменскій былъ прямымъ подчиненнымъ канцлера Румянцова, который долженъ былъ хорошо знать, какую массу знаній онъ встрѣтитъ у Каменскаго для исполненія своего плана. Дѣйствительно, Каменскому понадобилось всего нѣсколько мѣсяцевъ, чтобы организовать сложное изданіе, съ двумя, тремя помощниками изъ старыхъ архивскихъ чиновниковъ. Быстро пошло и печатаніе перваго тома, но смерть прервала его труды: Бантышъ-Каменскій умеръ въ январѣ 1814 года, успѣвъ едва за нѣсколько дней до смерти отослать Румянцову отчетъ по изданію перваго тома.

Каменскаго замѣнилъ его преемникъ въ архивѣ, Малиновскій; но это было уже нѣчто иное. Малиновскій далеко не владѣлъ ни тѣми обширными знаніями, ни тою преданностью дѣлу, ни тѣмъ критическимъ чутьемъ. Извѣстно, напримѣръ, что Малиновскій имѣлъ наивность, въ іюлѣ 1815 года, извѣщать Румянцова, что имъ открытъ былъ другой древнѣйшій списокъ «Слова о полку Игоревѣ», между тѣмъ какъ въ Петербургѣ извѣстному любителю-археологу Ермолаеву не трудно было увидѣть здѣсь весьма нехитрую поддѣлку [1]. Дѣло по изданію собранія грамотъ и договоровъ затянулось. Новымъ дѣятелямъ приходилось употреблять годы на то, что для Каменскаго требовало нѣсколькихъ мѣсяцевъ, потому что Каменскій, по словамъ автора, «только пожиналъ, что сѣялъ раньше, въ теченіе полувѣковой своей жизни среди хартій архива». Правда, замедленіе происходило и отъ другихъ причинъ: новые источники открывались внѣ архива, въ другихъ книгохранилищахъ, именно въ патріаршей библіотекѣ и въ библіотекѣ синодальной типографіи, а доступъ въ ту и другую былъ довольно затруднителенъ. Въ первой изъ этихъ библіотекъ еще можно было получить коекакія справки; а въ библіотекѣ типографской Малиновскій, хотя

[1] Не больше пониманія показалъ онъ въ своихъ сужденіяхъ о «Древнихъ россійскихъ стихотвореніяхъ», т.-е. былинахъ Кирши Данилова, которыми интересовался Румянцовъ. Малиновскому онѣ казались нестоющими вниманія по ихъ «нелѣпостямъ и анахронизмамъ». См. Кочубинскаго, стр. 94.

самъ человѣкъ оффиціальный, притомъ дѣйствовавшій по порученію канцлера, встрѣтилъ весьма холодный пріемъ:—здѣсь хозяйничалъ Леонтій Магницкій, отецъ извѣстнаго обскуранта; Между тѣмъ матеріалъ накоплялся все болѣе: четыре фоліанта наполнены были государственными грамотами; съ пятаго должно было начаться печатаніе договоровъ, но продолженіе уже не состоялось за смертію канцлера.

Рядомъ съ исполненіемъ этого перваго плана, интересъ Румянцова къ памятникамъ старой письменности все болѣе разростался, и мало-по-малу расширяется кружокъ людей, которые стали исполнителями его новыхъ изданій. Черезъ Малиновскаго, который самъ былъ больше чиновникъ, нежели ученый, хотя также не былъ лишенъ нѣкотораго опыта, Румянцовъ узнавалъ новыя молодыя силы, для которыхъ находилъ работу и которыя впослѣдствіи стали большими именами въ исторіи русской науки: одинъ изъ нихъ былъ Строевъ, впослѣдствіи извѣстный исполнитель археографическаго путешествія и одинъ изъ первыхъ дѣятелей археографической комиссіи, съ которой начинается широкое и систематическое изданіе источниковъ древней русской исторіи—лѣтописей и актовъ; другой былъ Калайдовичъ, тогда еще молодой дѣятель съ задатками большого ученаго (1792—1832), не успѣвшій, за невзгодами своей личной жизни, совершить того, на что былъ способенъ по своему дарованію. На первый разъ Строевъ и Калайдовичъ совершаютъ, по порученію Румянцова, поѣздку по монастырямъ московской епархіи въ поискахъ за рукописями: однимъ изъ результатовъ этой археографической экскурсіи было открытіе Строевымъ древней «Похвалы» князю Владиміру, но еще важнѣе было открытіе знаменитаго Святославова Сборника 1073 года, найденнаго Калайдовичемъ въ Новомъ Іерусалимѣ, въ монастырѣ патріарха Никона. Это путешествіе, по распоряженію Малиновскаго, поручено было главнымъ образомъ Строеву, котораго Калайдовичъ сопровождалъ только «изъ любопытства»: на дѣлѣ, истиннымъ знатокомъ былъ Калайдовичъ. Первое извѣщеніе объ открытіи доставилъ Румянцову Малиновскій въ неопредѣленныхъ выраженіяхъ, такъ что неясно было, кому собственно принадлежало открытіе; но Калайдовичъ, въ собственномъ донесеніи Румянцову (которое долженъ былъ переслать Малиновскій), указалъ прямо, что открытіе принадлежитъ ему. Въ этомъ, какъ и въ другихъ случаяхъ, Калайдовичъ обнаруживалъ самостоятель-

ность, которая свидѣтельствовала о сознаніи своей силы. Румянцовъ,—въ письмѣ къ Малиновскому,—былъ очень обрадованъ «прелюбопытнымъ свѣдѣніемъ» о найденномъ «древнемъ манускриптѣ» и рѣшилъ тотчасъ издать его вполнѣ, въ такомъ же фоліантѣ, какъ самая рукопись, и съ рисунками. Изданіе долженъ былъ взять на себя Малиновскій, «употребя на то подъ руководствомъ вашимъ г. Калайдовича»: въ дѣйствительности, въ подобномъ трудѣ руководствовать долженъ былъ Калайдовичъ, а не наоборотъ,—впослѣдствіи Румянцовъ самъ это увидѣлъ и высоко цѣнилъ изслѣдованія Калайдовича. Что касается послѣдняго, онъ считалъ вопросъ объ открытіи своимъ собственнымъ дѣломъ. Вскорѣ Румянцовъ съ нѣкоторымъ ужасомъ услышалъ, что готовится въ «Трудахъ» московскаго историческаго общества изданіе только-что найденной Строевымъ «Похвалы кагану Владиміру» и затѣмъ подробное описаніе открытаго Калайдовичемъ Святославова Сборника. Первое хотѣлъ сдѣлать предсѣдатель общества, Бекетовъ, узнавшій, какимъ-то образомъ о вновь открытомъ памятникѣ (Строевъ въ письмѣ къ Малиновскому негодовалъ на готовящееся предвосхищеніе его открытія); второе хотѣлъ доставить самъ Калайдовичъ, давно уже находившійся въ сношеніяхъ съ Историческимъ обществомъ. Румянцовъ, при первомъ извѣстіи, такъ высказывалъ свое огорченіе: «Вы,—пишетъ онъ Малиновскому,—меня премного одолжить изволите, ежели отклоните П. П. Бекетова отъ намѣренія требовать Похвалу кагану... Чего желаетъ онъ, чего желаю я? Сдѣлать сіе сочиненіе печатію извѣстнымъ. А есть ли въ томъ какая справедливость, чтобы у меня, такъ сказать, изъ рукъ вырвали, не допуская до исполненія того, что я въ благой своей мысли и на пользу общую неутомимымъ трудамъ и нѣкоторою издержкою собирать буду? Я долго таилъ найденныя рѣдкости г. Калайдовичемъ, но недавно и именно въ томъ опасеніи, что онъ тѣ же извѣстія самъ передастъ своимъ знакомымъ, поставилъ себѣ въ долгъ дать знать о Сборникѣ преосв. Евгенію, Н. М. Карамзину и г. Кругу».

Въ данномъ случаѣ Румянцевъ былъ отчасти правъ: поѣздка была совершена по его инціативѣ, и сами молодые ученые признали открытіе его заслугой. Бекетовъ впослѣдствіи сгладилъ недоразумѣніе, обратившись къ самому Румянцову за разрѣшеніемъ изданія памятника, найденнаго Строевымъ. Иначе дѣло стояло съ Калайдовичемъ. О немъ самъ Малиновскій говорилъ,

что онъ поѣхалъ при Строевѣ только «изъ любопытства»; слѣдовательно его трудъ не былъ оффиціальнымъ, и свою находку въ ученомъ смыслѣ онъ имѣлъ полное право считать своею собственностью. Онъ такъ и счелъ ее, когда намѣревался помѣстить описаніе Святославова Сборника въ изданіи Историческаго общества. При томъ, самое это описаніе составляло его личный ученый трудъ. Повидимому, Румянцовъ подъ конецъ понялъ это; потребовавши, чтобы Малиновскій и Строевъ не сообщали никому о результатѣ новыхъ поисковъ, которые производились въ монастырѣ Саввы Сторожевскаго, онъ прибавляетъ въ томъ же письмѣ къ Малиновскому: «вы меня премного одолжить изволите, ежели г. Строеву и Калайдовичу скажете отъ меня, что я очень охотно готовъ платить за ихъ трудъ то воздаяніе, которое они отъ г. Бекетова получаютъ, т. е. по 20 р. за листъ, и притомъ себя обязаннымъ почту».

Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ для Румянцова былъ не совсѣмъ ясенъ вопросъ о томъ, что ученые труды, предпринимавшіеся по его порученіямъ, не могутъ считаться оффиціальной или обязательной работой по службѣ въ архивѣ, что поэтому авторъ имѣетъ право распорядиться своимъ трудомъ по своему усмотрѣнію или долженъ быть обезпеченъ гонораромъ. Сколько можно судить по имѣющимся фактамъ, Румянцевъ былъ нѣсколько скупъ въ этомъ послѣднемъ отношеніи, вѣроятно по общему тогдашнему представленію, мало цѣнившему литературный и особливо ученый трудъ, когда этотъ ученый трудъ былъ очень рѣдокъ или составлялъ исполненіе оффиціальной должности профессорской или академической, или былъ дѣломъ чистаго дилеттантства. Притомъ Калайдовичъ былъ человѣкъ характера независимаго: въ то время какъ Строевъ отличался искательностью, Калайдовичъ, по его словамъ, «какъ человѣкъ самолюбивый, держался самостоятельности». Малиновскій поэтому не очень любилъ Калайдовича: ему не нравилось, чтобы архивскіе чиновники мимо него сносились съ Карамзинымъ, а Калайдовичъ еще юношей, бывалъ полезенъ Карамзину своими указаніями.

Непріятное чувство, причиненное Румянцову этой «самостоятельностью» Калайдовича, считавшаго свои труды своими, не помѣшало, однако, престарѣлому любителю старины горячо интересоваться дальнѣйшими работами Калайловича, въ котором Румянцовъ умѣлъ понять замѣчательнаго ученаго. Вскорѣ

Румянцовъ дѣлается издателемъ труда, который составилъ прочную славу молодого послѣдователя; Калайдовичъ открылъ труды писателя X-го вѣка—Іоанна, экзарха болгарскаго. Святославовъ Сборникъ отступилъ на второй планъ, и Румянцовъ начинаетъ торопить Калайдовича съ изданіемъ его «замѣчаній на древній манускриптъ», т. е. «на Іоанна Экзарха». Дѣло, конечно, не могло идти такъ быстро, и прошло два, три года, пока окончено было знаменитое съ тѣхъ поръ изслѣдованіе Калайдовича, которое было однимъ изъ первыхъ завоеваній науки въ темной области старославянской письменности IX-X-го вѣка. Между тѣмъ у Калайдовича готово было новое замѣчательное открытіе: онъ собралъ и скоро издалъ, съ помощью Румянцова, цѣлый рядъ сочиненій русскаго проповѣдника XII-го вѣка, Кирилла Туровскаго. Наконецъ, былъ конченъ и «Экзархъ». Въ январѣ 1823 года, въ рукахъ Румянцова были первые печатные листы этой книги, и онъ писалъ Малиновскому: «Насколько порадованъ присылкою трехъ уже отпечатанныхъ листовъ изслѣдованія о Іоаннѣ экзархѣ, не въ силахъ сіе изобразить. Содержаніе присланныхъ листовъ мнѣ давно уже было извѣстно, но я при прочтеніи восхищался, какъ новымъ, неожиданнымъ появленіемъ. Сей трудъ увѣковѣчитъ имя г. Калайдовича. Я также непремѣнно желаю. чтобы гербъ мой (на заглавномъ листѣ) ручался за то пламенное желаніе, которое я имѣлъ довести до свѣдѣнія ученыхъ сіе важное сочиненіе». По выходѣ въ свѣтъ, трудъ Калайдовича встрѣтилъ весьма различную оцѣнку. Румянцовъ поспѣшилъ отправить первые экземпляры митрополиту Евгенію въ Кіевъ, къ Добровскому въ Прагу; Калайдовичъ съ своей стороны посылаетъ экземпляры Шишкову въ Россійскую Академію, Карамзину, Востокову и Кёппену. Добровскій, по неожиданности новыхъ данныхъ и соображеній нашего ученаго, отнесся къ труду Калайдовича съ большимъ недовѣріемъ: ему казались сомнительными эти слишкомъ опредѣленныя свидѣтельства рукописи объ отдаленнѣйшей старинѣ славянской письменности; онъ утверждалъ, что во время царя болгарскаго Симеона не было никакого экзарха Іоанна и т. п., но нѣкоторыя подробности казались ему драгоцѣнны. Копитаръ, слѣдуя Добровскому, также относился скептически къ «Экзарху». Имъ вторилъ отчасти и домашній скептикъ, Каченовскій. Шишковъ, не понявъ, конечно, о чемъ шло дѣло въ изслѣдованіи Калайдовича, счелъ, впрочемъ, долгомъ ободрить его «похвальныя упражненія» серебряною медалью. Но нашлась

и дѣйствительная оцѣнка со стороны человѣка скромнаго, но который въ данномъ вопросѣ былъ самымъ компетентнымъ судьею. Это былъ Востоковъ. Въ письмѣ къ Калайдовичу онъ говоритъ, что съ жадностью прочиталъ его книгу, которою придется ему не однажды руководствоваться; въ приложеніяхъ къ книгѣ онъ нашелъ «богатую сокровищницу» древняго славяно-болгарскаго языка. Съ величайшимъ сочувствіемъ встрѣтилъ книгу Калайдовича Полевой въ «Московскомъ Телеграфѣ»: самъ онъ не былъ ученымъ, но умѣлъ понять всю важность новыхъ изслѣдованій. Впослѣдствіи, когда къ тому же періоду древне-славянской письменности приступилъ къ своимъ изысканіямъ Шафарикъ, трудъ Калайдовича былъ для него—«огонекъ, впервые засвѣтившійся въ темной какъ ночь области первыхъ памятниковъ славянскаго слова». Самъ Калайдовичъ хорошо видѣлъ и сознавалъ важность сдѣланныхъ открытій и изслѣдованій. Еще задолго до выхода въ свѣтъ его книги, онъ говорилъ о ней въ письмѣ къ Востокову, перечисляя памятники, которые должны были войти въ приложенія къ Экзарху: «Вотъ мои сокровища, едва имовѣрныя. Безпрерывно разсматривая ихъ, утѣшаюсь моимъ изслѣдованіемъ, далекимъ отъ совершенства, но которое, по многимъ, вновь открытымъ, свѣдѣніямъ, р а з о л ь е т ъ с в ѣ т ъ на древнѣйшую нашу литературу».

Не сохранился, а можетъ быть и вовсе не былъ данъ отзывъ митрополита Евгенія. Авторъ разбираемой книги вообще говоритъ о митрополитѣ Евгеніи какъ о человѣкѣ великой учености и проницательномъ критикѣ. Между тѣмъ нѣкоторые факты, приводимые самимъ Кочубинскимъ, не указываютъ этой проницательности. Остается неясно, почему именно, но митрополитъ Евгеній относился къ Калайдовичу крайне недружелюбно. Напримѣръ, по поводу «Памятниковъ XII-го вѣка» (гдѣ, какъ выше замѣчено, между прочимъ, изданы были творенія Кирилла Туровскаго), труда, во всякомъ случаѣ, чрезвычайно замѣчательнаго для своего времени, митрополитъ Евгеній выражается такъ: «я наскоро просмотрѣлъ; издатель часто догадками своими еще болѣе п о р т и л ъ (?); на стр. 222 изъ желанія противорѣчить мнѣ издатель даже солгалъ... Въ предисловіи также лгалъ онъ изъ охоты поправлять исторіографа (т.-е. Карамзина)... Хвастливость, догадливость и часто невѣрность сего любителя нашихъ древностей давно всѣмъ извѣстны. На досугѣ прочту внимательнѣе всю книгу, и, можетъ быть, что-нибудь замѣчу».

Въ письмѣ къ своему пріятелю Анастасевичу, онъ говоритъ о враньѣ Калайдовича, называетъ его «пьянымъ издателемъ». Относительно «Іоанна Экзарха» г. Кочубинскій замѣчаетъ: «Надо полагать, «Экзархъ» пришелся не по сердцу историку-археологу, всегда строго державшемуся буквы, всегда противнику предположеній. Онъ уже раньше упорно оспаривалъ значеніе открытій Калайдовича» (стр. 128). Но строго держаться «буквы», бояться предположеній—едва ли свидѣтельствуетъ объ особенной научной силѣ; въ такихъ положеніяхъ науки, въ какомъ былъ вопросъ о древне-славянской письменности во времена Калайдовича, требовалось именно видѣть дальше буквы, другими словами, стараться осмыслить и связать, на первый разъ хотя бы и съ помощью гипотезы, факты, переданные древностью; дальнѣйшее движеніе науки должно было провѣрить предположенія, подтвердить или устранить ихъ, но самая гипотеза бываетъ сильнымъ толчкомъ къ этому движенію науки и нерѣдко свидѣтельствуетъ о силѣ изслѣдователя. Такова была роль Калайдовича, и въ исторіи русской науки державшійся буквы Евгеній не сталъ выше Калайдовича.

Въ Петербургѣ былъ свой кружокъ людей, оказавшихъ не менѣе, если еще не болѣе важныя заслуги въ изученіи древней славянской и древней русской письменности и въ основаніи научныхъ связей между-славянскихъ. Это были Востоковъ, Ермолаевъ, Кёппенъ, частію Оленинъ. Они также въ большей или меньшей степени вошли въ кругъ сотрудниковъ и друзей Румянцова. Всего менѣе былъ извѣстенъ до сихъ поръ и наименѣе оставилъ плодовъ своей дѣятельности Ермолаевъ (1780—1828). Онъ былъ товарищемъ Востокова по обученію въ академіи художествъ, и какъ изъ Востокова вышелъ филологъ, такъ Ермолаевъ сдѣлался археологомъ и палеографомъ. Оленинъ, занимавшій важное служебное положеніе, долго управлялъ, кромѣ того, академіей художествъ и былъ директоромъ Публичной библіотеки. Императоръ Александръ называлъ Оленина Tausendkünstler, и дѣйствительно, хотя въ свое время онъ не произвелъ никакой крупной работы, ни научной, ни литературной [1]), но былъ многосторонне образованный любитель; и въ то время, когда научныя

---

[1]) Только долго спустя, въ наше время, Археологическое общество начало изданіе его археологическихъ изслѣдованій («Археологическіе труды А. Н. Оленина». Спб., 1877).

изслѣдованія русской старины находились еще въ младенческомъ состояніи, онъ успѣлъ пріобрѣсти славу знатока, потому что дѣйствительно имѣлъ свѣдѣнія и отличался критическимъ и художественнымъ чутьемъ. Въ своихъ литературныхъ вкусахъ Оленинъ былъ эклектикъ, жилъ мирно и съ Шишковымъ, и Карамзинымъ, но какъ человѣкъ просвѣщенный, конечно, склоненъ былъ больше не къ тяжеловѣсной и сомнительной премудрости президента Россійской Академіи, а къ болѣе живымъ направленіямъ литературы. Кружокъ, собиравшійся въ домѣ Оленина, былъ въ тѣ годы почти единственнымъ, гдѣ собирались представители настоящей литературы, отъ Карамзина до Пушкина. Ближайшими друзьями его были, какъ извѣстно, Крыловъ и Гнѣдичъ. Завѣдуя Публичной библіотекой, Оленинъ собралъ здѣсь и Крылова (хотя онъ былъ плохимъ библіотекаремъ) съ Гнѣдичемъ, и Востокова съ Ермолаевымъ; этимъ послѣднимъ поручены были славянскія рукописи. Въ то время и нельзя было сдѣлать лучшаго выбора. Оба библіотекаря ревностно занимались изученіемъ старыхъ рукописей и вскорѣ стали въ ряду лучшихъ знатоковъ дѣла. Въ настоящее время довольно трудно представить себѣ процессъ ихъ изученій. Школы не было никакой; высшее ученое учрежденіе, оффиціально посвященное «вычищенію и обогащенію россійскаго слова», блуждало въ такихъ дебряхъ, что людямъ здравомыслящимъ приходилось отъ него сторониться, какъ напримѣръ старательно дѣлалъ это Востоковъ. Ермолаевъ и Востоковъ были, такимъ образомъ, предоставлены только самимъ себѣ; путемъ внимательнаго изученія мало-по-малу пріобрѣтенъ былъ, однако, обширный опытъ, большая начитанность въ старыхъ памятникахъ и палеографическій навыкъ. Судомъ Ермолаева очень дорожили въ вопросахъ старой письменности; Востоковъ, молчаливо работавшій, чуждавшійся общества (онъ былъ страшный заика), мало извѣстный, почти вдругъ сталъ авторитетомъ, признаннымъ самыми глубокими знатоками того времени. Г. Кочубинскій предполагаетъ, что большую долю въ этомъ богатомъ результатѣ дѣятельности Востокова играло участіе Ермолаева; къ сожалѣнію, съ смертію Ермолаева, исчезъ всякій слѣдъ его собственныхъ трудовъ. По замѣчанію новѣйшаго изслѣдователя, Ермолаевъ былъ тотъ человѣкъ, которому принадлежали идеи Оленина по старой письменности; въ отзывахъ современниковъ слышится какъ будто упрекъ Оленину, скрывавшему труды Ермо-

лаева [1]). Дѣйствительно, по всей вѣроятности, Ермолаеву принадлежитъ тотъ планъ, который въ 1814 году предложилъ Оленинъ вмѣстѣ съ нимъ — планъ палеографическаго изданія русскихъ лѣтописей, буква въ букву, а не въ чтеніи, планъ встрѣтившій тогда осужденіе со стороны извѣстнаго московскаго профессора Тимковскаго и митрополита Евгенія. Впослѣдствіи, изданіе памятниковъ «въ чтеніи» долго держалось въ нашей археографической практикѣ; но, въ концѣ концовъ, все болѣе распространяется, даже черезъ-чуръ, именно пріемъ, предложенный нѣкогда Ермолаевымъ. Въ настоящее время мы имѣемъ изданіе двухъ главныхъ лѣтописей (Лаврентьевской и Ипатьевской) въ фотографическихъ снимкахъ, и въ изданіяхъ Общества любителей древней письменности (а также и Археографической коммиссіи) цѣлый рядъ памятниковъ въ литографическихъ копіяхъ.

Прибавимъ еще любопытную анекдотическую черту тогдашнихъ нравовъ. Митр. Евгеній прислалъ въ Московское Историческое общество снимокъ съ древней грамоты великаго князя Мстислава Владиміровича. Общество рѣшило издать грамоту въ гравированной копіи, что взялъ на себя Оленинъ. Дѣло затянулось на нѣсколько лѣтъ, и замедленіе объяснялось слѣдующимъ обстоятельствомъ.

«Болѣе трехъ лѣтъ длилась гравировка грамоты подъ присмотромъ Оленина, и, извиняясь предъ Евгеніемъ за медленность, 11 января 1816 г. Оленинъ пишетъ ему: «одинъ оставался мнѣ способъ — досужливость и талантъ извѣстнаго в. пр—ву А. И. Ермолаева. Но многія его казенныя заботы, лишняя, можетъ быть прилежность къ занятіямъ, поставили его въ невозможность исполнить то, что онъ самъ желалъ предпринять по приверженности его къ вамъ. Видя себя въ такихъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, я рѣшился на весьма *отважное дѣло* и положилъ

---

[1]) «Жалко, — пишетъ въ 30-мъ году Снегиревъ къ Анастасевичу, — что труды Ермолаева сгибли и пропали съ его кончиною. Дивлюсь политикѣ гг. Малиновскаго и Оленина, политикѣ, которая подъ спудомъ таитъ свѣтильники, коими могли бы они озарить мракъ отечественной древности». Кочубинскій, стр. 163, замѣчаетъ: «Глубокіе слѣды своего знанія Ермолаевъ оставилъ въ источникахъ исторіи русской науки, а высокій судъ о немъ современниковъ, его постоянное, хотя и «лѣнивое», незримое участіе въ развитіи науки того времени, утверждаютъ за нимъ почетное мѣсто въ лѣтописяхъ отечественной филологіи».

не выпускать изъ рукъ подлинника вашего, пока *собственный мой человѣкъ* не усовершенствуется подъ моимъ собственнымъ смотрѣніемъ въ томъ родѣ гравировки, которая къ порученному дѣлу необходимо мнѣ нужна была».

«Изданіе грамоты при помощи крѣпостного человѣка,—замѣчаетъ г. Кочубинскій,—было дѣйствительно прекрасное» [1]).

Не слѣдуетъ, впрочемъ, преувеличивать вліянія Ермолаева на труды его «болѣе удачнаго» (какъ выражается г. Кочубинскій) товарища, Востокова. Послѣдній могъ при его указаніяхъ расширить свое первое внѣшнее знакомство со старыми памятниками; но едва ли Ермолаеву можетъ принадлежать та строгая филологическая система, которую создалъ Востоковъ. Это было уже нѣчто иное, чѣмъ опытность въ палеографіи, и пріемы Востокова, во все продолженіе его трудовъ, оставались такъ однородны и строго выдержаны, что это былъ очевидно результатъ его собственной работы. Мы упоминали выше о знаменитомъ «Разсужденіи» (1820), гдѣ съ чрезвычайной, почти азбучной простотой указаны были особенности старо-славянскаго языка и вмѣстѣ его значеніе, какъ основы для исторіи славянскихъ нарѣчій. У насъ при тогдашнемъ младенчествѣ филологическихъ знаній долго оставался втуне глубокій смыслъ началъ, объясненныхъ въ «Разсужденіи»: въ полной мѣрѣ оно понятно было лишь позднѣе, съ сороковыхъ годовъ, когда стала установляться наша филологическая наука подъ новыми воздѣйствіями. Въ двадцатыхъ годахъ почувствовали, однако, инстинктивно, что если кому нибудь принадлежитъ рѣшеніе въ вопросахъ древне-славянскаго языка, то именно Востокову. Въ это время сблизился съ нимъ и Румянцовъ. Имѣлся въ виду рядъ обширныхъ предпріятій. Востокову Румянцовъ хотѣлъ передать изданіе «Святославова Сборника»; предполагая въ Москвѣ описаніе рукописей синодальной библіотеки, которое уже началъ исполнять Калайдовичъ, въ Петербургѣ Румянцовъ поручилъ Востокову описаніе своего собственнаго рукописнаго собранія. Много лѣтъ спустя вышло въ свѣтъ это знаменитое «Описаніе русскихъ и словенскихъ рукописей Румянцовскаго Музеума» (Спб. 1842), которое, при тогдашнемъ, еще маломъ, развитіи рукописныхъ изученій, надолго стало источникомъ свѣдѣній о старой письменности и было у насъ первымъ образцомъ каталоговъ, соединенныхъ съ изслѣдованіемъ.

[1]) Стр. 159—160.

Мы упомянули выше о нѣкоторыхъ работахъ Востокова, двадцатыхъ годовъ, какъ напр. чтеніе и объясненіе Фрейзингенскихъ отрывковъ, который наконецъ обратили даже Копитара изъ недружелюбнаго критика въ искренняго, безъ сомнѣнія, почитателя нашего ученаго. Не будемъ говорить о позднѣйшихъ трудахъ Востокова, какъ изданіе «Остромирова Евангелія», какъ его грамматика и словарь старо-славянскаго языка: они принадлежатъ другому времени; но теперь, къ сожалѣнію, Востоковъ отвлеченъ былъ обстоятельствами отъ тѣхъ работъ, которыя должны бы стать его исключительнымъ трудомъ. По смерти Румянцова, личныя обстоятельства Востокова измѣнились къ худшему. Г. Кочубинскій считаетъ послѣдующіе годы дѣятельности Востокова временемъ упадка, когда вмѣсто того, чтобы работать надъ исторіей старо-славянскаго языка по памятникамъ (что онъ уже ставилъ себѣ задачей), онъ долженъ былъ брать на себя работы, которыя были ниже его знанія.

Дѣло началось, впрочемъ, еще раньше. Въ 1822 году Калайдовичъ предложилъ Малиновскому рекомендовать Румянцову «кандидата Погодина», изъявлявшаго готовность перевести на русскій языкъ вышедшую передъ тѣмъ старо-славянскую грамматику Добровскаго [1]. Эта знаменитая книга была давнимъ трудомъ Добровскаго, но вышла въ свѣтъ послѣ «Разсужденія» Востокова, которое подрывало, между тѣмъ, самыя ея основанія. Востоковъ, разумѣется, ничего не зналъ о готовившемся трудѣ Добровскаго, и послѣдній уже долго спустя прочиталъ статью Востокова, и, прочитавши, съумѣлъ понять, какъ недостаточна оказывалась его собственная теорія старо-славянскаго языка, и считалъ необходимымъ исправить ее. Но въ Россіи уже задумали переводъ этой книги, видимо безъ всякаго яснаго понятія о положеніи научнаго вопроса. Самъ Румянцовъ усомнился въ переданномъ ему предложеніи Калайдовича-Погодина и отвѣчалъ Малиновскому уклончиво, что грамматика Добровскаго — такое великое сочиненіе, что «нельзя тому статься», чтобы переводъ его не былъ порученъ Россійской Академіей кому-нибудь изъ ея членовъ, и что этотъ переводъ не можетъ быть «принадлежностію первыхъ опытовъ какого-либо таланта». Дѣло это, однако, не остановилось. Весной 1822 г. Румянцовъ, получивши экземпляръ книги Добровскаго, послалъ его въ митр. Евгенію, отъ

[1]) Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, 1821.

котораго получилъ отвѣтъ, что книгу стоило бы перевести на русскій языкъ; въ этомъ они оба еще больше убѣдились, когда получили разборъ (или «разложеніе», какъ выражался Румянцовъ) книги Добровскаго, написанный Копитаромъ. У Румянцова была мысль поручить этотъ переводъ Востокову; но послѣдній видимо уклонялся отъ этой работы. Онъ познакомился съ «Институціями» по экземпляру, присланному Добровскимъ Шишкову, и въ маѣ 1822 писалъ Румянцову, что въ книгѣ есть «множество превосходныхъ вещей», но такъ какъ Добровскій не могъ пользоваться многими матеріалами, находящимися въ Россіи, то и не могъ всего опредѣлить удовлетворительнымъ образомъ, и будущему автору славянской грамматики, живущему въ Россіи, предстоитъ, съ помощью этихъ драгоцѣнныхъ русскихъ памятниковъ, «пополнить, объяснить и поправить многія недостаточныя, сомнительныя или ошибочныя мѣста въ грамматикѣ Добровскаго». Въ началѣ слѣдующаго года Востоковъ получаетъ вопросъ отъ Калайдовича, не предпринимается ли переводъ «Институцій» при Россійской Академіи? Востоковъ отвѣтилъ, что Академія не предпринимаетъ перевода и что изъ членовъ ея никто на это «самъ не вызывается», и, понимая цѣль вопроса, Востоковъ прибавлялъ дальше, что не взялся бы быть простымъ переводчикомъ сочиненія, которое требовало бы многихъ поправокъ, дополненій и сокращеній; что самъ онъ имѣетъ въ виду составить собственную грамматику, въ которой воспользовался бы всѣми открытіями Добровскаго; наконецъ, что былъ бы радъ, если бы кто иной, и именно Калайдовичъ, перевелъ книгу Добровскаго съ своими дополненіями, — «можетъ быть, мнѣ послѣ васъ не осталось бы уже никакого дѣла надъ поясненіемъ грамматики словенской: съ радостью уступилъ бы я вамъ пальму по сей части».

Калайдовичъ не думалъ, однако, браться самъ за подобную задачу и продолжалъ, непонятнымъ образомъ, думать, что она можетъ быть исполнена Погодинымъ. На этотъ разъ дѣло было отсрочено ради другого предпріятія.

Румянцовъ не забылъ рекомендацій, какія дѣлали Погодину Калайдовичъ и Малиновскій, и чтобы поощрить его «сущую способность и особенную любовь къ славянскимъ древностямъ», въ 1824 поручалъ Малиновскому предложить именно Погодину, который «ищетъ содѣлать себя извѣстнымъ», переводъ вышедшей тогда новой книги Добровскаго: «Кириллъ и Меѳодій». Г. Кочу-

бинскій подобралъ извѣстія объ этомъ и другомъ переводномъ трудѣ Погодина, извѣстія, которыя нужно бы, между прочимъ, принять къ свѣдѣнію новѣйшему біографу Погодина.

«Погодинъ, — разсказываетъ г. Кочубинскій, — поспѣшилъ принять вызовъ, впрочемъ поторговавшись напередъ, и дѣйствительно «содѣлалъ себя извѣстнымъ», но въ иную сторону.

«Когда работа «столь отличнаго переводчика» — какъ назвалъ Погодина канцлеръ (несомнѣнно не читавшій перевода) въ письмѣ къ Малиновскому, — была прислана на просмотръ къ Востокову для сличенія съ подлинникомъ, Востоковъ могъ только пожалѣть о трудѣ не подъ силу. «Съ сожалѣніемъ долженъ я донести вашему сіятельству, — писалъ скромный Востоковъ (Румянцову), — что переводчикъ весьма слабъ въ нѣмецкомъ языкѣ. Изъ поправокъ вы усмотрѣть изволите, что онъ нѣкоторыя мѣста понялъ совсѣмъ превратно»...

«Но урокъ не пошелъ въ прокъ, а только раззадорилъ» [1]).

Румянцовъ, чтобъ не оскорбить Погодина, сообщилъ отзывъ Востокова одному Малиновскому и просилъ, чтобы переводъ просмотрѣлъ кто-нибудь изъ «хорошихъ нѣмецкихъ литераторовъ въ Москвѣ». Въ 1825 году вышелъ переводъ «Кирилла и Меѳодія», гдѣ лучшія страницы, приложенія, принадлежатъ Востокову.

Въ слѣдующемъ году готовъ былъ у Погодина, вмѣстѣ съ Шевыревымъ, переводъ латинскихъ «Институцій» Добровскаго. Самъ Погодинъ разсказываетъ объ этомъ такъ: «Великимъ постомъ 1826 года я уговорилъ Шевырева приняться сообща за переводъ съ латинскаго знаменитой грамматики Добровскаго. Планъ мой былъ — запереться на страстную и святую недѣли въ своихъ комнатахъ и перевести грамматику *однимъ духомъ*. Намѣреніе безразсудное (?). Но Шевыревъ согласился; мы заперлись, и на Ѳоминой недѣлѣ вся грамматика, состоящая изъ 900 стр., была у насъ готова... Признаюсь, взглядъ на эту груду мелко исписанной бумаги, взглядъ на эту крѣпость, взятую нами приступомъ, доставилъ намъ сладкое удовольствіе, за которое мы поплатились тогда же двумя обмороками».

«Но, — замѣчаетъ г. Кочубинскій, — не сладкое удовольствіе могъ доставить этотъ геройскій подвигъ тому, кто уже вначалѣ

---

[1]) Кочубинскій, стр. 184 и д.

осудилъ всякую мысль о нехитромъ трудѣ механическаго перевода, и кто тѣмъ не менѣе былъ втянутъ въ дѣло».—Это былъ опять Востоковъ.

За смертью Румянцова, надо было искать другого издателя этой груды исписанной бумаги, и Погодинъ съумѣлъ найти его въ министерствѣ просвѣщенія. Въ 1829, онъ счелъ нужнымъ до печати пересмотрѣть свою работу и извѣщаетъ Шевырева, жившаго тогда за границей: «я сижу надъ исправленіемъ славянской грамматики—это не такъ легко, какъ я думалъ». «Можно себѣ представить,—замѣчаетъ г. Кочубинскій,—каковъ былъ первоначальный переводъ однимъ духомъ». Наконецъ Погодинъ упросилъ Востокова—«принять на себя прочтеніе послѣдней корректуры», другими словами, взять на себя окончательное исправленіе перевода. «Уступчивый до слабости» Востоковъ согласился, т. е. согласился дать свою санкцію книгѣ, о которой давно рѣшилъ, что появленіе ея безъ поправокъ, дополненій и сокращеній не имѣетъ смысла; прежде онъ думалъ даже, что переводъ совсѣмъ не нуженъ—книга написана для ученыхъ, которые должны разумѣть по-латыни.

Участіе Востокова въ этомъ дѣлѣ г. Кочубинскій признаетъ прискорбнымъ фактомъ въ дѣятельности Востокова, слѣдствіемъ слабости характера: онъ самъ «налагалъ на себя руки». Это было и прискорбнымъ фактомъ для русской науки. «Книга издана отъ министерства, стала канономъ науки; и сама по себѣ, и въ своемъ раннемъ, тощемъ видѣ, какъ учебникъ Пенинскаго, она на цѣлыя десятилѣтія, почти до самой смерти Востокова, затормозила въ русской школѣ благое дѣйствіе благихъ научныхъ мыслей великаго нащего учителя о славянскомъ и отечественномъ языкахъ, въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ... Таковъ былъ результатъ подвига Погодина—однимъ духомъ» [1]).

Мы не станемъ защищать дѣянія Погодина, но авторъ преувеличиваетъ ихъ зловредность. Въ концѣ концовъ ничто не мѣшало бы Востокову, если бы онъ былъ задержанъ отъ подробной выработки своей старо-славянской грамматики, изложить ея главнѣйшія основанія и собрать тѣ поправки и дополненія, какія онъ считалъ нужными къ труду Добровскаго. Если наши старославянскія изученія задержались такъ долго, виною этого были вѣроятно и другія причины, а не одни личныя затрудненія Во-

---

[1]) Тамъ же, стр. 187.

стокова: напримѣръ, этою виною была вообще неразвитость всего филологическаго интереса. Въ самомъ дѣлѣ, съ двадцатыхъ годовъ и до средины или конца сороковыхъ, Востоковъ не находитъ себѣ помощника и продолжателя; изученіе старой письменности въ ея источникахъ было крайне ограниченно; мы упоминали, напримѣръ, какъ долго его «Описаніе Румянцовскаго Музеума» оставалось для самихъ ученыхъ источникомъ цитатъ, которыми они довольствовались, не заглядывая въ самыя рукописи. Послѣ Востокова являются, далѣе, «Филологическія наблюденія» Павскаго, произведшія въ свое время впечатлѣніе, исполненныя съ большимъ умомъ, но чуждыя историческаго взгляда. Настоящая филологическая школа возрождается уже только тогда, когда началось первое непосредственное изученіе славянскихъ нарѣчій съ учрежденіемъ славянскихъ каѳедръ въ университетахъ и знакомство съ успѣхами нѣмецкой филологіи; словомъ, когда поднялись общіе научные интересы въ этомъ направленіи. Въ это время въ первый разъ понято было вполнѣ и научное значеніе старыхъ начинаній Востокова. Впрочемъ его чувствовали и раньше, и, напримѣръ, будущимъ славистамъ (какъ Прейсъ) до путешествія въ славянскія земли рекомендовалось пройти филологическую школу у Востокова.

Другимъ отклоненіемъ Востокова отъ его настоящей дороги г. Кочубинскій считаетъ его вынужденную работу надъ составленіемъ учебника русской грамматики. Эта исторія также очень характерно рисуетъ судьбу русской науки. Въ 1819 году Россійская Академія сдѣлала третье изданіе своей грамматики: «поновленіе Смотрицкаго и Ломоносова, съ отступленіями, но не въ пользу, предметъ раннихъ насмѣшекъ Копитара, далекая отъ науки при самомъ рожденіи въ 1802 г., теперь академическая грамматика была анахронизмомъ» [1]). Можно въ самомъ дѣлѣ представить себѣ, какую грамматику и какого русскаго языка могло составить или одобрить сонмище защитниковъ «стараго слога», сановныхъ лицъ и іерарховъ и ихъ подручныхъ, неповинныхъ въ филологической наукѣ и не признававшихъ цѣлой литературы, которая вся начинала говорить «новымъ слогомъ». При третьемъ изданіи (первое было сдѣлано въ 1802 г.) анахронизмъ, наконецъ, бросился въ глаза, и грамматика Россійской Академіи подверглась нападенію. Напалъ на нее, впрочемъ,

---

1) Тамъ же, стр. 189.

опять не ученый, а просто практическій преподаватель, который былъ вмѣстѣ и довольно бойкій журналистъ—Гречъ. Онъ былъ тогда авторомъ «Опыта русскаго спряженія», встрѣтившаго одобреніе Добровскаго, и готовился стать тѣмъ спеціальнымъ грамотѣемъ, какимъ въ извѣстныхъ кругахъ онъ слылъ потомъ нѣсколько десятковъ лѣтъ. Въ своемъ отзывѣ Гречъ говорилъ, что академическая грамматика, въ ея третьемъ изданіи, совсѣмъ ненужная и отсталая книга. «Неужели въ 17 лѣтъ,—писалъ онъ между прочимъ,—русскій языкъ ни въ теоріи своей, ни въ практикѣ, не сдѣлалъ ни малѣйшаго шага? Или полагаютъ, что 1-е изданіе было non plus ultra совершенства?» Довольно забавно, какъ отнеслась Академія къ критикѣ Греча: въ его замѣчаніяхъ она увидѣла только «хулы, брани, укоризны, насмѣшки и восклицанія» и рѣшила, что поступокъ Греча подлежитъ не суду Академіи, но суду правительства! Соотвѣтственно этому Академія обратилась съ жалобой къ министру народнаго просвѣщенія, но къ ея огорченію тогдашній министръ князь Голицынъ не нашелъ въ статьѣ Греча преступленія противъ общественной безопасности и въ преслѣдованіи отказалъ. Тогда Академія постановила: «журналиста Греча въ Академію не приглашать и ежели кѣмъ изъ членовъ приглашенъ будетъ, то не впускать», и, разумѣется, сдѣлала себя еще лишній разъ смѣшною; но дни академической грамматики были сочтены. Наступило новое царствованіе, и въ маѣ 1826 года, при министрѣ просвѣщенія, которымъ сдѣлался передъ тѣмъ Шишковъ, образованъ былъ особый комитетъ для болѣе правильнаго устройства учебныхъ заведеній, для введенія «должнаго и необходимаго единообразія», и въ томъ числѣ для опредѣленія учебныхъ курсовъ и составленія необходимыхъ руководствъ. Въ комитетъ вошло по обычаю нѣсколько высокопоставленныхъ лицъ, между прочимъ совсѣмъ чуждыхъ дѣлу русской школы и литературы, но также нѣсколько профессоровъ и, наконецъ, нѣсколько членовъ Россійской Академіи. Комитету уже на первыхъ порахъ пришлось рѣшать мудреное дѣло: тотъ самый Гречъ, который нѣкогда такъ разобидѣлъ Россійскую Академію, представилъ въ комитетъ свое руководство русской грамматики для гимназій и первые листы «Полной грамматики русскаго языка»—«плоды многолѣтнихъ трудовъ своихъ по грамматикѣ», которымъ Гречъ искалъ одобренія комитета. Шишковъ былъ вѣроятно возмущенъ этою наглостью, но вопросъ надо было разбирать по су-

ществу, и въ особой усиленной комиссіи, съ новыми членами изъ Россійской Академіи, Гречъ долженъ былъ прочитывать свою работу. Судя по нѣкоторымъ подробностямъ, вѣроятно правдиво переданнымъ въ запискѣ Греча объ этомъ дѣлѣ, это засѣданіе произошло довольно безобразно. Члены Россійской Академіи (Соколовъ и Толмачевъ) напали на Греча съ ожесточеніемъ, но и съ невѣжествомъ въ грамматикѣ, прерывали чтеніе нелѣпыми выходками и вообще дѣлали правильный разборъ дѣла невозможнымъ. Гречъ просилъ, наконецъ, чтобы къ разсмотрѣнію его труда былъ приглашенъ Востоковъ. До сихъ поръ Востокова не было въ этомъ комитетѣ. Это устраненіе его отъ участія въ дѣлѣ, гдѣ именно требовалось то знаніе, какимъ Востоковъ безконечно превышалъ всѣхъ членовъ Россійской Академіи, взятыхъ гуртомъ, указываетъ опять, какимъ скуднымъ пониманіемъ въ предметѣ, который считала своей спеціальностью, обладала группа людей, правившая тогда «народнымъ просвѣщеніемъ». Г. Кочубинскій справедливо видитъ въ этомъ устраненіи Востокова отголосокъ его старыхъ неладныхъ отношеній съ Россійской Академіей. Востокова пригласили, наконецъ, по чужому указанію и по необходимости—вѣроятно комиссія почувствовала неспособность своихъ наличныхъ членовъ разобраться съ вопросомъ, который задалъ ей Гречъ. Востоковъ представилъ свои замѣчанія, и они были таковы, что по мнѣнію комитета ими совсѣмъ опровергалась система Греча; послѣдній соглашался на всѣ перемѣны, но ему отвѣтили, что по множеству доставленныхъ Востоковымъ замѣчаній руководства Греча «сдѣлались болѣе трудомъ комитета, нежели его собственнымъ». Неловкость этого отвѣта какъ будто значила, что комитетъ хотѣлъ воспользоваться трудомъ Греча; послѣдній не безъ хлопотъ добился возвращенія своихъ рукописей. Кончилось тѣмъ, что, отвергнувъ «плоды» Греча, комитетъ поручилъ составленіе школьной грамматики Востокову, давши ему отъ себя руководящія начала. Работа, составлявшая «казенное порученіе», повидимому тяготила Востокова, и г. Кочубинскій оплакиваетъ это отклоненіе Востокова отъ его настоящаго пути; но опять, кажется намъ, преувеличиваетъ эту бѣду. Комитетъ на этотъ разъ поступилъ правильно, признавъ въ Востоковѣ наиболѣе компетентнаго судью въ этомъ предметѣ; довольно правы были и пріятели Востокова, которые, радуясь этому порученію, находили, что «честь и слава быть всего русскаго

юношества и для иностранцевъ классическимъ авторомъ есть довольная награда»; работа была во всякомъ случаѣ параллельна съ собственными изслѣдованiями Востокова. Если самъ онъ слишкомъ близко послѣдовалъ школьному шаблону, это было уже его собственное дѣло—или влiянiе господствующаго дидактическаго обычая.

Къ кружку Румянцова въ Петербургѣ принадлежали, наконецъ, еще два лица. Объ одномъ мы уже говорили: это былъ Кёппенъ, первый завязавшiй правильныя сношенiя съ западнославянскими учеными и издававшiй замѣчательный ученый журналъ «Библiографическiе Листы». Другой былъ протоiерей Григоровичъ, получившiй свое ученое образованiе при пособiи Румянцова, его преданный сотрудникъ, составитель «Бѣлорусскаго Архива» и впослѣдствiи членъ Археографической коммиссiи.

Третью главу своей книги авторъ озаглавилъ не совсѣмъ яснымъ терминомъ: «Нацiонализацiя жизни». Собственно говоря, рѣчь идетъ о той невольной замкнутости, которая происходила тогда отъ физической трудности сношенiй. Въ самомъ дѣлѣ, это простое обстоятельство: трудность путешествiй при первобытныхъ способахъ передвиженiя, трудность самой переписки и особливо какой-нибудь крупной посылки съ книгами,—оказывало самое существенное влiянiе на ходъ литературы и образованiя. Простая невозможность близкихъ сношенiй была однимъ изъ самыхъ серьезныхъ препятствiй и къ между-славянскимъ сношенiямъ, и не только для насъ съ югомъ и съ западомъ, но и напримѣръ у самихъ австрiйскихъ славянъ между собою.

«Замкнутость жизни,—говоритъ авторъ,—отношенiй, слабость общенiя, какъ народовъ между собою, такъ и отдѣльныхъ лицъ, были общимъ явленiемъ того времени. Правда, эпоха каравановъ отошла въ исторiю, и караванъ смѣнился болѣе совершенными средствами общенiя людей; но человѣкъ еще не всегда былъ воленъ высвободиться изъ-подъ нормирующей его духовные интересы власти «прихода».

«Если переѣздъ въ недалекiй городъ составлялъ вопросъ, предметъ тревогъ и опасенiй (наши старики любятъ объ этомъ со сластью вспоминать), то переѣздъ за рубежъ, слѣдовательно, каждый разъ per immensa spatia—уже цѣлое грандiозное событiе жизни, перепадавшее на долю немногимъ избраннымъ судьбы».

Добровскій съ восторгомъ вспоминаетъ о своемъ путешествіи въ Россію, которое совершилось только случайно, благодаря его близкимъ отношеніямъ къ семьѣ графовъ Ностицовъ. Для Копитара такимъ важнымъ событіемъ была поѣздка въ Парижъ. Первый съ трудомъ получаетъ какую-нибудь книгу, вышедшую въ той же Австріи; второму нужны были большія хлопоты, чтобы познакомиться съ любопытной для него рукописью, находившеюся не дальше какъ въ Мюнхенѣ,—и онъ уже разсказываетъ, что его пріятель, сербскій архимандритъ въ Венгріи, въ теченіе пяти лѣтъ тщетно хлопоталъ о томъ, чтобы получить изъ Вѣны польскую грамматику. Для подобныхъ вещей требовался особенный случай, оказія, услужливость какого-нибудь путешественника. Пересылка по почтѣ была страшно дорога. Такъ Добровскій жалуется, что, получивъ изъ Парижа небольшую брошюру, онъ долженъ былъ заплатить за посылку восемь металлическихъ гульденовъ—изъ маленькой пенсіи, которою онъ жилъ. «Да,—писалъ онъ къ Кёппену,—быть въ письменныхъ сношеніяхъ съ Россіей имѣетъ свои трудности», и самое письмо, гдѣ онъ говорилъ это, шло въ Кёппену годъ и четыре мѣсяца. Русская книга была для западно-славянскаго ученаго и писателя величайшею и притомъ дорогою рѣдкостью, книги выписывались обыкновенно черезъ посредниковъ (какъ, напримѣръ, нѣмецкіе книгопродавцы въ Лейпцигѣ),—что бывало, впрочемъ, и до весьма недавняго времени,—выписывались въ складчину и ходили послѣ по рукамъ. Понятно, какимъ событіемъ былъ въ этихъ условіяхъ пріѣздъ Кёппена въ Вѣну съ запасомъ русскихъ книгъ. «Какъ голодный,—замѣчаетъ г. Кочубинскій,—Копитаръ пожиралъ привезенные снимки, русскія книги legi, vidi pleraque, пишетъ онъ съ торжествомъ въ Прагу и зоветъ дряхлаго аббата (Добровскаго)—спѣшить вкусить отъ той же злачной трапезы». По смерти Румянцова и съ выѣздомъ Кёппена изъ Петербурга, Добровскій съ сокрушеніемъ говоритъ о томъ, что нѣтъ уже надежды получать изъ Петербурга порядочныя русскія книги.

У насъ то же самое было съ славянскими сношеніями. Потребность познакомиться съ славянскимъ міромъ, и въ политическомъ, и въ книжномъ смыслѣ, сказывалась уже съ первыхъ лѣтъ нынѣшняго столѣтія, какъ политическими затѣями поднимать балканское славянство во время турецкихъ войнъ, такъ и единичными примѣрами любознательности путешественниковъ,

случайно и намѣренно попадавшихъ въ славянскія земли (Броневскій, А. И. Тургеневъ, Кайсаровъ и др.).

Но и здѣсь опять не слѣдуетъ приписывать слишкомъ много этимъ матеріальнымъ преградамъ. Очевидно, если—по всякимъ племеннымъ и религіознымъ основаніямъ—должно было произойти сближеніе и взаимное ознакомленіе славянъ, уже въ далекіе вѣка разлученныхъ исторіей, и особливо русскихъ съ славянскимъ западомъ и югомъ и обратно,—знакомство прежде всего должно было опереться на научномъ основаніи. Но здѣсь была еще бо́льшая «національзація жизни»—крайняя слабость научныхъ стремленій и средствъ. Правда, то время дало блестящіе задатки того, что могло бы быть сдѣлано въ этомъ направленіи,—мы разумѣемъ труды Востокова, Калайдовича и Кёппена; но мы видѣли, какъ сложилась дѣятельность этихъ лицъ на почвѣ тогдашнихъ отношеній. Только благодаря Румянцову могли появиться многіе труды ихъ,—и, соображая условія времени, нельзя не дать самой высокой оцѣнки его научной ревности. Но со смертью Румянцова оказался въ этомъ научномъ движеніи явный перерывъ: Румянцову не нашлось преемника, а ученое оффиціальное учрежденіе, Россійская Академія, оказалась собраніемъ тупыхъ людей и невѣждъ. Западное славянское движеніе въ ту пору было сильнѣе нашего именно потому, что тамъ, подъ вліяніемъ европейской школы, шире было распространеніе научныхъ знаній, которыя могли быть примѣнены къ славянскимъ предметамъ. Добровскій впалъ во многія ошибки въ своемъ истолкованіи старо-славянскаго языка — между прочимъ потому, что не имѣлъ въ рукахъ достаточнаго матеріала памятниковъ; но его учебный горизонтъ былъ шире, чѣмъ у кого либо изъ нашихъ ученыхъ того времени. Подобнымъ образомъ еще при жизни Добровскаго, а потомъ въ немногіе годы по его смерти, труды Шафарика—«Исторія литературы», «Славянскія древности», «Этнографія»—свидѣтельствовали о такой же ученой школѣ и такой же широтѣ славянскихъ изученій.

Если въ нашемъ ученомъ кругу первыхъ десятилѣтій вѣка были еще рѣдкимъ исключеніемъ научные запросы подобной силы, то рядомъ съ тѣмъ шли и другія явленія, которыя свидѣтельствовали о младенческомъ состояніи научнаго интереса и нимало не поощряли къ широкимъ научнымъ требованіямъ. Самое отдаленное соотношеніе научнаго изслѣдованія съ корен-

ными вопросами исторіи или настоящаго вызывало подозрительность, доносъ и преслѣдованіе. Знаменитая исторія петербургскихъ профессоровъ имѣла свое продолженіе въ дѣятельности цензуры и доносахъ Магницкаго. Самому Румянцову въ его предпріятіяхъ случалось встрѣчаться съ этимъ затрудненіемъ, не предвидѣннымъ въ наукѣ. Нужно было дѣлать сокращенія въ «Іоаннѣ Экзархѣ», въ памятникахъ X-го вѣка, чтобы избѣжать привязокъ духовной цензуры; то же самое въ «Бѣлорусскомъ Архивѣ» Григоровича; въ «Памятникахъ XII-го вѣка; въ «Древнихъ россійскихъ стихотвореніяхъ» Кирши Данилова (такъ какъ рукопись послѣ пропала, то нѣсколько пѣсенъ этого сборника, тогда ненапечатанныхъ, должны считаться потерянными). Даже спеціальнѣйшее изданіе Кёппена, «Библіографическіе Листы», вызвало доносъ Магницкаго: «умирающій Румянцовъ,—говоритъ г. Кочубинскій,—долженъ былъ вступиться предъ министромъ Шишковымъ противъ гоненій лицемѣра Магницкаго, умоляя охранить русскую науку отъ позора предъ Европой» [1]). Правда, судъ двухъ митрополитовъ оправдалъ издателя,—но довольно и того, что злобный доносъ мракобѣсноватаго не былъ брошенъ безъ вниманія и, напротивъ, ему былъ данъ ходъ. Г. Кочубинскій дѣлаетъ упреки Кёппену, что онъ оставилъ послѣ этого изданіе журнала и даже уѣхалъ на службу въ Крымъ разводить виноградъ и сарачинское пшено,—но трудно судить о томъ, насколько можно было выдерживать подобныя условія «ученой» дѣятельности въ виду непочатаго угла невѣжества и вражды къ наукѣ. Много лѣтъ спустя, требовались особыя хлопоты и объясненія, чтобы можно было издать неприкосновеннымъ текстъ Остромирова Евангелія... Дѣло нашей славистики и домашней археографіи и исторіи литературы двинулось только тогда, когда вообще повысился уровень научнаго пониманія и стали нѣсколько стыдиться открытаго обскурантизма...

Четвертая и послѣдняя глава книги г. Кочубинскаго названа «Призваніе славянъ» и разсказываетъ исторію упомянутыхъ нами выше плановъ приглашенія въ Россію славянскихъ ученыхъ и основанія славянскихъ каѳедръ въ университетахъ. Мы говорили, что эти планы, впрочемъ тогда не состоявшіеся, авторъ ставитъ въ особенную и великую заслугу Шишкову. Напомнивъ

---

[1]) Тамъ же, стр. 173.

извѣстный привѣтъ Шишкову въ стихотвореніи Пушкина, авторъ продолжаетъ:

«Удовлетвореніе заботъ, давнихъ исканій друзей русской науки въ проектѣ организаціи каѳедры славяновѣдѣнія, и въ попыткѣ реорганизаціи въ томъ же творческомъ духѣ (?) Екатерининской академіи, оправдывали привѣтъ и вѣру поэта.

«Человѣкъ не науки, Шишковъ своимъ чистымъ сердцемъ постигалъ интересы другихъ, интересы науки. По указанію сердца онъ вышелъ на тотъ путь, который былъ прокладываемъ сознательнымъ и многолѣтнимъ трудомъ знаменитаго кружка знаменитаго канцлера, и когда не стало для науки Румянцова, Шишковъ сталъ въ его мѣсто (?) и пошелъ объ руку съ эпигонами его, въ преслѣдованіи общей цѣли—органическаго развитія русской науки (?). Изъ Арзамаса выросла теорія «умственныхъ плотинъ» [1]); изъ академіи Шишкова—славянская университетская каѳедра.

«Правда, Шишковъ не успѣлъ, къ общему (чьему?) сожалѣнію, нашедшему выраженіе въ Кёппенѣ, мыслямъ своего сердца дать осуществленіе... но не безслѣднымъ метеоромъ пронесся вопросъ, выдвинутый президентомъ Россійской Академіи, въ исторіи русскаго просвѣщенія» [2]). Дальнѣйшему преемнику Шишкова въ министерствѣ просвѣщенія, Уварову, досталось, по словамъ автора, нетрудная задача—повторить Шишкова въ университетскомъ уставѣ 1835 года и въ учрежденіи Второго отдѣленія академіи наукъ.

Скажемъ опять, что не желаемъ нисколько умалять достоинствъ личнаго характера Шишкова, но этотъ панегирикъ требуетъ немалыхъ поправокъ. Шишковъ былъ, какъ мы видѣли и какъ самъ авторъ указываетъ, до такой степени «человѣкъ не науки», что невозможно приписать ему иниціативу дѣла, какъ оно поставлено было и развилось впослѣдствіи: Шишковъ не могъ мечтать о томъ, чѣмъ стали впослѣдствіи каѳедры славянскихъ нарѣчій,—это было выше его пониманія. Мы говорили выше, что настоящее пониманіе этихъ вещей принадлежало не Шишкову, а его совѣтнику по этимъ дѣламъ—Кёппену, котораго самъ г. Кочубинскій справедливо называетъ (стр. 303) «заслуженнѣй-

---

[1]) Ее придумывалъ С. С. Уваровъ.

[2]) Кочубинскій, стр. 323.

шимъ и первымъ посредникомъ между русскою и западно-славянскою наукою». Прибавимъ, что въ послѣдующемъ исполненіи плана мысль Шишкова о вызовѣ славянскихъ ученыхъ въ Россію не была принята и замѣнена другою, болѣе раціональною мѣрою— приготовленіемъ профессоровъ изъ молодыхъ русскихъ силъ, мѣрою, которая раньше казалась наиболѣе разумной Добровскому и Копитару и на которой настаивала записка извѣстнаго профессора дерптскаго университета Паррота, внесенная въ комитетъ объ устройствѣ учебныхъ заведеній.

Таково содержаніе книги г. Кочубинскаго. Какъ видѣлъ читатель, не всегда можно согласиться съ нѣкоторыми изъ его историческихъ объясненій, но книга во всякомъ случаѣ даетъ любопытный эпизодъ изъ исторіи нашей науки. Въ общихъ чертахъ факты извѣстны давно, но авторъ взялъ на себя трудъ собрать подробности изъ прежде извѣстныхъ и имъ самимъ вновь изданныхъ документовъ, чтобы прослѣдить отношенія описываемаго имъ ученаго кружка, который, въ свое время былъ оригинальнымъ оазисомъ въ пустынѣ нашей литературы и оставилъ глубокіе слѣды въ развитіи нашего историческаго знанія. Но изложеніе г. Кочубинскаго не свободно отъ недостатковъ. Не совсѣмъ ясно, къ кому собственно обращается изложеніе, имѣетъ ли авторъ въ виду обыкновенныхъ читателей или спеціалистовъ. Въ послѣднемъ случаѣ были бы излишни многія мелочныя подробности, къ которымъ авторъ иногда не разъ и возвращается; въ первомъ случаѣ нужно было бы дать больше общихъ свѣдѣній о лицахъ, которыя были героями его разсказовъ. Напр., большинству читателей, разумѣется, незнакомы или очень мало знакомы имена Палацкаго, Челяковскаго, Копитара, даже, пожалуй, самого Добровскаго и Шафарика. Книга останется мало доступной для большинства читателей, а это жаль при томъ трудѣ, какой авторъ положилъ на свое сочиненіе. Избѣжать этого неудобства онъ могъ бы, добавивъ нѣсколько объясненій.

Другой недостатокъ заключается въ самой манерѣ разсказа. Это не есть обычное ровное повѣствованіе, а рядъ отрывочно бросаемыхъ афоризмовъ, цитатъ изъ писемъ, замѣчаній, то забѣгающихъ впередъ, то обращающихся назадъ, то предполагающихъ факты извѣстными, то подробно ихъ излагающихъ. Мы говорили о панегирическомъ тонѣ, который иногда существенно мѣшаетъ вѣрному освѣщенію лицъ и событій. Языкъ—часто вы-

чурный, какъ будто непремѣнно таковъ долженъ быть «ученый» языкъ [1]).

Къ той же исторической эпохѣ и отчасти къ тому же кружку Румянцова относится изслѣдованіе г. Шмурло, посвященное біографіи митрополита Евгенія (1767—1837). Въ тѣ же годы, во второмъ, третьемъ и четвертомъ десятилѣтіи нашего вѣка, имя митрополита Евгенія было однимъ изъ извѣстнѣйшихъ именъ въ ряду нашихъ историковъ: это былъ авторитетный знатокъ въ вопросахъ древней исторіи и письменности. Впослѣдствіи это имя нѣсколько забылось, даже больше, чѣмъ имена нѣкоторыхъ его современниковъ. Въ послѣднее время, особливо съ 1867 г., когда припомнился столѣтній юбилей его рожденія, біографіи Евгенія посвященъ былъ цѣлый рядъ болѣе или менѣе важныхъ трудовъ, который завершается теперь книгой г. Шмурло, задуманной въ такой широкой рамкѣ, что она должна представить окончательное слово по этому предмету. Мы не будемъ подробно останавливаться на содержаніи этого изслѣдованія въ ожиданіи, что оно будетъ доведено авторомъ до конца, потому что въ вышедшемъ теперь обширномъ и компактномъ томѣ (LXXXV и 455 стр.). авторъ дошелъ еще только до половины жизнеописанія (1767—1804).

Книга г. Шмурло имѣетъ много серьезныхъ достоинствъ и доставляетъ не мало указаній, полезныхъ для спеціалистовъ по разнымъ предметамъ, находящимся въ связи съ біографіей. Авторъ отнесся къ своей задачѣ весьма добросовѣстно: онъ не только вполнѣ—не пропустивши, кажется, ни одной печатной строки о митрополитѣ Евгеніи—исчерпалъ весь печатный матеріалъ, но старался сколько возможно розыскать и весь матеріалъ рукописный, какой сохранился отъ митрополита Евгенія въ библіотекахъ и архивахъ; изучилъ до мелочей все, что было писано ученымъ митрополитомъ, изслѣдовалъ все, что могло дать указанія о его біографіи; останавливаясь на сочиненіяхъ Евгенія, даже самыхъ мелкихъ, разбираетъ не только ихъ собственное содержаніе, но и то, какъ излагался тотъ же предметъ

[1]) Не останавливаясь на нѣкоторыхъ частныхъ ошибкахъ и недосмотрахъ, отмѣтимъ, напр., на стр. 282 «сардинскаго графа *Сегюра*»— конечно, вмѣсто Де-Местра; тамъ же ссылка на книгу Васильчикова «Семейство Разумовскихъ» (II, стр. 451), очевидно невѣрная, потому что на этой страницѣ нѣтъ ничего относящагося къ тексту, и т. п.

въ послѣдующей литературѣ (напримѣръ относительно исторіи воронежской губерніи),—однимъ словомъ, собираетъ по своему предмету такой аппаратъ свѣдѣній, что ихъ обиліе становится, наконецъ,—недостаткомъ. Въ самомъ дѣлѣ, читая книгу г. Шмурло, не разъ приходится почти жалѣть, что столько труда и кропотливыхъ поисковъ употреблено на предметъ, во всякомъ случаѣ составляющій частность науки, въ то время, когда не находятъ изслѣдователя много самыхъ существенныхъ вопросовъ нашей исторіи. Огромная книга даетъ едва половину біографіи писателя, который, при всѣхъ его заслугахъ, занимаетъ только второстепенное мѣсто въ исторіи нашей науки. Невозможно, конечно, требовать, чтобы любознательность отдѣльнаго изслѣдователя направлялась именно въ ту, а не въ другую сторону, но въ научной работѣ все-таки желательна извѣстная экономія силъ, которая сводится, въ сущности, къ правильному пониманію большей или меньшей настоятельности того или другого вопроса науки. Авторъ настоящаго труда потратилъ на него столько усилій, обнаружилъ въ немъ такую начитанность и, скажемъ болѣе, въ отдѣльныхъ соображеніяхъ показалъ столько хорошаго (хотя иногда и спорнаго) историческаго пониманія, что этимъ качествамъ можно бы желать болѣе широкаго примѣненія.

Дѣло, между прочимъ, въ томъ, что авторъ изслѣдуетъ біографію митрополита Евгенія такъ, какъ будто дѣло шло о какомъ-нибудь древнемъ писателѣ, относительно котораго надо собирать всякіе отзывы современниковъ, всякіе мелкіе факты, потому что извѣстно о немъ очень мало. Обширное предисловіе занято только предварительнымъ обзоромъ современныхъ отзывовъ и біографическихъ источниковъ, доходящимъ иногда до мелочей, едва ли стоившихъ того вниманія, какое даетъ имъ авторъ. Въ самомъ дѣлѣ авторъ имѣетъ въ виду дать историческую оцѣнку дѣятельности митр. Евгенія, въ связи съ цѣлымъ положеніемъ нашей исторіографіи съ конца прошлаго вѣка и до 30-хъ годовъ, и исполняемую со всѣмъ запасомъ свѣдѣній, внимательно собранныхъ отовсюду: нужно ли при этомъ перебирать общія мѣста, какія писались о митрополитѣ Евгеніи, напр., въ некрологахъ или надгробныхъ рѣчахъ, людьми, имѣвшими объ его трудахъ иногда только поверхностныя свѣдѣнія; заслуживали вниманія лишь два-три отзыва—людей ученыхъ, знавшихъ Евгенія и его труды болѣе или менѣе близко, какъ

напримѣръ отзывы архіепископа Филарета или Погодина,—и ихъ настоящее мѣсто было бы не въ предисловіи, а въ заключеніи, гдѣ авторъ долженъ былъ бы свести свои выводы о дѣятельности митр. Евгенія, и при этомъ было бы всего естественнѣе опредѣлить впечатлѣніе, какое оставляли его труды на компетентныхъ современникахъ или потомкахъ, и еслибы въ приговорѣ этихъ судей была ошибка, тамъ было бы мѣсто объяснить дѣло и устранить ее.

Подобнымъ образомъ, съ крайнею подробностью, часто посвящаемой предметамъ весьма незначительнымъ, ведена вся біографія митр. Евгенія,—съ мѣста и времени его рожденія, до школы, службы, первыхъ ученыхъ работъ. Въ живописномъ мастерствѣ есть терминъ «переписать», т.-е. выдѣлать картину до того, что это портитъ ее: въ сочиненіи г. Шмурло часто встрѣчается именно такое излишество мелочныхъ фактовъ и изслѣдованій, часто совсѣмъ ненужныхъ для біографіи, и внѣ ея только иногда не лишенныхъ значенія. Приведемъ два-три примѣра. Во время пребыванія въ московской духовной академіи Евѳимій Болховитиновъ (имя митр. Евгенія до монашества) перевелъ, вмѣстѣ съ однимъ товарищемъ, «Краткое описаніе жизней древнихъ философовъ, Фенелона: весь интересъ труда заключается въ образчикѣ литературныхъ вкусовъ и упражненій Болховитинова въ его учебные годы, и нѣсколькихъ словъ было бы достаточно для объясненія этой біографической подробности. Но довольно было упоминанія Болховитинова, что книга была переведена имъ «вмѣстѣ съ однимъ соученикомъ», чтобы для біографа возникла цѣлая задача [1]. Какъ можетъ видѣть читатель

[1] «Кто же былъ этотъ сотрудникъ?—спрашиваетъ г. Шмурло.—Г. Пономаревъ (слѣдуетъ цитата) предполагаетъ В. Ѳ. Розанова, хотя и допускаетъ, что Евгеній смѣшалъ одинъ переводъ съ другимъ. Г. Тихонравовъ (цитата) прямо и положительно называетъ Розанова, не приводя однако никакихъ на это основаній. Г. Сперанскій (цитата) слѣдуетъ тому же мнѣнію, хотя нѣсколько ослабляетъ его вставкою слова: «вѣроятно» (!), но также не указываетъ основаній своего соображенія. Между тѣмъ нѣтъ никакихъ серьезныхъ данныхъ (!) предполагать именно Розанова. Конечно, послѣдній могъ быть «соученикомъ» Евгенія, если только не слишкомъ буквально понимать это выраженіе и не видѣть въ немъ «однокурсника» (длиннѣйшая цитата); но возможность не есть еще достовѣрность (!). Съ одинаковымъ и даже большимъ основаніемъ можно признать сотрудникомъ Болховитинова студента Льва Павловскаго. Если онъ»... и т. д., и т. д. (стр. 67—69).

изъ приводимаго отрывка, авторъ серьезнѣйшимъ образомъ занимается разрѣшеніемъ вопроса, кто былъ этотъ соученикъ; но ни Розановъ, ни Левъ Павловскій, ни ихъ участіе въ переводѣ не имѣли ни тогда, ни потомъ ни малѣйшаго значенія въ біографіи митр. Евгенія, и потому всѣ хлопоты автора надъ этой задачей составляютъ только безплодную трату времени и труда.

Или—авторъ подробнѣйшимъ образомъ разбираетъ одинъ изъ первыхъ историческихъ трудовъ Болховитинова—«Описаніе Воронежской губерніи». Онъ не довольствуется тѣмъ, что указываетъ подробно всѣ до единаго источники, по которымъ составлена была эта книга, и самые пріемы составленія и предметы, на которыхъ останавливается историкъ; нѣтъ, авторъ идетъ дальше, онъ пересматриваетъ подробно всѣ дальнѣйшія исторіи воронежскаго края до послѣднихъ годовъ, чтобы сдѣлать потомъ сравненіе ихъ съ трудомъ Болховитинова. Въ результатѣ получается трактатъ объ исторіографіи воронежскаго края, не лишенный значенія самъ по себѣ, но—совершенно ненужный для біографіи митр. Евгенія. Сличеніе Евгеніевскаго описанія съ новѣйшими могло быть сдѣлано въ нѣсколькихъ словахъ; какъ особый трактатъ оно безцѣльно, потому что, съ одной стороны, должно говорить вообще о различныхъ пріемахъ мѣстной исторіографіи теперь и въ прежнее время, или же случайно сопоставляетъ Евгенія съ современными писателями о воронежской губерніи.

Если Болховитиновъ въ годы ученія дѣлаетъ себѣ какія-нибудь выписки, замѣтки, біографъ старательно разыщетъ книжку, изъ которой сдѣлана выписка, даже иной разъ укажетъ страницу, откуда она взята, хотя бы книжка была очень мало интересна. Въ бумагахъ митрополита Евгенія сохранились также отъ давняго времени «Примѣчанія на Россійскую исторію». Это не больше, какъ отрывочныя замѣтки и выписки для памяти о разныхъ народахъ, городахъ и рѣкахъ, названія которыхъ встрѣчаются въ древней исторіи Россіи; замѣтки, очевидно, взяты изъ готовыхъ книгъ и не представляютъ никакой самостоятельной исторической работы; кое-гдѣ Болховитиновъ указываетъ самъ, откуда что взято. Біографъ не довольствуется упомянуть, что была у Болховитинова такая тетрадь историческихъ замѣтокъ, и подвергаетъ тетрадку ученому изслѣдованію [1]). Надо только

[1]) Намъ *удалось,*—говоритъ г. Шмурло—опредѣлить до 16-ти названій, содержаніемъ для которыхъ Болховитиновъ всецѣло былъ обя-

пожалѣть, что авторъ тратилъ время на такіе пустяки; работа отъ всего этого, конечно, затягивалась, и въ результатѣ мы получаемъ только половину біографіи, и читателю, одолѣвшему большой томъ, надо еще ждать—въ неопредѣленномъ будущемъ— разсказа о тѣхъ трудахъ митрополита Евгенія, которые были его настоящимъ правомъ на почетное мѣсто въ развитіи русской исторической науки. Не все, конечно, такъ мелочно въ изслѣдованіи г. Шмурло, и есть не мало пригодныхъ біографическихъ разъясненій и указаній на состояніе русской литературы и науки въ концѣ прошлаго и въ первые годы нынѣшняго столѣтія. Но авторъ повидимому, чувствовалъ, что въ настоящемъ своемъ составѣ книга еще мало даетъ понять митрополита Евгенія, и въ концѣ онъ помѣстилъ главу, посвященную опредѣленію «личности Евгенія», гдѣ уже не ограничивается этимъ первымъ періодомъ его жизни и приводитъ черты его цѣлой дѣятельности. Эта глава наиболѣе интересна; надо полагать, впрочемъ, что если авторъ дастъ впослѣдствіи окончаніе своего труда, онъ, вѣроятно, пополнитъ приведенную здѣсь характеристику, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя черты ученаго и личнаго характера митрополита Евгенія здѣсь еще недостаточно выяснены.

Историкъ Шишкова и Румянцова, съ которыми Евгеній бывалъ въ сношеніяхъ, ставитъ вообще весьма высоко ученое значеніе митрополита Евгенія; панегирическій тонъ преобладаетъ и въ настоящей біографіи. Авторъ начинаетъ свою характеристику изображеніемъ той среды, изъ которой вышелъ этотъ ученый и общественный дѣятель, и опредѣляетъ ее такъ: «То сословіе, къ которому принадлежалъ Болховитиновъ, и та среда, въ которой онъ воспитывался, подобно тому, какъ и теперь, стояла невдалекѣ отъ народной жизни, не будучи обхвачена слѣпымъ подражаніемъ Западу (!), чему подпали наши культурные слои, но трезво и прямо глядѣла на жизнь, не подкрашивая ее ничѣмъ (?). Въ этой средѣ легче было отличить кривду

занъ исторіи Россіи Татищева (цитата съ полнымъ счетомъ нумеровъ замѣтокъ). Заимствованій же у Болтина насчитали мы: безспорныхъ—13 (цитата съ нумерами) и весьма вѣроятныхъ—8 (опять цитата съ нумерами).

«Это дѣленіе на безспорныя и только вѣроятныя (!) приходится сдѣлать не по одному тому, что въ однихъ слѣды Болтина слишкомъ очевидны, а въ другихъ возможно допустить и вліяніе другихъ источниковъ; но также и потому, что» и проч. (стр. 201).

отъ правды (?); если и встрѣчались попытки закрыть на нее глаза, то дѣлалось это еще такъ неумѣло, попытка выходила такою наивно-грубою, что трудно было ею кого-нибудь обмануть. Много было въ этой средѣ закорузлаго и «не-цивилизованнаго», но была чуткость къ истинѣ и здоровое отношеніе къ дѣлу. Въ умахъ, выдающихся надъ обыденною толпой, черты общія какъ имъ, такъ и этой толпѣ, отражаются обыкновенно выпуклѣе и рельефнѣе. Оно и понятно: на то онъ и умъ высшаго порядка, чтобы въ немъ, какъ въ фокусѣ, отражались тѣ типичныя черты, что разбросаны въ массѣ, а потому и не такъ замѣтны. Болховитиновъ, несомнѣнно возвышавшійся надъ окружающими, не былъ исключеніемъ въ данномъ случаѣ».

Далѣе, очевидно въ результатѣ этихъ свойствъ среды, изображаются слѣдующія черты личнаго характера Евгенія: «Чрезъ всю его жизнь проходитъ трезвое, неприкрытое ложью отношеніе къ окружающимъ явленіямъ. Рано познакомившись съ жизнью, съ ея оборотною стороною, знакомый съ нуждою и зависимостью, Евгеній рано научился понимать людскія отношенія, ту взаимную и сложную сѣть хитросплетеній, изъ которыхъ состоятъ они. На свѣтѣ есть правда и ложь, честь и низость, доброта и сухой эгоизмъ. Одно есть достоинство, другое—безнравственность. Первое есть долгъ, обязанность порядочнаго человѣка; второе—позорное пятно. Вотъ краткая формула нравственныхъ воззрѣній Евгенія, и ея онъ неуклонно держался въ теченіе всей своей жизни... Дрязги общественныя настолько противны ему, что заставляютъ иногда избѣгать людей и рѣдко появляться въ свѣтѣ... Это стремленіе уединиться, уйти подальше отъ «городского шума», зарыться въ тиши рабочаго кабинета среди книгъ, единственныхъ своихъ друзей, способныхъ откликнуться на его потребности,—стремленіе это сказывается постоянно во всю послѣдующую жизнь Евгенія... Но такая уединенная жизнь отнюдь не значила отчужденія отъ жизни, чего-нибудь въ родѣ квіетизма. Напротивъ, замыкаясь въ тѣсный пріятельскій кружокъ, Евгеній тѣмъ съ большею свободою и одушевленіемъ предавался любимымъ занятіямъ. Его энергическій, дѣятельный умъ стремился вылиться въ конкретныхъ формахъ, не терпя бездѣятельности»... [1]).

---

[1]) Стр. 370—373

Можно, однако, усомниться въ исходномъ положенiи автора. Будто бы та среда, изъ которой вышелъ Болховитиновъ, овладѣла этой драгоцѣнной привилегiей «трезво и прямо смотрѣть на жизнь», «отличать кривду отъ правды»? Эта среда болѣе или менѣе извѣстна и, къ сожалѣнiю, не меньше другихъ областей нашей жизни поставляла запасъ умственной неразвитости и нравственно общественнаго ничтожества. Люди просвѣщенные и богатые нравственнымъ достоинствомъ выходили равно и изъ другихъ круговъ общества, точно также, какъ изображаемая авторомъ среда не всегда умѣла стоять на высотѣ того общественнаго достоинства, какое ей принадлежало. Если уже авторъ хотѣлъ извлечь изъ происхожденiя Болховитинова соцiально-физiологическiе выводы, они могли быть дѣйствительно извлечены—только не совсѣмъ тѣ. Напрасно также авторъ привлекаетъ сюда несчастный затасканный «Западъ». Если весь смыслъ дѣятельности писателя, которому г. Шмурло посвятилъ свое обширное и кропотливое изученiе, заключался въ историческихъ трудахъ, имѣвшихъ послѣднею цѣлью нацiональное самосознанiе, то въ своемъ собственномъ изслѣдованiи автору не однажды приходится указывать, что именно западная школа въ первый разъ дѣлала возможными эти труды [1]). Школьные годы будущаго митрополита Евгенiя, рядомъ съ опытами занятiй русской исторiи, поглощены интересомъ къ западной литературѣ: его записныя тетради наполняются выписками изъ французскихъ писателей; онъ читаетъ французскихъ философовъ, переводитъ Фенелона и пр., между прочимъ, французскiя опроверженiя

[1]) Собственныя слова г. Шмурло: «*Чѣмъ тѣснѣе* сходились мы съ Западомъ, тѣмъ настоятельнѣе стучалась въ двери потребность «народнаго самосознанiя»; къ тому же, самое это сближенiе *знакомило со средствами, выработанными наукой, указывало выходъ* изъ неудовлетворявшаго положенiя. Труды Болландистовъ, Монфокона, Бандури Тассена и Дюканжа *не могли пройти безслѣдно для русскихъ ученыхъ*. Въ дѣятельности *Байера, Миллера*, а тѣмъ болѣе *Шлецера* слышится сознанiе новыхъ требованiй. Надо не только собирать, но и изучать памятники» и т. д. (стр. 387). Ясно, что именно западное образованiе давало стимулъ къ народному самосознанiю и что самые западные люди, какъ Байеръ, Миллеръ, Шлецеръ, приняли участiе въ нашей работѣ надъ нимъ. А что дѣлала *до* западной науки русская мысль, «дѣтски наивная» и «захваченная врасплохъ» желанiемъ знать свою исторiю, и какiя выходили изъ этого «неуклюжiя» вещи, о томъ говоритъ самъ авторъ на страницѣ 386.

Вольтера, къ которому, однако, и самъ бывалъ неравнодушенъ. Мало того: даже наша ученая теологія прошлаго да и нынѣшняго вѣка идетъ слѣдомъ за теологіей западной, именно нѣмецкой протестантской, слегка ее видоизмѣняя,—въ томъ числѣ и митрополитъ Евгеній.

Повидимому, не обошлось безъ западнаго вліянія и то, что пишетъ авторъ о религіозной сторонѣ характера Евгенія: на ней отразилось настроеніе «философіи» конца XVIII-го вѣка. «Ученикъ Платона [1]), Евгеній далекъ былъ отъ малѣйшаго намека на аскетизмъ: служить Богу можно и въ мірѣ, поучалъ онъ. «Живущимъ среди міра и въ нѣдрахъ семействъ своихъ невозможно не помышлять о пріобрѣтеніи и сохраненіи своего имѣнія», ибо это ихъ прямая обязанность. Не было въ немъ и формализма, приверженности къ буквѣ. Онъ предлагаетъ послать женѣ Македонца (своего друга) «пары двѣ зеренъ (янтарныхъ) на серьги. Нѣтъ нужды, что съ четокъ», которыя онъ носилъ, какъ монахъ. Истинно православный, онъ, думаемъ, лишенъ былъ глубокаго религіознаго чувства: описывая свое постриженіе, Евгеній передаетъ, можно сказать, одну его обрядовую сторону; во время церемоніи онъ, видимо, нетерпѣливо ждетъ, когда окончится этотъ обрядъ, и ждетъ не столько въ силу нахлынувшаго сердечнаго волненія, сколько въ силу неловкости быть объектомъ наблюденій. Сообщая о постриженіи, едва ли не болѣе занятъ онъ разсказомъ о своихъ визитахъ и полученныхъ подаркахъ... Ни въ одной строкѣ не прорвалось лирическаго отступленія при мысли о новой жизни и о разрывѣ со старымъ навсегда.

«Въ соотвѣтствіи съ направленіемъ своего вѣка, не чуждъ былъ Евгеній чувствительности и нѣсколько сентиментальной любви къ природѣ. Въ его письмахъ разсѣяны указанія на то, какъ онъ любовался «прелестными мызами», какъ любилъ наслаждаться зеленью садовъ, «плесканьемъ тихихъ волнышекъ, умывающихъ берега, смотрѣть съ балкона въ море на Кронштадтъ, на летящіе надменные парусами корабли», и послѣ городского шуму восхищаться уединеніемъ своимъ. Пониманіе прекраснаго было ему доступно и въ области искусства» [2]).

Недоумѣвающій читатель и здѣсь, какъ въ другихъ случаяхъ, можетъ спросить автора: но все это, очевидно, черты

---

1) Т.-е. извѣстнаго митрополита московскаго.
2) Стр. 380.

западнаго образованія; гдѣ же та среда, которой авторъ больше всего приписываетъ нравственный складъ митрополита Евгенія?

Опредѣленіе литературнаго характера Евгенія, какъ мы сказали, остается неполнымъ, такъ какъ авторъ не говорилъ еще о главнѣйшихъ трудахъ ученаго митрополита. Самый суровый отзывъ о свойствахъ историческихъ трудовъ митрополита Евгенія сдѣланъ былъ въ извѣстномъ «Обзорѣ русской духовной литературы», архіепископа Филарета черниговскаго (прежде епископа рижскаго и архіепископа харьковскаго). Во второмъ изданіи этой книги отзывъ нѣсколько смягченъ, но все-таки остается весьма рѣзкимъ.

Вотъ этотъ отзывъ: «При взглядѣ на такое множество сочиненій (перечисленныхъ ранѣе), преимущественно историческихъ, очевидно, что митрополитъ Евгеній одаренъ былъ обширною памятію и владѣлъ богатымъ запасомъ свѣдѣній. Богатство свѣдѣній его, переданныхъ печати, много принесло пользы любителямъ отечественной исторіи. Это—заслуга его. Но при разборѣ каждаго изъ сочиненій преосвященнаго, не въ униженіе его говоримъ, а показывая характеръ его, видимъ, что у него не было систематическаго взгляда на явленія исторіи. Вы видите кучи историческихъ явленій, но не соединенныхъ общею мыслію и не оживленныхъ чувствомъ. У него нѣтъ охоты даже къ тому, чтобы попадающіяся ему на глаза явленія раздѣлить на классы ихъ; онъ передаетъ вамъ ихъ какъ попались они ему, случайно. Факты собираются у него безъ различія важнаго отъ пустого и безъ вниманія къ тому, что въ ряду ихъ недостаетъ тамъ и здѣсь событій, служившихъ переходомъ отъ одного событія къ другому; причинъ и слѣдствій событія не увидите у него, развѣ тамъ, гдѣ они попались ему на глаза... Такимъ образомъ, въ митрополитѣ Евгеніи сколько изумляетъ собою обширность свѣдѣній его; столько же поражаетъ бездѣйствіе размышляющей силы, часто и рѣзко высказывающееся».

Біографъ столь рѣшительно отвергаетъ этотъ отзывъ, что трактуетъ его какъ «явленіе патологическое, интересное скорѣе для характеристики черниговскаго, чѣмъ кіевскаго іерарха». Въ теченіе біографіи онъ, однако, самъ указываетъ черты ученыхъ трудовъ Евгенія, которыя не мало подходятъ подъ этотъ отзывъ а въ заключительной главѣ, возвращаясь снова къ отзыву Фи-

ларета авторъ самъ сознается, что отсутствіе чего-либо цѣльнаго, нѣкоторая мозаичность работы заставляла позже отказывать Евгенію въ крупномъ значеніи въ исторической литературѣ и низко цѣнить руководящую идею его произведеній». Онъ объясняетъ только, что форма и направленіе дѣятельности Евгенія обусловливались задачами того времени: «Кучеобразность и набросанность историческихъ фактовъ въ сочиненіяхъ Евгенія не зависѣла отъ его воли и въ данную минуту была явленіемъ временнымъ; «слѣдствій» и «причинъ» не видно было потому, что еще некогда было отыскать ихъ: пробѣлы, связующіе явленія прошедшія съ послѣдующими, происходили прямо отъ недостатка матеріала въ наличное время. Предпочитали оставить пустое мѣсто, чѣмъ заполнять его гадательными соображеніями. Объективность, строгая правда требовали лучше открыто признать свою невозможность отвѣта ни вопросъ, чѣмъ закрывать незнаніе мантіей ложныхъ разсужденій» [1]). «Такъ занимались всѣ въ ту пору»,—говоритъ еще авторъ,—но это неправда. Нѣтъ спора, что тогдашнее состояніе нашей исторіографіи требовало еще долгаго и прилежнаго собиранія матеріаловъ; это собираніе развилось даже еще больше въ послѣдующую пору: съ 30-хъ годовъ, особливо съ основанія Археографической комиссіи, началось усиленное изданіе самыхъ источниковъ нашей исторіи, и съ тѣхъ поръ оно, не прерываясь и не ослабѣвая, а все больше расширяясь, продолжается до настоящей минуты. Сравнительно, то время знало эти источники гораздо меньше, чѣмъ они стали извѣстны впослѣдствіи, но больше, чѣмъ знали ихъ передъ тѣмъ: относительное обиліе или скудость источниковъ могутъ, однако, не остановить исторической пытливости, и въ самую эпоху митрополита Евгенія состояніе матеріала не помѣшало Карамзину задумать его широкій историческій планъ. Неужели этотъ планъ былъ преждевременный? Совсѣмъ нѣтъ, и исторія науки свидѣтельствуетъ, что, напротивъ, трудъ Карамзина, несмотря на его теоретическія ошибки, на недостатокъ иныхъ фактическихъ данныхъ, былъ великой заслугой писателя и сообщилъ сильное и здоровое, небывалое прежде движеніе нашей исторіографіи. Надо было, кажется,

[1]) Стр. 389—390. Неловкой защитой служитъ и слѣдующее замѣчаніе: «Еслибы авторъ Обзора русской духовной литературы знакомъ былъ съ *рукописнымъ трудомъ* Евгенія: Исторія славяно-русской церкви, можетъ быть, онъ и остерегся бы отъ рѣзкаго своего приговора».

просто признать, что въ умѣ митрополота Евгенія, хотя сильномъ и дѣятельномъ, не было той складки историческаго анализа и обобщенія, какая отличала Карамзина—и не одного Карамзина. Евгеній, по свойству его школы и дарованія, сталъ только собирателемъ. Другіе современники его были—если принять слова его біографа о научныхъ потребностяхъ того времени—въ томъ же положеніи; но мы видѣли, что въ своей области у нихъ являлось и широкое обобщеніе (какъ въ историческомъ взглядѣ Востокова на старо-славянскій языкъ), и искусная историческая комбинація (какъ, напримѣръ, въ изслѣдованіяхъ Калайдовича).

Біографъ Евгенія, опредѣляя его литературные вкусы, говоритъ о его скромности относительно своихъ работъ, но рядомъ съ этимъ шла въ сужденіяхъ Евгенія объ его ученыхъ современникахъ и сотоварищахъ большая «незастѣнчивость въ рѣзкихъ выраженіяхъ, переходящая иногда въ грубость»: біографъ приводитъ много образчиковъ этой незастѣнчивости, дѣйствительно рѣзкихъ, и объясняетъ ее тѣмъ, что вмѣстѣ съ скромностью у Евгенія было, однако, большое сознаніе своего достоинства (и не было ли также вліянія «среды»?). Выше мы приводили его просто грубые отзывы о Калайдовичѣ и полагаемъ, что въ нихъ (кромѣ неизвѣстныхъ намъ источниковъ его вражды) участвовало еще одно условіе: Евгенію, собирателю и критику частныхъ подробностей, была несвойственна эта болѣе широкая работа исторической мысли, и самомнѣніе диктовало ему рѣзкіе отзывы,—въ которыхъ, прибавимъ кстати, онъ едва ли уступаетъ своему критику, архіепископу черниговскому.

Пожелаемъ наконецъ, чтобы г. Шмурло не остановился съ довершеніемъ своего любопытнаго труда.

ПРИЛОЖЕНІЯ

I.

Письма Карамзина, вновь изданныя. [«Вѣстникъ Европы» 1897, май].

Недавно вышла первая книга историческаго сборника, издаваемаго при «Обществѣ ревнителей русскаго историческаго просвѣщенія въ память императора Александра III». Сборникъ называется «Старина и Новизна», и въ предисловіи мы читаемъ: «Самое названіе «Старина и Новизна» уже давно существуетъ въ нашей литературѣ. Еще во времена Екатерины выходилъ подъ такимъ заглавіемъ сборникъ историческаго и литературнаго содержанія, издававшійся В. Г. Рубаномъ. Позже, въ тридцатыхъ годахъ, князь П. А. Вяземскій также задумывалъ изданіе подъ тѣмъ же заглавіемъ и, при дѣятельномъ участіи А. И. Тургенева, успѣлъ уже подобрать для своего сборника значительный запасъ любопытныхъ матеріаловъ въ видѣ записокъ, воспоминаній, писемъ извѣстныхъ лицъ, а также въ видѣ чисто-литературныхъ произведеній. Къ сожалѣнію, предпріятіе князя П. А. Вяземскаго осталось безъ осуществленія».

Сборникъ заключаетъ два отдѣла. Въ первомъ помѣщены небольшіе отрывки изъ двухъ писемъ Александра III отъ 1877 года; далѣе, стихотворенія А. Н. Майкова и гр. Голенищева-Кутузова. Во второмъ, историческіе матеріалы, а именно, письма Н. М. Карамзина къ кн. П. А. Вяземскому отъ 1816—1826 годовъ; письма кн. Вяземскаго къ П. Я. Чаадаеву; письма братьевъ Орловыхъ къ гр. П. А. Румянцову въ 1764—1778 годахъ; въ концѣ сборника помѣщена статья Л. Н. Майкова: «Князь Вяземскій и Пушкинъ объ Озеровѣ».

Наибольшій интересъ въ историческомъ отношеніи представляютъ письма Карамзина, которыя занимаютъ въ книгѣ и наибольшее мѣсто (стр. 1—204). Со времени біографіи Карамзина, составленной Погодинымъ къ столѣтней памяти рожденія Карамзина, въ шестидесятыхъ годахъ, въ нашей исторической литературѣ, къ удивленію, не было сдѣлано попытки новой біографіи Карамзина: мало появлялось и новыхъ матеріаловъ для этой біографіи,—поэтому могутъ представить особенный интересъ изданныя теперь многочисленныя письма, хотя это чисто домашнія письма, занятыя почти исключительно семейными и родственными интересами. Карамзинъ былъ женатъ на сестрѣ

кн. П. А. Вяземскаго; въ періодъ переписки кн. Вяземскій былъ еще очень молодой человѣкъ, начинавшій свое служебное, общественное и литературное поприще; жилъ въ Москвѣ, Варшавѣ на службѣ при Н. Н. Новосильцовѣ, потомъ опять въ Москвѣ, былъ уже человѣкъ семейный; къ письмамъ Карамзина постоянно прибавлялись обширныя приписки его жены, иногда дочерей, приписки всегда на изящномъ французскомъ языкѣ; только разъ или два госпожа Карамзина приписала по нѣскольку строкъ на русскомъ языкѣ, и любопытно, какъ черта времени, что эти строки заключали большое количество орѳографическихъ ошибокъ, когда Карамзинъ являлся преобразователемъ литературнаго языка. Къ такимъ чисто-семейнымъ отношеніямъ принадлежитъ изданная теперь переписка: всего болѣе рѣчь идетъ о домашнихъ интересахъ, предметы общественные затрогиваются двумя словами, потому что обычныя мнѣнія обѣихъ сторонъ подразумѣваются сами собой,—такъ что въ цѣломъ письма служатъ всего болѣе для изображенія домашней жизни Карамзина за эти годы. Но отъ времени до времени въ нихъ встрѣчаются и подробности общаго интереса, въ двухъ, трехъ словахъ и намекахъ, какихъ достаточно было людямъ близкимъ. Карамзинъ очень любилъ князя Вяземскаго не только по родству, но и по его уму и дарованіямъ, но часто и спорилъ съ нимъ, какъ съ человѣкомъ увлекающимся и неосновательнымъ: должно сказать, что въ тѣ годы князь Вяземскій былъ большимъ «либералистомъ», а къ людямъ этихъ мнѣній Карамзинъ относился недружелюбно.

Въ 1818 году князь Вяземскій жилъ въ Варшавѣ, гдѣ начиналась тогда конституціонная жизнь царства польскаго; Карамзинъ приготовлялъ изданіе въ свѣтъ первыхъ восьми томовъ своей Исторіи. Въ началѣ января этого года онъ пишетъ Вяземскому, что книга окончена: «остановка за генеалогическими таблицами и за переплетомъ»; а 28-го января онъ извѣщаетъ: «пріѣздъ Государевъ заставилъ меня выѣхать, чтобы поднести ему 8 томовъ Исторіи; на другой день я у него имѣлъ честь обѣдать и быть въ кабинетѣ; а тамъ опять сидѣлъ дома и теперь еще не совсѣмъ здоровъ. Исторія моя отправилась къ Императрицѣ etc., но еще не вышла изъ переплета, слѣдственно, и въ свѣтъ: надѣюсь, что это будетъ на сихъ дняхъ, и къ вамъ отправится экземпляръ». Н. П. Барсуковъ, составившій объяснительныя примѣчанія къ этимъ письмамъ Карамзина, припоминаетъ здѣсь изъ сочиненій князя Вяземскаго, что въ Варшавѣ императоръ Александръ спросилъ князя П. А. Вяземскаго: прочелъ ли онъ Исторію Карамзина, которая только-что вышла въ печати. «На мой отвѣтъ,—пишетъ князь Вяземскій,—что еще не успѣлъ я прочесть—государь съ видомъ какого-то самодовольства сказалъ мнѣ: «А я прочелъ ее съ начала до конца».

Извѣстно, какимъ событіемъ было тогда появленіе Исторіи. Это была едва ли не первая русская книга, которая равно за-

интересовала и привлекла всѣ классы общества, между прочимъ и тотъ высшій классъ, который едва подозрѣвалъ существованіе русской литературы. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ большое значеніе имѣло, конечно, то обстоятельство, что трудъ Карамзина былъ высоко оцѣненъ императоромъ Александромъ, и вниманіе царской фамиліи стало закономъ для аристократическаго круга. Другой вопросъ—насколько она была понята въ этомъ кругу читателей; объ этомъ, между прочимъ, даютъ понятіе анекдоты, разсказанные Пушкинымъ. Книга имѣла, конечно, и большой внѣшній успѣхъ. Въ половинѣ февраля Карамзинъ могъ уже написать: «даемъ вамъ добрую вѣсть о своемъ здоровьѣ и продажѣ книги: ея разошлось до сегодня 1800 экземпляровъ; это не мало».

Князю Вяземскому по его службѣ приходилось въ Варшавѣ переводить правительственные документы, какъ, напримѣръ, рѣчь самого императора Александра, съ французскаго языка. Въ письмахъ заходитъ рѣчь и объ этомъ. Въ письмахъ отъ мая того же года, Карамзинъ дѣлаетъ такія замѣчанія: переводомъ вашимъ я доволенъ; только нѣкоторыя слова перевелъ бы иначе. Напримѣръ, je tiens — не есть д о р о ж у ни къ какомъ смыслѣ... Смѣло переводите regence, regent п р а в л е н і е и п р а в и т е л ь, a gouvernement п р а в и т е л ь с т в о, administratif у п р а в и т е л ь н ы й; но attribution лучше п р и н а д л е ж н о с т ь, нежели п р и с в о е н і е, которое значитъ другое. Foncière н е п о з е м е л ь н а я, а н е д в и ж и м а я. Не сказалъ бы я ни у з а к о н и т ь с я, ни у к о р е н и т ь с я: лучше в с т у п и т ь въ п о д д а н с т в о, с д ѣ л а т ь с я г р а ж д а н и н о м ъ и проч. Т у з е м е ц ъ хорошо».

Въ томъ же маѣ, онъ говоритъ уже о приготовленіи второго изданія Исторіи.

Въ письмахъ того же года заходитъ рѣчь о политическихъ вопросахъ, между прочимъ по поводу г-жи Сталь. Карамзинъ пишетъ: «Соглашаюсь съ вами, что m-me Сталь достойна носить штаны на томъ свѣтѣ»... «M-me Сталь дѣйствовала на меня не такъ сильно, какъ на васъ. Не удивительно, женщины на молодыхъ людей дѣйствуютъ сильнѣе, а она въ этой книгѣ для меня женщина, хотя и очень умная. Дать Россіи конституцію въ модномъ смыслѣ есть нарядить какого-нибудь важнаго человѣка въ гаерское платье или нашего ученаго Линде учить грамотѣ по ланкастерской методѣ. Россія не Англія, даже не царство Польское: имѣетъ свою государственную судьбу, великую, удивительную и скорѣе можетъ упасть, нежели еще болѣе возвеличиться. Самодержавіе есть душа, жизнь ея, какъ республиканское правленіе было жизнію Рима. Эксперименты не годятся въ такомъ случаѣ. Впрочемъ, не мѣшаю другимъ мыслить иначе. Одинъ умный человѣкъ сказалъ: «я не люблю молодыхъ людей, которые не любятъ вольности, но не люблю и пожилыхъ людей, которые любятъ вольность». Если онъ сказалъ не безсмыслицу, то вы должны любить меня, а я васъ. Потомство уви-

дитъ, что лучше или что было лучше для Россіи. Для меня, старика, пріятнѣе итти въ комедію, нежели въ залу національнаго собранія или въ камеру депутатовъ, хотя я въ душѣ—республиканецъ, и такимъ умру».

Это республиканство Карамзина извѣстно давно, потому что онъ говорилъ объ немъ не однажды. Это была, конечно, только манера выражаться. Въ дѣйствительныхъ отношеніяхъ онъ былъ совершенно убѣжденный монархистъ и консерваторъ; онъ признавалъ крѣпостное право, противъ котораго начинали возражать отвергаемые имъ «либералисты»; онъ спокойно пользовался всѣми удобствами своего привилегированнаго положенія; онъ видѣлъ въ положеніи общества тѣ или другія ненормальности, но не думалъ дѣлать изъ нихъ вопроса, находилъ причину ихъ только въ личныхъ недостаткахъ исполнителей: ему были непонятны «либералисты», которые именно доискивались источниковъ ненормальнаго положенія общества и находили ихъ въ недостаткахъ учрежденій, въ слабомъ развитіи образованія. Вопросъ былъ крайне сложный и трудный: либералисты могли ошибаться, и дѣйствительно ошиблись въ своихъ рѣшеніяхъ; но вопросъ, однако, былъ историческій, въ той или другой формѣ онъ постоянно возвращался въ общественномъ сознаніи и имѣлъ всю силу и право волновать умы въ болѣе образованной части общества. Карамзинъ отвергалъ даже и это, и отвѣчалъ на тревожные вопросы «либералистовъ» только консервативнымъ фатализмомъ, который, конечно, не былъ отвѣтомъ, но только уклоненіемъ отъ вопроса. Такимъ уклоненіемъ было и «республиканство въ душѣ»: онъ чувствовалъ себя чуждымъ многому, что видѣлъ кругомъ себя, справедливо чувствовалъ свое превосходство надъ окружающей общественной средой, но имѣлъ также и значительную долю высокомѣрія: ему самому вѣроятно искренно думалось, что его настроеніе опредѣляется «республиканствомъ». Замѣчено было, что подобнымъ образомъ самый консерватизмъ его соединялся съ невысокимъ представленіемъ о русскомъ народѣ.

Князь Вяземскій въ то время также былъ не послѣднимъ «либералистомъ», хотя, впрочемъ, только на словахъ и въ теоріяхъ. Карамзинъ не однажды воздерживаетъ его и между прочимъ даетъ ему совѣтъ и теперь. «Поздравляю васъ съ осторожностью дипломата,—говоритъ онъ въ письмѣ отъ 11-го сентября 1818 года,—не безпокойтесь: оба письма у насъ, и не были, какъ надѣюсь, въ чужихъ рукахъ. Несмотря на публичную искренность нашего времени, будьте всегда осторожны: это не худо. Мы, старики, можемъ иногда позволить себѣ и лиценцію благонамѣренную; но вы, молодые люди, держитесь устава. Какъ ни люблю читать вашу душу, но отдамъ свое удовольствіе за ваше, милый другъ, спокойствіе. Однакожъ прошу не злоупотреблять того во зло; есть граница и для скромности: говорите не все, но говорите».

Въ письмѣ отъ августа 1819, находимъ любопытное дополненіе къ просьбѣ, которая написана была Карамзинымъ для одной просительницы и напечатана была въ его «Неизданныхъ сочиненіяхъ» (1862, стр. 230 — 235): «1-ый департаментъ сената на меня сердитъ за то, что я написалъ и вручилъ Государю жалобу одной бѣдной дворянки, осужденной имъ (сенатомъ) на каторгу беззаконно: Государь разсмотрѣлъ дѣло, уничтожилъ рѣшеніе сената и сдѣлалъ ему выговоръ именнымъ указомъ. Не только сенаторы, но и министръ юстиціи, но и Столыпинъ въ гнѣвѣ на исторіографа. Зато бѣдная дворянка стала здоровѣе, а добрый императоръ сказалъ мнѣ спасибо, позволилъ даже и впредь сказывать ему о несчастныхъ, объ утѣсненныхъ: право любезное, но надежно ли?»

Въ письмѣ отъ мая 1820, отзывъ о Пушкинѣ. «Пушкинъ бывъ нѣсколько дней совсѣмъ не въ піитическомъ страхѣ отъ своихъ стиховъ на свободу и нѣкоторыхъ эпиграммъ, далъ мнѣ слово уняться и благополучно поѣхалъ въ Крымъ мѣсяцевъ на пять. Ему дали рублей 1.000 на дорогу. Онъ былъ, кажется, тронутъ великодушіемъ государя, дѣйствительно трогательнымъ. Долго описывать подробности, но если Пушкинъ и теперь не исправится, то будетъ чертомъ еще до отбытія своего въ адъ. Увидимъ, какой эпилогъ напишетъ онъ къ своей поэмкѣ!»

О Пушкинѣ упоминается опять дальше, въ письмѣ отъ августа, 1824 года, когда онъ съ юга Россіи переселенъ былъ въ псковскую деревню. Карамзинъ пишетъ: «Поэту Пушкину велѣно жить въ деревнѣ отца — разумѣется, до времени его исцѣленія отъ горячки и бреда. Онъ не сдержалъ слова, мнѣ имъ даннаго въ тотъ часъ, когда мысль о крѣпости ужасала его воображеніе: не переставалъ врать словесно и на бумагѣ, не могъ ужиться даже съ графомъ Воронцовымъ, который совсѣмъ не деспотъ». И еще въ письмѣ отъ декабря того же года: «Вчера маленькій Пушкинъ читалъ намъ цыганскую поэмку брата и нѣчто изъ Онѣгина: живо, остроумно, но не совсѣмъ зрѣло».

Въ письмѣ отъ февраля 1821, находимъ эпизодъ крѣпостныхъ нравовъ: «Вотъ просьба. Тверской вашъ бурмистръ высѣкъ нашу кормилицу Ѳеклу за то, что она просилась ѣхать къ намъ. Молоко ея воспитало Наташу и Катеньку, вашъ отецъ и вы письменно велѣли сельскому начальству уважать въ ней эту заслугу, а бурмистръ начальствуетъ и сѣчетъ пятидесятилѣтнюю женщину. Потребуйте съ него строгаго отвѣта. Еще убѣдительно прошу васъ, любезнѣйшій другъ, дать повелѣніе, чтобы не отдавать въ рекруты ея старшаго сына до возраста малолѣтнихъ его братьевъ».

Въ письмѣ отъ августа того же года, онъ пишетъ къ князю Вяземскому: «И намъ уготовьте уголокъ (въ Остафьевѣ) къ слѣдующему лѣту, если будемъ живы, и если не будетъ третьяго изданія сочиненія моей Исторіи. Пишу 10 томъ очень медленно: кончилъ только первую главу». Въ концѣ онъ прибавляетъ: «эко-

номьте, платите долги, а тамъ, если пароксизмъ либерализма пройдетъ, выбирайте службу и мѣсто!» Должно сказать къ этому, что служба князя Вяземскаго въ Варшавѣ передъ тѣмъ кончилась. Самъ онъ разсказываетъ: «съ Тропавскаго конгресса рѣшительно начинается новая эра въ умѣ императора Александра и въ политикѣ Европы. Онъ отрекся отъ прежнихъ своихъ мыслей; разумѣется, примѣръ его обратилъ многихъ. Я (хотя это мѣстоименіе тутъ и очень неумѣстно) остался такимъ образомъ приверженцемъ мнѣнія уже не торжествующаго, а опальнаго». Когда имп. Александръ проѣзжалъ черезъ Варшаву, великій кн. Константинъ Павловичъ жаловался ему на кн. Вяземскаго, который былъ тогда въ Россіи. «По приказанію государя, Новосильцовъ написалъ мнѣ, что его величество, увѣдомившись, что я держусь принциповъ, несогласныхъ съ видами правительства, и разглашаю ихъ, находитъ нужнымъ вопретить мнѣ возвращеніе къ мѣсту служенія моего въ Варшавѣ». Князь Вяземскій замѣчаетъ въ другомъ мѣстѣ: «Впрочемъ, скажу заранѣе, что тутъ было много моей вины, то-есть, недосмотрительности, неосторожности, а еще болѣе виноваты были въ томъ посторонні вліянія и неблагопріятныя обстоятельства. Государь не могъ поступить иначе: онъ долженъ былъ вызвать меня изъ Варшавы, но въ то же время велѣлъ онъ сказать мнѣ чрезъ Карамзина, что всякая другая служба остается для меня вполнѣ открытою». Въ концѣ концовъ кн. Вяземскій былъ уволенъ изъ канцеляріи Новосильцова, и ему нужно было искать другой службы.

Въ томъ же письмѣ находимъ любопытную замѣтку: «старайтесь не скучать: пишите стихами и прозою; издавайте пословицы, старыя ваши пѣсни съ замѣчаніями, etc., etc». И затѣмъ въ другомъ письмѣ отъ того же августа Карамзинъ повторяетъ: «обратимся къ важнѣйшему: думаете ли о собраніи русскихъ пословицъ и пѣсенъ?» Г. Барсуковъ напоминаетъ при этомъ слова кн. Павла Петр. Вяземскаго: «Мой отецъ, любившій и понимавшій поэзію въ устахъ самого народа, всегда недовѣрчиво и враждебно относился къ письменной народной поэзіи, обрабатываемой и выпускаемой въ свѣтъ литературными людьми». Такимъ образомъ, сочувствія къ подлинной народной поэзіи находили мѣсто даже среди писателей, сполна принадлежащихъ литературному періоду, который считался подражательнымъ. Кн. Вяземскій былъ въ сущности даже не приверженецъ нашего романтизма, въ которомъ, по чужимъ образцамъ, была наклонность увлекаться созданіями народной фантазіи,—напротивъ, онъ гораздо больше былъ классикъ по своимъ литературнымъ вкусамъ, и однако у него была, повидимому, дѣйствительно большая любовь къ народной поэзіи, если Карамзинъ такъ положительно говорилъ о собираніи и изданіи пѣсенъ и пословицъ.

Въ одномъ изъ писемъ 1821 г. Карамзинъ давалъ кн. Вяземскому мысль написать эпитафію Наполеону; и въ другомъ письмѣ повторяетъ: «Вы дивитесь задачѣ писать эпитафію На-

полеону; я стою въ томъ, что можно безъ ссоры съ цензурою бросить нѣсколько стиховъ на его могилу, блестящихъ мыслями, какъ перлами нетлѣнными. Предметъ высокъ и глубокъ, не въ мѣру цензурѣ, и тѣмъ лучше: она не должна найти въ немъ ничего запрещеннаго; а потомство нашло бы тутъ истину, еще не весьма ясную для современниковъ». Мы упомянемъ дальше, что у самого кн. Вяземскаго было высокое представленіе о значеніи Наполеона, своего рода культъ, весьма впрочемъ распространенный въ то время, хотя, повидимому, поклонники Наполеона едва-ли отдавали себѣ точный отчетъ въ томъ, чему можно было здѣсь поклоняться. Въ письмѣ отъ декабря 1822 г., любопытны упоминанія Карамзина объ его исторической работѣ: «пишу рѣдко, не столько отъ лѣни, сколько отъ прилежанія къ историческому дѣлу, спѣшу, если можно, дойти до конца, пока еще могу писать. Старость на дворѣ: того и смотри, что сгонитъ съ двора охоту писать, а мнѣ хотѣлось бы посадить Романова на тронъ и взглянуть на его потомство до нашего времени, даже произнести имя Екатерины, Павла и Александра съ историческою скромностью. Сижу часовъ пять, а напишу иногда строкъ пять; устану, а тамъ не легко писать — и къ друзьямъ».

Изрѣдка упоминается въ письмахъ объ иностранной политикѣ. Карамзинъ, хотя республиканецъ въ душѣ, не показывалъ этого республиканства не только по отношенію къ русскимъ дѣламъ, но и къ западно-европейскимъ. То было время конгрессовъ и съ другой стороны свободолюбивыхъ волненій въ разныхъ концахъ западной Европы — отголосокъ великаго историческаго движенія котораго еще недавнимъ бурнымъ эпизодомъ были Наполеоновскія войны. Нѣсколько странно видѣть, что даже умные современники, какъ Карамзинъ, не видѣли этого общаго историческаго основанія тѣхъ политическихъ тревогъ, какія наполняли тогда европейскую жизнь. Ему какъ будто казалось, что онѣ происходятъ только отъ отдѣльныхъ лицъ, легкомысленныхъ, бурно направленныхъ или прямо злонамѣренныхъ; поэтому онъ относился къ тогдашнему европейскому движенію очень часто только съ недружелюбнымъ пренебреженіемъ, не замѣчая, что въ сущности въ цѣлой политической жизни Европы совершался глубокій переворотъ. Онъ пишетъ, напримѣръ, въ августѣ 1819 года: «Раздолье крикунамъ и глупымъ умникамъ; не худо и плутишкамъ, а намъ съ вами что? Не знаю. Смотрю на Англію, на Германію и говорю съ покойнымъ Батонди (это былъ старый итальянецъ, жившій въ домѣ кн. Вяземскаго-отца и забавлявшій общество своими шутками): il y aura quelque chose! За то мы ходимъ въ Россіи какъ сонные и спимъ какъ праведники. Я зритель съ любопытствомъ и наблюденіемъ, но только зритель. Не завидую актерамъ: они не завидны». Но въ октябрѣ 1824 онъ высказываетъ свое сочувствіе Карлу X. «Мы, какъ добрые французы, поемъ многія лѣта Карлу X, au roi à cheval, по выра-

женію Шатобріана. Начало самое благополучное. Никто не восходилъ на престолъ въ шестьдесятъ четыре года съ такою пріятностью. Это царствованіе можетъ быть весьма важно и для Европы». Извѣстно, какъ мало оправдались эти пріятныя ожиданія. Письма конца 1825 года любопытны выраженіями скорби о кончинѣ императора Александра; частію онѣ были извѣстны еще ранѣе. Въ письмѣ отъ 30 ноября, Карамзинъ говоритъ: «Вы знали искренность нашей любви къ Государю и чувствуете нашу горесть. Слова не отвѣчаютъ сердцу. Онъ уже не захотѣлъ бы къ намъ возвратиться, если бы и могъ (?), даже и для того, чтобы сдѣлать еще многое, многое для Россіи, какъ ему хотѣлось, по словамъ, слышаннымъ мною передъ его отъѣздомъ. 25 лѣтъ мы, невинные и неподлые, жили мирно, не боясь ни тайной канцеляріи, ни Сибири: скажемъ ему спасибо. Могущество Россіи также при немъ не упало. Въ душѣ его было что-то ангельское. Если онъ какъ человѣкъ не былъ лучше насъ всѣхъ, то и мы всѣ вмѣстѣ не лучше его. Кто умѣлъ такъ прощать и не мстить за личныя оскорбленія? Любя Россію, желаю, чтобы будущіе государи ея уподобились ему въ великодушіи и во многихъ прекрасныхъ свойствахъ. Связь моя съ нимъ кончилась слезами и скорбію, но благодарю за нее Бога. Императрица Марія Ѳеодоровна оказываетъ умилительную твердость. 22 ноября Императрица Елизавета была еще жива и тверда чудесно, не отходя отъ тѣла».

Въ письмѣ отъ 31 декабря, онъ говоритъ: «Душевная лихорадка моя еще не совсѣмъ прошла, то-есть экзальтація, произведенная чрезвычайными обстоятельствами.

«Чего мы, Карамзины, лишились въ Александрѣ, того уже никто не можетъ возвратить намъ. Вы, милый князь, говорите о привычкѣ моей: я говорю о свычкѣ души съ душою. Не было во мнѣ ослѣпленія, но было много любви, которую столько люблю! Можно ли читать безъ умиленія, что пишутъ объ Александрѣ умнѣйшіе французы и англичане? Намъ лучше безмолвствовать краснорѣчиво. Отъ русской фабрики меня тошнитъ. Я не пишу ни слова: развѣ скажу что-нибудь въ концѣ XII-го тома, или въ обозрѣніи нашей новѣйшей исторіи — черезъ годъ или два, если буду живъ. Иначе поговорю съ самимъ Александромъ въ поляхъ Елисейскихъ. Мы многаго не договорили съ нимъ въ здѣшнемъ свѣтѣ».

Духовная лихорадка произведена была и другимъ чрезвычайнымъ обстоятельствомъ — событіями 14-го декабря. Карамзинъ пишетъ: «Сколько горечи и безпокойства въ семействахъ. Еще не имѣю точнаго понятія объ этомъ и зломъ, и безумномъ заговорѣ. Вѣрно то, что общество тайное существовало, и что цѣлью его было ниспроверженіе правительства. Отъ важнаго къ неважному: многіе изъ членовъ удостоивали меня своей ненависти, или по крайней мѣрѣ не любили; а я, кажется, не врагъ ни отечеству, ни человѣчеству. Слышно, что раскаяніе

нѣкоторыхъ искренно и полно. Бѣдныя матери, жены, дѣти, младенцы! Не имѣя никакого политическаго вліянія, молюся за Россію. Богъ спасъ насъ 14 декабря отъ великой бѣды. Это стоило нашествія французовъ: въ обоихъ случаяхъ вижу блескъ луча какъ бы неземного. Опять могу писать свою исторію». Дальше онъ прибавляетъ: «Иногда дѣйствительно думаю о Москвѣ, о Дрезденѣ для воспитанія дѣтей, о берегахъ Рейна; но прежде хотѣлось бы издать дюжинный томъ моей исторической поэмы». Мысль о воспитаніи дѣтей въ Дрезденѣ есть опять любопытная черта времени и въ частности взглядовъ Карамзина на условія русской жизни.

Въ письмѣ, отъ января 1826, Карамзинъ писалъ съ оказіей. Изъ письма видно, что у кн. Вяземскаго было мнѣніе о событіяхъ 14 декабря не совсѣмъ согласное со взглядами Карамзина и послѣдній отвѣчаетъ: «Пишу къ вамъ съ г. Погодинымъ и тѣмъ искреннѣе могу сказать, сколько мы обрадовались, что бурная туча не коснулась до васъ ни краемъ, ни малѣйшимъ движеніемъ воздушнымъ. Только ради Бога и дружбы не вступайтесь въ разговорахъ за несчастныхъ преступниковъ, хотя и не равно виновныхъ, но виновныхъ по всемірному и вѣчному правосудію. Главные изъ нихъ, какъ слышно, сами не дерзаютъ оправдываться. Письма Никиты Муравьева къ женѣ и матери трогательны: онъ во всемъ винитъ свою слѣпую гордость, обрекая себя на казнь законную въ мукахъ совѣсти... Можно ли быть тутъ разнымъ мнѣніямъ, о которыхъ вы говорите въ последнемъ вашемъ письмѣ съ какою-то значительностью особенною? Если мы съ женою ошиблись въ смыслѣ и въ примѣненіи, то все сказанное мною само собою уничтожается... Еще повторю отъ глубины души: не радуйте извѣтниковъ ни самою безвиннѣйшею нескромностью! У васъ жена и дѣти, ближніе, друзья, умъ, талантъ, состояніе, хорошее имя: есть, что беречь. Отвѣта не требую». Впослѣдствіи кн. Вяземскій въ своихъ воспоминаніяхъ объ этихъ дняхъ говоритъ: «Сколь ни прискорбно мнѣ было, какъ русскому и человѣку, торжество невинности моей, купленное цѣною бѣдствія многихъ согражданъ, и въ числѣ ихъ нѣкоторыхъ моихъ пріятелей, павшихъ жертвами сей эпохи, но по крайней мѣрѣ я могъ, когда отвращалъ вниманіе отъ участія ближнихъ, поздравить себя съ личнымъ очищеніемъ своимъ, совершеннымъ самыми событіями. Мнѣ казалось, что я, въ глазахъ правительства, отъявленный крамольникъ, бывшій въ пріятельской связи съ нѣкоторыми изъ обвиненныхъ и оказавшійся совершенно чуждымъ соумышленія съ ними, выигралъ рѣшительно мою тяжбу. Скажу безъ уничиженія и безъ гордости: имя мое, характеръ мой, способности мои могли придать нѣкоторую цѣну моему завербованію въ ряды недовольныхъ, и отсутствіе мое между ними не могло быть дѣломъ случайнымъ, или отъ меня независимымъ. Но, по странному противорѣчію, предубѣжденіе противъ меня не ослабло, и

при очевидности истины мнѣ извѣстно слѣдующее заключеніе обо мнѣ: «отсутствіе имени его въ этомъ дѣлѣ доказываетъ только, что онъ былъ умнѣе и осторожнѣе другихъ». Благодарю за высокое мнѣніе о моемъ умѣ, но не хочу на него промѣнять сердце и честь... Нѣтъ, знающіе меня скажутъ, что ни умъ мой, ни сердце мое не свойства разсчетливаго и промышленнаго; если я былъ бы хотя и сокрытымъ дѣйствующимъ лицомъ въ бѣдственномъ предпріятіи, то вѣрно былъ бы на лицо въ сотовариществѣ несчастія. Въ мнѣніяхъ своихъ бывалъ я неумѣренъ и заносчивъ за себя, но вездѣ, гдѣ только имѣлъ случай, старался всегда умѣрять невоздержность другихъ».

Какъ извѣстно, имп. Николай, по вступленіи на престолъ, оказалъ Карамзину величайшее благоволеніе—единственный примѣръ подобнаго рода въ лѣтописяхъ русской литературы. Здоровье Карамзина ослабѣвало; врачи совѣтовали ему жить въ южномъ климатѣ; имп. Николай, взявъ на себя заботу о его путешествіи предоставлялъ въ его распоряженіе фрегатъ, который долженъ былъ доставить его съ семействомъ въ Италію; по смерти Карамзина онъ богато обезпечилъ его семейство.

Въ послѣднихъ письмахъ къ кн. Вяземскому, уже въ 1826 году, Карамзинъ передаетъ свои мечты объ этомъ путешествіи. Въ апрѣлѣ онъ пишетъ: «Какъ вы далеки отъ истины, думая, что мнѣ трудно сдвинуться съ мѣста. Съ этого мѣста сорвала меня буря или болѣзнь, и я имѣю неописанную жажду къ разительно-новому, къ другимъ видамъ природы, горамъ, лазури итальянской etc. Никакъ не могъ бы я возвратиться къ своимъ прежнимъ занятіямъ, если бы здѣсь и выздоровѣлъ. Мнѣ не вѣрится, что буду въ морѣ» etc. И еще въ одномъ письмѣ около того же времени, онъ жаловался на болѣзнь и писалъ: «мысли стремятся во Флоренцію». Но болѣзнь развилась быстрѣе, чѣмъ предполагали и самъ онъ, и его близкіе: 22 мая 1826 года онъ умеръ.

Въ своей записной книжкѣ кн. Вяземскій въ августѣ 1826 привелъ свое тогдашнее письмо къ Жуковскому. «Чувство, которое имѣли къ Карамзину живому, остается теперь безъ употребленія. Не къ кому изъ земныхъ приложить его. Любимъ, уважаемъ иныхъ, но все нѣтъ той полноты чувства. Онъ былъ какимъ-то животворнымъ, лучезарнымъ средоточіемъ круга нашего, всего отечества. Смерть Наполеона въ современной исторіи, смерть Байрона въ мірѣ поэзіи, смерть Карамзина въ русскомъ быту оставила по себѣ бездну пустоты, которую намъ завалить уже не придется. Странное сличеніе, но для меня истинное и не изысканное! При каждой изъ трехъ смертей у меня какъ будто что-то отпало отъ нравственнаго бытія и какъ-то пустѣе стало въ жизни».

Это сопоставленіе именъ можетъ казаться удивительнымъ, если съ каждымъ изъ нихъ должны были соединяться опредѣленныя сочувствія: общаго между ними было мало. Но первыя

два имени представляли для кн. Вяземскаго вѣроятно только отвлеченный интересъ. Сочувствіе Карамзину было, напротивъ, поклоненіемъ, имѣвшимъ и реальное значеніе, литературное и общественное, хотя и здѣсь осталось теперь и послѣ невыясненнымъ отношеніе «либеральныхъ» взглядовъ кн. Вяземскаго къ строго-консервативнымъ идеямъ Карамзина. Впослѣдствіи, какъ извѣстно, кн. Вяземскій потерялъ всякую мѣру къ защитѣ «Исторіи государства россійскаго» противъ Полевого и даже Устрялова.

II.

Полное собраніе сочиненій М. Н. Загоскина. Томъ первый. Спб. 1898. [«Вѣстникъ Европы» 1898, сентябрь].

Сочиненія Загоскина давно заслуживали полнаго изданія. Знаменитый нѣкогда писатель, которымъ восхищались Пушкинъ и Жуковскій, сохранилъ и донынѣ свою славу — въ юношескомъ и популярномъ чтеніи; но прежняя слава даетъ ему мѣсто въ исторіи литературы. Чтеніе его сочиненій имѣетъ интересъ и въ настоящее время съ исторической точки зрѣнія: онѣ характерно отражаютъ давно пережитый литературный періодъ и любопытны чертами нравовъ и самой личностью писателя.

Въ сущности это было не такъ давно, — Загоскинъ умеръ въ 1853 г., — но многое въ его сочиненіяхъ и въ самой біографіи представляется уже далекою стариной. Онъ происходилъ изъ стараго дворянскаго рода (родился въ 1789) и принадлежалъ къ помѣщичьей семьѣ средняго достатка. Ученіе его было домашнее. Какъ разсказываетъ Вигель, который приходился ему родней и видѣлъ его дѣтство, когда Загоскину было четырнадцать лѣтъ и его уже готовили на службу, то ученье его не только не было кончено, а, какъ кажется, даже не было начато. Образованіе ограничивалось чтеніемъ: мальчикъ со страстью любилъ чтеніе и читалъ безъ разбора все, что находилъ въ отцовской библіотекѣ; не все давали ему читать, но онъ ухитрялся тайкомъ добывать книги. До четырнадцати лѣтъ онъ жилъ въ деревнѣ, отцовскомъ помѣстьѣ, и хотя по нынѣшнему онъ былъ бы еще только въ четвертомъ или пятомъ классѣ гимназіи и до нынѣшней «зрѣлости» ему оставалось еще восемь или десять лѣтъ, родители уже отправляли его въ Петербургъ *на службу.* «Тогда былъ такой обычай, — говоритъ Вигель, — въ пятнадцать лѣтъ обыкновенно уже оканчивалось воспитаніе мальчиковъ; полагали, что они уже всему выучены, и спѣшили ихъ отдавать на службу, чтобы они ранѣе могли выйти въ чины. Многіе изъ родителей съ сокрушеннымъ сердцемъ смотрѣли на пагубу, которая угрожала нѣжному возрасту и неопытности сыновей ихъ, но не властны были не слѣдовать общему примѣру, опасаясь обвиненія, что они препятствуютъ счастью и

возвышенію своихъ дѣтей». Самъ Загоскинъ мечталъ о военной службѣ, но отецъ предпочелъ направить его въ гражданскую. Въ Петербургѣ нашлась протекція изъ отцовскаго знакомства, и Загоскинъ на пятнадцатомъ году возраста поступилъ на службу въ канцелярію государственнаго казначея Голубцова, откуда перешелъ потомъ въ горный департаментъ и затѣмъ въ государственный заемный банкъ. Онъ долженъ былъ существовать на жалованье въ 100 рублей въ годъ, потому что отецъ его не высылалъ ему пособій. Въ 1811 онъ опять перешелъ въ департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ и былъ помощникомъ столоначальника въ чинѣ губернскаго секретаря. Такъ рано начиналась тогда самостоятельность юноши.

Объ этой порѣ его жизни ничего неизвѣстно. По всей вѣроятности въ немъ бродили уже и теперь литературные интересы. У него съ дѣтства была живая фантазія; еще мальчикомъ онъ написалъ повѣсть и даже драму въ стихахъ; повидимому, за время своей службы онъ старался пополнить свое образованіе. Къ 1812 году онъ зналъ уже по-французски и немного по-нѣмецки.

Въ двѣнадцатомъ году онъ увлекся патріотическимъ одушевленіемъ, которое овладѣвало тогда молодежью въ ожиданіи грандіозной борьбы, и поступилъ въ петербургское ополченіе, которое назначено было въ подкрѣпленіе корпуса Витгенштейна, прикрывавшаго Петербургъ. Загоскину пришлось принять участіе въ военныхъ событіяхъ; онъ отличился въ сраженіи при Полоцкѣ, былъ раненъ, получилъ орденъ. По излѣченіи раны онъ снова отправился къ полку и оставался въ немъ до сдачи Данцига, т.-е. до окончанія войны. Послѣ этого онъ отправился домой въ деревню и затѣмъ вернулся въ Петербургъ на прежнюю службу, такъ какъ за чиновниками, поступившими въ ополченіе, были оставлены ихъ мѣста до возвращенія ихъ изъ похода. Въ деревнѣ онъ написалъ свою первую комедію, которая послужила началомъ его литературнаго поприща и доставила ему знакомство съ вліятельнымъ драматургомъ того времени, кн. А. А. Шаховскимъ.

Современники изображаютъ его очень живымъ и веселымъ юношей. «Имя Миши, — говоритъ Вигель, — коимъ звали его, было ему весьма прилично: дюжій и неуклюжій, какъ медвѣженокъ, имѣлъ онъ довольно суровое, но свѣжее и красивое личико. Мнѣ онъ не нравился по тѣмъ же самымъ причинамъ, по коимъ многіе и теперь имѣютъ несправедливость не любить его: прежде не зналъ онъ существованія приличій свѣта, а послѣ мало о нихъ заботился. Многіе и тогда обижались слишкомъ фамильярнымъ его обхожденіемъ». По разсказамъ С. Т. Аксакова, — съ которымъ Загоскинъ на первый разъ встрѣтился очень враждебно (они считали себя въ противоположныхъ литературныхъ лагеряхъ), а потомъ очень сдружился, потому что, въ сущности, оказались въ одномъ и томъ же лагерѣ, — «Заго-

скинъ, съ прекрасною наружностью, внушавшею расположеніе и довѣренность, вспыльчивый и живой, откровенный, добрый и постоянно веселый, былъ любимъ товарищами и всѣми его окружавшими. Истинный русакъ, исполненный добродушной шутливости, онъ имѣлъ во время долгой осады Данцига множество смѣшныхъ столкновеній съ нѣмцами. Онъ любилъ объ этомъ разсказывать даже въ немолодыхъ годахъ». Нѣкоторыя происшествія, описанныя имъ въ «Рославлевѣ», взяты изъ его личныхъ воспоминаній объ этомъ военномъ времени.

Знакомство съ княземъ Шаховскимъ перешло въ очень дружескія отношенія, когда Загоскинъ выступилъ съ пьесой «Комедія противъ комедіи», написанной въ защиту князя Шаховскаго. Дѣло въ томъ, что передъ тѣмъ поставлена была извѣстная пьеса Шаховскаго «Липецкія воды», гдѣ авторъ, человѣкъ старой школы, выбранный передъ тѣмъ въ Россійскую Академію, осмѣялъ новое литературное направленіе и даже вывелъ на сцену Жуковскаго подъ именемъ поэта Фіалкина. Само собою разумѣется, что нападеніе встрѣтило сильный отпоръ со стороны друзей Жуковскаго, членовъ «Арзамаса». Въ это время Загоскинъ явился партизаномъ Шаховского. Вражда противъ послѣдняго направилась и на защитника: на Загоскина также посыпались сатиры и эпиграммы.

»Надо перенестись въ то время,—говоритъ біографъ Загоскина,—чтобы понять, какъ могли люди, даже серьезные, лучшіе по уму, талантамъ и образованію, волноваться изъ-за подобныхъ пустяковъ. Но въ ту пору всякое ничтожное стихотвореніе, повѣсть, статейка въ журналѣ давали право на литературную извѣстность; появленіе хорошаго актера на сценѣ, новая пьеса были событіемъ не только для присяжныхъ литераторовъ и театраловъ, но и для любителей, для тѣхъ, которыхъ Загоскинъ называлъ полу-литераторами. Стоитъ только вспомнить разсказы С. Т. Аксакова, чтобы понять то увлеченіе, съ какимъ тогдашнее общество отдавалось самымъ мелкимъ литературнымъ интересамъ, какіе горячіе споры и ссоры возникали по поводу той или другой пьесы, или игры актера. При такихъ только условіяхъ и возможенъ былъ знаменитый «Арзамасъ», который можетъ считаться лучшимъ знаменіемъ своего времени. Лишь на склонѣ дней своихъ современники той поры оказывались въ состояніи измѣнить свой взглядъ на нее: сколько дѣтскаго,—говоритъ потомъ С. Т. Аксаковъ,—и, пожалуй, смѣшного было въ этомъ увлеченіи! Какъ оно живо выражаетъ отсутствіе серьезныхъ интересовъ или, пожалуй, серьезность интереса и взгляда на искусство, можетъ быть у многихъ безсознательнаго».

Біографъ замѣчаетъ, что вступленіе на литературное поприще было, пожалуй, неблагопріятное. Загоскинъ «сталъ на сторону партіи литературныхъ старовѣровъ, не имѣвшей для себя будущности, бѣдной талантами, которые группировались въ про-

тивной ей, молодой прогрессивной партіи... Едва-ли, впрочемъ, это было для Загоскина дѣломъ вполнѣ сознательнаго выбора. Скорѣе, это было дѣломъ случая: молодой, почти безъ всякаго образованія, безъ опредѣленныхъ убѣжденій, почти безъ литературныхъ знакомствъ, Загоскинъ случайно знакомится съ Шаховскимъ и, не успѣвши еще хорошо осмотрѣться въ новой для него сферѣ, беретъ на себя защиту этого писателя».

Съ этихъ поръ Загоскинъ дѣятельно вступилъ въ литературу, а именно, много писалъ для театра, принялъ участіе въ журналистикѣ, какъ описатель нравовъ и моралистъ, вступалъ въ мелкую полемику съ литературными противниками. Наконецъ, онъ перемѣнилъ службу, и именно, служилъ одно время при театрѣ, а потомъ перешелъ въ Публичную библіотеку. Въ 1820 году онъ переселился въ Москву и здѣсь опять продолжалъ писать пьесы для театра и хотя въ первое время скучалъ въ Москвѣ и стремился въ Петербургъ, но въ концѣ концовъ такъ обжился въ Москвѣ и нашелъ тамъ столько друзей, что сдѣлался горячимъ, спеціально московскимъ патріотомъ. Онъ имѣлъ здѣсь большіе театральные успѣхи, но уже вскорѣ ожидала Загоскина его настоящая слава. Въ 1829, вышелъ «Юрій Милославскій». С. Т. Аксаковъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что Загоскинъ сталъ наконецъ тяготиться условной формой комедіи, и «открытымъ полемъ, гдѣ могло свободно разгуляться воображеніе писателя», ему представлялся теперь романъ, именно романъ историческій во вкусѣ Вальтеръ-Скотта Когда онъ задумалъ свое новое произведеніе, новый трудъ, гдѣ дѣйствительно открывалась полная свобода его фантазіи, повидимому поглотилъ его совершенно. Аксаковъ разсказываетъ: «онъ былъ весь погруженъ въ эту мысль, охваченъ ею совершенно; его всегдашняя разсѣянность, къ которой давно привыкли и которую уже не замѣчали, до того усилилась, что всѣ ее замѣтили и всѣ спрашивали другъ друга, что сдѣлалось съ Загоскинымъ. Онъ не видитъ, съ кѣмъ говоритъ, и не знаетъ, что говоритъ. Встрѣчаясь на улицахъ съ короткими пріятелями, онъ не узнавалъ никого, не отвѣчалъ на поклоны и не слыхалъ привѣтствій».

Извѣстно, что романъ имѣлъ успѣхъ необычайный—въ этой области небывалый въ русской литературѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, это былъ и успѣхъ совсѣмъ неожиданный: никто не думалъ, чтобы Загоскинъ могъ написать такую вещь. Разсказываютъ анекдотъ, что, прочитавши въ одномъ домѣ отрывокъ изъ своего еще неоконченнаго романа, Загоскинъ привелъ слушателей въ полный восторгъ, и хозяйка дома, не помня себя отъ волненія, сказала ему наивно: «Признаюсь, Михаилъ Николаевичъ, я никакъ не ожидала отъ васъ такой прелести!» — «И я тоже, сударыня», отвѣчалъ Загоскинъ. Но когда романъ былъ законченъ и вышелъ въ свѣтъ, съ такимъ же восторгомъ принялъ его весь тогдашній литературный міръ, Пушкинъ и Жуковскій,

Дмитріевъ, князь Шаховской, Гнѣдичъ, Крыловъ и т. д. Аксаковъ разсказываетъ, что Загоскинъ «сдѣлался знаменитостью, моднымъ человѣкомъ, необходимостью обѣдовъ, баловъ, раутовъ и бесѣдъ съ литературнымъ направленіемъ, львомъ тогдашняго времени; вниманіе и одобреніе государя довершили торжество Загоскина». Въ общемъ хорѣ не участвовали только Гречъ и его другъ Булгаринъ, который въ это самое время готовилъ къ выходу своего «Димитрія Самозванца» и не могъ вынести появленія такого соперника. Самъ Загоскинъ былъ такъ простодушенъ, что адресовалъ именно къ Гречу экземпляры книги для раздачи нѣкоторымъ друзьямъ въ Петербургѣ; только послѣ онъ узналъ, что Гречъ вовсе не торопился исполненіемъ его порученія, а кромѣ того Загоскинъ прочелъ и язвительные отзывы «Сѣверной Пчелы».

Если принять въ соображеніе, что «Юрій Милославскій» появлялся въ такое время, когда историческій романъ былъ въ нашей литературѣ совершенною новостью, успѣхъ его становится понятенъ. Даже требовательный Бѣлинскій признавалъ въ немъ немалыя достоинства. Онъ надолго остался популярнымъ чтеніемъ, можетъ имъ быть и до сихъ поръ, но въ литературномъ развитіи его значеніе кончилось довольно скоро.

Неизвѣстный авторъ жизнеописанія, при первомъ томѣ настоящаго «Полнаго собранія сочиненій», составилъ это жизнеописаніе очень обстоятельно и вообще вѣрно опредѣляетъ достоинства и слабыя стороны Загоскина. Отъ него не ускользнули причины слабаго успѣха дальнѣйшихъ произведеній Загоскина и характеръ его цѣлаго міровоззрѣнія. Онъ справедливо замѣчаетъ, напримѣръ, что міровоззрѣніе Загоскина, его взглядъ на нравственное развитіе народа, на просвѣщеніе не идутъ дальше давнишнихъ разсужденій Фонъ-Визинскаго Стародума. Къ наукамъ онъ недовѣрчивъ, потому что онѣ все равно никогда не дойдутъ до объясненія всѣхъ тайнъ жизни и природы; вмѣсто наукъ надо стремиться къ добродѣтели; и въ особенности просвѣщеніе не нужно для крестьянина (въ этомъ послѣднемъ случаѣ была одна печальная правда въ замѣчаніяхъ Загоскина: «безграмотный мужикъ не бѣда, а вотъ худо то, когда самъ помѣщикъ читаетъ по складамъ»). Изложеніе своихъ идей Загоскинъ помѣстилъ въ романѣ «Искуситель». Даже другъ его С. Т. Аксаковъ признавалъ «Искусителя» самымъ слабымъ произведеніемъ Загоскина. Вскорѣ затѣмъ Загоскинъ еще болѣе опредѣленно изложилъ свои взгляды въ извѣстномъ «Маякѣ»: они становились настоящимъ обскурантизмомъ, который не производитъ особенно отталкивающаго впечатлѣнія только потому, что въ немъ все-таки сквозитъ наивное добродушіе; но эти призывы къ добродѣтели вмѣсто наукъ все-таки доставляютъ нѣкоторое оружіе настоящимъ злостнымъ обскурантамъ.

Въ концѣ концовъ, въ литературныхъ кругахъ на Загоскина не смотрѣли серьезно. Біографъ разсказываетъ, что къ соро-

ковымъ годамъ «убѣжденія Загоскина окончательно установились. Изъ двухъ направленій, которыя ясно опредѣлились въ это время въ нашемъ обществѣ: западничества и славянофильства, онъ, конечно, избралъ послѣднее, хотя философская основа этого ученія была для него, какъ всякая философія, вообще чужда». И біографъ приводитъ отрывокъ изъ письма Хомякова къ Самарину: «Досадно, когда видишь, что Загоскинъ (хоть онъ и славный человѣкъ) за насъ, а Грановскій противъ насъ; чувствуешь, что съ нами инстинктъ, ибо Загоскинъ—выраженіе инстинкта, а умъ и мысль съ нами мириться не хотятъ». Можно было бы прибавить неупомянутый біографомъ разсказъ С. Т. Аксакова о томъ, какъ онъ знакомилъ съ Загоскинымъ Гоголя. Это было еще въ тридцатыхъ годахъ. Загоскинъ былъ тогда нуженъ Гоголю, какъ человѣкъ, имѣвшій значеніе въ московскихъ театральныхъ дѣлахъ; Гоголь достигъ чего ему было нужно, но Аксаковъ замѣтилъ, что въ сущности Гоголь относился къ Загоскину крайне пренебрежительно. Сцена была довольно отталкивающая, но исторически характерная.

III.

Полное собраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго. Томъ IX. 1813—1852 г., изданіе гр. С. Д. Шереметева. Спб. 1884. [«Вѣстникъ Европы» 1884, мартъ].

Это изданіе, начатое въ 1878 году, какъ видимъ, дѣятельно ведется впередъ. Мы имѣли случай подробно останавливаться на его первыхъ книгахъ: новые томы его продолжаютъ быть очень интересными. Въ настоящемъ IX томѣ начинается печатаніе «Записныхъ книжекъ» князя П. А. Вяземскаго, которыхъ въ его Остафьевскомъ Архивѣ сохранилось тридцать семь; здѣсь помѣщены записи изъ четырнадцати книжекъ. Выдержки изъ своихъ замѣтокъ этого рода кн. Вяземскій печаталъ еще въ старое время, въ «Московскомъ Телеграфѣ» Полевого, въ альманахѣ Дельвига «Сѣверные цвѣты», наконецъ, въ новѣйшихъ изданіяхъ г. Бартенева (безъ имени). То, что было до сихъ поръ напечатано, вошло въ VIII томъ настоящаго изданія; теперь идутъ записныя книжки еще неизданныя.

Въ «Вѣстникѣ Европы» было уже говорено о литературномъ характерѣ князя Вяземскаго. Онъ не былъ писателемъ по профессіи; но было время (особенно двадцатые и тридцатые годы), когда онъ игралъ въ литературѣ весьма дѣятельную и оживленную роль и былъ однимъ изъ замѣтнѣйшихъ лицъ Пушкинскаго кружка. Онъ имѣлъ большую извѣстность какъ своеобразный поэтъ и остроумный критикъ. Въ издаваемыхъ теперь записныхъ книжкахъ онъ является съ своимъ обычнымъ литературнымъ

характеромъ, хотя, какъ увидимъ, съ нѣкоторыми подробностями, довольно неожиданными.

Кн. Вяземскій, какъ замѣчаетъ предисловіе, не велъ дневника, но его замѣняютъ письма и записныя книжки. Эти послѣднія приблизительно распредѣляются по годамъ; но въ старыя книжки онъ иногда вносилъ и новыя замѣтки. Содержаніе записныхъ книжекъ очень разнообразно: отчасти, это—замѣтки въ родѣ дневника;—короткіе или иногда длинные разсказы о встрѣчахъ, разговорахъ; путевыя замѣтки, даже цѣлое описаніе путешествія; отчасти впечатлѣнія прочитаннаго, вспоминавшіеся анекдоты, остроты и каламбуры, свои и чужіе, и т. д.

Въ теченіе своей долгой жизни кн. Вяземскій видѣлъ очень многое. Его отношенія къ литературѣ начались съ первыхъ годовъ нашего вѣка; на его глазахъ прошли цѣлые періоды нашей исторіи; онъ былъ другомъ Карамзина, Жуковскаго, Пушкина; въ теченіе многихъ десятилѣтій онъ близко видѣлъ совершавшееся въ лучшихъ кругахъ того времени. Вмѣстѣ съ тѣмъ это былъ свѣтскій человѣкъ, хорошо знавшій жизнь аристократическаго, придворнаго и высшаго (чиновническаго) міра, зналъ множество болѣе или менѣе выдающихся лицъ своего времени въ Петербургѣ, Москвѣ и Варшавѣ, долго служилъ самъ, много лѣтъ прожилъ заграницей, путешествовалъ и т. д. Наконецъ, это былъ человѣкъ, съ большой начитанностью (особенно французской) остроумный наблюдатель. Не удивительно поэтому, что въ его записныхъ книжкахъ, которыя теперь являются въ печати (хотя, какъ замѣчаетъ предисловіе, и не безъ умолчаній), могло собраться много чрезвычайно любопытнаго матеріала. Замѣтки, писанныя подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ людей и событій, вообще бываютъ интересны, какъ прямой отпечатокъ жизни; тѣмъ больше они могли быть интересны при тѣхъ условіяхъ, какія мы выше указывали. Дѣйствительно, историкъ нашего общества первой половины столѣтія найдетъ въ запискахъ князя Вяземскаго множество любопытныхъ подробностей, которыя помогутъ освѣтить характеръ быта, общественныхъ нравовъ и правительственной системы.

Его собственный взглядъ на вещи не представлялъ ничего рѣзко выдѣлявшагося изъ общаго тона образованнаго круга, но и не былъ лишенъ оригинальности. Въ годы молодости онъ имѣлъ, какъ нерѣдко бываетъ, либеральныя наклонности, за что подвергался даже осужденіямъ Карамзина, но, кажется, уже скоро остепенился; его идеаломъ сталъ Карамзинъ; кружокъ декабристовъ не внушалъ ему сочувствій; къ польскому вопросу, который занималъ тогда либеральные кружки, а нѣкогда и его самого, онъ относился довольно сухо, и т. д.; но въ то же самое время онъ имѣлъ свойства, по которымъ его никакъ нельзя было зачислить въ разрядъ консерваторовъ. Онъ сочувствовалъ лучшимъ идеаламъ своего вѣка; въ свои политическія

размышленія и позднѣе вносилъ умѣренность и здравый смыслъ, несвойственные консерваторамъ, и иной разъ, какъ увидимъ, возставалъ противъ мнѣній и вкусовъ своихъ ближайшихъ друзей, которыхъ вообще высоко цѣнилъ, какъ, напримѣръ, Жуковскаго и Пушкина. Въ первыхъ записныхъ книжкахъ, относящихся къ временамъ императора Александра I и къ его собственной молодости, разбросаны замѣтки, которыя даже и не для того времени могутъ показаться весьма либеральными. Это разсужденія о власти вообще, о свойствахъ царедворцевъ, которыхъ онъ сравниваетъ съ холопами, т. е. именно тогдашними дворовыми, отдавая послѣднимъ преимущество, потому что въ нихъ все-таки находилъ больше внутренняго чувства независимости; размышленія о представительствѣ и т. п. У него встрѣчаются характерныя замѣтки о тогдашнихъ общественныхъ и литературныхъ взглядахъ, которыя были бы въ пору и нашему времени, черезъ пятьдесятъ или шестьдесятъ лѣтъ. Въ образчикъ его мнѣній изъ поры его молодости приводимъ одно его сужденіе:

«Напрасно думаютъ,—говоритъ онъ,—что желаніе расширенія нѣсколько правъ гражданскихъ и человѣческихъ, принадлежащихъ человѣку, члену образованнаго общества, есть признакъ непріязни къ властямъ, возмутительнаго безпокойства. Нимало; мы желаемъ свободы умственныхъ способностей своихъ, какъ желаемъ свободы тѣлесныхъ способностей, рукъ, ногъ, глазъ, ушей, подвергаясь взысканію закона, если во зло употребимъ или черезъ мѣру эту свободу. Рука—орудіе вѣрно пагубное для ближнихъ, когда она виситъ съ плеча разбойника, но правительство не велитъ связывать руки всѣмъ потому, что въ числѣ прочихъ будутъ руки и убійственныя. Въ обществѣ, гдѣ я не имѣю законнаго участія по праву того, что я членъ онаго общества, я связанъ. Читая газеты, видя, что во Франціи и и Англіи человѣкъ пользуется полнотою бытія своего нравственнаго и умственнаго, видя тамъ, что каждая мысль, каждое чувство имѣетъ свой истокъ и примѣняется къ общей пользѣ, я не могу смотрѣть на себя иначе, какъ на затворника въ тюрьмѣ, которому оставили употребленіе однихъ неотъемлемыхъ способностей и то съ ограниченіями; а свобода его въ томъ заключается, что онъ для службы острога ходитъ брянча цѣпями по улицѣ за водою, мететъ улицы и проч., или собираетъ милостыню для содержанія тюрьмы. Въ такомъ насильственномъ положеніи страсти должны быть раздражаемы. Вѣроятно, если человѣку, просидѣвшему только съ узами на рукахъ, удастся ихъ расторгнуть, то первымъ движеніемъ его будетъ не перекреститься или подать милостыню, а развѣ ударить того и тѣхъ, которые связали ему руки и дразнили его на свободѣ, когда онъ былъ связанъ» (стр. 45, 46).

На слѣдующихъ затѣмъ страницахъ есть еще нѣсколько заявленій въ томъ же родѣ. И впослѣдствіи, по поводу раз-

ныхъ общественныхъ явленій, онъ высказывался нерѣдко съ большой свободою мнѣній, которая легко могла быть сочтена за либерализмъ, хотя при общей умѣренности его взглядовъ была только здравымъ смысломъ. Но во всякомъ случаѣ ему случалось сильно расходиться съ преобладающими взглядами. Укажемъ, напримѣръ, его мнѣнія по поводу событій 1826 года. Онъ иногда сильно расходился даже со взглядами своихъ ближайшихъ друзей. Какъ мы сказали, кн. Вяземскій былъ великимъ поклонникомъ Карамзина (стр. 89—90), былъ великимъ почитателемъ Жуковскаго (стр. 30), который по своимъ понятіямъ о внутреннихъ нашихъ вопросахъ повторялъ Карамзина; князь Вяземскій былъ также великимъ поклонникомъ и приверженцемъ Пушкина,—но все это не помѣшало ему самымъ рѣзкимъ образомъ осудить и Жуковскаго, и Пушкина по поводу извѣстныхъ стихотвореній по окончаніи польской войны.

15 сентября 1831 г. онъ пишетъ въ своей книжкѣ негодующія строки о Жуковскомъ:

«Вотъ что я, было, написалъ въ письмѣ къ Пушкину сегодня и чего не послалъ. Попроси Жуковскаго прислать мнѣ поскорѣе какую-нибудь новую сказку свою. Охота ему было писать шинельные стихи (стихотворцы, которые въ Москвѣ ходятъ въ шинели по домамъ съ поздравительными одами) и не совѣстно ли пѣвцу въ станѣ русскихъ воиновъ и пѣвцу въ Кремлѣ сравнивать нынѣшнее событіе съ Бородинымъ? Тамъ мы бились одинъ противъ десяти, а здѣсь, напротивъ, десять противъ одного. Это дѣло весьма важно въ государственномъ отношеніи, но тутъ нѣтъ ни на грошъ поэзіи. Можно было дивиться, что оно долго не дѣлается, но почему въ восторгъ приходить отъ того, что оно сдѣлалось. Слава Богу, русскіе не голландцы: хорошо имъ не вѣрить глазамъ и рукамъ своимъ, что посѣкли бельгійцевъ. Очень хорошо и законно дѣлаетъ господинъ, когда приказываетъ высѣчь холопа, который вздумаетъ отыскивать незаконно и нагло свободу свою, но все же нѣтъ тутъ вдохновеній для поэта. Зачѣмъ перекладывать въ стихи то, что очень кстати въ политической газетѣ. Признаюсь, что мнѣ хотѣлось здѣсь оцарапнуть и Пушкина, который также, сказываютъ, написалъ стихи. Признаюсь и въ томъ, что не послалъ письма не отъ нравственной вѣжливости, но для того, чтобы не сдѣлать хлопотъ отъ распечатаннаго письма по почтѣ. Я увѣренъ, что въ стихахъ Жуковскаго нѣтъ царедворческаго побужденія, тутъ просто русское невѣжество... Мы удивительные самохвалы, и грустно то, что въ нашемъ самохвальствѣ есть какой-то холопскій отсѣдъ. Французское самохвальство возвышается нѣкоторыми звучными словами, которыхъ нѣтъ въ нашемъ словарѣ. Какъ мы ни радуйся, а все похожи мы на дворню, которая въ лакейской поетъ и поздравляетъ барина съ именинами, съ пожалованіемъ чина и проч. Однѣ пѣсни 12-го года могли быть нѣсколько на другой ладъ, и потому

Жуковскому стыдно запѣть иначе»... Опускаемъ другія его размышленія на эту тему.

Въ замѣткѣ 15-го сентября, онъ снова обращается къ Жуковскому... «Я болѣе и болѣе уединяюсь, особняюсь въ своемъ образѣ мыслей. Какъ ни говори, а стихи Жуковскаго — une question de vie et de mort между нами. Для меня они такая пакость, что я предпочелъ бы имъ смерть. Разумѣется, Жуковскій не переломилъ себя, не кривилъ совѣстью, слѣдовательно, мы съ нимъ не сочувственники, не единомышленники. Впрочемъ, Жуковскій слишкомъ подъ игомъ обстоятельствъ, слишкомъ подъ вліяніемъ лживой атмосферы, чтобы сохранить свои мысли во всей чистотѣ и дѣвственности ихъ... Будь у насъ гласность печати, никогда Жуковскій не подумалъ бы, Пушкинъ не осмѣлился бы воспѣть побѣды Паскевича»...

Въ замѣткѣ 22 сентября, онъ говоритъ о знаменитомъ стихотвореніи Пушкина. «Пушкинъ въ стихахъ своихъ: «Клеветникамъ Россіи» кажетъ имъ шишъ изъ кармана. Онъ знаетъ, что они не прочтутъ стиховъ его, слѣдовательно и отвѣчать не будутъ на вопросы, на которые отвѣчать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европѣ любить насъ?..

«Мнѣ также уже надоѣли эти географическія фанфаронады наши: отъ Перми до Тавриды и проч. Что же тутъ хорошаго, чѣмъ радоваться и чѣмъ хвастаться, что мы лежимъ въ растяжку, что у насъ отъ мысли до мысли пять тысячъ верстъ»...

«Вы грозны на словахъ, попробуйте на дѣлѣ».

«А это похоже на Яшку, который горланитъ на мірской сходкѣ: «да что вы, да суньтесь-ка, да гдѣ вамъ, да мои-то»! Неужели Пушкинъ не убѣдился, что намъ съ Европою воевать была бы смерть. Зачѣмъ же говорить нелѣпости и еще противъ совѣсти и болѣе всего безъ пользы? Хорошо иногда въ журналѣ политическомъ взбивать слова, чтобы заметать глаза пѣною; но у насъ, гдѣ нѣтъ политики, изъ чего пустословить, кривословить? Это глупое ребячество, или постыдное униженіе. Нѣтъ ни одного листка «Journal des Debats», гдѣ не было бы статьи, написанной съ большимъ жаромъ и съ большимъ краснорѣчіемъ, нежели стихи Пушкина въ Бородинской годовщинѣ. Тамъ тѣ же мысли, или то же безсмысліе.

«И что опять за святотатство сочетать Бородино съ Варшавою? Россія вопіетъ противъ этого беззаконія. Хорошо «Инвалиду» сближать эпохи и событія въ календарскихъ своихъ калейдоскопахъ, но Пушкину и Жуковскому кажется бы и стыдно» (стр. 155—159).

Ограничимся этими цитатами. Если прибавить, что кромѣ подобныхъ образчиковъ остроумной критики событій мелкихъ и крупныхъ, въ записныхъ книжкахъ князя Вяземскаго разбросано множество любопытныхъ анекдотическихъ подробностей, то изъ этого можно видѣть, сколько интереснаго найдетъ

здѣсь будущій историкъ нашего общества. Съ другой стороны, издаваемыя сочиненія князя Вяземскаго имѣютъ большой интересъ отрицательнаго свойства: это новый примѣръ того, какъ много теряетъ общество отъ отсутствія «гласности печати», по его выраженію. Сколько здравыхъ мыслей, которыя могли бы быть очень полезны въ свое время, осталось подъ спудомъ и не вошло въ обращеніе; какъ уменьшился запасъ критической мысли въ литературѣ; сколько было бы сбережено труда для выясненія многихъ общественныхъ вопросовъ, которые иногда, какъ видимо, бывали ясны и много десятковъ лѣтъ тому назадъ!.. Многія изъ мнѣній князя Вяземскаго, конечно, отошли уже въ область исторіи; но иныя остаются совершенно въ пору и позднѣйшему времени.

IV.

Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ. I. Переписка П. А. Вяземскаго съ А. И. Тургеневымъ. 1812—1819. Изданіе графа С. Д. Шереметева. Подъ редакціей и съ примѣчаніями В. И. Саитова. Спб. 1899. [«Вѣстникъ Европы» 1899, апрѣль].

Остафьево — давнее владѣніе «подмосковная», князей Вяземскихъ, «Остафьевскій архивъ» извѣстенъ историкамъ новѣйшей русской литературы, потому что изъ него извлекали отъ времени до времени любопытнѣйшие матеріалы князь П. А., потомъ князь П. П. Вяземскіе — о той литературной эпохѣ, особливо первой половины столѣтія, которой князь Вяземскій былъ близкимъ свидѣтелемъ. Съ настоящимъ изданіемъ должно ожидать систематическаго обнародованія тѣхъ матеріаловъ, которые до сихъ поръ являлись изъ этого архива въ литературѣ только болѣе или менѣе случайно. Инціатива изданія принадлежитъ графу С. Д. Шереметеву, просвѣщенной ревности котораго къ интересамъ русской науки столько обязано Общество любителей древней русской письменности.

Въ предисловіи, подписанномъ графомъ Шереметевымъ и графиней Е. Шереметевой, урожденной княжной Вяземской, читаемъ:

«Настоящее изданіе Остафьевскаго архива князей Вяземскихъ есть продолженіе дѣла, задуманнаго еще княземъ Павломъ Петровичемъ, который принималъ личное участіе въ составленіи изданной въ 1881 году книги подъ заглавіемъ: «Архивъ князя Вяземскаго».

Изданіе переписки князя Петра Андреевича съ А. И. Тургеневымъ служитъ почином къ обнародованію писемъ и документовъ, собранныхъ нѣсколькими поколѣніями. Обширность этого собранія и его разнообразіе не могутъ служить препятствіемъ къ осуществленію задуманнаго дѣла изданія всего Остафьевскаго архива; исполненіе этого предпріятія да послужитъ

завѣтомъ грядущимъ поколѣніямъ семьи, дорожащей свѣтлыми преданіями минувшаго.

Издаваемая нынѣ первая книга переписки князя П. А. Вяземскаго съ А. И. Тургеневымъ обнимаетъ собою лишь періодъ съ 1812 по 1819 годъ. Переписка эта, конечно, не можетъ служить полнымъ отраженіемъ личности писавшихъ, какъ относящаяся къ ихъ юнымъ годамъ, которые всегда склонны къ порывамъ и увлеченіямъ; но оглашеніе ея необходимо для полной ихъ характеристики.

Остафьевскій архивъ, временно перенесенный нынѣ въ сосѣднее село Михайловское для подробнаго его описанія, составляетъ неотъемлемую принадлежность села Остафьева, вмѣстѣ съ библіотекой и многими вещественными воспоминаніями о Карамзинѣ, Жуковскомъ, Пушкинѣ и о воспѣтой Баратынскимъ плеядѣ, вліяніе которой на отечественную литературу не можетъ быть ни оспариваемо, ни затемнѣно послѣдующими теченіями».

Въ объясненіи редактора изданія указано, что эта переписка велась съ нѣкоторыми перерывами съ 1812 до 1845, года смерти А. И. Тургенева. Все изданіе переписки займетъ четыре тома; въ него включены также письма Николая Ив. и Сергѣя Ив. Тургеневыхъ. «Печатается переписка князя П. А. Вяземскаго съ Тургеневыми почти безъ сокращеній; исключены лишь тѣ немногія выраженія и отдѣльныя слова, которыя не допускаются въ печати». Но и эти пропуски въ своемъ мѣстѣ отмѣчены.

«Значеніе издаваемаго собранія писемъ,—говорится въ замѣткѣ редактора, заключается въ богатствѣ того матеріала, который оно даетъ для исторіи литературы, просвѣщенія и общественной жизни въ Россіи, а частію и въ западной Европѣ». Отдѣльные эпизоды этой переписки являлись въ печати—напр., въ любопытной книжкѣ князя П. П. Вяземскаго: «А. С. Пушкинъ по документамъ Остафьевскаго архива и личнымъ воспоминаніямъ».

Оба корреспондента въ самомъ дѣлѣ были ближайшимъ образомъ связаны съ исторіей русской литературы и общественности въ первой половинѣ вѣка. Князь П. А. Вяземскій (род. 1792) былъ въ близкомъ родствѣ съ Карамзинымъ и рано принялъ участіе въ литературѣ, въ кружкѣ Карамзина и «Арзамаса», въ который зачисленъ былъ на первое время и юный Пушкинъ; Вяземскій былъ въ тѣсныхъ дружескихъ связяхъ съ Жуковскимъ, Батюшковымъ и т. д. Въ семьѣ Тургеневыхъ шла давняя преемственность интересовъ къ литературѣ и дѣлу просвѣщенія. Отецъ, Иванъ Петровичъ Тургеневъ, былъ другъ и сотоварищъ Новикова по его масонскимъ и образовательнымъ предпріятіямъ въ Москвѣ; онъ вывезъ Карамзина изъ Симбирска, гдѣ тотъ велъ разсѣянную жизнь, въ Москву, и ввелъ въ кружокъ Новикова. Гоненіе противъ Новикова, въ послѣдніе годы имп. Екатерины, отразилось, хотя гораздо слабѣе, на Тургеневѣ; но съ воцареніемъ Павла I, когда Новиковъ былъ освобожденъ изъ шлиссель-

бургской тюрьмы, Тургеневъ сдѣланъ былъ директоромъ московскаго университета; въ рукахъ людей Новиковской школы былъ теперь университетскій Благородный пансіонъ, черезъ который прошли между прочимъ многіе дѣятели слѣдующаго поколѣнія, будущіе члены «Арзамаса». Сыновья Тургенева учились въ Геттингенскомъ университетѣ. Александръ Ив. Тургеневъ (род. въ 1784) къ началу издаваемой теперь переписки занималъ уже большое служебное положеніе, и по разнымъ официальнымъ дѣламъ былъ прибѣжищемъ друзей, въ томъ числѣ и Вяземскаго. Его братъ, Николай Ив., былъ также на виду; въ 1813, онъ былъ прикомандированъ съ русской стороны къ барону Штейну въ Германіи по административно-дипломатическимъ дѣламъ и довершалъ здѣсь свою геттингенскую школу; въ 1818, произвела большое впечатлѣніе его книга «Опытъ теоріи налоговъ»; въ 1825, находясь заграницей, онъ былъ привлеченъ къ дѣлу декабристовъ, не вернулся въ Россію, и позднѣе, въ эмиграціи, издалъ въ 1847 книгу La Russie et les Russes», важную для исторіи Александровскаго времени и представлявшую также его защиту отъ обвиненій 1825 года. Издавна онъ былъ защитникомъ освобожденія крестьянъ. Третій братъ, Сергѣй Ив., рано умершій, былъ однимъ изъ ближайшихъ друзей Жуковскаго. Послѣ 1825 года, Александръ Ив., оставивъ службу, устроилъ имущественныя дѣла своего брата Николая, много жилъ заграницей и, между прочимъ, занятъ былъ собираніемъ въ западныхъ архивахъ историческихъ документовъ о Россіи, которые изданы были въ двухъ большихъ томахъ Археографической Комиссіей. Свои путешествія въ западной Европѣ онъ обстоятельно разсказывалъ въ письмахъ къ близкимъ, и въ 1872 году изданъ былъ любопытный томъ этой переписки, къ сожалѣнію, оставшейся безъ продолженія... Между прочимъ, А. И. Тургеневъ, близкій съ семействомъ Пушкиныхъ, въ 1811 году помѣстилъ въ лицей будущаго поэта.

Изданныя въ настоящемъ первомъ томѣ письма носятъ вообще характеръ дружеской бесѣды, гдѣ люди понимаютъ другъ друга на полусловѣ и намекѣ, гдѣ часто отсутствуютъ ближайшія подробности, какія были бы нужны постороннему читателю, и которыя для писавшихъ подразумѣвались сами собой; въ промежуткахъ переписки друзья видѣлись, и у нихъ являлись новые предметы для такихъ короткихъ намековъ,—но письма все-таки очень интересны, тѣмъ болѣе, что редакторъ изданія сопроводилъ ихъ обширными примѣчаніями, гдѣ вообще объясняются условія переписки и всякія подробности ея содержанія, указываются лица, ихъ отношенія, внѣшнія обстоятельства и т. д.

Письма открываются двѣнадцатымъ годомъ, и здѣсь нашлись любопытныя черты времени. Князь Вяземскій, жившій послѣ оставленія Москвы въ Вологдѣ, писалъ Тургеневу, 18-го октября 1812, письмо, наполненное отчаяніемъ и жалобами. Вспоминая старую жизнь въ Москвѣ, онъ говорилъ:... «И гдѣ это все, и

когда это возвратится? Ночь ужасная окружаетъ насъ; мы бредемъ, и сами не знаемъ куда. Гдѣ освѣтятъ насъ лучи наступающаго утра, и когда наступитъ оно? Признаюсь, надеждѣ заперто мое сердце: оно столько было ею обмануто; но и самъ разсудокъ не былъ ли принужденъ часто признаваться, что онъ строилъ планы свои на пескѣ. Взятіе Смоленска обмануло не одну надежду и самый разсудокъ оставило въ дуракахъ. О Москвѣ и говорить нечего. Сердце кровью обливается... Каждое утро мнѣ кажется, что я впервой еще узнаю объ горестной ея участи».

Тургеневъ тотчасъ отвѣчалъ на эти жалобы, въ письмѣ отъ 27-го октября, которое очень характерно передаетъ совсѣмъ иное настроеніе.

«Зная твое сердце,—писалъ Тургеневъ,—я увѣренъ, что ты не о томъ, что потерялъ въ Москвѣ, но о самой Москвѣ тужишь и о славѣ имени русскаго, но Москва снова возникнетъ изъ пепла, а въ чувствѣ мщенія найдемъ мы источникъ славы и будущаго нашего величія. Ея развалины будутъ для насъ залогомъ нашего искупленія, нравственнаго и политическаго; а зарево Москвы, Смоленска и проч. рано или поздно освѣтитъ намъ путь къ Парижу. Это не пустыя слова, но я въ этомъ совершенно увѣренъ, и событія оправдаютъ мою надежду. Война, сдѣлавшись національною, приняла теперь такой оборотъ, который долженъ кончиться торжествомъ сѣвера и блистательнымъ отомщеніемъ за безполезныя злодѣйства и преступленія южныхъ варваровъ. Ошибки генераловъ нашихъ и неопытность наша вести войну въ нѣдрахъ Россіи, безъ истощенія средствъ ея, могутъ болѣе или менѣе отдалить минуту избавленія и отраженія удара на главу виновнаго; но постоянство и рѣшительность правительства, готовность и благоразуміе народа и патріотизмъ его, въ которомъ онъ превзошелъ самихъ испанцевъ, ибо тамъ многіе покорялись Наполеону, и составились партіи въ пользу его; а наши гибнутъ, гибнутъ часто въ безызвѣстности, для чего нужно болѣе геройства, нежели на самомъ полѣ сраженія; наконецъ, примѣръ народовъ, уже покоренныхъ, которые, покрывшись стыдомъ и безславіемъ, не только не отразили удара, но даже и не отсрочили бѣдствій своихъ, ибо конскрипціи съѣдаютъ ихъ, и они, участвуя во всѣхъ ужасахъ войны, не раздѣляютъ съ французами славы завоевателей разбойниковъ. Все сіе успокоиваетъ насъ насчетъ будущаго, и если мы совершенно откажемся отъ эгоизма и рѣшимся дѣйствовать для младшихъ братьевъ и дѣтей нашихъ и въ собственныхъ настоящихъ дѣлахъ видѣть только одно отдаленное счастье грядущаго поколѣнія, то частныя неудачи не остановятъ насъ на нашемъ поприщѣ. Безпрестанныя лишенія и несчастія милыхъ ближнихъ не погрузятъ насъ въ совершенное отчаяніе, и мы преднасладимся будущимъ и, по моему увѣренію, весьма близкимъ воскресеніемъ нашего отечества. Близкимъ почитаю

я его потому, что намъ досталось играть послѣдній актъ въ европейской трагедіи, послѣ котораго авторъ ея долженъ быть непремѣнно освистанъ. Конечно, прежде должно пріучить себя къ мысли, что Москвы у насъ почти нѣтъ, что сія святыня наша обругана, что она богата теперь одними историческими воспоминаніями. Но есть еще остатки древняго ея величія: мы будемъ съ благоговѣніемъ хранить ихъ...

Общія дружескія связи кн. Вяземскаго и Тургенева были въ «Арзамасѣ». Въ перепискѣ есть множество частныхъ подробностей объ этомъ кружкѣ, которыя не будутъ лишены важности для историка той литературной эпохи: здѣсь безпрестанно повторяются имена Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, Василья Львовича Пушкина, Уварова, Дашкова, Блудова и т. д. Наконецъ, является «Маленькій Пушкинъ», какъ участникъ интересовъ кружка.

Въ 1818 г., князь Вяземскій, не безъ участія Тургенева, поступилъ на службу въ Варшаву. Письма изъ Варшавы опять имѣютъ цѣну для опредѣленія тогдашнихъ русско-польскихъ отношеній.

Пользованіе изданіемъ, какъ мы сказали, чрезвычайно облегчается подробными объяснительными примѣчаніями—текстъ—384 стр., примѣчанія—стр. 387—676 и, наконецъ, обширнымъ указателемъ.

V.

Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ. Переписка князя П. А. Вяземскаго съ А. И. Тургеневымъ. Томъ II: 1820—1823; т. III: 1824—1836; т. IV: 1837—1845. Изданіе графа С. Д. Шереметева. Подъ редакціею и съ примѣчаніями В. И. Саитова. Спб. 1899. [«Вѣстникъ Европы»1900, февраль].

Въ «Литер. Обозрѣніи» было упомянуто о первомъ томѣ «Остафьевскаго Архива»: это былъ громадный томъ, половина котораго занята была письмами 1812—1819 годовъ, а другая—обширными примѣчаніями и справками къ нимъ г. Саитова. Такія же примѣчанія имѣлись въ виду и при дальнѣйшихъ томахъ, но, видимо, ихъ сложность побудила г. Саитова къ заявленію, что нынѣшніе томы «выходятъ въ свѣтъ безъ примѣчаній, которыя появятся позже, въ видѣ отдѣльныхъ полутомовъ, имѣющихъ неразрывную связь съ текстомъ».

По поводу перваго тома мы говорили о большомъ интересѣ этого изданія для исторіи общественной жизни и литературы за Александровское время; интересъ переписки въ дальнѣйшемъ продолженіи еще возростаетъ. Оба корреспондента были люди исключительные—съ широкимъ образованіемъ, иногда не малымъ остроуміемъ, съ обширными связями въ правительственныхъ кругахъ, въ обществѣ и литературѣ,—а также большіе охотники писать письма. Какъ естественно въ дружеской перепискѣ,

здѣсь мѣшается все—личныя извѣстія, литературныя новости, общественные слухи и сплетни, а иногда и серьезныя разсужденія о положеніи вещей. Тотъ и другой интересовались литературой, знали чуть не поголовно ея представителей, и въ ихъ непринужденной бесѣдѣ разсѣяно множество крупныхъ чертъ, а особливо мелкихъ подробностей, которыя могутъ стать для историка тогдашняго общества характерными иллюстраціями. Въ письмахъ первыхъ двадцатыхъ годовъ постоянно говорится о Карамзинѣ, Жуковскомъ и другихъ членахъ бывшаго Арзамаза, вспоминается о Пушкинѣ и его друзьяхъ, и т. д. Приводимъ нѣсколько примѣровъ тогдашнихъ общественныхъ фактовъ и толковъ.

Въ письмѣ отъ февраля 1820, изъ Варшавы, когда князь Вяземскій былъ въ особенно либеральномъ настроеніи, онъ писалъ по крестьянскому вопросу: «...Братъ твой говоритъ, что правительство занимается разсмотрѣніемъ средствъ пресѣчь продажу людей безъ земли и по одиночкѣ. Я не понимаю. Да вѣдь оно давно сдѣлано: злоупотребительныя увертки отъ сего постановленія, кажется, такого рода, что трудно искоренить ихъ. Пожалуй, правительство сколько хочетъ греми противъ сверхзаконныхъ процентовъ, но пока лишнія деньги будутъ у заимодавцевъ, а недостатокъ въ деньгахъ у должниковъ, правительство станетъ всегда проповѣдывать въ пустынѣ. Пока будутъ продавцы и покупатели крови, торгъ крови увернется всегда отъ закона: будутъ отдавать въ служеніе, въ ученіе, въ мученіе и такъ далѣе. Здѣсь рану не усыпить, а исцѣлить потребно. На это одно средство».

Въ мартѣ 1821, кн. Вяземскій пишетъ: «Я съ Дмитріевымъ не согласенъ. Надо бить въ гробъ и тѣ предразсудки, которые уже въ гробѣ. Слава Хераскова—торжество посредственности. Николевъ—также какая-то литературная держава для суевѣрныхъ поклонниковъ печати... У каждаго свое честолюбіе: мое—прослыть вольнодумцемъ въ понятіи рабски-думцевъ... Впередъ, робята обскурантизма. Ура! Я увѣренъ, что въ книгѣ Куницына (которая тогда подверглась гоненію)—двѣ или три пошлыя истины, которыя изумили нашихъ скромныхъ государственниковъ».

Въ августѣ 1823: «Когда Шаликовъ просился (!) выдавать свой «Дамскій журналъ» (!), вашъ министръ просвѣщенія говорилъ, что и такъ у насъ уже слишкомъ много журналовъ».

Тогда же и о томъ же обскурантизмѣ: «Балъ вчерашній (придворный) былъ, говорятъ, хорошъ... Освѣщеніе Кремлевскаго сада походило на просвѣщеніе: едва горѣла десятая плошка за недостаткомъ скипидара и свѣтиленъ; подрядчикъ убѣжалъ, а Юсуповъ далъ всенародно двѣ пощечины его прикащику. Когда сдѣлаютъ это съ подрядчиками просвѣщенія»?

Въ октябрѣ того же года: «На дняхъ одинъ Яворскій былъ задушенъ слугами своими. Жихаревъ былъ на слѣдствіи и не

допустилъ сыщика Яковлева приступить къ пристрастнымъ допросамъ» (т.-е., вѣроятно, къ пыткѣ).

Въ мартѣ 1824 въ письмахъ Тургенева читаемъ: «Помѣшалъ Ѳедоровъ чтеніемъ продолженія своего «Курбскаго». Право, хорошо писано, и всѣ подробности почерпнуты изъ хроникъ. Карамзину и императрицѣ Елизаветѣ очень понравилось». Рѣчь идетъ о Борисѣ Ѳедоровѣ, надъ которымъ много смѣялись въ сороковыхъ годахъ; теперь видѣли въ немъ «начало нашего Вальтера Скотта». Далѣе, о Карамзинѣ, который издалъ передъ тѣмъ новые томы «Исторіи»,—первые томы, какъ извѣстно, имѣли чрезвычайный успѣхъ; теперь: «онъ очень огорченъ холоднымъ разборомъ (т.-е. слабой продажей) его двухъ томовъ и въ досадѣ говорилъ, что перестанетъ писать «Исторію». Вообрази себѣ,—что по четыре, по пяти экземпляровъ въ день разбираютъ... Онъ принужденъ уступать на срокъ книгопродавцамъ».

Въ апрѣлѣ того же года, о Н. И. Тургеневѣ: «Въ прошедшую пятницу графъ Аракчеевъ призвалъ брата Николая и показалъ ему два указа. Однимъ пожалованъ онъ въ дѣйств. стат. совѣтники, другимъ отпущенъ съ жалованьемъ безсрочно (?) въ чужіе края, и велѣно выдать 1.000 червонцевъ на дорогу. Словесно—много пріятнаго и лестнаго. Это насъ очень порадовало и тѣмъ болѣе, что неожиданно».

Въ маѣ того же года кн. Вяземскій о смерти Байрона: «Какая поэтическая смерть... Онъ предчувствовалъ, что прахъ его приметъ земля возрождающаяся къ свободѣ, и убѣжалъ отъ темницы европейской. Завидую пѣвцамъ, которые достойно воспоютъ его кончину. Вотъ случай Жуковскому! Если онъ имъ не воспользуется, то дѣло кончено: знать, пламенникъ его погасъ. Греція древняя, Греція нашихъ дней и Байронъ мертвый—это океанъ поэзіи! Надѣюсь и на Пушкина». Въ томъ же письмѣ, по поводу тогдашнихъ дѣяній обскурантизма, вслѣдствіе которыхъ А. И. Тургеневъ долженъ былъ оставить службу: «Я читалъ въ письмѣ къ Дмитріеву относительное ко мнѣ. Кажется, мнѣ нечего бояться, что катастрофа ваша оборвется и на меня... Дай поскорѣе знать, что будетъ и что должно будетъ дѣлать, если дѣлать нужно... Сдѣлай милость, не забудь собрать всѣ мои письма и обрывки писемъ изъ тѣхъ, которыя готовились на извѣстное употребленіе, и даже тѣ, которыя уже были въ употребленіи: осторожность не лишняя». Сквозь язвительную насмѣшку видна и возможность серьезнаго опасенія.

Въ письмѣ Тургенева, отъ іюня того же года, любопытна другая черта той же исторіи: «Государь велѣлъ министру финансовъ прислать указъ о сохраненіи мнѣ всего жалованья... Я могу остаться только на условіяхъ чести и съ полнымъ блескомъ невинности. Черная клевета не должна радоваться своею жертвою, когда клевета признана клеветою... Одинъ голосъ публики весь за меня, но это врядъ ли не болѣе повредитъ мнѣ».

Въ письмѣ Тургенева изъ Парижа, отъ іюня 1830, въ числѣ замѣтокъ его о русской литературѣ встрѣчаемъ любопытный для поклонника Карамзина отзывъ объ «Исторіи»: «Недавно прочелъ я здѣсь все путешествіе Карамзина, и слова: «Главное дѣло быть людьми, а не славянами», такъ поразили, обрадовали меня, что я выписалъ все въ письмѣ къ брату... Эти слова, въ молодости Карамзинымъ сказанныя, доказываютъ, что умъ его угадывалъ прекрасное, ибо тогда еще и въ Европѣ немногіе такъ думали, и лакейскій патріотизмъ господствовалъ. Жаль, что это же чувство не выразилось и въ его «Исторіи»; тамъ онъ иногда несправедливъ и къ массамъ, и къ индивидуумамъ и судитъ нѣкоторыя историческія явленія не своею душою, но по впечатлѣніямъ внѣшнимъ, ему чуждымъ. Не хочу приводить доказательствъ, но русская исторія не оправдываетъ прекрасной, истинно-христіанской, въ душѣ Карамзина почерпнутой, мысли: главное—быть людьми... Нѣтъ! Кто знаетъ Карамзина только по его «Исторіи»,—не знаетъ его!.. Пожалуйста, не толкуйте меня криво: я люблю Карамзина ежедневно болѣе»...

Въ письмахъ обоихъ корреспондентовъ не разъ упоминается о Пушкинѣ; есть указанія, важныя для его біографовъ; приведена одна поэтическая «шалость».

Четвертый томъ «Архива» на большую половину занятъ письмами Тургенева изъ Петербурга, Москвы, изъ-за границы: это былъ человѣкъ чрезвычайно подвижный, съ разносторонними интересами, и его письма представляютъ пеструю хронику общественной и литературной жизни: за границей онъ зналъ лично множество замѣчательныхъ людей политики, науки и литературы; въ Москвѣ—тѣмъ болѣе, и масса его извѣстій и замѣтокъ даетъ много любопытнаго для исторіи того времени.

Съ появленіемъ объяснительныхъ примѣчаній В. И. Саитова, этотъ матеріалъ получитъ двойную цѣну: безъ сомнѣнія г. Саитовъ, какъ и прежде, въ своихъ примѣчаніяхъ исполнитъ уже предварительную разработку фактовъ, и «Остафьевскій Архивъ» явится для историка и любознательнаго читателя богатымъ запасомъ любопытныхъ историческихъ свѣдѣній.

VI.

Великій Князь Николай Михаиловичъ. Графъ Павелъ Александровичъ Строгановъ. 1774—1817. Историческое изслѣдованіе эпохи императора Александра I. Томъ первый. Спб. 1903. [«Вѣстникъ Европы» 1903, май].

Новая русская исторія, XIX вѣкъ, и даже вторая половина XVIII-го вѣка, до сихъ поръ остаются мало разработаны; только въ послѣднее время сдѣланы или предприняты изслѣдованія, которыя давно составляли бы настоятельную потребность науки и общественнаго образованія. На подобныхъ изслѣдова-

ніяхъ долго лежало, а частію и теперь лежитъ, суровое veto: время считалось еще слишкомъ близкимъ, не подлежащимъ ни историческому разбору, ни разсказу. Объ этомъ положеніи вещей нельзя было не пожалѣть самымъ серьезнымъ образомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что историческое изученіе есть одинъ изъ самыхъ благотворныхъ путей общественнаго просвѣщенія и національнаго достоинства, но и великій интересъ самой правительственной власти. Только на почвѣ самосознанія создается истинный, глубокій патріотизмъ, съ широкимъ горизонтомъ пониманія и служенія государственному и народному благу въ самыхъ разнообразныхъ сферахъ жизни.

Эта потребность въ историческомъ знаніи такъ велика, что она уже ярко выразилась въ литературѣ послѣднихъ десятилѣтій обиліемъ историческихъ работъ и даже спеціальныхъ историческихъ журналовъ. Съ другой стороны, никогда не было у насъ такого изобилія изданій историческихъ матеріаловъ именно по новой нашей исторіи, по XVIII-му и XIX-му вѣку. Таковы изданія Имп. Р. Историческаго Общества—громадное собраніе дипломатическихъ и иныхъ документовъ по двумъ послѣднимъ столѣтіямъ. Таковы изданія цѣлыхъ обширныхъ фамильныхъ архивовъ за тѣ же столѣтія: архивы кн. Воронцова, кн. Куракиныхъ, Мордвиновыхъ, Шереметевыхъ. Нельзя не порадоваться, что интересъ къ разработкѣ новой русской исторіи находитъ, наконецъ, опору въ самыхъ высшихъ сферахъ русскаго общества.

За послѣднее время, въ «Литературныхъ Обозрѣніяхъ» «Вѣстника Европы» были указаны замѣчательныя изданія Е. И. В. Великаго Князя Николая Михаиловича: Князья Долгорукіе, сподвижники импер. Александра I въ первые годы его царствованія; Луи де Сентъ-Обенъ. Тридцать-девять портретовъ 1808—1815 г. Фотографическія воспроизведенія съ біографическими очерками. Теперь передъ нами новый трудъ Е. И. В., опять посвященный эпохѣ импер. Александра I.

Эта эпоха исполнена живого и разнообразнаго историческаго интереса, какъ въ цѣлой національной судьбѣ русскаго народа, пережившаго грозную борьбу двѣнадцатаго года, такъ, въ частности, въ развитіи русскаго общества, видѣвшаго «дней Александровыхъ прекрасное начало», потомъ испытавшаго возбужденія того же двѣнадцатаго года, надолго отразившіяся, особенно въ молодыхъ поколѣніяхъ, броженіемъ общественно-политическихъ идей;—та же эпоха ознаменована однимъ изъ величайшихъ явленій русской литературной исторіи—развитіемъ могущественной поэзіи Пушкина, положившей начало новой русской литературѣ... За послѣднее время издано множество отдѣльныхъ матеріаловъ по этой исторіи; въ книгѣ Богдановича сдѣланъ опытъ цѣльной исторіи царствованія имп. Александра, которая осталась, впрочемъ, слишкомъ внѣшнею; цѣлымъ событіемъ въ нашей исторіографіи была книга Шильдера. Но

предстояло, конечно, еще много дальнѣйшей работы, необходимой для цѣльнаго историческаго изображенія эпохи: за событіями стояли лица, требовавшія освѣщенія, и стояли нравы, составлявшіе фонъ картины, нравственную и умственную складку общества. Для этой бытовой и біографической стороны исторіи Александровской эпохи труды Великаго Князя Николая Михаиловича представляютъ высокую цѣнность. Обширная біографія, предпринятая въ настоящемъ изданіи, обѣщаетъ дать чрезвычайно интересныя объясненія къ исторіи первыхъ лѣтъ царствованія импер. Александра. Въ этомъ трудѣ, между прочимъ, впервые введенъ матеріалъ, который до сихъ поръ оставался недоступенъ нашимъ историкамъ.

При разработкѣ славной эпохи императора Александра I— читаемъ въ предисловіи,—личность графа Павла Александровича Строганова, среди разнохарактерныхъ сотрудниковъ государя, обращаетъ на себя особенное вниманіе.

«Рядъ счастливыхъ случайностей далъ мнѣ возможность ознакомиться съ нетронутыми еще рукописями частныхъ архивовъ, которыя не только выяснили благородную фигуру графа П. А. Строганова и его отношенія къ другимъ дѣятелямъ того времени, но и ярко оттѣнили особу Благовѣрнаго Монарха.

«Архивы графа С. А. Строганова въ его знаменитомъ домѣ у Полицейскаго моста въ Петербургѣ, и также бумаги, хранящіяся въ селѣ Марьинѣ, у князя Голицына, служили мнѣ главнымъ источникомъ къ ознакомленію съ личностью графа Павла Александровича. Въ этихъ семейныхъ архивахъ сохранился, къ счастью для потомства, рядъ цѣннѣйшихъ писемъ и бумагъ, живо рисующихъ симпатичный образъ интересной личности гр. П. А. Строганова».

Кромѣ того, цѣннымъ матеріаломъ послужили пріобрѣтенныя Великимъ Княземъ во Франціи бумаги Жильбера Ромма (воспитателя гр. Строганова); наконецъ, офиціальные документы архивовъ министерства иностранныхъ дѣлъ въ Петербургѣ и Москвѣ и военно-ученаго архива главнаго штаба.

Цѣлый трудъ распредѣленъ на пять главъ. Первая посвящена родителямъ П. А. Строганова, особливо его отцу; вторая—его воспитанію и его наставнику Жильберу Ромму; третья—эпохѣ реформъ въ первые годы царствованія импер. Александра I, къ которому въ это время гр. Строгановъ былъ однимъ изъ наиболѣе близкихъ лицъ; четвертая—лондонской миссіи и пятая—его военной дѣятельности.

Не менѣе этой біографіи важны будутъ обильныя приложенія. Здѣсь въ строго хронологическомъ порядкѣ сообщены будутъ офиціальные документы и письма, «дающія полную картину жизни графа Строганова, его мнѣній и его отношеній съ современниками». Особенный интересъ должны представлять письма и документы къ третьей главѣ біографіи. Объ этомъ читаемъ въ предисловіи: «Всѣ записки, бумаги и письма,

относящіяся до эпохи реформъ, издаются мною впервые полностью въ приложеніяхъ: онѣ взяты цѣликомъ изъ Строгановскаго архива. Отчетъ о засѣданіяхъ Секретнаго Комитета, изданный съ значительными пропусками въ «Исторіи царствованія императора Александра I» Богдановичемъ, на русскомъ языкѣ, печатается нынѣ на французскомъ, согласно подлиннику». Письма гр. Строганова къ его женѣ, письма Адама Чарторыжскаго, Новосильцова, Кочубея, С. Р. Воронцова и др. будутъ изданы только въ извлеченіяхъ, въ ихъ части наиболѣе важной.

Можно по этому судить о великомъ интересѣ, который представитъ трудъ Великаго Князя Николая Михаиловича въ его законченномъ видѣ. Въ первомъ томѣ изданы упомянутыя пять главъ біографіи и начало приложеній; продолженіе ихъ должно ожидаться во второмъ и третьемъ томахъ.

Мы говорили о томъ, какъ важно для полной, всесторонней картины времени изученіе детальное, біографическое. Важность его заключается вовсе не въ томъ только, чтобы расцвѣтить картину анекдотическими подробностями, которыя дѣйствительно могутъ для обыкновеннаго читателя придавать ей оживленіе и разнообразіе; для серьезной исторіи это детальное изученіе имѣетъ другую цѣну: въ изображеніи лицъ, объясненіи индивидуальнаго развитія умовъ и характеровъ, оно даетъ возможность проникать въ самыя глубины историческаго движенія, внутреннія настроенія и мотивы дѣйствій, изъ которыхъ слагаются сложныя явленія исторіи. Какъ серьезна эта сторона историческаго изображенія, это не требуетъ, кажется, особенныхъ объясненій; примѣръ, и очень важный, мы найдемъ и въ настоящемъ случаѣ. Извѣстно, какимъ нареканіямъ въ свое время (у людей «стараго вѣка» и старыхъ, консервативныхъ взглядовъ) и въ послѣдствіи (у историковъ «стараго вѣка», напр. у Богдановича, весьма, въ прочемъ, добросовѣстнаго),—какимъ нареканіямъ подвергались «молодые совѣтники» импер. Александра въ первые годы царствованія, между прочимъ и гр. П. А. Строгановъ: полагалось, что это были люди—«французскаго» (или англійскаго) воспитанія и взглядовъ, не имѣвшіе «опыта», и предполагалось, что по этому самому они не могли судить правильно, и ихъ планы могли быть только вредны... Какая противоположность въ сужденіи новѣйшаго историка, изучившаго не только ходъ событій, но и самую біографію (см. въ настоящей книгѣ главу третью, «Эпоха реформъ», въ концѣ; также стр. 217 и дал.): возстановляется правда не только относительно лица,—въ которомъ «французское воспитаніе» не только не уменьшило патріотизма, но усилило его болѣе высокой степенью образованія и общественнаго чувства; но возстановляется правда относительно цѣлаго явленія нашей исторической жизни. Дѣло въ томъ, что, начиная съ XVIII вѣка и до нашихъ дней, въ извѣстныхъ кругахъ нашего общества

высказывалась крайняя вражда къ вліяніямъ европейскаго просвѣщенія, которыя считались вредными, даже гибельными для нашей самородной жизни,—когда другой сторонѣ общественнаго мнѣнія думалось, напротивъ, что это просвѣщеніе, къ которому путь открытъ былъ Петромъ, величайшимъ лицомъ русской исторіи, именно дало впервые широкій просторъ великимъ дарованіямъ и дѣятельнымъ силамъ русскаго народа, нисколько не заглушивъ ихъ, и напротивъ давши имъ возможность развиваться во всей ихъ оригинальной самобытности,—какъ, между прочимъ, можно это видѣть на томъ сильномъ впечатлѣніи, какое въ настоящее время производятъ въ западной Европѣ русская литература и русское художество.

Въ европейскомъ вліяніи прибавлялось къ нашей жизни не «французское» или англійское воспитаніе, а просвѣщеніе общечеловѣческое;—это чувствовалъ другой дѣятель Александровской эпохи, величайшій поэтъ нашей литературы, Пушкинъ... Въ практической жизни того времени, противники европейскихъ вліяній, мнимые люди «опыта» не однажды оказывались врагами русскаго народа, обскурантами, защитниками крѣпостного права и всякаго застоя, а люди «французскаго» воспитанія—бывали истинно доблестными, просвѣщенными людьми, поборниками общественнаго и народнаго блага...

Такъ, серьезно изученная, правдивая біографія можетъ содѣйствовать разъясненію самыхъ существенныхъ вопросовъ въ исторіи общества.—Друзья нашей исторической науки будутъ несомнѣнно съ живѣйшимъ интересомъ ожидать второго и третьяго томовъ замѣчательнаго труда Великаго Князя Николая Михаиловича.

VII.

Великій Князь Николай Михаиловичъ. Графъ Павелъ Александровичъ Строгановъ (1774—1817). Историческое изслѣдованіе эпохи императора Александра I. Томъ второй. Спб. 1903. [«Вѣстникъ Европы» 1903, іюль].

Въ Литературномъ Обозрѣніи «Вѣстника Европы» былъ упомянутъ первый томъ настоящаго изданія и было указано высокое значеніе труда, предпринятаго Е. И. В.

Вышедшій теперь второй томъ вполнѣ подтверждаетъ ожиданіе, высказанное нами о чрезвычайномъ интересѣ историческихъ матеріаловъ, которые должны были появиться, какъ приложеніе къ біографіи гр. П. А. Строганова.

«Второй томъ,—какъ замѣчаетъ предисловіе,—посвященъ преимущественно, если не исключительно, преобразованіямъ высшихъ государственныхъ учрежденій въ первые три года прошлаго XIX вѣка. Вслѣдъ за кончиною императора Павла I, совѣтъ и сенатъ, государственныя коллегіи, министерства и комитетъ

министровъ сосредоточиваютъ на себѣ все вниманіе императора Александра I и его ближайшихъ сотрудниковъ, причемъ и въ офиціальныхъ бумагахъ, и въ частныхъ письмахъ молодой императоръ ставитъ превыше всего законность, подчиняя ей не только свою личную волю, но и прерогативы унаслѣдованнаго имъ самодержавія». Этотъ принципъ законности, какъ исходная точка и конечная цѣль задуманныхъ преобразованій, былъ симпатиченъ вмѣстѣ съ имп. Александромъ и его сотрудникамъ — Кочубею, Новосильцову, Чарторыжскому, но особенно, — замѣчаетъ авторъ, — гр. Строганову. «Говорю «особенно» потому только, что взгляды и намѣренія въ этомъ отношеніи гр. Строганова наиболѣе извѣстны и наиболѣе ясно имъ выражены. Изъ всѣхъ сотрудниковъ императора Александра I одинъ гр. Строгановъ записывалъ изо дня въ день всѣ «преобразовательные» планы, свои и чужіе, точно и ясно формулируя весь ходъ работы. Издаваемый нынѣ второй томъ почти весь напечатанъ съ рукописей, имъ составленныхъ».

«Въ самыхъ рукописяхъ гр. Строганова сказывается уже ученикъ математика Ромма: онъ въ своихъ записяхъ всегда точенъ, методиченъ, логически послѣдователенъ». Онъ не только записываетъ, о какихъ предметахъ шла рѣчь, но и собственные взгляды, и въ этомъ смыслѣ говоритъ съ императоромъ, «который, по самому свойству своего ума, быстраго и блистательнаго, но нимало не методичнаго, такъ нуждался въ подобномъ руководствѣ. Этимъ, можно думать, гр. Строгановъ болѣе всего импонировалъ на своего государя».

Съ большимъ вниманіемъ изучивъ этотъ историческій матеріалъ, авторъ дѣлаетъ чрезвычайно цѣнныя замѣчанія о роли самого императора въ преобразовательныхъ планахъ начала его царствованія.

«Говорятъ и повторяютъ, что всѣ преобразованія, надъ которыми такъ много трудились въ первые годы XIX столѣтія, исходили отъ императора Александра I. Согласно съ этимъ укоряютъ и клянутъ перемѣну, будто бы происшедшую позже во взглядахъ и намѣреніяхъ старшаго внука Екатерины II. Это не столько недоумѣніе, какъ большая ошибка.

«Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что императоръ Александръ I, за воцареніемъ, многимъ былъ недоволенъ, многое желалъ измѣнить, даже исправить, какъ равнымъ образомъ несомнѣнно, что ни одна изъ произведенныхъ въ это время реформъ не исходила отъ него лично, что всѣ онѣ были не безъ труда внушаемы ему, при чемъ его согласіе добывалось нерѣдко съ большими усиліями. Императоръ Александръ I никогда не былъ реформаторомъ, и въ первые годы своего царствованія онъ былъ консерваторъ болѣе всѣхъ окружавшихъ его совѣтниковъ.

«Эту черту императора Александра I понималъ лучше всѣхъ и наиболѣе успѣшно боролся съ нею гр. Строгановъ. Вотъ что

записалъ онъ въ своихъ тетрадяхъ того времени: «Намъ необходимо составить планъ реформъ и уяснить себѣ цѣль ихъ, чтобы труды наши не зависѣли ни отъ чьего произвола. Точно установивъ, чего мы желаемъ добиться отъ императора, необходимо опредѣлить его характеръ, чтобы сообразно этому составить нашъ планъ атаки, если я смѣю такъ выразиться».

«Указавъ задачу, гр. Строгановъ принялъ на себя и ея исполненіе. Въ особомъ очеркѣ, основанномъ отчасти на психологическихъ соображеніяхъ, онъ опредѣляетъ довольно точно тѣ способы, при помощи которыхъ можно имѣть вліяніе на императора и руководить его волею».

Большой томъ, наполненный приложеніями изъ малодоступнаго до сихъ поръ архива гр. Строгановыхъ, представляетъ слѣдующіе матеріалы: Principes de la réforme du gouvernement; Conférences avec l'Empereur, 1801; Séances du Comité, 1802; Organisation du Conseil et des ministères, реформа Сената; всеподданнѣйшіе доклады гр. П. А. Строганова; переписка императора Александра I съ графомъ П. А. Строгановымъ; переписка гр. П. А. Строганова съ кн. А. А. Чарторыжскимъ.

Все это доставляетъ матеріалы большого историческаго интереса. Во-первыхъ, разъясняется любопытный эпизодъ царствованія императора Александра I, гдѣ сказывалась потребность новаго развитія общественныхъ элементовъ и преобразованія государственныхъ формъ; эта потребность впервые возникала въ высшихъ сферахъ самой государственной власти. Преобразованіе не совершилось, или ограничилось немногими попытками въ измѣненіи учрежденій; но эти начинанія оставили, однако, свой слѣдъ въ общественномъ сознаніи, поддержавъ тѣ нравственно-политическіе запросы, какіе возникали подъ вліяніемъ эпохи и собственныхъ опытовъ въ самомъ обществѣ. Въ частности, изданные здѣсь документы даютъ впервые историческую оцѣнку достойной личности гр. П. А. Строганова, до сихъ поръ мало извѣстнаго...

Приведенное выше замѣчаніе историка о характерѣ имп. Александра, который и въ первые годы царствованія былъ консерваторомъ болѣе всѣхъ окружавшихъ его совѣтниковъ, должно признать весьма доказательнымъ; но едва ли можно согласиться, безъ оговорки, съ другимъ замѣчаніемъ — что указанія на позднѣйшую «перемѣну во взглядахъ и намѣреніяхъ имп. Александра» были большой ошибкой. Дѣло въ томъ, что, хотя изданные нынѣ документы и доказывали, что задуманныя въ началѣ преобразованія были «не безъ труда внушаемы» императору его молодыми совѣтниками (въ средѣ которыхъ особенно выдающуюся роль занималъ гр. Строгановъ), вполнѣ справедливо остается то, что въ душѣ имп. Александръ могъ сохранять свои консервативные взгляды и наклонности, но на дѣлѣ была весьма большая перемѣна въ томъ, что въ первые годы императоръ бывалъ доступнымъ внушеніямъ такихъ людей, какъ гр. Строгановъ или

Сперанскій, а въ позднѣйшіе годы онъ отъ подобныхъ внушеній совершенно устранился. Съ этимъ соединились и два совсѣмъ различныя настроенія правительственной дѣятельности, которыя и давали немало основаній говорить о перемѣнѣ.

Предстоитъ еще заключительный томъ настоящаго изданія. Уже теперь можно видѣть, какой драгоцѣнный вкладъ въ изученіе нашей новѣйшей исторіи сдѣланъ этой біографіей гр. П. А. Строганова.

VIII.

Великій Князь Николай Михаиловичъ. Графъ Павелъ Александровичъ Строгановъ. 1764 — 1817. Историческое изслѣдованіе эпохи Императора Александра I. Томъ третій. Спб. 1903. [«Вѣстникъ Европы», 1904, январь].

Мы говорили уже о замѣчательномъ трудѣ великаго князя Николая Михаиловича, вносящемъ въ высокой степени любопытныя и важныя данныя въ историческую разработку эпохи императора Александра I. Этотъ трудъ законченъ въ настоящемъ третьемъ томѣ. Мы говорили раньше, какъ важно было — не всѣмъ доступное — изученіе, кромѣ государственнаго, и фамильныхъ архивовъ, которые дѣйствительно доставили множество интересныхъ матеріаловъ, содѣйствующихъ болѣе точному и многостороннему объясненію эпохи, которая при всей важности ея историческаго значенія, въ прежнее время была, къ сожалѣнію, слишкомъ долго закрыта отъ безпристрастнаго изслѣдованія.

Небольшая доля настоящаго тома занята историческими документами. Здѣсь находятся—въ продолженіе второго тома— отдѣлъ XV: дипломатическая переписка по Лондонской миссіи графа П. А. Строганова, изъ архивовъ министерства иностранныхъ дѣлъ; отдѣлъ XVI: письма графовъ С. Р. и М. С. Воронцовыхъ графу П. А. Строганову, изъ Строгановскаго архива; отдѣлъ XVII: письма Н. Н. Новосильцова графу Строганову, изъ того же архива; отдѣлъ XVIII: письма графа В. П. Кочубея ему-же, изъ того же архива; отдѣлъ XIX: переписка графа Строганова съ женой, изъ того же и Марьинскаго архива князей Голицыныхъ; отдѣлъ XX: письма князя П. И. Багратіона графу Строганову, изъ Строгановскаго архива; отдѣлъ XXI заключаетъ изложеніе военныхъ подвиговъ Строганова (въ войнѣ съ Франціею съ 1806—1807 г., въ шведской войнѣ 1808—1809, въ турецкой войнѣ 1806—1812, въ отечественной войнѣ 1812, въ войнѣ 1813 и 1814 годовъ) по офиціальнымъ донесеніямъ, изъ военно-ученаго архива главнаго штаба.

Въ началѣ книги обширное предисловіе, гдѣ авторъ, отчасти резюмируя выводы о характерѣ и дѣятельности графа Строганова, дѣлаетъ также цѣнныя историческія замѣчанія. Такъ, благодаря обильнымъ архивнымъ источникамъ, авторъ могъ обнародованіемъ ихъ «разоблачить досадную напраслину», которая взведена была на императора Александра по поводу заключенія Парижскаго мира 1806 года и, оставаясь неопровергнутой, получила уже право гражданства въ исторической литературѣ,—напримѣръ, даже въ книгѣ Шильдера.

Весьма цѣнныя замѣчанія авторъ дѣлаетъ о двѣнадцатомъ годѣ, «кульминаціонномъ пунктѣ въ исторіи того времени».

«Славная эпопея «священной памяти двѣнадцатаго года» произвела значительно большій переворотъ въ умахъ и чувствованіяхъ современниковъ, чѣмъ въ государственномъ и военномъ строѣ европейскихъ державъ. Этотъ внутренній переворотъ менѣе замѣтенъ, труднѣе поддается опредѣленію, чѣмъ чисто внѣшній передѣлъ странъ, произведенный вѣнскимъ конгрессомъ. Вѣроятно, этимъ именно объясняется многосторонняя и во многихъ отношеніяхъ довольно полная разработка «войны 1812 года», между тѣмъ какъ умственный переворотъ, произведенный нашествіемъ «двунадесяти языкъ», до настоящаго времени мало еще изслѣдованъ.

«Современники видѣли, чувствовали, страдали отъ военной грозы, разразившейся надъ Россіею и такъ или иначе откликнувшейся во всей Европѣ. Они не только наблюдали, они сами переживали всѣ «ужасы войны»... Они не могли, однако, сознавать, тѣмъ менѣе оцѣнить смыслъ тѣхъ внѣшнихъ явленій, которыя вызывали и содѣйствовали внутреннему перерожденію общества, отъ государей до поселянъ. Переворотъ, произведенный 1812 годомъ даже въ императорѣ Александрѣ I, до настоящаго времени еще не опредѣленъ, несмотря на многіе труды, посвященные этому вопросу; о впечатлѣніи же, сдѣланномъ этою войною на народныя массы, историки 1812 года почти не упоминаютъ. Между тѣмъ, данныя для обрисовки этого впечатлѣнія заключаются въ тѣхъ же источникахъ—въ показаніяхъ современниковъ,—изъ которыхъ почерпаются свѣдѣнія для опредѣленія внѣшняго хода войны. Собрать данныя, рисующія этотъ переворотъ, конечно, труднѣе, чѣмъ опредѣлить марши и контрмарши отдѣльныхъ частей арміи; но несомнѣнно, что данныя этого рода освѣтили бы въ значительной степени и исторію самой войны.

«Читая записки и письма современниковъ, даже участниковъ войны 1812 года, какъ бы присутствуешь при этомъ внутреннемъ перерожденіи автора, мѣняющаго мало-по-малу, по мѣрѣ развитія военныхъ дѣйствій, свои взгляды и, сообразно этому, свой языкъ. Сравнивая первое письмо графа П. А. Строганова, отъ 30 іюля 1812, съ однимъ изъ послѣднихъ, отъ 17-го декабря, трудно думать, что они писаны однимъ и тѣмъ же лицомъ.

Въ третьемъ томѣ Memoires du géneral Marbot, посвященномъ 1812 году, послѣднія страницы настолько разнятся отъ первыхъ, что происшедшая въ авторѣ перемѣна бросается въ глаза. Ярче всего, однако, эта перемѣна сказывается въ дипломатической перепискѣ, особенно же шифрованной.

«Для изученія той нравственной революціи, которою сопровождалась Отечественная война, могутъ послужить матеріалы, помѣщенные въ этомъ томѣ. Невоенная сторона войны 1812 г., полной контрастовъ и въ своемъ ходѣ и въ своихъ послѣдствіяхъ, особенно поучительна какъ во внѣшней, такъ и во внутренней политикѣ».

Авторъ говоритъ далѣе:

«Лѣтомъ 1812 года Наполеонъ перешелъ границы Россіи, ведя за собою необозримое войско... Въ началѣ сентября по Европѣ пробѣжала вѣсть о пожарѣ Москвы—въ Берлинѣ и Вѣнѣ ее поняли въ томъ смыслѣ, что французы разрушили побѣжденную столицу Россіи. Затѣмъ, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ ни слуха, ни вѣсти. 2-го декабря Наполеонъ появился въ Дрезденѣ, одинъ безъ полководцевъ, безъ войска и спѣшилъ въ Парижъ... Совершился небывалый Божій судъ надъ страшною армадою...

«За громкими военными побѣдами, одержанными народнымъ воодушевленіемъ, вскорѣ послѣдовало политическое пораженіе, олицетворенное тупою реакціею. За Лейпцигской bataille des géants, въ которой графъ Строгановъ принималъ участіе, за взятіемъ Парижа, послѣдовали, одно вслѣдъ за другимъ, такія печальныя явленія, какъ Священный союзъ и конгрессы въ Троппау, Лайбахѣ, Веронѣ съ ихъ неестественною système de stabilité.

«Графъ П. А. Строгановъ не дожилъ до этихъ печальныхъ событій. Онъ умеръ въ 1817»...

Въ концѣ, авторъ отвѣчаетъ на замѣтку г. Бартенева, написанную по поводу первыхъ двухъ томовъ книги. «Надѣюсь, что по прочтеніи настоящаго третьяго тома, авторъ замѣтки сознаетъ всю легкомысленность своего увѣренія, ни на чемъ не основаннаго, будто графъ П. А. Строгановъ былъ «на своей землѣ чужеземцемъ».

Какъ мы указывали раньше, говоря о первомъ томѣ этой книги, авторъ ея точно предвидѣлъ подобныя, будто бы патріотическія, нареканія противъ П. А. Строганова съ его «французскимъ воспитаніемъ», и достаточно объяснилъ, что его воспитаніе нимало не помѣшало (въ дѣйствительности, въ тѣхъ условіяхъ даже способствовало) развиться у гр. Строганова самой преданной любви къ отечеству: въ самомъ дѣлѣ, воспитаніе сообщило ему только болѣе широкій идеалистическій взглядъ и на нравственныя и на матеріальныя нужды отечества, и на требованія нравственно-національныя достоинства...

Одинъ нѣмецкій историкъ выражалъ недавно удовольствіе, что благодаря новымъ пристальнымъ изысканіямъ, широкимъ и

детальнымъ (emsige Klein- und Grossarbeiten), становится все свѣтлѣе и свѣтлѣе въ обстановкѣ великихъ дѣятелей исторіи». Для русской исторіографіи мы можемъ очень порадоваться появленію настоящей біографіи графа П. А. Строганова, которая есть вмѣстѣ съ тѣмъ и детальная и общая работа. Большой услугой былъ здѣсь подборъ множества документовъ изъ государственныхъ и фамильныхъ архивовъ,—послѣдніе до сихъ поръ остались почти недоступными. Было исполнено интереса и лицо, которому посвящена біографія, до сихъ поръ мало выясненная личность одного изъ ближайшихъ сотрудниковъ императора Александра I, въ первые годы его царствованія. Многое въ этихъ годахъ царствованія получаетъ здѣсь впервые яркое освѣщеніе и раскрываетъ иногда очень привлекательныя черты эпохи. Біографія, трудъ обыкновенно детальный, становится и Grossarbeit, такъ какъ дѣйствительно даетъ много любопытнѣйшаго матеріала для историческаго изслѣдованія эпохи императора Александра I. Приведенныя выше замѣчанія автора о нравственномъ значеніи двѣнадцатаго года, очень вѣрныя, привлекутъ вниманіе читателя съ серьезнымъ историческимъ интересомъ и, можно желать, чтобы привлекли также вниманіе людей, спеціально работающихъ надъ вопросами русской исторіи: это—важная и очень любопытная задача.

Наконецъ, колоритъ эпохи переданъ въ книгѣ цѣлымъ рядомъ фамильныхъ портретовъ, прекрасно воспроизведенныхъ въ экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ.

IX.

Записки Дмитрія Николаевича Свербеева (1799—1826). Два тома. М. 1899. [«Вѣстникъ Европы» 1900, январь].

Имя Д. Н. Свербеева давно извѣстно по исторіи московскаго литературно-философскаго кружка сороковыхъ годовъ, въ которомъ развилось извѣстное дѣленіе двухъ лагерей—«западнаго» и «славянофильскаго»: самъ Свербеевъ не принадлежалъ ни къ тому, ни къ другому; но это былъ человѣкъ просвѣщенный, и его гостепріимный домъ былъ нейтральнымъ пунктомъ, гдѣ въ первое время могли мирно бесѣдовать и препираться «друзья-враги». Свербеевъ не принималъ никакого участія въ печатныхъ литературныхъ спорахъ, и въ бесѣдахъ занялъ среднее положеніе человѣка, понимавшаго болѣе или менѣе обѣ стороны, не углублявшагося въ отвлеченные вопросы, но владѣвшаго житейскимъ опытомъ.

Д. Н. Свербеевъ (1799—1874) былъ богатый человѣкъ; рано потерявъ родителей, онъ имѣлъ много родственныхъ связей въ барской и чиновной аристократіи, но, оставшись одинокимъ, долженъ былъ самъ присматриваться къ жизни и выбирать свою дорогу. Молодость не прошла безъ ошибокъ, но въ концѣ кон-

цовъ былъ пріобрѣтенъ большой здравый смыслъ, опытность, а съ нею извѣстная недовѣрчивость къ людямъ и мнѣніямъ. Послѣ домашняго ученья, старомоднаго и неправильнаго, онъ былъ въ московскомъ университетѣ, гдѣ наука также не была въ тѣ годы особенно серьезной. Свербеевъ не долго былъ на службѣ въ Петербургѣ, а затѣмъ поселился въ Москвѣ, живалъ за границей и особенно въ деревнѣ: эту послѣднюю онъ зналъ съ дѣтства; впослѣдствіи связывало его съ деревней управленіе своими имѣньями. Его служба въ Петербургѣ заняла лишь немного лѣтъ около 1820 года, гдѣ на него, полу-сознательно для него, подѣйствовали до нѣкоторой степени либеральныя идеи молодого поколѣнія, — къ чему нѣсколько приготовили его еще впечатлѣнія университетской жизни въ Москвѣ. Онъ остерегся, однако, крайностей; съ юныхъ лѣтъ въ его характерѣ была большая осторожность и разсудительность. Избѣжавъ крайностей, онъ, однако, навсегда сохранилъ интересъ къ внутреннимъ вопросамъ нашей жизни, и это впослѣдствіи сблизило его съ московскимъ кружкомъ сороковыхъ годовъ. Въ это время и потомъ онъ съ участіемъ слѣдилъ за событіями нашей внутренней жизни, и г. Д. Х., сопроводившій изданіе его записокъ вводной характеристикой, въ особенности указываетъ эту общественную сторону его личности.

«Онъ самъ не замыкалъ себя исключительно въ кругѣ людей мысли и науки (славянофилами и западниками, съ которыми сближался), а оставался въ постоянномъ общеніи съ людьми дѣла и людьми оффиціальнаго міра, служа какъ бы живымъ звеномъ между міромъ мысли и міромъ внѣшней дѣятельности»... «Не занимая никакого оффиціальнаго положенія, дѣля свое время между Москвою, Европою и деревней и вездѣ прислушиваясь ко всему и въ свою очередь подавая на все свой голосъ, онъ успѣлъ составить себѣ положеніе, которое давало ему вѣсъ и значеніе, съ которымъ считались современники»...

Авторъ введенія къ «Запискамъ» признаетъ, что общественная дѣятельность Свербеева не выразилась въ какихъ-либо осязательныхъ фактахъ; но общественное значеніе получала «живая отзывчивость ко всѣмъ явленіямъ человѣческаго пониманія». Такими свойствами отдѣльныхъ лицъ создается и самое общество, «лишь черезъ нихъ можетъ вырабатываться общественное мнѣніе, столь еще у насъ хилое и не только вырабатываться умозрительно, но и получать права истиннаго гражданства, основаннаго не только на достоинствѣ выражаемой мысли, но и на личныхъ качествахъ гражданской неподкупности и нравственной силѣ ея выразителей... Такихъ представителей общества намъ нужно теперь не менѣе, чѣмъ когда-либо». По существу общественныхъ взглядовъ, г. Д. Х. изображаетъ Свербеева какъ одного изъ немногочисленныхъ представителей того «бытового направленія», которое, воспринимая пріобрѣтенія Петровской реформы и западную образованность, не утратило живой связи съ роднымъ

преданіемъ. Когда это направленіе выражалось людьми высоко образованными, они могли оставаться въ дружескихъ отношеніяхъ съ представителями направленій «умозрительно полемическихъ» и, можетъ быть, благотворно дѣйствовать на нихъ самымъ осуществленіемъ этого культурнаго типа. Таковъ былъ характеръ Д. Н. Свербеева — «и этимъ объясняется его роль въ умственной жизни Москвы, а черезъ нее въ общекультурной жизни всего нашего общества».

Такъ изображаютъ Свербеева люди, его лично знавшіе. Правда, есть въ изложеніи г. Д. Х. такія опредѣленія, которыя подлежатъ спору, напр. когда славянофильство называется «чисто русскимъ» направленіемъ, а его противники (напр. Грановскій, Бѣлинскій) именуются «представителями космополитизма», — дальше увидимъ, что и самъ Свербеевъ не былъ чуждъ такому «космополитизму», — но во всякомъ случаѣ Свербеевъ занималъ извѣстное серединное, умѣряющее положеніе, и въ этомъ смыслѣ могъ имѣть придаваемое ему общественное значеніе.

Такому лицу принадлежатъ изданныя теперь «Записки», и дѣйствительно онѣ являются одною изъ любопытнѣйшихъ книгъ въ нашей литературѣ этого рода. Онѣ были продиктованы Свербеевымъ для его семьи, для дѣтей и внуковъ; но ихъ издательница, г-жа С. Свербеева, справедливо нашла, что онѣ могутъ послужить не только семьѣ, но и «всему новому поколѣнію, вступающему въ XX вѣкъ, какъ правдивая бытовая картина первой четверти XIX-го вѣка». Это справедливо. Разсказъ Свербеева исполненъ чрезвычайно интересныхъ бытовыхъ подробностей, получающихъ тѣмъ большую цѣну, что разсказъ дѣйствительно правдивый: Свербеевъ не умалчиваетъ и о своихъ собственныхъ, иногда довольно жестокихъ, ошибкахъ.

Записки Свербеева начинаются разсказомъ объ его отцѣ и другихъ предкахъ, исторія которыхъ восходитъ ко временамъ Петра Великаго. Эта исторія предковъ пересыпана чрезвычайно характерными подробностями быта XVIII вѣка въ дворянской средѣ, передовой въ образованіи, въ служиломъ и общественномъ значеніи. Отецъ — «былъ человѣкъ замѣчательный: добрый, умный и даже образованный, насколько могъ быть образованъ человѣкъ его времени однимъ русскимъ языкомъ». Ученіе его происходило въ «юнкерской школѣ» при московскомъ *сенатѣ*, куда поступали дворянскія дѣти преимущественно для изученія приказнаго порядка или гражданской службы. Онъ разсказывалъ, что во время своего ученья «ходилъ съ своими товарищами на Неглинную (гдѣ теперь Александровскій садъ) на кулачный бой съ студентами московскаго университета (только-что основаннаго) и московской славяно-греко-латинской академіи, и что ихъ и университетскихъ зачастую, и чуть ли не всегда, побивали дюжіе, здоровенные кутейники, которые были вдвое ихъ старше». Но Свербеевъ-отецъ поступилъ не въ гражданскую, а въ военную службу и между прочимъ былъ первымъ директо-

ромъ экономіи въ завоеванномъ тогда Крымѣ. Женская часть предковъ бывала плохо грамотна, но бывали дамы весьма хозяйственныя, которыя не мало способствовали пріумноженію домовъ и деревень. Свербеевъ отецъ по природѣ былъ человѣкъ раздражительный, но себя сдерживалъ и былъ добрымъ помѣщикомъ и въ своихъ «Богомъ и государемъ данныхъ ему подданныхъ» уважалъ образъ и подобіе божіе. Такое высокое христіанское понятіе объ обязанностяхъ человѣка къ человѣку и о правахъ человѣка надъ человѣкомъ выработало для него ученіе масоновъ или мартинистовъ». Но крѣпостные нравы были и здѣсь. Однажды, уже на памяти разсказчика, Свербееву-отцу случилось купить у одного разорявшагося помѣщика — «цѣлый квартетъ музыкантовъ, скрипача и въ то же время капельмейстера Петра Бухвостова, віолончелиста Сидора, кларнетиста Александра Крылова и флейту Михайлу Соболева». Случилось это потому, что эти кларнеты и флейты «валялись въ ногахъ желая поступить въ нашу дворню», т.-е., иначе, они боялись попасть къ какому-нибудь помѣщику-звѣрю. О такихъ въ «Запискахъ» также упоминается. Къ этимъ четыремъ дали на выучку мальчиковъ изъ дворни, и устроился цѣлый оркестръ. По крайней мѣрѣ, замѣчаетъ авторъ «Записокъ», — «я долженъ благодарить моего отца за то, что... въ нашемъ домѣ не было никогда ни карликовъ, ни шутовъ, ни дуръ, которыми обыкновенно потѣшались русскіе баре, даже принадлежавшіе самому высшему обществу». «Объ этой гадости, объ этой заразѣ я еще поговорю въ свое время», — замѣчаетъ авторъ и дальше сообщаетъ нѣсколько такихъ подробностей.

Автору было двѣнадцать лѣтъ, когда наступилъ двѣнадцатый годъ. Въ началѣ лѣта, къ нимъ въ деревню, подъ Москвой, прискакалъ нарочный отъ ихъ родственника Обрескова, московскаго губернатора: онъ привезъ рескриптъ имп. Александра о началѣ войны и приказъ по арміямъ. Отецъ въ первую минуту предложилъ крестьянамъ выбрать охотниковъ и хотѣлъ самъ и съ маленькимъ сыномъ идти въ походъ; между крестьянами, однако, охотниковъ не нашлось, — они справедливо разсудили, что и безъ этого будетъ усиленный наборъ; и отецъ, отправившись въ Москву, куда прибылъ императоръ Александръ, вернулся охлажденнымъ. Авторъ «Записокъ» разсказываетъ, что былъ сильно пораженъ извѣстіями о войнѣ; «роковая вѣсть меня переродила. Дѣтство мое кончилось; я выросъ въ одинъ день нравственно и умственно разомъ нѣсколькими годами; съ тѣхъ поръ я началъ понимать, мыслить и выражать мои мысли безъ обычной дѣтской застѣнчивости... Однимъ словомъ, я началъ другую жизнь».

31 августа получено было извѣстіе отъ Обрескова (пока секретное), что Москва будетъ сдана безъ боя, и совѣтъ скорѣе уѣзжать изъ-подъ Москвы; но Свербеевы, жившіе немного въ сторонѣ отъ Серпуховской дороги, видѣли уже громадные обозы и толпы бѣгущихъ изъ Москвы. Сами они направились въ свою

тульскую деревню, и въ Веневѣ, въ 150 верстахъ, они видѣли громадное длинное зарево на сѣверѣ: Москва уже горѣла.

На слѣдующій годъ Д. Н. Свербеевъ, для приготовленія къ университету, поступилъ въ пансіонъ извѣстнаго профессора Мерзлякова и затѣмъ вскорѣ перешелъ въ университетъ. «Записки» сообщаютъ много оригинальныхъ подробностей о тогдашнемъ состояніи перваго русскаго университета; состояніе это было младенческое, преподаваніе, въ большинствѣ, плохое, между прочимъ съ профессорами иностранцами, не знавшими русскаго языка, когда слушатели плохо знали, или совсѣмъ не знали языковъ иностранныхъ. Въ числѣ профессоровъ были, однако, и люди замѣчательные, хотя попадавшіе въ университетъ случайно: такъ Свербеевъ съ особымъ почтеніемъ и благодарностью вспоминаетъ профессора «россійскаго законоискусства», Сандунова, который приглашенъ былъ на каѳедру изъ оберъ-секретарей сената, — «откуда старались выжить его какъ доку и знатока и въ то же время человѣка неподкупнаго никакими взятками, независимаго характера и не слишкомъ уклончиваго передъ начальствомъ» Но это былъ знатокъ чисто практическій: права, какъ науки, онъ совсѣмъ не зналъ, отвергалъ самую науку и «при всякомъ удобномъ случаѣ выражалъ къ ней свое презрѣніе». Но онъ могъ прекрасно приготовить своихъ питомцевъ къ тогдашней гражданской службѣ.

Какъ разсказы объ университетѣ составятъ весьма интересный вкладъ въ исторію нашего образованія, такъ другіе разсказы Свербеева даютъ немалый матеріалъ для исторіи нравовъ. Было бы слишкомъ долго указывать эти любопытныя подробности; довольно сказать, что «Записки» читаются какъ романъ (кажется, единственное, что теперь читается усердно) и т. Д. Х. справедливо замѣчаетъ, что «едва ли кто, взявшись за чтеніе записокъ Д. Н. Свербеева, положитъ книгу, не дочитавъ ее до конца».

Авторъ «Записокъ» хотѣлъ въ разсказѣ о своей жизни держаться простого хронологическаго порядка, но нерѣдко дѣлаетъ большія отступленія, чтобы передать цѣльно исторію дѣлъ и лицъ, съ которыми былъ связанъ. Этихъ дѣлъ и лицъ было не мало: у него было по отцу и по матери большое родство; между нимъ бывали своеобразные, по времени типическіе характеры; по университету, потомъ по службѣ было обильное знакомство, — и въ роднѣ и въ знакомствѣ упоминается и изображается не мало людей, извѣстныхъ тогда или впослѣдствіи: Обресковы (одинъ, какъ выше сказано, былъ московскимъ губернаторомъ въ 1812 году), Голохвастовы (одинъ былъ попечителемъ московскаго университета въ тридцатыхъ годахъ), Кикины (одинъ былъ начальникомъ комиссіи прошеній, гдѣ Свербеевъ началъ свою службу); въ Петербургѣ онъ у своего дяди Кикина видывалъ представителей тогдашней литературы (Крылова, Гнѣдича и др.) и также представителей тогдашняго либеральнаго направленія,

въ средѣ которыхъ составлялось тайное общество — о существовании его онъ догадывался; въ первомъ путешествіи за границу (около 1820 года) его спутникомъ былъ одно время Абр. С. Норовъ, — Свербеевъ разсказываетъ удивительныя исторіи объ его взбалмошности, такъ что онъ рѣшился наконецъ отдѣлаться отъ этого спутника; любопытны подробности о самыхъ способахъ путешествія, о Парижѣ первыхъ двадцатыхъ годовъ и т. д. Вернувшись изъ путешествія, Свербеевъ занялся своими имѣніями, и по этому поводу даетъ подробный разсказъ о тогдашнемъ крѣпостномъ хозяйствѣ, о положеніи крестьянъ, о бытѣ и нравахъ деревенскаго дворянства. Въ университетѣ, при всей слабости наукъ, Свербеевъ набрался въ товарищеской средѣ извѣстныхъ либеральныхъ и филантропическихъ понятій, которыя еще утвердились въ Петербургѣ; у него стало составляться представленіе о необходимости освобожденія крестьянъ; онъ былъ помѣщикъ народолюбивый, — но онъ правдиво разсказываетъ, что подъ вліяніемъ окружающихъ нравовъ и самъ не остался свободенъ отъ ошибокъ въ своемъ пользованіи крѣпостнымъ правомъ. Онъ тогда уже видѣлъ и осуждалъ грубое злоупотребленіе помѣщиковъ этимъ правомъ; но онъ не особенно свѣтлыми красками изображаетъ и нравственное состояніе крестьянства, не только пожившаго въ городахъ на заработкахъ, но и деревенскаго, — испорченнаго невѣжествомъ и рабствомъ.

Оставивъ коммиссію прошеній, — даже и тамъ онъ насмотрѣлся на испорченность нашей администраціи, — онъ, при помощи дяди Кикина, перешелъ на службу въ министерство иностранныхъ дѣлъ: его причислили, какъ онъ желалъ, къ русскому посольству въ Швейцаріи. Онъ поселился въ Бернѣ; посланникомъ былъ баронъ Крюднеръ, сынъ баронессы, которая тогда была уже знаменита своими мистическими подвигами. Здѣсь опять Свербеевъ даетъ любопытную картину швейцарскаго общества, именно аристократическаго, въ рукахъ котораго было тогда швейцарское правленіе. Одно время, — не совсѣмъ ясно, по собственной охотѣ или по указанію Крюднера, — онъ жилъ довольно долго въ Женевѣ, гдѣ сблизился съ знаменитымъ Каподистріей. Оставивъ русскую службу, потому что его положеніе, какъ греческаго патріота, становилось невозможнымъ, когда имп. Александръ высказался рѣшительно противъ греческаго возстанія, Каподистрія жилъ въ Швейцаріи и былъ центромъ филэллинскихъ обществъ: большую долю своей русской пенсіи онъ отдавалъ на дѣло возстанія. Свербеевъ однажды видѣлъ его мелькомъ въ Петербургѣ въ одномъ обществѣ, и уже тогда проникся великимъ почтеніемъ къ этой замѣчательной личности; теперь онъ поклонялся уму и высокому характеру Каподистріи: разсказъ Свербеева получаетъ важный историческій интересъ. Когда для Каподистріи стала мелькать надежда на измѣненіе взглядовъ имп. Александра, получено было неожиданно извѣстіе о кончинѣ императора... Живя въ Швейцаріи, Свербеевъ виды-

валъ и наѣзжавшихъ соотечественниковъ; здѣсь онъ въ первый разъ близко познакомился съ Чаадаевымъ.

Къ сожалѣнію, записки доведены только до 1826 года. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ домъ Свербеева, какъ мы упоминали, былъ нейтральнымъ пунктомъ, гдѣ встрѣчались лучшіе люди тогдашняго образованнаго круга, и онъ, свидѣтель безпристрастный, могъ бы дать любопытныя показанія объ этой замѣчательной эпохѣ нашей литературы и общественной жизни. Не знаемъ, насколько дѣйствительно самъ авторъ «Записокъ» представлялъ собою то «бытовое направленіе», о которомъ говоритъ г. Д. Х.; по самымъ запискамъ видно, что это былъ человѣкъ холоднаго разсудка — онъ съ молодыхъ лѣтъ учился наблюдать за собой, сдерживать свои увлеченія, и достигъ наконецъ спокойнаго безпристрастія; — но трудно помирить съ «бытовымъ направленіемъ» его разсказы о тѣхъ путяхъ, какими шло его собственное развитіе. Онъ испыталъ на себѣ тѣ вліянія европейской литературы и политической жизни, какими вообще воспитывались наши молодыя поколѣнія первой половины вѣка. Въ послѣдніе годы жизни онъ разсказываетъ о временахъ своей юности: «Въ краткое пребываніе мое въ Гамбургѣ, посредствомъ постояннаго чтенія «Journal des Débats» и различныхъ сочиненій въ этомъ умѣренномъ духѣ началось мое политическое воспитаніе... Такимъ остался я и до сего-дня, т. е. своего рода доктринеромъ, — положеніе въ Россіи не совсѣмъ ловкое» (I, стр. 327). Въ Парижѣ охватила его французская литература и другими своими сторонами, но въ томъ же духѣ. Въ Сорбоннѣ и Collège de Plessy онъ слушалъ Лакретелля, Дону и другихъ, но особливо Гизо. «Съ настойчивымъ прилежаніемъ, руководимый превосходными лекціями исторіи гражданской цивилизаціи Гизо, я изучилъ политическое положеніе самой Франціи и развитіе ея представительнаго правленія. Поставивъ себѣ Францію главнымъ предметомъ для изученія въ это и послѣдующее пребываніе мое за границей, я пріобрѣлъ о ней довольно обширныя свѣдѣнія, такъ что и теперь, въ послѣдніе мои годы, знаю эту страну и ея исторію *гораздо основательнѣе*, нежели Россію» (стр. 341). Такіе источники имѣло между прочимъ, «бытовое направленіе».

Къ запискамъ прибавлены еще нѣкоторыя статьи, отчасти раньше изданныя, напр. статья о московскомъ пожарѣ 1812 года, помѣщенная первоначально въ «В. Европы», 1872, и др.

Жаль, что допущенъ странный корректорскій недосмотръ. На оберткѣ напечатано: «Записки Дмитрія *Николаевича* Свербеева»; на второмъ заглавіи, въ обоихъ томахъ: «Записки Дмитрія *Ивановича* Свербеева».

ПРИМѢЧАНІЯ.

I. РУССКІЯ ОТНОШЕНІЯ БЕНТАМА.

(Стр. 1—109)

Напечатанная въ 1869 году, работа А. Н. Пыпина о русскихъ отношеніяхъ Бентама для своего времени являлась почти исчерпывающей. Въ позднѣйшихъ трудахъ самъ авторъ къ этому вопросу не возвращался, ссылаясь на статьи 1869 г. Между тѣмъ, за десятки лѣтъ, протекшихъ съ того времени, въ русской научной литературѣ продолжали накопляться новые матеріалы и изслѣдованія о Бентамѣ. Новѣйшимъ трудомъ въ этой области явилась книга Петра Покровскаго: Бентамъ и его время. П. 1916. XV+688 стр. Въ этомъ обширномъ изслѣдованіи даны характеристика правовой, соціально-политической, идеологической и философской среды, воспитавшей Бентама, его біографія, изложеніе его ученія, обзоръ школы, имъ созданной. Въ приложеніяхъ находимъ обзоръ сочиненій Бентама, ихъ изданій и переводовъ и указатель литературы о немъ съ оцѣнкой главнѣйшихъ трудовъ, наконецъ— хронологическій перечень главныхъ событій въ жизни Бентама. Въ книгѣ предложенъ списокъ (неполный) переводовъ сочиненій Бентама на русскій языкъ и подробный указатель русской юридической литературы о немъ. Но авторъ совершенно уклонился отъ новой переработки темы о русскихъ отношеніяхъ Бентама; ни въ біографической главѣ, ни въ библіографіи не использованы новые матеріалы; авторъ отсылаетъ читателя къ работѣ Пыпина. Такимъ образомъ, новый пересмотръ вопроса остается задачей будущаго. Ниже мы даемъ обзоръ матеріаловъ, появившихся послѣ статей Пыпина.

Глухо упоминаемыя Пыпинымъ въ примѣчаніи на стр. 6 «Избранныя сочиненія Іереміи Бентама», переведены были А. Н. Пыпинымъ и А. Н. Невѣдомскимъ, съ предисловіемъ Ю. Г. Жуковскаго; СПБ., 1867 (вышелъ только первый томъ); эта работа Пыпина не отмѣчена въ «Спискѣ трудовъ академика А. Н. Пыпина», составленномъ Я. Л. Барсковымъ (СПБ., 1903). Въ книгу вошли: «Введеніе въ основанія нравственности и законодательства», «Основныя начала гражданскаго кодекса» и «Основныя начала уголовнаго кодекса». Раньше этого изданія (кромѣ переводовъ Александровскаго времени, указанныхъ Пыпинымъ) появились еще переводы: 1) «О судоустройствѣ. Бентама. По французскому изданію Дюмона изложилъ А. Книримъ». СПБ. 1860; 2) «Должно ли преслѣдовать лихву закономъ? Популярное изложеніе ученія Бентама и Тюрго о лихвѣ». СПБ. 1865; 3) Изслѣдованія о природѣ и причинѣ богатства народовъ. Адама Смита. Съ примѣчаніями Бентама Буханана, Гарнье и др. Переводъ П. А. Бибикова. 3 тома. СПБ, 1866

(послѣднія два изданія пропущены П. А. Покровскимъ). Позднѣе статей Пыпина были изданы: 1) Іеремія Бентамъ. О судебныхъ доказательствахъ. Трактатъ по изданію Дюмона. Перев. съ французскаго И. Гороновичемъ. Кіевъ. 1876; 2) Давидъ Юмъ. Опыты.—Іеремія Бентамъ. Принципы законодательства. О вліяніи условій времени и мѣста на законодательства. Руководство по политической экономіи (изъ «Теоріи наградъ»). Перев. М. О. Гершензона. «Библіотека экономистовъ», вып. V, Изд. К. Солдатенкова. М. 1896; 3) Бентамъ. Тактика законодательныхъ собраній. Изд. Л. А. Велихова. СПБ. 1907. Перечень русской юридической литературы о Бентамѣ, съ оцѣнкой главнѣйшихъ работъ, предложенъ у П. А. Покровскаго; онъ выдѣляетъ работу Б. Н. Чичерина—въ третьей части его «Исторіи политическихъ ученій»—и, особенно, введеніе Ю. Г. Жуковскаго въ изданіи 1867 года. Присоединимъ сюда еще изложеніе взглядовъ Бентама у Н. Г. Чернешевскаго (Сочиненія, т. III, стр. 524—532) и обширную статью проф. Л. Е. Владимірова въ «Новомъ Энциклопедическомъ Словарѣ», т. 5 (1911).

Ближайшимъ по времени къ работѣ Пыпина историческимъ трудомъ, коснувшимся русскихъ отношеній Бентама, была монографія В. С. Иконникова о графѣ Н. С. Мордвиновѣ (СПБ. 1873, изд. Д. Е. Кожанчикова). Впрочемъ, многократно упоминая о Бентамѣ (см. по указателю личныхъ именъ), авторъ черпаетъ матеріалы у Пыпина; по архивнымъ даннымъ онъ приводитъ любопытную ссылку Мордвинова на мнѣніе Бентама въ разсужденіи «о пошлинахъ съ совершенія крѣпостныхъ актовъ» (стр. 324) и письмо Мордвинова къ Бентаму отъ 5 мая 1824 г. То же письмо гораздо позже было воспроизведено В. А. Бильбасовымъ въ «Архивѣ графовъ Мордвиновыхъ», т. IV, стр. 344-345 (№ 1013). Объ этомъ письмѣ упоминаетъ Пыпинъ, не имѣвшій его въ своемъ распоряженіи, на стр. 105: «въ это время Мордвиновъ... писалъ ему исполненное уваженія письмо». Въ томъ же IV-мъ томѣ «Архива Мордвиновыхъ» напечатанъ англійскій текстъ письма Бентама къ Мордвинову отъ 9 іюля 1830 г., приведенный Пыпинымъ въ русскомъ переводѣ на стр. 107—108. Три письма Мордвинова къ Бентаму (1819 г.) впервые были опубликованы по рукописямъ Британскаго музея, въ русскомъ переводѣ, В. Викторовымъ въ «Русской Старинѣ» 1901, апрѣль, стр. 197-202. Они писаны въ Лондонѣ, когда Мордвиновъ тамъ жилъ три недѣли и подолгу бесѣдовалъ съ Бентамомъ.

При письмѣ отъ 12-го сентября Мордвиновъ послалъ Бентаму весьма любопытный «Проектъ конституціи» для русскаго государства. Этотъ проектъ въ письмѣ былъ изложенъ по памяти. Подлинный же текстъ русской записки «О представителяхъ областныхъ», писанной въ 1816 г., напечатанъ въ «Архивѣ графовъ Мордвиновыхъ», т. IV, стр. 155—158. Въ VII-мъ томѣ того же «Архива», стр. 303—305, напечатано письмо къ Мордвинову младшаго брата Бентама, Самуила, долго жившаго у Мордвинова въ Крыму, въ царствованіе Екатерины II,—отъ 26 мая 1829 г. изъ Лондона. О томъ же Самуилѣ Бентамѣ есть упоминанія въ тт. I, стр. 425, 428; III, стр. 190; VII, стр. 303. См. также «Архивъ кн. Воронцова» т.т. V, 312, 330; XI, 418, 419; XVIII, 456; XIX, 163. О вліяніи взглядовъ Бентама на Мордвинова см. бѣглыя упоминанія въ книгѣ А. М.

Гнѣвушева: «Экономическія воззрѣнія гр. Мордвинова». Кіевъ 1904. О вліяніи Бентама на другихъ дѣятелей русской общественности при Александрѣ I упоминанія см. въ книгѣ В. И. Семевскаго: «Политическія и общественныя идеи декабристовъ». СПБ., 1908 (по указателю, s. v. Бентамъ). Ср. его же. Первый политическій трактатъ Сперанскаго. «Русское Богатство» 1907, № 1, стр. 82 сл. Сперанскій пользовался трудами Бентама еще въ 1803 г. въ «Запискѣ объ устройствѣ судебныхъ и правительственныхъ учрежденій въ Россіи» (напечатана въ «Историческомъ Обозрѣніи», т. XI, 1901, и въ кн. «Планъ государственнаго преобразованія гр. М. М. Сперанскаго. Съ приложеніемъ», изд. «Русской Мысли», М. 1905). О Рылѣевѣ Д. Кропотовъ говоритъ: «У меня былъ въ рукахъ экземпляръ Бентама, во французскомъ переводѣ, принадлежавшій Рылѣеву, со множествомъ помѣтокъ, писаныхъ его рукою» («Русскій Вѣстникъ» 1869, мартъ, стр. 235); къ сожалѣнію, этотъ экземпляръ остался недоступенъ позднѣйшимъ біографамъ Рылѣева. О вліяніи Бентама на Пестеля вскользь упоминается въ статьѣ М. М. Ковалевскаго о «Русской правдѣ» Пестеля («Минувшіе Годы» 1908, кн. I).

Много свѣжихъ, хотя и дробныхъ, чертъ къ характеристикѣ русскихъ отношеній Бентама даетъ «Дневникъ Этьена Дюмона объ его пріѣздѣ въ Россію въ 1803 г.», напечатаный въ «Голосѣ Минувшаго» 1913, №№ 2—4. Дневникъ этотъ, по рукописи Женевской библіотеки, изложенъ, а мѣстами дословно переведенъ С. М. Горяиновымъ; ему же и редакціи журнала принадлежатъ подробныя примѣчанія къ «Дневнику», гдѣ между прочимъ, сопоставляются отдѣльные эпизоды Дневника съ соотвѣтствующими частями работы Пыпина; матеріалами этого документа пополняются свѣдѣнія, изложенныя Пыпинымъ въ первой половинѣ его работы; хотя иногда отдѣльныя части дневника излагались Дюмономъ въ тогдашнихъ письмахъ къ его друзьямъ, приводимыхъ Пыпинымъ (ср., напр., у Пыпина стр. 28 слл. и «Голосъ Минувшаго» 1913, №3, стр. 106—107); всѣ упоминанія въ дневникѣ Дюмона о Бентамѣ и его русскихъ корреспондентахъ устанавливаются легко по указателю именъ къ «Голосу Минувшаго» за 1913 годъ, помѣщенному въ № 12 журнала 1914 г. Объ этомъ дневникѣ и о встрѣчѣ съ Дюмономъ въ Женевѣ въ 1826 г. упоминаетъ А. И. Тургеневъ въ своихъ письмахъ къ брату (см. выше, стр. 212).

Къ стр. 29. Подробности о ссылкѣ Пюже въ Сибирь см. у Дюмона, «Голосъ Минувшаго» 1913, № 3, стр. 98.

Къ стр. 40 (ср. 61). О Чичаговѣ и его англійскихъ отношеніяхъ см. «Архивъ адмирала П. В. Чичагова», вып. I. СПБ. 1885.

Къ стр. 45. Мемуары Н. А. Саблукова были напечатаны въ Англіи въ 1865 г., въ «Frazer's Magazine»; въ 1866 г. въ «Revue Moderne» помѣщены извлеченія изъ нихъ на француз. языкѣ; въ 1869 г., въ «Русскомъ Архивѣ», данъ переводъ ихъ подлинника (С. А. Рачинскаго)—въ урѣзанномъ видѣ; полный переводъ, съ введеніемъ и примѣчаніями, напечатанъ К. А. Военскимъ въ «Историческомъ Вѣстникѣ» 1906, №№ 1—3, и отдѣльно (П., 1911); ср. сборникъ «Цареубійство 11 марта 1801 г.», изд. А. С. Суворина, СПБ., 1907.—О Саблуковѣ см. «Рус. Біографич. Словарь» (1904; ст. В. Л. Модзалевскаго).

Къ стр. 46 (ср. стр. 63, 69, 106). Упоминаемый здѣсь и passim баронъ Густавъ Андреевичъ Розенкампфъ, юристъ и писатель, вызывалъ рѣзкія нападки Бентама. Не зная его лично и не имѣя возможности слѣдить непосредственно за его государственной дѣятельностью, Бентамъ въ своихъ сужденіяхъ (одну его фразу о Розенкампфѣ Пыпинъ называетъ «ужасной въ своей нетерпимости») опирался на свѣдѣнія, доходившія до него изъ Россіи отъ Дюмона, который осуждалъ нравственный характеръ Розенкампфа, отъ Мордвинова, который называлъ его «дуракомъ и интриганомъ» («Русская Старина» 1901, IV, 202). Но тотъ же Дюмонъ говоритъ о Розенкампфѣ, что онъ «прочелъ самыя лучшія книги», что «это дѣйствительно умный человѣкъ» («Голосъ Минувшаго» 1913, II, 150; IV, 129). Новѣйшія изученія удостовѣряютъ широкую образованность Розенкампфа и его безкорыстные научные интересы; умеръ онъ въ великой бѣдности. О немъ см. П. Майковъ. Бар. Г. А. Розенкампфъ. «Русская Старина» 1904, №№ 10 и 11; его же. Второе Отдѣленіе Соб. Е. И. В. Канцеляріи. СПБ. 1906; его-же—біографія Розенкампфа въ «Русскомъ Біографическомъ Словарѣ» (1913; здѣсь же и обширная библіографія). О работахъ Розенкампфа по научному изданію Кормчей книги см. проф. Евг. Бобровъ. Литература и просвѣщеніе въ Россіи XIX в., т. I; ср. его же. Учено-литературная дѣятельность проф. В. С. Печерина. «Журн. Мин. Народ. Просвѣщенія» 1907, № 4. О Розенкампфѣ и его женѣ, баронессѣ Маріи Павловнѣ, рожд. Бларамбергъ, теплыя воспоминанія оставилъ самъ В. С. Печеринъ, см. «Русскій Архивъ» 1870 («Эпизодъ изъ Петербургской жизни»); ср. М. О. Гершензонъ. Жизнь В. С. Печерина. М., 1919, стр. 6—9. О Розенкампфѣ и о Комиссіи составленія законовъ, о которой идетъ рѣчь въ перепискѣ Бентама, см. также въ дополнительныхъ матеріалахъ къ «Жизни графа Сперанскаго» бар. Корфа: «Сперанскій въ 1808—1811 гг. Изъ бумагъ акад. А. Ѳ. Бычкова». Сообщ. И. А. Бычковъ. «Русская Старина» 1903, апрѣль, стр. 29—40; ср. бар. А. Э. Нольде. Очерки по исторіи кодификаціи мѣстныхъ гражданскихъ законовъ при графѣ Сперанскомъ. Вып. II Кодификація мѣстнаго права прибалтійскихъ губерній. СПБ. 1914 г. (см. гл. II).

II. ВРЕМЕНА РЕАКЦІИ.

(Стр. 111—186)

Послѣ опубликованія этихъ статей Пыпина, вскорѣ въ русскихъ историческихъ журналахъ стали появляться новые матеріалы, почерпаемые изъ литературныхъ трудовъ Фарнгагена Фонъ—Энзе. Самъ Пыпинъ въ «Общественномъ движеніи при Александрѣ I» уже бралъ цитаты изъ другого сочиненія Фарнгагена: «Denkwürdigkeiten» (1843—1846), гдѣ автору приходилось говорить о болѣе раннихъ событіяхъ александровскаго времени (см. послѣднія изданія «Общественнаго Движенія» по указателю именъ s. v. Фарнгагенъ). Въ 1875 г., въ «Русскомъ Архивѣ» (II, стр. 344 сл.) появился переводъ отрывковъ изъ «Дневника» Фарнгагена, съ примѣчаніями А. А. Чумикова. Продолженіе этой работы было перенесено въ «Русскую Старину» (1878, сентябрь; 1879, февраль).

Здѣсь изъ «Tagebücher» Фарнгагена взяты извѣстія о русскихъ людяхъ и дѣлахъ 1845—1851 гг. Снабженныя подробными примѣчаніями А. А. Чумикова, эти извлеченія являются естественнымъ продолженіемъ статей Пыпина. Однако, слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ текстѣ перевода сдѣлано огромное количество цензурныхъ пропусковъ. Нѣкоторымъ дополненіемъ къ статьямъ Пыпина и Чумикова является небольшое сообщеніе Г. В. Вернадскаго: «Изъ исторіи прусской реакціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Дневникъ Фарнгагена фонъ—Энзе», «Русская Мысль» 1915, іюль, стр. 39—49; авторъ беретъ матеріалъ изъ дневниковъ главнымъ образомъ 1840 и 50-хъ годовъ; онъ пользовался всѣми 14-ю томами «Дневника», но «Указатель» къ нимъ (Berlin, 1905) остался ему недоступенъ; русская литература о Фарнгагенѣ не указана.

Русскія личныя отношенія Фарнгагена, почти не затронутыя въ статьяхъ Пыпина, были, однако, очень обширны и длительны. Они раскрываются въ позднѣйшее время въ работахъ проф. И. А. Шляпкина, изучившаго бумаги Фарнгагена въ Королевской Берлинской Библіотекѣ и частями печатавшаго эти матеріалы (главнымъ образомъ, письма русскихъ людей) въ историческихъ журналахъ. См. его «Берлинскіе матеріалы для исторіи новой русской литературы» въ «Русской Старинѣ» 1893, январь и апрѣль, и 1895, апрѣль и сентябрь; въ «Вѣстникѣ Всемірной исторіи» 1900, №6. Сюда же относится еще одна работа И. А. Шляпкина: «В. А. Жуковскій и его нѣмецкія друзья. Неизданныя документы 1842—1850 гг. Изъ картоновъ Фарнгагена фонъ Энзе». «Русскій Библіофилъ» 1912, ноябрь—декабрь.—Письмо Фарнгагена къ кн. П. А. Вяземскому см. въ «Русскомъ Архивѣ» 1866, ст. 217

Къ стр. 119. «Дневника»... «дошедшаго теперь до 1854 г. (11-й томъ)». Въ слѣдующемъ, 1870, году изданіе «Tagebücher» закончилось 14-мъ томомъ; Register ко всему изданію появился позднѣе (Berlin, 1905).

Къ стр 129. «Извѣстный князь Козловскій»—о немъ см. «Остафьевскій Архивъ», т. III, стр. 551—554.

Къ стр. 162. О сочувствіи къ греческому возстанію въ русскомъ обществѣ см. В. И. Семевскій. Политическія и общественныя идеи декабристовъ, СПБ., 1909, стр. 250—255.

Къ стр. 167. Сообщеніе Фарнгагена о результатахъ семеновской исторіи, достовѣрность коего Пыпинъ въ 1869 г. еще «не имѣлъ возможности провѣрить», преувеличено; о волненіи въ Семеновскомъ полку въ 1820 г. см. спеціальное изслѣдованіе В. И Семевскаго въ журналѣ «Былое» 1907, январь—мартъ (въ сокращеніи вошло въ «Политическія и общественныя идеи декабристовъ», стр. 130—166).

III. РУССКІЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ ВЪ ДВАДЦАТЫХЪ ГОДАХЪ.

(Стр. 187—221)

Литература объ Ал. Ив. Тургеневѣ обширна. Первый сводъ матеріаловъ данъ былъ въ прекрасномъ, богатомъ фактами, біографическомъ очеркѣ В. И. Саитова въ первомъ томѣ Сочиненій К. Н. Батюшкова

подъ редакціей Л. Н. Майкова (СПБ., 1887, стр. 355—372). Въ 1899 г. появился первый томъ «Остафьевскаго Архива князей Вяземскихъ», гдѣ напечатана переписка А. И. Тургенева съ кн. Вяземскимъ 1812—1819 гг. съ обширными примѣчаніями В. И. Саитова; за нимъ послѣдовали т. т. II—IV (СПБ. 1899—1901), гдѣ переписка доведена до года смерти А. И. Тургенева († 3 дек. 1845 г.) Въ послѣдніе годы документы, относящіеся къ Тургеневу, печатаются въ изданіи II-го Отдѣленія Академіи Наукъ: «Архивъ братьевъ Тургеневыхъ»; до настоящаго времени вышло четыре выпуска; изъ нихъ къ Ал. И. Тургеневу ближайшимъ образомъ относятся два: 1) Вып. 2-й. Письма и дневникъ А. И. Тургенева геттингенскаго періода (1802—1804 гг.) и письма его къ А. С. Кайсарову и братьямъ въ Геттингенъ 1805—1811 гг. Съ введеніемъ и примѣчаніями В. М. Истрина. СПБ. 1911.; 2) Вып. 4-й. Путешествіе А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянскимъ землямъ въ 1804 году. Подъ ред. В. М. Истрина. П. 1915 (здѣсь письма Тургенева къ родителямъ). Кромѣ введенія и обширныхъ примѣчаній (съ полной библіографіей) къ этимъ выпускамъ, слѣдуетъ еще указать, что академикомъ В. М. Истринымъ одновременно печатались статьи въ «Журн. Мин. Народ. Просвѣщенія», основанныя на матеріалахъ архива Тургеневыхъ. Изъ нихъ особо отмѣтимъ статью: «Русскіе путешественники по славянскимъ землямъ въ началѣ XIX вѣка». «Журн. Мин. Народ. Просвѣщенія» 1912, №9, стр. 78—109. Эта работа является необходимымъ дополненіемъ какъ къ 4-му вып. «Архива Тургеневыхъ», такъ и къ статьѣ Пыпина о позднѣйшемъ путешествіи Тургенева по Европѣ. Въ печатающемся новомъ выпускѣ «Архива бр. Тургеневыхъ» помѣщены письма А. И. Тургенева къ кн. Вяземекому (редакція Н. К. Кульмана). По матеріаламъ все того же Тургеневскаго архива написаны за послѣдніе годы статьи объ А. И. Тургеневѣ, А. С. Кайсаровѣ, Н. И. Тургеневѣ А. А. Ѳомина въ «Русскомъ Библіофилѣ» (1912 и слл.), въ сборникѣ «Пушкинъ и его современники» (вып. VI), въ изданіи сочиненій Пушкина подъ ред. С. А. Венгерова (т. VI). Отмѣтимъ еще статью кн. Д. И. Шаховскаго «Изъ послѣднихъ лѣтъ жизни А. И. Тургенева». «Голосъ Минувшаго» 1914, апрѣль (здѣсь—и неизданныя письма его). Характеристика А. И. Тургенева дана въ сочинепіяхъ кн. П. А. Вяземскаго, въ «Записной книжкѣ», т. VIII, стр. 273—288. См. также С. Р. Минцловъ. Обзоръ записокъ, дневниковъ и проч., вып. II—III, стр. 49.

Къ стр. 191. Объ участіи въ литературномъ кружкѣ «Арзамасъ» А. И. Тургенева, какъ и Батюшкова (о чемъ Пыпинъ говоритъ въ статьѣ «Наканунѣ Пушкина») см. Е. А. Сидоровъ. Литературное общество «Арзамасъ». «Журн. Мин. Народ. Просвѣщенія» 1901, №№ 6—7; позднѣйшіе труды указаны въ кн. Н. К. Пиксанова: «Три эпохи», 2-ое изд., стр. 12—13.

Къ стр. 191.—192. Объ участіи Тургенева въ Библейскомъ Обществѣ см. въ I т. «Изслѣдованій и статей по эпохѣ Александра I» («Религіозное движеніе при Александрѣ I») А. Н. Пыпина, П., 1916 (по указателю именъ).

Къ стр. 193. Упомянутая Пыпинымъ книга «La cour de Russie il y a cent ans» (1725—1783) напечатана въ Берлинѣ и выдержала три изданія

(два въ 1858 г., третье въ 1860 г.); она составлена на основаніи донесеній англійскихъ и французскихъ посланниковъ при русскомъ дворѣ, собранныхъ А. И. Тургеневымъ.

Къ стр. 195 слл. Оправдательная записка Н. И. Тургенева, сообщенная А. А. Ѳоминымъ, напечатана въ «Русской Старинѣ» 1901, №№ 8—10. О содѣйствіи Жуковскаго см. Н. Ѳ. Дубровинъ. В. А. Жуковскій и его отношенія къ декабристамъ. «Русская Старина» 1902, № 4 (гл. II: Жуковскій и братья Тургеневы). Ср. Сочиненія Жуковскаго, подъ ред. А. С. Архангельскаго, изд. А. Ф. Маркса, 1902, т. X, стр. 13—23 и 143—144.—О личныхъ отношеніяхъ Жуковскаго и Ал. Ив. Тургенева см. Письма В. А. Жуковскаго къ А. И. Тургеневу. Съ примѣчаніями И. А. Бычкова. Изд. «Русскаго Архива», М. 1895.

Къ стр. 205. О «смѣлости за правду противъ сильныхъ земли» М. И. Невзорова и о мотивахъ вражды къ нему монаховъ даетъ ясное представленіе письмо его къ митрополиту Серафиму отъ 23 іюня 1825 года, гдѣ онъ рѣзко обличаетъ недостатки церковной жизни и распущенную жизнь монаховъ. Это письмо было напечатано Пыпинымъ въ приложеніи къ изслѣдованію о Библейскомъ Обществѣ; см. I-й т. «Изслѣдованій и статей по эпохѣ Александра I», стр. 176—177 и 281—292. Въ письмѣ самимъ Пыпинымъ сдѣланъ, по цензурнымъ соображеніямъ, пропускъ; онъ возстановленъ въ статьѣ г. А. Гробова: «О настроеніяхъ общественныхъ. Письма М. И. Невзорова кн. А. Н. Голицыну въ 1820 г. и митр. Серафиму 1824 г.». «Голосъ Минувшаго», 1913, № 12, стр. 276—277. Приводимъ здѣсь этотъ пропускъ: «И у насъ въ греческой церкви очень даже въ недавнія времена открылись злоупотребленія, для истинныхъ христіанъ крайне соблазнительныя, а для вольтеристовъ и подобныхъ вольнодумцевъ служащія большимъ поводомъ къ разврату и осмѣянію церкви! Извѣстно, что въ Москвѣ рака Петра Митрополита издавна была запечатана, и набожные христіане полагали, что въ ракѣ сей находятся нетлѣнныя мощи сего святителя, прикладывались образу его, изображенному на верхней доскѣ. Французы, взошедшие въ Москву въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1812 года, церкви грабили, въ числѣ коихъ и въ Успенскомъ соборѣ всѣ раки, исключая чудесно сохраненной раки Іоны Митрополита, ободрали и, думая, что въ запечатанной ракѣ Петра Митрополита находятся сокровища, открыли, но, ничего не найдя, такъ оставили. По изгнаніи французовъ, генералъ Донскихъ казаковъ Иловайскій вошелъ первый въ соборъ Успенскій, а съ нимъ многіе московскіе жители, изъ коихъ бывшіе самовидцы мнѣ и разсказывали: когда пришли къ ракѣ Петра Митрополита, то въ ней не нашли никакихъ нетлѣнныхъ мощей; а внутри ея была простая мѣдная коробка, которую открывши, нашли въ ней пелену, а въ пеленѣ нѣсколько костей и болѣе ничего. Но послѣ сего не велѣно было никого впускать въ соборъ. А по пріѣздѣ свѣтскаго и духовнаго правительства въ Москву весь Кремль былъ запертъ и въ него не пускали никого цѣлые полтора мѣсяца, и потомъ вдругъ съ дозволенія Святѣйшаго синода обнародовано, что по открытіи французами раки св. Петра Митрополита мощи его найдены нетлѣнными, и покойный Августинъ, открывая ихъ, съ великимъ торжествомъ, въ рѣчи своей на тотъ разъ говоренной, сдѣлалъ обращеніе къ святителю

такимъ образомъ: Покажи намъ, святе, пресвѣтлое Лице Твое! и, снявши покрывавшую ее пелену, открылъ. Но откуда взялось пресвѣтлое лице сіе, когда въ ракѣ кромѣ нѣсколькихъ костей ничего не было? Кстати можно сказать нѣсколько словъ и о другихъ мощахъ. Извѣстно, что въ ракѣ св. Алексѣя Митрополита въ Чудовомъ Монастырѣ одинъ скелетъ костяной, но онъ выдается за цѣлое и нетлѣнное тѣло, хотя мощи его никогда не показываютъ. Въ Даниловомъ монастырѣ жившій долго одинъ неученый престарѣлый бѣлый священникъ Григорій Ремизовъ, и недавно умершій, разсказывалъ, что онъ удивился и испугался, когда его вмѣстѣ съ другимъ монахомъ заставляли класть въ возобновленную послѣ французовъ раку костяной скелетъ подъ именемъ мощей князя Даніила, ибо онъ по простотѣ своей, какъ и всѣ приходящіе богомольцы, думалъ, что прежде въ ней хранилось цѣлое и нетлѣнное тѣло его, ибо лица его также не показываютъ никому. Я вѣрю, что Господь хранитъ кости праведныхъ и ни едина отъ нихъ сокрушится, и я чудотворцевъ Петра и Алексѣя Митрополитовъ истинно почитаю святыми: ну такъ пусть однѣ кости и показываютъ! Для чего же, однѣ кости скрывая, ихъ выдавать и показывать за цѣлое и нетлѣнное тѣло? Это пахнетъ богопротивною святою торговлею! Не таковыхъ-ли торговцевъ изгоняетъ Христосъ изъ храма, глаголя: Храмъ мой—храмъ молитвы наречется всѣмъ языкомъ: вы же сотвористе его вертепъ разбойникомъ».—О Невзоровѣ см. «Русскій Біографич. Словарь» (1914) и ст. Н. К. Кульмана въ изданіи «Масонство въ его прошломъ и настоящемъ», т. II (М. 1915).

Къ стр. 207. Коз...въ—О. П. Козодовлевъ; Роз...фъ—бар. Г. А. Розенкампфъ; о нихъ говорится выше, въ статьяхъ о Бентамѣ.

Къ стр. 211. Объ учебномъ заведеніи Фелленберга въ Гофвилѣ и русскихъ воспитанникахъ его см. новые матеріалы въ книгѣ М. О. Гершензона: «Декабристъ Кривцовъ и его братья». М., 1914, стр. 63 сл., 95 сл.

IV. РАЗБОРЪ СОЧИНЕНІЯ М. И. БОГДАНОВИЧА.

(Стр. 223—276)

Академическій отзывъ Пыпина о трудѣ Богдановича появился въ свѣтъ въ 1874 году, но, собственно, напечатанъ былъ двумя годами раньше, о чемъ свидѣтельствуетъ помѣта на отдѣльномъ оттискѣ этого отзыва (стр. 50): «Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. С. Петербургъ. Ноябрь 1872 г. Непремѣнный секретарь, Академикъ К. Веселовскій». Отзывъ былъ оглашенъ въ томъ же 1872 г. въ засѣданіи Академіи Наукъ, и по отчету о присужденіи Уваровскихъ премій былъ изложенъ подробно въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» 1872, № 291, 23 октября. Еще раньше Пыпинъ напечаталъ рецензію на первые четыре тома изслѣдованія Богдановича—въ «Вѣстникѣ Европы» 1869, іюнь, стр. 927—931. Ни Богдановичъ, ни Пыпинъ еще не располагали въ началѣ 1870-хъ годовъ тѣми обильными матеріалами, которые стали

появляться позднѣе. Они вводились Пыпинымъ во второе изданіе «Общественнаго движенія въ Россіи при Александрѣ I» (1885) и, еще позже, въ третье (1900). Богатый новый матеріалъ собранъ былъ въ упомянутомъ уже изслѣдованіи В. И. Семевскаго: «Политическія и общественныя идеи декабристовъ» (1909); новѣйшій пересмотръ вопросовъ дипломатической, военной, экономической исторіи александровскаго времени сдѣланъ въ книгѣ проф. М. В. Довнаръ-Запольскаго: «Обзоръ новѣйшей русской исторіи», т. I, изд. 2, Кіевъ, 1914.—О Богдановичѣ см. Д. Д. Языковъ. Обзоръ жизни и трудовъ покойныхъ русскихъ писателей, вып. второй; «Рус. Біографич. Словарь» (1908, ст. Д. С—ва; здѣсь и библіографія).

Къ стр. 271. «Извѣстная книга Н. И. Тургенева 1847 г.»—«La Russie et les Russes»; «особая брошюра»—Отвѣтъ Е. Ковалевскому и на статью въ «Инвалидѣ», 1867 г.

V. ШКОЛА ДВАДЦАТЫХЪ ГОДОВЪ.

(Стр. 277—314)

Когда писалась эта статья, Пыпинъ располагалъ только двумя первыми томами Сочиненій кн. П. А. Вяземскаго; изданіе закончилось въ 1896 г. двѣнадцатымъ томомъ. Вскорѣ началось изданіе «Остафьевскаго Архива», указанное выше, почти исключительно наполненное перепиской кн. Вяземскаго (второй выпускъ V тома появился въ 1913 г.). Обширныя части переписки кн. Вяземскаго съ современниками и другія извлеченія изъ его литературнаго наслѣдія печатаются въ сборникѣ «Старина и Новизна», изд. при Обществѣ ревнителей рус. просвѣщенія съ первыхъ книжекъ (кн. XXII вышла въ 1917 г.). Новая серія переписки кн. Вяземскаго съ А. И. Тургеневымъ публикется, какъ указано выше, въ «Архивѣ братьевъ Тургеневыхъ». Значительная коллекція писемъ кн. Вяземскаго къ Пономареву напечатана въ изданіи Л. Э. Бухгейма: «Письма къ библіографу С. И. Пономареву» (М., 1915). Тому же С. И. Пономареву принадлежитъ обширный трудъ: «Памяти кн. П. А. Вяземскаго» въ «Сборникѣ» II-го Отдѣленія Академіи Наукъ, т. XX, СПБ., 1879 (здѣсь—хронологическій указатель и алфавитный списокъ сочиненій кн. Вяземскаго, указатель писемъ его, біографическихъ матеріаловъ, критическихъ отзывовъ о немъ и проч.). Новую библіографію кн. Вяземскаго см. въ «Источникахъ словаря русскихъ писателей» С. А. Венгерова, т. I (СПБ., 1900). Дополненія къ Пономареву и Венгерову—въ книжкѣ Д. Языкова: «Кн. П. А. Вяземскій. Его жизнь и литературная дѣятельность. Очеркъ, съ приложеніемъ библіографическаго указателя». М., 1904.

Къ оцѣнкѣ кн. Вяземскаго Пыпинъ возвращался не разъ; въ «Исторіи русской литературы», т. IV, гл. 8 (Сверстники Пушкина) дана сжатая характеристика его, переработанная изъ статьи «Школа двадцатыхъ годовъ». Появлявшіеся послѣ этой статьи томы Сочиненій кн. Вяземскаго

и «Остафьевскаго Архива» Пыпинъ иногда рецензировалъ въ «Литературныхъ обозрѣніяхъ» «Вѣстника Европы». Три изъ этихъ отзывовъ воспроизведены выше, въ Приложеніяхъ.

Къ стр. 297. Объ отношеніи кн. Вяземскаго и Уварова къ Полевому и о запрещеніи «Московскаго Телеграфа» см. М. И. Сухомлиновъ. Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію, т. II, СПБ. 1889.

VI. НАКАНУНѢ ПУШКИНА.

(Стр. 315—358)

Послѣ монументальнаго изданія Сочиненій К. Н. Батюшкова, подъ редакціей Л. Н. Майкова, новыхъ текстуальныхъ и біографическихъ матеріаловъ появилось мало. Біографія, приложенная при первомъ томѣ изданія 1887 года, была вновь издана Майковымъ въ 1896 г. (СПБ., изд. А. Ф. Маркса). Въ 1900 г. Л. Н. Майковъ напечаталъ біографическій очеркъ Батюшкова въ «Рускомъ Біографическомъ Словарѣ» (здѣсь и библіографія). Ср. С. А. Венгеровъ. Критико—біографическій словарь русскихъ писателей, т. II, СПБ., 1891; Источники словаря, т. I, СПБ., 1900. Письма и литературные фрагменты Батюшкова продолжаютъ появляться въ историческихъ журналахъ и сборникахъ; см., напримѣръ, «Русскій Архивъ» 1901, № 10 (записочки къ Жуковскому); «Журн. Мин. Народ. Просвѣщенія» 1911, № 4 (письмо къ нему же); «Русскій Библіофилъ» 1916, кн. IV (Н. Лернеръ. Затерянная тетрадь стиховъ Батюшкова); Сборникъ статей въ честь Д. Ѳ. Кобеко, СПБ., 1913 (И. А. Бычковъ. Одно изъ послѣднихъ стихотвореній К. Н. Батюшкова). Но эти позднѣйшія публикаціи не собраны вмѣстѣ въ новомъ изданіи и даже не зарегистрованы библіографически. Поступившія въ Публичную Библіотеку бумаги описаны въ Отчетѣ Библіотеки за 1892 г. Современный статьѣ Пыпина отзывъ Н. Н. Булича объ изданіи Батюшкова подъ редакціей Л. Н. Майкова напечатанъ въ четвертомъ присужденіи Пушкинскихъ премій, СПБ., 1888, стр. 2—45. (Сборникъ II-го Отдѣленія Академіи Наукъ, т. XLVI). Ср. его же. Очерки по исторіи рус. литературы и просвѣщенія (2-ое изд., 1912). Изъ новѣйшей литературы о Батюшковѣ укажемъ: А. И. Некрасовъ. Батюшковъ и Петрарка. «Извѣстія II-го Отдѣл. Академіи Наукъ» 1911, кн. 4; Н. М. Эліашъ. О вліяніи Батюшкова на Пушкина. «Пушкинъ и его современники», вып. XIX—XX. (1914).

Статья о Батюшковѣ 1887 года, въ очень сокращенномъ и переработанномъ видѣ, вошла въ четвертый томъ «Исторіи русской литературы» Пыпина (гл. V).

Библіографію «Арзамаса», упоминаемаго всюду въ статьѣ, см. выше, въ примѣчаніяхъ къ статьѣ объ А. И. Тургеневѣ, стр. 514.

Къ стр. 328. «Случилось говорить по другому поводу»—см. выше, въ ст. о Вяземскомъ, стр. 280, 287 и др.

Къ стр. 348, 356. Здѣсь имѣется въ виду статья О. Ѳ. Миллера: «Новое въ новомъ изданіи Батюшкова» въ «Новостяхъ» 1887, №№ 177 и 184 (1 и 8 іюля).

VII. НОВЫЕ МЕМУАРЫ ОБЪ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЭПОХѢ.

(Стр. 359—409)

Старые мемуары по александровской эпохѣ Пыпинъ использовалъ въ первомъ (1871) и второмъ (1885) изданіяхъ «Общественнаго движенія въ Россіи»; важнѣйшіе мемуары, опубликованные послѣ 1885 г., перечислены въ предисловіи къ третьему изданію (1900). Позднѣйшую библіографію см. у С. Р. Минцлова: «Обзоръ записокъ, дневниковъ, воспоминаній, писемъ и путешествій, относящихся къ исторіи Россіи,» вып. II—III (времена императоровъ Александра I и Николая I). Новгородъ, 1912.

Къ стр. 354, 374. Записки Н. Н. Муравьева-Карсскаго печатались въ «Русскомъ Архивѣ» и раньше 1886—1887 гг.,—въ 1868, 1877; позже онѣ продолжались въ томъ же журналѣ до 1894 г. включ. и изложеніе въ нихъ доведено до 1838 года (ср. Минцловъ, II—III, стр. 25).

Къ стр. 374. О Варварѣ Ивановнѣ Бакуниной, урожд. Голенищевой-Кутузовой (1773—1840) см. въ «Словарѣ русскихъ писательницъ» кн. Н. Н. Голицына.

Къ стр. 376. «Вязьмит., Гол. и Молч. (?)»—гр. С. К. Вязьмитиновъ, кн. А. Н. Голицынъ, статсъ-секретарь Молчановъ. О паденіи Сперанскаго см. статью В. И. Семевскаго въ сборникѣ «Отечественная война и русское общество», изд. Сытина, М. 1912, т. II.

Къ стр. 380. Записки Я. И. Де-Санглена напечатаны въ «Русской Старинѣ» 1882, декабрь; 1883, январь и февраль; о немъ см. статью М. П. Погодина въ «Русскомъ Архивѣ» 1871, стр. 1097 сл.—«Извѣстное стихотвореніе» Пушкина—«Полководецъ» (дата: 7 апрѣля 1835); по поводу этого стихотворенія Пушкинъ напечаталъ въ «Современникѣ» 1836 свое «Объясненіе»; см. Сочиненія Пушкина подъ ред. П. О. Морозова, т. II, стр. 199, 550—555;—подъ ред. С. А. Венгерова, т. IV, стр. 23, и т. VI, 474—476.

Къ стр. 380 слл. Изложеніе записокъ Ю. Н. Бартенева является естественнымъ дополненіемъ къ тому, что говорится о кн. А. Н. Голицынѣ и его кругѣ въ изслѣдованіи Пыпина о Библейскомъ Обществѣ (см. т. I-й «Изслѣдованій и статей по эпохѣ Александра I»).

Къ стр. 381. Біографическія свѣдѣнія о Ю. Н. Бартеневѣ см. у свящ. М. Діева, «Русскій Архивъ» 1891, № 5, стр. 71—73.

Къ стр. 388. О гр. Р. С. Эдлингъ, урожд. Стурдза, Пыпинъ говоритъ въ своей работѣ о баронессѣ Крюднеръ, см. т. I-й «Изслѣдованій и статей по эпохѣ Александра I»; къ библіографіи, приведенной тамъ въ примѣчаніяхъ (на стр. 468-й) теперь слѣдуетъ добавить вновь опубликованныя письма гр. Р. С. Эдлингъ къ В. Г. Теплякову, съ примѣчаніями А. А. Тамамшева, въ «Русскомъ Библіофилѣ» 1916, кн. V. Ср. монографію вел. кн. Николая Михаиловича: «Императрица Елисавета Алексѣевна».

Къ стр. 397. Записки А. М. Тургенева продолжали печататься въ «Русской Старинѣ» за 1889, 1895 и 1897 годы. О Тургеневѣ см. «Архивъ братьевъ Тургеневыхъ», passim (по указателямъ именъ). Критику фактическихъ показаній Тургенева см. въ книгѣ М. В. Клочкова: «Очерки правительственной дѣятельности при импер. Павлѣ I» (П., 1916).

VIII. МЕЦЕНАТЫ И УЧЕНЫЕ АЛЕКСАНДРОВСКАГО ВРЕМЕНИ.

(Стр. 411—459)

Нѣкоторыя, очень немногія, данныя изъ этой статьи вошли въ главу VI-ю перваго тома «Исторіи русской этнографіи» Пыпина (СПБ., 1890); самъ авторъ ссылается тамъ на эту статью. Подробности см. у В. С. Иконникова: «Опытъ русской исторіографіи» т. I, кн. 1. I, гл. V (1891); ср. П. Н. Милюковъ. «Главныя теченія русской исторической мысли» (3-е изданіе, М., 1913); И. В. Ягичъ. Исторія славянской филологіи, СПБ. 1910 («Энциклопедія славянской филологіи», вып. 1).

Къ стр. 411 слл. Современный статьѣ Пыпина академическій отзывъ о книгѣ Кочубинскаго И. В. Ягича см. въ Отчетѣ о третьемъ присужденіи премій митр. Макарія («Записки Академіи Наукъ», т. LXIII, приложеніе № 3. СПБ. 1890). Ср. «Сборникъ въ память А. А. Кочубинскаго», изд. Истор.-филолог. Обществомъ при Новороссійскомъ Университетѣ». Одесса. 1909.

Къ стр. 414. О Румовскомъ, Лепехинѣ, Озерецковскомъ Пыпинъ говорилъ въ ст. «Русская наука и національный вопросъ въ XVIII в.»— въ «Вѣстникѣ Европы» 1884, № 7, и въ «Исторіи русской этнографіи», т. I, стр. 180—185.

Къ стр. 432. Объ Оленинѣ и его кружкѣ см. «Русскій Біографич. Словарь» (1904; ст. И. А. Кубасова); ср. Г. П. Георгіевскій. А. Н. Оленинъ и Н. И. Гнѣдичъ. «Сборникъ II-го Отдѣл. Академіи Наукъ», т. XVI, № 1 (1914); «Русскій Библіофилъ» 1912, ноябрь—декабрь (письма О. къ Жуковскому).

Къ стр. 434. О мало извѣстномъ археологѣ Александрѣ Ив. Ермолаевѣ см. Сочиненія Батюшкова, т. III, стр. 637—639 (здѣсь и библіографія).

Къ стр. 435. Объ А. Х. Востоковѣ см. Е. В. Пѣтуховъ. Нѣсколько новыхъ данныхъ изъ научной и литературной дѣятельности А. Х. Востокова. «Журн. Мин. Народ. Просвѣщ.» 1890, № 3; В. И. Срезневскій. Замѣтки Востокова о его жизни. «Сборникъ II Отдѣл. Академіи наукъ», т. LXX (СПБ., 1901).

Къ стр. 446. Рукопись «Древнихъ Россійскій стихотвореній» Кирши Данилова, долго считавшаяся пропавшей, найдена была вновь въ 1894 г. и научно издана Публичной библіотекой: «Сборникъ Кирши Данилова», подъ редакціей П. Н. Шеффера. СПБ, 1901.

Къ стр. 459. Трудъ Е. Ф. Шмурло остался недовершеннымъ. О митр. Евгеніи см.: Письма митр. Евгенія (Болховитинова) къ воронежскому купцу А. С. Страхову (1800—1804). «Русское Обозрѣніе» 1897, апр.; С. А. Венгеровъ. Источники словаря русскихъ писателей, т. 2 (1910); «Воронежскій Телеграфъ» 1912, № 43, Приложеніе; С. Карповъ. Евгеній Болховитиновъ, какъ митрополитъ Кіевскій. Кіевъ. 1914.

IX. ПРИЛОЖЕНІЯ.

(Стр. 461—506)

Къ стр. 468. О положеніи Вяземскаго въ Варшавѣ см. Н. К. Кульманъ. Кн. П. А. Вяземскій какъ критикъ. «Извѣстія II-го Отдѣл. Академіи Наукъ» 1904, кн. 1, стр. 277 слл.

Къ стр. 468. Письма Карамзина, изданныя до 1883 г., зарегистрованы въ «Матеріалахъ для библіографіи литературы о Н. М. Карамзинѣ С. И. Пономарева («Сборникъ II-го Отдѣл. Академіи Наукъ», т. XXXII, № 8); позднѣе появились письма къ Н. И. Кривцову— въ Отчетѣ Публичной Библіотеки за 1892 г.; къ А. И. Тургеневу (1806—1826)—въ «Русской Старинѣ», 1899, №№ 1—4; къ имп. Николаю Павловичу—въ «Русскомъ Архивѣ» 1906, № 1.

Къ стр. 473 слл. Изданіе сочненій Загоскина закончилось въ 1901 г. десятымъ томомъ. Анонимная біографія писателя, приложенная къ 1-му тому и сочувственно упоминаемая Пыпинымъ на стр. 477-й, написана А. О. Круглымъ. О Загоскинѣ Пыпинъ кратко говоритъ въ «Исторіи русской литературы», т. IV. гл. VI. Ср. И. И. Замотинъ, Романтизмъ двадцатыхъ годовъ XIX стол. въ русской литературѣ, т. II. гл. 4 (2-е изд., СПБ., 1913).

Къ стр. 478. Ср. выше статью «Школа двадцатыхъ годовъ».

Къ стр. 481. «На взятіе Варшавы. Три стихотворенія В. Жуковскаго и А. Пушкина». СПБ., 1831.

Къ стр. 490. Со второго тома «Остафьевскаго Архива» примѣчанія В. И. Саитова выдѣляются въ отдѣльные полутомы; съ пятаго тома редакція изданія перешла къ П. Н. Шефферу (2-й выпускъ V-го тома изданъ въ 1913 г.).

Къ стр. 491 слл. Кромѣ труда о Строгановѣ, перу вел. кн. Николая Михаиловича принадлежатъ многіе другіе; главнѣйшіе изъ нихъ: «Князья Долгорукіе» (1902), «Императоръ Александръ I» (1912), «Императрица Елизавета Алексѣевна» (1908—1909), «Дипломатическія сношенія Россіи съ Франціей 1808—1812 г.г.» (т. I—VII, 1905—1914). Ср. «Новый Энциклопедическій Словарь», т. 28 (1916).

Къ стр. 500. О Д. Н. Свербеевѣ см. Дневникъ Е. И. Поповой. СПБ., 1911, изд. «Огни»; «Русскій Біографич. Словарь» (1904); Н. Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина (по Ключу).

Приводимъ перечень статей и рецензій А. Н. Пыпина изъ «Вѣстника Европы», касающихся эпохи Александра I-го, но не вошедшихъ ни въ настоящее изданіе, ни въ «Исторію русской этнографіи», ни въ «Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в.», ни въ «Общественное движеніе при Александрѣ I».

— «Исторія царствованія имп. Александра I и Россіи въ его время» (Богдановича). Четыре тома. «В. Е.» 1869, іюнь.

— «Русскій панславизмъ». 1878, октябрь.

— «Полное собраніе собраніе кн. П. А. Вяземскаго». т. III. 1880, февраль; т. X. 1886, мартъ; т. XII. 1896, сентябрь.

— «А. С. Пушкинъ. Первый и второй періодъ жизни и дѣятельности. Соч. А. Незеленова». 1883, январь.

— «В. А. Жуковскій и его произведенія. Соч. П. Загарина». 1883, апрѣль.

— «Разсказы бабушки. Изъ воспоминаній пяти поколѣній. Д. Благово». 1885, декабрь.

— «Старые университетскіе нравы. Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго университета. Н. Булича». 1887, августъ, 1891, май.

— «Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники Я. Грота». 1887, декабрь; ср. 1901, февраль.

— «Исторія крестьянскаго вопроса. В. И. Семевскаго». 1888, іюль.

— «Внѣшнія условія литературы. Очерки исторіи русской цензуры А. М. Скабичевскаго». 1892, ноябрь.

— Матеріалы для исторіи женскаго образованія въ Россіи, Е. Лихачевой». 1893, январь.

— «Императоръ Александръ Первый. Н. К. Шильдера», т. I. 1897, іюль; т. II. 1897, сентябрь; т. III. 1898, февраль; т. IV. 1898, октябрь.

— «Пушкинская литература». 1899, іюль.

— «Ѳ. В. Благовидовъ. Оберъ-прокуроры Св. Синода въ XVIII и въ первой половинѣ XIX столѣтія». 1899, сентябрь.

— «Бумаги, относящіяся до отечественной войны 1812 года, собр. и изд. П. И. Щукинымъ», ч. 1 и 2. 1898, мартъ; ч. 4. 1900, январь.

— «Исторія кавалергардовъ. Сост. С. Панчулидзевъ», т. I. 1900, февраль; т. II и III. 1904, февраль, октябрь.

— «Записки гр. В. Н. Головиной». 1900, сентябрь.

— «Вел. кн. Николай Михаиловичъ. Князья Долгорукіе», 1901, сентябрь.

— «Луи де Сентъ-Обенъ. Тридцать девять портретовъ 1808—1815. Изд. вел. кн. Николая Михаиловича». 1902, іюль.

— «Историческій обзоръ дѣятельности Комитета министровъ. Сост. С. М. Середонинъ», т. I—II. 1902, декабрь; т. III и IV. 1903, мартъ.

— «И. А. Шляпкинъ. Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина». 1903, мартъ.

— «Историческій обзоръ дѣятельности Министерства Народнаго Просвѣщенія. С. В. Рождественскаго». 1903, апрѣль.

— «Архивъ графовъ Мордвиновыхъ», т. VII—X. 1904, февраль.

Нѣкоторыми библіографическими указаніями редакторъ обязанъ Я. Л. Барскову, Е. И. Тарасову и А. Г. Фомину.

Указатель именъ составленъ Н. М. Чернышевской.

Указатель личныхъ именъ.

СОДЕРЖАНІЕ.